



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

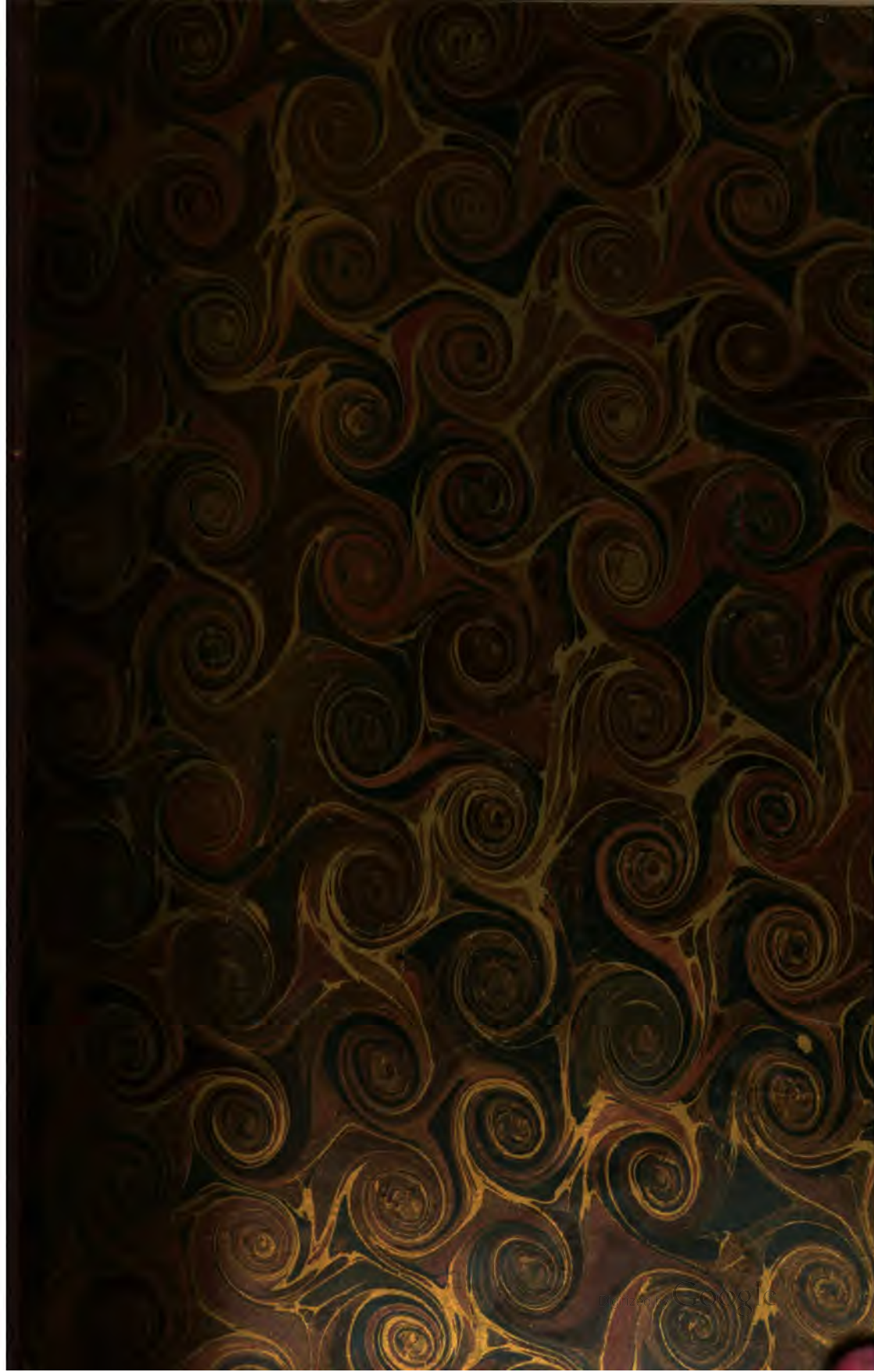
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

av
35
L. 5

Harvard College
Library



BOUGHT FROM THE
GIFT OF
Charles Richard Crane
OF NEW YORK
1938



5
JLn

СОЧИНЕНІЯ

Б. Н. АЛМАЗОВА.

ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ, СЪ ПОРТРЕТОМЪ, ГРАВИРОВАННЫМЪ НА СТАЛИ,
И КРАТКИМЪ БІОГРАФИЧЕСКИМЪ ОЧЕРКОМЪ.

Томъ III.

П Р О З А.

«Катенька». (Повѣсть).—«Пансіонъ для благородныхъ дѣвицъ». (Разсказъ).—
Статьи критическія и бібліографическія.—Статьи для юношества.—Фелье-
тоны изъ «Москвитянина».

МОСКВА.
Университетская типографія, Страстн. бульв.
1892.

✓ Slav 4335.34.5

**HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE GIFT OF
CHARLES RICHARD CRANE
APRIL 29, 1938**

ОГЛАВЛЕНІЕ III ТОМА.

	Стр.
Предисловіе издателя.....	I.

Беллетристическія произведенія.

Катенька. (Повѣсть).....	5
Пансіонъ для благородныхъ дѣвицъ.....	249

Статьи критическія и библіографическія. Театральныя рецензіи.

О поэзіи Пушкина.....	267
Взглядъ на Русскую литературу въ 1858 г..	357
А. Ѳ. Писемскій и его 25-лѣтняя литературная дѣятельность...	401
Первое полное изданіе „Горя отъ ума“.....	429
М. Е. Кублицкій. (Некрологъ).....	441
Январская книжка „Русскаго Вѣстника“ 1875 г.....	448
Первое представленіе „Просвѣщеннаго Времени“ Писемскаго....	455
Ольдриджъ на Московской сценѣ.....	461

Статьи для юношества.

Черты изъ жизни Лорда Байрона.....	478
Клавито. (Изъ записокъ Бомарше).....	493

Фельетоны Эраста Благоднарова.

Сонъ по случаю одной комедіи. (Предувѣдомленіе).....	517
Сонъ по случаю одной комедіи.....	551
Письмо Э. Благоднарова.....	586
Стихотворенія Э. Благоднарова.....	603
Наблюденія Э. Благоднарова надъ Русскою литературой и журна- листикою.....	635

Предисловіе къ III тому.

Третій томъ заключаетъ въ себѣ прозаическія произведенія Б. Н. Алмазова.

Составляя этотъ томъ, мы имѣли въ виду дать читателямъ все самое важное написанное авторомъ въ прозѣ.

Въ началѣ книги помѣщены беллетристическія произведенія (повѣсть «Катенька» и небольшой рассказъ: «Пансіонъ для благородныхъ дѣвицъ»). Затѣмъ слѣдуютъ статьи критическаго и библиографическаго характера.

Подъ общимъ заглавіемъ «статьи для юношества» нами включены въ этотъ томъ двѣ статьи изъ журнала Залѣскаго.

Въ концѣ тома приложены фельетоны изъ «Москвитянина», печатавшіеся подъ псевдонимомъ Эраста Благодрава. Мы помѣстили лишь пять первыхъ фельетоновъ и оставили безъ напечатанія дальнѣйшія критическія замѣтки Б. Н. Алмазова въ томъ-же журналѣ какъ представляющія мало характернаго и интереснаго. Первые же пять фельетоновъ до сихъ поръ не потеряли своихъ литературныхъ достоинствъ и кромѣ того они важны, какъ первые литературные опыты покойнаго писателя.

«Статьи для юношества» и «фельетоны Эраста Благодрава» являются какъ бы приложеніями къ III тому.

КАТЕНЬКА.



ПОВѢСТЬ.

1875 г.



КАТЕНЬКА.

I.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ *) въ одной изъ чопорныхъ московскихъ гостинныхъ, при вечернемъ освѣщеніи, сидѣло небольшое общество — нѣсколько пожилыхъ дамъ, нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ и трое мужчинъ. Подавали чай. Разговоръ шелъ вяло и касался предметовъ, совершенно неинтересныхъ ни для кого изъ присутствующихъ; казалось, никому не хотѣлось говорить, и посторонній зритель могъ бы подумать, что собесѣдники сошлись между собою не по доброй волѣ, а по той же причинѣ, по какой сходились наши праотцы на первыя асамблеи, т.-е. изъ-подъ палки, и что единственно изъ-за страха сего простаго и несложнаго орудія они принуждены были нехотя перебрасываться казенными фразами. Въ самомъ же дѣлѣ ихъ свела потребность общежитія, столь сильно развитая у всѣхъ образованныхъ народовъ.

— Скажите, пожалуйста, Алексѣй Ивановичъ, проговорилъ съ надлежащей свѣтской разстановкой хозяинъ дома, обращаясь къ нѣкому смуглому лѣтъ двадцати семи человѣку, съ черными волосами, повидимому, самому разговорчивому изъ всего общества, — скажите, пожалуйста, съ кѣмъ это вы были вчера въ клубѣ?

— Это... одинъ... Задольскій... mon camarade d'école.... un vieux garçon comme moi, сказалъ Алексѣй Ивановичъ небрежнымъ тономъ.

— Задольскій? повторилъ вопросительно хозяинъ дома. Изъ какихъ это Задольскихъ? не костромской ли?

*) Писано въ 1875 году. *Пр. Изд.*

— Да онъ и костромской, и рязанскій, и ужъ не знаю еще какой — почти что всероссійскій.

— Какъ всероссійскій?

— Да такъ: у него чуть ли не въ каждой губерніи по имѣнію... Ну, конечно, я немножко преувеличилъ; но навѣрно можно сказать, что онъ помѣщикъ десяти губерній.

— Но что же о немъ ничего не было до сихъ поръ слышно?

— Да, во-первыхъ, онъ прожилъ больше пяти лѣтъ за границей, а во-вторыхъ — онъ такой нелюдимъ... и въ клубъ-то я его вытащилъ насильно, чтобъ хоть немножко провѣтрить.

— Такъ онъ все сидитъ дома?

— Да.

— Чѣмъ же онъ занимается?

— Дѣломъ очень серьезнымъ — хандрой.

— Отчего же онъ хандрить?

— Да отъ нечего дѣлать, да кажется, еще отъ того, что некуда денегъ дѣвать.

— А у него хорошее состояніе? спросилъ хозяинъ, не смотря на то, что уже посредствомъ вышеприведенныхъ допросныхъ пунктовъ удостовѣрился, что лицо, о которомъ шла рѣчь, имѣло состояніе гораздо болѣе, чѣмъ просто хорошее.

— Я думаю хорошее, отвѣчалъ со смѣхомъ Алексѣй Ивановичъ: тысячъ сто дохода!...

Слово «сто тысячъ» не произвело, повидимому, никакого впечатлѣнія на аудиторію, не смотря на то, что въ составъ ея входили три маменьки взрослыхъ дочерей. Казалось, что или никто не слышалъ этого слова, или что цифра была такъ ничтожна, что не стоила ни малѣйшаго вниманія, или же, наконецъ, что всѣ присутствовавшіе такого рода люди, которыхъ интересуютъ только высокіе предметы и отвлеченные вопросы, а не такія прозаическія вещи, какъ деньги. Почтенныя маменьки не только не оживились при звукѣ магическаго слова, но сдѣлались какъ-то еще спокойнѣе, холоднѣе и величавѣе и совсѣмъ перестали смотрѣть на рассказчика. Особенное равнодушіе показала при этомъ неподвижно величественная Анна

Васильевна Черново-Сысольская, мать двухъ, тутъ же сидѣвшихъ, молодыхъ дѣвушекъ *безприданницъ* — безприданницъ какъ по необыкновенной своей красотѣ, такъ и по совершенной невозможности со стороны родителей дать за ними какое-нибудь приданое. Неопытный зритель могъ бы подумать, что этой дамѣ было столько же дѣла до доходовъ холостыхъ мужчинъ, сколько безсребренникамъ Космѣ и Даміану. Но онъ бы ошибся: при неожиданномъ словѣ *сто тысячъ*, Анна Васильевна чуть было не упала въ обморокъ — у ней позеленѣло въ глазахъ, зазвенѣло въ ушахъ и подкосились ноги; но, благодаря героическому самообладанію, присутствію духа и навыку всегда быть на сторожѣ и скрывать свои впечатлѣнія, она сумѣла выразить на своемъ лицѣ чувства совершенно противоположныя тѣмъ, которыя вдругъ обхватили ея могучую душу.

Послѣ слова «сто тысячъ», хозяинъ дома, въ качествѣ отца одной взрослой дочери, не считъ благоприличнымъ продолжать разспросы о богатомъ холостомъ мужчинѣ и ловко повернулъ разговоръ въ другую сторону.

Когда стали разѣзжаться, Анна Васильевна съ дочерьми прежде другихъ усѣлась въ карету. Всю дорогу она ничего не говорила, дочери не смѣли нарушить молчаніе. Возвратясь домой, молча взопла она на лѣстницу, молча вошла въ свою спальню и молча раздѣлась. Когда горничная удалилась, она стала передъ кивотомъ и начала молиться Богу. Молилась она дольше и усерднѣе обыкновеннаго и клала частые земные поклоны. Лишь только она окончила молитву и успѣла отойти на два шага отъ кивота, какъ изъ устъ ея вырвалось невольное восклицаніе: «cent mille roubles!.. Если Алексѣй Ивановичъ и солгалъ на половину, все-таки c'est quelque chose!» Затѣмъ Анна Васильевна легла въ постель, но скоро-ли она уснула, увидимъ послѣ.

Анна Васильевна Черново-Сысольская была женщина съ необыкновенно сильнымъ характеромъ; она рождена была, чтобы повелѣвать: прислуга, дѣти, мужъ—все у нея ходило по стрункѣ. Умъ у нея былъ самый практическій: всѣ ея помыслы,

слова и поступки были направлены въ одной цѣли—выпутаться наконецъ изъ затруднительныхъ денежныхъ обстоятельствъ. Она никогда ничѣмъ не увлекалась и строго преслѣдовала малѣйшее увлеченіе и въ дѣтахъ, и въ мужѣ, и въ прислугѣ. Разъ только во всю свою жизнь она поддалась увлеченію (ей тогда было только шестнадцать лѣтъ) и за то во всю свою остальную жизнь не могла простить себѣ этого. Въ чемъ же состояло это увлеченіе? Оно состояло въ опромѣтчивомъ брагѣ по любви съ бѣднымъ человѣкомъ. Исторія Анны Васильевны несложна, но довольно назидательна. У родителей ея было хорошее имѣніе, но они жили выше своего состоянія, и притомъ дѣтей у нихъ было не много менѣе, чѣмъ звѣздъ на небосклонѣ, такъ что на долю Анны Васильевны не могло достаться болѣе законной и ужъ достаточно разоренной четырнадцатой части, такимъ образомъ, ей для поддержанія своего положенія въ свѣтѣ нужно было искать богатаго жениха. Но родители объ этомъ не думали: — они были люди черезчуръ веселые и свѣтскіе и помышляли только о свѣтскихъ увеселеніяхъ. И вотъ, на одномъ изъ такихъ увеселеній, шестнадцатилѣтняя Анна Васильевна, тогда только-что вступившая въ свѣтъ, влюбилась въ будущаго своего мужа. Это былъ молодой человѣкъ, ничего не имѣвшій кромѣ красоты и хорошей фамиліи. Онъ тоже влюбился въ Анну Васильевну, сдѣлалъ ей предложеніе, и добрые ея родители, не задумавшись, благословили ихъ. Молодой супругъ болѣе десяти лѣтъ со дня свадьбы сохранялъ юношескій пылъ первой страсти, но молодая оказалась неспособна оставаться долго въ чадѣ любовныхъ грезъ. Вскорѣ послѣ появленія на свѣтъ перваго ребенка, когда потребности ихъ маленькаго семейства начали усложняться, нужда дала ясно ей уразумѣть, что она сдѣлала великую глупость. Она увидѣла, что средства не позволяютъ имъ жить соразмѣрно съ ихъ родовымъ достоинствомъ: доходы, которые они получали, осуждали ихъ на вѣчное заточеніе въ деревнѣ или на мѣщанскую позорную жизнь въ столицѣ. То и другое Анна Васильевна сочла невозможнымъ и твердо рѣшилась на упорную войну съ обстоятельствами. Ея

семнадцатилѣтняя, но уже практическая головка быстро работала планъ этой кампаніи—битвы всей жизни. Вдумавшись въ свое положеніе, она прежде всего почувствовала злобу и презрѣніе къ своимъ родителямъ. Съ тѣхъ поръ она никогда не могла имъ простить двѣ вещи: ихъ мотовство и скорое согласіе на ея бракъ съ бѣднымъ человѣкомъ. Въ особенности роптала она на мать: «я была тогда еще дѣвчонка, ничего не понимала, часто восклицала она мысленно; мнѣ было простибельно увлечься; но маменька, маменька—*mais maman avec ses cheveux gris!*.. она отдастъ за меня отвѣтъ Богу». Итакъ, Анна Васильевна не впала въ уныніе (она была не изъ такихъ), но стала искать средства, какъ бы выбиться изъ дурныхъ обстоятельствъ. Средствъ денежныхъ не было никакихъ, за то, по зрѣломъ размышленіи, оказалось много политическихъ, состоявшихъ въ сильныхъ родственныхъ связяхъ какъ съ мужниной стороны, такъ и со стороны самой Анны Васильевны. На нихъ-то и налегла всей силой своихъ умственныхъ способностей бѣдная патриціанка. Она рѣшилась запречь своего мужа въ службу и приискать ему мѣсто съ хорошимъ содержаніемъ. И вотъ принялась она просить словесно и письменно разныхъ важныхъ родственниковъ, и наконецъ, занявъ денегъ на дорогу, съѣздила въ Петербургъ и привезла оттуда мѣсто, нарочно придуманное для ея супруга. Мѣсто было и почетное, и покойное, и съ хорошимъ окладомъ. Но тутъ то и явилось главное затрудненіе. Мужъ Анны Васильевны (Петръ Васильевичъ) былъ человѣкъ добрый, чувствительный и прекрасно танцевалъ мазурку, но былъ лѣнивъ и рѣшительно ни къ чему не способенъ. И потому какъ ни была покойна и неголоволмна нарочно для него сочиненная должность, все-таки она была выше его способностей: ему приходилось подписывать бумаги, а бумагъ онъ рѣшительно не понималъ, ибо всю жизнь не могъ понять ни строчки изъ того, что приходилось ему читать. Онъ было началъ подписывать бумаги, не читая ихъ, но Анна Васильевна пронюхала это и сейчасъ же поняла всю опасность такого рода исполненія служебныхъ обязанностей. Чтобы предотвратить ее она было на-

чала сама читать дѣла, поступавшія къ ея мужу, и диктовать ему резолюціи, но вскорѣ поняла своимъ практическимъ инстинктомъ, что это почему-то нехорошо—что это дѣло неженское. Какъ же нужно было поступить, чтобы съ успѣхомъ выпутаться изъ такого неловкаго положенія? Практическая женщина и тутъ придумала средство: она вспомнила объ одномъ молодомъ человѣкѣ, состоящемъ въ побочномъ родствѣ съ семействомъ ея отца, вотпитанномъ въ его домѣ и всѣмъ ему обязанномъ. Этотъ молодой человѣкъ гдѣ-то служилъ, былъ большой дѣлецъ, но получалъ самое микроскопическое жалованье. Онъ былъ честенъ и безконечно преданъ всѣмъ членамъ семейства своего благодѣтеля. Анна Васильевна сообразила, что на него можно положиться, какъ на каменную гору, и предложила ему мѣсто секретаря своего мужа. Должность эта была не трудная и съ хорошимъ окладомъ,—и бѣдный труженикъ схватился за нее обѣими руками. Тогда Петру Васильевичу позволено было подписывать всѣ бумаги, не читая,—и служба его пошла какъ по маслу. Но, устроивъ это великое дѣло, мудрая дама не почила на лаврахъ:—работы еще было много впереди, и работа эта должна была быть дѣломъ всей жизни: надобно было употребить всѣ силы и умственные, и физическія, чтобы прожить на маленькія средства такъ, какъ другіе люди живутъ на большія. Жалованье Петръ Васильевичъ получалъ хорошее, но на него трудно было прожить побарски, и вся задача Анны Васильевны состояла въ томъ, чтобы сдѣлать изъ немногаго многое и жить или, лучше сказать, показывать видъ, будто они живутъ, какъ живутъ люди одинаковаго съ ними происхожденія. Ибо жить иначе значило бы уронить навсегда свое положеніе въ обществѣ, порвать родовыя связи и испортить карьеру и всю будущность своихъ дѣтей. Чтобы избѣжать всего этого, нужно было заняться двумя главными жизненными статьями—хозяйствомъ и воспитаніемъ дѣтей. Первая статья подраздѣлялась въ умѣ Анны Васильевны на собственно хозяйство и на мужа. Впрочемъ, мужъ былъ главнымъ хозяйственнымъ предметомъ, ибо какъ единственный членъ семейства, получавшій жалованье

и притомъ имѣвшій казенную квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, онъ былъ главнымъ и почти единственнымъ источникомъ дохода, но въ то же время по своему характеру, могъ бы быть и главной статьей расхода, еслибы былъ женатъ не на Аннѣ Васильевнѣ. Его то прежде всего она и забрала въ руки. И не распорядись она иначе, то Петръ Васильевичъ, вслѣдствіе своихъ наклонностей и привычекъ молодости, могъ бы быть самымъ разорительнымъ предметомъ для своего семейства: онъ былъ непрочь и посорить деньгами, и выпить лишнее, и поиграть въ банкъ. Небережливый и неряшливый по природѣ, онъ быстро изнашивалъ платье, пачкалъ полъ трубочной золой, располагался съ ногами на диванѣ, отъ чего, какъ извѣстно нѣкоторымъ ученымъ, протирается обивка на мебели, и, благодаря своимъ усамъ, страшно маралъ за столомъ салфетки. Со всѣми этими привычками онъ долженъ былъ разстаться со втораго года своей женитьбы. Анна Васильевна прежде всего приняла мѣры въ защиту салфетокъ—призвала цирюльника и велѣла сбрить у мужа усы; потомъ она выбросила за окошко всѣ его трубки и чубуки... Кромѣ неряшливости, Петръ Васильевичъ имѣлъ отъ природы другой недостатокъ, неудобный не столько въ хозяйственномъ, сколько въ общественномъ отношеніи: онъ слишкомъ много говорилъ и говорилъ одиѣ глупости. Анна Васильевна отучила его и отъ этого: онъ совсѣмъ пересталъ говорить и только въ важныхъ случаяхъ издавалъ, и то по сигналу своей супруги, членораздѣльные звуки въ видѣ междометій: гм! а! о! и т. д.; выразаться съ большею опредѣленностью ему было строго запрещено.

Управившись столь энергически съ главнѣйшей приходо-расходной статьей своего хозяйства, т.-е. съ мужемъ, Анна Васильевна принялась съ неменьшей энергіей и за хозяйство въ собственномъ смыслѣ слова. Ея практическій геній ясно указалъ ей, въ чемъ можно и въ чемъ нельзя сокращать расходы. Она постигла, что ѣда и вообще чувственные удобства постѣднее дѣло въ общественной жизни; что можно поголодать, потѣсниться въ жилыхъ комнатахъ, лишь бы былъ приличный эки-

пажъ и ливрея, да пріемныя комнаты имѣли бы внушающій видъ. Этотъ внушающій видъ, благодаря ухищреніямъ Анны Васильевны, приняло все ее окружающее—и семейство, и прислуга, и каждый стулъ въ ея гостиной — все дышало какой то гордой и изящной простотой, все импозировало. Даже тощій, немовѣрной дешевизны обѣдъ, который Анна Васильевна раздѣляла съ своимъ семействомъ, дышалъ чѣмъ то величественнымъ, чѣмъ то феодальнымъ. Всегда ослѣпительно бѣлая скатерть, опрятная и величавая прислуга и вся внѣшняя обстановка прикрывала скудость существеннѣйшей части трапезы. Чаше всего за столомъ подавали вареный картофель или подобные ему немногочѣнные плоды земные; но надобно было видѣть, какъ все это подавалось, какъ благородно смотрѣлъ этотъ картофель съ бѣлой салфетки, служившей ему какъ бы драпировкой, какую правильную, бовтонную наружность имѣла каждая картофелинка. За обѣдомъ по большей части никого не было кромѣ членовъ семейства. Но Анна Васильевна считала долгомъ для соблюденія приличій, иногда оставлять у себя обѣдать гостя, пріѣхавшаго съ позднимъ визитомъ. Это дѣлалось для того, чтобъ злые языки не сказали, что Черново-Сысольскіе ѣдятъ Богъ знаетъ что и живутъ, какъ скраги. Но какъ достигала она этой цѣли, чѣмъ кормила своихъ гостей? Во-первыхъ, если она оставляла у себя обѣдать постороннихъ въ какіе нибудь семейные табельные дни, то обѣдъ былъ роскошный, ибо такихъ дней въ году праздновалось немного; во-вторыхъ, у Анны Васильевны на погребѣ были всегда одно или два холодныя блюда—галантиры или что нибудь имъ подобное, которые и подавались за столъ, если обѣдалъ посторонній человѣкъ. Въ такихъ случаяхъ являлось и вино; но до него никто не смѣлъ касаться, кромѣ гостя. Разъ только Петръ Васильевичъ, думая, что жена его засмотрѣлась въ другую сторону, хотѣлъ было налить себѣ полстаканчика лафитцу, но супруга такъ на него взглянула, что онъ выронилъ изъ рукъ бутылку и больше всю жизнь не покушался повторять столь дерзкій поступокъ. Таковы были обѣденныя тайны семейства Черново-Сысольскихъ, о коихъ мы узнали отъ

личныхъ враговъ ихъ, членовъ семейства Сѣрово-Сысольскихъ, ибо эти двѣ вѣтви одного рода ведутъ страшную борьбу между собою, кажется, со временъ... Іоанна Калиты.

Но важнѣйшей, по нашему мнѣнію, заботой Анны Васильевны было воспитаніе дѣтей, цѣлью котораго, конечно, было составленіе выгодныхъ партій. Тутъ всѣ ея старанія больше всего клонились къ тому, чтобы прочно и на всю жизнь оградить чадъ своихъ отъ всякаго рода увлеченій. Особенно энергически преслѣдовала она эту цѣль въ отношеніи дочерей. Идеалъ молодой дѣвушки у нея слагался изъ трехъ стихій: изъ отличной наружной выправки, наружнаго и внутренняго спокойствія и совершеннаго знанія французскаго языка. Для осуществленія этого идеала въ своихъ дочеряхъ она дрессировала ихъ, какъ страстный охотникъ дрессируетъ свою любимую лягавую собаку—съ любовью, но безпощадно. Всегда спокойная и сдержанная, она никогда не выходила изъ себя, не бранилась, не кричала, не читала длинныхъ нравоученій: она разъ навсегда спокойно и кротко отдавала словесныя приказанія своимъ дочерямъ—дѣлать или не дѣлать того то и ужъ никогда не повторяла своихъ словъ, а только, въ случаѣ послушанія, подтверждала ихъ посредствомъ березоваго прута, коимъ ея бѣлая и нѣжная патриціанская ручка владѣла съ совершенствомъ виртуоза.

Если, напримѣръ, дѣвочкѣ разъ было сказано, чтобы она не облокачивалась или не горбилась, и если Анна Васильевна замѣчала, что она, хоть и забывшись, да поставила локоть на столъ, или неграціозно склоняла станъ, то спокойно вставала съ дивана, клала на столъ работу и говорила: «venez, mademoiselle». Дѣвочка, блѣднѣя какъ полотно, тоже вставала и слѣдовала за матерью на верхъ въ самую отдаленную комнату дѣтской, служившей въ этихъ случаяхъ чѣмъ то въ родѣ застѣнка. Взошедъ на лѣстницу, Анна Васильевна лаконически и самымъ спокойнымъ голосомъ говорила, обращаясь къ старой нянюшкѣ: «Прутъ!» Добрая старуха страшно блѣднѣла, но безпрекословно вынимала изъ вѣтника и подавала своей госпожѣ требуемое орудіе, и черезъ нѣсколько минутъ дѣтская оглашалась

раздирающимъ душу визгомъ: «маменька, не буду!» Быстро окончивъ расправу, Анна Васильевна опять сходила въ гостиную и какъ ни въ чемъ не бывало садилась за работу, оставивъ на нѣсколько времени наказанную наплакаться въ дѣтской. Когда потомъ, взглянувъ на часы, она соображала, что дѣвочка успѣла достаточно наплакаться, она посылала позвать ее въ гостиную. Горе несчастной, ежели она приходила еще со слезами на глазахъ, или не переставала всхлипывать, или—чего больше всего Боже сохрани—нахмуривала бровки и надувала губки: тогда Анна Васильевна опять тѣмъ же спокойнымъ тономъ говорила ей: «venez». И расправа повторялась усиленнымъ способомъ и повторялась бы до тѣхъ поръ, пока мать не настояла бы на своемъ. Таковъ былъ способъ, посредствомъ котораго Анна Васильевна держала дѣтей своихъ въ повиновеніи. Способъ этотъ достигъ вполне цѣли: дѣти повиновались даже полувзглядамъ своей родительницы.

Преподаваніе наукъ своимъ дѣтамъ Анна Васильевна устроила весьма цѣлесообразно: здѣсь все клонилось къ практической пользѣ. На первомъ планѣ былъ, разумѣется, французскій языкъ, какъ вещь, безъ которой не только нельзя выйти замужъ, но и показаться въ люди. Отечественному языку она дочерей своихъ почти совсѣмъ не учила, полагая весьма основательно, что по русски онѣ могутъ выучиться сами, какъ вообще всему ненужному. Учили ея дочерей также географіи и исторіи. но, слѣдя за преподаваніемъ послѣдней, осторожная мать строго требовала отъ учителя, чтобъ онъ тщательно обходилъ всѣ тѣ историческія событія, гдѣ играла какую нибудь роль любовь.

— Надо отдалять отъ дѣвочекъ, говорила она, все, что можетъ ихъ сдѣлать способными къ увлеченію.

«Увлеченіе» было кошмаромъ Анны Васильевны: она охраняла отъ него своихъ дѣтей больше, чѣмъ отъ скарлатины или даже оспы. Для огражденія ихъ отъ увлеченія она никогда не давала имъ читать книгъ, писанныхъ для взрослыхъ людей, и потому ихъ знакомство съ литературой даже въ то время, когда

они уже выѣзжали въ свѣтъ, ограничивалось только повѣстями гг. Беркена, Бульи, г-жи Котенъ и нѣкоторыхъ другихъ дѣтскихъ писателей; даже неизбѣжныя «*les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse*» Анна Васильевна не давала въ руки своимъ дочерямъ.

— Какъ вы хотите, разсуждала она съ гувернантками, чтобъ я дала молодымъ дѣвушкамъ книгу, которая начинается фразой: «*Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d'être immortelle*». Имъ сію минуту придетъ въ голову вопросъ, отчего Калипсо была въ такомъ отчаяніи, что даже желала смерти? Въдъ Ulysse ей не былъ ни отцомъ, ни дядей, ни братомъ... и дѣвочки вообразятъ Богъ знаетъ что!...

Но не изъ одной боязни, чтобъ дѣвочки не заразились любовью, Анна Васильевна охраняла ихъ отъ книгъ. Нѣтъ, она не такое узкое значеніе давала слову «увлеченіе»: она боялась также, чтобъ дочери ея не сдѣлались начитаннѣе и умнѣе того, сколько это допускается въ хорошемъ обществѣ, не пускались бы въ разговоры о литературѣ и политикѣ, ибо ту и другую она ненавидѣла и разговоры о нихъ считала дѣломъ совсѣмъ недворянскимъ. Особенно внушала ей ненависть «эта, какъ она выражалась, російская словесность». Хотя знала она о ней только по однимъ глухимъ слухамъ, но она смутно чувствовала, что это — что-то недоброе, что-то нерасположенное къ ней лично. «Ахъ! восклицала она, проѣзжая мимо какой-нибудь книжной лавки,—ахъ, эти писатели! къ чему они у насъ?... За границей—я еще понимаю, но у насъ, у насъ—это ужасно!» Но Анна Васильевна не потому смотрѣла съ такимъ ужасомъ на нашу литературу, чтобы, подобно Грибоѣдовскимъ старушкамъ, подозрѣвала въ каждомъ писателѣ революціонера и якобинца: совсѣмъ не это говорилъ ей ея чуткій инстинктъ. Она очень хорошо понимала, что ни Карамзинъ, ни Жуковский не замыслили никакого бунта, никакого общественнаго переворота, ибо знала, что тотъ и другой были награждаемы генеральскими чинами и звѣздами; но съ нея было уже довольно того, что они

были люди мыслящіе, а мысли то именно больше всего на свѣтъ и боялась она. Да, она боялась всего, въ чемъ проявляется свободная, безкорыстная мысль: она боялась ея, какъ врага своего собственнаго благополучія, врага заведеннаго ею семейнаго порядка, врага ея системы воспитанія, врага ея плановъ на будущность дочерей. Она знала, что все зданіе ея многолѣтнихъ трудовъ разлетится въ прахъ отъ дыханія живой мысли. Одинъ только родъ мыслей она допускала въ своемъ семействѣ—это практическіе помыслы и денежные расчеты.

Разъ только сдѣлала она поступокъ несообразный съ ея системой воспитанія, поступокъ, который, по ея мнѣнію, могъ бы развить въ ея дочеряхъ способность къ увлеченію. Когда пришло время обучать ихъ закону Божію, она взяла имъ въ учителя славившагося въ то время своимъ краснорѣчіемъ священника, отца Харлампія—ставленника и стипендіата митрополита Платона. Уже болѣе мѣсяца училъ онъ дочерей Анны Васильевны, и ей не казалось нужнымъ контролировать его занятія. Но вотъ однажды, когда онъ давалъ урокъ, какое-то недоброе предчувствіе кольнуло ея сердце. Однако надобно послушать, чему онъ (se prêtre) тамъ ихъ учить, подумала она и поспѣшила войти въ классную комнату. Въ это время, какъ нарочно, маститый старецъ началъ объяснять съ большимъ одушевленіемъ своимъ слушательницамъ евангельскій текстъ «аще хочещи совершенъ быти, иди, продаждь имѣніе твое и даждь нищимъ: и имѣти имаши сокровище на небеси... неудобъ богатый видѣть въ царствіе небесное». Когда Анна Васильевна услышала эти слова, у нея отъ страха замерло дыханіе и она уже больше ничего не могла слышать изъ словъ учителя. Ей вдругъ вообразилось, что уже дочери ея успѣли почувствовать такое отвращеніе къ богатству, что сію же минуту готовы сдѣлать мезалиансы и выдти замужъ за бѣдныхъ пѣхотныхъ офицеровъ. Послѣ класса она позвала къ себѣ священника на секретную аудіенцію.

— Извините, отецъ Харлампій, сказала она, я хочу вамъ замѣтить... Зачѣмъ вы говорите такія вещи при молодыхъ дѣвушкахъ?

— Какія! воскликнулъ въ изумленіи старикъ.

— Да про богатство... Вы имъ говорили, что это нехорошо...

— Я имъ объяснялъ слова Евангелія, въ которыхъ...

— Да... Но...

Анна Васильевна смѣшалась на нѣсколько минутъ; священникъ продолжалъ смотрѣть на нее съ изумленіемъ.

— Вотъ видите ли, продолжала она, собравшись съ мыслями, это, точно, слова изъ Евангелія, но они не для насъ, мірскихъ людей... Они нужны для васъ, посвятившихъ себя духовному сану, но для молодыхъ дѣвушекъ они... они могутъ ихъ сдѣлать какими-то восторженными. Прошу васъ, пожалуйста, не говорите имъ впередъ такихъ вещей. Старайтесь имъ внушать только однѣ практическія вещи. То, что вы имъ сейчасъ сказали — это... это для нихъ опасно.

При словѣ опасно, отецъ Харлампій пришелъ въ страшное негодованіе.

— Я тридцать лѣтъ учу здѣсь въ Москвѣ закону Божьему, сказалъ онъ, вставая съ мѣста, и переучилъ нѣсколько поколѣній, и никто изъ моихъ учениковъ, которыхъ у меня нѣтъ и счета, не скажетъ вамъ, чтобъ я преподавалъ что нибудь опасное, потому что въ словѣ Божіемъ, которое я объясняю, ничего опаснаго быть не можетъ. Прошу васъ, Анна Васильевна, уволить меня отъ уроковъ вашимъ дочерямъ. На старости лѣтъ мнѣ ужъ поздно переучиваться.

Анна Васильевна стала его удерживать, но неслишкомъ настоятельно — только для приличія, — и вотъ кафедра закона Божія была навсегда упразднена въ ея домѣ. Анна Васильевна объявила своимъ дочерямъ, что онѣ и безъ уроковъ изъ закона Божія достаточно тверды въ вѣрѣ. — Впрочемъ, Анна Васильевна была очень богомольна и возила дочерей своихъ каждое воскресенье къ обѣднѣ, а каждую субботу ко всенощной. Но нельзя сказать, чтобъ дѣвицы Черново-Сысольскія очень любили присутствовать при христіанскомъ богослуженіи: имъ бывало почти всегда скучно въ церкви, ибо и русскій книжный языкъ былъ имъ неудобопонятенъ, а языкъ на которомъ совершается богослуженіе еще непонятнѣе. Онѣ по-

нимали по своему все, что читалось и пѣлось въ церкви. Когда, напримѣръ, дьяконъ читалъ: «И абіе отъидеша», онѣ думали, что *абіе* значить змѣя или что нибудь еще страшнѣе; «премудрость прости» онѣ переводили словами: *sagesse, je vous demande pardon!* Когда въ церкви провозглашалось: «Горѣ имѣмъ сердца», то онѣ воображали, что здѣсь идетъ рѣчь о горѣсти (*chagrin*). Когда онѣ слышали слова «оглашенные, изыдите», то при этомъ подъ оглашенными разумѣли полоумныхъ, ибо такъ бранились часто между собой горничныя въ дѣвичьей, въ которую онѣ часто заходили, по пути въ дѣтскую.

Хотя дочери Анны Васильевны, какъ мы видимъ, и были со всѣхъ сторонъ ограждены, какъ китайской стѣной, отъ увлеченія, но все-таки предусмотрительная мать была постоянно насторожѣ. Былъ еще одинъ видъ увлеченія, котораго она больше всего боялась и который ей представлялся такой же таинственной силой, какъ дьявольское навожденіе. Эта темная сила была для нея (вслѣдствіе совершеннаго незнакомства ея съ анатоміей) что-то очень неопредѣленное, и она называла ее *les nerfs* (нервы), разумѣя подъ нервами что-то въ родѣ болѣзни или порчи. Она была увѣрена, что ежели эта порча проберется къ ней въ домъ, то дочери ея непременно влюбятся въ бѣдняковъ и сдѣлаютъ мезалиансы.

— «Ничего я такъ не боюсь, говаривала она гувернанткамъ, какъ этихъ, знаете, нервовъ. Ежели вы замѣтите въ моихъ дочеряхъ хоть что-нибудь такое, то сію же минуту скажите мнѣ». Главнымъ признакомъ «нервовъ» Анна Васильевна почитала задумчивое или грустное выраженіе лица. Только одного рода грусть она считала законной и естественной — грусть отъ недостатка въ деньгахъ: всѣ же другіе роды и виды грусти она почитала или блажью, за которую слѣдуетъ наказывать, или болѣзнью, которую нужно лѣчить. Если она замѣчала хоть тѣнь меланхоліи на лицѣ которой-нибудь изъ своихъ дочерей, то сію же минуту впивалась въ нее своимъ сухимъ взглядомъ, какъ впивается сыщикъ въ открываемаго имъ внезапно преступника, и произносила съ разстановкой: «что съ

тобой?» При этомъ вопросѣ молодая дѣвушка слегка вздрагивала. — «Что съ тобой? продолжала свой допросъ Анна Васильевна. Отчего ты такая задумчивая? я бы желала знать, о чемъ тебѣ думать?... Ты, кажется, мечтала (на этомъ словѣ Анна Васильевна всегда дѣлала удивительно извѣстное ироническое удареніе, приводившее въ страшный конфузъ ея дочерей). Намъ очень интересно знать, о чемъ ты мечтала? расскажи, пожалуйста... что же ты не говоришь? мы ждемъ».... И Анна Васильевна еще сильнѣе впивалась взоромъ въ совершенно сконфуженную дѣвушку и не перемѣняла дирекціи своихъ глазъ до тѣхъ поръ, пока не получала какого-нибудь отвѣта.

— Это я такъ, маменька, такъ, ничего, проговаривала, наконецъ, преступница.

— Я и была увѣрена, что *ничего!* восклицала мать, смягчая понемногу свой тонъ. Только, пожалуйста, чтобъ у меня впередъ этого не было. Ты знаешь, я не люблю недовольныхъ лицъ, да и тебѣ нечѣмъ быть недовольной.... можетъ быть у тебя болитъ что-нибудь—это другое дѣло; но тогда надо лечь въ постель, а сидѣть въ гостиной такой—это не дѣлается.

Обыкновенно послѣ этой морали грусть молодой дѣвушки исчезала отъ страха и конфуза. Но случалось, что грусть или задумчивость такъ глубоко залегала въ молодую душу, что мораль не дѣйствовала. Тогда Анна Васильевна давала дочери ложку кастороваго масла, укладывала ее въ постель и поила липовымъ цвѣтомъ. Это лѣченіе продолжалось до тѣхъ поръ, пока мнимая больная не доказывала своей матери самымъ убѣдительнымъ образомъ, что она повеселѣла.

И такъ Анна Васильевна держала своихъ дочерей въ ежовыхъ рукавицахъ; но за то она радѣла о ихъ благѣ всѣми силами души; благо это, по ея понятію, было очень несложно: — всѣ ея помыслы и старанія клонились къ одному — какъ можно скорѣе и какъ можно выгоднѣе выдать своихъ дочерей замужъ. Съ самаго дня рожденія каждой дочери, она, лежа въ постели, уже дѣлала соображенія, за кого современемъ можетъ выйти новорожденная, кто можетъ явиться ей соперницей, и

какія нужно будетъ преодолѣть препятствія для заключенія желаемаго брака. У нея въ сердцѣ начертанъ былъ списокъ почти всѣхъ русскихъ мальчиковъ, которые по лѣтамъ и по состоянію могли бы быть въ послѣдствіи подходящими женихами для ея дочерей. Тамъ же былъ у нея и другой списокъ, не дававшій ей покоя ни днемъ, ни ночью, — списокъ всѣхъ дѣвочекъ, которыя, сдѣлавшись взрослыми, могли бы отбить этихъ жениховъ у ея безприданницъ. Этихъ дѣвочекъ считала она извергами рода человѣческаго, саранчой, божескимъ попущеніемъ, а матерей ихъ своими кровными злодѣйками, готовыми прибѣгнуть и къ яду, и къ кинжалу, только бы разстроить ея планы. Всякая хорошенькая молодая дѣвушка бывала предметомъ ея ненависти и даже тайныхъ преслѣдованій. Она считала красоту какъ бы исключительнымъ достояніемъ и привилегіей своего семейства, и всѣ другія красивыя молодыя дѣвушки представлялись ей какими-то воровками: при видѣ ихъ, она до такой степени чувствовала себя оскорбленною въ своихъ правахъ, что почти готова была подать просьбу на нихъ оберъ-полицеймейстеру. Особенно преслѣдовала она красоту въ бѣдныхъ невѣстахъ: дѣвушки безъ приданого и ихъ маменьки всегда казались ей пройдохами и интриганками. Разъ ей случилось встрѣтить одну дѣвушку, совершенно бѣдную, но совершенную красавицу; взглянувъ на нее, Анна Васильевна вышла изъ себя и едва не воскликнула во всеуслышаніе: «какъ она смѣетъ мерзавка!» Маменьки, соперницы Анны Васильевны, съ своей стороны, тоже ее ненавидѣли. И было за что, ибо въ продолженіе семи лѣтъ сряду она каждую зиму выдавала замужъ по одной дочери за богатаго жениха и такимъ образомъ являлась какой-то хищной птицей, хватавшей у всѣхъ подъ носомъ лучшихъ жениховъ въ городѣ. Изъ послѣдняго обстоятельства читатель ясно можетъ видѣть, что система воспитанія Анны Васильевны увѣнчалась блистательнымъ успѣхомъ и вполнѣ достигла цѣли: дочери ея всѣмъ нравились и, не смотря на бѣдность, выходили замужъ за богачей. Да онѣ и были вполнѣ достойны такихъ партій: глядя на нихъ, трудно было рѣшить,

чему удивляешься — красотѣ ли, которой одарила ихъ природа, или тому высокому тону и благородству пріемовъ, который дало имъ искусство Анны Васильевны. Тѣлесная выправка въ нихъ была доведена до такого совершенства, какое только возможно здѣсь — на землѣ. Онѣ были стройны, какъ пальмы; всѣ ихъ движенія были безукоризненно правильны и исполнены достоинства; онѣ держали себя, какъ самыя кровныя принцессы, ибо Анна Васильевна умѣла въ нихъ вдохнуть гордость и наружное равнодушіе и презрѣніе ко всему окружающему. Она передала имъ тайну держать себя въ обществѣ такъ, чтобъ никто не могъ разгадать, умны онѣ, или глупы, образованы или невѣжды. Она научила ихъ ничему не удивляться, ничему не радоваться и ни о чемъ не высказывать своего сужденія, пока еще не извѣстно мнѣніе большинства и приговоръ лицъ съ сильнымъ авторитетомъ, и — надо сказать правду — какъ ни замѣчательны онѣ были красотой, но успѣхомъ своимъ въ обществѣ и блистательными партіями, которыя сдѣлали, дѣвицы Сысолюскія были не столько обязаны своей красотѣ, сколько высокому тону: презрѣніе ко всему окружающему было въ нихъ такъ естественно, что людямъ молодымъ казалось, что внутри этихъ дѣвицъ скрывается что-то необыкновенное, что дастъ имъ право считать себя выше всего ихъ окружающаго. Это раздодоривало самолюбіе въ молодыхъ людяхъ, и обладать рукою одной изъ этихъ земныхъ богинь имъ представлялось великою честью.

Но, не смотря на то, что Анна Васильевна имѣла уже семерыхъ богатыхъ зятьевъ, денежные дѣла ея нисколько не улучшались. Доходы ея не прибавлялись, а расходы умножились съ тѣхъ поръ, какъ она опредѣлила въ гвардію своего единственнаго сына — единственнаго наслѣдника древняго имени Черново-Сысолюскихъ. Конечно, она могла бы черезъ своихъ дочерей просить субсидіи у зятьевъ, но, какъ женщина съ тончайшимъ тактомъ, она никогда на это не рѣшалась, во первыхъ потому, что хотѣла сохранить передо всѣми независимо-гордое положеніе, во вторыхъ же, изъ боязни какъ-нибудь не разстроить своихъ дочерей съ ихъ мужьями.

— Не нужно, чтобъ онѣ слишкомъ были обязаны мужьямъ,— разсуждала она.— Люди всегда хоть немножко да теряютъ уваженіе къ тѣмъ, кто у нихъ проситъ денегъ.

Всю надежду Анна Васильевна возлагала на сына: она была увѣрена, что съ его красотой и характеромъ, которымъ онъ былъ весь въ нее, онъ скоро сдѣлаетъ богатую партію и, захвативъ сразу въ руки и жену и все ея состояніе, не забудетъ дражайшей родительницы. Но сынъ ея тогда только-что надѣлъ эполеты, а у нея на рукахъ оставались еще двѣ дочери, которыхъ нужно было вывозить въ свѣтъ. Притомъ же старшая изъ нихъ, Катенька, составляла несчастье своей практической матери. Эта дѣвушка была выродокъ изъ семейства Анны Васильевны: ея природа почти совсѣмъ не поддавалась дрессировкѣ воспитанія. Не смотря на то, что въ дѣтствѣ она чаще всѣхъ изъ своихъ сестеръ слыхала отъ своей матери «грозное *venez*», она до шестнадцатилѣтняго возраста не потеряла привычки увлекаться и не научилась сдерживать порывовъ радости, огорченія и удивленія, словомъ— всѣхъ тѣхъ чувствъ, проявленіе которыхъ Анна Васильевна считала верхомъ неприличія. Не проходило почти ни одного дня, чтобы неисправимая Катенька не разсердила чѣмъ-нибудь своей матери: то она теряла платокъ или перчатку, то замарывала пальцы въ чернилахъ или обжигала ихъ сургучемъ, то опрокидывала на платье чашку съ чаемъ. Живая и даже подчасъ рѣзвая въ своемъ семействѣ, особенно въ отсутствіе матери, она была застѣнчива при постороннихъ. Но ни одинъ изъ недостатковъ Катеньки не приводилъ въ такое отчаяніе ея семейство, какъ «эта глупая ея отервенность». Такъ называла Анна Васильевна рѣшительную неспособность своей дочери къ свѣтской лжи и притворству, ибо Катенька не могла бросить дурную привычку— даже и при постороннихъ называть дурнымъ то, что она находила дурнымъ, хотя бы сужденіе ея относилось къ лицамъ, занимавшимъ высокое положеніе въ свѣтѣ, или шло въ разрѣзъ съ общепринятымъ мнѣніемъ.

— Съ этой дѣвченкой доживешь до бѣды,— сказала какъ-то

разъ Анна Васильевна, — ни на часъ безъ проказъ! Намедни когда у насъ сидѣлъ князь Х. и говорилъ о графѣ Григоріи Владиміровичѣ, она вдругъ спросила: «да развѣ графъ Стобольскій умный человѣкъ! Я этого никакъ не думала!» Каково было мое положеніе. Къ счастью, она сидѣла противъ меня, и я успѣла на нее взглянуть такъ, что она замолчала. Князь было немного смѣшался, потому что не могъ ничего отвѣтить на этотъ вопросъ. Вѣдь всему извѣстно міру, что графъ Стобольскій совершенный идиотъ, но объ этомъ не принято говорить въ хорошемъ обществѣ.

Таковые рассказы Анна Васильевна обыкновенно заключала мысленнымъ восклицаніемъ: «Да! эта дѣвочка не то, что ея старшія сестры—она не сдѣлаетъ себѣ блистательной партіи. Тѣ, бывало, только стукнетъ 16 лѣтъ, сейчасъ и выходятъ замужъ; а этой ужъ 16 и полтора мѣсяца, а за ней еще никто и ухаживать не начиналъ.»

За то послѣдняя дочь Анны Васильевны Зинаида была истиннымъ ея утѣшеніемъ: спокойная, бездушная и разсудительная, она относилась къ Катенькѣ, которая была годомъ старше ея, какъ относится пожилая и злая гувернантка къ 10-лѣтней дѣвочкѣ: она читала своей старшей сестрѣ ежеминутно колючую мораль, кричала на нее и постоянно обходилась съ ней презрительно и свысока. Зинаида была любимой дочерью матери: она была щедро одарена уже отъ самой природы всѣмъ тѣмъ, что въ остальныхъ своихъ дочеряхъ Анна Васильевна развивала посредствомъ воспитанія, т. е. съ помощью тѣлесныхъ наказаній. Она безъ внушеній со стороны матери уже постигла съ раннихъ дѣтскихъ лѣтъ, что главное благо жизни деньги, и что достигнуть его ей можно только черезъ выгодный бракъ. Анна Васильевна удивлялась геніальнымъ практическимъ способностямъ дочери и часто мысленно говорила съ восхищеніемъ и гордостію: «Ну, за эту я не боюсь: она никогда ничѣмъ на свѣтѣ не увлечется и никогда никого не полюбитъ».

Теперь, когда читатель знаетъ домашнія обстоятельства Анны Васильевны, онъ пойметъ, отчего ее такъ потрясло извѣстіе о

новомъ богатомъ женихѣ, вдругъ появившемся въ бѣлокаменной. Она не спала почти всю ночь и все придумывала, гдѣ бы поймать и какъ освѣтить сего новопріѣзжаго любимца фортуны. Сперва дѣло это представлялось ей очень труднымъ. «Онъ нелюдимъ—никуда не выѣзжаетъ. Гдѣ-жъ онъ увидитъ моихъ дочерей?» размышляла она такимъ образомъ почти до разсвѣта. Наконецъ, слѣдующее простое соображеніе мелькнуло, какъ молнія, въ ея головѣ: «Тѣмъ лучше, сказала она, что онъ нигдѣ не бываетъ и никого не видитъ: его никто у насъ не отобьетъ; а дать ему случай увидѣть моихъ дочерей—это очень легко устроить: просто попросить Алексѣя Ивановича Гладкаго, который говоритъ, что онъ ему пріятель, привезти его къ намъ. Ну, а разъ попадетъ ко мнѣ въ домъ, то уже не вырвется..... Одно меня беспокоитъ, что это долженъ быть человѣкъ не изъ высокаго круга. Задольскій?... Фамилію эту я слыхала и даже знала лѣтъ тридцать тому назадъ однихъ Задольскихъ, но никогда ничего не слыхивала о богатѣ Задольскомъ. Не сынъ ли это какого нибудь откупщика?... Ну, да, впрочемъ, хоть онъ и не высшаго общества человѣкъ, но все-таки у него сто тысячъ доходу и онъ годится для Катеньки: вѣдь человѣкъ истинно порядочный никогда не влюбится въ такую дуру, какъ она».....

Проснувшись на другой день по утру, противъ своего обыкновенія довольно поздно, Анна Васильевна сію же минуту вспомнила о стотысячномъ женихѣ и сперва ей показалось, что она о немъ слышала во снѣ. Но когда, во время умыванія, холодная вода освѣжила ея лицо, и она, припомнивъ всѣ обстоятельства вчерашняго вечера, удостовѣрилась, что дѣйствительно слышала разговоръ о богатомъ женихѣ, то сердце ея уязвило другое сомнѣніе: «да не пущъ ли этотъ богатый женихъ?» подумала она и сейчасъ же послала за секретаремъ своего мужа. Этотъ секретарь, имѣя много свободнаго времени, занимался хожденіемъ по частнымъ дѣламъ и, какъ всѣ хорошіе стряпчіе, зная денежное положеніе почти cadaго зажиточнаго человѣка въ Москвѣ, а такъ какъ Анну Васильевну всегда сильно интересовали чужіе фи-

нансы, то онъ служилъ справочной книжкой имѣній и капиталовъ.

— У насъ въ Москвѣ появился какой-то Задольскій. Не слышали ли вы чего-нибудь о немъ?— сказала она секретарю, когда онъ явился по ея зову.

— О томъ, что прѣхалъ недавно изъ за-границы?

— Да. Что вы о немъ слышали?

— Мѣсяца четыре тому назадъ я встрѣтилъ въ гражданской палатѣ его повѣреннаго, который совершалъ для него купчую крѣпость на домъ.

— И дорогой домъ онъ купилъ?

— Да-съ, — бывший графа Заблоцкаго, заплатилъ около двухсотъ тысячъ и купчую сдѣлалъ на свой счетъ.

— Выходить, онъ очень богатъ.

— Да-съ, очень большое имѣтье состояніе.

— Откуда же оно у него?

— Не могу знать-съ: я очень недавно услыхалъ о немъ...

— Но это не пуфъ?

— Что изволите говорить?

— Это не вздоръ, что онъ такъ богатъ?

— Помилуйте, совершенная правда.

« Ну теперь мнѣ надо приняты за Алексѣя Ивановича: надо, чтобъ онъ досталъ мнѣ этого Задольскаго непремѣнно ». Съ этой мыслью Анна Васильевна пошла совершать утреннюю молитву и доканчивать свой туалетъ.

Итакъ Анна Васильевна рѣшилась открыть наступательныя дѣйствія, чтобы овладѣть богатымъ женихомъ. Человѣкъ, черезъ котораго она надѣялась произвести нападеніе, былъ субъектомъ очень удобнымъ для всякаго рода посредничества, и въ цѣломъ городѣ она не могла бы найти свахи лучше его. Алексѣй Ивановичъ Гладкій, объявившій первый нѣкоторымъ изъ членовъ московскаго общества о появленіи въ древней столицѣ новаго богатаго жениха (см. 1-ю страницу моего разсказа), былъ человѣкъ готовый на всякаго рода послуги, и притомъ на скромность его можно было совершенно положиться. Онъ

совмѣщалъ въ себѣ почти несовмѣстимыя достоинства—былъ первымъ вѣстовщикомъ, первымъ злымъ языкомъ въ обществѣ и въ то же время умѣлъ свято хранить семейныя тайны, если ему ихъ ввѣряли. Онъ былъ ничто иное, какъ свѣтскій паразитъ, не имѣвшій за душой ни единой ревизской души и ни единой пяди удобной или неудобной земли, и потому сильно нуждался въ обѣдѣ, ужинѣ и подчасъ даже въ папиросахъ своего ближняго. При такихъ финансовыхъ обстоятельствахъ, ему было необходимо быть разносителемъ скандальныхъ новостей, ибо этимъ онъ возбуждалъ къ себѣ интересъ въ своихъ амфитріонахъ; но эти же самыя обстоятельства налагали на него обязанность быть разборчивымъ въ товарѣ, который онъ разносилъ по городу, подъ опасеніемъ быть выгнаннымъ изъ тѣхъ домовъ, откуда бы ему вздумалось выносить соръ. Но да не подумаютъ читатели, что Алексѣй Ивановичъ принадлежалъ къ числу тѣхъ паразитовъ, которые держатъ себя въ униженномъ положеніи передъ своими амфитріонами. Нѣтъ, онъ держалъ себя свободно и независимо со всѣми, и, обѣдая или занимая деньги у своихъ знакомыхъ, онъ умѣлъ это такъ дѣлать, какъ будто оказываетъ великую милость и одолженіе тѣмъ, у кого ѣсть и беретъ займы деньги. Чѣмъ меньше было денегъ въ его карманѣ, тѣмъ спокойнѣе была его поступь, тѣмъ развязнѣе были его приемы, тѣмъ смѣлѣй было выраженіе его лица; когда же карманъ Алексѣя Ивановича бывалъ совершенно пустъ, то во всей его наружности выражалось даже нѣчто диктаторское. Жизнь его прошла не безъ бурь и кораблекрушеній: онъ отвѣдалъ много и сладкаго, и горькаго. Отецъ его, имѣвшій хорошее состояніе, держалъ сына строго—заставлялъ учиться, и по его настоянію Алексѣй Ивановичъ, мечтавшій съ дѣтскихъ лѣтъ о гусарскомъ ментикѣ, поступилъ въ университетъ. Способности у него были отличныя, такъ что, при весьма маломъ прилежаніи, онъ перешелъ блистательно на второй курсъ. Но тутъ, къ несчастію, строгій его родитель скончался, и онъ поспѣшилъ оставить университетъ и поступилъ въ гвардейскіе гусары. Съ имѣньемъ,

полученнымъ имъ послѣ отца, распорядился онъ просто, быстро и рѣшительно: сперва онъ его заложилъ, а потомъ продалъ. Эта «простая и нехлопотливая спекуляція», какъ онъ выражался, принесла, по его мнѣнію, въ послѣдствіи весьма полезныя плоды. Денегъ отъ залога и продажи имѣнія у него въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ перебивало много, и Алексѣй Ивановичъ жилъ на такую большую ногу и задавалъ такіе лукулловскіе пиры своимъ товарищамъ, что скоро сталъ извѣстенъ всей петербургской молодежи и сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ ея предводителя. Въ это время свелъ онъ короткую дружбу и сошелся на ты съ юношами самыхъ лучшихъ фамилій, будущими магнатами, и эти связи сохранилъ на всю жизнь. Онѣ-то въ послѣдствіи, при поворотѣ его фортуны, поддерживали Алексѣя Ивановича въ общественномъ мнѣніи и подерѣпляли его финансы. Вышедъ въ отставку, вслѣдствіе какой-то исторіи, и оставшись совершенно безо всего, онъ продолжалъ жить въ роскошной обстановкѣ и одѣвался великимъ франтомъ, обѣдая всегда у своихъ пріятелей и занимая у нихъ деньги; но такъ какъ пріятелей своихъ считалъ онъ сотнями и соблюдалъ въ своихъ займахъ очередь, то и не былъ никому въ тягость. Вскорѣ, когда главнѣйшіе и могущественнѣйшіе изъ его друзей переселились въ Москву, то и онъ перенесъ въ нее свою резиденцію. Здѣсь онъ попалъ во всѣ тѣ дома, куда ѣздили его важные и всѣми уважаемые покровители, и въ короткое время сдѣлался въ нихъ домашнимъ и почти необходимымъ человѣкомъ. Но не однимъ роскошнымъ холостымъ парубкомъ былъ онъ обязанъ основаніемъ своихъ крѣпкихъ связей въ Петербургѣ, точно также какъ не однимъ этимъ связямъ онъ былъ обязанъ успѣхомъ своимъ въ обществѣ: много способствовали къ тому его веселый характеръ, доброе сердце и неиссякаемый запасъ шутокъ и анекдотовъ, который ни въ какія горкія минуты жизни не покидалъ его. Нельзя сказать, чтобъ онъ былъ слишкомъ остроуменъ. Нѣтъ, остроты его были не Богъ знаетъ какого высокаго достоинства и съ эстетической точки зрѣнія могли бы показаться нѣсколько пошлыми; но такъ какъ у насъ въ

то время общество было неслишкомъ прихотливо на умственные продукты, то онъ пренебрежительно слылъ третьимъ острякомъ въ имперіи. Но главнымъ источникомъ его славы и могущества въ средѣ тогдашней петербургской молодежи было его истинно русское удалство и молодечество. Во времена самой грозной строгости военной дисциплины, по Петербургу ходили каждый день новые рассказы объ отчаянно дерзкихъ штукахъ, которыя прапорщикъ Гладкій продѣлывалъ съ своимъ начальствомъ. Рѣдкій мѣсяцъ проходилъ безъ того, чтобъ онъ не попадалъ на гауптвахту. Онъ умѣлъ грубить самымъ сильнымъ и неумолимымъ начальникамъ, и смѣлые и остроумные его отвѣты грознымъ міра сего ходили по всему Петербургу и дѣлались классическими, да и вся жизнь его въ Петербургѣ, благодаря молвѣ, сдѣлалась какой-то легендой. Что же касается до выпивки, то въ этомъ дѣлѣ съ нимъ могли бы только потягаться русскіе сказочные богатыри.—Въ Москву онъ уже пріѣхалъ, какъ знаменитость; молодые кутилы благоговѣли передъ нимъ, какъ благоговѣть каждый начинающій писатель передъ литературнымъ авторитетомъ. Впрочемъ, въ Москвѣ онъ много остепенился. Въ порядочномъ обществѣ онъ велъ себя безукоризненно—держалъ себя съ большимъ тактомъ. Онъ былъ лицомъ небезполезнымъ въ нашемъ холодномъ, вяломъ и молчаливомъ обществѣ; онъ тутъ являлся чѣмъ-то оживляющимъ, расшевеливающимъ застоявшуюся воду; онъ умѣлъ заводить и подстрекать разговоры, и безъ него, особенно въ холостыхъ кружкахъ, было скучно. Въ ученыхъ и политическихъ спорахъ онъ почти всегда былъ триумфаторомъ. Причина его триумфа заключалась въ томъ, что онъ, хоть и не долго, а все-таки былъ въ университетѣ. Наша *alma mater* хоть и не успѣла дать ему твердой умственной почвы, за то вооружила его память такими учеными терминами, которые своей таинственной неизвѣстностью наводили страхъ на свѣтскихъ людей, получившихъ образованіе болѣе военное, чѣмъ ученое. Въ словопреніяхъ онъ весьма часто былъ неправъ, но когда видѣлъ, что противники начинаютъ его одолевать, онъ вдругъ выстрѣ-

ливалъ въ нихъ субстратами, суррогатами, автодидактами и еще болѣе страшными словами и часто даже цѣлыми латинскими пословицами, и противники конфузились и умолкали. — Нѣкоторыя почтенныя, чепорныя дамы не совсѣмъ его долюбивали: онѣ находили его манеры слишкомъ развязными, а остроты черезчуръ рѣзкими и притомъ не могли примириться съ его репутаціей извѣстнаго игрока и кутилы; но онѣ были лучшей танцоръ, и потому его приглашали на всѣ балы.

Такимъ образомъ, жизнь Алексѣя Ивановича, не смотря на отсутствіе денежныхъ фондовъ, текла вездѣ какъ по маслу. Хотя онѣ жилъ на счетъ ближнихъ, и это почти всѣ знали, но никто не возмущался этимъ фактомъ. Да и въ самомъ дѣлѣ у него это выходило не только не гадко, но даже какъ-то очень мило и привлекательно. Паразитство его выкупалось удивительною способностію любить искренно всѣхъ и готовностію помочь каждому. И хоть самъ онѣ жилъ займами, но съ горячимъ участіемъ широко отверзалъ свой кошелекъ для своихъ бѣдныхъ друзей (паразитовъ низшаго полета), которыхъ у него тоже было очень много и которымъ онѣ весьма часто отдавалъ послѣднее.

Анна Васильевна, разумѣется, терпѣть не могла Гладкаго и хоть была съ нимъ въ родствѣ, но не признавала и старалась скрыть это родство и не допускала Алексѣя Ивановича ни до малѣйшей короткости съ своимъ семействомъ. Однако, задумавъ дѣйствовать черезъ этого, крайне непріятнаго ей человѣка, она теперь горѣла нетерпѣніемъ его увидѣть. Онѣ не заставила себя долго ждать. Нашъ добрый малый никогда не сидѣлъ дома и съ утра до ночи слонялся по знакомымъ или, какъ онѣ самъ выражался, «обтекалъ вселенную». Куда бы онѣ ни спѣшилъ, не могъ проѣхать мимо знакомаго дома безъ того, чтобъ не заѣзжать въ него хоть на минуточку. Случалось, что, выѣхавъ поутру съ опредѣленною цѣлью—побывать непременно у такого-то, онѣ не доѣзжалъ до ночи до мѣста назначенія, потому что не могъ утерпѣть, чтобъ не заѣхать въ знакомые дома, стоявшіе на его пути: тутъ оставался онѣ поболтать, тамъ оставляли его обѣдать, тамъ—пить чай, тамъ, наконецъ, ужи-

нать, и такимъ образомъ онъ часто не попадалъ туда, куда былъ званъ и гдѣ его ожидали по цѣлымъ днямъ. И вотъ, проѣзжая мимо квартиры Черново-Сысолевскихъ, онъ сказалъ себѣ мысленно: «дай, заверну сюда. Нѣтъ ли тутъ чего новенькаго—не выдаютъ ли кого-нибудь замужъ? Здѣсь вѣдь этимъ только и занимаются». И онъ велѣлъ кучеру остановиться. Анна Васильевна, не смотря на лихорадочную радость, которая овладѣла ея сердцемъ, при видѣ Гладкаго, приняла его съ подабающимъ спокойствіемъ. Было уже безъ четверти пять, и она, къ крайнему изумленію гостя, оставила его у себя обѣдать. За обѣдомъ Анна Васильевна довольно усердно подчивала его виномъ и очень благосклонно смѣялась его остротамъ, стараясь между тѣмъ ловкими фланговыми движеніями своихъ отрывочныхъ фразъ навести разговоръ на его богатаго пріятеля. Она была такъ милостива къ Алексѣю Ивановичу, что позволила даже ему послѣ обѣда закурить сигару у себя въ гостиной. Гость болталъ безъ умолку, а хозяйка время отъ времени пересѣкала его рѣчь коротенькой фразой и такимъ образомъ незамѣтно поварачивала разговоръ въ желаемую дирекцію и наконецъ направила его на любимую тему Алексѣя Ивановича—на рассказы о его друзьяхъ. Это была чувствительная струна Гладкова, и онъ такъ расхотѣлся, что началъ даже рассказывать Аннѣ Васильевнѣ о холостыхъ ужинахъ, которыми въ то время угощалъ съ большимъ успѣхомъ московскую молодежь какой-то заѣзжій провинціалъ, желавшій себя вдругъ прославить и чрезъ то занять высокое положеніе въ обществѣ.

— Извините меня, Алексѣй Ивановичъ, прервала его Анна Васильевна, когда онъ, слишкомъ увлекшись любимымъ предметомъ, вошелъ было въ подробности на счетъ сортовъ винъ, которыми угощалъ ихъ наканунѣ тароватый провинціалъ, и было началъ исчислять актрисъ, присутствовавшихъ за ужиномъ, извините. Я стара и гожусь вамъ въ матери, и потому вы мнѣ позволите, по участію къ вамъ, прочесть вамъ маленькую мораль.

— Дѣлайте все, что вамъ угодно: можете даже поставить меня въ уголъ и на колѣни.

— Нѣтъ... но я хотѣла вамъ сказать, что вамъ пора бы уже остепениться: пора бросить эти ужины, пора начать понемногу сходиться со степенными людьми.

— А вы думаете, что у меня нѣтъ степенныхъ друзей? Помилуйте? Теперь сюда пріѣхалъ другъ моего дѣтства—пансіонскій товарищъ, такъ ужъ это такой степенный, такой богобоязливый человѣкъ, что даже васъ напугаетъ своею pruderie.

— Ну, я что-то не вѣрю, чтобъ у васъ былъ такой другъ.

— Прикажете снять со стѣны этотъ образъ,—и я вамъ присягну...

— Не нужно! Зачѣмъ? Введешь васъ только въ двойной грѣхъ: лгите лучше просто—безъ присяги...

— Вы все не вѣрите!... Помилуйте!... Живой человѣкъ: назову вамъ даже его фамилію—Задольскій.

— Какой это Задольскій? спросила очень равнодушно и какъ бы нехотя Анна Васильевна, притворяясь, будто забыла или не слыхала недавняго извѣстія о Задольскомъ и его огромныхъ доходахъ, извѣстія, сообщеннаго нѣсколько дней тому назадъ Алексѣемъ Ивановичемъ въ ея присутствіи.

— Его зовутъ Григорій Дмитріевичъ,—богачъ и милліонеръ такой, что просто досада!

— Что-жъ тутъ досаднаго?

— Да помилуйте, богатство досталось какому-то затворнику, и онъ имъ не пользуется, подобно собакѣ, возлежащей на стѣнѣ, ничего не любить, поведенія и нравственности безукоризненной до непозволительности, до такой степени безукоризненной, что подумаешь, что вы его воспитывали.

— Благодарю за комплиментъ.

— Не стоитъ благодарности. Я всѣми силами стараюсь сдѣлать его съ пути истины, а онъ, злодѣй, все меня хочетъ исправить... Можете себѣ представить, что за человѣкъ: соблюдаетъ всѣ посты и даже похаживаетъ иногда къ ранней обѣднѣ. Каково это сносить въ нашъ просвѣщенный вѣкъ! Каково мнѣ это видѣть,—вѣдь онъ мнѣ другъ дѣтства!

— А вамъ это непріятно...

— Какъ ладонь, какъ ладонь!... Словомъ, человѣкъ ужасный во всѣхъ отношеніяхъ... А главное—не употребляетъ никакихъ крѣпкихъ напитковъ...

— Вы опять принимаетесь за свою любимую тему...

— Виновать, виновать!... Нѣтъ, вы сами посудите: человѣкъ съ огромнымъ состояніемъ, а живетъ какъ монахъ, никого къ себѣ не принимаетъ и самъ никуда ни ногой.

— Вы говорите—съ огромнымъ состояніемъ; но какъ же о немъ до сихъ поръ ничего не было слышно?

— Онъ все жилъ за-границей—занимался тамъ какими-то умными глупостями...

— Я помню одну Марью Сергѣевну Задольскую...

— Это ея родной сынъ...

— Но тѣ Задольскіе были совсѣмъ небогатые; откуда же у сына такое состояніе?

— Видите ли, у него былъ дядя, бездѣтный человѣкъ и ужаснѣйшій аферистъ, и я ужъ не знаю, какими тамъ способами—откупамъ что ли, или чѣмъ-нибудь еще хуже—только этотъ дядя въ короткое время нажилъ страшное состояніе. Съ братомъ своимъ, т.-е. съ отцомъ моего пріятеля, онъ совсѣмъ не знался и терпѣть его не могъ и имѣлъ къ тому самую законную причину: при раздѣлѣ, когда отецъ моего пріятеля былъ еще очень молодъ, невиненъ и неопытенъ, онъ его обобралъ, ну и за это его же всю жизнь ненавидѣлъ. Un charmant caractère—n'est ce pas?

— За что же онъ его ненавидѣлъ, я не понимаю?

— За то, что ограбилъ.

— То-есть какъ же это?

— Братъ ненавидѣлъ ограбленнаго имъ брата.

— Прекрасно; но я все-таки не понимаю, за что.

— За то, что онъ его ограбилъ. Это всегда такъ бываетъ: я вамъ, на примѣръ, надѣлаю гадостей и ужъ никогда вамъ этого не прощу. Скорѣе прощу челоѣку, который мнѣ самому надѣлалъ гадостей,—это легче.... вамъ это кажется страннымъ. Но такое чувство лежитъ въ характерѣ всего челоѣчества, и

я вамъ признаюсь откровенно, что, по моему мнѣнію, это не дѣлаетъ чести роду человѣческому.

— Я то же думаю. Что же дальше?

— Итакъ, дядя моего пріятеля пустился на воровскія (какъ говорятъ, очень счастливыя) деньги въ спекуляціи, и такъ какъ честнымъ людямъ у насъ всегда везетъ, то, какъ я уже имѣлъ счастье вамъ докладывать, онъ разбогатѣлъ страшно. Когда, наконецъ, ограбленный имъ братъ умеръ, и онъ узналъ, что его племянникъ находится въ крайне трудныхъ обстоятельствахъ, онъ вдругъ пожелалъ ему помочь. Вѣроятно, онъ разсудилъ, что племянникъ ни въ чемъ неповиненъ: «Его, дескать, еще не было на свѣтѣ, когда я обчистилъ его папеньку. За что же мнѣ ему мстить?» Послѣ этого размышленія онъ выписалъ племянника къ себѣ. А пріятель мой хоть на словахъ и великій христіанинъ, но въ самомъ дѣлѣ воплощенная гордыня. Явиться-то къ дядѣ онъ явился, но не выказалъ передъ нимъ подобающей подлости и надлежащаго униженія. Дядѣ это очень не понравилось, и онъ нашелъ, что племянникъ его человѣкъ неблагодарный, а главное—что всего лучше—онъ якобинецъ и атеистъ (онъ-то...ха, ха, ха, ха!). И вотъ дядя вознамѣрился лишить племянника наслѣдства. Но—*l'homme propose, Dieu dispose*—это ему не удалось. Разъ какъ-то онъ на кого-то за что-то взбѣсился—кажется, на ключницу за пропашу пары прошлогоднихъ яицъ,—и съ нимъ сдѣлался ударъ отъ огорченія, и онъ волею Божіей помре. Загѣшаніе не было сдѣлано, и мой пріятель сталъ милліонеромъ.... И можете себѣ представить, какой чудакъ—онъ было хотѣлъ отказаться отъ наслѣдства!

— Это отчего?

— Отъ своей честности—глупости тожъ (въ немъ всѣ добродѣтели доходятъ до глупости). Когда онъ узналъ, что ему достается послѣ дяди имѣніе, то впалъ въ какую-то иппохондрію—сталъ говорить, что нехорошо получить наслѣдство послѣ чловѣка, который тебя не любилъ. Его ужъ насилу уговорилъ какой-то попъ, духовникъ его и его матери,—растолковать ему, что онъ хочетъ такъ поступить по наущенію діавола, который навелъ

на него прелесть, и что его честность есть ни что иное; какъ гордость въ маскарадномъ костюмѣ добродѣтели, и что.... Ну, да и пр. и пр., и пр.—все въ эдакомъ же вкусѣ.

— Какой онъ долженъ быть дуракъ—этотъ пріятель Алексѣя Ивановича, сказала про себя Анна Васильевна.—Однако вашъ пріятель прекрасный человѣкъ, промолвила она вслухъ—Вы меня крайне заинтересовали его характеромъ.... Я принимаю въ немъ участіе: мнѣ его очень жаль.

— Да и мнѣ самому онъ очень жалокъ... У него есть еще одна очень миленькая добродѣтель—мнительность. Вдругъ ему вообразится, что онъ боленъ, и тогда онъ дѣлается совершенно *le malade imaginaire*—сочиненія господина Жана Баптиста Пожелена Мольера: обставить себя стѣянками, сидѣть и хандрить. И ужъ никакой докторъ на свѣтѣ не увѣритъ его, что онъ здоровъ. Это у него продолжается иногда нѣсколько мѣсяцевъ... И вдругъ ему почему-то придетъ въ голову, что онъ выдоровѣлъ, и тогда онъ готовъ въ самый трескучій морозъ ходить по улицѣ въ одномъ сюртукѣ. Теперь, напримѣръ, онъ выдумалъ себѣ ужъ я не знаю какую болѣзнь—кажется, водяную, но скрываетъ отъ меня свое предположеніе, потому что знаетъ, что расхохочусь,—вѣдь онъ худъ, какъ спичка.

— Очень жаль мнѣ его; я, право, начинаю думать, что было бы даже хорошо, если-бъ вы его немного развернули.

— Старался—видѣть Бога, старался: нѣсколько разъ тащилъ его покутить.

— Да за чѣмъ же непременно кутить? Нѣтъ, вы познакомьте его съ обществомъ—введите его въ какой-нибудь порядочный домъ, въ хорошее семейство.

— Ага! понимаю, голубушка, чего тебѣ хочется, сказалъ Алексѣй Ивановичъ мысленно. А я, дуракъ, и не догадался, отчего ты со мной сегодня такъ любезна.... Богатый женишокъ, понимаю!—Ахъ знаете, сказалъ онъ вслухъ, мнѣ пришла вдругъ гениальная мысль.... Позвольте мнѣ имѣть великую дерзость вамъ его представить.

— Я ужъ право, не знаю.... Не люблю я новыхъ знакомствъ.... Вѣдь вы говорите, что это такой странный человѣкъ....

— Нѣтъ, ради Бога, Анна Васильевна, позвольте привезти его къ вамъ.

— Ну пожалуй, если этого вамъ ужъ такъ хочется.

— Когда же?

— Ужъ я право, не знаю.

— Да вотъ въ пятницу по утру—у васъ вѣдь пріемный день.

— Въ пятницу мы, какъ и всѣ, будемъ въ концертѣ у Баста.

— Ну, такъ я его вытащу въ концертъ.

— И прекрасно! Представьте мнѣ его въ концертѣ: вы знаете, я разборчива на знакомства, и потому прежде чѣмъ рѣшиться позволить человѣку пріѣхать ко мнѣ въ домъ, я должна взглянуть на него: если я его найду порядочнымъ человѣкомъ, то привозите его ко мнѣ, если же нѣтъ, то извините...

— Очень резонно изволите разсуждать, ваше превосходительство.

— О нѣтъ, въ томъ-то и дѣло что нерезонно: я теперь только вспомнила, что намъ съ нимъ невозможно видѣться въ концертѣ...

— Какъ невозможно?

— Мы съ вами забыли одно обстоятельство: вѣдь вашъ пріятель теперь боленъ...

— Выздоровѣть—узнать про концертъ, выздоровѣть! Онъ ужасный меломанъ и къ тому же онъ съ этимъ Баста былъ очень коротко знакомъ въ Италіи. Ахъ! я забылъ вамъ сказать, что мой пріятель превосходно играетъ на фортепіано—какъ настоящій артистъ: онъ нѣсколько лѣтъ заграницей бралъ уроки у Chopin.

III.

Г. Баста, пріѣзжій итальянскій пѣвецъ, давалъ концертъ въ залѣ благороднаго собранія. Онъ заломилъ такую безсовѣстную цѣну, что всѣ приняли его за генія и сочли долгомъ быть у него. Анна Васильевна терпѣть не могла музыки, которая дѣйствовала непріятно на ея нервы, но, не желая показать,

что она хуже других и что у нея мало денегъ, скрѣпя сердце, взяла три билета—для себя и для дочерей; мужа своего она не взяла съ собой. Пріѣхавъ въ собраніе, она усѣлась въ одномъ изъ первыхъ рядовъ и была страшно не въ духѣ. Во-первыхъ, ее сердила чрезмѣрно дорогая цѣна билетовъ. Во-вторыхъ, она немного раскаивалась, что назначила что-то въ родѣ rendez-vous человѣку, который, еще одинъ Богъ знаетъ что такое,—который, можетъ быть, даже нехорошо говорить по-французски. Втретьихъ, ей было непріятно, что она пріѣхала слишкомъ рано — при началѣ сѣзда. Больше же всего ее разстроивало внезапное появленіе одной молодой дамы, рѣдко выѣзжавшей въ свѣтъ, появленіе, которое сразу отвлекло всѣ лорнеты, направленные было на ея дочерей: это была молодая графиня Бобринская, осіявшая вдругъ всю залу своей классически безукоризненной красотой.

«Вѣдь вотъ право какая! сказала про себя ревнивая мать: никуда не ѣздить, а теперь, какъ нарочно, сюда пріѣхала». Потомъ досада Анны Васильевны на молодую красавицу перешла даже въ ропотъ на Провидѣніе: «Для чего это, говорила она мысленно, эта Бобринская такъ хороша? Какая ей польза отъ красоты? Вѣдь она ужъ замужемъ!... Право, хоть бы Богъ хоть у замужнихъ женщинъ отнималъ красоту! А то это ни на что не похоже—отвлекають, безо всякой пользы для себя, вниманіе отъ моихъ дочерей. Эта, напримѣръ,—зачѣмъ она такая красавица? Хоть бы еще была кокетка, а то вѣдь нѣтъ: сама конфузится своей красоты... Странно, право: цѣлые мѣсяцы сидѣла все дома, а теперь, ни съ того, ни съ сего, вдругъ пріѣхала!»

Такъ думала Анна Васильевна и думала, разумѣется, на своемъ природномъ языкѣ, — т. е. по-французски, а мы очень дурно переводимъ съ этого языка, а потому просимъ извиненія у читателей, что привели здѣсь ея монологъ а parte въ переводѣ, слишкомъ испещренномъ руссизмами, столь не собственными нѣжнымъ устами русскихъ дамъ... Кстати, извиняюсь навсегда за языкъ свѣтскихъ лицъ въ моемъ разсказѣ: читатель постоянно долженъ подразумѣвать, что они говорятъ по боль-

шей части по-французски, и что ихъ разговоры — дурной переводъ съ французскаго.

Но, покуда мы это пишемъ, зала все наполнялась и наполнялась. Наконецъ, раздалась увертюра, вскорѣ послѣ которой появился и самъ г. Баста. Его привѣтствовали громы рукоплесканій, продолжавшіеся нѣсколько минутъ; хлопали рѣшительно всѣ: — одни потому, что уже слышали пѣвца заграницей, и что дѣйствительно онъ имъ доставлялъ наслажденіе; другіе изъ уваженія къ его славѣ; третьи хлопали, видя, что всѣ порядочные люди хлопаютъ, и что, слѣдовательно, и на нихъ лежитъ священный долгъ отбивать себѣ руки; наконецъ, были тутъ и такіе, которымъ просто было весело стучать въ ладоши. Баста не даромъ взялъ деньги съ публики: онъ старался, сколько могъ, угодить ей и выводилъ голосомъ такіе штуки, что по залѣ пробѣгалъ поминутно восторженный шепотъ одобренія. Анна Васильевна бѣсилась. Она не любила, когда порядочные люди расточаютъ дань восторга передъ артистами, т. е. людьми, которые изъ-за денегъ выходятъ на подмостки; она тутъ видѣла униженіе дворянскаго достоинства со стороны общества, къ тому же ей было обидно, что всѣ заняты какимъ-то заѣзжимъ крикуномъ, когда тутъ сидятъ красавицы ея дочери. При каждомъ вокальномъ кунштюкѣ пѣвца она мысленно восклицала: «Ну, вотъ, видно за эту-то ноту онъ и взялъ съ насъ тридцать рублей». Но на вопросы окружающихъ, какъ ей нравится пѣніе, она отвѣчала: «*c'est sublime*»! Отошла первая часть концерта и началась суматоха антракта; меломаны страшно суетились — обѣгали своихъ знакомыхъ, выпрашивая ихъ мнѣніе или объясняя имъ съ большимъ жаромъ достоинства пѣвца. Общее впечатлѣніе было такъ сильно, что никто не обращалъ вниманіе на Анну Васильевну и ея дочерей, — и потому никто не замѣтилъ, когда Алексѣй Ивановичъ привлекъ къ ней, какъ жертву, какого-то блѣднаго и худого господина.

— Позвольте вамъ представить моего пріятеля — Григорія Дмитріевича Задольскаго — ужаснѣйшій повѣса и буянъ. Сдѣ-

дайте милость, возьмите его подъ вашу опеку, а то онъ совсѣмъ исповѣсничается.

Такъ отрекомендовалъ Гладкій Аннѣ Васильевнѣ своего пріятеля.

Задольскій сильно покраснѣлъ и сконфузился, но пробормоталъ что-то въ родѣ любезности. По всему было видно, что онъ пріѣхалъ въ концертъ, совсѣмъ не ожидая сдѣлать новое знакомство, и что Гладкій, не давъ ему образумиться, овладѣлъ имъ съ-нахрапу и просто силой подвелъ къ Аннѣ Васильевнѣ. Она, конечно, это замѣтила и — благо за шумомъ антракта никто изъ окружающихъ не могъ услышать, что она говорила, — рѣшилась сразу овладѣть богатымъ женихомъ.

— Я знала очень коротко вашу матушку, сказала она.

— Матушку! повторилъ, вдругъ ожившись, Задольскій.

— Да, Марью Сергѣевну, отвѣчала Анна Васильевна. — Мы съ ней были очень дружны въ молодости, добавила она съ какой-то нѣжной грустью въ глазахъ и въ голосѣ.

Григорій Дмитріевичъ такъ мало зналъ свѣтъ и людей, что принялъ это выраженіе глазъ и голоса за любовь къ своей матери — и весь растаялъ: онъ пустился въ безконечные распросы о ней. Анна Васильевна, будто вдохновенная свыше, какъ великій полководецъ въ рѣшительную минуту сраженія, отвѣчала на все впопадъ. Она даже припомнила какое-то забавное происшествіе *quiproquo* или что-то въ этомъ родѣ, случившееся лѣтъ сорокъ тому назадъ съ ней и съ матерью Задольскаго на балѣ въ благородномъ собраніи, — въ той самой залѣ, гдѣ она теперь съ ея сыномъ слушала концертъ. Она рассказала это такъ живо, что Григорій Дмитріевичъ увѣрился совершенно, что говорить съ другомъ своей матери, и такъ какъ онъ въ первый разъ въ своей жизни встрѣтилъ существо такое близкое къ существу, которое было ему до сихъ поръ ближе всего на свѣтѣ, то попросилъ совершенно отъ души позволенія бывать у Анны Васильевны.

— Только пожалуйста пріѣзжайте не по утру — къ чему эти церемоніи, сказала ему Анна Васильевна, которая боялась,

чтобы при утреннем визитѣ Григорій Дмитриевичъ не столкнулся въ ея домѣ съ другими ловкими матерями, способными отбить жениха у ея дочерей. Приѣзжайте завтра вечеромъ запросто вмѣстѣ съ Алексѣемъ Ивановичемъ, продолжала она:—у насъ никого не будетъ.

Между тѣмъ антрактъ кончился, и Задольскій съ Гладкимъ, откланявшись Аннѣ Васильевнѣ, отправились на свои мѣста. При разѣздѣ Анна Васильевна и Григорій Дмитриевичъ издали обмѣнялись поклонами. Въ это время напоръ толпы, подобно морскому приливу, кинулъ къ ней Гладкаго.

— Какъ вамъ нравится мой медвѣдь? спросилъ онъ ее.

— Онъ мнѣ довольно нравится.... Приѣзжайте же съ нимъ завтра вмѣстѣ непременно,—я не мастерица говорить, вы мнѣ поможете.

Гладкій хотѣлъ что-то сострить, но въ эту самую минуту крикнули карету Черново-Сысольской, Анна Васильевна двинулась къ подъѣзду,—и толпа быстрымъ потокомъ раздѣлила ее съ Алексѣемъ Ивановичемъ.

Анна Васильевна съ дочерью сѣла къ себѣ въ карету и отправилась домой; тоже въ каретѣ и тоже домой отправились и Задольскій, а Гладкій побрелъ пѣшкомъ, самъ не зная куда, только, разумѣется, не къ себѣ на квартиру. Дорогой Анна Васильевна думала о Задольскомъ, Задольскій—объ Аннѣ Васильевнѣ, а Гладкій и о Задольскомъ и объ Аннѣ Васильевнѣ.

— Да это долженъ быть человѣкъ совсѣмъ несвѣтскій,—разсуждала Черново-Сысольская сама съ собой.—Онъ мнѣ совсѣмъ не нравится. Mais c'est un homme tout-à-fait comme il faut.... Къ тому же у него сто тысячъ дохода!... Ахъ! чѣмъ бы его къ намъ привлечь? Алексѣй Ивановичъ говорилъ, что онъ очень много читалъ, а мои дочери ничего не читали. Впрочемъ, развѣ ученые женятся непременно на ученыхъ? Напротивъ: говорятъ, они всегда женятся на своихъ кухаркахъ. Но что объ этомъ думать! Богъ милосердъ—все устроить.

— Вѣрно, эта дама очень любила мою мать, думалъ Григорій Дмитриевичъ, запахиваясь шубой и поправляя свой кашне.

Она такая важная, холодная, а какъ стала вспоминать о моей матери, такъ и глаза оживились, и въ голосѣ явилась какая-то нѣжность. Вотъ, говорятъ про этихъ свѣтскихъ дамъ, что будто у нихъ нѣтъ сердца. Я думаю, это вздоръ: у нихъ только наружность холодная, онѣ не кричатъ и не махаютъ руками, какъ эти эмансипированныя женщины, а чувствуютъ, можетъ быть, гораздо сильнѣе тѣхъ, которыя такъ прекрасно ораторствуютъ о чувствахъ. Впрочемъ, не знаю, какъ другія свѣтскія дамы, но Черново-Сысольская не безчувственная женщина: сорокъ лѣтъ тому назадъ знала мою мать и до сихъ поръ вспоминаетъ о ней съ такимъ чувствомъ. Я, право, радъ этому знакомству: я здѣсь не знаю ни одной живой души; кромѣ этого пустомели Гладкаго, никому нѣтъ до меня никакого дѣла... Впрочемъ, спасибо ему, что онъ сегодня вытащилъ меня въ концертъ.

— Итакъ, наша знаменитая Анна Васильевна поймала сегодня въ свои материнскія тенета восьмагаго жениха; теперь стоитъ только заманить еще одного, — и весь ея выводокъ пристроенъ. Такъ говорилъ про себя Алексѣй Ивановичъ Гладкій, быстро шагая по тротуару. Какая жъ однако она бестія, продолжалъ онъ: сразу поняла человѣка, да такъ прямо и схватила его за чувствительную струну: заговорила съ нимъ о его матери, которой онъ больше десяти лѣтъ не можетъ забыть, — и чувствительный мальчикъ сейчасъ разнѣжничался, чуть не заплакалъ..... Однако какія у нея сценическія способности! Я и не подозревалъ. Вдругъ сдѣлала чувствительную фizioномію — точно пансіонерка! Анна Васильевна, неподвижная какъ мраморъ, Анна Васильевна сдѣлала чувствительную фizioномію, потеряла свое достоинство! Кто этому повѣритъ! Вотъ, что значить деньги! Ахъ, еслибъ эта свадьба состоялась, еслибъ Задольскій втюрился въ одну изъ герцогинь Черново-Сысольскихъ! Уже онъ бы никогда не позабылъ, что нѣкоторымъ образомъ обязанъ мнѣ своимъ счастьемъ: у него память неподобная; бывало въ пансіонѣ рѣзалъ наизусть весь списокъ латинскихъ правильныхъ глаголовъ подрядъ, какъ они стоятъ въ грамматикѣ, валялъ ихъ безъ запинки съ ихъ коренными временами.

О, если онъ женится на одной изъ этихъ герцогинь, мнѣ будетъ лафа: откроется неисчерпаемый источникъ для субсидій... Да даже просто можно будетъ велѣть Задольскому положить мнѣ пожизненную пенсію и отвести великолѣпную квартиру въ новоотстроенномъ домѣ.

Когда Алексѣй Ивановичъ размышлялъ такимъ образомъ, съ нимъ поравнялся какой-то господинъ въ щегольскихъ саняхъ на великолѣпномъ рисакѣ.

— Ты куда? крикнулъ онъ Гладкому, велѣвъ кучеру приостановиться.

— Да я почему знаю, отвѣчалъ ему Алексѣй Ивановичъ.

— А ты?

— Я къ Шевалье... хочешь со мной?

— Какъ не хотѣть!

— Ну, такъ прыгай ко мнѣ въ сани“.

Гладкій прыгнулъ, и они покатили.

IV.

Итакъ, на другой день вечеромъ Григорій Дмитріевичъ, въ сопровожденіи Алексѣя Ивановича, долженъ былъ явиться къ Аннѣ Васильевнѣ. Еще никогда въ ея гостиной не появлялся человѣкъ, который былъ бы ей такъ не по нутру, какъ Задольскій. Онъ, разумѣется, никогда бы не попалъ къ ней въ домъ, еслибъ не обладалъ разрывомъ-травой нашего образованнаго вѣка, передъ которымъ спадаютъ всякіе затворы и все отвергается, то-есть богатствомъ. Проницательная женщина, какъ мы уже видѣли, догадалась сразу, что онъ сильно одержимъ той зловредной наклонностью къ увлеченію, къ предотвращенію которой клонилась вся ея система воспитанія. Она не ошиблась. Григорій Дмитріевичъ и по характеру своему, и по взгляду на вещи, и по воспитанію былъ, какъ говорится, антиподомъ Анны Васильевны. Его покойная мать тщательно развивала и укрѣпляла въ немъ всѣ тѣ наклонности, которыя Анна Васильевна преслѣдовала и искореняла въ своихъ дѣтяхъ. Мать Григорія

Дмитріевича была женщина образованная и начитанная; въ молодости своей она знала наизусть чувствительныя повѣсти Карамзина, обожала Руссо, восторгалась Шатобріаномъ и искренно плакала объ участи негровъ, живущихъ на томъ полушаріи. Шестнадцати лѣтъ она вышла замужъ за человѣка бѣднаго и такого же чувствительнаго, какъ она сама. Счастье ихъ было непродолжительно: не прошло и двухъ лѣтъ со дня ихъ свадьбы, какъ мужъ ея умеръ. Она едва перенесла эту потерю. Оставшись молодой вдовой, она съ десятилѣснымъ ребенкомъ, котораго сама кормила (что еще было такою рѣдкостью между русскими порядочными дамами того времени), уѣхала въ деревню и рѣшилась посвятить себя воспитанію сына. Въ уединеніи горе ея перешло въ постоянную неутѣшную тоску. Она стала искать утѣшенія въ религіи и стала читать духовныя книги; тогда *l'imitation de Jésus-Christ* сдѣлалось ея настольной книгой. Но это не успокоило ея тоскующей души; напротивъ, она почувствовала еще больше отвращенія отъ суетной грѣховной земной жизни. Первые дѣтскія впечатлѣнія Григорія Дмитріевича были не веселы: ребенокъ никогда не видалъ своей матери веселой или смѣющейся; она всегда была грустна и задумчива и хотя часто и горячо ласкала своего сына, но ласки свои всегда сопровождала слезами и, цѣлуя и прижимая его къ сердцу, невольно восклицала: «сирота, сирота!» Отъ того ли, что онъ заразился этой вѣчной грустью, или отъ того, что росъ постоянно одинъ, безъ товарищей, въ немъ ужъ съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ явилась склонность къ задумчивости и меланхоліи, и онъ не былъ похожъ на дѣтей своего возраста. Къ тому же нетерпѣливо заботливая мать слишкомъ рано и слишкомъ напряженно принялась его учить и развивать въ немъ умственныя способности. Въ тѣ лѣта, когда другія дѣти съ полнымъ увлеченіемъ играютъ въ лошадки или подбиваютъ другъ другу глаза, онъ уже читалъ серьезныя книги, задумывался объ участи негровъ и крѣпостныхъ людей и умѣлъ, по внушенію матери, вникать въ свои нравственныя недостатки. Цѣль, которую мать имѣла въ виду, при воспитаніи сына, состояла въ томъ,

чтобы всѣми силами возвысить умъ и душу ребенка, отдалить отъ него всякія прованческія, опошляющія душу впечатлѣнія и вселить въ него постоянную заботу о своей нравственной чистотѣ. Марья Сергѣевна особенно хотѣла развить въ мальчикѣ наклонность къ изящному; орудіемъ для этого она избрала музыку. Она была одной изъ любимыхъ ученицъ знаменитаго Фильда, — и вотъ она принялась семилѣтняго Гришу учить играть на фортепiano. Мальчикъ былъ занятъ почти съ утра до ночи то повтореніемъ уроковъ, то музыкой, то чтеніемъ, то рисованіемъ; время же рекреаций посвящалось бесѣдѣ о возвышенныхъ предметахъ. Судя по направленію этихъ бесѣдъ и морали, которыми онѣ наполнялись, трудно было рѣшить, для какого земнаго поприща готовила мать своего сына, ибо она постоянно внушала ему, что жизнь есть не что иное, какъ долгъ, что всѣ земныя блага не прочны, что не должно заботиться ни о деньгахъ, ни объ успѣхахъ въ обществѣ, но только о своей душѣ. Когда, наконецъ, мать передала сыну все, что знала сама, и дальнѣйшее домашнее ученіе оказалось невозможнымъ, — она рѣшилась, но послѣ долгой внутренней борьбы, слезъ и колебаній, отвезти его въ Москву и отдать въ пансіонъ. Какъ твердо ни была она увѣрена въ крѣпкихъ основахъ нравственности, которыя положила въ сына, но все-таки опасалась, чтобъ школьные товарищи не сбили его съ пути, и потому, отдавая его въ пансіонъ, долго и со слезами внушала ему, чтобъ онъ держался дальше отъ своихъ товарищей, не вѣшивался ни въ какія ихъ игры и никогда не слушался ихъ совѣтовъ. Но эти предостереженія были совершенно лишнія. Застѣнчивый и стыдливый мальчикъ, воспитанный въ уединеніи и въ аристократически пуританской чистотѣ нравовъ, лишь только попалъ въ шумный кругъ буйныхъ, драчливыхъ школьниковъ, какъ почувствовалъ къ нимъ страхъ и отвращеніе: крикъ, ругань, тривіальныя, а подчасъ и непристойныя выраженія — все это было для него такъ дико, такъ оскорбляло его нѣжное чувство, что онъ сталъ умолять мать, чтобъ она взяла его изъ пансіона. Марья Сергѣевна была въ восхищеніи отъ впечатлѣнія, которое произвели на ея

сына его пансіонскіе товарищи; она обняла его съ чувствомъ материнской и педагогической гордости и сказала, что она теперь за него не опасается и знаетъ на дѣлѣ, что никакіе товарищи не могутъ быть опаснымъ для него примѣромъ, потому что золото не тускнѣетъ ни отъ какой грязи. Такимъ образомъ, Григорій Дмитріевичъ остался въ пансіонѣ. Долго положеніе его было невыносимо. Товарищи, сразу замѣтивъ его женственную стыдливость, принялись нарочно сыпать передъ нимъ такіа слова и выраженія, которыхъ онъ никогда не слыхивалъ, живя подъ неуспыннымъ надзоромъ своей матери, но о значеніи которыхъ онъ смутно догадывался съ отвращеніемъ и страхомъ. Онъ краснѣлъ и едва удерживалъ слезы, что еще больше вызывало его товарищей на насмѣшки. Онъ переносилъ эти насмѣшки молча, со стоическою твердостью и гордостью нравственнаго превосходства передъ товарищами, и старался сколько могъ удалиться отъ нихъ, какъ отъ нравственной заразы.

Прошло три года; Григорій Дмитріевичъ поступилъ въ университетъ. Съ ненасытимой жаждою познанія и съ самымъ чистымъ восторгомъ слушалъ онъ одушевленные лекціи краснорѣчивыхъ профессоровъ. Но такъ какъ онъ совершенно не думалъ ни объ ученой степени, ни о служебной карьерѣ,—ему было совершенно все равно, получить ли онъ десятый или двѣнадцатый классъ при выпускѣ, или вовсе ничего не получить,—и такъ какъ онъ не думалъ ни о какой практической пользѣ отъ наукъ, то ходилъ какимъ-то дилетантомъ по всѣмъ курсамъ и факультетамъ, слушая только то, что ему нравилось. Въ наукѣ его интересовало только общее—праздничная ея сторона—начала и идеи, но подробности и факты ему казались чѣмъ-то низкимъ и прозаическимъ.

Во все время своего студенчества онъ не приобрѣлъ себѣ ни одного друга и, по возвращеніи съ лекціи, дѣлился своими восторженными впечатлѣніями только съ своей матерью. Съ товарищами онъ ограничивался только шапочнымъ знакомствомъ. Одинъ только Алексѣй Ивановичъ Гладкій, на правахъ пансіонскаго однокашника, нашелъ средство проникать къ нему на

квартиру. Но это произошло не вследствие того, чтобъ Григорій Дмитріевичъ оказывалъ ему какое-нибудь предпочтеніе передъ товарищами, но въ силу необыкновенной неотвязчивости, всепроницаемости и, такъ сказать, вездѣсущія Алексѣя Ивановича.

Изъ университета Григорій Дмитріевичъ вынесъ какія-то энциклопедическія поверхностныя познанія; онъ вступилъ въ жизнь, вооруженный множествомъ общихъ началъ, множествомъ идей и системъ и обильнѣйшимъ запасомъ благороднѣйшихъ стремленій и любви ко всему человѣчеству. Весь этотъ умственный арсеналъ былъ воздвигнутъ на почвѣ совершеннаго незнанія людей и непониманія дѣйствительной жизни. Вскорѣ два обстоятельства сдѣлали его окончательно страннымъ человѣкомъ. Во-первыхъ, онъ лишился матери. Горе его было ужасно: онъ потерялъ единственнаго друга—единственно близкое ему существо,—и остался совершенно одинокъ. Онъ предался горести съ такой же силой, съ какой его мать оплакивала смерть его отца. Первое время ему казалось, что и жить не для чего: жизнь ему представлялась чѣмъ-то совершенно пустымъ, и онъ думалъ, что онъ не перенесетъ своего одиночества. Но время шло, и онъ сталъ замѣчать съ ужасомъ, что печаль его стала ослабѣвать и притупляться и что жизнь его оказывается не такой невыносимой, какъ показалась ему на первыхъ порахъ его потери; и вотъ начались въ немъ самыя ужасныя мученія совѣсти: онъ сталъ упрекать себя въ безчувственности, эгоизмѣ и неблагодарности, чувствовалъ къ себѣ презрѣніе, какъ къ человѣку неспособному къ глубокому чувству, и даже началъ какъ-то искусственно возбуждать въ себѣ печаль и тоску. Такъ какъ онъ жилъ въ совершенномъ уединеніи и ему не предъ кѣмъ было высказаться, то въ душѣ его съ каждымъ днемъ crescendo росъ какой-то хаосъ. Онъ пришелъ почти въ совершенное душевное разстройство и, употребляя онъ крѣпкіе напитки, то непремѣнно запилъ бы запоемъ. Года два онъ рѣшительно ничѣмъ не занимался, и такъ какъ теперь ему было совсѣмъ не до хозяйства, то миниатюрное имѣніе его пришло въ крайній безпорядокъ, и онъ

совершенно запутался въ денежныхъ дѣлахъ. Можетъ быть, эти дурныя денежные обстоятельства могли бы принести ему душевную пользу: опомнившись подъ ударами суровой, прозаической дѣйствительности, онъ, можетъ быть, ради нужды въ деньгахъ, былъ бы вынужденъ взяться за дѣло—началъ бы трудиться и сталъ бы человѣкомъ, какъ всѣ другіе. Но тутъ, какъ нарочно, какъ *deus ex machina*, свалилось на него совершенно неожиданно огромное наслѣдство. Первымъ его дѣломъ было осуществить свою давнишнюю, задушевную мечту—отправиться за границу. Но почти всѣ страны, о которыхъ онъ мечталъ, какъ объ обѣтованной землѣ, кипящей духовнымъ млекомъ и медомъ, страшно разочаровали его, когда онъ увидѣлъ ихъ въ дѣйствительности, и только одна Італія приплась совершенно по его вкусу: «вездѣ здѣсь красота, во всемъ поэзія—даже въ самой грязной нищетѣ, которая здѣсь лишена мѣщанской пошлости и привлекательна, какъ на картинѣ». Небо Італіи подѣйствовало на него благотворно; онъ точно помолодѣлъ, почувствовалъ любовь къ жизни, сталъ, какъ говорится, человѣчнѣе. Въ немъ пробудилась общительность,—онъ пріобрѣлъ много пріятныхъ знакомствъ между артистами и было началъ обзаводиться друзьями. Но къ дружбѣ онъ оказался неспособнымъ. Хотя онъ быстро приходилъ въ восторгъ и даже исполнялся благоговѣніемъ къ инымъ личностямъ, замѣтивъ въ нихъ или возвышенный умъ или высокое дарованіе, или просто благородную черту характера; но ему стоило только замѣтить малѣйшій порокъ, малѣйшее не совсѣмъ благородное чувство въ обожяемомъ имъ человѣкѣ, и онъ сію же минуту безжалостно отворачивался отъ него. Его шокировали въ людяхъ не только пороки и слабости, но и практическій здравый взглядъ на жизнь, напримѣръ: желаніе пріобрѣсти побольше денегъ, получить хорошее мѣсто и большой чинъ, выгодно жениться и тому подобное; если даже онъ замѣчалъ слишкомъ хорошій аппетитъ въ человѣкѣ, котораго онъ высоко уважалъ, то онъ въ немъ быстро разочаровывался.—Въ Італіи среда артистовъ возбудила въ немъ жажду дѣятельности: онъ сталъ съ увлеченіемъ зани-

маться и живописью, и музыкой, и, кажется, даже архитектурой; но такъ какъ одно отрывало его отъ другаго, а другое отъ третьяго, и такъ какъ и въ искусствѣ есть своя прозаическая, шероховатая сторона, называемая техникой, то онъ и бросилъ наконецъ всѣ свои занятія. Тутъ Григорій Дмитріевичъ созналъ въ первый разъ, что хоть онъ и человѣкъ безукоризненной нравственности и очень возвышенной души, но въ то же время субъектъ ни на что не способный. Тогда сталъ онъ серьезно размышлять о томъ, къ чему онъ, наконецъ, годится. По основательномъ размышленіи оказалось, что ему въ жизни наконецъ остались только двѣ сферы: служба отечеству и семейная жизнь. Службы онъ боялся, но семейная жизнь ему представлялась привлекательною и онъ сталъ мечтать о подругѣ жизни—женщинѣ съ ангельскимъ выраженіемъ лица, съ самой возвышенной душой и образованной, какъ какой-нибудь наизыяненнѣйшій гейдельбергскій профессоръ; затѣмъ мечтамъ его представлялись ихъ будущія дѣти, которыхъ они воспитываютъ такъ, что изъ нихъ выходятъ небывалыя чудеса ума и нравственности. Съ этими сладкими мечтами возвратился онъ въ отечество и поселился въ Москвѣ. Такъ какъ за границей Григорій Дмитріевичъ проживалъ сравнительно съ своими доходами весьма мало денегъ, то въ конторѣ своей, благодаря честности управляющаго, онъ нашелъ такое огромное скопленіе капиталовъ, что рѣшительно не зналъ, куда ихъ дѣвать.

Болѣе полугода жилъ онъ въ Москвѣ, никого не видя и никуда не показываясь. Мечты его о семейной жизни все оставались мечтами, потому что онъ и не думалъ предпринимать мѣръ къ ихъ осуществленію. Наконецъ, однажды утромъ Алексѣй Ивановичъ Гладкій, «обтекая», по своему обыкновенію, вселенную, прочелъ на воротахъ одного большого трехъ-этажнаго дома слѣдующую надпись «Григорія Дмитріевича Задольскаго, дѣйствительнаго студента,» — и сію же минуту влетѣлъ въ этотъ домъ. Григорій Дмитріевичъ былъ очень не радъ возобновленію знакомства съ Алексѣемъ Ивановичемъ и совершенно смѣшался передъ неожиданнымъ гостемъ. Но Алексѣй Ива-

новичъ не обратилъ на это никакого вниманія: онъ, по праву стараго товарищества, развалился съ ногами на диванѣ, потребовалъ сигару, потомъ водки, а потомъ чего-нибудь, чтобы заморить червячка, то-есть завтрака, и наконецъ, прощаясь съ пріятелемъ, взялъ еще съ собой нѣсколько его сигаръ. Черезъ нѣсколько дней онъ явился опять къ Задольскому и прямо объявилъ, что будетъ у него обѣдать, и когда они сѣли за столъ, онъ потребовалъ полбутылки шампанскаго. Григорій Дмитріевичъ, желая какъ-нибудь отвязаться отъ этого знакомства, далъ строжайшій приказъ швейцару всякій разъ, какъ прійдетъ Гладкій, говорить, что барина нѣтъ дома. Не прошло и недѣли со втораго посѣщенія Гладкаго, какъ онъ опять въ обѣденный часъ пріѣхалъ къ Задольскому; едва только швейцаръ успѣлъ выговорить: «нѣтъ дома», какъ Алексѣй Ивановичъ крикнулъ на него самымъ грознымъ и рѣшительнымъ голосомъ: «ты, братецъ врешь! Вотъ я барина твоего сейчасъ вздую этой палкой, чтобы онъ у меня впередъ не смѣлъ обманывать.» Швейцаръ совершенно растерялся, и гость безпрепятственно вбѣжалъ на лѣстницу, влетѣлъ въ кабинетъ и, какъ ястребъ на пыленка, налетѣлъ на хозяина.

— Да ты что это за скотина такая! загремѣлъ онъ въ пылу самаго искренняго и неподдѣльнаго негодованія. Вздумалъ не принимать порядочныхъ людей! разбогатѣлъ, какъ чортъ, вздернулъ носъ, завелъ швейцара и воображаетъ, что онъ Богъ знаетъ что такое! Да ты, дуракъ, долженъ бы радоваться, быть благодаренъ, что къ тебѣ хоть кто-нибудь ѣздитъ. А то тутъ ты одинъ одинопонекъ прозябаешь, потому что никому нѣтъ дѣла до тебя, никто на тебя и на твои палаты не обращаетъ никакого вниманія... И главное, что всего гнуснѣе съ твоей стороны, — это ложь: ругаешь свѣтскихъ людей — говоришь, что они всѣ насквозь проникнуты ложью, а самъ не свѣтскій человѣкъ, а лжешь, лжешь, какъ самый скверный гимназистъ, да еще и швейцара развращаешь, приучаешь обманывать честныхъ людей. Отчего, если ты такой правдивый человѣкъ, не сказалъ ты мнѣ прямо, безо всякаго лукавства: любезнѣйшій, я съ

тобою не хочу быть знакомымъ, — ну тогда и баста: я бы къ тебѣ никогда и ногой не ступилъ. А то нѣтъ — дай дескать это сдѣлаемъ поделикатнѣе — солжемъ.

— Я было хотѣлъ теперь позаняться, пробормоталъ робко совершенно сконфуженный Григорій Дмитріевичъ.

— Позаняться! чѣмъ это, позвольте васъ спросить? Лежаньемъ на боку передъ каминомъ, куреніемъ гаванской сигары и мечтаньями, Богъ знаетъ, о какихъ нелѣпостяхъ. Точно я тебя не знаю, не вижу насквозь! Ахъ, ты безсовѣстный, безсовѣстный! Полно тебѣ лгать!... Вели-ка лучше подавать скорѣе обѣдать: я ужасно голоденъ.

Они вскорѣ сѣли за столъ, и на этотъ разъ Григорій Дмитріевичъ самъ предложилъ своему гостю шампанскаго. Послѣ этого происшествія Григорій Дмитріевичъ потерялъ всякую надежду отвязаться отъ Алексѣя Ивановича и покорился печальной необходимости этого знакомства, какъ непреодолимой волѣ злобнаго рока. Гладкій, какъ бы желая его наказать за проступокъ, сталъ ѣздить къ нему чуть-ли не каждый день: то забѣгалъ онъ къ нему выкурить сигару, то позавтракать, то пообѣдать, а иногда просто для того, чтобы послѣ какого-нибудь жирнаго обѣда, по сосѣдству съ Задольскимъ, выспаться на его мягкомъ диванѣ передъ предстоящимъ ему вечернимъ визитомъ. Въ душѣ Григорія Дмитріевича въ отношеніи къ Гладкому произошло нѣчто весьма странное: прошло нѣсколько времени и Алексѣй Ивановичъ не только пересталъ быть для него несноснымъ, но даже сдѣлался необходимымъ. Онъ вѣчно былъ веселъ, вѣчно смѣялся, болталъ, острилъ, рассказывалъ новости и анекдоты и такимъ образомъ разгонялъ хандру своего пріятеля. Григорій Дмитріевичъ мало по малу привыкъ къ нему и наконецъ даже сталъ скучать, когда долго его не видалъ.

Въ такихъ отношеніяхъ былъ Григорій Дмитріевичъ съ Алексѣемъ Ивановичемъ въ эпоху, когда получилъ позволеніе явиться вмѣстѣ съ нимъ въ домъ Черново-Сысольскихъ.

V.

Въ день, назначенный для посѣщенія Анны Васильевны, Гладкій обѣдалъ у Задольскаго. Послѣ обѣда, когда время стало приближаться къ часу, назначенному Анной Васильевной, Григорій Дмитріевичъ почувствовалъ страхъ и робость. Онъ отъ роду не бывалъ въ свѣтскомъ обществѣ высокаго круга. Проживъ долгое время въ Италіи въ обществѣ *свободныхъ* артистовъ, онъ привыкъ и къ свободѣ слова, и къ свободѣ манеръ и одежды. Онъ много слыхалъ преувеличенныхъ разсказовъ о чопорности и церемонности московскаго общества и отъ того-то такъ и сробѣлъ, когда пришло время собираться къ Аннѣ Васильевнѣ. «Какъ я долженъ тамъ держать себя? какъ мнѣ одѣться?» Вотъ вопросы, которые безпокойно шевельнулись въ душѣ его. Оставивъ Алексѣя Ивановича докуривать сигару въ столовой, онъ пошелъ въ свою комнату и велѣлъ послать за французомъ - парикмахеромъ, потомъ подошелъ къ какому-то шкапчику и сталъ вытаскивать оттуда безчисленное множество флаконовъ со всевозможными духами, баночекъ со всевозможными помадами. Весь этотъ запасъ давно хранился у Григорія Дмитріевича безо всякаго употребленія, ибо онъ хотя уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ возымѣлъ твердое намѣреніе начать помадиться и душиться, но вспоминалъ объ этомъ только ночью въ постели, а поутру обыкновенно опять совершенно забывалъ о своемъ благомъ намѣреніи. Только что онъ успѣлъ разставить на столѣ свои парфюмерные запасы, какъ въ комнату поспѣшно вбѣжалъ Алексѣй Ивановичъ.

— Ты это зачѣмъ послать за Нёвилемъ?

— Какъ зачѣмъ? Надо завиться.

— Завиться? Хорошо ты будешь въ завиткахъ! Ради Бога! пощади меня: я буду, глядя на твои завитки, цѣлый вечеръ надрывать животъ со смѣху. Да и кто нынче завивается — одни фаты и пошляки... Впрочемъ. это дѣло хорошее, что ты послать за парикмахеромъ: онъ расчешетъ, подстрижетъ и пригладитъ твою гриву, да и бородищу тоже сдѣлаетъ не столь ужасной.

— А это что за аптека! воскликнулъ Алексѣй Ивановичъ, указывая на парфюмерныя принадлежности.

— Не аптека, а духи и помада...

— Духи! загремѣлъ въ негодованіи Алексѣй Ивановичъ. Да кто же изъ порядочныхъ людей нынче душитъ? Ахъ ты провинція, провинція!

— Да какая же я провинція!...

— Итальянская, почтеннѣйшій, итальянская и притомъ художественная, артистическая... Понимаешь ты, что только въ Петербургѣ, да въ Москвѣ существуютъ истинные комъ-иль-фо, только у насъ умѣютъ несмѣшно одѣваться. Что такое Франція? страна франтовъ и фертговъ. Что такое Англія? страна конюховъ, ибо вся англійская аристократія произошла по прямой линіи отъ конюховъ Вильгельма Завоевателя, который и самъ-то былъ не что иное, какъ разбойникъ и воръ. Что такое нѣмцы?... Ну, объ нихъ нечего распространяться — это просто свиньи. Ну, и наконецъ что такое твои итальянцы? Шарлатаны, паяцы, гаеры... Да, одни мы русскіе настоящіе комъ-иль-фо... А ты вздумалъ надушиться для посрамленія дворянства всей Московской губерніи. Да если-бъ ты это сдѣлалъ, тебя на первыхъ выборахъ предложили бы исключить въ силу закона великой Екатерины изъ нашей благородной среды... Хорошо бы ты былъ, коли бъ надушился!... Ты бы протушилъ всю гостиную у Анны Васильевны, и барышни бы въ обморокъ попадали отъ твоихъ духовъ.

— Какія барышни?

— Какія барышни! Дочери Анны Васильевны.

— Да развѣ у нея есть дочери?

— Да развѣ ты ихъ не видалъ?

— Да гдѣ же я ихъ могъ видѣть?

— Да онѣ объ были съ ней въ концертѣ.

— Я не замѣтилъ.

— Ахъ ты, слѣпая курица! Не замѣтилъ такихъ писанныхъ красавицъ. А еще артистъ! Понимаешь, вѣдь это Мурильевскія Мадонны.

Въ это время вошелъ человѣкъ и доложилъ о прибытіи парикмахера; отданъ былъ приказъ ввести его. Черезъ нѣсколько минутъ явился знаменитый «*artiste en cheveux*» Нёвилъ, держа въ лѣвой рукѣ шляпу, а въ правой что-то такое очень большое, тщательно завернутое въ огромный фуляровый платокъ.

— Честъ имѣю кланяться великому художнику — привѣтствовалъ француза-цирюльника Алексѣй Ивановичъ по-французски. Вотъ, сказалъ онъ, обращаясь къ Григорію Дмитріевичу, онъ вѣдь теперь всероссійская знаменитость: всѣ москвичи гордятся имъ, а провинціалы молятся на него Богу и въ тайнѣ цѣлуютъ у него руки. А вѣдь кто его выучилъ стричь русское дворянство? Вашъ покорнѣйшій слуга, стоящій передъ вами. Когда онъ только что пріѣхалъ сюда, то своимъ первымъ дебютомъ сдѣлалъ человѣкъ пять несчастными на всю жизнь: понимаешь онъ ихъ обстригъ по своему, по-парижски, да и пустилъ такими обезьянами на балъ къ князю Сергѣю Михайловичу, — ну тамъ все и лопнуло съ хохоту, глядя на нихъ, у старика даже ребра заболѣли отъ смѣху; они ужъ послѣ со стыда никуда и не показывались — развѣхались по своимъ деревнямъ, да тамъ и перемерли въ священномъ уединеніи. Та же исторія была и съ знаменитымъ портнымъ Арто. Вѣдь я его выучилъ шить платье для русскаго дворянства, а то онъ было началъ насъ радить совершенными путами. — Ну, господинъ артистъ, приступайте къ вашему священнодѣйствию... Но ни помадить, ни завивать его не надо, только подравниайте, да поприглайте ему волосы, вспрысните голову хинной водой и пройдитесь по бородѣ брилліантиномъ.

Артистъ приступилъ къ своему дѣлу. Алексѣй Ивановичъ дѣлалъ ему ежеминутно указанія и давалъ совѣты и въ тоже время спорилъ съ нимъ о французской политикѣ: «Ну что ваша великая нація, вашъ великій императоръ, вашъ могущественный законодательный корпусъ, вашъ многоумный сенатъ?» такъ началъ дразнить онъ парикмахера.

Во все продолженіе стрижки и спора Алексѣй Ивановичъ язвительно и беспощадно издѣвался надъ соотечественниками

Нёвила. Французъ ловко оборонялся отъ него острыми шутками. Споръ ихъ былъ вдругъ прерванъ громкимъ жалобнымъ крикомъ Григорія Дмитріевича; крикъ этотъ вырвался изъ груди его, когда парикмахеръ вынулъ изъ фуляра гигантскую цилиндрической формы щетку и поднесъ ее къ головѣ своей жертвы.

— Что это такое? спросилъ съ ужасомъ Григорій Дмитріевичъ.

— Это, мой другъ, щетка, которой не мѣшаетъ прочистить твою взъерошенную и запутанную гриву. — Не обращайтесь вниманія на его стоны и вопли, сказалъ онъ парикмахеру, — исполняйте священный долгъ вашъ.

И парикмахеръ принялся усердно катать свою исполинскую щетку по головѣ Григорія Дмитріевича. Послѣ двадцати минутъ работы, французъ, щедро награжденный своей жертвой, удалился. Тогда Григорій Дмитріевичъ сталъ одѣваться, подъ заботливымъ наблюденіемъ и руководствомъ Алексѣя Ивановича, который ежеминутно кричалъ на него, какъ на маленькаго, и безпрестанно сыпалъ благія наставленія.

— Это что за галстукъ! воскликнулъ онъ съ отчаяннымъ негодованіемъ, когда Григорій Дмитріевичъ было взялъ въ руки какой-то шейный платокъ съ непомѣрно длинными концами. Это курамъ на смѣхъ; это а l'italiano!... Этакъ позволительно только ходить итальянскимъ ворами и нищими, т. е. пресловутымъ лазарони.

— Да у меня нѣтъ галстуковъ другаго фасона, сказалъ робко Григорій Дмитріевичъ.

— Ну, такъ возьми мой, а я себѣ куплю другой въ первомъ магазинѣ, мимо котораго намъ придется ѣхать.

Такъ говоря, Алексѣй Ивановичъ снялъ съ шеи галстукъ и подалъ его Григорію Дмитріевичу. Григорій Дмитріевичъ обвелъ его вокругъ шеи и сталъ было завязывать.

— Боже мой, Боже мой, что это за человѣкъ — и галстука-то по-людски завязать не можетъ! закричалъ Алексѣй Ивановичъ, срывая галстукъ съ шеи своего пріятеля. Вотъ какъ порядочные

люди носятъ галстуки, говорилъ онъ, надѣвая ему галстукъ. Подними голову - то вверхъ — подбородокъ - то, подбородокъ.... Вотъ такъ....

Долго, весьма тщательно и съ видимымъ наслажденіемъ завязывалъ Алексѣй Ивановичъ концы галстука въ бантики. Когда эта работа была кончена, онъ отошелъ на нѣсколько шаговъ отъ Григорія Дмитріевича, посмотрѣлъ пристально на его шею, склонивъ голову нѣсколько на бокъ, потомъ опять подошелъ къ нему, ударилъ съ нѣжностью пальцами обѣихъ рукъ по бантику галстука и сказалъ внушительнымъ тономъ на распѣвъ: «Вотъ какъ порядочные люди завязываютъ галстуки!»

Наконецъ, туалетъ Григорія Дмитріевича былъ оконченъ, и наши пріатели отправились къ Черново-Сысолевскому.

— Вотъ, наконецъ, твой первый шагъ въ свѣтъ, сказалъ Алексѣй Ивановичъ своему пріятелю, когда они усѣлись въ карету. Наконецъ-то мы подняли медвѣдя изъ его берлоги.

— Ну, какой это шагъ въ свѣтъ! возразилъ Григорій Дмитріевичъ. Въ свѣтъ я никогда не покажусь: я терпѣть не могу общества.

— Да! ты мечтатель — любишь уединеніе, природу.

— Да, конечно, я природу люблю больше, чѣмъ общество: она лучше людей.

— Природа лучше людей! Вотъ что умно, такъ умно! Неодушевленное лучше одушевленного! Послушай, вѣдь это фраза изъ желтаго дома...

— Не изъ желтаго дома, а изъ Байрона, возразилъ Григорій Дмитріевичъ и продекламировалъ:

Я ближняго люблю, но ты, природа мать!
Для сердца ты всего дороже!...

— Прекрасно продекламировано — съ большимъ чувствомъ, перебилъ его Алексѣй Ивановичъ. Но, во-первыхъ, Байронъ былъ полоумный, и его не мѣшало бы выдержать годикъ-другой въ желтомъ домѣ: это было бы ему полезно — прохладило бы немного его мозга. А во-вторыхъ.... во-вторыхъ, знаешь ли, отчего онъ любилъ природу больше людей?

— Отчего?

— Оттого, что былъ великій эгоистъ и самолюбивъ, какъ чортъ. Съ людьми ему было неловко; они постоянно задѣвали его гордость и оскорбляли самолюбіе и подчасъ подсмѣивались надъ бѣдностью благороднаго лорда и его хромой ножкой. А природа? Что онъ при ней ни дѣлай, все молчить, да молчить — не спорить съ нимъ, не осуждаетъ его, не смѣется надъ нимъ. Оттого-то ему было такъ пріятно, удобно и покойно оставаться съ ней наединѣ.

— Однако вѣдь онъ мыслящій человѣкъ, подумалъ Григорій Дмитріевичъ, выслушавъ краткую замѣтку Гладкаго о характерѣ великаго британскаго барда. И какъ онъ хорошо изучилъ Байрона! Я этого не ожидалъ отъ него. И какъ онъ знаетъ людей! Такъ думалъ Григорій Дмитріевичъ и съ этой минуты почувствовалъ большое уваженіе къ своему пріятелю: съ этой минуты онъ сталъ серьезно прислушиваться къ его словамъ и совѣтамъ. Но Алексѣй Ивановичъ былъ совершенно не виноватъ въ своемъ сужденіи о лордѣ Байронѣ, котораго онъ не только никогда не изучалъ, но даже отъ роду не читывалъ. Сужденіе это подслушавъ онъ у какого-то профессора въ англійскомъ клубѣ, а тотъ, въ свою очередь, почерпнулъ его изъ какого-то англійскаго обозрѣнія, кажется, именно Эдинбургскаго.

VI.

Карета Григорія Дмитріевича, быстро пересѣкши нѣсколько улицъ и промчавшись черезъ нѣсколько переулковъ, остановилась передъ огромнымъ домомъ какого-то казеннаго вѣдомства, гдѣ мужъ Анны Васильевны за свои неуспѣшныя труды по дѣламъ службы пользовался квартирой, отопленіемъ и освѣщеніемъ. Гости, взойдевъ изъ швейцарской на лѣстницу и пройдя цѣлый рядъ совершенно ненужныхъ комнатъ, вошли въ гостиную. Анна Васильевна приняла ихъ очень привѣтливо и познакомила Григорія Дмитріевича съ своимъ мужемъ и дочерьми. Всѣ усѣлись. Разговоръ долго не ладился. Задольскій совсѣмъ

не умѣлъ вести свѣтскихъ разговоровъ и способенъ былъ разговариваться только тогда, когда предметъ бесѣды касался одного изъ его коньковъ и затрогивалъ его за живое. Къ тому же онъ сидѣлъ какъ разъ противъ дочери Анны Васильевны—Катеньки; близкое сосѣдство съ молоденькой, истинно прекрасной дѣвушкой (ихъ раздѣлялъ только одинъ столъ) подѣйствовало необыкновенно обяательно на болѣзненно впечатлительнаго Григорія Дмитріевича, вообще не привыкшаго къ дамскому обществу, а послѣднее время жившаго совершеннымъ затворникомъ и созерцавшаго только однѣ далеко не поэтическія фізіономіи своихъ крѣпостныхъ людей—мажордома, камердинера, повара и т. д. Катенька сидѣла, наклонясь надъ какой-то работой, и свѣтъ лампы, падая на ея строго правильное лицо, придавалъ ему еще болѣе бѣлизны; темно-каштановые волосы, длинныя опущенныя рѣсницы и какое-то дѣтски-свѣтлое выраженіе голубыхъ ея глазъ, по временамъ устремлявшихся съ любопытствомъ на гостя и мгновенно и робко опускавшихся, при встрѣчѣ съ его глазами,—все это приводило Задольскаго въ какое-то особенное настроеніе духа. И онъ, съ своей стороны, произвелъ впечатлѣніе на молодыхъ дѣвушекъ... Надо замѣтить, что Задольскій, какъ человѣкъ несвѣтскій, жившій долго въ Италіи въ кругу однихъ художниковъ, подходилъ по наружности своей, своимъ пріемамъ и манерѣ говорить скорѣе къ артистамъ, чѣмъ къ свѣтскимъ людямъ. Его задумчивый и глубоко выразительный взглядъ, серьезный тонъ его рѣчей и нѣсколько восторженная дикція—все это вмѣстѣ взятое было такъ ново въ гостиной Анны Васильевны, что дочери ея поняли съ перваго взгляда, что гость ихъ человѣкъ совсѣмъ инаго пошиба, чѣмъ всѣ, посѣщавшіе ихъ свѣтскіе люди. Катенька смотрѣла на него просто съ любопытствомъ, какъ на какое-то новое, небывалое явленіе. Къ любопытству же ея меньшей сестры Зинаиды, которая была не что иное, какъ гальванопластическій снимокъ съ понятій своей матушки, примѣшивалось чувство сильнаго презрѣнія.

«Неужели, думала она, маменька хочетъ выдать Катеньку за этого несчастнаго господина?»

Зинаидѣ пришлось сидѣть рядомъ съ Григоріемъ Дмитріевичемъ, и она время отъ времени весьма неприязненно на него взглядывала. Но Григорій Дмитріевичъ, вниманіе котораго было невольно сосредоточено на его *vis-à-vis*, то-есть на Катенькѣ, не замѣчалъ ея взглядовъ и не обращалъ на нее самое никакое вниманіе.

Такъ какъ разговоръ не вязался, то Алексѣй Ивановичъ, желая расшевелить Задольскаго, сталъ постепенно подводить своего пріятеля къ его коньку — Италіи. Анна Васильевна поняла, къ чему онъ клонитъ разговоръ, и стала ему помогать.

— Вы, кажется, долго жили за границей, сказала она, обращаясь къ своему застѣнчивому гостю.

— Да, больше пяти лѣтъ.

— Вотъ какъ вамъ тамъ понравилось! Вы гдѣ же больше жили — въ Германіи?

— Помилуйте! воскликнулъ Гладкій. Вы его обижаете: онъ терпѣть не можетъ нѣмцевъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? За что же вы ихъ не любите?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ Анны Васильевны, Григорій Дмитріевичъ пустился въ филиппику противъ Германіи и сталъ описывать скуку и пошлость нѣмецкой жизни. Потомъ сталъ приводить въ контрастъ Германіи Италію и, одушевляясь все больше и больше, началъ сыпать восторженными описаніями Рима, Неаполя, Венеціи, самъ не замѣчая, что приводитъ почти цѣликомъ строфы изъ Байронова Чайльдъ-Гарольда въ русскомъ, импровизованномъ имъ самимъ переводѣ. Увлеченный своимъ любимымъ предметомъ, онъ чувствовалъ что-то въ родѣ вдохновенія; лицо его оживилось, глаза блистали; въ голосѣ слышались звуки сердечнаго восторга. Онъ не сказалъ ничего новаго объ Италіи, ничего такого, чтобы не было двадцать разъ воспѣто французскими путешественниками или англійскими и русскими поэтами. Но его страстная искренняя рѣчь произвела сильное впечатлѣніе на Катеньку. Ей первый разъ въ жизни приходилось слышать такого рода рѣчь. Въ чопорной гостиной ея матери, монотонной, какъ католическій монастырь, говорилось

только о томъ, кто на комъ женился, кто умеръ, кто сдѣланъ камеръ-юнкеромъ, и о подобныхъ однообразныхъ новостяхъ. Къ тому же, такъ какъ она никогда ничего не читала, кромѣ дѣтскихъ книгъ для перваго возраста, и знала объ Италіи только то, что значилось въ краткомъ учебникѣ географіи, то-есть сухой и краткій перечень рѣкъ и городовъ, то для нея были совершенно новы всѣ живыя подробности, которыя приводилъ Задольскій. Сперва она слушала Григорія Дмитріевича просто только съ удивленіемъ (*какъ изумленный скивъ афинскаго софиста*); потомъ мало по малу рѣчь его стала возбуждать въ ней интересъ; наконецъ, она совершенно заслушалась — опустила работу и, не сводя глазъ съ рассказчика, глядѣла на него тѣмъ прямымъ и спокойнымъ взоромъ, какимъ смотрятъ дѣти или какимъ смотреть на мужчину дѣвушка, съ душой не способной ни къ кокетству, ни къ лукавству и не обуреваемой чувственными влеченіями. Она такъ вошла въ интересъ разсказа, что даже сама стала предлагать гостю вопросы. Сдѣлавъ первый вопросъ, она было потомъ перетрусила и взглянула робко и вопросительно на мать. Но Анна Васильевна не только не показала вида, что это ей не нравится, но даже очень одобрительно и ласково взглянула на дочь. Григорій Дмитріевичъ, одушевленный участіемъ прекрасной слушательницы, все съ большимъ и большимъ энтузіазмомъ описывалъ красоты Италіи.

— Какой же самый лучший городъ въ Италіи? спросила вдругъ, совершенно ех абсурту, Катенька.

— По моему, Венеція, отвѣчалъ ей восторженнымъ тономъ Задольскій. Всѣ другіе города Италіи — Флоренція, Неаполь, Римъ прекрасны, особенно Римъ, но все это хотъ и необыкновенные города, а все-таки города. Одна Венеція не похожа ни на какой другой городъ въ мірѣ — это что-то сказочное, фантастическое, какой-то сонъ! Представьте себѣ мраморный городъ, который вдругъ выплываетъ передъ вами изъ воды!

— Какъ, неужели въ самомъ дѣлѣ такъ-таки и выплываетъ изъ воды? спросила съ наивнымъ удивленіемъ Катенька, принявшая въ буквальный смыслъ метафорическое выраженіе Григорія Дмитріевича.

— Разумѣется, не въ самомъ дѣлѣ выплываетъ изъ воды, сказалъ ей съ добродушнымъ смѣхомъ Задольскій. Я привелъ выраженіе лорда Байрона; онъ говоритъ, что когда въ первый разъ увидѣлъ Венецію, то ему представился городъ, который вдругъ, какъ будто по манію волшебнаго жезла, вынырнулъ изъ моря... Представьте себѣ городъ, который построенъ на семидесяти островахъ и разсѣкается полуторастами каналами, черезъ которые перекинута триста мостовъ и мосты эти почти всѣ изъ мрамора; представьте себѣ городъ, великолѣпный городъ, наполненный мраморными дворцами, городъ, въ которомъ болѣе ста тысячъ жителей и въ которомъ вы не увидите ни одного обмочка пыли и никогда не услышите стука колесъ — тишина, какъ въ самой мирной русской деревнѣ!

— Отчего-жъ это? спросила опять съ изумленіемъ Катенька.

— Оттого, что тамъ нѣтъ ни каретъ, ни колясокъ, ни дрожекъ.

— На чемъ же тамъ ѣздятъ? спросила съ безпокойнымъ сожалѣніемъ и наивнымъ состраданіемъ Катенька.

— Тамъ ѣздятъ только на лодкахъ по водянымъ улицамъ, то-есть каналамъ, потому что весь городъ построенъ на островахъ. Оттого-то вмѣсто несноснаго стука колесъ и лошадиныхъ копытъ, разстроивающаго вамъ нервы, вы постоянно слышите пріятный, убаюкивающій васъ плескъ весель. Я не могу себѣ представить ничего подобнаго, какъ вечеръ и ночь въ Венеціи!

— Что же тамъ такое дѣлается вечеромъ? спросила съ лихорадочнымъ любопытствомъ Катенька, вполне увѣренная, что услышитъ рассказъ о самыхъ невѣроятныхъ чудесахъ.

И дѣйствительно она услышала чудеса. Она услышала, во-первыхъ, что вечеромъ, при захожденіи солнца, весь небосклонъ надъ Венеціей покрывается сплошными радугами, во вторыхъ... Ну, да однимъ словомъ она услышала такое поэтическое описаніе вечера въ Венеціи, выше котораго быть ничего не можетъ, ибо авторъ этого описанія былъ самъ лордъ Байронъ: Григорій Дмитріевичъ опять, самъ не замѣчая того, невольно перевелъ по-русски нѣсколько строфъ изъ Чайльд-Гарольда.

— Наконецъ, настаетъ ночь — говорилъ онъ въ заключеніе своего описанія, — темная безмолвная ночь, и такой тихой

безмолвной ночи не бывает не только въ главныхъ европейскихъ столицахъ, но даже въ уѣздномъ городѣ Олонекской губерніи.... Вы сидите у раствореннаго окна; воздухъ теплый и влажный, какъ въ мраморной теплой ваннѣ; передъ вами перспектива грандіозныхъ дворцовъ, омываемыхъ волнами канала. По водѣ разстилается колеблющейся серебристой прозрачной лентой свѣтъ луны. Тишина совершенная, и вдругъ среди этой тишины до васъ доносятся два серебряныхъ голоса — мужской и женскій; они несутся по водѣ и все ближе, и вы наконецъ ясно и отчетливо слышите мотивъ: это дуэтъ изъ Пуританъ: «*viene*». Гондола съ пѣвцами медленно проплываетъ подъ самымъ вашимъ окномъ, и вы въ теченіи нѣсколькихъ минутъ наслаждаетесь вблизи этимъ ночнымъ, совсѣмъ неожиданнымъ для васъ и даровымъ концертомъ. Потомъ гондола удаляется отъ васъ дальше и дальше, и съ нею вмѣстѣ удаляются и постепенно ослабѣваютъ и замираютъ звуки мелодіи и наконецъ совсѣмъ пропадаютъ, какъ будто бы тонуть въ волнахъ, изъ которыхъ родились. И вы опять остаетесь среди безмолвія, и вамъ не вѣрится, что все это было на яву.

— Кто жъ это тамъ поетъ? спросила Катенька.

— Богъ ихъ знаетъ — можетъ быть самъ лодочникъ съ какой-нибудь торговкой.

При выраженіи: «лодочникъ съ торговкой», лицо Анны Васильевны неприятно передернуло.

— Съ какой торговкой? воскликнула внѣ себя отъ удивленія Катенька.

— Просто съ торговкой, то-есть съ какой-нибудь крестьянкой, которая продаетъ въ Венеціи морковь и рѣпу.

— Какъ же послѣ этого она можетъ такъ хорошо пѣть? спросила опять неугомонная Катенька.

— Да, въ Италіи всѣ хорошо поютъ: каждый нищій лазарони, каждый угольщикъ — художникъ въ душѣ. Какой-нибудь трубочистъ, который днемъ ходитъ съ ногъ до волосъ выпачканный въ сажѣ, идетъ вечеромъ за кулисы театра и является передъ вами на сценѣ въ блестящемъ костюмѣ въ толпѣ придворныхъ

какого-нибудь герцога Альфонса Ферарского и, въ числѣ другихъ хористовъ, восхищаетъ васъ стройнымъ ансамблемъ хора и получаетъ за это плату.

— Ты цѣлыхъ полчаса описываешь Венецію, произнесъ вдругъ своимъ добродушно насмѣшливымъ тономъ Алексѣй Ивановичъ, обращаясь къ Задольскому.—Описываешь ее, описываешь, а про самое главное, самое существенное и забылъ.

— Что такое? отозвался Задольскій.

— Да то, что въ Венеціи нѣтъ сливокъ.

— Какъ нѣтъ сливокъ? спросила уже въ совершенномъ отчаяніи Катенька, ибо ей стало невыразимо жалко жителей такого великолѣпнаго, поэтического города, при мысли, что они круглый годъ пьютъ чай безъ сливокъ, что самой ей пришлось дѣлать только на первой и послѣдней недѣлѣ великаго поста, и что составляло для нея великое лишеніе.

— Да такъ, тамъ нѣтъ сливокъ, и это, къ сожалѣнію, такой же несомнѣнный фактъ, какъ и то, что Венеція, стоитъ на семидесяти островахъ; а другъ мой Григорій Дмитріевичъ этого не замѣтилъ, потому что мечтатель.

— Въ самомъ дѣлѣ, я этого не замѣтилъ, сказалъ Задольскій нѣсколько сконфузясь.—Да и какъ въ такомъ городѣ, какъ Венеція, и вспомнить о сливкахъ?

— Ну, нѣтъ, я бы, какъ всталъ съ постели, такъ сію же минуту и вспомнилъ бы о нихъ, возразилъ Алексѣй Ивановичъ.—А то пить кофей безъ сливокъ — слуга покорный! Да я, какъ только бы мнѣ подали черный кофей, сію же секунду и далъ бы тягу изъ твоей Венеціи. Богъ съ ней и съ ея Brentой, и съ Ріальто, — мнѣ подавай кофей со сливками! Я когда говорю на страстной недѣлѣ, такъ просто сохну по сливкамъ, какъ сохнетъ изгнанникъ въ тоскѣ по дорогой отчизнѣ. Вотъ Григорій Дмитріевичъ — это не то, что я: онъ можетъ пить кофей безъ сливокъ.—ему ихъ замѣняетъ его поэтическое воображеніе.

Эта незатѣйливая шутка Алексѣя Ивановича была очень по душѣ меньшей дочери Анны Васильевны. Зинаида была очень рада посмѣяться надъ увлеченіями страннаго гостя, рассказы

котораго ей были невыносимо скучны. Смѣхъ Зинаиды очень непріятно подѣйствовалъ на Катеньку, которой очень стало досадно на Алексѣя Ивановича, который своею шуткой нѣсколько сконфузилъ Задольскаго и заставилъ смѣяться Зинаиду; шутка Алексѣя Ивановича показалась ей рѣзкимъ диссонансомъ послѣ одушевленнаго описанія венеціанской ночи; ей было какъ-то обидно за Григорія Дмитріевича, и она было хотѣла обратиться съ упрекомъ къ Гладкому за его прозаическую выходку. Но онъ предупредилъ ее, потому что самъ прочелъ на ея дѣтски откровенномъ лицѣ чувство, которое волновало ее, и отвѣчалъ чѣмъ-то въ родѣ извиненія на ея еще не выговоренный упрекъ.

— Что дѣлать, сказалъ онъ, пожимая плечами и принимая очень искусно видъ кающагося грѣшника и смиренномудреннаго человѣка,—что дѣлать! Я человѣкъ прозаическій, пошлый и замѣчаю вездѣ только прозу: Господу Богу неугодно было надѣлать меня поэтическими наклонностями. А вотъ Григорій Дмитріевичъ—онъ, напротивъ, человѣкъ съ возвышенной душой и потому обращаетъ вниманіе только на возвышенные предметы. Такъ что жъ мудренаго, что и въ Венеціи онъ видѣлъ только одну поэзію, а прозы не замѣтилъ...

— Нѣтъ, я замѣтилъ тамъ и прозу, воскликнулъ Задольскій,—и самую ужасную прозу: это отвратительные мундиры австрійскихъ жандармовъ (при этихъ словахъ лицо хозяйки дома опять передернуло). Обидно, больно видѣть, что Венеція, которая когда-то была чуть ли не самой могущественной державой въ мірѣ, Венеція, свободная республика, передъ которой дрожали сильные міра и, какъ говоритъ Байронъ, добивались отъ нея одного ласковаго слова, какъ величайшаго сокровища, эта самая Венеція теперь сама дрожитъ передъ жалкой фигурой нѣмецкаго солдата.

Этотъ монологъ сильно оскорбилъ Анну Васильевну: лицо ея омрачилось и досадой, и страхомъ, и она очень значительно взглянула на Гладкаго. Алексѣй Ивановичъ въ минуту смекнулъ, въ чемъ дѣло.

— Однако, что же ты хвалишь все только Венецію, сказалъ онъ, обращаясь къ Задольскому: мнѣ завидно за Римъ — онъ, по моему, въ тысячу разъ лучше Венеціи.

Задольскій сталъ было возражать противъ такого рѣзкаго предпочтенія Рима Венеціи, но такъ какъ Алексѣй Ивановичъ не настаивалъ на своемъ мнѣніи, то онъ увлекся и Римомъ. Катенька то и дѣло предлагала ему вопросы объ Италіи и тѣмъ еще болѣе распевеливала въ немъ его восторженные воспоминанія; онъ ей разсказалъ почти про все, что видѣлъ замѣчательнаго въ отечествѣ Данта и Рафаэля: онъ разсказалъ и про развалины Помпеи, и про *fata morgana*, и про летучихъ свѣтляковъ, т. е. *лючіоли*, и про суматоху итальянскаго карнавала. Все это было ново и интересно для Катеньки, никогда не читавшей никакихъ путешествій и не слыжавшей никакихъ разсказовъ отъ путешественниковъ. Но всего новѣе былъ для нея тонъ разсказчика — его совершенная простота, задушевность, совершенное отсутствіе той холодной свѣтской чопорности и заученныхъ фразъ и приемовъ, которые она привыкла замѣчать у всѣхъ свѣтскихъ знакомыхъ своей матери. Къ тому же она въ первый разъ слышала сплошную чистую русскую рѣчь безъ неизбежнаго смѣшенія языковъ французскаго съ нижегородскимъ и при томъ рѣчь, проникнутую поэтическимъ чувствомъ. Когда Задольскій сталъ ей разсказывать про карнавалъ въ Римѣ, то вдругъ остановился и, обращаясь къ обѣимъ молодымъ дѣвушкамъ, сказалъ сконфуженнымъ и робкимъ тономъ: «Впрочемъ, что-жъ я вамъ разсказываю, — вѣдь вы все это читали».

— Нѣтъ, про это мы никогда не читали и никогда не слышали! воскликнула Катенька.

— Да вѣдь это все описано у Гоголя въ его Римѣ...

— Онъ этого еще не читали, сказала твердо и догматически Анна Васильевна.

— Вотъ ты бы когда-нибудь здѣсь это прочелъ. Вѣдь сочиненія Гоголя у тебя есть, предложилъ Гладкій.

— Да, Григорій Дмитріевичъ, сказала Анна Васильевна, послѣ нѣсколькихъ секундъ нерѣшимости и страшнаго внутренняго

колебанія, прочтите намъ: онѣ у меня еще ничего не читали dans ce genre, — я находила, что для нихъ еще рано...

— Прочти, прочти — вѣдь ты прекрасно читаешь: помнишь еще въ пансіонѣ, когда учитель заставлялъ насъ читать наизусть стихи, ты съ такимъ чувствомъ декламировалъ оду на восшествіе на престолъ императрицы Елизаветы Петровны, что мы всѣ плакали отъ восторга, а учитель рыдалъ до истерики.

Григорій Дмитріевичъ съ радостью принялъ это предложеніе, и вечеръ для чтенія былъ назначенъ. Вскорѣ затѣмъ гости стали откланиваться. При прощаніи съ ними, Анна Васильевна какъ-то сумѣла, совершенно незамѣтно для Задольскаго, отвлечь Гладкаго въ сторону и перекинуться съ нимъ въ полголоса нѣсколькими фразами:

— Послушайте, Алексѣй Ивановичъ, что это онъ такое толковалъ про австрійцевъ?... Это нехорошо...

— Да что же онъ сказалъ особенно *такого*?...

— Какъ что?... Да вѣдь австрійцы не въ войнѣ съ нами; они, можно сказать, намъ союзники, потому что у насъ есть посланникъ въ Вѣнѣ... Знаете, говорить такія вещи при этихъ двѣточкахъ не годится... Потомъ онъ сказалъ, что Венеція была республикой, и что это очень хорошо.... On voit bien qu'il a des idées politiques tout-à-fait...

— Политическихъ идей у него нѣтъ никакихъ, увѣряю васъ! съ быстротою вихря перебилъ Анну Васильевну Гладкій. Онъ терпѣть не можетъ политики: а это въ немъ только *такъ* — романическая замашка, остатки юности, поѣтическія бредни... Это въ немъ пройдетъ — до свадьбы заживетъ, будьте покойны.

— Но вы скажите ему, чтобъ онъ впередъ не говорилъ такихъ вещей ни при моихъ дочеряхъ, ни при моихъ гостяхъ... То-есть отъ себя ему скажите, а не отъ меня.

— Скажу, непременно скажу, и впередъ онъ у меня не посмѣетъ излагать при свидѣтеляхъ такія зловредныя мысли.

Гости уѣхали. Зинаида ожидала съ большимъ злорадствомъ, что лишь только они выйдутъ изъ комнаты, какъ Анна Василь-

евна сію же минуту набросится на Катеньку и задасть ей жестокий нагоняй за ея странное поведеніе въ продолженіе всего вечера, т. е. за ея нескончаемые и ребячески наивные вопросы, за неприличные восклицанія: «Ахъ какъ это хорошо!» «неужели?» «каково!» и проч., и проч. Но, къ ея удивленію, Анна Васильевна подошла къ Катенькѣ, поглядѣла на нее съ нѣжностью, погладила по головкѣ и даже поцѣловала въ лобъ. Отпуская дочерей спать и благословляя ихъ, она выказала Катенькѣ особенную нѣжность и поцѣловала ее нѣсколько разъ лишнихъ противъ положеннаго. Все это означало, что она ею очень довольна, — и Зинаида была такъ удивлена, что просто не узнавала своей строгой матери.

Придя къ себѣ въ спальню, Анна Васильевна предалась слѣдующимъ размышленіямъ: «Удивительно, какъ Богъ все устриваетъ къ лучшему! Катенька меня всегда приводила въ отчаяніе — она была неисправима, а вышло, что всѣ ея недостатки приплись сегодня очень кстати: еслибъ она умѣла хорошо держаться въ обществѣ, какъ, напримѣръ, Зинаида, еслибъ она сегодня сидѣла спокойно и не дѣлала глупыхъ вопросовъ и дѣтскихъ восклицаній, тогда бы ничего не вышло: этотъ Задольскій, пожалуй, промолчалъ бы весь вечеръ. Да, онъ и Катенька приплись совершенная парочка. Онъ непремѣнно на ней женится: между ними непремѣнно зародится симпатія, — онъ такой же странный и несвѣтскій, какъ и она... Да, пути Божіе неисповѣдимы!.. Конечно, мнѣ не будетъ большой чести имѣть зятемъ этого Задольскаго: никто о немъ до сихъ поръ ничего не слыхалъ, — онъ лицо неважное въ отношеніи общественнаго положенія, человѣкъ безъ связей, безъ родныхъ; но этимъ-то онъ и хорошъ, что у него нѣтъ родныхъ: онъ будетъ принадлежать только нашему семейству; никто не станетъ завидовать намъ и наговаривать ему на насъ; къ тому же онъ живетъ въ облакахъ, и деньги для него, кажется, послѣднее дѣло... Я думаю даже, что передъ свадьбой у него можно будетъ просто попросить денегъ на приданое Катенькѣ... Однако-жь, когда онъ на ней женится, я его приберу къ рукамъ—

велю обстричь покороче и волосы, и бороду, — и вообще онъ у меня будетъ другимъ человѣкомъ....

Между тѣмъ какъ такимъ образомъ мысленно разсуждала сама съ собой Анна Васильевна, на антресоляхъ, въ спальнѣ ея дочерей, называвшейся еще, по старой привычкѣ, дѣтской, происходили разсужденія вслухъ и даже довольно громогласныя. Катенька, ложась въ постель, дѣлилась впечатлѣніями вечера съ своей старой няней, которая, по старой привычкѣ, все еще постоянно присутствовала при одѣваніи и раздѣваніи своихъ «барышень».

— Знаешь, няня, говорила Катенька, снимая съ себя чулки, что въ Италіи есть мухи, которыя называются лючіолі: онѣ совсѣмъ огненные и когда летаютъ, то отъ нихъ свѣтъ. Если ихъ набрать много-много и посадить въ фонарь, то въ комнатѣ будетъ свѣтъ, какъ отъ лампы.

— Все можетъ быть, коли Богу будетъ угодно, основательно замѣтила добрая няня.

— А знаешь, ли что въ Италіи есть подземный городъ; онъ прежде стоялъ на землѣ, но было землетресеніе, и его залило лавой изъ огнедышащей горы. Онъ такъ простоялъ долго, долго; а теперь его откопали: глядятъ — онъ совсѣмъ цѣлъ: дома, церкви, картины — все осталось цѣло... Даже самоваръ тамъ нашли...

— Вотъ нашла себѣ достойную слушательницу! сказала по-французски Зинаида. Ахъ, какъ жаль, что и нашу няню не позвали въ гостиную, когда Задольскій воспѣвалъ Италію, — она рассказала бы ему про то, чего самъ онъ не видалъ — напримѣръ, про кievскія пещеры: они съ ней посоперничали бы въ умѣ и познаніяхъ.

— Что-жъ, развѣ тебѣ смѣшно, что онъ говорилъ? спросила Катенька по-русски.

— Да кому же несмѣшно? Развѣ только тебѣ... Да и самъ-то онъ смѣшной.

— А по моему онъ совсѣмъ не смѣшонъ! напротивъ, онъ преумный....

— Умный!... ха, ха, ха! Мало ли кто умен! Говорятъ, нашъ кучеръ Ефимъ тоже умный человѣкъ..

— Какое сравненіе! Ефимъ—кучеръ!.. кучеръ не образованъ, а Задольскій человѣкъ ученый...

— Ученый! Да развѣ ты думаешь, что большая честь быть человѣкомъ ученымъ? Профессора и землемѣры тоже люди ученые, но какая порядочная дѣвушка выйдетъ замужъ за землемѣра или учителя.

— Да это потому, что они бѣдны.

— Совсѣмъ нѣтъ! Ты ничего не понимаешь... Есть ученые, которые очень богаты, но они все-таки не могутъ быть порядочными людьми. А вотъ князь Александръ Заблоцкій — у него ничего нѣтъ — онъ все прожилъ, а между тѣмъ онъ принятъ вездѣ съ уваженіемъ, потому что онъ держитъ себя въ обществѣ какъ... *comme un grand seigneur*.

— И ужъ ничего въ немъ нѣтъ, кромѣ важности, въ этомъ Заблоцкомъ; по моему онъ скучный-прескучный, — онъ просто дуракъ.

— Вотъ это прекрасно! Князь Александръ дуракъ!..

— Дуракъ, дуракъ, дуракъ!....

Споръ двухъ сестеръ началъ было переходить въ ссору; но вдругъ нянюшка, съ выраженіемъ испуга на лицѣ, приложила палецъ къ губамъ и указала глазами на дверь: послышался скрипъ и шорохъ на лѣстницѣ. Барышни сію же минуту умолкли, завернулись въ одѣяла и притворились спящими. Черезъ нѣсколько секундъ послышались явственно приближающіеся шаги: это Анна Васильевна шла по дому ночнымъ дозоромъ.

VII.

«Попробуй взглянуть на молнію, когда, раскrojивши черныя, какъ уголь, тучи, нестерпимо затрепещетъ она цѣлымъ потокомъ блеска. Таковы очи у Альбанки Анунціаты. Все напоминаетъ въ ней тѣ античныя времена, когда оживлялся мраморъ и блистали скульптурныя рѣзцы... Какъ ни поворотить она сіяющій

блескъ своего лица, образъ ея весь отпечатлѣлся въ сердцѣ... Но чудеснѣе всего когда глянетъ она прямо очами въ очи, водрузивши холодъ и замиранье въ сердце.....»

Этими греющими и сверкающими, какъ водопадъ, періодами поэта-прозаика смѣло огласилъ мой герой чисто прозаическую гостиную Анны Васильевны. Я бы никогда не рѣшился на такой дерзкій и отчаянный поступокъ, ибо я хорошо зналъ Анну Васильевну и ея мнѣніе на счетъ проявленія всякаго энтузіазма вообще и на счетъ поэзіи въ особенности. Къ тому же... Къ тому же во мнѣ съ дѣтскихъ лѣтъ не замерло одно очень странное чувство, такое странное, что даже смѣшно въ немъ признаться передъ солидными людьми. Я до сихъ поръ невольно вѣрю, что неодушевленные предметы принимаютъ отъ людей ихъ понятія и чувства, что слова, часто повторяемыя въ одномъ и томъ же мѣстѣ, какъ-то проникаютъ его своимъ духомъ. Мнѣ все сдается, что стѣны церкви пропитаны насквозь, какъ благовоннымъ елеемъ и ѳиміамомъ, святыми высокими гимнами. И часто, когда я стою въ храмѣ Божіемъ, на меня нападаетъ страхъ: «что если подъ этими священными сводами мнѣ придется въ голову какая-нибудь нечистая, недѣвственная мечта? потерпятъ ли ее древніе, величественно - строгіе своды православнаго храма и не обрушатся ли они, въ священномъ гнѣвѣ, всей своей громадой на главу нечестивца?» И тогда я вѣрю, что обрушатся, — и съ напряженнымъ усердіемъ начинаю повторять молитвы, оглашающія церковь, дабы не допустить въ свою душу никакого мірскаго помысла. Но не только одни церкви наводятъ на меня этотъ мистическій страхъ. Чувствую я его и въ домахъ, совсѣмъ не похожихъ на церковь: если хорошее переходитъ отъ человѣка къ предмету бездушному, отчего же не перейти и дурному. Мнѣ всегда, напримѣръ, представлялось, что предрасудки вѣдаются въ стѣны домовъ, гдѣ долго жили люди, ими одержимые. Когда я бываю въ такихъ домахъ, то или совсѣмъ ничего не говорю или истощаю свое краснорѣчіе на разсужденія о погодѣ, о насморкѣ, флюскѣ и жабѣ, ходящихъ по городу и занимающихъ

умы общества. Но высказать какую-нибудь мысль я боюсь и боюсь не хозяевъ дома (что мнѣ ихъ бояться — вѣдь они не антропофаги), но боюсь самого дома — его стѣнъ, половъ, потолка, въ особенности потолка: мнѣ все кажется, что прокопченный насквозь понятіями хозяевъ дома, онъ не потерпитъ подъ собой ни одной ясной, громко высказанной мысли, ни одного горячо высказаннаго чувства и сію же минуту треснетъ отъ негодованія и рухнетъ на голову «вольнодумца», языкъ коего осмѣлился оскорбить святилище умственнаго коснѣнія. Вотъ почему я никогда бы не рѣшился прочесть *Римъ* Гоголя въ гостиной Анны Васильевны. Римъ Гоголя, съ альбанкой Аннунціатою, и Анна Васильевна, съ своей гостинной, — какой рѣзкій контрастъ! Какъ тутъ не провалиться потолку! Однако герой мой, по невинности своей души, по незнанію людей вообще и Анны Васильевны въ особенности, прочесть такъ *Римъ* Гоголя передъ Анной Васильевной, а потолокъ на него не обрушился. Это происшествіе, конечно, на первый взглядъ представляется мнѣ чудомъ, но если въ него вдуматься, то оно объяснится очень естественно: причина этому явленію — всепобѣждающая сила презрѣннаго металла, ибо потолокъ, между прочимъ, былъ пропитанъ и страстнымъ алканіемъ денегъ и самой задумешной тоской и вздохами по нимъ. И вотъ онъ попустилъ оскорбить себя чтеніемъ романическаго отрывка въ надеждѣ на богатые практическіе плоды отъ этого поущенія.

Но если нельзя было выбрать для чтенія передъ Анной Васильевной ничего неудачнѣе, какъ *Римъ* Гоголя, за то въ то же время не могло быть ничего удачнѣе этого выбора въ отношеніи Катеньки. Читатель знаетъ, что это произошло совершенно случайно, и потому понимаетъ, что Задольскій приступилъ къ чтенію *Рима* безо всякой задней мысли; но вѣрно и самый отчаянный дамскій угодникъ и волокита не придумалъ бы лучше средства, чтобъ заискать въ сердцахъ моей героини. Катенька, какъ и всѣ дочери Анны Васильевны, выросла посреди самыхъ прозаическихъ впечатлѣній. Читатель уже знаетъ

изъ первой главы моего разсказа, что Анна Васильевна старалась всѣми средствами убить въ своихъ дочеряхъ всякое высокое чувство, всякую живую мысль, всякую способность къ увлеченію. Она достигла своей цѣли: дочери ея сдѣлались живыми автоматами; одна только Катенька, какъ это тоже уже знаетъ читатель, сохранила, такъ сказать, живую душу. Во всѣхъ другихъ своихъ дочеряхъ Анна Васильевна легко счумѣла задавить и заморить всѣ зародыши увлеченія и энтузіазма, но въ Катенькѣ они остались только неудовлетворенными въ своихъ требованіяхъ и тѣмъ съ бѣльшей силой искали себѣ пищи и, такъ сказать, выбивались наружу. Между тѣмъ какъ другія ея сестры были вполне довольны окружающею ихъ средой, она часто тяготилась ею и смутно предчувствовала, что есть что-то лучшее скучнаго образа жизни, который она ведетъ, и пустыхъ разговоровъ, которые слышать. Въ ея головѣ рождались вопросы, на которые она не могла найти отвѣта ни въ книгахъ, которыя читала, ни въ бесѣдѣ съ своими сестрами и гувернанткой. Щедро одаренная отъ природы живостью чувствъ, и не находя серьезныхъ предметовъ, на которые бы могла ихъ направить, она постоянно увлекалась, какъ ребенокъ, всевозможными бездѣлицами и пустяками, чѣмъ постоянно смѣшила, а подчасъ и сердила окружающихъ. Благодаря своей наивности и простодушію, она казалась моложе своей меньшей сестры. И вотъ на эту дѣтски чистую, безсознательно алкавшую поэзіи душу полились въ этотъ вечеръ звуки поэзіи — и какой поэзіи! Никакое другое поэтическое произведеніе не могло бы на нее такъ подѣйствовать, какъ *Римъ* Гоголя. Онъ явился, какъ совершенный контрастъ всего, что доселѣ ее окружало, что она видѣла и знала въ дѣйствительности и, обхвативъ всю ея душу, увлекъ ее туда, куда она безотчетно рвалась, по чѣмъ тосковала. Ужъ съ первой страницы, съ первыхъ словъ, она была поражена и околдована. Григорій Дмитріевичъ читалъ превосходно, потому что чувствовалъ каждое слово, которое произносилъ; голосъ его былъ звученъ и симпатиченъ. Почти съ первыхъ словъ онъ почему-то

почувствовать, что серьезно слушает чтение, то-есть понимает его, только Катенька, — и онъ читалъ только для нея одной: онъ, такъ сказать, каждое слово переливалъ изъ своей души въ ея душу; ему чудилось, будто всѣ сердечныя движенія, которыя онъ испытывалъ во время чтенія, переходятъ, какъ электрическій токъ, во все существо Катеньки.

Катенька всей душой была погружена въ то, что слушала, и не сводила глазъ съ чтеца. Когда онъ приостанавливался въ чтеніи, глаза ихъ встрѣчались, и при одной изъ такихъ встрѣчъ и онъ, и она вдругъ почувствовали то взаимное влеченіе душъ, которое вдругъ, Богъ вѣсть откуда, западаетъ въ одно сердце, воспаляетъ его и, какъ токъ электричества, мгновенно отдается и въ другомъ. И вотъ великое таинство духовной природы — незримое сочетаніе двухъ существъ — совершилось: Катенька и Задольскій любили другъ друга. Ни онъ, ни она еще не сознавали этого чувства, не могли назвать его по имени, но оно было сильно, такъ сильно, что всѣ окружающіе его поняли и уже называли мысленно по имени. Анна Васильевна, Алексѣй Ивановичъ, Зинаида, даже самъ безтолковый отецъ Катеньки чувствовали, что Катенька и Задольскій любятъ другъ друга. Когда чтеніе кончилось, Катенька и Задольскій стали говорить между собой о прочитанномъ, говорили съ увлеченіемъ и имѣли видъ двухъ старинныхъ друзей, которые, послѣ многолѣтней разлуки, не могутъ между собой наговориться и насмотрѣться друга на друга. Обмѣнъ ихъ мыслей и словъ лился неистощимымъ потокомъ, въ голосахъ ихъ слышался какой-то едва сдержанный восторгъ, глаза ихъ свѣтились лихорадочнымъ блескомъ. Никто изъ присутствовавшихъ не вмѣшивался въ ихъ разговоръ, никто не смѣлъ имъ мѣшать: всѣ невольно поддались чувству благоговѣнія къ ихъ любви. Всѣ были какъ-то растроганы, всѣ, кромѣ Зинаиды, которая весь вечеръ злилась на Задольскаго и сестру, потому что не вѣрила никакимъ сильнымъ и высокимъ чувствамъ, и ей казалось, что Григорій Дмитріевичъ и Катенька притворяются другъ передъ другомъ. Странно, что всѣхъ больше была растрогана Анна Васильевна, сухая, холодная Анна

Васильевна: съ нея спало на нѣсколько минутъ нѣсколько десятковъ лѣтъ съ костей. Она забыла и про богатство Задольскаго и о томъ, какую выгодную партію сдѣлаетъ ея дочь, она видѣла только передъ собой счастливую молодую чету и вся перенеслась въ свои молодые годы: ей живо представился тотъ невозвратимый мигъ, когда, въ первый и послѣдній разъ въ жизни, она полюбила.

Но это ненормальное всеобщее настроеніе духа длилось не болѣе четверти часа: и Анна Васильевна, и Петръ Васильевичъ пришли опять въ прежнее душевное состояніе. Только Задольскій и Катенька продолжали оставаться все въ томъ же восторженномъ настроеніи духа, да Алексѣй Ивановичъ все еще продолжалъ съ сердечнымъ увлеченіемъ любоваться влюбленными. Онъ вообще любилъ Катеньку, а въ этотъ вечеръ былъ просто отъ нея въ восторгѣ, и такъ какъ онъ искренно былъ привязанъ къ Задольскому и отъ всей души желалъ ему счастья, то возымѣлъ намѣреніе какъ можно скорѣе женить его на Катенькѣ. Для этого, по его мнѣнію, нужно было еще болѣе влюбить ее въ Григорія Дмитріевича. Средство къ этому было, такъ сказать, подъ руками у Задольскаго. «Задольскому стоитъ только сыграть на фортепіано, рѣшилъ въ своемъ умѣ Алексѣй Ивановичъ, — и эта ангельская душа Катя перейдетъ въ своей любви всякіе предѣлы».

— А что кабы ты сыгралъ намъ что нибудь на фортепіано? сказалъ онъ, обращаясь къ своему пріятелю.

— А, вы играете? спросила Анна Васильевна.

— Да, немного, отвѣчалъ, конфузаясь и какъ бы оправдываясь, Григорій Дмитріевичъ.

— Какой немного! — быстро перебилъ его Алексѣй Ивановичъ, много, очень много: онъ совершенный артистъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ Катенькѣ: играетъ лучше этого вашего***.

— Каково! Какой вы... начала было, обращаясь къ Задольскому, Катенька и не договорила своей фразы. Играть хорошо на фортепіано для нея казалось чѣмъ-то недостижимымъ. Она сама хорошо на немъ играла или, лучше сказать, могла бы

хорошо играть, ибо въ ея игрѣ было много чувства, и даже она подчасъ замѣчательно владѣла механизмомъ игры; но дѣло въ томъ, что какъ только она, играя на фортепіано, начинала очень одушевляться, то непремѣнно роняла ноты на клавиши, за что подвергалась порицаніямъ и насмѣшкамъ роднаго семейства. Играть на фортепіано и не ронять ноты ей казалось столь же труднымъ, какъ плясать по канату.

Анна Васильевна стала просить Задольскаго показать свое искусство, безсовѣстно увѣряя его, что страстно любить музыку. Задольскій не сталъ ломаться, и всѣ вмѣстѣ съ нимъ пошли въ сосѣднюю комнату, гдѣ стоялъ рояль, — всѣ, исключая Катеньки, она осталась въ гостиной и сѣла на боковой диванъ поближе къ двери.

Отчего же она вмѣстѣ со всѣми не пошла въ другую комнату?

Она не пошла, во первыхъ, оттого, что была такъ переполнена любовью, что инстинктивно, безотчетно боялась, что ежели на нее произведетъ такое же сильное впечатлѣніе игра Григорія Дмитріевича, какое произвело его чтеніе, то она или упадетъ въ обморокъ, или заплачетъ, или вообще сдѣлаетъ что-нибудь эксцентрическое; во вторыхъ, въ ней вдругъ зародилась женская гордость: «не хорошо, думала она, если ужъ я очень буду восхищаться этимъ Задольскимъ — это будетъ съ моей стороны какимъ-то рабствомъ, униженіемъ передъ нимъ.»

Григорій Дмитріевичъ началъ играть. Вообще онъ игралъ превосходно, а на этотъ разъ онъ былъ больше чѣмъ въ ударѣ, — онъ чувствовалъ вдохновеніе и превзошелъ самого себя. Сперва онъ сыгралъ какую-то сонату Бетховена, потомъ мазурку своего учителя Шопена и наконецъ *Комаринскій* Глинки. Между слушателями его въ комнатѣ, гдѣ онъ игралъ, развѣ одинъ Алексѣй Ивановичъ чувствовалъ музыку; за то за дверьми столпившіеся лакеи и горничныя были въ восторгѣ отъ исполненія Комаринскаго; больше всѣхъ восхищалась имъ старая няня дочерей Анны Васильевны, пророчески предчувствуя, что исполнитель Комаринскаго — суженый ея любимицы Катеньки.

Катенька, сидя въ гостиной на диванѣ и слушая игру Григорія Дмитріевича, все болѣе и болѣе приходила отъ нея въ восторгъ; нервная система ея раздражалась все болѣе и болѣе, такъ что, наконецъ, она пришла въ какое-то полугорячее состояніе. Ей было почему-то несказанно совѣстно и стыдно своего восторга, и она всѣми силами старалась подавить въ себѣ это чувство; но чарующіе звуки музыки все сильнѣе и сильнѣе потрясали ея душу и ея нервы. Больше всего ее мучило опасеніе, что когда Задольскій кончитъ играть и придетъ въ гостиную, то непремѣнно замѣтитъ по ея лицу, какое сильное впечатлѣніе произвела на нее его игра. И вотъ она твердо положила въ своемъ умѣ уйти къ себѣ на антресоли, лишь только онъ доиграетъ до конца піесу. Когда Задольскій кончилъ играть и Катенька услышала, что онъ и его слушатели возвращаются изъ залы въ гостиную, она устремилась было бѣжать, но едва добѣжала до половины комнаты, какъ съ порога залы раздался голосъ Анны Васильевны: «куда ты, Катенька?» Катенька остановилась и обратилась назадъ: Анна Васильевна была уже въ гостиной, и за ней входили всѣ слушавшіе игру Задольскаго и самъ Задольскій. Катенька, при видѣ Григорія Дмитріевича, совершенно растерялась и, какъ говорится, приросла къ полу. Она чувствовала всю неловкость своей позиціи: ей было крайне неловко стоять одной по серединѣ комнаты, это еще усиливало ея смущеніе. Добрый Алексѣй Ивановичъ замѣтилъ это съ перваго взгляда и быстро подошелъ къ ней.

— А вы слушали издали игру нашего артиста? сказалъ онъ. Ну, да все равно: онъ такъ громко играетъ, что его можно слышать за двадцать комнатъ... Ну, а какъ вы находите, хорошо онъ играетъ?

Катенька хотѣла отвѣчать какъ можно сдержаннѣе, какъ можно суше на этотъ вопросъ, но вышло совсѣмъ противоположное тому—вышло то, что случается съ нервными натурами въ минуту крайняго возбужденія нервной системы, когда дѣлаешь именно то, чего боишься сдѣлать.

— Чудно, превосходно! воскликнула она и вдруг зарыдала и залилась слезами. Зинаида, злившаяся на нее весь вечеръ за восхищеніе Задольскимъ и приведшая свою нервную систему тоже въ крайнее раздраженіе, вслѣдствіе напряженныхъ стараній не высказывать свою злобу, потеряла, наконецъ, всякое терпѣніе и, при послѣдней выходкѣ Катеньки, захохотала на всю комнату самымъ злобнымъ, самымъ ехиднымъ смѣхомъ.

— Вотъ это оригинально, ты плачешь о томъ, что тебѣ по-правилась музыка: что-жъ тутъ жалкаго и плачевнаго: кажется, этой музыкой никого не убили. Такъ сказала Зинаида и опять залилась тѣмъ же смѣхомъ.

Въ словахъ, сказанныхъ Зинаидой, не было ничего обиднаго, ничего остроумнаго, но тонъ которымъ они были произнесены, хохотъ, который имъ предшествовалъ и сопровождалъ ихъ, были такъ обидны для Катеньки, что она еще больше расплакалась. Задольскаго, который не могъ видѣть ничьихъ страданій и слезъ, особенно женскихъ и дѣтскихъ, это взорвало: кажется, онъ легче бы перенесъ публичную пощечину, чѣмъ малѣйшее оскорбленіе, нанесенное Катенькѣ. Вспыльчивый отъ природы, несвѣтскій по воспитанію и въ эту минуту тоже чувствовавшій сильное нервное раздраженіе, Григорій Дмитріевичъ сдѣлалъ выходку, совершенно, по нашему мнѣнію, недопускаемую законами общежитія. Онъ вдругъ разразился чѣмъ-то въ родѣ грозной филиппики противъ Зинаиды, Зинаиды, которую онъ видѣлъ всего во второй разъ въ жизни и съ которой до сихъ поръ еще не перекинулся ни однимъ словомъ.

— Вамъ кажется ново и странно видѣть, воскликнулъ онъ, блѣднѣя и сверкая глазами, — что плачутъ отъ восторга, когда принимаютъ впечатлѣнія отъ произведенія искусствъ..... Вы думаете, что можно плакать только тогда, когда ушибешь себѣ локоть или разорвешь новое платье, потому что въ нашемъ холодномъ и полуобразованномъ отечествѣ не плачутъ отъ восторга. Ну, а въ Европѣ другое дѣло.... Я видѣлъ какъ знаменитый государственный мужъ, старецъ Тьеръ, публично прослезился въ одномъ итальянскомъ музеѣ, увидѣвъ новооткрытый

античный барельеф.... Но что объ этомъ толковать — то Европа, а мы — Азія: въ насъ надолго подавило всѣ высокія благородныя чувства двухсотлѣтнее иго татаръ....»

Зинаида вспыхнула, черные большіе глаза ея разгорѣлись пламенемъ, и она Богъ знаетъ чего бы ни наговорила грубіяну Задольскому, еслибы Анна Васильевна не взглянула на нее взоромъ, который ясно и кратко объявилъ ей: «попробуй ты еще когда - нибудь у меня посмѣяться надъ Катенькой при Задольскомъ!»

Выходка Задольскаго растрогала Катеньку; надъ ней вѣчно всѣ смѣялись въ семействѣ и никто, кромѣ старой ея нянюшки, никогда за нее не заступался, и вдругъ теперь посторонній человѣкъ («и какой человѣкъ!») заступился за нее. «Онъ заступился за меня. — Онъ мой *защитникъ*!» промелькнуло въ ея головѣ, и у нея вдругъ стало неизъяснимо отрадно и сладко на сердцѣ.

— Благодарю васъ — вы заступились за меня, сказала она, быстро подойдя къ Задольскому и въ какомъ-то лихорадочномъ экстазѣ крѣпко пожала ему руку. Растроганный и умиленный, Григорій Дмитріевичъ съ какимъ-то благоговѣніемъ поцѣловалъ... нѣтъ, не поцѣловалъ, а, если позволительно такъ выразиться, приложился къ ея рукѣ!

Было уже поздно — давно за полночь, и Анна Васильевна, поговоривъ очень любезно и привѣтливо съ Задольскимъ, чтобы показать ему, что не сердится на него за Зинаиду, дала какъ-то понять, посредствомъ своей выразительной мимики, Гладкому, что вечеръ конченъ. Алексѣй Ивановичъ взялъ шляпу, подошелъ къ Задольскому и заговорилъ съ нимъ, слегка поглядывая на свою шляпу. Григорій Дмитріевичъ понялъ этотъ печальный для него сигналъ и простился съ Анной Васильевной, ея мужемъ и дочерьми. Получивъ любезное приглашеніе хозяйки дома бывать какъ можно чище у нихъ, онъ вышелъ изъ комнаты въ сопровожденіи Алексѣя Ивановича.

Садясь въ карету вмѣстѣ съ Задольскимъ, Гладкій велѣлъ завести себя въ клубъ. Дорогой оба пріятеля долго молчали.

Задольскій думалъ о чемъ-то невыразимо пріятномъ, но совершенно неясномъ; если бывають минуты въ жизни, «когда», по выраженію пушкинскаго Мефистофеля, «не думаетъ никто», то мысли Задольскаго находились теперь именно въ этомъ положеніи косности: онъ что-то чувствовалъ, чувствовалъ очень сильно (вѣроятно, въ его душѣ повторялись впечатлѣнія вечера), но онъ ни за что бы не могъ дать себѣ отчета въ томъ, что чувствовалъ. Напротивъ того, мысли, занимавшія Гладкаго, были не только ясны и опредѣленны, но, если можно такъ выразиться, рельефны.

Вотъ что онъ думалъ: вѣдь этотъ шутъ Задольскій влюбленъ въ эту божественную чудачку Катю, какъ шальной, и предложи ему кто-нибудь на ней жениться, — онъ схватится съ восторгомъ за эту мысль; но самъ онъ никогда не только не догадается, что можетъ повѣнчаться съ ней законнымъ бракомъ, но, пожалуй, даже не догадается, что онъ въ нее влюбленъ! Вѣдь вотъ что можетъ случиться. Онъ будетъ десять лѣтъ ѣздить въ домъ къ Сысолюскимъ, будетъ сладостно таять, глазѣя на предметъ своей страсти, и все-таки ему не придется въ голову посвататься... Вѣдь этакъ, пожалуй, онъ можетъ испортить репутацію молодой дѣвушки... Нѣтъ, въ это дѣло надо вмѣшаться...

— Послушай, Григорій Дмитріевичъ, сказалъ вдругъ рѣзко и громко Алексѣй Ивановичъ, — выкинулъ же ты сегодня штуку.

— Какую штуку? спросилъ лѣнливо, какъ бы просыпаясь, Задольскій.

— Какую! еще спрашиваешь!... осрамилъ дѣвку.

— Что за вздоръ ты говоришь... Какую дѣвку осрамилъ я?

— Ты осрамилъ Катерину Петровну — поцѣловалъ ее, можно сказать, публично.

— Я ее не поцѣловалъ, а только подошелъ къ ея рукѣ и то совсѣмъ не публично.

— Вопервыхъ, мой другъ, подходятъ къ рукѣ только къ пожилымъ дамамъ — къ теткамъ, напримѣръ, или къ другой какой-нибудь пошлости въ этомъ родѣ, понимаешь, — а шестнадцатилѣтняя дѣвушка совсѣмъ другаго рода дѣло... Во-

вторыхъ, только ты одинъ думаешь, что поцѣлуй твой удостоились видѣть одни мы, стоявшіе въ гостиной: нѣтъ, я видѣлъ. какъ изъ-за портьеры высовывался въ эту минуту носъ какой-то горничной; а вѣдь горничныя молчать не любятъ, и будь увѣренъ, что ужъ теперь у Сысолевскихъ знаетъ вся дворня про твой поцѣлуй, а завтра съ первымъ лучомъ солнца узнаютъ о немъ и всѣ сосѣднія дворни, — и молодая дѣвушка будетъ посрамлена въ общественномъ мнѣніи всей нашей древней столицы.... Тебѣ теперь осталось одно средство поправить ея репутацію — жениться на ней.

— Какой вздоръ ты говоришь!... Молчи!.....а то я..... не знаю, что я съ тобой сдѣлаю! закричалъ Задольскій, чувствуя, что при словѣ *жениться* вся кровь прилила ему въ лицо: при этомъ словѣ онъ почувствовалъ такой стыдъ за себя и за Катеньку, что принялъ его слова за какое-то оскорбленіе святости отношеній между имъ и ей, отношеній, которыя онъ только въ эту минуту созналъ и которымъ впервые напелъ имя. Но черезъ нѣсколько минутъ непріятное чувство, возбужденное выходкой Гладкаго, въ немъ замѣнилось чѣмъ-то очень отраднымъ ... Подѣхавъ къ дому и выходя изъ кареты, онъ крѣпко пожалъ руку Алексѣю Ивановичу, какъ бы благодаря его за то, что онъ своей хитрой шуткой подаль ему благоу мысль.

Алексѣй Ивановичъ покатылъ къ клубу: «Боже мой, какъ ѣсть хочется!» говорилъ онъ самъ съ собой. «Какая скрята эта бестія Анна Васильевна! Просидѣли мы у нея Богъ знаетъ до котораго часу, а она не соблаговолила дать намъ поужинать. Дѣло сработали миллионное, а угощеніе ограничилось чайкомъ съ какими-то микроскопическими кренделями да бисквитами. Она вѣдь распространяетъ по Москвѣ слухъ, что не ужинаетъ, потому что ей и ея семейству вредно ѣсть на ночь; а вѣдь бьюсь объ закладъ, что сама гдѣ-нибудь теперь за кулисами уписываетъ за обѣ щеки какого-нибудь холоднаго гуся съ капустой.»

VIII.

Слова: «жениться на ней,» произнесенныя Алексѣемъ Ивановичемъ, не выходили всю ночь изъ головы Задольскаго. Сперва, какъ мы уже видѣли, они сконфузили и оскорбили его и за себя и за Катеньку. Это произошло совсѣмъ не отъ того, чтобъ при мысли о бракѣ съ Катенькой воображенію Григорія Дмитріевича вдругъ представилась матеріальная чувственная сторона супружескихъ отношеній: нѣтъ, мысль о такихъ отношеніяхъ *еще* никакъ не могла совпасть въ его душѣ съ чистымъ и святымъ для него образомъ Катеньки; но его воображенію представилась и испугала его на первый разъ даже та духовная короткость, которая существуетъ между мужемъ и женой.

«Катенька будетъ моею *женой!*» «Жена!» какое пошлое, тривиальное, официальное слово! У меня въ деревнѣ у архи-негодая и вора цѣловальника Сидора есть жена, съ которой онъ каждый день дружно напивается пьянъ, а вечеромъ дерется... и потомъ — что это за обязательная фамиллярность существуетъ обыкновенно между мужемъ и женой: они, напримѣръ, должны почему-то говорить другъ другу *ты!* какъ это я могу вдругъ сказать Катень... Катеринѣ Петровнѣ *ты!* это было бы для нея что-то въ родѣ *laesio majestatis*».

Подобныя мысли длинной вереницей промелькнули въ головѣ Григорія Дмитріевича, но только промелькнули: спустя нѣсколько минутъ, предложеніе Алексѣя Ивановича перестало казаться ему дикимъ и слово «жениться на Катенькѣ» уже не звучало для него диссонансомъ. И мысль о духовной короткости съ дѣвушкой, образъ который ему былъ священъ, короткости, торжественно благословленной церковью, одобренной ея родителями и всѣмъ семействомъ, привела его въ восторгъ. Но когда онъ пріѣхалъ домой, легъ въ постель и потушилъ свѣчку, этотъ восторгъ былъ охлажденъ внезапно зашевелившимися въ немъ вопросами: «да возможенъ ли этотъ бракъ? да любить ли она меня? стою ли я ея?» Внутренній правдивый голосъ изъ тайниковъ души его

отвѣчалъ ему утвердительно на всѣ эти вопросы. Но, благодаря своей мнительности и недовѣрію къ самому себѣ, онъ не вѣрилъ внутреннему голосу; съ мучительною тоской прижимался онъ лицомъ къ подушкѣ и шепталъ: «Нѣтъ, это невозможно — она не можетъ любить меня! что я въ сравненіи съ ней — нуль!» Такія сомнѣнія мучили его до разсвѣта.... и вдругъ они всѣ разомъ разсѣялись и смѣнились твердой, непреклонной рѣшимостью ѣхать къ Катенькѣ, открыть ей свои чувства и просить ея руки. Эта мысль внезапно обуяла его тяжелымъ, но неизъяснимо сладкимъ хмѣлемъ, и онъ мгновенно заснулъ.

Проснулся Григорій Дмитріевичъ поздно и только проснулся, какъ въ немъ заколебались вопросы: ѣхать или не ѣхать объясняться съ Катенькой? Его стала мучить мысль, что если Катенька скажетъ, что не любитъ его, и что слѣдовательно, бракъ съ ней невозможенъ, то единственная опредѣленная цѣль его жизни, которую онъ только вчера нашелъ, будетъ навсегда потеряна, и онъ будетъ обреченъ опять на прежнее жалкое апатичное существованіе безъ желаній, безъ радости, безъ надеждъ, съ добавленіемъ вѣчной тоски по существу любимому имъ, но не любящему его. Нѣкоторыя движенія сердца человѣческаго трудно объяснимы вообще, а нѣкоторыя движенія сердца моего героя и совсѣмъ для меня необъяснимы. Никто болѣе его не былъ способенъ къ самымъ рѣзкимъ переходамъ въ своихъ мысляхъ и чувствахъ. Вечеромъ того же дня всѣ его колебанія прошли, и онъ опять твердо рѣшился немедленно признаться въ любви Катенькѣ и поспѣшно отправился къ Сысольскимъ. Его приняли. Онъ засталъ въ гостиной Анну Васильевну съ двумя ея дочерьми, изъ которыхъ меньшая (Зинаида), вскорѣ послѣ его появленія, по знаку, поданному ея матушкой, удалилась. Катенька обрадовалась Задольскому, какъ ребенокъ, и заговорила съ нимъ такъ развязно и свободно, какъ ни съ кѣмъ, кромѣ своей нянюшки, не говаривала: она чувствовала инстинктивно, что ей нечего его бояться. что какую бы неловкость ни сказала она при немъ, онъ не осудитъ ея и, главное, не посмѣется надъ ней. Разказы Задольскаго объ

Италіи и *Римъ* Гоголя вызвали въ Катенькѣ такую любовь къ Апеннинскому полуострову, что онъ ей снился всю ночь, со всѣми своими чудесами, и что она думала и говорила о немъ, какъ о какой-то новооткрытой странѣ. Только Задольскій успѣлъ сѣсть, какъ Катенька начала сыпать вопросами о томъ, что тамъ есть еще чудеснаго; все, что онъ ни отвѣчалъ на ея вопросы, приводило ее въ восторгъ.

Вдругъ, посреди одушевленной бесѣды съ Катенькой, Григорій Дмитріевичъ замолчалъ, нахмурился и даже немного поблѣднѣлъ: онъ вспомнилъ цѣль своего визита — объясненіе въ любви. Онъ долго молчалъ и погруженный въ мысли, какъ приступить къ такому важному дѣлу, не слышалъ вопросовъ, которые ему предлагала наша героиня. Наконецъ, онъ было рѣшился прямо попросить Анну Васильевну оставить его наединѣ съ Катенькой, но, не смотря на всю свою несвѣтскость, самъ же спохватился, что такая просьба была бы крайне странна и неудобна, и положилъ оставить объясненіе до завтра. Послѣ долгаго и весьма страннаго молчанія Задольскаго, разговоръ его съ Катенькой, такъ сказать, совершенно расклеился и, не смотря на всѣ старанія Анны Васильевны направить его на прежній ладъ, шелъ вяло и безжизненно. Григорій Дмитріевичъ уѣхалъ домой, не сдѣлавъ ничего для будущаго своего счастья.

На другой день онъ опять отправился въ домъ Анны Васильевны, но вышло опять тоже, т.-е. онъ просидѣлъ тамъ цѣлый вечеръ и уѣхалъ домой, не посмѣвъ объясниться и полунамекомъ съ Катенькой. Тоже вышло и съ слѣдующими тремя или четырьмя визитами, т.-е. ровно ничего не вышло. Послѣ послѣдняго визита, онъ возвратился домой страшно сердитый на самого себя за свою нерѣшительность, несмѣлость и неловкость. Ложась въ постель, онъ далъ себѣ честное слово явиться на другой же день утромъ къ 12 часамъ въ домъ Черново-Сысольскихъ, вѣлѣть о себѣ доложить прямо Катенькѣ и наединѣ съ ней открыть ей свои чувства. Ночь провелъ онъ очень безпокойную и проснулся довольно поздно. Только от-

крыть онъ глаза, какъ вспомнилъ о данномъ самому себѣ словѣ и сталъ готовиться къ выѣзду. Но чѣмъ ближе часовая стрѣлка подходила къ полудню, тѣмъ болѣе онъ падалъ духомъ... Вдругъ пришла ему въ голову оригинальная мысль. Онъ вспомнилъ, что разъ какъ-то въ Италіи у него страшно разболѣлся зубъ и не было иного средства покончить съ этой болью, какъ выдернуть его; но онъ боялся идти на эту операцію и по совѣту какого-то англійскаго художника, проживавшаго въ Римѣ, выпилъ стаканъ самаго крѣпкаго шампанскаго, усиленнаго примѣсью рюмки коньяку, послѣ чего пошелъ истиннымъ героемъ къ дантисту и геройски перенесъ операцію. Подумавъ, онъ рѣшился прибѣгнуть и теперь къ тому же средству. Рѣшено — сдѣлано, и смѣлость, и мужество, и даже самоувѣренность овладѣли всѣмъ существомъ Григорія Дмитріевича. Но лишь только онъ вошелъ въ швейцарскую Анны Васильевны, какъ всѣ эти чувства мгновенно исчезли, уступивъ мѣсто самому отчаянному страху. Робкимъ, чуть слышнымъ голосомъ велѣлъ онъ доложить о себѣ Катенькѣ. Катенька въ это время сидѣла въ кабинетѣ своей матери; когда ей доложили о Задольскомъ, она сдѣлала удивленные глаза, потому что ей до сихъ поръ, въ качествѣ почти еще малолѣтней, ни о комъ никогда не докладывали.

. «Поди къ себѣ на верхъ и будь тамъ, покуда я тебя не позову», сказала ей Анна Васильевна по-французски. — «Проси въ гостиную», обратилась она къ лакею.

Григорій Дмитріевичъ былъ крайне смущенъ, когда вмѣсто Катеньки предстала предъ нимъ сама Анна Васильевна. Онъ смутился еще больше, когда она, отчетливо отчеканивая каждое слово, спросила его: «Что вамъ угодно?» По нравственнымъ понятіямъ Григорія Дмитріевича было бы безнравственно и подло говорить о любви своей къ Катенькѣ ея матери прежде, чѣмъ онъ не объяснился съ ней самой. Но вопросъ — «что вамъ угодно?» былъ повторенъ, и совершенно сробѣвшій и чуть не потерявшій сознанія Григорій Дмитріевичъ, самъ не зная, что дѣлаетъ, пробормоталъ передъ Анной Васильевной о томъ, что

ему было угодно. Отвѣтъ его былъ очень нескладенъ, но Анна Васильевна по предвѣдѣнію своему, знала очень хорошо, въ чемъ онъ будетъ состоять, и поняла его совершенно ясно.

Нечего и говорить, что Анна Васильевна была въ нескланномъ восторгѣ отъ сватовства Задольскаго, но, чтобъ онъ не подумалъ, что дѣлаетъ слишкомъ большую честь ихъ семейству своимъ предложеніемъ, она не только не высказала передъ нимъ своего восторга, но, напротивъ, выслушала его предложеніе очень сухо и холодно.

— Позвольте мнѣ подумать, сказала она снисходительнымъ тономъ: я должна прежде спросить мужа и дочь...

— Когда я могу надѣяться получить прямой отвѣтъ? спросилъ Задольскій, котораго холодный тонъ Анны Васильевны уже приводилъ въ отчаяніе.

— Да завтра вечеромъ, отвѣчала она тономъ, подающимъ нѣкоторую надежду.

Григорій Дмитріевичъ отправился домой съ душой, терзаемой неизвѣстностью.

Когда онъ вышелъ изъ кабинета Анны Васильевны, и счастливая мать осталась одна безъ свидѣтелей, то, кажется, она бы могла вполне предаться радости, отъ которой трепетало и замирало ея сердце; но, и оставшись наединѣ сама съ собой, она не потеряла своего достоинства: выраженіе ея лица было суше и холоднѣе обыкновеннаго и все въ ней говорило: «да, Катенька дѣлаетъ большую честь этому Задольскому, выходя за него замужъ; конечно, онъ недостойнъ вступить въ члены семейства Черново-Сысольскихъ; но что дѣлать? онъ такъ влюбленъ въ нашу дочь—пусть будетъ нашимъ зятемъ». Такъ говорила фizioномія счастливой, но гордой матери.

Пройдя нѣсколько разъ по своей комнатѣ, Анна Васильевна сѣла на кресло подлѣ письменнаго стола, позвонила и велѣла позвать къ себѣ мужа. Петръ Васильевичъ не замедлилъ явиться, Анна Васильевна указала ему молча на кресло подлѣ себя. Онъ сѣлъ и устремилъ на свою повелительницу взоръ, исполненный глупости и страха.

— Григорій Дмитріевичъ Задольскій дѣлаетъ Катенькѣ предложение.

— Дѣлаетъ? Гм!.. промчалъ, не зная, что сказать мужъ.

— Согласенъ ты?

— Не знаю... Какъ ты...

— Я согласна, но нужно прежде всего согласіе отца.

— Да какъ же я могу, когда ты того...

— Я у тебя спрашиваю, перебила грознымъ голосомъ Анна Васильевна, согласенъ ли ты на предложеніе Григорія Дмитріевича и благословляешь ли ты дочь?

— Благословляю, благословляю!.. какъ же не благословить? проговорилъ скороговоркой задрожавшій всѣмъ тѣломъ Петръ Васильевичъ, сильно струсившій передъ грознымъ выраженіемъ лица своей супруги. Анна Васильевна приняла торжественный видъ и позвонила. Вошла горничная.

— Попроси сюда Катерину Петровну, произнесла Анна Васильевна тономъ верховнаго жреца, приступающаго къ священнодѣйствию.

Читатель, вѣроятно, догадывается, что весь разговоръ Анны Васильевны съ мужемъ былъ не что иное, какъ комедія. Ей вовсе не нужно было и спрашивать его согласія: она распоряжалась совершенно самовластно со всѣми членами своего семейства, и никто никогда не смѣлъ противорѣчить ея мнѣнію, протестовать противъ ея верховенства. Но она любила обрядность и, помня, что мужъ ея *de jure* глава семейства, всегда для приличія дѣйствовала отъ его имени, и, приступая къ какому нибудь семейному распоряженію, она говорила своимъ дѣтямъ: «Такъ велѣлъ папенька, такъ папенька хочетъ», между тѣмъ какъ папенька давно уже ничего не смѣлъ ни велѣть, ни хотѣть. Она была увѣрена, что имѣетъ полное право выдать замужъ каждую изъ своихъ дочерей, не справляясь съ ея желаніями и наклонностями, что для этого достаточно было сказать: «иди за такого-то», — и та, не говоря ни слова, пошла бы за кого угодно, хоть бы женихъ ея былъ невыносимо ей противенъ. Но Анна Васильевна считала необходимымъ при всякомъ пре-

дѣленіи, дѣлаемомъ которой-нибудь изъ ея дочерей, спрашивать ея согласія: мы, дескать, не мужики—не выдаемъ замужъ насильно. Въ настоящемъ случаѣ она очень хорошо знала, что Катенька, какъ говорится, безъ ума отъ Задольскаго, но все-таки она сочла священнымъ долгомъ разыграть и съ ней обычную семейную комедію.

Не безъ трепета вошла Катенька въ кабинетъ своей матери и остановилась на порогѣ.

— Садись, Катя! сказала ей Анна Васильевна такимъ нѣжнымъ голосомъ, какимъ никогда еще съ ней не говорила.

Катенька сѣла.

— Вотъ ты у меня совсѣмъ еще ребенокъ, а съ тобой нужно говорить серьезно. Затѣмъ, послѣ нѣкоторой паузы, Анна Васильевна продолжала: за тебя сватается Григорій Дмитріевичъ Задольскій. Согласна ты выдти за него замужъ?

Катенька была совершенно озадачена этимъ совершенно неожиданнымъ для нея вопросомъ. Такъ какъ она, въ продолженіе своего семидневнаго знакомства съ Задольскимъ, не давала себѣ ни малѣйшаго отчета въ своихъ чувствахъ къ нему, то ей и въ голову не приходило, что ихъ отношенія могутъ кончиться свадьбой. Она нѣсколько секундъ не произносила ни слова и смотрѣла съ удивленіемъ на мать. Потомъ лице ея приняло такое выраженіе, какъ будто она что-то вдругъ вспомнила, и затѣмъ она вся приняла какой-то испуганный видъ.

— Что-жъ ты молчишь, Катенька? Говори, согласна ты или нѣтъ? Я тебя неволить не хочу.

— Ахъ, маменька, я согласна!.. Только...

— Только что?

— Ахъ, маменька, простите меня ради Бога! воскликнула Катенька, заливаясь слезами.

— Что такое? въ чемъ простить?

— Я не могу выдти замужъ за Григорія Дмитріевича.

— Не можешь! Отчего не можешь?

— Я ужъ общалась выдти замужъ за другаго.

Вся комната завертѣлась въ глазахъ Анны Васильевны, и

мертвенная блѣдность мгновенно покрыва ея лицо. Съ полминуты продолжалось молчаніе, прерываемое лишь всхлипываніями плачущей Катеньки. Наконецъ, Анна Васильевна, справившись кой-какъ съ своими чувствами и овладѣвъ сама собой, произнесла чуть слышнымъ голосомъ, обращаясь къ мужу: «вели мнѣ подать стаканъ воды!» Петръ Васильевичъ вышелъ изъ комнаты и во все продолженіе послѣдующаго разговора не возвращался, ибо прочелъ очень явственно во взорѣ своей супруги нѣкое лаконическое дополненіе къ ея словесному приказу: «и не смѣй сюда входить, покуда тебя не позовутъ».

Принесли стаканъ воды. Анна Васильевна отпила изъ него нѣсколько глотковъ и, придя немного въ себя, обратилась къ Катенькѣ съ вопросомъ: «кому же ты общалась?»

— Володѣ, маменька...

— Какъ Володѣ?.. Когда?

— Третьяго года... помните, когда мы были на елкѣ у Заблочкихъ, — еще тамъ былъ фокусникъ и показывалъ фокусы.

— Володѣ, два года тому назадъ, когда ему и тебѣ только что минуло четырнадцать лѣтъ! воскликнула, оживая, Анна Васильевна.— Да ты была еще тогда совсѣмъ ребенкомъ! Какая ты глупенькая! Можно ли говорить о такихъ вещахъ серьезно, да еще плакать! Вѣдь Володя тебѣ родственникъ, внучатный братъ, и это твое общаніе была такая же игра, какъ *colin-maillard* или весъ туалетъ. Неужели ты сама этого не могла понять?

— Я это понимаю, — я тогда же поняла, что это вздоръ, глупость, но только когда мы съ вами возвращались съ елки, я стала дорогой думать объ этомъ и меня вдругъ начала мучить совѣсть: мнѣ сдѣлалось страшно, я чувствовала, что сдѣлала дурно, и что Володя можетъ объ этомъ разболтать въ Пажескомъ корпусѣ... Меня такъ мучила совѣсть, что я хотѣла признаться во всемъ вамъ, да побоялась... Мнѣ и теперь сдѣлалось страшно, когда я про это вспомнила: мнѣ кажется, что со мной случится что-нибудь, что Богъ меня накажетъ за грѣхъ...

— За какой грѣхъ?

— Да вѣдь мы поклялись другъ другу... и Катенька заплакала истерически.

Анна Васильевна на нѣсколько минутъ мрачно задумалась. Послушай, Катенька, сказала она, строго нахмутивъ брови, послушай, рассказывай мнѣ подробно все, какъ это у васъ происходило. Я даю слово, что тебѣ ничего не будетъ за то, что уже было; но Боже тебя сохрани скрыть отъ меня что-нибудь теперь!

— Это было наканунѣ того дня, какъ Володя уѣхалъ въ Пажескій корпусъ (такъ начала Катенька свои признанія). Мы съ нимъ танцевали мазурку, и онъ мнѣ все рассказывалъ, какія шалости они дѣлали надъ учителями, когда онъ былъ еще въ пансіонѣ; я слушала и ужасно хохотала. Потомъ, когда мазурка кончилась, мы вошли съ нимъ въ маленькую гостиную, и вдругъ онъ мнѣ говоритъ: «Знаешь, я въ тебя страстно влюбленъ... хочешь ли выйти за меня замужъ?» А я — я не знаю, что на меня тогда нашло такое, — я передъ этимъ все хохотала, а тутъ ужъ расхохоталась совсѣмъ, какъ сумашедшая, и говорю: «хочу», и опять расхохоталась... А онъ мнѣ говоритъ: «Ну, такъ клянись!» А я все хохочу и спрашиваю: «Какъ же мнѣ клясться?» — Скажи, говоритъ, просто: «клянусь» Я и сказала: «клянусь». — И я клянусь, сказалъ онъ, что когда меня сдѣлаютъ капитаномъ и дадутъ на Кавказѣ Георгія, то женюсь на тебѣ. Въ это время его кто-то позвалъ, и онъ убѣжалъ въ залу, а я расхохоталась такъ, что мнѣ даже стало больно вотъ тутъ... Съ тѣхъ поръ мы никогда не видались...

— И все тутъ?

— Все.

— Не дѣловались ли вы съ нимъ?

— Нѣтъ, маменька, отъ роду никогда.

— Точно?

— Точно.

— Не дѣлалъ ли онъ съ тобою чего-нибудь особеннаго?

— То-есть какъ это маменька особеннаго?

— То-есть такого, что съ тобой никто другой никогда не дѣлалъ.

Катенька подумала нѣсколько минутъ съ самымъ наивнымъ глубокомысліемъ и наконецъ сказала: «Нѣтъ, маменька, онъ со мной ничего особеннаго не дѣлалъ».

Анна Васильевна знала, что Катенька никогда не лгала, и потому была совершенно успокоена ея отвѣтомъ и черезъ нѣсколько секундъ молчанія разразилась вдругъ громкимъ истерическимъ хохотомъ. *Est-elle sottе!* подумала она.

Переставъ смѣяться, Анна Васильевна опять обратилась съ вопросомъ къ своей дочери: «Ну, скажи мнѣ пожалуйста, изъ чего же ты такъ разревѣлась? Вѣдь не влюблена же ты въ этого дурачка и лѣннища Володю. Еслибъ тебѣ дали выбирать жить весь свой вѣкъ съ Володей или съ Григоріемъ Дмитріевичемъ, кого бы ты изъ нихъ выбрала—съ кѣмъ бы изъ нихъ тебѣ было веселѣе?»

— Ахъ, конечно, съ Григоріемъ Дмитріевичемъ.

— Слѣдовательно, онъ тебѣ нравится.

— Онъ мнѣ очень нравится.

— То-то. Вѣдь ты не тоскуешь по Володѣ, не ждешь его?

— Нѣтъ, совсѣмъ не жду: я было и забыла совсѣмъ про него.

— Ну, вотъ видишь. А представь себѣ, еслибы Григорій Дмитріевичъ куда-нибудь уѣхалъ, ждала ли бы ты его?

— Ахъ, маменька, — мнѣ и теперь безъ него скучно: онъ такой умный, добрый, такъ хорошо говорить....

Проговоривъ эти слова Катенька вдругъ вся вспыхнула, потупила глаза и замолчала. Она въ первый разъ поняла свое чувство къ Задольскому и нашла этому чувству имя. И ей стало вдругъ стыдно, неловко. И съ этой минуты Катенька перестала быть ребенкомъ.

— Ну, такъ ты согласна? спросила Анна Васильевна.

— Согласна... прошептала, не поднимая глазъ, Катенька.

— Ну, я тебя спрашиваю опять, зачѣмъ когда я у тебя спрашивала въ первый разъ, согласна ли ты на предложеніе Задольскаго, ты расплакалась, какъ крестьянка, которую насильно выдаютъ замужъ.

— Я теперь сама вижу, что это было глупо; но когда

вы мнѣ вдругъ сказали, что Задольскій хочетъ на мнѣ жениться...

— То есть дѣлаетъ тебѣ предложеніе, поправила Анна Васильевна.

— Дѣлаетъ мнѣ предложеніе, то я вдругъ вспомнила, что когда вѣнчаются, то священникъ всегда спрашиваетъ «не обѣщались ли вы кому-нибудь?» И тутъ же я вспомнила, что я обѣщалась, и мнѣ сдѣлалось страшно... Меня уже это стало мучить съ того же вечера, какъ онъ меня заставилъ поклониться, и я объ этомъ хотѣла признаться на духу отцу Дмитрію, но позабыла.

— Ты можешь успокоиться: тутъ нѣтъ никакого обѣщанія; спроси хоть Филарета, — онъ тебѣ скажетъ то же самое. Перестань и думать объ этомъ вздорѣ. Ты теперь немножко разстроена, и я тебѣ дамъ успокоительныхъ капель... Смотри, не говори покуда никому, что Задольскій сдѣлалъ тебѣ предложеніе... А теперь иди въ свою комнату и прилягъ — тебѣ нужно успокоиться.

Катенька вышла изъ комнаты. Мать поглядѣла ей во слѣдъ и, пожавъ плечами, сказала почти вслухъ: «Ахъ, Боже мой, какъ трудно усмотрѣть за дѣтьми. Кажется, чего лучше присмотра какъ у меня: и не читали ничего, и не слыхали никакихъ умствованій и разсужденій, и не знали даже, что значить слово *влюбленъ*, — и вдругъ подвертывается этотъ гадкій мальчишка Володька и заставляетъ Катеньку клясться ему въ вѣрности... Да еще хорошо, что этимъ дѣло и кончилось, а то вѣдь эта дурочка Катенька ничего не понимаетъ...»

Въ тотъ же день Григорій Дмитріевичъ получилъ согласіе, и въ ту же ночь Катенька, улучивъ минуту, когда уснула ея сестра Зинаида, сообщила по секрету на ухо своей confidentкѣ нянѣ, что она выходитъ замужъ.

На другой день послѣ того, какъ дано было согласіе Григорію Дмитріевичу, Анна Васильевна имѣла слѣдующій разговоръ съ Алексѣемъ Ивановичемъ Гладкимъ.

— Послушайте, Алексѣй Ивановичъ, знаетъ ли вашъ пріятель, что мы ничего не можемъ дать за Катенькой?

— Нѣтъ, онъ этого не знаетъ.

— А какъ вы думаете, какъ это на него подѣйствуетъ, когда онъ узнаетъ.

— Это подѣйствуетъ на него самымъ благопріятнымъ образомъ.

— Отчего же?

— Потому что ему давно хотѣлось жениться на бѣдной.

— Какъ это странно!... Но почему вы это знаете?

— Потому что онъ уже мѣсяцевъ пять твердитъ, что ему необходимо надо влюбиться и жениться, но что трудно найти по себѣ дѣвушку, такъ какъ ему нужно, чтобъ она была въ высшей степени хорошо воспитана и въ то же время бѣдна до крайности... Въ эти пять мѣсяцевъ онъ прожужжалъ мнѣ насквозь уши стихами изъ Мольерова *Мизантропа*, такъ что я выучилъ ихъ наизусть.

— Какіе это стихи? спросила съ любопытствомъ Анна Васильевна, которая хотя никогда не интересовалась никакими поэтическими произведеніями, но теперь сочла нужнымъ узнать ту стихотворную тираду, въ силу которой женихъ ея дочери откажется взять что-нибудь за своей невѣстой.

— Видите ли, сказалъ Алексѣй Ивановичъ, въ *Мизантропѣ* Альцестъ (онъ то и есть мизантропъ, въ родѣ нашего Григорія Дмитріевича) говоритъ Селименъ о своей любви къ ней:

Ah! rien n'est comparable à mon amour extrême;
Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous,
Il va jusqu'à former des souhaits contre vous.
Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable;
Que vous fussiez réduite en un sort misérable;
Que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien;
Que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien,
Afin que de mon coeur l'éclatant sacrifice
Vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice,
Et que j'eusse la joie et la gloire en ce jour
De vous voir tenir tout des mains de mon amour.

Ободренная этой цитатой, Анна Васильевна вдругъ съ наглою рѣшимостью сказала Гладкому: «знаете что, Алексѣй Ивановичъ? я думаю, что у такого человѣка, какъ Григорій Дмитріевичъ»

вичъ, можно даже просто попросить денегъ на приданое для Катеньки: вѣдь нужно будетъ наготовить ей къ свадьбѣ, какъ это Богъ знаетъ для чего принято у всѣхъ порядочныхъ людей, множество платьевъ и всего такого... Такъ я думаю, можно будетъ попросить у него денегъ...

— Вотъ денегъ-то именно и нельзя попросить у такого человѣка, какъ Григорій Дмитріевичъ! воскликнулъ, заливаясь громкимъ хохотомъ, Алексѣй Ивановичъ.

— Отчего же?

— Все оттого же, что онъ первый чудакъ въ Европѣ. Во-первыхъ, онъ скажетъ, что тряпья этого совсѣмъ не нужно, и что для него гораздо лестнѣе, пріятнѣе и поэтичнѣе взять жену въ одной рубашкѣ (при этихъ словахъ лицо Анны Васильевны нѣсколько нахмурилось, такъ какъ она не привыкла къ такимъ фразамъ). Вовторыхъ, онъ, какъ то мнѣ кажется, долженъ обидѣться за Катерину Петровну... Въ-третьихъ, онъ терпѣть не можетъ, чтобъ у него просили денегъ.

— Что жъ развѣ онъ скупъ?

— Какой скупъ! Онъ о деньгахъ совсѣмъ и думать не умѣетъ и считать ихъ не можетъ — начнетъ считать, да пороняетъ на полъ. Вѣдь ручки у него тоже того... они съ вашей Катериной Петровной совершенная парочка по ловкости и практичности... Но дѣло не въ томъ...

— Въ чемъ же?

— Да вотъ въ чемъ. Объясню вамъ сіе посредствомъ примѣра — наглядно. Въ эти пять мѣсяцевъ я перебралъ у него столько денегъ, что и не помню — ни у кого еще я ихъ столько не бралъ; но я у него ни разу не просилъ ихъ: каждый разъ онъ мнѣ самъ предлагалъ. Если у него попросить, онъ страшно разстроится и огорчится и скажетъ: «Какой я подлецъ и эгоистъ: не догадался, что человѣкъ нуждается, и довелъ его до того, что онъ принужденъ унижаться — просить у меня». Ну, и тутъ начнутся страшные упреки совѣсти, хандра и различныя внутреннія и даже наружныя болѣзни. А вы вотъ что сдѣлайте: займите у кого-нибудь побольше денегъ (чѣмъ больше, тѣмъ

лучше); а потомъ, когда онъ узнаетъ отъ меня, что у васъ есть долги, — онъ съ превеликимъ восторгомъ и энтузіазмомъ бросится ихъ платить.

— Хорошо, сказала Анна Васильевна, я займу денегъ.

IX.

Близъ Прѣсенскихъ прудовъ въ довольно большомъ, но ветхомъ домѣ, съ полуразвалившимся крыльцомъ, съ покривившимися воротами, на коихъ красовались каменные львы съ отбитыми мордами, жила двоюродная сестра Анны Васильевны, дѣвица маеусаловскихъ лѣтъ, Людмила Юрьевна Трощинская. Несмотря на свое близкое родство съ этой древней дѣвой, Анна Васильевна старалась, на сколько это было возможно, не признавать ея своей родственницей: она и стыдилась ея, и чувствовала къ ней отвращеніе и презрѣніе. Бонтонная и холодная Анна Васильевна видѣла въ ней идеаль дурнаго тона и верхъ самой nepозволительной романической восторженности. И, надо сказать правду, возрѣніе ея на кузину было совершенно правильно. Людмила Юрьевна родилась отъ богатыхъ, знатныхъ, но совершенно безтолковыхъ родителей. Отецъ ея почти все время проводилъ съ цыганками, благо Грузины, гдѣ помѣщался цыганскій таборъ, были въ двухъ шагахъ отъ его дома. Онъ безпрестанно влюблялся въ знаменитыхъ Танюшъ, Катекъ и Прасковій и сочинялъ для нихъ новые романсы. Мать Людмилы Юрьевны цѣлые вечера проводила за бостономъ, а по утрамъ — съ десяти часовъ по-полуночи и до пяти по-полудни — разъѣзжала по магазинамъ и все дѣлала какія-то покупки; заваливъ всю карету покупками, она ѣхала въ сундучный рядъ, гдѣ весьма плотно закусывала передъ обѣдомъ — ѣла подовые пироги, ветчину, семгу, все это въ большомъ количествѣ — и, запивъ свой завтракъ двумя бутылками квасу, по своему обыкновенію, безъ посредства стакана — прямо изъ горлышка бутылки, возвращалась поспѣшно домой, садилась за обѣдъ и ѣла, какъ будто совершенно голодная. Домъ ихъ представлялъ смѣсь

изобилія и роскоши съ неопрятностью, сальностью и всякаго рода безпорядкомъ. Дорогая матерія на мебели была постоянно въ дырахъ; надъ окошками висѣли отвратительныя бархатныя лохмотья, подъ коими снисходительный зритель обязанъ былъ подразумѣвать драпри; прихотливый обѣдъ изъ дорогой провизіи, приготовленный однимъ изъ лучшихъ поваровъ въ столицѣ, подавался растрепанной съ прорванными локтями прислугой, на столѣ, который былъ покрытъ скатертью, росписанной всевозможными соусами; паркетъ, представившій на себѣ самые вычурные узоры, почти никогда не натирался, а если и натирался, то ужъ такъ сильно, что въ продолженіе мѣсяца послѣ такого великаго событія и сами обладатели этого паркета, и ихъ гости безпрестанно падали и разбивали себѣ довольно больно затылки. Гости, посѣщавшіе домъ Троцинскихъ, представляли собой самыя противоположныя, несовмѣстимыя стихіи. Къ Троцинскимъ ѣздили обѣдать люди очень высокопоставленные на общественной лѣстницѣ, связанные съ ними родствомъ; ихъ посѣщали артистическія знаменитости Европы, пріѣзжавшія въ Москву давать концерты; и въ тоже время домъ ихъ съ утра до ночи былъ набитъ биткомъ самой разнообразной шушерой — шулерами, мнимо-юродивыми, гадальщицами, цыганками, приживалами, чиновниками, выгнанными изъ службы и оставленными въ подозрѣніи въ кражѣ казенныхъ денегъ, и наконецъ такими личностями, которыхъ трудно опредѣлить, что онѣ такое и которыхъ нигдѣ по всей вселенной, кромѣ дома Троцинскихъ, нельзя было встрѣтить: у нихъ для всѣхъ были настежъ открыты двери. Въ этой атмосферѣ родилась Людмила Юрьевна. Воспитаніе ея было поручено французской гувернанткѣ, особѣ весьма вертлявой, за которой хозяинъ дома открыто, свободно и весьма успѣшно волочилъ въ тѣ ненастные для него дни, когда ему не везло у цыганокъ. Людмила Юрьевна въ дѣтствѣ показала большія способности и училась съ большимъ рвеніемъ. Въ домашнемъ кругу всѣ (въ особенности полуграмотныя приживалки) восхищались ея умомъ и талантами. Такимъ образомъ, съ самаго ранняго возраста она слышала самыя востор-

женныя домашнія похвалы своему гению. Эти семейные успѣхи развили въ ней до исполинскихъ размѣровъ самолюбіе, коимъ и безъ того природа надѣлила ее весьма щедро. Когда она вступила въ возрастъ свѣтскаго совершеннолѣтія, то-есть когда ей минуло шестнадцать лѣтъ, родители поспѣшили вывезти ее въ свѣтъ. Людмила Юрьевна давно ожидала этого событія, какъ великаго торжества для своего самолюбія. Она была увѣрена, что поразить все московское общество своимъ блестящимъ умомъ и великой начитанностью. Но она жестоко ошиблась: въ свѣтъ ожидало ее совершенное фіаско. Она дѣйствительно поразила всѣхъ, но не умственными способностями и познаніями: а замѣчательнымъ безобразіемъ своего лица, безвкусіемъ туалета, дурными манерами и безконечной педантической болтовней. Всѣ бѣжали отъ ея разговоровъ и никто не хотѣлъ съ ней танцевать. Это она вскорѣ замѣтила и какъ ни успокоивала себя мыслью, что ея неуспѣхъ происходилъ отъ того, что она всѣхъ умнѣе, и что *свѣтская чернь* или не понимаетъ ея, или завидуетъ ей, однако самолюбіе ея было смертельно уязвлено, и она почувствовала ненависть къ свѣту. Къ тому же она почти съ перваго взгляда замѣтила то, чего ея добродушные родители не замѣчали въ продолженіе всей ихъ жизни: она замѣтила, что ея папенька и маменька не пользуются рѣшительно никакимъ уваженіемъ въ обществѣ, что люди хорошаго тона избѣгаютъ ихъ и стыдятся показать свою короткость съ ними публично. Замѣтила она также, что карета ихъ родителей годится только для древлехранилища, а кучера и лакеи своими разорванными костюмами внушаютъ жалость и состраданіе самымъ нечувствительнымъ и жестокосердымъ зрителямъ. Изъ этого всего она увидала, что къ хорошему обществу Москвы она принадлежитъ только по рожденію и что почетное въ немъ мѣсто можетъ только завоевать посредствомъ личныхъ достоинствъ. Въ числѣ личныхъ достоинствъ своихъ она главнѣйшимъ образомъ имѣла въ виду свое литературное призваніе. ибо уже съ дѣтскихъ лѣтъ, къ крайнему восторгу родной семьи и состоящихъ при оной приживалокъ, предавалась съ большимъ

успѣхомъ сочинительству на обоихъ своихъ природныхъ языкахъ, то-есть французскомъ и русскомъ. Тенерь, больше чѣмъ когда-нибудь прежде, принялась она марать бумагу. Просидѣвъ мѣсяцевъ шесть безвыходно въ своей комнатѣ, она написала безобразнѣйшую поэму въ подражаніе Виктору Гюго; поэма эта была напечатана въ одномъ альманахѣ, весьма модномъ въ то время, но издатель котораго былъ большой шутникъ и мистификаторъ: онъ напечаталъ поэму Людмилы Юрьевны, какъ выражаются дѣти, «нарочно», чтобъ посмѣшить ея публику. Эта скверная шутка достигла вполне своей цѣли: юная сочинительница была совершенно одурочена,—вся Москва подняла на зубки ея поэму, ибо ее прочли и тѣ, кто никогда ничего не читалъ, кромѣ календарей и выѣсокъ. Слухъ о такомъ громадномъ успѣхѣ поэмы дошелъ до ея автора, и Людмила Юрьевна поняла, что послѣ этого ей стыдно показать глаза въ люди. Она перестала выѣзжать и собрала вокругъ себя кружокъ изъ всевозможныхъ отверженцевъ общества. Что дѣлалось въ этомъ кружкѣ, я хорошенько не знаю; достоверно только то, что онъ весь отъ нея разбѣжался. Вскорѣ родители Людмилы Юрьевны умерли, и она стала жить у себя на Прѣснѣ почти совершенной пустынноницей. Родственники навѣщали ее очень рѣдко; знакомыхъ у нея почти никого не было: ее посѣщали только пять-шесть какихъ-то странныхъ, непонятныхъ и отчасти подозрительныхъ личностей, которымъ она читала свои произведенія. Главная причина, почему ея всѣ избѣгали, заключалась въ ея слишкомъ обильномъ и неистощимомъ краснорѣчїи; она, по свидѣтельству многихъ достоверныхъ лицъ, заговаривала людей до дурноты. Почти не было возможности остановить потокъ ея рѣчей. Если кто прїѣзжалъ къ ней, то она съ быстротой пантеры бросалась на гостя, не давъ ему выговорить слова, и, дабы онъ не ушелъ, припирала его къ стѣнѣ гдѣ-нибудь между диваномъ и шкафомъ, и такимъ образомъ отрѣзавъ его отъ всякаго сообщенія съ дверью, начинала говорить и говорила такъ много и долго, что у гостя дѣлалось головокруженіе, а если дѣло было натошакъ, то и тошнота; ежели гость какъ-нибудь

ухитрился вырваться изъ гостиной и спасался бѣгствомъ, она бросалась за нимъ взапуски чрезъ всѣ комнаты и кричала вслѣдъ ему свой нескончаемый монологъ, отъ коего гость не спасался и въ передней, ибо и тутъ въ то время, какъ онъ надѣвалъ шубу и калоши, она продолжала съ щедростью Везувія обливать его лавой своего краснорѣчія; бывали случаи, что она даже выскакивала за гостемъ на крыльцо, а потомъ и на улицу, и, несмотря ни на какой морозъ, стояла и кричала тамъ во все горло до тѣхъ поръ, пока экипажъ несчастнаго не скрывался изъ виду. Время свое она проводила очень однообразно. Во все продолженіе дня она или сочиняла, или болтала, а въ промежуткѣ между этими истощающими душу занятіями чистила себѣ зубы самымъ крѣпкимъ русскимъ табакомъ, что, какъ говорятъ, дѣйствуетъ очень возбуждительно на мысли и чувства (въ особенности на воображеніе). Такъ прожила она очень долго. Раны, нанесенныя ей самолюбію неуспѣхомъ въ свѣтѣ, стали понемногу подживать, и она вздумала возобновить свои сношенія съ обществомъ. Но надо замѣтить, что она такъ низко опустилась, живя въ своемъ священномъ уединеніи, дошла до такой неряшливости въ своемъ костюмѣ, приобрѣла такія странныя манеры, что рассчитывать на успѣхъ въ свѣтѣ было съ ея стороны совершеннымъ безуміемъ. Самой близкой родственницей въ Москвѣ доводилась ей Анна Васильевна, и черезъ нее то она надѣялась проложить себѣ опять дорогу въ московское общество. Но Анна Васильевна боялась ея, какъ чумы для своихъ дочерей, и просто стыдилась ея. Она принимала еѣ къ себѣ очень рѣдко и то въ задней комнатѣ, и притомъ когда въ домѣ не было никого изъ постороннихъ. Людмила Юрьевна поняла, что Аннѣ Васильевнѣ совѣстно и стыдно принимать ее при порядочныхъ людяхъ и поклялась ей отмстить за это — и отомстила. Разъ какъ-то Людмила Юрьевна прослышала, что у Анны Васильевны званый и очень церемонный вечеръ; она сейчасъ же велѣла нанять ваньку и отправилась къ кузинѣ; но швейцаръ Анны Васильевны сказалъ ей, что нѣтъ никого дома; она взбѣсилась, побѣжала на задній дворъ, ворвалась въ домъ

по черной лѣстницѣ и, какъ бомба, влетѣла въ гостиную. Анна Васильевна такъ и обмерла: посреди великосвѣтскихъ дѣнди, въ родѣ князя Александра Заблоцкаго, великосвѣтскихъ расфранченныхъ дамъ самаго высокаго тона, одѣтыхъ съ самымъ тончайшимъ вкусомъ, вдругъ ляпнулась какая-то странная фигура въ чемъ-то въ родѣ тулупа, съ песцовымъ платкомъ на головѣ, въ песцовыхъ полуперчаткахъ, съ огромнымъ шерстянымъ шарфомъ на шеѣ и съ какимъ-то засаленнымъ громаднымъ мѣшкомъ подъ мышкой. Появленіе этой фигуры было такъ безобразно и некстати, что даже простодушной и незлобивой Катенькѣ стало за нее стыдно.

— Вотъ у тебя полонъ домъ гостей, равкнула громовымъ баритономъ Людмила Юрьевна, ставъ въ какую-то трагическую позу посреди гостиной, а твои люди гонятъ меня съ крыльца, говорятъ, что никого нѣтъ дома; такъ, матушка, съ родными не поступаютъ!

Всѣ гости при этихъ словахъ пристально взглянули на Людмилу Юрьевну, потомъ молча переглянулись между собой, — и было рѣшено *per tacitum consensum omnium*, что съ такими родными, какъ загадочное существо съ мѣшкомъ и полоумными глазами, представшее, какъ видѣніе, предъ ихъ очами, съ такими родными такъ именно и поступать должно. Но Анна Васильевна, несмотря на это благоприятное для нея рѣшеніе московскаго общественнаго ареопага, все-таки сгорѣла со стыда.

Послѣ этого происшествія Анна Васильевна отдала приказъ людямъ, чтобъ Людмилу Юрьевну гнали всѣми возможными способами и даже, въ случаѣ сильнаго сопротивленія, просто метлами и съ параднаго крыльца, и съ черной лѣстницы. И вотъ только она показывалась въ воротахъ, какъ вся прислуга въ домѣ приходила въ движеніе, какъ приходитъ въ движеніе гарнизонъ осажденной крѣпости, когда показывается непріятель, идущій на приступъ. Съ тѣхъ поръ какъ Людмила Юрьевна стала слышать отъ людей Анны Васильевны уже не коварное «дома нѣтъ», а прямое и грубое — «не приказано принимать» или даже «не приказано тебя пускать,» она такъ возненавидѣла свою гордую

кузину, что стала ей мстить уже не визитами, а своимъ злорѣчивымъ и лживымъ языкомъ. Она стала выдумывать про нее всевозможныя гадости и распускать свои выдумки по городу чрезъ своихъ приживалокъ, но эти выдумки не доходили до Анны Васильевны, потому что вращались только въ самыхъ низшихъ сферахъ общества, а въ домахъ порядочныхъ людей не доходили дальше переднихъ и кучерскихъ. Но, наконецъ, судьба доставила ей случай отомстить Аннѣ Васильевнѣ и отомстить самымъ ужаснымъ образомъ.

Разъ, когда Людмила Юрьевна, начистивши всласть себѣ табакомъ зубы, сидѣла за утреннимъ чаемъ и уже проглатывала девятый стаканъ (она всегда пила чай по-мужски — стаканами, а иногда, какъ увѣряли нѣкоторые насмѣшники, и полоскательными чашками), ей доложили, что пришла нянюшка изъ дома Черново-Сысольскихъ.

— А!.. зови ее сюда! воскликнула Людмила Юрьевна, которая въ скукѣ уединенія не пренебрегала обществомъ нанякъ и горничныхъ изъ когда-то ей близко знакомыхъ домовъ. Нянюшка вошла въ комнату и съ почтительными поклонами подошла къ ручкѣ Людмилы Юрьевны, которую та вырвала съ аффектаціей изъ руки старухи и театрално облобызалась съ ней троекратно. Нянюшка эта была въ молодости своей ея кормилицей и считала своей священной обязанностью раза два въ годъ навѣстить свою питомицу; хотя Анна Васильевна строго запретила всѣмъ своимъ людямъ имѣть какое-либо сообщеніе съ домою своей кузины, но это запрещеніе не могло относиться къ старой нянѣ, которая была связана съ этимъ домою, такъ сказать, узами молока. Людмила Юрьевна принимала всегда очень радушно свою кормилицу и даже очень мало мучила ее своей болтовней; послѣднее она дѣлала не изъ челоуѣколюбія, не изъ состраданія къ хилости и къ слабому здоровью старухи, но по расчету: ей гораздо было нужнѣе слушать рассказы нянюшки своего заклятаго врага о томъ, что дѣлается въ ненавистномъ ей домѣ, чѣмъ высказывать передъ безграмотной старухой свой умъ и свое краснорѣчіе. Обыкновенно только ста-

рушка показывалась въ дверяхъ, она сію же минуту осыпала ее вопросами на счетъ Анны Васильевны, — и болтливая Прасковья Ильинична неумышленно снабжала злоязычную Людмилу Юрьевну канвой для сплетенъ про свою госпожу.

— Садись, Прасковья, садись, не церемонься! говорила Людмила Юрьевна, поспѣшно наливая стаканъ чаю для своей гостьи. Ну что, откуда ты — изъ дому?

— Благодарствуйте, матушка Людмила Юрьевна, говорила гостья, принимая стаканъ чаю и кусокъ сахару изъ рукъ своей питомки. Нѣтъ, матушка, не изъ дому. А была я близехонько отъ васъ—во Вдовьемъ домѣ; тутъ живетъ у меня во вдовахъ двоюродная сестра, что была замужемъ за благороднымъ — за землемѣромъ.

— Знаю, знаю, сказала съ нетерпѣніемъ Людмила Юрьевна, которая уже нѣсколько тысячъ разъ слышала исторію этого брака—мезалианса межеваго чиновника съ крѣпостной дѣвушкой.

— Онъ межеваль у васъ въ имѣніи, продолжала упорно старуха...

— Знаю, знаю...

— Межеваль, межеваль... а она-то, сестра-то моя, была въ тѣ поры въ прачкахъ у вашей матушки покойницы, царство ей небесное...

— Знаю, Прасковья, знаю...

— Да и приглянись землемѣру-то; онъ бухъ въ ноги къ вашему батюшкѣ—царство ему небесное—да и говорить: такъ и такъ, что хотите со мной дѣлайте, а поудавилась мнѣ ваша крѣпостная дѣвушка Лиза и желаю я взять ее замужъ. Возьмите меня, говорить, хоть въ кабалу, только не разлучите съ ней. А батюшка вашъ добрый такой былъ, царство ему небесное: что, говорить, мнѣ тебя губить, — коли она тебѣ по ндраву, такъ съ Богомъ, идите подъ вѣнецъ, да меня зовите на свадьбу. Вотъ они...

— ...и пошли подъ вѣнецъ и жили долго... онъ, наконецъ, умеръ, а она осталась вдовой безъ всего, и ее помѣстили во Вдовый домъ. Такъ прервала Людмила Юрьевна безконечный разговоръ словоохотливой старухи.

Прасковья Ильинична замолчала и немного надулась: ей было обидно, что ей не дали рассказать до конца рассказ, который она всегда повторяла весьма подробно и съ большимъ самоуслаждениемъ.

— Ну, скажи-ка, что у васъ подѣлывается, прервала молчаніе Людмила Юрьевна. Что Анна Васильевна все также скряжничаетъ, чахнетъ надъ каждымъ кусочкомъ сахару... Я удивляюсь, какъ она до сихъ поръ не переморила васъ всѣхъ съ голоду.

— Что это ты, матушка! Христось съ тобой! Мы у нея не голодаемъ. Нѣтъ, дай Богъ ей здоровья, — мы сыты, одѣты, обуты...

— А что давно у васъ не было экзекуціи?

— Какой это, матушка экзекуція?

— Такъ ты не понимаешь! Я хочу тебя спросить, давно ли твоя Анна Васильевна не расправлялась розгами съ своими дочерьми?

— Что ты, матушка, да онѣ у насъ теперь уже большія — выше тебя выросли.

— Что-жъ что большія, развѣ Анна Васильевна съ большими не расправлялась. Еслибъ Сухарева башня была ея дочерью, да стояла бы не такъ, какъ ей хочется, такъ она и ее бы повалила, да высѣкла...

— Что ты, что ты, матушка Людмила Юрьевна! Не порочь ея — она барыня добрая; взыскательна — это точно, да взыскиваетъ только за дѣло... А что ты говоришь на счетъ сахару, такъ нельзя же ей не беречь своего добра: достатки небольшіе, а сыночекъ въ гвардіи служить, да двѣ дочери еще не замужемъ, — надо ихъ въ гости вывезти — ну, нужно и платьице получше, и башмачки, и все такое. Ну она хоть пищей-то ихъ и не лакомить, за то ужъ какъ куда надо вывести, такъ разодѣнетъ ихъ такъ, что просто, глядя на нихъ, сердце не нарадуется... Экихъ красавицъ, думаешь, я вынянчила, да выходила...! А ужъ Катенька моя какое заглядѣнье!... Волось темный, лице бѣлое, ростомъ...

— Да что волось темный, лице бѣлое! Говорятъ, она глупа,

какъ пробка, въ тысячу разъ глупѣе своего отца и всѣхъ своихъ сестеръ, хотя глупѣе ихъ и быть трудно...

— Какъ глупа! Кто это вамъ сказалъ? перебила, совершенно разобидѣвшись, Прасковья.

— Всѣ говорятъ, вся Москва говорить. Она что ни слово, то скажетъ глупость, мать-то за нее поминутно краснѣетъ. Она изъ-за глупости своей никогда и замужъ-то не выйдетъ: никто на ней не женится.

— Никто не женится, на Катенькѣ никто не женится! Да ты, матушка Людмила Юрьевна, не говоря дурнаго слова, вздоръ мелешь, воскликнула, вся задрожавъ и внѣ себя отъ негодованія, добрая старушка, оскорбленная до-нельзя за свою Катеньку, которую любила до страсти. Ты вздоръ не мели — не говоря, чего не знаешь. Можетъ быть Катенька, которую ты обзываешь душой, найдетъ себѣ такого жениха, что тѣ-то, что на старшихъ поженились, ему и въ подметки не годятся.

— Ну ужъ это, Прасковья, извини ты меня, ты немножко фантазируешь. Хотя тѣ сестры тоже препорядочныя дрянн, но онѣ все-таки во сто разъ умнѣе твоей Катеньки: онѣ сдѣлали себѣ такія партіи, какой Катенькѣ и во снѣ не видать. Ее дай Богъ сбыть хоть бы за плохенькаго — за какого -нибудь горбатаго и криваго дурака; да никакой уродъ, какъ ни будь онъ глупъ и горбатъ, ея не возьметъ...

— Такъ беретъ же, да еще и не уродъ, а первый богатъ въ Москвѣ! закричала почти въ бѣшенствѣ Прасковья, вскочивъ со стула.

— Какъ! Это кто еще? Кого еще приколдовала эта гнусная Анна Васильевна? загремѣла, сверкая глазами и тоже вскочивъ со стула, Людмила Юрьевна.

Старушка вдругъ притихла и долго ничего не отвѣчала, спохватившись, что проговорила, что открыла секретъ, о которомъ строго ей было велѣно молчать. На фізіономіи Людмилы Юрьевны она прочла въ эту минуту что-то зловѣщее и потому смутно догадалась, что Людмила Юрьевна воспользуется во вредъ Катенькѣ тайной, которую она у нея не вымучила

бы никакими пытками и которую старуха открыла передъ ней только вслѣдствіе негодованія, вызваннаго оскорбленіемъ, нанесеннымъ ей святынѣ — ея Катенькѣ, честь которой она хотѣла отстоять во что бы то ни стало.

— За кого же это она выходить? За кого! Какого еще дурака поймали въ капканъ? продолжала гремѣть на весь домъ Людмила Юрьевна. Да ты шутишь, Прасковья, сказала она, нѣсколько поуспокоившись и послѣ нѣсколькихъ секундъ молчанія.

— Нѣтъ, матушка... Да ты только смотри, никому объ этомъ не говори: объ этомъ еще не велѣно говорить...

— Да кто женихъ-то?

— Задольскій, матушка, Григорій Митричъ, сказала шепотомъ и озираясь Прасковья.

— Задольскій? повторила, что-то припоминая, Людмила Юрьевна. Задольскій... Мой настройщикъ настраивалъ на дняхъ фортепіано у какого-то Задольскаго, тотъ точно говоритъ очень богаты... Большой музыкантъ, недавно пріѣхалъ изъ Италіи...

— Да, матушка изъ Италіи, да только не музыкантъ, а благородный — помѣщикъ, свой домъ у него въ Леонтьевскомъ переулкѣ — большой, двухъ - этажный.

— Послушай, сказала вдругъ Людмила Юрьевна, глядя строго и пристально на старуху. Эта свадьба не должна состояться.

— Что матушка? сказала, поблѣднѣвъ, Прасковья.

— Я говорю, что этой свадьбѣ не бывать, я вѣдь только теперь вспомнила, что Катенька дала слово другому...

— Какъ это дала слово, проговорила, выпучивъ глаза, совсѣмъ растерявшаяся Прасковья.

— Она дала слово выйти замужъ за Володю,

— За какого Володю?

— Да за моего двоюроднаго брата, Володю Трошинскаго. Это было два года тому назадъ; онъ влюбленъ въ нее до безумія и сдѣлалъ ей предложеніе: она ему дала слово... Онъ самъ мнѣ все это рассказывалъ.

— Помилуй, матушка Людмила Юрьевна! Катенька тогда была еще совсѣмъ дитя, когда этотъ повѣса Владиміръ Пет-

ровить былъ здѣсь. Да и онъ былъ тогда еще совсѣмъ дитей... Они можетъ быть такъ только — играли промежъ себя. Мало ли какъ дѣти играютъ. Вонъ у насъ въ деревнѣ дѣвчонки съ мальчишками въ мужей и женъ играютъ. Такъ что-жь? Это одна игра, потому что дѣти невинность — ничего не смыслятъ!...

— Да то совсѣмъ другое дѣло... Ты совсѣмъ не про то толкуешь, Прасковья... То дѣти, а Катенька твоя не была дитей: ей ужъ было тогда почти четырнадцать лѣтъ.

— Да что-жь это еще за года, сударыня?

— Это года порядочные, дѣвочка въ эти года уже кой-что смыслить... Да дѣло не въ годахъ, а въ томъ, что они влюблены другъ въ друга, влюблены страстно, дали другъ другу слово, — и злые люди, изъ своихъ мерзкихъ расчетовъ, хотятъ ихъ разлучить. Понимаешь ты, что твою Катеньку хотятъ сдѣлать несчастной, погубить: ее продаютъ за деньги...

— Какъ продаютъ? Христосъ съ тобой! Какія ты страсти говоришь... Какъ можно продавать! проговорила дрожащимъ голосомъ и крестясь дрожащими руками Прасковья.

— Послушай, Прасковья, сказала Людмила Юрьевна ласковымъ голосомъ, въ которомъ однако-жь дрожали ноты чѣмъ-то внезапно подавленнаго бѣшенства. Послушай, мнѣ теперь некогда — нужно писать нисѣма; ты поди, посиди въ дѣвичьей, тамъ тебя я велю кофеемъ напоить — вѣдь ты до него большая охотница, да тебѣ онъ и въ рѣдкость у Анны Васильевны: я думаю, если на твою долю и достается когда-нибудь кофейку, такъ это какая-нибудь гуща... Поди же, матушка въ дѣвичью и кушай тамъ, сколько душѣ угодно.

— Благодарствуй, матушка. Не могу — пора домой.

— Полно, не церемонься, куда тебѣ спѣшить.

Но Прасковья совсѣмъ не церемонилась, и ей не куда было спѣшить, но она хотѣла поскорѣе убраться отъ своей питомки, которая теперь ей вдругъ стала почему-то и страшна, и противна. При томъ же она боялась, какъ бы еще больше не проговориться, и потому отказалась наотрѣзъ отъ своего любимаго напитка. Прощаясь, она нѣсколько разъ просила почти со

слезами Людмилу Юрьевну не говорить никому о секретѣ, который она передъ ней выболтала.

— Хорошо, будь покойна, сказала ей Людмила Юрьевна, все устроится къ общему благополучію. Но только что старуха вышла изъ комнаты, какъ престарѣлая дѣва вскочила съ яростью со стула и, задыхаясь отъ бѣшенства, стала носиться по комнатѣ (она въ это время была страшно похожа на Мегеру). Такъ носилась она около трехъ минутъ; потомъ вдругъ подбѣжала къ умывальному столику, схватила коробочку съ табакомъ и зубную щетку и, продолжая бѣгать и метаться по комнатѣ, начала съ неистовствомъ, что было силы чистить себѣ зубы табакомъ.

— Нѣтъ, говорила она, пылая глазами, этому не бывать. Нѣтъ, *chère et bonne cousine* Анна Васильевна, вы у меня немножко протанцуете казачка...

Въ видѣ смягчающихъ обстоятельствъ къ злобнымъ планамъ Людмилы Юрьевны я долженъ замѣтить, что не изъ одной личной ненависти къ Аннѣ Васильевнѣ она хотѣла разстроить свадьбу ея дочери съ Задольскимъ: ея романическому и даже, можно сказать, разстроенному воображенію представилось, что въ самомъ дѣлѣ разлучаютъ два влюбленные сердца. Въ качествѣ поэта она считала священнымъ долгомъ воспрепятствовать этому гнусному дѣлу. Когда она натерла свои зубы табакомъ до такой степени, что пришла въ опьяненіе, то бросилась къ письменному столу и принялась писать. Она исписала два листка почтовой бумаги, запечатала каждый въ особый конвертъ, написала адреса и кликнула горничную. Растрепанная и засаленная горничная явилась только по четвертому зову. Выбравивъ въ довольно сильныхъ выраженіяхъ свою камеристку за медленность, она ей отдала слѣдующій приказъ: «скажи Ивану, чтобъ онъ отнесъ эти письма: одно на городскую почту, а другое—на большую. Слышишь? Онъ тутъ прочтетъ и увидить, которое куда слѣдуетъ... Да онъ не пьянъ?»

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Ну, такъ пусть идетъ, да сію же минуту, а то опоздаетъ.

— Да! воскликнула Людмила Юрьевна, когда ушла горничная (Людмила Юрьевна имѣла привычку говорить сама съ собой, привычку, образовавшуюся въ ней вслѣдствіе того, что она обыкновенно, пересматривая свои поэтическія произведенія, декламировала ихъ себѣ вслухъ, дабы провѣрить, насколько они гармоничны). Да, Анна Васильевна, вы очень ловки и хитры — умѣете подводить подковы подъ жениховъ. Но я хитрѣе васъ, я, какъ говорить Гамлетъ, *противъ подкова проведу подковы!*

Х.

Григорій Дмитріевичъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ въ самомъ восторженномъ настроеніи духа, весь погруженный въ мечтанія о своемъ счастьи. Передъ нимъ уже часа два стоялъ безо всякаго употребленія стаканъ чаю, про который онъ забылъ; въ рукахъ его была книга, въ которую онъ уже часа два смотрѣлъ и смотрѣлъ очень пристально, но все на одну и ту же страницу. Вчера онъ цѣлый день провелъ съ Катенькой, какъ съ своей невѣстой, и былъ на верху блаженства; теперь онъ все мечталъ о ней и въ своихъ мечтаніяхъ не могъ довольно ею налюбоваться. «Какая безукоризненная красота! Какое чистое дѣтское выраженіе глазъ! Какая прямота, правда и безыскусственность въ каждомъ ея словѣ, въ каждомъ движеніи! Сколько чистаго, небеснаго огня въ ея чувствахъ!» Такъ думалъ Григорій Дмитріевичъ, не отводя глазъ отъ книги и воображая, что онъ внимательно ее читаетъ. Въ это время подали ему письмо съ городской почты. Это его разсердило, потому что прервало нить его сладостныхъ мечтаній. Съ досадой разорвалъ онъ конвертъ и прочелъ слѣдующее:

«М. Г. Григорій Дмитріевичъ! Ниже *почти* не подписавшаяся не знаетъ васъ лично, но знаетъ, что вы артистъ, музыкантъ съ истиннымъ талантомъ. Она сама артистъ и потому знаетъ, что *ценій и злодѣйство* — *два вещи несовмѣстныя*.

«Да, я знаю, что вы благородный человѣкъ и не способны быть тираномъ!. А васъ хотятъ сдѣлать тираномъ, хотятъ за-

ставить загубить чужую жизнь — украсть чужое счастье. Знайте, что дѣвушка, которую хотятъ за васъ выдать, не любитъ васъ и даже ненавидитъ васъ, потому что любитъ другаго: она любитъ друга своего дѣтства, товарища своихъ невинныхъ игръ, которому уже поклялась въ вѣчной вѣрности. Васъ обманули, мой добрый, благородный Григорій Дмитріевичъ! Васъ одурачили! Мать вашей невѣсты видитъ въ васъ только огромный кулекъ, сшитый изъ самаго дешеваго, грубаго матеріала, но набитый туго червонцами. И вотъ въ жертву этимъ червонцамъ она влечетъ на закланіе родное свое дѣтище! Говоря прозой, она продаетъ вамъ дочь свою. Все дѣло въ томъ, что вы богатый человѣкъ, а соперникъ вашъ бѣденъ. Потому-то тиранка мать, которая торгуетъ своими дочерьми, какъ торгуютъ на базарахъ востока невольницами (она уже продала до семи штукъ своихъ дорогихъ дочекъ), и разлучаетъ теперь два страстно и давно любящія другъ друга существа и продаетъ вамъ несчастную дочь свою,—вамъ, котораго та не любитъ и едва еще знаетъ. Ужели вы допустите такое гнусное закланіе? Ужели вы будете наслаждаться супружескими удовольствіями съ безчеловѣчностью турецкаго или персидскаго магната, ласкающаго, съ животнымъ сладострастіемъ, невольницу, только что вчера вырванную изъ объятій страстно любимаго ею жениха? Нѣтъ, этого не будетъ, потому что вы, какъ я твердо увѣрена, честный и высокой души человѣкъ! Если же вы поступите иначе, то (торжественно объявляю вамъ это) я перестану вѣрить въ людей!

«Вотъ, что я сочла священнымъ долгомъ вамъ высказать.

Преданная Вамъ

Ignota.»

— Что это за дичь, что это за чушь, что это за мерзость! воскликнулъ Григорій Дмитріевичъ, судорожно сжимая въ рукахъ прочитанное имъ письмо. Онъ былъ страшно взволнованъ и страшно блѣденъ. На первый разъ, онъ не повѣрилъ ни въ одномъ словѣ извѣсту на Катеньку: его привела только въ негодованіе такая наглая клевета. Но нѣсколько минутъ спустя,

въ душѣ его произошло другое. Григорій Дмитріевичъ, какъ читатели уже знаютъ, былъ человѣкъ крайне мнительный; къ тому же онъ обладалъ необузданно пылкимъ воображеніемъ. Онъ былъ крайне довѣрчивъ и крайне подозрителенъ въ одно и то-же время. Если человѣкъ нравился ему, при первой встрѣчѣ, онъ сію же минуту приписывалъ ему въ своемъ воображеніи всевозможныя добродѣтели и доблести; но если тотъ-же самый человѣкъ навлекалъ на себя въ его глазахъ хотя тѣнь подозрѣнія, — воображеніе нашего героя мгновенно пересоздавало его изъ гигантовъ доблести въ чудовище всевозможныхъ пороковъ. Нѣчто подобное произошло и на этотъ разъ. Когда онъ перечелъ письмо, его вдругъ кольнулъ ужасный вопросъ: «ну, а какъ Катенька въ самомъ дѣлѣ обманула меня?» Конечно, онъ сію же секунду устыдился такой мысли, но тревожное чувство подозрѣнія уже начало въ душѣ его свою коварную, темную работу. Какъ благоговѣйно ни вѣрилъ онъ въ чистоту души Катеньки, но вопросъ, кольнувшій его сердце, уже не давалъ ему покоя. Въ душѣ его заспорили два голоса: «это вздоръ — Катенька обманывать не можетъ!» говорилъ одинъ голосъ, успокоивая его. — «Какъ знать? можетъ быть и можетъ», шепталь язвительно и насмѣшливо другой. Каждый изъ спорившихъ голосовъ — и защитникъ, и обвинитель приводили вѣскія доказательства одинъ *pro*, другой *contra*.

— Да, очень можетъ быть, что это правда! воскликнулъ Григорій Дмитріевичъ, ходя быстрыми шагами по комнатѣ; но вдругъ ему представился свѣтлый образъ Катеньки — ея открытый взоръ, ея наивно-дѣтская рѣчь, и онъ сказалъ, успокоиваясь: нѣтъ, она неспособна къ обману.

— Однако, что-жъ такое наружность! разсуждалъ Григорій Дмитріевичъ. нѣсколько минутъ спустя послѣ послѣдняго восклицанія. Наружность бываетъ обманчива. Бываютъ такія искусныя притворщицы, которымъ ничего не стоитъ принять на себя какую угодно фізіономію: онѣ обманываютъ самыхъ умныхъ и проницательныхъ людей. Обманывать мужей и заводить любовниковъ — дѣло самое обыкновенное. Я зналъ въ Италіи человѣка,

страстно влюбленнаго въ свою жену, въ идеальной чистотѣ которой онъ былъ увѣренъ, какъ въ своемъ существованіи, не подозрѣвая, что она во время ихъ супружескаго счастья переимѣнила семнадцать любовниковъ. Да развѣ нѣтъ примѣровъ, что женились на женщинахъ, уже имѣвшихъ дѣтей, считая ихъ за дѣвственницъ: значить, ихъ физіономія не разобличала ихъ прошлой жизни. А Катенька! (Онъ опять перечиталъ письмо). Здѣсь сказано, что Катенька только влюблена въ другаго, слѣдовательно ей, какъ невинной дѣвушкѣ, еще легче притвориться, чѣмъ женщинѣ падшей...

— Но нѣтъ, нѣтъ, это ложь, клевета! Катенька любитъ меня: когда я ей предложилъ руку, она была такъ рада, что даже заплакала отъ полноты чувствъ...

— Заплакала... но были ли это слезы радости? Можетъ быть она заплакала съ горя, что ее выдаютъ насильно замужъ... Несчастливая!.. вѣдь они бѣдны... можетъ быть мать умоляла ее выйти за меня замужъ — плакала, становилась передъ ней на колѣни... Да, да!.. Отчего, когда я сказалъ Аннѣ Васильевнѣ, что ищу руки ея дочери, она не сію минуту дала отвѣтъ, а назначила мнѣ чуть не цѣлыя сутки сроку. Для чего ей такъ много нужно было времени, чтобъ узнать, согласна ли Катенька выйти за меня замужъ? Вѣдь ей стоило только выйти въ другую комнату, чтобъ спросить объ этомъ дочь, и еслибъ у той не было никакой прежней привязанности, она бы въ одну секунду могла дать отвѣтъ. Но нѣтъ, видно этого нельзя было скоро сдѣлать: нужны были семейныя сцены, слезы, угрозы и проч., и проч. Да, я теперь вспоминаю, какъ холодно приняла Анна Васильевна мое предложеніе; я тогда даже принялъ эту холодность почти за отказъ.

— И за что Катенька можетъ любить меня? Я человѣкъ не-свѣтскій, а она выросла въ блестящемъ обществѣ: этотъ-то блескъ, котораго во мнѣ нѣтъ, вѣрно и нравится ей въ моемъ соперникѣ... Я ея ни въ чемъ не виню... Но мать, отецъ — вотъ истинные тираны! Не нищія же они, чтобъ торговать дочерью: у нихъ есть и квартира, и отопленіе, и жалованье —

не умрутъ съ голоду и не замерзнуть на улицѣ. Нѣтъ! имъ этого мало! Алчность къ деньгамъ заглушаетъ въ нихъ всѣ чловѣческія чувства.

Послѣ такихъ бесѣдъ съ самимъ собою, Григорій Дмитріевичъ твердо рѣшилъ немедленно ѣхать въ домъ своей невѣсты и отказаться отъ сватовства. «Если Катенька меня любитъ, разсуждать онъ, то опровергнетъ клевету и оправдается передо мной».

Со страхомъ сѣлъ онъ въ карету; дрожа и блѣдная при мысли, что, можетъ быть, услышитъ изъ устъ Катеньки свой смертный приговоръ.

Въ передней у Черново-Сысольскихъ ему сказали, что Анны Васильевны нѣтъ дома; онъ велѣлъ доложить о себѣ Катеринѣ Петровнѣ. Разумѣется, та съ радостію велѣла его просить. Когда онъ вошелъ въ залу, Катенька почти въ припрыжку выбѣжала къ нему на встрѣчу, съ пылающимъ отъ восторга лицомъ и вся смѣющаяся; но, взглянувъ на смертную блѣдность его лица и на полные страха глаза, она вдругъ остановилась посреди залы и опустила руку, которую еще издали ему протягивала. Задольскій ей показался страшнѣе, и какое-то ужасное предчувствіе охватило ей сердце холодомъ. Онъ нѣсколько минутъ молчалъ, опустивъ глаза въ землю, наконецъ сказалъ ей дрожащимъ голосомъ:

— «Катерина Петровна! Мнѣ нужно вамъ сказать нѣсколько словъ по очень серьезному дѣлу, которое касается прямо до насъ съ вами».

Воззваніе «Катерина Петровна» совсѣмъ уничтожило Катеньку. Еще вчера, высказывая ей свою любовь, Задольскій въ первый разъ называлъ ее Катенькой, сталъ ей говорить *ты* и требовалъ, какъ знака взаимной любви, чтобъ и она говорила ему *ты*, — а теперь... теперь вѣрно все кончено — онъ ея больше не любитъ! Медленно вошла она въ гостиную; за ней послѣдовалъ тоже медленными шагами Григорій Дмитріевичъ. Она сѣла на первый попавшійся стулъ. Задольскій нѣсколько минутъ стоялъ передъ ней молча: ему было тяжело открыть ей, что онъ подозрѣваетъ ее въ обманѣ.

— Я все знаю, сказалъ, онъ, наконецъ, Катенькѣ, послѣ невыносимаго для нея молчанія. Хотя вы мнѣ сказали, что любите меня и только одного меня, но вы любите другаго: вы дали ему обѣщаніе—покаялись выдти за него замужъ.

Катенька задрожала, какъ преступница, которую уличили въ преступленіи: она поняла, что Задольскій, хотъ и не прямо, а упрекаетъ ее въ обманѣ. Это ее оскорбило до глубины души. Задольскій помолчалъ нѣсколько времени, дожидаясь не будетъ ли со стороны ея оправданія, опроверженія клеветы. Но Катенька молчала и сидѣла передъ нимъ прямо и неподвижно, будто вдругъ превратилась въ статую.

— Я васъ не виню, заговорилъ опять Задольскій, стараясь вызвать ее на оправданіе или, лучше сказать, на вторичное признаніе въ любви. Вы повиновались вашей маменькѣ, которая приказала вамъ выдти за меня замужъ; я пришелъ только за тѣмъ, чтобъ сказать вамъ, что все знаю и не стѣсняю васъ: отдаю вамъ ваше слово назадъ.

Онъ опять замолчалъ, ожидая опять отъ нея оправданія.

Но Катенька сидѣла, какъ нѣмая; лицо ея было неподвижно оно превратилось въ олицетвореніе гордости, холодности и суровой, неумолимой строгости.

Задольскій опять помолчалъ нѣсколько времени; потомъ сказалъ, печально кланяясь Катенькѣ: «прощайте, Катерина Петровна!»

Опять послѣдовало молчаніе... О какъ страдала въ эти минуты Катерина Петровна (будемъ такъ ее теперь называть). Она знала, что могла очень легко и скоро оправдаться предъ Задольскимъ — могла сказать: «я васъ люблю», и одна искренность интонаціи ея голоса увѣрила бы его, что она говоритъ правду. Но Катерина Петровна во всю свою жизнь, ни прежде, ни послѣ этого событія, никогда ни въ чемъ ни передъ кѣмъ не оправдывалась. О! ея природа была въ этомъ отношеніи тверже желѣза и стали. Никакія пытки, хотя бы ихъ придумала сама испанская инквизиція, не могли бы ее заставить оправдываться, а тѣмъ больше теперь, когда, послѣ выходы Задольскаго, была

оскорблена и унижена ея женская гордость, самая ужасная изъ всѣхъ гордостей на свѣтѣ. «Нѣтъ», мелькало въ это время у ней въ головѣ, «нѣтъ! я разъ ему сказала, что люблю его, люблю одного, люблю больше всѣхъ на свѣтѣ, и онъ долженъ бы былъ повѣрить мнѣ на всю жизнь. . Онъ не вѣритъ мнѣ, думаетъ, что я его обманула... Пускай: я не стану ему божиться, унижаться передъ нимъ!.. Ахъ, я несчастная, несчастная — я погибла на всю жизнь, я его больше никогда не увижу!...»

Такъ думала Катерина Петровна и молчала; Задольскій долго стоялъ передъ ней молча.

— Прощайте, Катерина Петровна, сказалъ онъ, опять кланяясь.

Катерина Петровна, не двигаясь съ мѣста, отвѣчала ему съ гордымъ и холоднымъ видомъ едва замѣтнымъ кивкомъ головы. Онъ медленно вышелъ изъ комнаты. Только что онъ вышелъ, какъ Зинаида, безъ церемоніи подслушивавшая ихъ разговоръ изъ другой комнаты, вдругъ услышала въ гостиной какой-то глухой стукъ; она быстро вбѣжала въ гостинную и нашла Катерину Петровну лежащей въ обморокѣ на коврѣ.

— Что же ты молчала, дура! прошептала Зинаида, подбѣгая къ сестрѣ; но, замѣтивъ, что та безъ чувствъ, она быстрѣе птицы бросилась въ комнату Анны Васильевны и прилетѣла оттуда съ флакончикомъ какого-то отчаянно крѣпкаго спирта и влила въ носъ Катенькѣ такую усердную дозу этой живой воды, что той страшно зажгло и защипало ноздри; она мигомъ очнулась и даже немного приподнялась съ ковра.

— Пойдемъ отсюда, вставай скорѣе! прошептала Зинаида, поднимая сестру за талію тисками своихъ маленькихъ, но крѣпкихъ, какъ сталь, рукъ и увлекая ее изъ гостиной. Уйдемъ, уйдемъ скорѣе! повторяла она. Иди, покуда никто изъ людей не видалъ, что тебѣ сдѣлалось дурно: узнаютъ, догадаются, въ чемъ дѣло,—пойдутъ по городу сплетни, выдумаютъ, Богъ знаетъ что, — и мы погибнемъ навсегда въ общественномъ мнѣніи.

Вторую половину этой рѣчи Зинаида договорила уже въ кабинетѣ Анны Васильевны: съ такою быстротою протащила она туда

сестру. Она усадила её на диванъ, заперла на ключъ дверь и разразилась на нее упреками.

Между тѣмъ Григорій Дмитріевичъ прошелъ медленными шагами залу, подошелъ къ дверямъ передней и медленно и нерѣшительно взялся за ручку двери: онъ все ждалъ, не воротятъ ли его назадъ — не опровергнетъ ли Катенька клеветы анонима — не возвратитъ ли ему его счастье; но его не ворочали назадъ, не останавливали. Онъ вышелъ въ переднюю, въ которой на этотъ разъ никого не было, и простоялъ тутъ болѣе минуты, подъ тѣмъ предлогомъ, что ему не кому было подать шубы, безъ чего онъ, при другихъ обстоятельствахъ, очень бы могъ обойтись. Но вотъ раздался звонокъ на лѣстницѣ, онъ схватилъ съ вѣшалки шубу, но второпяхъ уронилъ ее на полъ; на звонокъ сбѣжались люди: одинъ поднялъ и сталъ подавать ему шубу, другой побѣжалъ встрѣчать гостей въ швейцарскую. Но это были не гости, а сама Анна Васильевна, возвращавшаяся съ утреннихъ визитовъ, и Григорій Дмитріевичъ встрѣтился съ ней лицомъ къ лицу на лѣстницѣ.

— Что вы отъ насъ бѣжите, дорогой Григорій Дмитріевичъ, сказала она по-французски, съ очень любезной улыбкой, своему будущему зятю.

Григорій Дмитріевичъ смутился и ничего не отвѣчалъ.

— Что же вы, войдемте, — продолжала она опять по-французски, бросивъ пронизательно-удивленный взглядъ на его лицо и сразу понявъ, что случилось что-то неладное.

— Мнѣ нужно было сказать кой-что очень важное вашей дочери, сказалъ тоже по-французски сконфуженный Григорій Дмитріевичъ.

— Что такое вамъ нужно было ей сказать?

— Я ей ужъ сказалъ... Это дѣло ужъ кончено.

— Что кончено?... О какомъ важномъ дѣлѣ могли вы говорить серьезно съ ребенкомъ, помимо меня... Войдемте же, войдемте, сказала Анна Васильевна и сказала съ такимъ апломбомъ и такъ повелительно, что Григорій Дмитріевичъ волею-неволею долженъ былъ послѣдовать за ней въ гостиную. Онъ отчасти

радъ былъ этому: какъ ни непріятно было ему приступить къ объясненію на счетъ Катеньки съ холодной Анной Васильевной, но въ душѣ его мелькнулъ лучъ надежды, что это объясненіе опровергнетъ клевету безыменнаго письма. Когда они вошли въ гостиную, Анна Васильевна, не снимая ни шляпки, ни перчатокъ усѣлась грозно-величественно на диванъ и пригласила сѣсть и Задольскаго; но онъ не сѣлъ.

— Вѣрно у васъ вышло что-нибудь съ Катенькой — какая-нибудь дѣтская ссора, какъ это бываетъ часто у влюбленныхъ, сказала Анна Васильевна.

— У насъ съ ней ничего не вышло; но я... Григорій Дмитріевичъ запнулся и остановился: Анна Васильевна сильно на него импозировала: — онъ никакъ не могъ рѣшиться вдругъ сказать: вы меня обманули.

— Но о какомъ же важномъ дѣлѣ говорили вы Катенькѣ?

— Видите ли, Анна Васильевна, по настоящему, мнѣ не зачѣмъ вамъ повторять того, что я ужъ сказалъ Катеринѣ Петровнѣ: между нами все кончено.

— Кончено!.. Какъ кончено? воскликнула, мѣняясь въ лицѣ, Анна Васильевна.

— А, подумалъ съ негодованіемъ Григорій Дмитріевичъ: она испугалась, что свадьба разстроится, что кулекъ съ золотомъ ускользаетъ изъ ея рукъ.

— Послушайте, Анна Васильевна, сказалъ сверкнувъ глазами и смотря пристально и очень неучтиво въ лицо Аннѣ Васильевнѣ, Григорій Дмитріевичъ, — послушайте, вѣдь я все знаю.

— Что вы знаете? спросила съ искреннимъ удивленіемъ Анна Васильевна.

Удивленіе это Григорій Дмитріевичъ принялъ за притворное и вскипѣлъ еще большимъ негодованіемъ.

— Я знаю, что Катерина Петровна любитъ другаго, что она ему дала слово, воскликнулъ онъ, все болѣе и болѣе выходя изъ себя.

— Ахъ Боже мой! такъ объ этомъ «важномъ» дѣлѣ говорили вы съ моей дочерью. Да вѣдь это было дурачество, дѣтская шалость, сказала, смѣясь, Анна Васильевна.

— А, такъ значить это было въ самомъ дѣлѣ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что анонимъ сказалъ правду: сама мать не отвергаетъ факта, она его только толкуетъ по своему, какъ ей выгоднѣй! Такую мысль вызвали въ душѣ Григорія Дмитріевича успокоительныя слова Анна Васильевна.

— Вамъ это кажется дѣтскою шалостью, сказалъ онъ, горько и злобно улыбаясь, а сами влюбленные смотрять, вѣроятно, на это иначе. Вамъ легко назвать шалостью ихъ любовь; но каково имъ, когда ихъ разлучаютъ...

— Какіе влюбленные и кто ихъ разлучаетъ! сказала опять со смѣхомъ Анна Васильевна, думая, что такое пустое дѣло сію же минуту разъяснится, и Задольскій самъ расхохочется. Это было два года тому назадъ, продолжала она: онъ только что поступилъ въ Пажескій корпусъ, а она была дѣвчонкой, которую еще ставили въ уголъ.

При словахъ «Пажескій корпусъ» — чувство ребяческой ревности пробѣжало иголками по всему существу моего героя, «А! сказалъ онъ мысленно, тутъ замѣшался мундиръ, имъ-то и прельстилась дѣвчонка: куда намъ, мирнымъ фразчикамъ соперничать съ грозными защитниками отечества!»

— Я не знаю, чему вы смѣетесь Анна Васильевна, сказалъ онъ вслухъ. Тутъ нѣтъ ничего смѣшнаго. Дѣло въ томъ, что тотъ, кого любить Катерина Петровна, другъ ея дѣтства, но бѣденъ, а я богатъ, — и вотъ ей велѣно забыть того, кто ей милъ, и выдти замужъ за меня, котораго она можетъ быть даже ненавидить!

— Что вы такое говорите! Вы сочиняете; никто ей не велѣлъ выходить за васъ замужъ... Я не выдаю насильно моихъ дочерей... Вы сдѣлали Катенькѣ предложеніе, я спросила, согласна ли она, она согласилась — сказала, что вы ей нравитесь. Вотъ и все.

— Въ томъ-то и дѣло, что она этого не сказала — не могла сказать.

— Григорій Дмитріевичъ! сказала строго и гордо Анна Васильевна, что съ вами? кажется вы... вы недовольно вникаете

въ то, что говорите. Я никогда не лгу: когда я говорю, что дочь моя сказала, значить она сказала.

— Вы хотите сказать, что я забываюсь, что я перехожу границы свѣтскихъ приличій. Вы совершенно правы: по уставу свѣтскихъ приличій, нельзя никому сказать въ глаза, особенно дамѣ, что она говоритъ неправду, хоть и навѣрно знаешь, что она говоритъ неправду. Но я не слѣдую фанатически вашему чопорному свѣтскому катехизису, и говорю то, что думаю: я не могу слѣдовать свѣтскимъ уставамъ передъ тѣми, кто прикрываетъ свѣтскимъ лоскомъ обманъ, и...

— Mais, monsieur Задольскій!.. воскликнула Анна Васильевна, желая остановить Григорія Дмитріевича; но это уже было невозможно.

— Я съ вами и объясняться не хотѣлъ, продолжалъ онъ, все болѣе и болѣе возвышая голосъ: вы сами остановили меня на лѣстницѣ и привели сюда,—такъ теперь извольте же меня выслушать. Я отказываюсь отъ руки вашей дочери, отказываюсь совершенно, формально...

— Но какая же причина, позвольте узнать?

— Я вамъ ее ужъ объяснилъ. Я знаю, что вамъ непріятно выпустить меня изъ рукъ: вамъ жалъ, конечно, не меня, не моихъ внутреннихъ достоинствъ, которыхъ вы и узнать не могли въ какія нибудь двѣ недѣли, а вамъ жалъ во мнѣ богатаго жениха, — и вотъ вы теперь рады всѣми средствами увѣрить меня, что Катерина Петровна никого не любитъ, кромѣ меня. Но я знаю, что это неправда, и не хочу разстраивать ея счастья съ другимъ: это было бы безчестно, гадко съ моей стороны...

— Но вы ея ни съ кѣмъ не разстроите, ни съ кѣмъ не разлучите; она ни за кого не пойдетъ замужъ,—у ней единственный женихъ, единственный человѣкъ, котораго она... который ей нравится, — это вы.

— То-есть это значить, что вы, и даже послѣ того, какъ я отказался отъ руки Катерины Петровны, не позволите ей выдти замужъ за человѣка, котораго она любитъ.... Но вѣдь это безчеловѣчно — разлучать два сердца, которыя, можетъ быть,

созданы другъ для друга. Мнѣ вчужѣ ихъ жаль: любили другъ друга столько лѣтъ, надѣялись, ждали, и вдругъ является богатъ, — и все разрушается.

— Послушайте, Анна Васильевна, продолжайте, внезапно смягчившись, какъ бы разчувствовавшись отъ собственныхъ словъ, Задольскій. Послушайте, будемъ говорить чистосердечно. Вы бѣдны (Анна Васильевна никогда не слыхала, чтобъ въ порядочномъ обществѣ говорили такіа вещи въ глаза; при словѣ — «вы бѣдны», она вся какъ-то перекосилась и не знала, что на это сказать), вы бѣдны. Теряя меня, вы теряете благосостояніе вашей дочери: я это понимаю. Такъ сдѣлайте вотъ что: пусть она выйдетъ за того, кого любить; что онъ бѣденъ — это ничего, — его можно сдѣлать богатымъ. Я очень богатъ, а богатство мнѣ ненужно... Я продамъ половину моего состоянія и всѣ деньги, которыя получу, передамъ вамъ, а вы дадите ихъ въ приданое за Катериной Петровной... Но только ради Бога, чтобъ она не знала, что это отъ меня...

— Вы, наконецъ, совсѣмъ забылись или просто съ ума сошли! воскликнула, вѣя себя отъ негодованія, Анна Васильевна. Какъ вы осмѣливаетесь предлагать мнѣ такіа вещи!... Это ужасно что такое... C'est inouï!

— Я право не хочу васъ этимъ обидѣть, Анна Васильевна!...

— Нѣтъ, вы съ ума сошли, вы совершенно съ ума сошли! вы предлагаете неслыханныя вещи!...

— Подумайте объ этомъ, Анна Васильевна! настаивалъ разчувствовавшийся до нѣжности Задольскій. Вѣдь тутъ съ вашей стороны не будетъ ничего дурнаго. Я знаю, при моемъ предложеніи въ васъ возмущается ваша свѣтская гордость: свѣтскіе предразсудки не позволяютъ принять денежную помощь отъ посторонняго человѣка. Но по христіанству, по совѣсти тутъ нѣтъ никакого грѣха. Вѣдь то, что я вамъ предлагаю, тоже сперва не принадлежало мнѣ, и не трудомъ моимъ я его добылъ: я получилъ мое богатство по наслѣдству, т. е. безо всякаго труда, безо всякой заслуги съ моей стороны, и потому оно не совсѣмъ мое, («онъ право сумашедшій или ребенокъ, хуже Ба-

теньки!» подумала Анна Васильевна при послѣднихъ словахъ Задольскаго). Послушайте, я люблю вашу дочь, люблю до безумія и вѣчно буду ее любить и потому желалъ бы, чтобъ она жила не только въ довольствѣ, но даже въ богатствѣ... Если я отдамъ ей половину ото всего, что имѣю, у меня все-таки останется очень много — даже слишкомъ много, по моимъ потребностямъ... Затѣмъ мнѣ богатство? Я умру холостякомъ, вдали отъ свѣта, отъ людей!... И такъ, я васъ прошу, умоляю васъ, Анна Васильевна, примите мое предложеніе.

— Которое? То, что вы сдѣлали три дня тому назадъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, то, которое я сейчасъ вамъ сдѣлалъ...

— Да вы, Богъ знаетъ, что говорите, Григорій Дмитріевичъ! Вы больны: идите къ доктору.

— Нѣтъ, я здоровъ, совершенно здоровъ и повторяю вамъ: подумайте хорошенько о моемъ предложеніи. Прощайте...

— Нѣтъ, до свиданія... Я увѣрена, что вы успокоитесь и нынче же вечеромъ придете просить у меня извиненія, что наговорили мнѣ такихъ... такихъ странностей... Впрочемъ, я васъ заранѣе прощаю, потому что вы больны и говорили совершенно въ бреду.

— Прощайте, повторилъ Задольскій, быстро выходя изъ комнаты.

— До свиданія! повторила вслѣдъ ему Анна Васильевна.

Григорій Дмитріевичъ давно ужъ вышелъ изъ комнаты, давно сѣлъ въ свой экипажъ и уѣхалъ, а Анна Васильевна все сидѣла на томъ же мѣстѣ, все еще не снимала ни шляпки, ни перчатокъ, сидѣла, если можно такъ выразиться, въ мертвой задумчивости, устремивъ глаза на одинъ предметъ. Она была совершенно ошеломлена выходкой Задольскаго. Да и было отчего ошеломиться! Вчера она была на вершѣ счастья и гордости, вчера дочь ея была невѣстой миллионера, а нынче этотъ миллионеръ отказывается отъ руки ея дочери, говоритъ ей самой дерзости и убѣгаетъ. Долго сидѣла она, какъ будто пораженная столбнякомъ. Но вотъ зашевелилась портьера, изъ-за нея сверкнулъ чей-то глазъ, и затѣмъ въ комнату вошла Зинаида.

Анна Васильевна очнулась от своей задумчивости и припла вь себя.

— Гдѣ Катенька? спросила она, встрепенувшись и спохватившись, что пора для разъясненія дѣла приняться за Катеньку.

— Катеньку я отвела въ вашу комнату: ей сдѣлалось дурно...

— Дурно? отчего дурно?

— Отъ Григорія Дмитріевича... Да, теперь ничего — все прошло; она сидитъ и плачетъ, да и это скоро пройдетъ.

— Да что жъ у нея было съ Задольскимъ?.. Ты была тутъ, когда онъ съ ней говорилъ?.. Съ какой стати она ему рассказала про Володю?

— Она ему не говорила ничего, и я сама не знаю ничего про Володю.

— Но откуда же онъ узналъ? Да ты была тутъ? я тебя спрашиваю.

— Нѣтъ...

— Но какъ же ты говоришь о томъ, чего не знаешь?

— Я знаю, маменька: я все слышала съ самаго начала.

— Какъ же ты слышала?

— Я... я была въ той комнатѣ и... и нечаянно все услышала.

— Ты подслушивала... Ну говори же, какъ это было... Послѣ я спрошу и Катеньку, послѣ, когда она наплачется.

— Мы были обѣ въ гостиной, когда вошелъ Федоръ и доложилъ, что Задольскій хочетъ видѣть Катеньку. Она сейчасъ же закричала: «проси!» Я сказала ей по-французски, что, кажется, вы ей не давали разрѣшенія принимать мужчинъ, и что это...

— Ну, это не идетъ къ дѣлу... Что же дальше?

— Когда Федоръ вышелъ, я ушла въ ту комнату. Катенька побѣжала навстрѣчу Задольскому и возвратилась съ нимъ сюда. Онъ какъ вошелъ, такъ ни съ того, ни съ сего прямо объявилъ Катенькѣ, что онъ все знаетъ, то-есть знаетъ, что она дала кому-то слово выдти замужъ.

— Что жъ она ему на это сказала?

— Ничего.

— Ничего!.. Ахъ какая!.. Ну что же дальше?

— Потомъ онъ сказалъ, что она его не можетъ любить, и что онъ даетъ ей назадъ ея слово.

— Что жъ она?

— Она ничего...

— Опять ничего не сказала?

— Рѣшительно ничего.

— Вотъ дура-то, дура! Что жъ потомъ?

— Потомъ онъ ушелъ. Я сію же минуту вошла сюда, смотрю — Катенька безъ чувствъ. Я дала ей понюхать вашъ спиртъ и увела поскорѣй отсюда, чтобъ никто не видалъ, *sag, vous savez, les gens* могли бы сюда войти...

— Ты прекрасно сдѣлала. Позови ее сюда... Нѣтъ погоди!.. Я сама пойду къ ней.

Анна Васильевна задумалась: она видимо отдаляла отъ себя минуту объясненія съ Катенькой, она боялась, что разразится на несчастную всей бурей, которая накопилась въ ея груди, а въ то же время очень хорошо понимала, что Катенька почти ни въ чемъ не виновата.

— Но когда же эта сумашедшая успѣла ему рассказать про Володю—исповѣдывать передъ нимъ свои грѣхи? Съ такимъ вопросомъ въ головѣ Анна Васильевна отправилась на допросъ. Она вошла въ свою комнату; Катенька какъ увидала ее, такъ вся и задрожала, какъ въ лихорадкѣ; матери стало ея жаль.

— Послушай, мой другъ, Катя, откуда узналъ Григорій Дмитриевичъ про твои дурачества съ Володей?.. Для чего ты ему говорила про это?

— Я, маменька, не говорила.

— Такъ, можетъ быть, писала?

— Нѣтъ маменька... Какъ я могла къ нему писать?

Анна Васильевна знала, что Катенька неспособна лгать!

— Но откуда же онъ узналъ это? сказала она, погружаясь въ задумчивость.

— Право, не знаю, маменька.

— Странно, очень странно! повторила нѣсколько разъ машинально, размышляя и соображая Анна Васильевна.

— Идите къ себѣ, обратилась она къ дочерямъ, мнѣ нужно заняться.

Барышни ушли, обѣ очень удивленные, что громовая туча, висѣвшая надъ головой одной изъ нихъ, не разразилась.

— Я, признаться, удивляюсь маменькиной добротѣ,—сказала Катенькѣ Зинаида, поднимаясь вмѣстѣ съ ней на антресоли. Я бы на ея мѣстѣ, я не знаю что съ тобой сдѣлала! Даешь какія-то клятвы; потомъ, когда женихъ прѣзжаетъ съ тобой объясняться, ты молчишь, какъ рыба.

XI.

Оставшись одна, Анна Васильевна не приступила ни къ какому занятію. Она стала ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, что съ ней случалось очень рѣдко и означало самое ненормальное настроеніе духа. Она была, если позволительно такъ выразиться, совершенно огорошена поведеніемъ и рѣчами Задольскаго. Никогда нигдѣ, кромѣ какъ на французскомъ театрѣ не видала она такихъ жестовъ и не слыхала такихъ патетическихъ монологовъ, какіе пришлось ей сегодня услышать у себя въ гостиной; уже одно то, что Григорій Дмитріевичъ при ней, у нея въ домѣ позволилъ себѣ возвышать не посвѣтски голосъ, размахивать театралью руками и даже отъ избытка чувствъ ударилъ себя раза два въ грудь, уже одно это, помимо того, что онъ говорилъ, сильно оскорбляло ея достоинство. А что онъ говорилъ — это ужъ Богъ знаетъ что такое! Онъ просто наговорилъ ей дерзостей... Ну, да пожалуй, и дерзости стерпѣть можно отъ будущаго зятя, притомъ же безъ свидѣтелей и въ виду благородной цѣли устроить счастье своей дочери. Но вотъ чего нельзя стерпѣть: онъ не хочетъ быть ея зятемъ, отказывается отъ руки ея дочери, которой просилъ три дня тому назадъ. Это обстоятельство представлялось Аннѣ Васильевнѣ просто сномъ.

— Неужели, думала она, этотъ бракъ разстроитъ? Но этого быть не можетъ! Неужели изъ-за такой ничтожной причины

онъ откажется отъ Катеньки! Вѣдь не сумашедшій же онъ въ самомъ дѣлѣ: я видала сумашедшихъ, у нихъ въ глазахъ что-то особенное, а у него глаза — какъ у всѣхъ... Впрочемъ, хоть онъ и не сумашедшій, а все-таки необыкновенно странный человѣкъ и отъ него все станется... и тогда прощай сто тысячъ дохода! А я уже думала, что поправлю совершенно наши дѣла!... И какая дерзость! отказывается отъ Катеньки и въ то же время предлагаетъ дать за ней въ приданое денежный капиталъ!... Это оскорбительно, это унижительно... Впрочемъ... впрочемъ, предложеніе его можно было бы принять — еслибъ было возможно все сдѣлать тайно... Но тайны тутъ быть не можетъ!... Про это узнаютъ всѣ, будутъ надъ нами смѣяться, на насъ будутъ показывать пальцами даже лавочники на улицѣ...

Въ такихъ размышленіяхъ провела Анна Васильевна весь день. Какъ ни было мрачно состояніе ея духа, когда она легла спать, но она уснула съ нѣкоторой надеждой, что дѣло не потеряно, и что сумашедшій женихъ опомнится, раскается и придетъ къ ней съ повинной. Весь слѣдующій день она прождала его, однако онъ не явился. На третій день Анна Васильевна очень упала духомъ: хоть душу ея все еще живила надежда, что Задольскій примирится съ Катенькой, но эта надежда была такъ слаба, что граничила съ отчаяньемъ. Анна Васильевна уже ясно видѣла, что дѣло плохо и едва ли поправимо.

Вечеромъ Анна Васильевна и все ея семейство сидѣли въ гостиной и пили чай. Царствовало гробовое молчаніе. Катенька страшно похудѣла и поблѣднѣла за эти дни и сидѣла теперь, какъ приговоренная къ смерти; она явно разнемогалась; уже съ утра она чувствовала въ себѣ такую слабость, что не хотѣла выходить изъ своей комнаты, но Анна Васильевна воспротивилась этому намѣренію, боясь, чтобъ какъ-нибудь не пошли по городу слухи, что дочь ея занемогла отъ любви. — «Переломи себя, сказала она ей, завтра или послѣ завтра это все пройдетъ; а если теперь будутъ говорить, что ты больна, — выйдетъ огласка.» — И такъ, въ комнатѣ царствовало гробовое молчаніе. Анна Васильевна, подобно великимъ полководцамъ, въ минуту

ихъ пораженія, сохраняла спокойно-величественный видъ, но тонкій наблюдатель могъ бы замѣтить теперь и въ ея лицѣ перемѣну: взглянувъ на ея лобъ, онъ замѣтилъ бы нѣсколько новыхъ морщинъ и много новыхъ сѣдыхъ волосъ, которыхъ не было наканунѣ. Зинаида тоже была не въ духѣ и посматривала на свою сестру сердитѣе обыкновеннаго. Петръ Васильевичъ, ничего не знавшій о случившемся, былъ смиреннѣе и боязливѣе, чѣмъ когда либо: онъ видѣлъ, что жена не въ духѣ, и потому, изъ опасенія сдѣлать какую-нибудь глупость и получить за это окрикъ, остерегался произвести какое-нибудь тѣлодвиженіе. Впрочемъ, не одна боязнь владала его душой въ этотъ вечеръ: общее уныніе отзывалось и на немъ. Такъ вѣрная домашняя собака хоть и не знаетъ, въ чемъ состоитъ горе ея хозяевъ, но безотчетно дѣлитъ печаль со всей ихъ семьей: не смѣетъ ни къ кому приласкаться, не заигрываетъ съ дѣтьми, а лежитъ, свернувшись клубкомъ, у дверей и дополняетъ собой печальную семейную группу.

Посреди безмолвія и унылой тишины, царствовавшей теперь въ гостиной Анны Васильевны, вдругъ послышались чьи-то безпокойно торопливые шаги изъ залы; у Катеньки дрогнуло сердце, Анна Васильевна тоже почувствовала что-то особенное въ лѣвомъ боку: «Не Задольскій ли это?» подумали онѣ обѣ. Но въ комнату вошелъ Гладкій. Онъ тоже былъ чѣмъ-то встревоженъ. Поздоровавшись со всѣми очень разсѣянно, онъ сѣлъ и сказалъ, ни къ кому не обращаясь: «не могу понять, что дѣлается съ Задольскимъ! я право думаю, не сошелъ ли онъ съ ума отъ блаженства.» Слова эти Алексѣй Ивановичъ произнесъ обыкновеннымъ веселымъ тономъ, но на этотъ разъ тонъ этотъ былъ нѣсколько натянутъ и плохо гармонировалъ съ его замѣтно встревоженнымъ лицомъ.

— Вчера нашего друга, продолжалъ Гладкій, цѣлый день не было дома и нынче тоже. Между тѣмъ я слышалъ, что онъ мечется по всей Москвѣ: вчера, говорятъ, онъ пріѣзжалъ въ театръ, постоялъ нѣсколько минутъ у входа въ партеръ, обвелъ всѣ ложи какими-то странными глазами и исчезъ; потомъ его

видѣли въ клубѣ: онъ явился туда послѣ полуночи, пришелъ въ комнату, гдѣ играютъ въ карты, заглянулъ въ карты каждому играющему (чего онъ отъ роду никогда не дѣлалъ) — и исчезъ; видѣли также его у Шевалье: явился, спросилъ себѣ обѣдъ по картѣ и черезъ три минуты уѣхалъ, не дождавшись обѣда... И вчера былъ у него десять разъ, да нынче восемь: все нѣтъ дома. Я пріѣхалъ сюда, думая его застать у васъ, но и у васъ его не видно. Былъ онъ здѣсь сегодня?

— Нѣтъ, отвѣчала Анна Васильевна.

— А вчера?

— Нѣтъ. и вчера не былъ, отвѣчала немного подумавъ и какъ-то нерѣшительно Анна Васильевна.

— Что это съ нимъ такое? началъ было Алексѣй Ивановичъ, но вдругъ, взглянувъ на лицо Катеньки, остановился, ибо, пораженный страшной ея блѣдностью и убитымъ видомъ, сію же минуту догадался, что между ней и Задольскимъ произошло что-нибудь недоброе.

Послѣдовало довольно продолжительное и крайне непріятное для всѣхъ молчаніе. Катенькѣ было невыносимо тяжело; она не выдержала и ушла. Зинаида вскорѣ послѣдовала за нею, потому что догадалась, что произойдетъ разговоръ, при которомъ она будетъ лишнею. Петръ Васильевичъ, видя, что всѣ уходятъ, понялъ по инстинкту, что и ему слѣдуетъ убраться. Молчаніе не прерывалось нѣсколько минутъ и послѣ того, какъ Анна Васильевна и Алексѣй Ивановичъ остались наединѣ, Анна Васильевна колебалась, сказать ей или нѣтъ Гладкому о случившейся катастрофѣ. Съ одной стороны, ей очень не хотѣлось посвящать его въ свои семейныя тайны, съ другой — она очень хорошо знала, что Гладкій есть единственный цементъ, связавшій и связующій ее съ богатымъ женихомъ, и что только черезъ него можно какъ-нибудь возобновить сношенія съ Задольскимъ.

— Когда же вы видѣлись съ Григоріемъ Дмитріевичемъ? сказала она, не отводя глазъ отъ работы.

— Да я былъ у него третьяго дня вечеромъ и засталъ его такимъ страннымъ, разстроеннымъ и раздраженнымъ, что право думать, что онъ боленъ, и сейчасъ же отъ него уѣхалъ.

— Да, онъ боленъ, сказала съ легкимъ вздохомъ Анна Васильевна.

— А развѣ и вы видѣли его въ такомъ положеніи?

Анна Васильевна ничего не отвѣчала на этотъ вопросъ. Послѣдовало опять молчаніе, во время котораго Анна Васильевна обдумывала, что ей сказать Гладкому. Наконецъ, планъ рѣчи былъ составленъ; она положила работу въ сторону, посмотрѣла прямо въ глаза Алексѣю Ивановичу и сказала тономъ такой искренности и простосердечія, какого до сихъ поръ въ ней никто никогда не замѣчалъ:

— Алексѣй Ивановичъ! вы добрый, прекрасный человекъ. Вы хоть и вѣтрены и повѣса, но у васъ доброе, прекрасное сердце. Откровенно вамъ скажу: прежде я васъ не любила — мнѣ не нравилась ваша репутація, ваша буйная жизнь. Но въ послѣднее время я васъ оцѣнила, потому что васъ узнала: вы добрый, истинно добрый человекъ!

Эти слова, произнесенныя съ чувствомъ сухой, холодной Анной Васильевной, тронули Гладкаго. Онъ былъ добрый человекъ и зналъ это и въ то же время понималъ, что доброта сердца есть единственное его хорошее качество. На него сильно подѣйствовало и то обстоятельство, что теперь хвалила его женщина, не любившая его прежде, ибо ничто такъ не льститъ нашему самолюбію, какъ вражда къ намъ, перешедшая въ любовь: тутъ торествуемъ мы побѣду. Съ этой минуты онъ готовъ былъ все сдѣлать для Анны Васильевны, и никакая пытка не заставила бы его открыть тайны, которую бы она ему ввѣрила. Она поняла это и смѣло продолжала:

— Да я теперь васъ знаю, Алексѣй Ивановичъ, и смѣло расскажу вамъ то, чего даже не знаетъ и мужъ мой. Я знаю, что какъ вы ни вѣтрены и ни болтливы, но не будете разглашать того, что случилось у насъ въ домѣ, потому что вы добрый и честный человекъ: вы не захотите сдѣлать зла несчастной дѣвочкѣ — моей бѣдной Катенькѣ, ни въ чемъ не виновной, но про которую Богъ знаетъ что сочинять, если узнаютъ, какихъ странностей надѣлалъ намъ Григорій Дмитріевичъ. Я расскажу

вамъ все: вы намъ человѣкъ не чужой—у насъ съ вами кровное родство... Катенька даже похожа на васъ лицомъ; она въ вашъ родъ.

Замѣтимъ здѣсь, что Катерина Петровна настолько же была похожа на Алексѣя Ивановича, насколько всѣ люди похожи другъ на друга. Но и заявленіе объ этомъ мнимомъ сходствѣ подѣйствовало сильно на разслабленнаго уже сердцемъ Гладкаго: онъ окончательно предался душой Аннѣ Васильевнѣ. Застряхавъ такимъ образомъ его сердце, она рассказала ему все, что произошло у нихъ съ Задольскимъ, выпустивъ только эпизодъ о томъ, какъ Задольскій предлагалъ отдать Катенькѣ половину своего состоянія.

— Но кто же могъ ему рассказать о происшествіи на елѣ? сказалъ Алексѣй Ивановичъ, когда Анна Васильевна кончила свой рассказъ.

— Не постигаю! Вѣдь сила не въ томъ, что рассказали ему эти пустяки. а въ томъ, что этимъ пустякамъ приданъ серьезный видъ.

— По моему, Анна Васильевна, надобно бы разыскать, кто это ему наплелъ.

— Къ чему! Какая намъ польза отъ этого? Послушайте, Алексѣй Ивановичъ, имѣете вы на него какое-нибудь вліяніе?

— Да, право, не знаю. Кажется...

— Поговорите съ нимъ объ этомъ, пожалуйста. Растолкуйте, что со стороны Катеньки это было просто ребячество, скажите ему, что вы ее знаете съ дѣтства; что она до знакомства съ нимъ не только не показывала никакихъ наклонностей къ любви, но даже не могла и понять, что такое любовь. Потомъ растолкуйте ему, что онъ компрометируетъ, губить дѣвушку, которую любить. Вѣдь всѣ знаютъ, что онъ ѣздилъ къ намъ каждый день; вѣрно также всѣ догадались, что онъ сватался за Катеньку и получилъ согласіе, — и вдругъ теперь онъ пересталъ ѣздить!.. Растолкуйте ему, что тотъ, кто оклеветалъ передъ нимъ Катеньку, постарается распустить клевету по всему городу, — и тогда репутація моего бѣднаго ребенка погибла навсегда.

Алексѣй Ивановичъ съ горячей готовностью обѣщалъ выполнить порученіе Анны Васильевны и поѣхалъ разыскивать Задольскаго. Надо замѣтить, что онъ самъ имѣлъ крайнюю необходимость его видѣть. Дня за три передъ этимъ какой-то петербургскій ростовщикъ подалъ на него вексель, съ представленіемъ кормовыхъ. Онъ былъ въ такомъ стѣснительномъ положеніи, что, вопреки своей системѣ — не просить никогда самому денегъ у Задольскаго, рѣшился на этотъ разъ измѣнить этой системѣ. Вотъ отчего онъ такъ пенялъ на то, что никакъ не можетъ застать дома своего пріятеля; потому-то онъ и явился въ ненормальномъ состояніи духа въ гостиную Анны Васильевны.

Гладкій провелъ цѣлый вечеръ въ тщетныхъ поискахъ: Задольскій не давался ему нигдѣ, какъ кладъ. Наконецъ, послѣ полуночи пріѣхалъ онъ къ нему на домъ; ему сказали, что баринъ еще не возвращался.

— Все равно, сказалъ онъ, я буду ждать его здѣсь хоть до преставленія свѣта.

Люди Задольскаго, зная его короткость съ Гладкимъ, разумѣется, не воспрепятствовали послѣднему войти въ кабинетъ своего барина и расположиться тамъ на диванѣ. Такъ какъ Задольскій явился домой только во второмъ часу, то Алексѣй Ивановичъ, дожидаясь его, порядкомъ задремалъ.

Надо сказать, что Григорій Дмитриевичъ, послѣ разрыва съ Катериной Петровной, былъ въ такомъ отчаяніи, что дѣйствительно смахивалъ съ виду на полоумнаго; «имъ овладѣло безпокойство, склонность къ перемѣнѣ мѣстъ», и онъ безо всякой цѣли теперь съ утра до вечера каталъ по Москвѣ. У него была постоянная привычка, когда онъ ѣхалъ въ экипажѣ или ходилъ у себя по комнатѣ, пѣть безпрестанно какую-нибудь и все одну и ту же строфу одного изъ своихъ любимыхъ стихотвореній. На этотъ разъ, катая по городу, онъ все время распѣвалъ заключительный куплетъ одной, всѣмъ извѣстной пѣсни Гейне:

Mit deinen schönen Augen,
Hast du mich gequält so sehr,
Und hast mich zu Grunde gerichtet—
Mein Liebchen, was willst du mehr?

Эти стихи онъ почему-то примѣнялъ къ своему положенію. Возвращаясь теперь домой, онъ все повторялъ ихъ, сидя въ каретѣ, повторялъ ихъ, всходя у себя дома на лѣстницу, и запѣлъ ихъ громкимъ и довольно дикимъ и отчаяннымъ голосомъ, входя къ себѣ въ кабинетъ и не замѣчая тамъ Алексѣя Ивановича. Гладкій мгновенно очнулся отъ дремоты и крикнулъ очень рѣзкимъ тономъ своему пріятелю: «Кто это тебя, любезный, *чу грунде герихнулъ*? Не съ больной ли ты головы да на здоровую? Не самъ ли ты кого-нибудь *рихнулъ чу грунде*? А?»

Затѣмъ Гладкій всталъ съ дивана и обратился съ вопросомъ къ Григорію Дмитріевичу.

— Ну, скажи мнѣ, пожалуйста, гдѣ ты пропадалъ всѣ эти дни?

— Да и самъ, право, не знаю — бродилъ по Москвѣ.

— Да что съ тобой? Ты, кажется, совсѣмъ съ ума сошелъ. Что ты такое накутилъ у Сысолевскихъ?

— А ты развѣ все знаешь?

— «Все знаешь!» Пожалуйста, не говори такимъ ужаснымъ, трагическимъ голосомъ. Все знаешь! Что такое твое *все* — всѣ глупости, которыя ты надѣлалъ, — приревновалъ свою невѣсту къ четырнадцатилѣтнему мальчишкѣ и поднялъ содомъ!

— Во первыхъ, тутъ дѣло не въ ревности, а во вторыхъ, мальчишка онъ или не мальчишка, но она его любитъ, а ее хотять отдать насильно за меня.

— Мальчишку этого она столько же любитъ, сколько и твоего дворника и всѣхъ прочихъ членовъ рода человѣческаго.

— Нѣтъ, она любитъ въ самомъ дѣлѣ; они общались другъ другу...

— Ха, ха, ха! Какія глупости ты говоришь: она была тогда ребенокъ.

— А развѣ ребенокъ не можетъ быть влюбленъ? Байронъ былъ влюбленъ, влюбленъ серьезно, когда ему было еще семь лѣтъ.

— Ну, да то Байронъ, а вѣдь Катенька не Байронъ.

— Природа человѣческая у всѣхъ одинаковая...

— Ну, да положимъ, что она была тогда влюблена (хотя я на-

вѣрно знаю, что нѣтъ, ну да положимъ!), но теперь-то я навѣрно знаю, что она ни въ кого не влюблена, кромѣ какъ въ тебя.

— Неправда. Она бы мнѣ это сказала — она бы опровергла мои слова, когда я упрекалъ ее въ обманѣ.

— Вотъ чего захотѣлъ! Ты дѣвочку совершенно огорошилъ, напугалъ, — заревѣлъ ей вдругъ: я все знаю, да то, другое и третье, — ну, она опѣшила! Что она за Цицеронъ, чтобъ сѣумѣть краснорѣчиво объясниться въ такомъ необыкновенномъ случаѣ; она и риторикъ-то не училась. Повторяю тебѣ: ты просто ее напугалъ... Пріѣзжай завтра къ нимъ и объяснись съ ней: она все тебѣ разскажетъ откровенно...

— Да, когда теперь ее ужъ научили, что мнѣ сказать!.. Нѣтъ, я не поѣду.

— Никогда не поѣдешь?

— Никогда.

— Однако это съ твоей стороны будетъ очень дурно: она твоя невѣста, и объ этомъ ужъ всѣ развѣдали. Теперь Богъ, знаетъ какую придумаютъ причину вашей размолвки, и по городу пойдутъ такіа слетни и клеветы, что репутація дѣвушки, которую ты такъ любишь, будетъ погублена навѣки.

— Пусть будетъ, что будетъ. Неужели по твоему для нея лучше, если она выйдетъ за меня замужъ и будетъ жить съ нелюбимымъ ей человѣкомъ? Вѣдь она исчахнетъ отъ отвращенія ко мнѣ и съ тоски по человѣку, въ котораго влюблена.

— И такъ, въ тебѣ нѣтъ никакой жалости къ Катенькѣ? Ты не поѣдешь объясниться съ ней?

— Не поѣду.

— Никогда?

— Никогда.

— Ну, такъ прощай!

Сказавъ это послѣднее слово, Алексѣй Ивановичъ сталъ надѣвать перчатки и продолжалъ: «послѣ этого я тебѣ больше не пріятель!... Вотъ видишь: я теперь въ самомъ затруднительномъ, самомъ ужасномъ положеніи: на меня поданъ вексель и ужъ представлены кормовыя; если завтра я не уплачу по векселю,

то послѣзавтра меня посадятъ въ яму. Я, признаться, и пріѣхалъ сегодня къ тебѣ только затѣмъ, чтобъ попросить денегъ для уплаты долга; но теперь, послѣ того, какъ ты такъ безжалостно, гадео и даже гнусно отнесся къ своей невѣстѣ, я и знаться съ тобой не хочу: лучше сидѣть въ ямѣ, чѣмъ быть тебѣ обязану».

При этихъ словахъ, Алексѣй Ивановичъ схватилъ шляпу и устремился къ дверямъ; Григорій Дмитріевичъ нагналъ его, остановилъ и, держа за руку обѣими руками, сталъ уговаривать взять отъ него денегъ Алексѣй Ивановичъ долго отказывался, но, наконецъ, переложилъ гнѣвъ на милость и, по великодушію своему, согласился взять отъ пріятеля потребную для себя сумму.

XI.

Вскорѣ послѣ разрыва Задольскаго съ Катериной Петровной, въ семействѣ Черново-Сысолевскихъ произошло три событія, имѣвшихъ важное вліяніе на судьбу нашей героини и нашего героя.

Первое событіе причинило большое горе Аннѣ Васильевнѣ: занемогла Катерина Петровна; съ ней сдѣлалась, какъ увѣряли доктора, нервная горячка.

Второе событіе тоже не доставило слишкомъ большаго удовольствія Аннѣ Васильевнѣ: къ ней пріѣхала родная сестра ея графиня Софья Васильевна Ризенвальдъ. Софья Васильевна съ ранней молодости вышла замужъ за русскаго дипломата и большую часть своей жизни провела за границей, изрѣдка пріѣзжая въ Россію для свиданія съ родными. Она была единственный человѣкъ на свѣтѣ, котораго безстрашная передо всѣми Анна Васильевна нѣсколько побаивалась: она благоговѣла передъ ней, какъ передъ дамой самаго высшаго тона. Анна Васильевна чувствовала, что она въ отношеніи тона и положенія въ свѣтѣ ничто въ сравненіи съ старшей своей сестрой, которая была на короткой ногѣ съ такими высокопоставленными

лицами и такими высокими кружками, близкій доступъ къ которымъ былъ для г-жи Черново-Сысольской, при всемъ ея аристократизмѣ, совершенно немислимъ. Такимъ образомъ, Софья Васильевна, въ отношеніи законовъ общежитія и знанія свѣта, была для Анны Васильевны величайшимъ авторитетомъ. Но не въ этомъ заключалась бѣда: въ отношеніи правилъ свѣтскаго общежитія Анна Васильевна не только охотно, но даже съ чѣмъ-то въ родѣ духовнаго сладострастія подчинялась авторитету старшей сестры; но горе для нея заключалось въ томъ, что Софья Васильевна была женщина развитая, образованная, много читавшая и даже любившая говорить о политикѣ. Анна Васильевна никогда ничего не читала, гнала политику изъ своей гостиной и не могла принимать никакого участія въ сколько-нибудь серьезныхъ разговорахъ; потому Софья Васильевна ставила ее въ затруднительное положеніе и безо всякаго намѣренія унижала ее самолюбіе тѣмъ, что заводила при ней такіе разговоры, въ которые она никакъ не могла вмѣшаться, ибо совершенно ихъ не понимала. Но это бы все еще было ничего; но главное горе и неудобство отъ пріѣздовъ Софьи Васильевны заключалось въ томъ, что Софья Васильевна критиковала систему воспитанія, которой держалась Анна Васильевна: ей крайне не нравилось, что ея племянницы мало развиты умственно, совсѣмъ не интересуются ни литературой, ни искусствомъ и черезъ чуръ чопорны и неподвижны въ своихъ мысляхъ и чувствахъ. Еслибъ кто другой выразилъ такое мнѣніе о барышняхъ Черново-Сысольскихъ, то Анна Васильевна выгнала бы его изъ дому, какъ грубіяна и человѣка, намѣревающагося развратить ея дочерей. Но сестру и такую высокопоставленную сестру, какъ Софья Васильевна, было бы неловко и при томъ нерасчетливо выгнать изъ дому. Къ тому же Анна Васильевна такъ благоговѣла передъ ней за ея высшее положеніе въ обществѣ, такъ любовалась ея изящнымъ тономъ, что даже сидѣть подлѣ нея, смотрѣть на нее было для Анны Васильевны высокимъ блаженствомъ. Когда она была

близъ Софьи Васильевны, то чувствовала то же, что чувствовала античный эллинъ, находясь близъ какого-нибудь кумира, изваяннаго рѣзцомъ Фидіа,—благоговѣніе передъ божествомъ и эстетическое наслажденіе отъ его высокоизящнаго вида. И надо сказать правду, что смотрѣть на Софью Васильевну было наслажденіе всякому, не смотря на то, что она была уже больше чѣмъ пожилая женщина, и что всѣ волосы ея были бѣлы, какъ снѣгъ. Всякій, кто понимаетъ, что такое изящная простота въ людяхъ, то-есть истинно хорошій тонъ, оцѣнилъ бы въ ней образчикъ истинно европейской цивилизаціи и истинно европейскаго тона, столь мало похожаго на московско-нижегородскій. Впрочемъ, Анна Васильевна, выслушивая критическія замѣчанія сестры на счетъ ея системы воспитанія, утѣшала себя такой мыслію: «сестра необыкновенно умная женщина, въ милліонъ разъ умнѣе меня; она во всемъ знаетъ толкъ лучше меня, но только не въ воспитаніи, и это отъ того, что у нея нѣтъ и никогда не было дѣтей. Будь у нея у самой дѣти, она бы была съ ними еще строже меня; я помню въ дѣтствѣ, какъ она больно прибила нашу комнатную собаченку Пижонку, за то, что та, вепрыгнувъ на ея столъ, опрокинула чернильницу на тетрадь съ французскимъ сочиненіемъ».

Итакъ второе важное для насъ событіе въ домѣ Анны Васильевны, то-есть пріѣздъ ея сестры, было бы для нея не изъ пріятныхъ, еслибъ Софья Васильевна не явилась вѣстницей третьяго событія, не только пріятнаго, но даже счастливаго—счастливаго до невѣроятія. Событіе это состояло въ томъ, что Анна Васильевна совершенно неожиданно получала наслѣдство и наслѣдство весьма значительное. Дѣло въ томъ, что въ какомъ-то бельгійскомъ или нѣмецкомъ городкѣ проживалъ двоюродный братъ Анны Васильевны; старый скряга, ненавидѣвшій до безумія, какъ всѣ скряги вообще, своихъ законныхъ наслѣдниковъ. Онъ уже давнымъ давно превратилъ всѣ свои помѣстья въ денежный капиталъ и поселился за границей. Тамъ онъ познакомился и сдружился съ какой-то голландской дамой, очень дурной наружности и вѣчно ходившей въ желтой

пьянскѣ. Чтобъ чѣмъ-нибудь объяснить своимъ знакомымъ свою таинственную близость съ этой въ высшей степени непривлекательной особой, старикъ увѣрялъ своихъ знакомыхъ, что держитъ ее при себѣ потому, что онъ человекъ больной, а что никто такъ не умѣетъ ухаживать за больными, какъ дама въ желтой шляпкѣ; всѣ смѣялись надъ этимъ объясненіемъ, ибо старикъ никогда не бывалъ боленъ, былъ крѣпокъ, какъ слонъ, и ѣлъ немного менѣе этого животнаго. Наслѣдники его давно знали, что онъ въ своемъ духовномъ завѣщаніи отказалъ всѣ свои капиталы дамѣ въ желтой шляпкѣ. Но за нѣсколько недѣль передъ кончиной, онъ узналъ, что эта дама втайнѣ ухаживаетъ еще за какимъ-то другимъ тоже совершенно здоровымъ больнымъ (молодымъ человекомъ) и при-томъ оказываетъ ему денежное вспомошествованіе. Узнавъ это, старикъ такъ разсердился, что разорвалъ духовное завѣщаніе; гнѣвъ его имѣлъ еще другое послѣдствіе, повредившее уже не дамѣ въ желтой шляпкѣ, а ему самому: съ нимъ сдѣлся ударъ, и онъ вскорѣ умеръ. — Извѣстіе о предстоящемъ полученіи наслѣдства такъ благодатно подѣйствовало на Анну Васильевну, что она было совсѣмъ позабыла про исторію съ Задольскимъ и стала смотрѣть гораздо спокойнѣе на болѣзнь своей дочери. Впрочемъ, Анна Васильевна могла теперь совсѣмъ о ней не заботиться, потому что Софья Васильевна принялась со всевозможнымъ усердіемъ ухаживать за больной племянницей: она цѣлый день отъ нея не отходила, а ночью ложилась подлѣ ея кровати на матрасъ, положенномъ просто на полъ. Катерина Петровна въ бреду часто произносила имя Задольскаго, призывала его къ себѣ и упрекала въ томъ, что онъ не вѣритъ ей, не любитъ ея. По отрывочнымъ фразамъ больной Софья Васильевна догадалась, въ чемъ дѣло, и попросила у сестры полного его разъясненія; та рассказала ей все безъ малѣйшей утайки о странныхъ поступкахъ нашего героя.

А герой нашъ, между тѣмъ, продолжалъ дѣлать странные поступки. Я долженъ здѣсь сказать нѣсколько словъ ему въ извиненіе. Конечно, онъ былъ очень страненъ и смѣшонъ;

но если вникнуть въ его положеніе, то нельзя отказать ему, по крайней мѣрѣ, въ сожалѣніи и состраданіи. Потерявъ Катеньку, онъ потерялъ единственную цѣль въ жизни... А въ какихъ радужныхъ цвѣтахъ сіяла передъ нимъ эта цѣль! Онъ всю жизнь хотѣлъ посвятить Катенькѣ. Она не развита, она не образована—тѣмъ лучше: онъ самъ ее разовьетъ, самъ образуетъ: она будетъ читать—учиться подъ его руководствомъ; онъ самъ станетъ учиться и передавать ей вновь пріобрѣтенныя имъ познанія. О, какое высокое, святое наслажденіе ожидаетъ его—просвѣтлять свѣтомъ истинной науки юную, чистую, еще ничѣмъ не испорченную душу! И что будетъ съ Катенькой, когда она, съ ея благороднымъ, горячимъ сердцемъ, да еще будетъ развитой и истинно образованной женщиной—образованной и нравственно, и научно, и эстетически. Да тогда всѣ женщины на свѣтѣ будутъ ничто передъ ней, и всякій мыслящій человекъ будетъ говорить о ней съ благоговѣніемъ. Такія мечтанія охватили душу моего идеалиста съ той минуты, когда онъ узналъ, что Катерина Петровна его любитъ и согласна быть его женой: тогда цѣль жизни и Катенька слились въ его сознаніи во едино. И вотъ у него нѣтъ Катеньки, нѣтъ цѣли жизни! Если человекъ не мыслящій не имѣетъ цѣли жизни или теряетъ ее—это ему ничего: онъ будетъ играть въ карты, на бильярдѣ, купитъ говорящаго попугая или заведетъ рысистыхъ и даже скаковыхъ лошадей. Но мыслящему человеку бѣда потерять цѣль существованія—изъ мыслей его сдѣлается хаосъ, что теперь и приключилось Григорію Дмитріевичу. Когда онъ рѣшился жениться на Катенькѣ, — всѣ его мысли, всѣ чувства вдругъ было сосредоточились въ Катеринѣ Петровнѣ, и какая гармонія тогда зацарила въ его душѣ! Теперь центръ потерянъ: не къ чему тяготѣть его душевнымъ способностямъ. Душевное положеніе нашего героя было почти отчаянно... Съ отчаянія люди обыкновенно или сходятъ съ ума, или застрѣливаются, или удаляются отъ міра, или запиваютъ запоемъ. Ничто изъ упомянутого не случилось съ Григоріемъ Дмитріевичемъ. Но ему пришла удивительно-странная и совершенно не свойственная

душѣ его мысль—предаться разврату. Эта мысль показалась ему очень привлекательной: ему представлялось, что онъ, пу-
стясь въ развратъ, отмститъ Катенькѣ за ея нелюбовь и холод-
ность. «Она думаетъ, что мнѣ ее очень нужно», думалъ онъ
въ какомъ-то полоумномъ капризѣ,—«она думаетъ, что я счи-
таю ее выше всѣхъ женщинъ на свѣтѣ. Ошибаетесь, Катерина
Петровна! Я найду самую низкую женщину и предамся ей—
предпочту ее вамъ—вамъ, небесное, ангельское существо, Кате-
рина Петровна». Такъ мечталъ онъ нѣсколько дней сряду, но
ему и въ голову не приходило принять какія-нибудь дѣятель-
ныя мѣры для осуществленія своихъ мечтаній. Разъ вечеромъ,
когда онъ ходилъ взадъ и впередъ по кабинету исполненный
самыхъ злобныхъ чувствъ противъ бывшей своей невѣсты, ему
вдругъ пришло въ голову устроить у себя оргію и собрать на
нее всѣхъ камелій Москвы. Онъ вдругъ позвонилъ. Вошелъ его
камердинеръ Яковъ; Григорій Дмитріевичъ смѣшался, ибо не
могъ же онъ сказать ему: «Яковъ, устрой мнѣ оргію».

— Холодно на дворѣ? сказалъ Григорій Дмитріевичъ своему
слугѣ для того только, чтобъ сказать что-нибудь ему.

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Ну, такъ иди: я звалъ тебя только за тѣмъ, чтобъ спро-
сить...

Яковъ посмотрѣлъ глубокомысленно въ глаза своего повели-
теля и ушелъ.

— Эхъ, жаль барина, думалъ онъ на пути въ переднюю: это
они все по этой барышнѣ тоскуютъ. Да и точно что жаль, что
у нихъ дѣло съ ней порѣшилось, потому, говорятъ, она до на-
шего брата очень добра: хорошо-бъ было, кабы она была нашей
барыней, а то, помилуй Богъ, теперь какая-нибудь злая ему
подвернется.

— Однако какія глупыя, нелѣпыя мысли приходятъ мнѣ въ
голову, сказалъ мысленно Григорій Дмитріевичъ. Устроить оргію!
Очень мнѣ это нужно! Точно будто я люблю такія удовольст-
вія!... И главное, для чего устроить оргію? На зло Катенькѣ—
чтобъ отомстить ей! Но какимъ образомъ она бы узнала про

эту оргію, и еслибъ узнала, то какъ бы она смогла понять, что такое оргія? И потомъ, что за гадость — злиться на нее, желать отмстить ей!... Прочь это гнусное чувство — оно оскверняетъ душу! Богъ съ ней, съ Катенькой, — пусть она меня не любить, а я все-таки буду любить ее!

Сказавъ это, онъ опять заходилъ по комнатѣ; тоска его усилилась... Надо замѣтить, что онъ былъ теперь совершенно одинокъ, потому что Алексѣй Ивановичъ, развлекавшій его прежде шутками и анекдотами, а теперь облегчавшій тоску его посредствомъ морали, брани и споровъ, былъ теперь въ Петербургѣ; его увезли туда почти силой какіе-то лейбъ-гусары на какой-то праздникъ, въ качествѣ величайшаго и знаменитѣйшаго увеселителя общества. Походивъ еще нѣсколько времени по комнатѣ и рѣшительно не зная, чѣмъ разогнать тоску, Задольскій опять позвонилъ; опять явился Яковъ.

— Подай мнѣ честеру и краснаго вина, сказалъ Григорій Дмитріевичъ.

Долгомъ считаемъ предупредить читателей, что Яковъ былъ однимъ изъ безтолковѣйшихъ слугъ въ Россіи; но Григорій Дмитріевичъ любилъ его и держалъ при своей особѣ потому, что находилъ въ немъ честность Аристида и прямоту и благородство характера Баярда.

— Прогони ты, наконецъ, этого скота, этого идіота Якова, говаривалъ постоянно Задольскому Алексѣй Ивановичъ. Вѣдь онъ у тебя все перебьетъ, все перепортитъ, да и самому тебѣ какъ-нибудь, по своей ловкости, выколетъ глаза кочергой отъ камина.

— Я никогда съ нимъ не разстанусь, отвѣчалъ обыкновенно на это своему пріятелю Григорій Дмитріевичъ. — Яковъ честенъ и преданъ мнѣ — съ меня этого довольно; а что онъ неловокъ, такъ тутъ еще нѣтъ большой бѣды... Мнѣ пріятнѣ видѣть при себѣ хотя неловкаго, но честнаго человѣка, чѣмъ ловкаго плута.

Яковъ былъ дѣйствительно хорошій, честный человѣкъ, но до такой степени гордился своимъ саномъ «камардина», что постоянно бранился съ остальной прислугой, желая доказать,

что между ей и имъ такое-же разстояніе, какое между нимъ и бариномъ. Особенно часто препирался онъ съ буфетчикомъ, который менѣе другихъ признавалъ его первенство.

— Да знаешь-ли ты, что такое буфетчикъ, сказалъ разъ Якову, сильно разгорячившись въ спорѣ, человекъ, носившій санъ буфетчика. Буфетчикъ—самый довѣренный человекъ; будь буфетчикъ подлець, такъ онъ, коли захочетъ, можетъ отравить барина.

— Камардинъ этого не допустить, отвѣчалъ ему съ торжественной важностью Яковъ.

И на этотъ разъ, когда Яковъ пришелъ въ буфетъ за виномъ и сыромъ, онъ не обошелся безъ того, чтобъ не подпустить хотя маленькой шпильки буфетчику.

— Давай честеру и красного вина!

— Для барина?

— Нѣтъ, для меня!.. Вѣдь что спросить!

— Спрашиваю для порядка. А какого красного вина, спросилъ ты у барина—лафиту или бургонскаго?

— Бургонскаго (Яковъ отвѣчалъ такъ единственно потому, что слово *бургонское* ему почему-то было легче и пріятнѣе произнести чѣмъ *лафитъ*).

Сыръ и вино были поданы Григорію Дмитріевичу, и онъ принялся за нихъ; все это время Яковъ стоялъ у дверей и съ нѣжностью смотрѣлъ на своего властелина: онъ ужасно любилъ глядѣть, «какъ баринъ кушаютъ.»

Григорій Дмитріевичъ пилъ очень рѣдко и очень мало и совершенно не зналъ вкуса въ винѣ, потому онъ теперь и не замѣтилъ, что ему вмѣсто бордо подали бургонскаго, и онъ смѣло выпилъ пѣлую бутылку такого крѣпкаго вина, какого онъ никогда не пивалъ болѣе полустакана. Онъ быстро запьянѣлъ: на него вдругъ нашла какая-то нѣжность, чувствительность, и имъ овладѣло сильное желаніе излить кому-нибудь все, что было у него на душѣ. Замѣтивъ въ комнатѣ Якова, онъ такъ умилился добрымъ выраженіемъ его лица, что ему въ голову пришло слѣдующее гениальное соображеніе: «отчего не подѣлиться мнѣ

моимъ горемъ съ этимъ добрымъ человѣкомъ? Правда, онъ не образованъ, но у него доброе сердце: онъ пойметъ и пожалеетъ меня».

— Яковъ! воскликнулъ Григорій Дмитриевичъ восторженно-пьянымъ голосомъ.

— Чего изволите?

— Бывалъ ли ты когда-нибудь влюбленъ?

— Никакъ нѣтъ-съ — это не наше дѣло.

— Какъ не ваше дѣло?

— Съ прислуги этого не требуется.

— Конечно, не требуется; но ты могъ бы быть влюбленъ.

— Нѣтъ, этого намъ нельзя — не годится... Вотъ у насъ, въ Саратовской губерніи, у помѣщика Угрева, крѣпостной человѣкъ былъ влюбленъ, -- ну, съ нимъ сейчасъ и покончили.

— Какъ покончили?

— Да въ солдаты его за это отдали.

— За что же это?

— А за то, что не смѣй... Какъ же это возможно, Григорій Дмитриевичъ, — влюбился въ дочь своего собственнаго помѣщика, да еще письмо ей написалъ, да въ окошко (дѣло-то было гѣломъ) къ ней въ горницу и бросилъ. Та сейчасъ показала папенькѣ, — ну, и его сейчасъ подъ красную шапку.

— Но зачѣмъ же непременно влюбляться только въ барышню: ты могъ бы влюбиться въ равную себѣ.

— Что изволите говорить?

— Я говорю, что ты могъ-бы влюбиться въ какую-нибудь горничную...

— Помилуйте, Григорій Дмитриевичъ! онѣ и вниманія этого не стоятъ: тѣ же мужички, только одѣты по-барски.

— Ну, наконецъ, можешь же ты въ кого-нибудь влюбиться?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Ну представь себѣ, что ты влюбленъ... Можешь ты себѣ это представить?

— Не могу, Григорій Дмитриевичъ, — увольте.

На этой фразѣ Якова прекратился разговоръ между бариномъ

и слугою. Григорій Дмитріевичъ, не смотря на то, что голова его была сильно отуманена винными парами, ясно понялъ, что Яковъ, при всей добротѣ его сердца и баярдовскомъ благородствѣ характера, никакъ не могъ быть его конфидентомъ. Однако этотъ разговоръ имѣлъ важныя послѣдствія: проснувшись на другой день съ головной болью, Григорій Дмитріевичъ сію минуту о немъ вспомнилъ, и сердце его сжалось отъ стыда и страха.

— До чего я дошелъ, что было я надѣлалъ! Нѣтъ, въ здоровомъ разсудкѣ такъ не поступаютъ. Я вздумалъ говорить съ Яковомъ о своихъ чувствахъ и отношеніяхъ къ Катенькѣ! Хорошо еще, что онъ такъ глупъ, что не могъ поддержать разговора, а то какая бы произошла профанация и моихъ чувствъ, и имени дѣвушки, которую я люблю. Довольно и съ нея, и съ меня, что Алексѣй Ивановичъ толкуетъ совершенно свободно со мной о нашихъ отношеніяхъ какъ о дѣлѣ, ему подвѣдомственномъ, а тутъ еще я самъ хотѣлъ было вмѣшаться въ мои сердечныя отношенія еще новое лицо — идіота Якова. Нѣтъ, я чувствую, что я близокъ къ сумашествію. Надо непременно вылѣчиться отъ моей болѣзни, отъ моей сумашедшей любви. Надо бѣжать изъ Москвы; я знаю, что меня мучитъ: меня мучитъ близость къ ней — мысль, что я живу съ ней въ одномъ городѣ и не могу, не долженъ ея видѣть; надо опять уѣхать за границу.

Такое рѣшеніе пришло въ голову Григорію Дмитріевичу, и рѣшеніе это было твердо. Онъ сталъ поспѣшно готовиться къ отъѣзду: бѣгалъ съ утра до вечера по Москвѣ и дѣлалъ различныя покупки. Какъ человѣкъ совершенно непрактическій, не способный думать ни о чемъ житейскомъ, онъ не понималъ, что ему совершенно было незачѣмъ готовиться къ отъѣзду — дѣлать покупки: все, что онъ покупалъ теперь въ Москвѣ, могъ бы гораздо лучше и дешевле купить за границей. Разъ, идя по какому-то переулку на Кузнецкій мостъ, онъ прочелъ вывѣску: *Madame Julie. Lingerie pour hommes.* — и вспомнилъ, что Алексѣй Ивановичъ хвалилъ при немъ кому-то этотъ магазинъ

за дешевизну и добросовѣстность; онъ вошелъ въ него. На звонъ колокольчика, задѣятаго отворенной дверью, выбѣжала молодая черномазенькая дама и стала за прилавокъ. Григорій Дмитріевичъ подошелъ къ ней и сказалъ по-французски: «я хочу вамъ заказать бѣлье...»

— Извините, прервала его по-русски брюнетка, я по-французски не умѣю, потому что я не мадамъ — мадамъ уѣхала со двора... Да это все равно: я могу и безъ нея...

Григорій Дмитріевичъ заказалъ все, что ему нужно или, лучше сказать, не нужно было, далъ задатокъ и хотѣлъ уйти.

— Помилуйте, господинъ, сказала ему, смѣясь, брюнетка. Посмотрите, какой ливень, а вы безъ зонтика и совѣсьмъ полѣтнему — на васъ сухой нитки не останется! Лучше обождите у насъ.

Григорій Дмитріевичъ послушался совѣта швеи, сѣлъ на стулъ подлѣ конторки и закурилъ сигару. Швея исчезла. Комната, въ которую она вышла, была отдѣлена отъ магазина такой тонкой перегородкой, что Григорій Дмитріевичъ могъ бы слышать каждое слово, хотя бы оно было произнесено и шепотомъ. Сперва за перегородкой царствовала совершенная тишина; но вдругъ послышался скрипъ отворенной двери и потомъ радостное восклицаніе, произнесенное голосомъ брюнетки: «ахъ, Саша!» За этимъ восклицаніемъ послышались звонкія лобзанія.

— Что ты такъ давно не была? зазвучалъ опять голосъ брюнетки. Неужто Анна Васильевна не пускаетъ тебя и съ родной сестрой повидаться?

При имени Анны Васильевны Григорій Дмитріевичъ вздрогнулъ и сталъ съ величайшимъ вниманіемъ прислушиваться къ разговору за перегородкой. Этотъ разговоръ происходилъ между двумя сестрами, подданными Анны Васильевны, изъ которыхъ одна состояла горничной при ея дочеряхъ, а другая — та самая брюнетка, которой заказывалъ бѣлье Григорій Дмитріевичъ — ходила по оброку и жила теперь у Madame Julie въ качествѣ закройщицы. — Разговоръ между сестрами продолжался.

— Я и проситься-то у барыни не посмѣла.

— Что-жъ такъ?

— Да нельзя было: барышня была при смерти больна.

— Которая?

— Да Катерина Петровна.

Григорій Дмитріевичъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, и затрясся, какъ въ лихорадкѣ.

— Что же съ ней было такое?

— Да такая оказія случилась, что и рассказать трудно.

— Ну, садись-ка и расскажи... Агапка! ты, чѣмъ зѣвать-то, поди-ка, поставь самоваръ, да сбѣгай купить орѣшковъ — на вотъ тебѣ восемь копѣекъ. — Ну, что же, Саша, расскажи.

— Сталь къ намъ, милая ты моя, ѣздитъ какой-то Григорій Митричь (фамиліи не знаю — фамилія мудреная).

— Ну?

— Познакомилъ его съ нами Алексѣй Ивановичъ, — знаешь?

— Какъ не знать таранту-то этого: разъ въ саду на датѣ у Анны Васильевны схватилъ меня за талию — хотѣлъ поцѣловать, да я отмахнулась и убѣжала... Ну, что же, Саша?

— Ну, только вотъ сталь ѣздить къ намъ этотъ Григорій Митричь, ѣздитъ, ѣздитъ, играетъ на фортунынахъ, читаетъ громко барышнямъ книжки. Ну что-жъ, мы глядимъ, видимъ человѣкъ ничего — хорошій.

— А богатый?

— Страсти!.. Ну ѣздилъ онъ, ѣздилъ, да и влюбись въ Катерину Петровну, да такъ, что бѣда; а она въ него еще пуще. Приходитъ онъ это къ барынѣ и говоритъ самымъ деликатнымъ манеромъ: «позвольте, говорить, руки и сердца вашей дочери, по той причинѣ, что я совсѣмъ жить безъ нея не могу.»

— Что ты!

— Ей Богу! Окажите, говорить, эдакое счастье. Ну, барыня видитъ, что человѣкъ какъ человѣкъ, ну и послала за барышней. — Согласна ли ты, говорить, Катенька, выдти за нихъ? — Съ моимъ, говорить, великимъ удовольствіемъ, та-то ей отвѣчаетъ: — влюблена въ него, понимаешь?

— Понимаю, понимаю. Ну что-жъ?

— Ну вотъ, Анна Васильевна и разрѣшила ихъ бракъ: по-

тому говорю тебѣ, богатъ такой, что страсти мои! Ну, только, что ты думаешь вышло?

— Что?

— Да то, что женихъ-то былъ сумашедшій.

— Что ты!

— Ей Богу!

При словѣ *сумашедшій*, Григорій Дмитріевичъ повернулся на стулѣ, и блѣдное лицо его покрылось вдругъ яркимъ румянцемъ. Но онъ продолжалъ слѣдить съ напряженнымъ вниманіемъ за разговоромъ двухъ сестеръ.

— Какъ же узнали, что онъ сумашедшій? Укусилъ что-ли кого-нибудь?

— Нѣтъ, укусить-то не укусилъ, а такую штуку отмахнулъ, что просто диво... Помнишь ты Владиміра Петровича, что теперь въ Петербургѣ?

— Это Володю-то? Помню.

— Ну, онъ, то-есть женихъ-то, и приревнуй къ нему Катерину Петровну.

— Къ этому уродцу-то! Ха, ха, ха! Да вѣдь онъ карликъ — такъ его и барышни въ глаза звали. Разъ Зинаида Петровна ему сказала: «ты, Володя, годика черезъ три, когда вырастешь повыше ростомъ, наймись въ фалеторы, — тебѣ хорошія деньги дадутъ; одно, говоритъ, бѣда: у тебя одна лопатка выше другой, пожалуй, какъ замѣтять, и изъ фалеторовъ прогонять».

— Хорошъ же мой соперникъ, подумалъ, совершенно побавровѣвъ, Григорій Дмитріевичъ; но разговоръ за перегородкой продолжался, и онъ продолжалъ его слушать.

-- Ну, что-жъ, Саша?

— А то, что онъ откуда-то узналъ, что когда Катерина Петровна и Владиміръ Петровичъ были дѣтьми, то какъ-то разъ играли въ жениха съ невѣстой. Какъ это онъ только узналъ, такъ сію же минуту, понимаешь, въ карету и что ни есть порывочи къ намъ и говорить Катеринѣ Петровнѣ: вы, говоритъ, идете за меня замужъ, а сами влюблены въ Владиміра Петровича, это нехорошо; послѣ этого я, говоритъ, вамъ больше не женихъ. Поклонился, взялъ шляпу и ушелъ.

— Что ты!
— Ей Богу!
— Ну, это какъ есть сумашедшій: значить, совершенно рехнулся. Вѣдь это болѣзнь, Саша?

— Болѣзнь, болѣзнь! Его ужъ, говорятъ, и въ больницу отвезли и голову совсѣмъ обрили.

При словахъ — *обрили голову*, Григорій Дмитріевичъ невольно провелъ рукой по волосамъ, какъ бы желая удостовѣриться, тутъ-ли они.

— Ну, скажи. Саша, что же Катерина Петровна?

— Да Катерина Петровна сдѣлась больна отъ любви къ нему, да такъ больна, что мы думали, что онѣ отдадутъ Богу душу; никакъ три дня были безъ памяти и все время имъ бредили.

— Кѣмъ?

— Да сумашедшимъ-то! все къ себѣ его звали.

— Бѣдняжка барышня! Какъ, значить, она его любитъ!

— Любить, любить — просто страсти, какъ любить: совсѣмъ, какъ есть, влюблена!

— Такъ она все бредила имъ, моя голубушка?

— Да откуда бы мы узнали про это, кабы она сама все въ бреду не объявила?

— Ну, что-жъ теперь полегче ей?

— Какъ-же! Ужъ съ постели встала. Только все тоскуетъ.

— Тоскуетъ?

— Да, все по немъ тоскуетъ.

— По сумашедшемъ-то?

— По сумашедшемъ, милая моя, по сумашедшемъ.

— Бѣдняжка! Хоть бы Богъ его прибралъ! А то только соблазнъ творить ей, голубушкѣ, да и самъ-то, чай, теперь въ сумашедшемъ домѣ на цѣпи изъ стороны въ сторону, какъ дикій звѣрь, мечется.

Вслѣдъ за этими словами Григорій Дмитріевичъ услышалъ изъ-за перегородки громкія всхлипыванья двухъ плачущихъ сестеръ; у него у самого уже давно струились по щекамъ слезы, но онъ все продолжалъ съ лихорадочнымъ вниманіемъ слушать разговоръ, задѣвшій его за живое.

— Да изъ какихъ онъ? спросила швея свою сестру.

— Изъ благородныхъ.

— А я ужъ подумала, не купецъ ли. Потому купцы нынче очень пьютъ и отъ того все съ ума сходятъ...

Въ это время подъѣхала къ магазину крытая пролетка, и изъ нея вышла и вступила въ магазинъ сама величественная madame Julie. Увидѣвъ ее, Григорій Дмитріевичъ выбѣжалъ, какъ сумашедшій, изъ магазина, бросился, не торгуясь съ извозчикомъ, въ пролетку, изъ которой только что вышла madame Julie, и поскакалъ во весь опоръ домой. Приѣхавъ къ себѣ, онъ прямо бросился къ письменному столу и принялся что-то писать на большомъ листѣ почтовой бумаги.

ХП.

Катенька сидѣла въ комнатѣ своей матери; это былъ первый день, какъ она, послѣ болѣзни, сошла съ антресолей; Анна и Софья Васильевны были тоже тутъ: первая что-то вязала изъ шерсти, вторая читала вслухъ для Катеньки какой-то англійскій романъ. Въ комнату вошелъ одинъ изъ людей Анны Васильевны съ письмомъ.

— Отъ кого? спросила Анна Васильевна, прежде чѣмъ успѣла взять письмо въ руки.

— Отъ Григорія Дмитріевича Задольскаго, отвѣчалъ съ притворнымъ хладнокровіемъ лакей.

Какъ ни была блѣдна Катерина Петровна, но она поблѣднѣла еще больше, услышавъ имя своего бывшего жениха.

— Какая досада, подумала Анна Васильевна, что я спросила, отъ кого письмо!

Она вышла въ другую комнату; черезъ нѣсколько минутъ за ней послѣдовала туда и Софья Васильевна.

— Что онъ такое пишетъ? спросила она у сестры, войдя въ маленькую гостиную, гдѣ та, съ сіяющимъ отъ радости лицомъ, дочитывала письмо Задольскаго.

— Прочи сама, сказала Анна Васильевна, передавая ей письмо.

Софья Васильевна быстро прочитала длинное посланіе Григорія Дмитріевича. Оно было такого содержанія: Григорій Дмитріевичъ писалъ, что онъ чувствуетъ себя до того виновнымъ передъ Катериной Петровной, что не смѣетъ и показаться ей на глаза, что проситъ Анну Васильевну быть его адвокатомъ передъ дочерью и выхлопотать ему прощеніе; что въ своемъ поступкѣ онъ можетъ отчасти извинить себя тѣмъ, что онъ морально больной человѣкъ и по мнительности своей повѣрилъ самой нелѣпой клеветѣ. Въ заключеніе, онъ возобновляетъ свою просьбу передъ Катериной Петровной о согласіи на бракъ съ ней.

— Надо показать это письмо Катенькѣ, сказала Анна Васильевна.

— Да, потому что она непременно хочетъ знать его содержаніе.

— Ну, такъ пойдемъ, покажемъ ей.

Катерина Петровна, читая письмо, разразилась рыданьями.

— Что-жъ ты расплакалась? Видишь, онъ опять за тебя сватается, сказала съ досадой и изумленіемъ Анна Васильевна.

— Маменька!... Я не пойду за него замужъ! сказала и еще сильнѣе расплакалась Катерина Петровна.

— Это что за вздоръ! начала было, засверкавъ глазами, Анна Васильевна. Но Софья Васильевна, стоявшая за стуломъ Катеньки, подала сестрѣ знакъ, чтобы она замолчала и вышла изъ комнаты. Было поступлено согласно съ ея волей.

— Отчего, дружокъ мой Катя, ты не хочешь идти за него замужъ? сказала Софья Васильевна своей племянницѣ, когда она съ ней осталась наединѣ.

— Ахъ, ma tante, оставьте меня, не спрашивайте меня—не мучьте меня ради Бога... А то я опять занемогу... даже умру...

Софья Васильевна опять вышла въ маленькую гостиную, гдѣ была ея сестра.

— Что мнѣ отвѣчать Задольскому, спросила Анна Васильевна. Вѣдь его человѣкъ ждетъ отвѣта. Я хочу написать ему, что такъ какъ Катенька еще очень слаба послѣ болѣзни, и докторъ велитъ беречь ее отъ всякихъ сильныхъ впечатлѣній, —то я ей еще не показывала письма.

— Затѣмъ говорить неправду? Всегда лучше говорить правду — это и легче, и даже выгоднѣе: въ неправдѣ непремѣнно запутаешься, а выпутаться изъ нея трудно. По моему мнѣнію, нужно сказать все, какъ было.

— Какъ! воскликнула Анна Васильевна, написать ему, что Катенька не хочетъ идти за него замужъ!... Да тогда въ конецъ разстроишь дѣло: этотъ сумасшедшій и думать о ней перестанетъ.

— Не безпокойся, не перестанетъ, возразила, спокойно улыбаясь, Софья Васильевна. Сказать ему, что Катя не хочетъ идти за него замужъ, по моему, значитъ возстановить ея достоинство. Сперва онъ отъ нея отказался, а теперь, *en revanche*, она отъ него отказывается: пусть онъ самъ узнаетъ, что такое значитъ получить отказъ, пусть немного помучится: надо проучить этого... *се vaugien...*

— Ахъ, Софи, онъ совсѣмъ не негодяй: онъ только странный — больной!...

— Ну, если онъ больной, въ такомъ случаѣ нужно его не проучить, а полѣчить... Мы и полѣчимъ.

— Ахъ, Софи, будь такъ добра — сочини къ нему письмо, я перепишу... Онъ пишетъ по-русски, и надо отвѣчать ему по-русски, а я вѣдь совсѣмъ не знаю русскаго ортографа.

Софья Васильевна прошла въ отведенную ей, на ея пріѣздъ, комнату, и черезъ двадцать минутъ письмо слѣдующаго содержанія было готово:

«М. Г. Григорій Дмитріевичъ! Письмо Ваше я дала прочесть моей дочери, такъ какъ содержаніе его касается прямо до нея. Прочитавъ его, она заплакала и сказала, что не пойдетъ за Васъ замужъ. Когда у нея спросили о причинѣ такого рѣшенія, она еще сильнѣе заплакала и стала просить, чтобъ ея не мучили этимъ вопросомъ. Мнѣ крайне жаль, что письмо Ваше произвело на нее совсѣмъ не то дѣйствіе, котораго, вѣроятно, Вы ожидали, и что мнѣ выпала тяжелая обязанность отвѣчать Вамъ непріятнымъ сухимъ отказомъ на тѣ горячія, исполненные душевнаго чувства строки, которыя Вы мнѣ написали.

«Примите увѣреніе» и проч.

Письмо это, переписанное и подписанное Анной Васильевной, было вручено посланному Григорію Дмитріевича.

Прочитавъ письмо, Задольскій совершенно опѣшилъ. Онъ дѣйствительно думалъ, что Анна Васильевна, въ отвѣтъ на его письмо, сію же минуту пригласитъ его къ себѣ, и Катерина Петровна встрѣтитъ его съ такимъ же восторгомъ, какъ встрѣтила въ послѣдній разъ. Онъ оставилъ письмо Анны Васильевны раскрытымъ на столѣ, а самъ опустилъ голову и и закрылъ лицо руками. Онъ впалъ въ такую глубокую задумчивость, что даже не услышалъ, какъ въ комнату вошелъ Алексѣй Ивановичъ. Гладкій, воображая, что пріятель его спитъ, подкрался къ нему на цыпочкахъ, и, увидѣвъ на столѣ письмо, подписанное Анной Васильевной, прочиталъ его черезъ голову Григорія Дмитріевича. Потомъ онъ взялъ со стола сигару, закурилъ ее и, отошедъ на цыпочкахъ къ дивану, разлегся, по своему обыкновенію, на немъ съ ногами. Нѣсколько минутъ спустя, Григорій Дмитріевичъ очнулся отъ задумчивости, всталъ съ креселъ и увидѣлъ передъ собой Гладкаго, смотрящаго на него насмѣшливо торжествующимъ взоромъ.

— Ну, что? сказалъ Алексѣй Ивановичъ, не вставая съ дивана и медленно выпуская изъ рту дымъ гаванской сигары. Что, многоуважаемый Григорій Дмитріевичъ, вкусна ли оплеуха, которую вы изволили скупать?

— Какая оплеуха?

— Какая! а вотъ письмо, что лежитъ у тебя на столѣ. Развѣ, по твоему, это не оплеуха?

— Да ты какъ узналъ объ этомъ письмѣ?

— Да я его прочиталъ, когда ты сидѣлъ въ сладкомъ забытьи, зажмуривъ глаза....

— Но развѣ порядочные люди читаютъ письма, которые не къ нимъ писаны?

— Порядочные люди таковыхъ писемъ не читаютъ, если эти письма писаны къ людямъ, разсудокъ которыхъ находится въ нормальномъ состояніи; но если у порядочнаго человѣка есть другъ, у котораго немного разстроены мозги, то онъ долженъ

слѣдить за этимъ другомъ, какъ за маленькимъ ребенкомъ, и не только можетъ, но даже обязанъ читать письма какъ тѣ, которыя онъ получаетъ, такъ и тѣ, которыя пишетъ... Понимаешь ты, что я тебя объявляю въ осадномъ положеніи..... Да, милостивый государь, Григорій Дмитріевичъ, получили вы отличную оплеушину, и, надо сказать правду, что получили ее подѣломъ!

— Да, сказалъ въ какой-то тупой задумчивости Задольскій, а никакъ не ожидалъ такого отвѣта.

Во все продолженіе слѣдующаго монолога Алексѣя Ивановича, Задольскій стоялъ молча, опустивъ голову и имѣлъ видъ чело-вѣка, совершенно убитаго морально.

— Да я и безъ тебя знаю, что ты не ожидалъ такого отвѣта, сказалъ Алексѣй Ивановичъ, входя все болѣе и болѣе въ свой насмѣшливый паеосъ. Ты думалъ, что какъ только Катерина Петровна прочтетъ твое письмо, такъ сію же минуту опрометью прибѣжитъ къ тебѣ, бухнется тебѣ въ ноги, станетъ со слезами обнимать и цѣловать ихъ и благодарить тебя за честь, которую ты ей сдѣлалъ, даровавъ твое высокое прощеніе. Да, какъ же, сейчасъ!.. Нѣтъ, батюшка, вѣдь у нея тоже есть свой гоноръ: она не прачка, а дворянка почище насъ съ тобой... Подумалъ ли ты хорошенько, что ты сдѣлалъ! обругалъ свою невѣсту обманщицей и, такъ сказать, прогналъ ее отъ себя! Вѣдь этакъ поступали только, и то въ старину, дурно воспитанные степные помѣщики съ своими крѣпостными... Нѣтъ, Катенька наша молодецъ—не ударила лицомъ въ грязь! Я горжусь ей, она вѣдь мнѣ приходится троюродной сестрой: въ ней моя кровь, а вмѣстѣ съ кровью и моя благородная гордость и духъ независимости и, такъ сказать, геройства... Да, братъ, твоя карьера теперь совершенно кончена: ты проживешь весь свой вѣкъ бобылемъ, потому что ни одна порядочная дѣвушка за тебя не пойдетъ. Только одна Катенька, по своей ангельской снисходительности, могла тебя полюбить, и я думаю она полюбила тебя просто изъ жалости, какъ полюбила въ прошломъ году какую-то несчастную собаку съ пере-

ломленной ногой, забѣжавшую къ нимъ въ садъ: она упростила со слезами Анну Васильевну позволить ей приютить это несчастное существо... Я увѣренъ, что и тебя, несчастнаго, жалкаго бобыля и малолѣтнаго сироту, она хотѣла приютить, какъ эту собаку... Ахъ, ты не понялъ, не оцѣнилъ этой чудной дѣвочки!.. Вотъ и живи теперь одинъ, да ковырай, отъ нечего дѣлать, у себя въ носу: отличное занятіе (рекомендую его тебѣ), хоть и не важное, но, по крайней мѣрѣ, безвредное для ближнихъ, потому что лучше исковырять до крови свой носъ, чѣмъ истерзать до крови чужое сердце, особенно женское.

— Какъ же мнѣ поступить теперь? сказалъ, какъ бы обращаясь къ самому себѣ, Задольскій.

— Какъ поступить! Да, конечно, не сидѣть сложа руки, не падать духомъ, не приходить въ отчаяніе: вѣдь ты мушкетеръ, а не баба. «*Memini te virum esse!*» писалъ одинъ древній Римлянинъ другому, когда тотъ былъ въ гораздо худшемъ положеніи, чѣмъ ты теперь. Главное — не нужно оставаться въ бездѣйствіи: подъ лежащей камень вода не течетъ. Надо употреблять всевозможныя усилія, пускаться на всевозможныя штуки, чтобъ Катерина Петровна опять сжалилась надъ тобой и возвратила тебѣ свое благоволеніе. Вѣдь вотъ я — я всего разъ въ жизни былъ серьезно влюбленъ... Это было въ Гельсингфорсѣ... Не помню, право, какъ я туда попалъ... Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что приглянулась мнѣ тамъ одна... правда, чухончка, но такая красавица, какой другой и быть не можетъ! Вотъ я и давай за ней ухаживать, а она и смотрѣть на меня не хочетъ. Я приударилъ за ней градусомъ сильнѣе, — она отворачивается. Я поднялъ еще на нѣсколько градусовъ температуру моего волокитства, — она мнѣ закатила плюху. Я не унываю и поддаю себѣ еще больше жару, — тогда она мнѣ закатываетъ уже двѣ плюхи. Это придаетъ еще болѣе энергіи моему волокитству, — и я получаю три плюхи. Ну, и такъ далѣе: она лупила меня по щекамъ въ арифметической прогрессіи, а я усиливалъ мое волокитство въ геометрической. А знаешь, чѣмъ кончилось? Врѣзалась она въ меня такъ, что передъ

отъѣздомъ изъ Гельсингфорса я ужъ самъ не зналъ, какъ отъ нея отдѣлаться... Шестъ верстъ бѣжала за моей кибиткой: я насилу отъ нея улепетнулъ. Вотъ, батюшка, какъ мы дѣйствовали!.. Но для этого нужна энергія, а энергіи-то у тебя и нѣтъ...

— Есть! сказалъ вдругъ, гордо поднявъ голову, Григорій Дмитріевичъ. Глаза его вспыхнули какимъ-то особеннымъ блескомъ, онъ прошелся нѣсколько разъ быстрыми шагами взадъ и впередъ по комнатѣ, бросился потомъ съ какой-то ражью въ кресло и воскликнулъ мысленно: «нѣтъ, во чтобы то ни стало, а Катенька будетъ моей женой!»

Въ это мгновеніе Алексѣй Ивановичъ взглянулъ пристально на выраженіе лица своего пріятели: «Да, пожалуй, въ немъ есть энергія!» рѣшилъ онъ въ своемъ умѣ.

Между тѣмъ въ домѣ у Черново - Сысолюскихъ происходилъ слѣдующій разговоръ.

— Будь покойна! говорила Аннѣ Васильевнѣ ея сестра. Это дѣло устроится: Задольскій не забудетъ и не разлюбитъ Катеньку, онъ, судя по вашимъ же словамъ, человѣкъ истинно хорошій... Поговоримъ лучше о другомъ. Вѣдь тебѣ необходимо нужно ѣхать за границу — хлопотать о наслѣдствѣ.

— Да. Но я не знаю, какъ быть съ Катенькой? Ей ужасно не хочется ѣхать: Зинаида говоритъ, что какъ только эта дурочка вспомнитъ объ отъѣздѣ, — такъ сію минуту въ слезы. Боюсь ее принуждать — пожалуй опять занеможетъ.

— Оставь ее со мной. Я найму подѣ Москвой дачу... Вѣдь мы съ ней друзья и вѣрно проживемъ все лѣто въ мирѣ и согласіи.

— Но вѣдь и тебѣ, Софи, нужно ѣхать за границу: ты вѣдь тоже наслѣдница...

— Ахъ, Анна, къ чему эти комедіи! Я разъ сказала, что отказываюсь отъ моей части въ пользу Кати и Зинаиды, такъ какъ онѣ мои крестницы, — ну, дѣло и кончено... Прошу тебя — не говори мнѣ больше объ этомъ... Ты меня перебила... Я тебя хотѣла спросить: вѣдь ты мужа берешь съ собой?

— Непремѣнно! Развѣ его можно оставить безъ моего при-

смотря!.. Въ прошломъ году я ѣздила на двѣ недѣли по дѣламъ въ Петербургъ, а онъ безъ меня тутъ накутилъ!..

— Какъ накутилъ?

— Сдѣлалъ около тысячи рублей долгу: все ѣздить по ресторанамъ и угощалъ чуть не всю Москву шампанскимъ и устрицами. Потомъ купилъ гдѣ-то въ долгъ обезьяну и стали они съ Катенькой по цѣлымъ днямъ играть съ этой обезьяной; дѣло кончилось тѣмъ, что это отвратительное животное укусило Катеньку за палецъ, а ему прокусила насквозь икру правой ноги.

Софья Васильевна, слушавшая сперва довольно серьезно жалобу сестры на мужа, при послѣднемъ обвинительномъ пунктѣ, не выдержала и покатила со смѣху.

— Тебѣ смѣшно, сказала ей, съ выраженіемъ упрека въ глазахъ и голосѣ, Анна Васильевна, — а каково мнѣ!

XIII.

Анна Васильевна, послѣ очень непродолжительныхъ сборовъ, уѣхала съ Зинаидой за границу, захвативъ съ собой, изъ предосторожности, и мужа. Софья Васильевна съ Катериной Петровной переѣхала на дачу во всѣмъ извѣстное подмосковное село Обрѣзково. Нѣкоторые изъ черезчуръ великосвѣтскихъ знакомыхъ Софьи Васильевны протестовали противъ этого выбора дачи, говоря, что въ Обрѣзковѣ никогда никто не живетъ изъ людей хорошаго тона, и что тамъ нѣтъ столь изящной дачи, которая была бы достойна вмѣстить въ себѣ графиню Ризенвальдъ. Но графиня Ризенвальдъ, возражая на это, говорила, что она потому и выбрала Обрѣзково, что не встрѣтитъ тамъ никого изъ своихъ знакомыхъ и что желаетъ провести лѣто въ совершенномъ уединеніи, такъ какъ она устала послѣ столькихъ лѣтъ слишкомъ великосвѣтской жизни за границей. — Катенька много повеселѣла на дачѣ; хотя рана ея сердца не заживала, но на нее благодатно подѣйствовала новостъ положенія, въ которомъ она теперь вдругъ очутилась. Новостъ эта заключалась въ томъ, что она теперь была въ

первый разъ въ жизни совершенно на свободѣ. Софья Васильевна имѣла совершенно противоположный взглядъ на воспитаніе, чѣмъ Анна Васильевна. Она позволила племянницѣмъ дѣлать все, что она хочетъ. И вотъ Катенька цѣлый день, въ сопровожденіи своей горничной Маши, бѣгала по полямъ и рощамъ, рвала цвѣты, собирала грибы и ягоды и даже ловила бабочекъ, для которыхъ устроила у себя въ комнатѣ нѣчто въ родѣ зоологическаго сада; Маша, которая только однимъ годомъ была старше своей барышни, очень усердно ей помогала во всѣхъ ея предпріятіяхъ. Надо замѣтить, что эту Машу Катенька считала чѣмъ-то въ родѣ своей спасительницы и вотъ по какому случаю: однажды, когда Зинаида у кого-то гостила и Катенька спала одна въ своей комнатѣ, къ ней на постель влѣзла крыса и расположилась на концѣ кровати у самыхъ ея ногъ, пожирая глазами Катеньку и явно намѣреваясь (какъ была въ томъ твердо увѣрена наша героиня) съѣсть ее. Катенька закричала отчаяннымъ голосомъ, но не трогалась съ кровати и лежала безо всякаго движенія, какъ въ летаргіи. На крикъ ея прибѣжала Маша и, увидѣвъ громаднаго плотояднаго звѣря, сію минуту поняла въ чемъ дѣло: она мгновенно схватила свою барышню на руки и унесла въ другую комнату. Наша героиня не нашла словъ для благодарности и, желая сдѣлать все, что только возможно для Маши за избавленіе отъ зубовъ ужаснаго звѣря, просила на другой день Анну Васильевну дать ей горничной отпускную, за что и была обозвана лаконически дурой. Послѣ переселенія на дачу, въ жизни Катеньки совершилось два событія, сильно ее занявшихъ. Вопервыхъ, она нашла гнѣздо съ двумя маленькими, только-что оперившимися птичками; она сейчасъ рѣшила, что это сироты, лишившіяся недавно матери и взяла ихъ къ себѣ на воспитаніе; вовторыхъ, она нашла въ рощѣ какую-то худую, желтую и совершенно голодную собаку и тоже дала ей у себя пріютъ. Катерина Петровна любила вообще всѣхъ животныхъ, а къ собакамъ имѣла просто страсть. Страсть эта развилась въ ней еще сильнѣе отъ того, что Анна Васильевна не позволяла держать собакъ

въ комнатѣ, и онѣ были для Катеньки въ рѣдкость. Увидѣвъ собаку, Катенька, по выраженію Зинаиды, окончательно сходила съ ума: она начинала цѣловать ее и даже вступала съ ней въ разговоръ, предлагая ей различные вопросы и сама ей на нихъ отвѣчая. Чѣмъ некрасивѣе была собака и слѣдовательно несчастнѣе на видъ, тѣмъ сильнѣе расточала ей ласки Катенька, потому что тутъ къ чувству любви примѣшивалось чувство жалости.

Прошло двѣ недѣли съ тѣхъ поръ, какъ Софья Васильевна съ своей племянницей переѣхали на дачу; все это время Катерина Петровна провела въ бѣганьѣ по полямъ и рощамъ, выкармливанъѣ птенцовъ и ухаживанъѣ за желтой собакой. Софья Васильевна не видѣла ничего дурнаго въ такомъ препровожденіи времени, но и не находила тутъ ничего хорошаго. Ей странно было видѣть, что племянница ея до сихъ поръ еще такой ребенокъ и не занимается ничѣмъ серьезнымъ. Разъ передъ обѣдомъ тетка съ племянницей сидѣли на террасѣ.

— Что ты такая сегодня нахмуренная, Катенька? Не больна ли ты? спросила Софья Васильевна.

— Да, голову очень больно, отвѣчала Катенька.

— Голову очень больно!.. Будетъ голову больно, когда ты въ самый жаръ бѣгала съ открытой головой по солнцу... Кстати, я давно тебѣ хотѣла замѣтить, что ты невыносимо дурно говоришь по-русски. Ну кто, напримѣръ, говоритъ голову больно.

— Какъ же нужно сказать, тетя?

— Добрые люди обыкновенно говорятъ: у меня болитъ голова... Ты вообще ужасно дурно говоришь по-русски. И странно: по-французски ты говоришь безукоризненно правильно и совершенно свободно; даже у тебя иногда бываютъ щегольскія фразы, не хуже фразъ ипаго, закоренѣлаго въ свѣтскихъ разговорахъ дипломата, а какъ заговоришь по-русски, такъ у тебя не найдешь ни синтаксиса, ни этимологіи; къ тому же ты часто употребляешь, когда говоришь по-русски, вульгарныя выраженія.

— А знаете, тетя, отчего это?

— Отчего?

— Оттого, что по-французски я говорю съ маменькой, съ Зинаидой, съ гостями — все съ людьми образованными, а по-русски только съ няней, да съ горничными, оттого я и говорю, какъ говорятъ няньки да горничныя.

— Замѣчаніе неглупое! подумала Софья Васильевна. Ну, Катя, сказала она вслухъ, такъ какъ ужъ сегодня я начала читать тебѣ мораль, и такъ какъ ты такъ мило принимаешь мои замѣчанія, то-есть совсѣмъ за нихъ не обижаешься, то я хочу тебѣ попенять еще за одну вещь: мнѣ странно, что ты цѣлый день занята бабочками, птицами и собаками, а никогда не займешься чѣмъ-нибудь серьезнымъ. Ты бы почитала что-нибудь.

— Ахъ, я очень рада — я это очень люблю, да только..

— Что только?

— Маменька не любитъ, когда я много читаю: она говоритъ, что если много читаешь, то будешь слишкомъ много думать и непременно выдумаешь что-нибудь дурное.

Софья Васильевна задумалась и замолчала. Хотя она имѣла *carte blanche* отъ Анны Васильевны дѣлать съ племянницей что хочетъ, даже вопреки убѣжденіямъ и въ разрѣзъ системы воспитанія Анны Васильевны; но совѣтовать племянницѣ то, что оуждаетъ ея мать, она находила похожимъ на обвиненіе матери передъ дочерью. Тутъ Софья Васильевна была вынуждена, вопреки своимъ правиламъ, прибѣгнуть ко лжи.

— Я не знала, что маменька не любитъ, когда много читаютъ, сказала, опустивъ глаза, Софья Васильевна; она, отѣзжая, велѣла даже мнѣ заставлять тебя какъ можно больше читать; вѣрно она нашла, что ты теперь во всѣхъ отношеніяхъ совершеннолѣтняя, и что чтеніе для тебя не опасно... Поди, принеси сюда изъ моей комнаты романъ Теккерея — *Vanity fair*, онъ лежитъ у меня на письменномъ столѣ.

— Ахъ, тетя, мнѣ бы хотѣлось чего-нибудь по-русски.

— И очень хорошее желаніе: тебѣ будетъ очень полезно читать побольше русскихъ книгъ — ты выучишься говорить по-русски. Что-жъ ты хочешь прочесть?

— Гоголя, ma tante! воскликнула Катенька и вдругъ вся покраснѣла.

— Прекрасно. Я тебѣ достану Гоголя. Что же именно тебѣ хочется у него прочесть?

— «Римъ», сказала Катенька, еще больше покраснѣвъ.

— Ну, хорошо — мы прочтемъ съ тобой «Римъ».

— Ахъ какое веселье, закричала, засмѣявшись, Катенька и забила въ ладоши.

— Ну, вотъ ты опять вызываешь меня на мораль. Неужели ты не можешь выражать какъ-нибудь приличнѣе свои восторги. Вѣдь за такія манеры бранятъ и маленькихъ дѣвочекъ. Теперь ты забила въ ладоши безъ постороннихъ свидѣтелей, а вѣдь у тебя бывають такія выходки и при гостяхъ...

— Не буду, тетя Соня, не буду! сказала, вскочивъ со стула, Катенька; она подбѣжала съ хохотомъ къ теткѣ, схватила ее обѣими руками за голову и принялась цѣловать и все продолжала хохотать и кричать: не буду, не буду.

— Вотъ ты кричишь — «не буду», а въ то же время опять дѣлаешь дурачества.

— Послѣдній разъ въ жизни! говорила Катенька, продолжая хохотать и цѣловать тетку. Наконецъ, она прекратила лобзанья, отбѣжала отъ тетки и, посылая ей воздушные поцѣлуи при посредствѣ губъ и пальцевъ правой руки, воскликнула: «Ахъ, ma tante, какъ я васъ люблю! Я такъ васъ люблю, что мнѣ даже... даже укусить васъ хочется!»

— Укусить?

— Да! Такъ бы и съѣла васъ отъ любви.

— Отличная закуска передъ обѣдомъ — лучше всякаго форшмака! внезапно раздался голосъ Алексѣя Ивановича, пробравшагося, въ видѣ фарса, черезъ калитку въ садъ и подкравагося къ террасѣ.

— Ну, вотъ, сумасшедшая, сказала Софья Васильевна, вотъ и попалась! Отличное тебѣ наказаніе: теперь Алексѣй Ивановичъ расскажетъ всей Москвѣ, какъ ты умна...

— И даже всей Европѣ и нѣкоторымъ пограничнымъ съ нею странамъ. Но скажите, отчего произошелъ сей восторгъ?

— Ей захотѣлось почитать Гоголя, я ей обѣщалась достать его, — ну, и послѣдовало дикое изліяніе благодарности и восторга. Кстати, Алексѣй Ивановичъ, купите мнѣ, пожалуйста, Гоголя, и когда опять къ намъ соберетесь, захватите его съ собой.

— Покупать не нужно: я и такъ возьму.

— Въ абонементъ?

— Нѣтъ. Я буду завтра у Базунова, — и мой другъ и благодѣтель Иванъ Григорьевичъ дастъ мнѣ Гоголя для прочтенія.

— Кто это Иванъ Григорьевичъ?

— Ну, вотъ и видно, что вы не москвичка! кто не знаетъ Ивана Григорьевича! Мнѣ придется завтра ѣхать мимо него. Послѣзавтра мое рожденіе...

— Поздравляю...

— Приношу искреннюю мою благодарность... Ну-съ, къ рожденію мнѣ нужно сдѣлать нѣкоторые препараты. И вотъ, во первыхъ, я отправляюсь къ другу и покровителю моему, великому и добродѣтельному мужу господину Дебре: закажу вина и, кстати, попробую малую толику нѣкоторыхъ сортовъ. Отъ Дебре отправлюсь къ другому другу моему Карлу Ивановичу Монигетти для закупки закусокъ, и тоже попробую кой-чего отъ колбасъ и сыровъ. Такимъ образомъ, утоливъ физическую жажду и голодь, отправлюсь за духовной пищей къ третьему моему другу Ивану Григорьевичу: онъ дастъ мнѣ почитать газетку и укажетъ новости литературы.

— У васъ, mon cousin, кажется очень много друзей.

— Мнѣ друзья всѣ знаменитости Москвы, начиная съ генерала отъ артиллеріи Алексѣя Петровича Ермолова и кончая парикмахеромъ Невилемъ.

— А что вашъ?... начала было Софья Васильевна, обращаясь къ Алексѣю Ивановичу, и, не докончивъ фразы, вдругъ обратилась къ Катенькѣ: у тебя ноги помоложе нашихъ, такъ не въ службу, а въ дружбу, поди скажи, чтобъ подавали обѣдать, а чтобъ закуску подали сюда... Вѣдь вамъ, Алексѣй Ивановичъ, конечно, надо водки.

— Да-съ, обычную передобѣденную порцію — двѣ рюмки...
— Да вѣдь вы, кажется, всегда и передъ завтракомъ? сказала Катенька.

— И передъ завтракомъ тоже двѣ рюмки.

— А передъ ужиномъ? спросила, смѣясь, Катенька.

— Передъ ужиномъ три.

— Итого, сказала, заливаясь хохотомъ, Катенька, выходитъ семь.

— Вы прекрасно знаете ариметику, замѣтилъ Алексѣй Ивановичъ...

— Ну, Катенька, полно болтать вздоръ — поди!... кто считаетъ такія вещи!

— Я до сихъ поръ всегда считалъ, Софья Васильевна; но если вамъ угодно, я буду безъ счету...

Катенька ушла и не возвращалась больше на террасу: она догадалась, что тетка хочетъ говорить съ Алексѣемъ Ивановичемъ о Задольскомъ.

— Вы говорили о своихъ друзьяхъ, и мнѣ пришло въ голову спросить васъ, что вашъ другъ Задольскій.

— Въ Задольскомъ я замѣтилъ большую перемѣну.

— Какую же?

— Да, впервыхъ, онъ недѣли двѣ на меня дулся...

— За что?

— За то, что я ему прочелъ довольно крупную мораль по случаю письма, которое онъ получилъ отъ Анны Васильевны, — я порядочно подразнилъ его. Онъ сначала принялъ отъ меня все очень кротко и благодушно; но когда я ушелъ отъ него, онъ вѣрно сталъ анализировать каждое мое слово и обидѣлся и разсердился на меня, и сердился ровно четырнадцать дней и четырнадцать ночей. Потомъ, когда дутье его прошло, и я, думая, что можно опять говорить съ нимъ запросто и откровенно, началъ было ему что-то рассказывать про Катерину Петровну; но только-что я успѣлъ сказать: «а знаешь ли, что Катенька»... Онъ не далъ мнѣ договорить фразы и вдругъ загремѣлъ: «пожалуйста, не смѣй такъ называть ее — ты не имѣешь

на то никакого права. Да и вообще не смѣй при мнѣ говорить о ней. Кто тебѣ дать позволеніе залѣзть мнѣ въ сердце и бередить его раны? Говорить о высокихъ чувствахъ съ такимъ циникомъ, какъ ты, значить профанировать эти чувства, унижать самого себя». Ну-съ, и много наговорилъ онъ мнѣ на эту же тему комплиментовъ. Ахъ, Боже мой, Боже мой, что это за чудачина! Что ни слово, то вздоръ и нелѣпость.

— Однако я слышала о немъ, что онъ умный человѣкъ; это мнѣ говорили всѣ, кто его знали за границей: Тальбергъ, Шопенъ, Делеръ, Глинка тоже. Онъ даже пользовался въ Италіи извѣстностью, какъ очень талантливый музыкантъ. Шопенъ говорилъ мнѣ, что изъ него вышла бы знаменитость, еслибъ онъ былъ бѣденъ и сталъ бы больше трудиться, потому что тогда бы онъ выработалъ окончательно механизмъ игры... Потомъ мнѣ говорилъ Фетисъ-сынъ, что онъ отъ него слышалъ такіа глубокія сужденія о музыкѣ, именно о музыкальной драмѣ, что, еслибъ ихъ напечатать, они бы обратили на себя вниманіе всѣхъ мыслящихъ музыкантовъ.

— Въ музыкѣ и въ книгахъ онъ знаетъ толкъ — это его сфера: тутъ онъ уменъ и даже очень уменъ; но въ практической жизни, воля ваша, его, по его поступкамъ, можно принять за совершеннаго идіота. Ужъ чего стоитъ одна его разсѣянность! Вообразите какіе были съ нимъ случаи... Надо вамъ сказать, что онъ, несмотря на свои странныя, черезчуръ широкія политическія идеи, весьма набожный человѣкъ и каждое утро и каждый вечеръ молится очень усердно Богу.

— Что-жъ? Это хорошо, я думаю...

— Положимъ; но не въ томъ дѣло... Какъ-то разъ поутру онъ сталъ по обыкновенію своему молиться, но въ разсѣянности вмѣсто того, чтобъ стать передъ образомъ, сталъ передъ стѣнными часами и сталъ на нихъ молиться и молился съ большимъ жаромъ и только тогда опомнился, когда часы стали бить: онъ ужасно испугался... А вотъ вамъ другой примѣръчикъ. У него былъ сильный кашель; докторъ посоветовалъ ему взять капль датскаго короля; онъ приходитъ въ аптеку и возгла-

шаетъ громогласно: «пожалуйте мнѣ копѣекъ на пятнадцать видѣнья шведскаго короля».

— Вотъ вы пустились въ анекдоты и забыли о томъ, что было начали говорить: вы сказали, что нашли большую перемѣну въ Задольскомъ...

— Ахъ да!.. Видите ли, въ чемъ я дѣйствительно замѣтилъ перемѣну, но въ чемъ она состоитъ, право, не могу опредѣлить въ точныхъ чертахъ.. Одно скажу вамъ, я положительно увѣренъ, что онъ непременно женится на Катеринѣ Петровнѣ.

— Да? Почему же вы это полагаете?

— Потому что вижу, что ужъ онъ дѣлаетъ приготовленія къ свадьбѣ.

— Какъ, получивши отказъ?

— Да. Онъ отказомъ этимъ задѣтъ за живое: въ немъ, какъ видно, пробудилась энергія, и онъ какъ бы готовится на приступъ къ крѣпости—хочетъ, такъ сказать, взять Катерину Петровну штурмомъ. Теперь видна какая-то особенная рѣшимость во всемъ его существѣ—въ его фizioноміи и во всѣхъ движеніяхъ. Ходить, напримѣръ, онъ теперь по комнатѣ съ ужаснымъ топаньемъ и бросаетъ по сторонамъ самые звѣрскіе взоры, что означаетъ въ немъ (вѣдь я его знаю, какъ свои пять пальцевъ), что онъ рѣшился на что-нибудь необычайное. Онъ сталъ даже (чего съ нимъ отъ роду никогда не бывало) покрикивать на прислугу: это онъ дѣлаетъ для того, чтобъ показать самому себѣ, что онъ человѣкъ энергическій, а не слабонервная—извините за выраженіе—баба... Надо вамъ сказать, что недѣли двѣ тому назадъ я ему указалъ на сходство его характера съ характеромъ особъ прекраснаго пола; вотъ онъ и хочетъ доказать себѣ самому противное... А главное, изъ чего я вижу, что онъ готовится къ свадьбѣ—это то, что онъ хочетъ совершенно передѣлать свой домъ. Онъ при мнѣ толковалъ часа два съ архитекторомъ и подрядчикомъ, и изъ словъ его я вижу, что онъ хочетъ приноровить свой домъ ко всѣмъ потребностямъ семейной жизни... Да, кстати!.. Когда онъ кончилъ переговоры свои съ архитекторомъ и подрядчикомъ, и они ушли,

онъ вдругъ оборотился ко мнѣ и необыкновенно рѣзкимъ и суровымъ тономъ проговорилъ отрывисто: «ты большой охотникъ вмѣшиваться въ чужія дѣла, — такъ вотъ вмѣсто того, чтобъ разсуждать со мной о моихъ чувствахъ, какъ ты это намеренъ себѣ позволить сдѣлать (а ты вѣдь въ отношеніи высокихъ чувствъ ничего не понимаешь), дай лучше мнѣ практическій совѣтъ, состоящій вполне въ твоей компетенціи. Ты видишь, этотъ домъ будетъ передѣлываться, и я хочу переѣхать на дачу. Гдѣ, по твоему, лучше нанять? Выбери такъ, чтобъ было удобно и тебѣ, и мнѣ, потому что я разсчитываю, что ты будешь такъ добръ, что прогостишь у меня это лѣто». Я сію минуту вспомнилъ про Обрѣзково и сообразилъ, что его непременно нужно поселить тамъ, гдѣ резиденція обожаемой имъ особы, потому что онъ здѣсь непременно встрѣтится съ вами; я его вамъ представляю, вы его пригласите къ себѣ,—и сношенія съ Катериной Петровной у него снова возобновятся. Вотъ я ему и говорю: у меня есть одни знакомые, которые живутъ въ Обрѣзковѣ, — они говорятъ, что воздухъ тамъ очень хорошъ и окрестности необыкновенно живописны, но что тамъ очень скучно, потому что дачники все люди крайне невысокаго полета, да и дачи не довольно великолѣпны. «Это-то мнѣ, говорить, и нужно. Ты знаешь, я терпѣть не могу вашего чопорнаго свѣтскаго общества (тутъ онъ отпустилъ нѣсколько очень сильныхъ фразъ на счетъ такъ называемой свѣтской черни); дачи великолѣпной мнѣ тоже ненужно». Ну, мы съ нимъ и порѣшили нанять дачу здѣсь,—и я уже сегодня нанялъ и далъ задатокъ... Видите ли, какъ я служу интересамъ семейства Анны Васильевны и вмѣстѣ съ тѣмъ интересамъ моего друга.

— Благодаримъ васъ.

Въ это время доложили объ обѣдѣ, и Алексѣй Ивановичъ съ шутилой важностью предложилъ руку Софьѣ Васильевнѣ и повелъ ее въ столовую.

Вскорѣ послѣ приведеннаго нами теперь разговора, Задольскій съ Гладкимъ переселились на дачу; впрочемъ, Алексѣй Ивановичъ каждый день утромъ уѣзжалъ въ Москву и возвра-

шался почти ночью. Болѣе недѣли прожилъ Задольскій въ Обрѣзковѣ, не подозрѣвая, что онъ живетъ только въ десяти минутахъ отъ Катерины Петровны. Софья Васильевна, ходившая каждый день гулять съ Катенькой въ садъ, удивлялась, что никогда его тамъ не встрѣчаетъ (она знала его наружность по фотографическимъ карточкамъ, которыя онъ, бывши женихомъ, подарилъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ семейству Анны Васильевны). Впрочемъ, встрѣтить его было куда и невозможно, потому что, хотя онъ уже болѣе полуторы недѣли жилъ въ Обрѣзковѣ, но никуда не выходилъ изъ дому, кромѣ какъ на террасу. Онъ цѣлый день занимался чтеніемъ или игрой на фортепиано, а въ промежуткахъ между этими занятіями прогуливался взадъ и впередъ по своей комнатѣ. Ему и въ голову не приходило что было бы гораздо пріятнѣе и полезнѣе для здоровья прогуливаться не по комнатѣ, а по саду или роцѣ. Разъ какъ-то Алексѣй Ивановичъ, противъ своего обыкновенія, возвратился изъ Москвы очень рано — часовъ въ пять дня — прямо къ обѣду. Послѣ обѣда за кофеемъ и ликеромъ онъ спросилъ Задольскаго, какъ ему нравится Обрѣзковскій садъ.

— Да я его до сихъ поръ не видалъ, сказалъ, немного сконфузясь, Задольскій: онъ зналъ, что ему будетъ сейчасъ головомойка, и не ошибся.

— Какъ, загремѣлъ Алексѣй Ивановичъ, ты живешь здѣсь почти двѣ недѣли и ни разу не былъ въ саду! Ну, такъ ты, по крайней мѣрѣ, гулялъ въ роцѣ.

— Я и въ роцѣ не былъ...

— Вотъ это прекрасно! Самъ нѣсколько разъ говорилъ мнѣ, что любишь природу до страсти и что, подобно Байрону, любишь ее больше, чѣмъ людей, а теперь, живя здѣсь, такъ сказать, подъ бокомъ у самой великолѣпной природы, какой, по крайней мѣрѣ, лучше нѣтъ во всей Московской губерніи, въ самую отличную погоду ни разу не вздумалъ полюбоваться, насладиться этой природой. Нѣтъ, ты вѣрно и природы-то не любишь, а любишь только самого себя!

— Да мнѣ, право, какъ-то не пришло въ голову пойти прогуляться.

— Не пришло въ голову!... Ну, такъ знай же: сегодня вечеромъ я тебя влеку насильственно въ садъ.

— Да я самъ очень радъ прогуляться, но увѣряю же тебя, что это мнѣ какъ-то до сихъ поръ не приходило въ голову. При этихъ словахъ Григорій Дмитріевичъ громко разсмѣялся, понявъ самъ весь комизмъ своей разсѣянности.

Въ назначенное Алексѣемъ Ивановичемъ время пріятели пошли въ садъ. Это было въ воскресенье; близъ сада въ небольшой рощицѣ, царствѣ такъ называемыхъ сомоварницъ, стоялъ густымъ облакомъ паръ и дымъ отъ самоваровъ, разогрѣваемыхъ по большей части еловыми шишками, а самый садъ былъ наполненъ воскресной публикой, какъ называютъ въ Обрѣзковѣ жителей Замоскворѣчья, считающихъ священнымъ долгомъ каждый праздникъ провести вечеръ *in's Grün* и публично напиться чаю или даже другаго какого-нибудь болѣе солиднаго напитка. Въ саду дальнорукій Алексѣй Ивановичъ издалека замѣтилъ Софью Васильевну и Катеньку, идущихъ по боковой дорожкѣ цвѣтника и весьма искусно направилъ ихъ на встрѣчу близорукаго Григорія Дмитріевича. Такъ какъ Катенька была не изъ близорукихъ, то она узнала издали Задольскаго. Она мгновенно перемѣнилась въ лицѣ и отвела въ сторону глаза, мгновенно принявшіе тоскливое и робкое выраженіе. Она замедлила шагъ и отстала немного отъ тетки, какъ бы желая спрятаться за нее отъ Задольскаго. Когда Григорій Дмитріевичъ сошелся лицомъ къ лицу съ Софьей Васильевной, Алексѣй Ивановичъ вдругъ схватилъ его за руку и быстро ей его представилъ. Софья Васильевна очень любезно приняла это представленіе. Она сказала Григорію Дмитріевичу, что давно и очень много про него слышала, что очень рада съ нимъ познакомиться, и что приглашаетъ его къ себѣ сегодня попросту, по деревенски пить чай. Григорій Дмитріевичъ принялъ съ великой радостью это предложеніе; онъ былъ въ сильномъ душевномъ волненіи: хотя онъ не видѣлъ предъ собой Катеньки, но догадывался, что она должна быть гдѣ-нибудь тутъ близъ своей тетки. Дѣйствительно она была очень не-

далеко, она стояла шага три позади Софьи Васильевны, низко пригнувшись къ землѣ и рвала цвѣты. Это было сдѣлано для того, чтобъ скрыться отъ Задольскаго. Но рвать цвѣты вѣчно было невозможно; она уже и такъ въ самое короткое время вырвала чуть не полъ клумбы и, кончивъ эту работу, наконецъ должна была выпрямиться во весь свой ростъ. Тогда глаза ея встрѣтились съ глазами Задольскаго. Они оба пришли въ крайнее замѣпательство у обоихъ замерло сердце; но Катенька, у которой все таки было больше свѣтскости, чѣмъ у Григорія Дмитріевича, наплась первая, она очень учтиво и даже любезно подала ему руку, но въ то же время сдѣлала это какъ-то робко, осторожно, точно будто боялась, что онъ ее обожжетъ. Поставъ нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ, Софья Васильевна, Задольскій, Гладкій и Катенька пошли по саду; первые трое шли рядомъ, Катенька немного сзади тетки; она шла съ потупленными въ землю глазами. Походивъ немного по саду, они всѣ пришли на дачу Софьи Васильевны. Подали чай; Катерина Петровна не явилась къ чаю, приславъ сказать теткѣ, что у ней болитъ голова. Григорій Дмитріевичъ, который съ большимъ увлеченіемъ разговаривалъ въ саду съ Софьей Васильевной, потому что зналъ, что его слышитъ Катенька, услыхавъ теперь, что она не явится передъ нимъ во весь вечеръ, былъ крайне огорченъ и оскорбленъ этимъ извѣстіемъ. Онъ нахмурился, сдѣлался страшно разсѣянъ, отвѣчалъ на всѣ вопросы не впадѣть и къ концу вечера, желая рассказать что-то необыкновенно интересное изъ своей заграничной жизни, рассказалъ совершенную галиматью. Софья Васильевна и Алексѣй Ивановичъ весь вечеръ страдали за него и оба были недовольны поступкомъ Катеньки. Около одиннадцати часовъ, всѣ разошлись очень унылые и разстроенные.

— Что это значитъ? думалъ, возвращаясь домой, Григорій Дмитріевичъ. Она не хотѣла провести со мной вечеръ, она просто избѣгаетъ меня, а говорятъ — была больна отъ любви ко мнѣ!... Но, можетъ быть, у ней въ самомъ дѣлѣ болитъ теперь голова, можетъ быть даже у нея мигрень... Но какъ бы

то ни было, надо держаться совѣта Алексѣя Ивановича, то-есть не унывать; надо добиться ея прощенія, добиться ея руки! Софья Васильевна звала меня къ себѣ послѣ - завтра, — я и пойду, и заговорю съ Катенькой; черезъ нѣсколько дней опять пойду къ нимъ, потомъ — опять и опять: буду ходить какъ можно чаще, стану съ ней наконецъ на короткую ногу и наведу ея на объясненіе: пусть на первый разъ она мнѣ хоть скажетъ, что значить ея отказъ?

Между тѣмъ, Катерина Петровна лежала въ постели и плакала... Когда она увидѣла Задольскаго въ саду, душа ея вся затрепетала отъ радости: ей было неизъяснимо сладко смотрѣть на него и слышать звуки его голоса: въ эту минуту она сознала, что любить его больше, чѣмъ когда-нибудь, но, сознавъ это, она вдругъ почувствовала стыдъ и муки униженной гордости. «Онъ повѣрилъ, что ты обманула его, заговорилъ въ ней, какъ бы дразня ее, какой-то безпокойный внутренній голосъ, онъ почти назвалъ тебя прямо въ глаза обманщицей, а ты въ душѣ унижаешься передъ нимъ — ставишь его выше всего на свѣтѣ!»

Спустя одинъ день послѣ перваго визита Софьѣ Васильевнѣ, Григорій Дмитріевичъ опять пошелъ къ ней и опять просидѣлъ у нея весь вечеръ. Хозяйка дома сидѣла на диванѣ, гость помѣстился подлѣ нея на креслѣ, а племянница хозяйки запряталась въ уголь, и притомъ въ такой уголь, который былъ потемнѣе: она почти все время смотрѣла въ сторону — какъ бы старалась сдѣлать такъ, чтобъ Задольскій какъ можно меньше видѣлъ ея лицо. Онъ нѣсколько разъ заговаривалъ съ ней; но она отвѣчала нехотя короткими фразами, будто желая только отдѣлаться отъ него, и разговоръ между ними никакъ не могъ завязаться. Въ десять часовъ они разстались, оба совершенно измученные сердцами. Такія свиданія между Катериной Петровной и Задольскимъ повторялись аккуратно черезъ день, въ продолженіе почти двухъ недѣль; Григорій Дмитріевичъ каждый разъ приходилъ домой, такъ сказать, ни съ чѣмъ. Чувство любви къ Задольскому шло въ Катенькѣ все crescendo; но чѣмъ сильнѣе

она чувствовала къ нему любовь, тѣмъ дальше держалась отъ него, тѣмъ была холоднѣе съ нимъ. Задольскій иногда въ разговорахъ съ Софьей Васильевной, когда рѣчь заходила о литературѣ и музыкѣ, одушевлялся, и въ словахъ и голосѣ его слышалось истинное вдохновеніе. Катенька въ эти минуты восхищалась, восторгалась имъ, но въ то же время думала: «что мнѣ отъ того, что онъ такъ умно говоритъ, высказываетъ такіа благородныя чувства, что глаза его блистаютъ такимъ чуднымъ огнемъ, что такъ симпатично звучить его голосъ -- что мнѣ отъ того, что я его такъ сильно люблю. Онъ вѣдь не можетъ любить меня!... Онъ писалъ къ моей матери, что любить меня больше всего на свѣтѣ. Неправда! онъ считаетъ меня обманщицей, а обманщицъ любить нельзя: ихъ презируютъ». Такія мысли и чувства мучили Катеньку и когда Задольскій, по просьбѣ Софьи Васильевны, игралъ на фортепіано или читалъ вслухъ Гоголя. Такимъ образомъ, свиданія Катерины Петровны съ Григоріемъ Дмитріевичемъ были для нихъ обоихъ истиннымъ мученіемъ. Всякій разъ, какъ нашъ герой входилъ въ домъ Софьи Васильевны, сердце его млѣло отъ чувства счастья, при мысли, что онъ сію минуту увидитъ Катеньку; но лишь появлялась она передъ нимъ, — ея холодно грустный видъ приводилъ его въ совершенное разстройство и уныніе. Всякій разъ, когда Катенька узнавала, что къ нимъ пришелъ Григорій Дмитріевичъ, она приходила въ первую минуту въ восторгъ, краснѣла и вся оживлялась отъ радости, но всего на одну первую минуту, и вслѣдъ затѣмъ душой ея опять овладѣвали тягостныя чувства.

Разъ Софья Васильевна, замѣтивъ, что Катенька, послѣ вечера, проведеннаго съ Задольскимъ, была особенно уныла и задумчива, сказала ей: «скажи мнѣ пожалуйста, отчего ты такъ странно обращаешься съ Задольскимъ. Ты его мучишь своею холодною; вѣдь ты знаешь, какъ онъ любитъ тебя!»

— Ахъ, тетя, онъ меня совсѣмъ не любитъ... Еслибъ онъ меня любилъ, такъ не отказался бы отъ меня, послѣ того какъ посватался.

— Но вѣдь это было отъ недорозумѣнія... Потомъ — ты по-

мнишь — какъ горячо высказывалъ онъ свою любовь въ письмѣхъ маменькѣ.

— Это тогда онъ написалъ нарочно — изъ жалости ко мнѣ...

— Какъ изъ жалости?

— Онъ узналъ, что я была больна, и вообразилъ, что это отъ... И чтобъ утѣшить меня, онъ хотѣлъ увѣрить, что любитъ меня. Онъ и посватался во второй разъ за меня, чтобъ только меня утѣшить: очень ужъ я ему жалка стала... Ахъ, тетя, какъ это обидно!...

Разъ вечеромъ Задольскій и Гладкій встрѣтили у Софьи Васильевны ея мужа, пріѣхавшаго всего на нѣсколько дней въ Москву изъ Петербурга, куда онъ вызванъ былъ изъ-за границы по какому-то дѣлу. Это былъ бодрый, умный и живой старикъ. Онъ очень любезно познакомился съ Задольскимъ. Между ними вскорѣ завязался разговоръ о политикѣ, разговоръ, незамедлившій перейти въ споръ.

Рѣчь зашла объ Италіи. Задольскій утверждалъ, что отечество Рафаэля и Колумба въ скоромъ времени соберется въ одно государство, будетъ свободно и сильно, и что главой его будетъ Roma aeterna. Графъ возражалъ ему — говорилъ, что unita Italia есть несбыточная мечта, мечта, осуществленіе которой (если предположить его возможнымъ) не только бы поколебало европейское равновѣсіе, но было бы вредно въ послѣдствіи для самой Италіи.

Григорій Дмитріевичъ былъ задѣтъ за живое, ни за что не хотѣлъ уступить графу и до того одушевился, что проговорилъ одинъ безъ умолку, никѣмъ не прерываемый, почти три четверти часа, — и изъ его монолога вышла блистательная импровизированная лекція. Мы не станемъ передавать подробно читателямъ содержаніе его рѣчи; скажемъ только, что онъ *предсказалъ* все то, что предсказывали тогда всѣ горячіе итальянскіе политики-патріоты, чему не вѣрили такъ называемые опытные, практическіе умы, но что въ наше время дѣйствительно уже совершилось во-очію.

Дипломатъ снисходительно и даже благосклонно слушалъ

Задольскаго: ему понравилась задумчивость его рѣчи; но легкой улыбкѣ и добродушно насмѣшливому выраженію его глазъ легко можно было догадаться, что на идеи, развиваемыя Задольскимъ, онъ смотрѣлъ какъ на мысли даровитаго и красно говорящаго, но совершенно не понимающаго дѣйствительности ребенка. По лицу Софьи Васильевны видно было, что она, слушая Задольскаго, думаетъ то же, что и ея мужъ. Алексѣй Ивановичъ совсѣмъ и не слушалъ, что говорить его пріятель и даже конфузился за него, полагая, что Задольскій поступаетъ необыкновенно самонадѣянно, безтактно, и глупо, осмѣливаясь спорить съ такимъ всевѣдущимъ и опытнымъ политикомъ, какъ графъ Ризенвальдъ, авторитету котораго должно вѣрить, такъ сказать, зажмурясь. За то на Катеньку рѣчь Григорія Дмитріевича произвела въ высшей степени сильное впечатлѣніе. Конечно, она была совсѣмъ не судья въ дѣлѣ политики; но благородныя, высокія мысли и чувства, имъ высказанныя, могущественно потрясли ее до глубины души. Она до того увлеклась ими, что забыла про свои натянутыя отношенія съ нимъ и, сама не помня какъ, оставила передъ концомъ его рѣчи свою обыкновенную резиденцію, т.-е. самый темный уголокъ комнаты и очутилась подлѣ Задольскаго; онъ замѣтилъ, что она сѣла рядомъ съ нимъ, и это еще больше его одушевило. Когда онъ кончилъ, она обвела глазами остальныхъ слушателей, думая прочесть на ихъ лицахъ такой же восторгъ, какой сама чувствовала, но увидѣла только недоувѣрчивыя улыбки графа и графини Ризенвальдъ и сконфуженное и скучающее лицо Алексѣя Ивановича. Она поняла, что думаютъ всѣ присутствующіе о мысляхъ и чувствахъ, высказанныхъ Задольскимъ, поняла, что съ такими чувствами неудобно и невыгодно жить на свѣтѣ. что на эти чувства отзываются только немногія избранныя сердца, и что Григорію Дмитріевичу угрожаетъ почти совершенное моральное одиночество въ жизни за то, что онъ обладаетъ такими чувствами и мыслями, — и ей вдругъ стало такъ его жалко, такъ жалко, что у нея чуть не выступили слезы. Задольскій замѣтилъ увлеченіе Катеньки; взоры ихъ встрѣтились,

и они прочли другъ у друга въ глазахъ что-то такое, послѣ чего Задольскій, пришедъ домой въ самомъ восторженномъ настроеніи духа, зашѣлъ на весь домъ финальную арію изъ *Сомнамбулы* «*amabracio*» и угостилъ Гладкаго бутылкой кливо, а Катенька въ своей комнатѣ, когда уже совсѣмъ была готова лечь въ постель, въ ночномъ чепцѣ и кофточкѣ, протанцовала босикомъ мазурку, а потомъ вальсъ съ своей наперсницей Машей.

XIV.

Людмила Юрьевна Трощинская сидѣла у себя на Прѣснѣ въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Весела она была, во-первыхъ, отъ того, что уже пять разъ успѣла начистить себѣ зубы самымъ сквернымъ табакомъ; во-вторыхъ, что въ это утро на раны ея самолюбія пролился въ изобиліи такой цѣлительный бальзамъ, отъ котораго эти раны мгновенно зажили: передъ ней лежалъ новый нумеръ одной изъ весьма распространенныхъ газетъ, гдѣ литературное дарованіе ея было оцѣнено на вѣсъ золота. Людмила Юрьевна напечатала повѣсть въ одномъ изъ нашихъ толстыхъ журналовъ, и повѣсть эта имѣла громадный успѣхъ. Это случилось въ то время, когда уже у насъ началась эпоха великихъ преобразованій. Великое дѣло освобожденія крестьянъ уже было рѣшено и объявлено всенародно. Люди истинно хорошіе возблагодарили Бога и того, кому Богъ вложилъ святую мысль освобожденія миллионовъ: они всей душой отдались дѣлу освобожденія, и каждый по мѣрѣ силъ своихъ старался быть чѣмъ-нибудь полезнымъ этому дѣлу; люди же сѣренькіе вздумали воспользоваться великой реформой для своихъ пошленькихъ и даже грязныхъ цѣлей. Людмила Юрьевна, которую можно было отнести не только къ сѣренькимъ, но даже прямо къ бурмъ, поняла, что теперь настанетъ и въ литературѣ запоздалая мода бранить крѣпостное право и помѣщиковъ. И вотъ, чтобы подольститься къ общественному мнѣнію и чрезъ то стяжать себѣ безсмертную славу, она написала по-

вѣсть, въ которой былъ представленъ самыми ужасными красками крѣпостной бытъ. Въ повѣсти изображалось помѣщичье семейство, состоящее изъ мужа, жены и нѣсколькихъ сыновей и дочерей. Помѣщикъ съ помѣщицей только тѣмъ и занимались, что съ 5-ти часовъ утра до 11-ти часовъ вечера безъ устали пороли своихъ подданныхъ; сыновья помогали отцу, дочери — матери. Развязка состояла въ томъ, что они пересѣкли до смерти всѣхъ своихъ крестьянъ. (180 душъ по послѣдней ревизіи); во всей деревнѣ осталось только одна старуха, которую какъ ни старались сѣчь, а все таки засѣчь никакъ не могли. Повѣсть эту Людмила Юрьевна напечатала въ нашемъ столь извѣстномъ учено-литературномъ журналѣ «Всенародная оплеуха», за юмористической подписью *Юлія Держиморда*. Людмила Юрьевна не ошиблась въ расчетѣ: она угадала вкусъ и потребности публики тогдашняго времени, и повѣсть ея имѣла неслыханно великій успѣхъ. Одной изъ знаменитѣйшихъ газетъ того времени, а именно «Вопль народа» было напечатано объ этой повѣсти слѣдующее: «спѣшимъ обратить вниманіе просвѣщенной публики на въ высшей степени художественное произведение г-жи Юліи Держиморды (вѣроятно, псевдонимъ), напечатанное въ нашей многоуважаемой и ученой «Всенародной оплеухѣ». Г-жа Держиморда далеко оставила за собой Гоголя по натуральности и силѣ изображенія народныхъ типовъ. Изъ лицъ, выведенныхъ передъ нами высокоталантливой писательницей, особенно типичны — становой, который питается только сырой козлятиной, и исправникъ, основавшій у себя въ уѣздѣ акціонерное общество конокрадовъ. Сколько въ этихъ типахъ тонкой живой наблюдательности и вѣрности дѣйствительности, какое отсутствіе всякой утрировки! Мы привѣтствуемъ въ г-жѣ Держимордѣ основательницу новой литературной школы, ибо мы увѣрены, что направленіе, высказавшееся въ ея произведеніи, будетъ имѣть въ высшей степени благотворное вліяніе на молодое поколѣніе и вызоветъ множество талантливыхъ подражателей.»

Людмила Юрьевна, сидя теперь за чаемъ, пятнадцать разъ

перечитывала эту похвальную рецензію вслухъ передъ своими приживалками, горничными, лакеями и даже прачкой: она полагала, что они должны почувствовать къ ней великое уваженіе, узнавъ какъ восхваляютъ ихъ барыню въ знаменитой газетѣ. Посреди чтенія вдругъ въ передней раздался непомѣрно сильный звонокъ, и люди великой писательницы, которымъ было невыносимо скучно слушать декламацию своей госпожи, рады были случаю избавиться отъ этой пытки и бросились опрометью въ переднюю отворять двери. Черезъ минуту въ комнату вбѣжалъ мальчикъ очень маленькій ростомъ, сильно косившій на одинъ глазъ и съ головой необыкновенно щедро украшенной вихрами; на немъ былъ мундиръ съ краснымъ воротникомъ и съ золотыми петлицами и галунами на обшлагахъ. Это былъ тотъ самый Володя, котораго Задольскій вообразилъ своимъ соперникомъ. Онъ былъ сирота и жилъ на попеченіяхъ у старшаго брата Людмилы Юрьевны, когда-то важнаго сановника, извѣстнаго своей непреклонной честностью и правдивостью и въ то же время баснословной раздражительностью и вспыльчивостью характера. Володя вбѣжалъ въ комнату съ какой-то весьма плутовской улыбкой и только успѣлъ поздороваться съ Людмилой Юрьевной, какъ подаль ей какое-то письмо и, сказавъ «это вамъ отъ братца», сѣлъ поодаль отъ нея, отвернулся въ сторону и фыркнулъ; замѣтно было, что его сильно разбиралъ смѣхъ. Лишь только Людмила Юрьевна пробѣжала первую строку письма, какъ вдругъ лицо ея покрылось пурпуромъ. Володя, замѣтивъ это, опять отвернулся въ сторону и фыркнулъ еще сильнѣе прежняго. Чѣмъ дальше читала Людмила Юрьевна письмо, тѣмъ сильнѣе разбирала Володю охота расхохотаться. Наконецъ, онъ почувствовалъ, что непременно разразится самымъ отчаяннымъ хохотомъ. Онъ досталъ изъ кармана платокъ, свернулъ его клубкомъ и, отвернувшись въ сторону, заткнулъ имъ себѣ ротъ, но, чувствуя, что и такое сильное средство не удержитъ его отъ хохота, вскочилъ вдругъ со стула, выбѣжалъ или, лучше сказать, выпрыгнулъ изъ комнаты, прибѣжалъ въ дѣвичью, повалился ничкомъ на сундукъ и залился такимъ хохотомъ, что

перепугалъ всѣхъ горничныхъ. Хохоть свой онъ сопровождалъ чѣмъ-то въ родѣ причитанья: «Ахъ не могу! Ахъ умру! Ахъ лопну! Ахъ помогите!» восклицалъ онъ безпрестанно, хватая себя за ребра. Наконецъ, онъ какъ-то успокоился. Его позвали къ Людмилѣ Юрьевнѣ. Представъ передъ ней, онъ всячески старался придать лицу своему самый серьезный и даже отчасти горестный видъ.

— Знаешь ли ты, Володя, содержаніе письма?

— Знаю, отвѣчалъ Володя и, чувствуя, что опять непременно захочетъ, схватилъ фуражку, опретью выбѣжалъ изъ комнаты и, забывъ въ передней свою шинель, выскочилъ на улицу. Тутъ на свободѣ онъ началъ такъ хохотать, что на хохоть его выбѣжали изъ сосѣднихъ дворовъ собаки и подняли страшный лай. Это его еще больше разсмѣшило; но, боясь, что собаки не ограничатся однимъ лаемъ въ отношеніи его особы, онъ бросился бѣгомъ, куда глаза глядятъ и хохоталъ безъ умолку почти до самаго Кудрина.

Что же такъ смѣшило Володю? смѣшило его содержаніе письма, которое получила Людмила Юрьевна отъ маститаго и желчнаго старца, своего брата. Вотъ что онъ писалъ къ ней:

«Старая дура! Ты совсѣмъ свихнулась. Что ты еще надурила! Впервые, ты напугала чуть ни до смерти письмомъ твоимъ Володьку — онъ въ самомъ дѣлѣ вообразилъ, что его хотятъ заставить жениться на дочери Анны Васильевны. Вовторыхъ, я вполне увѣренъ, что ты, дура, наврала всякаго вздора ея жениху: откуда какъ не отъ тебя дуры могъ онъ слышать, что Володька съ Катькой влюблены другъ въ друга и чуть не благословлены образомъ. Володя даже и не помнитъ, когда онъ ей въ любви признавался; только ты, дура, можешь помнить такія глупости, — у тебя только на это, кажется, и хватаетъ памяти. Сейчасъ же, по полученіи сего письма, поѣзжай къ г. Задольскому, сознайся предъ нимъ чистосердечно во лжи и проси прощенія. Скажи ему, что ты это совершила въ припадкѣ болѣзненнаго одуренія, которое находитъ на тебя періодически. Вѣдь ты разстроила свадьбу: до меня дошли слухи, что женихъ

чуть съ ума не сошелъ, а невѣста чуть не умерла съ горя. Если ты, дура, не разобличишь сама себя во лжи передъ г. Задольскимъ, то я обращаюсь, куда слѣдуетъ съ формальной просьбой, дабы повелѣно было извѣстному московскому психиатру г. Саблеру освидѣтельствовать твои умственные способности, и, буде ты окажешься не въ здоровомъ разумѣ (а я не сомнѣваюсь, что ты таковой и окажешься), запереть тебя въ домъ умалишенныхъ, что находится въ Лефортовской части, въ бывшемъ селѣ Преображенскомъ. Я увѣренъ, что, памятуя о моихъ прежнихъ заслугахъ, мнѣ не откажутъ въ моей просьбѣ. Прощай!

Твой (къ великому сожалѣнію и стыду моему) братъ
Всеволодъ Трошинскій.

Р. С. Я до сей поры полагалъ, что ты только дура, а сейчасъ увѣдомили меня, что ты, кромѣ того, подлая женщина: мнѣ рассказали содержаніе литературной мерзости, которую ты нагородила. Вздумала бранить помѣщиковъ за злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ! А помнишь, какъ третьяго года въ Петербургѣ ты у насъ въ домѣ, начистивши чрезчуръ себя зубы простонароднымъ табакомъ, ни за что избива по лицу до синяковъ и до крови свою крѣпостную дѣвку Акулину Трифонову, да еще хотѣла для дополнительнаго истязанія оной отослать ее въ полицію. Вспомни, что, когда моя жена захѣтила тебѣ, что у насъ въ домѣ не дерутся, — ты окрысилась на сію кроткую и богобоязненную женщину (разумѣю мою жену) и назвала ее либералкой, коммунисткой и даже сенсимонисткой, исполненной самыхъ зловредныхъ и опасныхъ для государства помысловъ. А вотъ ты теперь запѣла подъ современный тонъ, чтобы какой-нибудь журналистъ, столь же безсовѣстный, какъ и ты, поднесъ тебѣ, какъ говорится, *une coupe de civique*.

Когда Володя подбѣгалъ къ Кудрину, пароксизмъ его хохота постепенно утихалъ и наконецъ у Вдовьяго дома совсѣмъ прошель; онъ сильно сократилъ свой шагъ и пошелъ нога за ногу. Подходя къ Поварской, онъ вдругъ услышалъ свое имя, произнесенное звонкимъ и знакомымъ ему голосомъ. Онъ взглянулъ

вправо и увидѣлъ коляску, остановившуюся посреди улицы: въ коляскѣ сидѣлъ Алексѣй Ивановичъ и подзывалъ его къ себѣ. Володя подбѣжалъ къ нему съ быстротой зефира.

— Ну, великанъ, полѣзай сюда и рассказывай, что новаго у васъ въ Питерѣ.

Володя вскочилъ въ экипажъ, который сейчасъ же и тронулся.

— Откуда ты теперь?

— Я отъ Людмилы Юрьевны.

— Зачѣмъ ты таскался къ этой старой хрычевкѣ?

— Да Всеволодъ Юрьевичъ приказалъ мнѣ прямо съ желѣзной дороги отправиться къ ней: я ей отвезъ отъ него письмо.

— О чемъ онъ можетъ ей писать?

Володя рассказалъ Гладкому содержаніе письма.

— Ба, ба, ба! воскликнулъ Алексѣй Ивановичъ, — старикъ нашъ даромъ что боленъ и капризенъ, и раздражителенъ, какъ какая-нибудь параличная старуха, оказался догадливѣ насъ всѣхъ. Онъ правъ: это непременно эта скверная Людмилка насплетничала Задольскому про тебя и про Катерину Петровну. Не понимаю только одного: гдѣ она могла съ нимъ видѣться... Ну, да я теперь все разужаю,—и будетъ ей отъ меня на орѣхи. Впрочемъ, расправу съ ней нужно отложить: мнѣ теперь некогда—ѣду по дѣламъ въ Тверь... Не хочешь ли со мной? — Мнѣ одному будетъ тамъ скучно... Не бойся: и дорогой, и на мѣстѣ будетъ приличное угощеніе... Будутъ взяты запасы, то-есть разныя гастрономическія принадлежности... Что-жъ хочешь?..

— Хочу! быстро отвѣчалъ Володя, воображенію котораго сію же минуту предстали апельсины, конфеты и даже ликеры и прочія сласти, коими Алексѣй Ивановичъ такъ любилъ угощать юное поколѣніе.

XV.

Мы расстались съ Задольскимъ въ ту минуту, когда онъ, послѣ спора съ графомъ Ризенвальдомъ, былъ ошастливленъ внезапно болѣе чѣмъ привѣтнымъ и сочувственнымъ взоромъ Ка-

теньки; мы видѣли, что онъ пришелъ домой въ восторженномъ настроеніи духа, распѣвая финальную арію изъ «Невѣсты Лунастикъ». Но утро вечера мудренѣе. И дѣйствительно утро слѣдующаго дня вышло для него премудренное. Онъ проснулся довольно рано и, по своему обыкновенію, началъ все въ себѣ анализировать, сталъ себѣ давать отчетъ во вчерашнемъ днѣ— во вчерашнихъ своихъ дѣйствіяхъ и впечатлѣніяхъ. Дѣйствія оказались ничего—добропорядочными, впечатлѣнія... впечатлѣнія требовали провѣрки. Самое сильное и важное впечатлѣніе вчерашняго дня получено было отъ Катеньки: она вдругъ, въ то время, когда онъ говорилъ о независимости Италіи, выбѣжала изъ своего темнаго угла, сѣла съ нимъ рядомъ и взглянула на него такимъ взглядомъ, какимъ смотрятъ только на тѣхъ, кого страстно любятъ.

— Да, она смотрѣла на меня съ истинной любовью, рѣшилъ въ своихъ мысляхъ Григорій Дмитріевичъ, какъ бы торжествуя побѣду. Будь нашъ герой человѣкъ нормальный, онъ бы кончилъ этой мыслью свои размышленія о впечатлѣніяхъ вчерашняго дня и, къ благополучію автора сего разсказа, быстро бы покончилъ съ своими недоразумѣніями, и намъ стоило бы только послѣ этого объявить читателямъ, что герой съ героиней отправились подъ вѣнецъ; но на горе автору повѣсти и, главное, ея читателямъ, нашъ герой и наша героиня люди совершенно ненормальные, которые ничего не дѣлаютъ просто, и потому нашъ разсказъ долженъ протянуться еще на нѣсколько главъ. Дѣло въ томъ, что только Григорій Дмитріевичъ успѣлъ рѣшить въ умѣ своемъ: «она меня любитъ», какъ черезъ секунду уже не вѣрилъ своему счастью. «Да полно, такъ ли, любовь ли ко мнѣ выражалась въ ея глазахъ», заговорилъ вдругъ въ немъ вѣчно беспокоившій его голосъ сомнѣнія. «Можетъ быть это была любовь не ко мнѣ, а любовь только къ чувствамъ и идеямъ, которыя я выражалъ. Да, впрочемъ, отъ любви къ чувствамъ и мыслямъ какого-нибудь индивидуума недалеко дойти и до любви къ самому индивидууму. Мнѣ нужно теперь стараться разоблачать передъ Катенькой свой внутрен-

ній интеллектуальный міръ и такимъ образомъ постепенно, такъ сказать, заставить полюбить себя. Конечно, я теперь совершенно увѣренъ, что у ней не было никакой любви къ этому... какъ его?.. Къ этому кадету или пажу: это какая-то мерзавка взвела на нее самую нелѣпую клевету... Я тоже совершенно увѣренъ, что, согласившись выйти за меня замужъ, она это сдѣлала совершенно по доброй волѣ и, говоря, что любить меня, нисколько не лгала. Но можетъ ли дѣвушка или, лучше сказать, дѣвочка 16-ти лѣтъ дать себѣ отчетъ въ своихъ чувствахъ. У нея спросили: любишь ты его? — Люблю. — Хочешь за него выйти замужъ? Хочу, очень рада. А развѣ она знала въ ту минуту, когда говорила это, что такое любовь, что такое мужъ. Нѣтъ, надо дѣло дѣлать основательнѣе: сперва надо узнать, можетъ она меня любить или нѣтъ; если не можетъ, ну и Богъ съ ней,—оставить ее; если можетъ, такъ пусть полюбитъ въ самомъ дѣлѣ, серьезно: пусть полюбитъ не то что ни съ того ни съ сего, а за извѣстныя достоинства, если она ихъ во мнѣ найдетъ... Ахъ, она такъ не развита, такъ не развита, что едва ли еще можетъ скольконибудь оцѣнить чьи-нибудь достоинства!.. Вотъ что надо сдѣлать: надо ее сперва развить. И потомъ уже дознаться отъ нея, любить она, или не любить меня. Пожалуй, шестнадцатилѣтнюю дѣвочку увлечь легко, легко вскружить ей голову, легко возбудить въ ней къ себѣ любовь, да будетъ ли это прочная любовь? Нѣтъ, надо ее сперва развить, надо чтобъ она понимала различіе между истинными достоинствами человѣка и мнимыми, кажущимися... Развить ее, прежде всего развить!.. Это можно очень удобно сдѣлать черезъ Софью Васильевну—черезъ нее все можно сдѣлать — она человѣкъ благодушный, податливый; черезъ нее я буду передавать Катенькѣ книги; я буду стараться выбирать все такія, которыя сразу поднимаютъ въ ея головѣ цѣлый океанъ вопросовъ. Да, я буду трудиться надъ ея развитіемъ и буду трудиться безкорыстно. Пусть результатомъ этого развитія будетъ то, что она станетъ умственнo и нравственнo выше меня, увидить, что я ее не стою и полюбить другаго:—пусть будетъ

такъ; я такъ ее люблю, что буду довольствоваться тѣмъ, что, развивъ ее, принесъ ей пользу, хотя и во вредъ моимъ собственнымъ видамъ и интересамъ».

Для объясненія оригинальнаго намѣренія моего героя заняться воспитаніемъ молодой дѣвушки, на которую онъ не имѣлъ никакихъ юридическихъ правъ, я долженъ сказать, что въ то время ходило повѣтріе между университетскою молодежью, какъ кончившей, такъ еще и не кончавшей курсъ, считать своей священной обязанностью развивать молодыхъ дѣвушекъ, какъ въ наше время таковой же обязанностью считается просвѣщать простой народъ. Въ то время, между тѣмъ, какъ молодые люди, получившіе воспитаніе въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, танцовали съ дѣвушками, которыя имъ нравились, полку трамблантъ, подносили имъ букеты цвѣтовъ, или проигрывали имъ въ пари конфеты, молодые люди, хвадившіе университетскаго образованія, лѣзли къ своимъ возлюбленнымъ съ духовными дарами: тѣмъ кто былъ богатъ, тѣмъ и дарилъ свою дульцинею: кто системой Гегеля или Канта, кто подробными извѣстіями о положеніи Лужичанъ въ Пруссіи, а кто и воззрѣніемъ Савиньи на исторію римскаго права въ Среднихъ Вѣкахъ. Плоды такихъ пропагандъ созрѣли быстро: матери молодыхъ дѣвушекъ и даже просто дѣвочекъ, а также директрисы пансіоновъ вдругъ услышали такія въ устахъ ихъ слова, которыя уста эти съ трудомъ и выговаривали. «Міросозерцаніе, абстрактность, субъективность, паэось, продуктъ свободной фантазіи, античный міръ, пластичность,» — все это были хорошія слова, но они звучали такъ странно въ устахъ хорошенькихъ отроковицъ, что несчастныя матери семействъ, а также и наставницы не знали, что дѣлать съ воспитываемыми ими дѣвочками — награждать ихъ или наказывать за эти черезчуръ умныя вокабулы. Можетъ быть слѣдовало бы и наказывать, ибо намъ недавно случилось встрѣтить одну даму, развитую въ молодости своей однимъ ученымъ молодымъ человѣкомъ, которая до сихъ поръ все хорошее и въ особенности вкусное называетъ конкретнымъ, а все дурное абстрактнымъ; такъ, напримѣръ, свѣжія сливки у ней называются конкретными, а прокислыя — абстрактными.

Рѣшившись воспитывать Катерину Петровну, Григорій Дмитріевичъ сталъ обдумывать планъ воспитанія. По зрѣломъ размышленіи, оказалось, что въ основаніи воспитанія должно быть положено развитіе эстетическое: слѣдовало начать чтеніе вслухъ поэтическихъ образцовъ cum perputia adnotatione самого чтеца. Рѣшено было начать чтеніе съ Лермонтова, какъ поэта самого забористаго, способнаго сразу расшевелить застой молодой души, относящейся къ жизни черезчуръ непосредственно и спокойно, незнающей благотворныхъ сомнѣній... Читатели видятъ, что въ системѣ воспитанія, принятой нашимъ героемъ, сразу показалось противорѣчіе: дѣло въ томъ, что на выборъ Лермонтова натолкнуло его не одно чистое стремленіе принести эстетическую пользу ближнему, но какое-то еще тайное желаніе, имъ съ горяча въ то время совершенно несознанное...

У Катеньки тоже на другой день послѣ того вечера, какъ она протанцовала босикомъ у себя въ комнатѣ мазурку и вальсъ, вышло премудренное утро. Проснувшись она довольно рано, по крайней мѣрѣ, когда тетка ея еще не вставала. Быстро кончивъ свой туалетъ, она выбѣжала на террасу и застала тамъ графа Ризенвальда, уже сидящаго за утреннимъ кофеемъ.

— Здравствуй, Катенька, привѣтствовалъ онъ ее на русскомъ языкѣ. Не хочешь ли кофею...

— Нѣтъ... А впрочемъ, позвольте.

— Ну такъ вели дать себѣ чашку: я тебѣ налью.

Чашку принесли, и старый дипломатъ, съ бросающейся въ глаза педантическою методичностью, сталъ наливать кофе изъ какого-то премудренаго повоизобрѣтеннаго кофейника.

— А я хотѣлъ тебѣ сказать, Катенька, сказалъ графъ, подавая племянницѣ чашку съ кофеемъ, — хотѣлъ тебѣ сказать — только ты, пожалуйста, на меня не сердись — ты престранная... Ты хорошая, добрая, славная дѣвка, а все-таки престранная.

— Я странная, дядя?

— А ты думала, что ты не странная?

— Я не странная, а просто дура.

— Нѣтъ, не дура, а только странная.

— Чѣмъ же я странна?

— Ты какая-то... какъ это сказать?.. необузданная...

— Какъ необузданная?.. Что-жъ, напимѣрь, я успѣла при васъ сдѣлать необузданнаго, когда?

— Да вотъ, напимѣрь, вчера. Здѣсь былъ гость — лицо постороннее и... молодой человѣкъ. Мы стали говорить съ нимъ о политикѣ; онъ увлекся и сталъ говорить о восстановленіи единства Италіи и говорилъ для своихъ лѣтъ очень недурно, даже краснорѣчиво. Ты въ это время сидѣла гдѣ-то во мракѣ, и никто тебя не замѣчалъ. Вдругъ — я не знаю, что съ тобой сдѣлалось, очень что ли ты увлеклась участіемъ Италіи, — ты вдругъ выскочила точно изъ-подъ земли, пробѣжала черезъ всю комнату и плюснулась на стулъ подлѣ молодаго оратора и впи-лась своими прекрасными глазами ему въ глаза...

Я долженъ перебить на минуту рѣчь графа Ризенвальда для того, чтобы пояснить читателямъ характеръ языка, которымъ онъ говорилъ. Читателямъ, конечно, показались странными въ устахъ дипломата такіа тривіальныя выраженія, какъ ты «хорошая *овена*» или «*плюснулась на стулъ*». Но дѣло въ томъ, что графъ, говоря по-русски, старался показать и доказать, какъ передъ другими, такъ и передъ самимъ собой, что, несмотря на то, что онъ около тридцати лѣтъ прожилъ почти безвыѣздно за границей, нисколько не забылъ роднаго языка. Съ этой цѣлью онъ щеголялъ передъ своими соотечественниками русскими вульгарными выраженіями; онъ зналъ немного такихъ выраженій, но за то употреблялъ ихъ очень часто: онъ полагалъ, что стоитъ только при какомъ-нибудь новомъ для него лицѣ произнести слово въ родѣ «дѣвка, затрещина, зуботычина, вторилась, врѣзалась, плюснулась», — и сію же минуту новый его знакомый приметъ его за истиннаго кореннаго русскаго, который никогда не переставалъ быть русскимъ и страстно любить все русское, хотя бы оно было вульгарно и тривіально. Съ этой же цѣлью онъ притворялся, что любить квасъ и, пріѣзжая въ Россію, считалъ долгомъ выпить

при свидѣтеляхъ хотѣ полстакана этого ненавистнаго для него напитка.

— Не сердись на меня, на стараго хрыча, продолжалъ русскій дипломатъ, произнося съ особеннымъ удовольствіемъ и гордостью слово *хрычъ*, — но я долженъ тебѣ сказать, что такъ нигдѣ не дѣлается, по крайней мѣрѣ, въ просвѣщенной Европѣ.

— Развѣ я сдѣлала что-нибудь дурное?..

— Ничего дурнаго... Ты не можешь сдѣлать ничего дурнаго — ты на это просто неспособна.

— А почему вы знаете, что я неспособна сдѣлать ничего дурнаго?

— По твоей открытой доброй и честной рожницѣ.

— Такъ что-жъ я сдѣлала?

— Ты сдѣлала опромѣтчивый поступокъ, который можетъ показаться дурнымъ въ глазахъ людей, любящихъ во всѣхъ и во всемъ отыскивать дурное, а такихъ людей много, очень много.

— Что-жъ найдутъ въ моемъ поступкѣ дурнаго?

— Скажутъ, что ты слишкомъ свободно держишь себя съ молодыми людьми, дѣлаешь имъ авансы, роняешь передъ ними свое достоинство. Твою вчерашнюю выходку могутъ представить въ такомъ свѣтѣ: вдругъ увлеклась краснорѣчіемъ посторонняго молодаго человѣка, сію же минуту влюбилась въ него и чуть не повисла ему на шею.

— Такъ я, по вашему, поступила неприлично.

— Не сердись на меня, но я считаю долгомъ, какъ мужъ твоей родной тетки, сказать тебѣ, что ты дѣйствительно, по моему мнѣнію, поступила неприлично.

Катенька, постепенно краснѣвшая во время рѣчи графа, при послѣднихъ словахъ его загорѣлась краснѣе пламени; но графъ въ это время очень пристально смотрѣлъ въ свою чашку и не замѣтилъ перемѣны въ цвѣтѣ лица своей племянницы.

— Сама ты посуди, продолжалъ графъ по-французски, такъ какъ говорить долго по-русски ему уже стало утомительно, — сама ты посуди, что подумаетъ про тебя этотъ господинъ Застольскій.

— Задольскій, дядя.

— Или Задольскій, это въ настоящемъ случаѣ все равно. Этотъ Застольскій или Задольскій подумаетъ, что ты вдругъ въ него влюбилась и влюбилась такъ страстно и сильно, что не могла удержать своихъ чувствъ и сама, безъ матѣйнаго вызова съ его стороны, ни съ того, ни съ сего объяснилась съ нимъ въ любви.

— Какъ объяснилась въ любви? Я съ нимъ вчера въ любви не объяснялась.

— Да онъ подумаетъ, что объяснилась не словами, а взглядомъ, потому что ты такъ на него вчера взглянула, что можно было подуматъ, что ты въ него въ самомъ дѣлѣ влюблена и, повторяю, безо всякаго повода съ его стороны, объявила ему своими хорошенькими глазками о своей любви. А мужчина, даже еслибъ онъ и былъ влюбленъ въ женщину, непременно разлюбитъ ее и даже почувствуетъ къ ней презрѣніе, если она первая, не спрошенная имъ, откроется ему въ любви: ему непременно, покажется, что она ему безстыдно навязываетъ свою любовь... И потомъ представь, что подумаетъ о тебѣ этотъ г. Задольскій или Застольскій, если онъ замѣтилъ твой взглядъ и если думалъ о тебѣ, а не объ освобожденіи Италіи. Положимъ еще ничего, если одинъ Задольскій почувствуетъ къ тебѣ презрѣніе (при словѣ *презрѣніе*, Катенька поблѣднѣла), а то если ты сдѣлаешь такую выходку съ другимъ, съ третьимъ, съ четвертымъ, то наконецъ тебя всѣ будутъ презирать. Нѣтъ, ты должна держать себя совсѣмъ иначе, т.-е. безъ рѣзкихъ переходовъ отъ дикой застѣнчивости къ дикой рѣзвости: надо держать себя и развязно, и съ достоинствомъ. Посмотри, какъ держитъ себя твоя сестра Зинаида. Я видѣлъ ее проѣздомъ черезъ Вѣну и просто заглядѣлся. Я думаю, въ нее за границею влюбятся всѣ молодые люди.

Слушая дядю, Катенька чувствовала, что слезы начинаютъ душить ее, что еще нѣсколько секундъ, еще двѣ-три фразы графа, и она разрыдается. Но, на счастье ея, въ эту минуту вошла въ комнату Софья Васильевна; она стала разспрашивать

мужа, покойно ли было ему спать въ отведенной ему комнатѣ, и Катенька, во время этихъ вопросовъ и отвѣтовъ на нихъ графа, ускользнула въ садъ.

— А я твоей племянницѣ прочелъ мораль, сказалъ графъ, когда графиня кончила свои вопросы.

— Какую мораль, за что?

Графъ разсказалъ женѣ подробно о содержаніи своего разговора съ Катенькой.

— Ахъ, Владиміръ Христофоровичъ, что ты надѣлалъ! воскликнула нѣсколько взволнованнымъ голосомъ Софья Васильевна и разсказала мужу со всѣми мелкими подробностями отношенія Катеньки къ Задольскому, отношенія, про которыя онъ теперь въ первый разъ услышалъ. Графъ очень огорчился, и ему стало очень досадно на самого себя, когда онъ прослушалъ разсказъ жены.

— Да пожалуй, что я разстроилъ это дѣло навсегда; можетъ быть вчерашній взглядъ Катеньки уладилъ бы ея отношенія съ женихомъ... Ты права, она теперь, пожалуй, на глаза ему не покажется. Да, я промахнулся, а еще дипломатъ и, какъ говорятъ, не дурной дипломатъ!

— Да, я удивляюсь, сказала Софья Васильевна, — какъ пришло тебѣ въ голову, съ твоей деликатностью и осторожностью, которая обыкновенно у тебя переходитъ всякую мѣру дѣлать такіа щекотливыя наставленія молодой дѣвушкѣ? Это совершенно на тебя не похоже.

— Правда, но знаешь ли, отчего это произошло? Объясню тебѣ примѣромъ. Представь себѣ школьника и самого благонаправнаго школьника, но воспитывающагося и живущаго по цѣлымъ годамъ въ такомъ учебномъ заведеніи, гдѣ царствуетъ до сумасшествія строгая дисциплина, гдѣ сѣкутъ до полусмерти за каждое громко сказанное слово, за всякій прыжокъ, за всякую шутку и остроту, за всякую невольную улыбку. Представь же ты себѣ этого самого школьника, пріѣхавшаго на вакацію къ себѣ на родину — въ деревню, гдѣ онъ, благодаря отсутствію всякаго присмотра, почувствуетъ себя совершенно на свободѣ;

представь, какіе прыжки и скачки станеть онъ дѣлать: онъ, пожалуй, такъ прыгнетъ, что сломить себѣ голову. Вотъ и я теперь въ положеніи этого школьника, и я, послѣ двадцатилѣтняго безвыходнаго пребыванія въ самой строго-дисциплинированной школѣ, пріѣхалъ на вакацію на родину — въ деревню, то-есть въ Москву. А ты знаешь, какая это школа, гдѣ я имѣю постоянное пребываніе: не смѣй сказать ни одного слова, не смѣй сдѣлать ни одного жеста, не обдумавъ сто разъ, сдѣлать его, или не сдѣлать, и если сдѣлать, то какъ сдѣлать; не то бѣда: какой-нибудь секретарь посольства Обѣихъ Сицилій какъ разъ тебя поймаетъ. Я когда пріѣхалъ сюда, именно сюда на дачу, то почувствовалъ, что съ меня точно цѣпи свалились,—я совершенно распустился и какъ-то разслабъ, и на меня напала такая ражъ быть откровеннымъ, говорить всѣмъ правду въ глаза, что вотъ я сегодня надѣлалъ глупостей хуже всякаго школьника.

— А гдѣ же Катенька? Куда она пропала? Когда я сюда вошла, она была здѣсь... Вѣрно она очень смущена твоей моралью: исчезла, даже не поздоровавшись со мной.

Софья Васильевна велѣла позвать къ себѣ племянницу; но ея нигдѣ не могли найти—ни въ саду, который былъ при дачѣ, ни въ большомъ саду, ни въ ближней рощѣ.

И не легко было найти Катерину Петровну: она запряталась нарочно въ самую густую и темную чащу сада, въ такое мѣсто, куда, благодаря его запущенности, никто изъ гуляющихъ не заглядываетъ. Она сидѣла на травѣ и горько плакала. «Глупая я, глупая, ничего-то я не умѣю дѣлать, какъ люди!.. Богъ знаетъ въ самомъ дѣлѣ, что, послѣ вчерашняго, думаетъ обо мнѣ Григорій Дмитріевичъ!» Сокрушаемая такими мыслями, Катенька просидѣла нѣсколько часовъ на одномъ мѣстѣ. Наконецъ, какъ бы пораженная какой-то внезапной мыслью, она вдругъ перестала плакать, поднялась съ травы, отерла слезы и сказала самой себѣ съ твердой рѣшительностью во взорѣ. «Перерожусь, буду совершенно другой, буду держать себя съ достоинствомъ, какъ велѣлъ дяденька. Его во всемъ нужно слу-

паться: онъ такой умный — про него и Алексѣй Ивановичъ, который надо всѣми вѣчно смѣется, говорить, что онъ такъ уменъ, что три иностранныя государства надуль.» Съ такими мыслями Катенька отправилась домой.

Было уже около четырехъ часовъ, когда Софья Васильевна, страшно разстроенная, сидѣла въ гостиной и держала въ рукахъ книгу, не заглядывая въ нее: ее очень беспокоило продолжительное отсутствіе Катеньки. Доложили о Задольскомъ. Она приняла его любезнѣе обыкновеннаго.

— Обѣдайте сегодня съ нами; мы обѣдаемъ одни, потому что мужъ мой долженъ сегодня обѣдать у Закревскаго: тамъ официальный обѣдъ, и всѣ будутъ. Послѣ обѣда вы намъ что-нибудь прочитаете; мы съ Катенькой такъ любимъ ваше чтеніе.

— Я очень радъ... я даже самъ хотѣлъ предложить вамъ... я съ тѣмъ и пришелъ: я хотѣлъ вамъ сказать, графиня, но можетъ быть это вамъ покажется страннымъ... Я хотѣлъ вамъ сказать... Конечно, это не мое дѣло, но мнѣ кажется, что Катерина Петровна...

— Мало читала, хотите вы сказать.

— Да, мало читала... серьезныхъ книгъ.

— Это совершенная правда.

— Такъ если вы мнѣ позволите, я буду ей доставлять книги, нужныя для ея умственнаго развитія; конечно, эти книги будутъ проходить чрезъ вашу цензуру.

— Моей цензуры не нужно: я вамъ вѣрю; благородство вашего характера, ваши нравственные правила — вотъ единственные члены того цензурнаго комитета, чрезъ который будутъ проходить книги, которыя вы будете доставлять Катенькѣ.

— Я, если вы позволите, сталъ бы объяснять Катеринѣ Петровнѣ нѣкоторые мѣста изъ прочитаннаго...

— Я вамъ буду очень благодарна: вы такъ хорошо знакомы съ литературой, у васъ такой вѣрный взглядъ, такое прекрасное направленіе, что, я увѣрена, вы принесете много пользы моей племянницѣ.

Въ это время въ комнату вошла или, лучше сказать, вплыла

Катерина Петровна; она уже заранее знала, что Задольскій у нихъ и приготовилась къ встрѣчѣ съ нимъ... И вотъ она предстала предъ нимъ олицетвореніемъ самыхъ утонченныхъ свѣтскихъ приличій; въ каждомъ движеніи ея были видны и развязность и достоинство, въ которыхъ, впрочемъ, тонкій наблюдатель могъ бы сію минуту замѣтить нѣчто напускное, неестественное. Въ это время она была страшно похожа на Зинаиду.

— Ну, подумала съ досадою Софья Васильевна, урокъ, который далъ ей мой супругъ-дипломатъ, подѣйствовалъ на нее сильно.—Катенька, сказала она, Григорій Дмитріевичъ хочетъ намъ сегодня что-нибудь прочесть.

— Ахъ, очень буду рада! сказала такъ величественно-любезно Катенька, что ея аплону могла бы позавидовать и сама Зинаида.

— Боже мой, подумала, сердясь на нее, Софья Васильевна, съ какимъ совершенствомъ она копируетъ меньшую сестру! Она должно быть превосходно умѣетъ передразнивать; ужъ не выучилась ли она этому искусству у той обезьяны, которая укусила ее за палецъ и прокусила, кажется, икру у ея родителя.

Задольскій замѣтилъ, что Катерина Петровна смотритъ на него совсѣмъ не тѣмъ взглядомъ, какимъ смотрѣла вчера; онъ не былъ тонкимъ наблюдателемъ или, лучше сказать, совсѣмъ никогда ни за кѣмъ не наблюдалъ и потому не замѣтилъ, что спокойствіе и величіе Катерины Петровны было притворное напускное.

— Ну что-жъ, думалъ онъ, глядя на нее, можетъ быть — она меня не любитъ, можетъ быть, вчерашній ея восторгъ относился не ко мнѣ, а къ будущей участи Італіи. Ну, что-жъ, пусть не любитъ, а я все-таки буду образовывать, развивать ее и буду это дѣлать безкорыстно—не для своей, а для ея пользы.

Послѣ обѣда пошли пить кофе на террасу.

— Что же вы намъ сегодня прочтете? сказала Софья Васильевна.

— Что-нибудь изъ Лермонтова... Я уже принесъ его съ собою... Онъ тамъ въ передней... Вѣдь вамъ, Катерина Петровна, нравится Лермонтовъ?..

— Да... Вѣдь это тотъ, что былъ убитъ на дуэли?

— Да.

— Я его жену видѣла въ Петербургѣ; она бывала у маменьки... Такая еще до сихъ поръ красавица!...

— Лермонтовъ никогда не былъ женатъ, Катерина Петровна.

— Какъ не былъ? Когда я своими глазами видѣла его жену — Наталью Николаевну; она вѣдь, послѣ его смерти, вышла за другаго, возразила Катенька, съ аплономъ Зинаиды...

— Ты видѣла жену не Лермонтова, а Пушкина, сказала съ недовольнымъ видомъ Софья Васильевна, краснѣя слегка за племянницу.

— Вы много читали стиховъ? спросилъ Катеньку Задольскій.

— Я много учила наизусть...

— Что-жъ вы учили, наприимѣръ?

— Я учила «A peine nous sortions des portes de Trézène», Le songe d'Athalie: «C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit»... потомъ «Je suis Romaine, hélas! puisqu' Horace est Romain».

— Все изъ проклятыхъ лже-классиковъ, подумалъ Григорій Дмитріевичъ. Еще какіе стихи вы учили? спросилъ онъ.

— Басни Лафонтена...

— А по-русски вы никакихъ стиховъ не учили?

— Нѣтъ, намъ не задавали.

— А по-нѣмецки?

— По-нѣмецки мы учили басню, которая, кажется, называется Der Sperling und die Fliege.

— А изъ Шиллера и Гёте ничего не учили?

— Ничего... Вотъ изъ Казимира Делавинья намъ задавали много...

— Даже изъ Казимира Делавинья! подумалъ съ омерзѣніемъ Григорій Дмитріевичъ. Вѣдь ужъ гаже Казимира Делавинья ничего нѣтъ, кромѣ кастороваго масла.

— Нечего сказать, многостороннее литературное образованіе дала моя сестрица своимъ дочерямъ! подумала со вздохомъ Софья Васильевна. — Ну, что же, Григорій Дмитріевичъ, не угодно

ли вамъ начать чтеніе, поспѣшила сказать она, боясь, чтобы дальнѣйшими разспросами Задольскій не обнаружилъ еще больше невѣжества ея племянницы.

Григорій Дмитріевичъ вышелъ изъ комнаты и черезъ минуту возвратился съ книгой. Катерина Петровна была въ сильномъ волненіи передъ началомъ чтенія: она нѣсколько разъ выходила изъ комнаты подъ разными предлогами — то будто отъ того, что позабыла платокъ, то за своей работой, то чтобъ отдать какое-то важное приказаніе своей горничной. Въ самомъ же дѣлѣ она выходила затѣмъ, чтобъ пить холодную воду: она знала, какъ сильно на нее дѣйствуетъ чтеніе Задольскаго, и потому хотѣла расхолодить себя, дабы съ подобающимъ свѣтской дѣвицѣ спокойствіемъ его слушать. Наконецъ, чтеніе началось. На этотъ разъ Григорій Дмитріевичъ читалъ особенно отчетливо и умно: видно было, что онъ старательно приготовился къ чтенію. Какъ извѣстно читателю, онъ положилъ сдѣлать цѣлый рядъ чтеній съ чистой, безкорыстной цѣлью развить умственно Катерину Петровну, единственно для душевной пользы, хотя бы это было во вредъ ему самому, какъ претенденту на ея руку. И вотъ, мы не знаемъ отчего, отъ сильнаго ли чувства безкорыстія, или по другой какой причинѣ, онъ съ особеннымъ выраженіемъ произносилъ тѣ мѣста, гдѣ дѣло шло о любви: тутъ въ голосѣ его слышалась особенная страстность, особенная задушевная вибрація, особенное, хотя тонкое и деликатное, но тѣмъ не менѣе замѣтное удареніе на нѣкоторыхъ фразахъ, — замѣтное для тѣхъ, кому *оное замѣтитъ надлежало*. Нѣкоторые стихи были произнесены такъ, что отзывались шпилькой нѣжнаго укора для сердца тѣхъ, чье сердце надлежало затронуть таковой шпилькой. И замѣчательно, что все это дѣлалось не по обдуманному плану, а безотчетно, бессознательно — импровизаціей. Что дѣлать, таково сердце человѣческое! Часто самый честный, благородный человѣкъ, приступая къ какому-нибудь дѣлу съ самой безкорыстной цѣлью и даже съ самоотверженіемъ, незамѣтно для себя, измѣняетъ свою цѣль изъ безкорыстной въ самую эгоистическую и, самъ того не вѣдая, лицемѣритъ передъ самимъ собой.

Катерина Петровна держала себя во время чтенія если не въ высшей степени искусно, то, по крайней мѣрѣ, необыкновенно старательно. Въ сильныхъ мѣстахъ, гдѣ дѣло шло о любви, она не отрывала глазъ отъ работы, дабы по глазамъ ея никакъ нельзя было замѣтить чувствъ ея къ чтецу; въ мѣстахъ спокойныхъ, гдѣ описывалась, напримѣръ, бездушная природа, она опускала работу и смотрѣла на чтеца самымъ холоднымъ, важнымъ и безчувственнымъ взоромъ, дабы онъ видѣлъ, что она къ нему рѣшительно ничего не чувствуетъ. Григорій Дмитриевичъ прочелъ для перваго своего педагогическаго дебюта много стиховъ изъ Лермонтова и притомъ все піесы самаго раздражающаго душу свойства. Къ концу чтенія Катерина Петровна была сильно наэлектризована. Особенно сильное впечатлѣніе произвели на нее слѣдующіе стихи изъ поэмы Мцыри:

..... Я видѣлъ у другихъ
Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,
А у себя не находилъ
Не только милыхъ душъ — могилъ!
Тогда пустыхъ не тратя слезъ,
Въ душъ я клятву произнесъ:
Хотя на мигъ когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать, съ тоской, къ груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.

Стихи эти Катенька приняла прямо, такъ сказать, на свой счетъ и на счетъ Задольскаго, и они сильно потрясли ее: прослушавъ ихъ, она вдругъ почему-то почувствовала, что они съ Задольскимъ въ нравственномъ мірѣ оба такіе же круглые сироты, какъ Мцыри, что они совершенно чужды всему ихъ окружающему и такъ не похожи на всѣхъ другихъ, такъ уродливо-странны и дико-смѣшны въ ихъ глазахъ, что могутъ найти счастье только въ любви, въ близости другъ къ другу и больше ни въ чемъ и никогда! Въ эту минуту средство скрыть свои чувства, устремляя глаза въ работу, оказалось недостаточнымъ: потребовалось уронить на полъ иголку и искать ее долго, долго подъ столомъ. Къ счастью, Григорій Дмитриевичъ

былъ самый нелюбезный и недотапливый кавалеръ во всей Европейской Россіи: въ противномъ случаѣ онъ бы непремѣнно прислужился нашей героинѣ, бросился бы помогать ей искать вилку — нагнулся бы подъ столъ, — и тогда... тогда бы онъ увидѣлъ, какіе обильные потоки слезъ лились изъ глазъ его слушательницы. Богъ знаетъ, сколько бы времени пришлось ей держать голову въ наклоненномъ положеніи, еслибъ въ комнату не вошелъ мужъ Софьи Васильевны; Задольскій всталъ съ своего мѣста, чтобъ поздороваться съ графомъ, а Катенька, воспользовавшись тѣмъ, что очутилась у него въ тылу, незамѣтно для него исчезла изъ гостиной, прошла въ свою комнату, отерла слезы, умылась, потомъ прошла нѣсколько разъ по саду и возвратилась въ гостиную свѣжая, спокойная съ виду, какъ олимпійское божество.

XVI.

На другой день послѣ перваго своего педагогическаго дебюта, т.-е. усиленно выразительнаго чтенія стиховъ Лермонтова, въ назиданіе Катеринѣ Петровнѣ, Григорій Дмитріевичъ только что проснулся и открылъ глаза, какъ сію же минуту, по обыкновенію своему, предался анализу — сталъ давать себѣ отчетъ во вчерашнихъ своихъ впечатлѣніяхъ и дѣйствіяхъ. На этотъ разъ, не найдя ничего особеннаго въ своихъ впечатлѣніяхъ, онъ остался очень недоволенъ своими дѣйствіями: совѣсть сказала ему прямо, что онъ покривилъ душой, что, взявъ на себя святую обязанность --- воспитать нравственно молодую дѣвушку, онъ вчера читалъ передъ Катенькой Лермонтова не столько для того, чтобъ развить въ ней умственные способности и эстетическое чувство, сколько для возбужденія сочувствія къ своей собственной особѣ.

— Это подло! рѣшилъ Григорій Дмитріевичъ въ заключеніе своихъ размышленій. Подло — подъ личиною педагоги и даже, такъ сказать, филантропіи преслѣдовать свои мелкія, эгоистическія цѣли! Нѣтъ, если ее воспитывать, такъ воспитывать

для нея самой, а не для меня... И можно ли было выбрать Лермонтова для чтенія такой молоденькой, такой, такъ сказать, черезчуръ невинной дѣвушки, даже почти дѣвочки, какъ она! Для чего я это сдѣлалъ, для чего? Уже не для того ли,

Чтобъ тайный ядъ страницы знойной
Смутилъ ребенка сонъ спокойный
И сердце слабое увлекъ
Въ свой необузданный потокъ?...
О нѣтъ! преступною мечтою
Не ослѣпляя мысль мою,
Такою страшною цѣною
Ея любви я не куплю!..."

Продекламировавъ этотъ отрывокъ изъ стихотворенія Лермонтова, съ нѣкоторымъ измѣненіемъ, какъ это видятъ читатели, послѣдняго стиха, Задольскій предался спокойнымъ педагогическимъ соображеніямъ. «Нѣтъ! рѣшилъ онъ, наконецъ, надо начать ея развитіе со строго-научнаго образованія... Но какъ начать его? Съ какой науки? Да чего лучше исторіи! Исторія въ лучшихъ своихъ представителяхъ, т.-е. въ историкахъ-художникахъ, есть въ одно и то же время и наука и искусство, а потому она развиваетъ и умъ и эстетическое чувство... Но какъ начать преподавать Катенькѣ исторію? Я не учитель ея и не имѣю права навязываться къ ней съ уроками.. Начать читать ей вслухъ какое-нибудь руководство къ исторіи?... но, въ первыхъ, это будетъ какъ - то смѣшно; во вторыхъ, ей будетъ скучно, и она не станетъ слушать, а кто же ее можетъ принудить слушать: не просить же мнѣ Софію Васильевну наказывать ее за невниманіе и неприлежаніе!»

На этихъ вопросахъ нашъ импровизованный педагогъ сильно призадумался; но послѣ нѣсколькихъ минутъ тагостнаго размышленія, онъ вдругъ радостно вскочилъ со стула съ выраженіемъ лица, какое имѣлъ Архимедъ въ то мгновеніе, когда, выскочивъ изъ ванны, закричалъ свое знаменитое «Эврика».

— Надо ей читать романы Вальтеръ Скотта! (таково было *Эврика* нашего героя). Тутъ все, что ей нужно — и исторія, и поэзія, и познаніе жизни.

— Яковъ, Яковъ! закричалъ вдругъ Григорій Дмитріевичъ.

— Чего изволите? спросилъ съ обычной важностью Яковъ, показываясь въ дверяхъ.

— Вели сію же минуту заложить коляску.

— Слушаю-съ.

— Я тебѣ дамъ записку, и ты отвезешь ее въ книжный магазинъ ...ва, знаешь?

— Слушаю-съ.

— Тамъ тебѣ по этой запискѣ дадутъ книги: ты ихъ привезешь ко мнѣ, сюда: не оставь, пожалуйста, ихъ въ магазинѣ, какъ въ прошлый разъ, это совсѣмъ не нужно; понимаешь?

— Слушаю-съ.

Григорій Дмитріевичъ поспѣшно написалъ записку и отдалъ Якову. Но тотъ, взявъ записку, сталъ пристально, глупо и глубокомысленно смотрѣть на нее, переминаясь съ ноги на ногу.

— Ну, что же ты, Яковъ? поѣзжай ради Бога какъ можно скорѣе!

— Такъ это вы, сударь, для меня изволили приказывать заложить коляску?

— Ну, да.

— Увольте, Григорій Дмитріевичъ!

— Какъ уволить, отъ чего тебя уволить?

— Явите Божеское милосердіе, увольте, потому я въ коляскахъ развѣзжать не способенъ: нешто я благородный или купецъ!... Да и буфетчикъ станетъ тоже опять смѣяться, скажетъ: за какія такія услуги тебя на колесницу посадили. Потому, намедни, какъ вы меня изволили послать въ коляскѣ за настройщикомъ, — такъ онъ это и говоритъ, это, говоритъ, точно въ писаніи, что діаконъ въ церкви читаетъ.. Нѣтъ, увольте, Григорій Дмитріевичъ, потому...

— Ну хорошо, хорошо—уволю... Но вѣдь эти книги мнѣ нужны скоро, а ты пѣшкомъ проходишь за ними больше десяти часовъ.

— Зачѣмъ же пѣшкомъ? Помилуйте, сударь! Здѣсь, въ Обрѣзковѣ, тоже калиперы есть.

— Что есть?

— Говорю, живейнаго извозчика, молъ, можно здѣсь нанять.

— Ну, нанимай же скорѣе взадъ и впередъ извозника и отправляйся!

Яковъ быстро исполнилъ порученіе своего барина, такъ что не прошло и двухъ часовъ послѣ приведеннаго разговора, какъ Григорій Дмитріевичъ уже читалъ передъ Катенькой и ея теткой романъ В. Скотта *Квентинъ Дерваръ* (въ русскомъ переводѣ). Катенька съ самымъ живымъ интересомъ слушала какъ текстъ романа, такъ и эстетическія и историческія поясненія краснорѣчиваго чтеца. Такъ какъ Задольскій былъ весьма щедръ на комментаріи, то чтеніе романа продолжалось нѣсколько дней. Катенька съ каждымъ чтеніемъ все больше и больше заинтересовывалась исторіей и съ каждымъ разомъ все щедрѣе и щедрѣе осыпала Задольскаго вопросами. Она предлагала вопросы съ такимъ живымъ внутреннимъ интересомъ, что едва сдерживала на себѣ личину величаваго спокойствія Зинаиды.

Разъ, послѣ чтенія, Катенька была особенно щедра на вопросы, а Григорій Дмитріевичъ, отвѣчая на нихъ, съ особеннымъ одушевленіемъ объяснялъ внутреннее значеніе разныхъ историческихъ фактовъ. Конечно, здѣсь, какъ во всякой живой бесѣдѣ между людьми съ живыми темпераментами, дѣлались быстрые скачки отъ одного предмета къ другому, такъ что собесѣдники перескакивали то-и-дѣло отъ древней исторіи къ новой, отъ новой — къ средней, отъ Рима — къ Россіи, отъ Италіи — къ Скандинавіи. Вдругъ рѣчь какъ-то зашла о Вильгельмѣ Телѣ.

— Вѣдь Вильгельмъ Тель никогда не существовалъ, замѣтилъ Григорій Дмитріевичъ.

— Какъ никогда не существовалъ?! воскликнула съ такимъ удивленіемъ Катенька, что чуть не потеряла аплона, взятаго на поддержаніе у Зинаиды. Вѣдь Вильгельмъ Тель — это тотъ, что стрѣлялъ въ яблоко, которое было на головѣ его сына?..

— Онъ не стрѣлялъ ни въ какое яблоко и вообще никогда не стрѣлялъ и не могъ стрѣлять по той простой причинѣ, что никогда не существовалъ...

— Неужели? Каково! воскликнула опять Катенька и опять чуть не потеряла аплона.

— Какъ же это Вильгельмъ Тель никогда не существовалъ? сказала крайне недоувѣрчивымъ тономъ и даже съ несовсѣмъ довольнымъ видомъ Софья Васильевна.

— Не существовалъ-съ, графиня.

— Однако существованіе его признано исторіей.

— Прженей, а не нынѣшней. т.-е. исторіей, которая писалась безъ всякой критики, людьми, слѣпо вѣрившими поэтическимъ вымысламъ народа и рассказамъ легковѣрныхъ лѣтописцевъ... Мало ли чему вѣрили дѣтски наивные историки прежняго времени—Ролентъ, Абать, Милотъ и tutti quanti! Какими баснями, хотя и поэтическими, но все-таки баснями и притомъ самыми невѣроятными баснями, была изуродована въ прежнихъ учебникахъ—и увы, такъ еще недавно — исторія Греціи и Рима! Но явился Нибуръ, — и...

Тутъ Григорій Дмитріевичъ сталъ разоблачать по Нибуру, коего зналъ, какъ воспитанникъ московскаго университета, по лекціямъ Грановскаго, Крылова и Леонтьева, баснословіе греческой и римской исторіи и безпощадно громить народныя вымыслы молотомъ исторической критики.

Катенька слушала Григорія Дмитріевича съ великимъ увлеченіемъ и наслажденіемъ. Впервыхъ, разоблаченіе историческихъ заблужденій ей нравилось, какъ совершенная новость; передъ ней вдругъ будто сняли мертвую кору съ исторіи, и на нее мгновенно пахнуло воздухомъ жизни отъ историческихъ образовъ, образовъ, отъ которыхъ доселѣ несло на нее только затхлымъ запахомъ мертвыхъ учебниковъ. Вовторыхъ, она рада была слышать, что столь многіе историческіе факты, которые еще такъ недавно заставляли ее насильно, чуть не изъподъ палки, заучивать по учебнику, оказались, наконецъ, ложными: больше всего она радовалась этому обстоятельству потому, что съ воспоминаваньями объ этихъ фактахъ у нея въ головѣ сливалось воспоминаваніе объ учителѣ исторіи, старомъ, плюгавомъ, беззубомъ и прешепетывающемъ нѣмцѣ, который

постоянно забрызгивалъ своихъ ученицъ слюнами, когда повѣствовалъ имъ о замѣчательныхъ историческихъ событіяхъ, и у котораго вѣчно тѣлъ табакъ изъ носу...

За то Софѣя Васильевна было весьма непріятно слышать, какъ опровергаютъ и уничтожаютъ тѣ историческіе факты, которые такъ прилежно и съ такой любовью изучала она съ дѣтства, и въ существованіе которыхъ она сохранила самую живую теплую дѣтскую вѣру до сѣдыхъ волосъ. Она была очень образованная женщина, но училась давно и притомъ только у французскихъ учителей и по однимъ французскимъ учебникамъ; результаты настоящей (германской) науки не касались ея слуха, какъ вообще не касаются они слуха великосвѣтскихъ дамъ, какъ бы онѣ ни были «образованы». Ей было дико слушать, какъ свободно и дерзко громилъ Григорій Дмитріевичъ авторитеты Тита Ливія и Плутарха. Ей много разъ случалось говорить и спорить и съ деистами и даже съ атеистами, и, не смотря на то, что она была глубоко религіозная женщина по убѣжденіямъ, она возмущалась несравненно менѣе религіознымъ вольнодумствомъ атеистовъ, чѣмъ возмущалась теперь историческимъ вольнодумствомъ Нибура, мнѣнія котораго услышала она въ первый разъ отъ Задольскаго. Атеисты были люди французской школы философіи, слѣдовательно съ родни ей по воспитанію; а Нибуръ? Нибуръ — это какая-то темная, новая, а потому страшная сила! Да притомъ, можетъ быть, этотъ Нибуръ, какъ большая часть знаменитыхъ нѣмцевъ, человѣкъ грубый и неблаговоспитанный!... Не одни мнѣнія Нибура, но другія историческія вольнодумства Григорія Дмитріевича, шедшія изъ другихъ источниковъ, сильно ее разстроивали. Такъ на примѣръ, особенно было ей прискорбно, больно и досадно слышать и притомъ слышать отъ такого хорошаго человѣка, какъ Задольскій, что Вильгельмъ Тель не существовалъ. Вильгельмъ Тель, изъ котораго Россини, великій композиторъ и притомъ ея хорошій знакомый, создалъ оперу, изумившую весь музыкальный міръ, этотъ самый Вильгельмъ Тель никогда не существовалъ! Повѣрить этому ей было и трудно и обидно.

Софья Васильевна вступила въ споръ съ Григоріемъ Дмитріевичемъ и стала опровергать мнѣнія Нибура насчетъ греческой и римской исторіи и весьма неудачно. Еслибъ она взялась отстаивать одинъ какой-нибудь фактъ, опровергнутый Нибуромъ, и выбрала бы фактъ наименѣе неправдоподобный, она вышла бы изъ спора, по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторымъ достоинствомъ; но она возымѣла неосторожное намѣреніе отстоять en bloc все, что говорится у Тита Ливія или Плутарха о первомъ періодѣ римской исторіи. Она начала споръ довольно небрежно, ибо никакъ не подозрѣвала, съ какимъ опаснымъ бойцомъ имѣетъ дѣло. Ей никакъ не могло придти въ голову, что такой черезчуръ простой, безхитростный и неловкій на поприщѣ практической жизни человѣкъ, какъ Задольскій, былъ крайне ловкій, осторожный и хитрый гладиаторъ на аренѣ діалектики. Онъ, еще нося синій воротникъ, славился своимъ искусствомъ спорить и доводить въ спорѣ до абсурда своихъ противниковъ не только изъ товарищей, но даже изъ тѣхъ, кто стояли выше ихъ.

— Итакъ, по вашему мнѣнію, сказалъ Задольскій, обращаясь къ Софѣѣ Васильевнѣ, всѣ факты, приведенные у Ливія или Плутарха, въ самомъ дѣлѣ историческіе факты?

— Конечно; я вѣрю имъ.

— Всѣмъ?

— Всѣмъ.

— Слѣдовательно, вы вѣрите, что у Нумы Помпилія была гувернантка — нимфа Эгерія, у которой онъ бралъ въ тайнѣ частныя уроки изъ законовѣдѣнія и которая, послѣ смерти своего послушнаго и понятливаго ученика, до того расплакалась, что превратилась отъ слезъ въ ручей. Вы вѣрите этому, Софья Васильевна?

Софья Васильевна молчала; Катенька сидѣла, стиснувъ зубы, чтобы не прыснуть со смѣху.

— Что же, графиня? Будьте такъ добры, потрудитесь почтить меня отвѣтомъ—вѣрите вы, или нѣтъ приведенному мной факту?

Графиня молчала.

— Вѣрите, графиня?

— Вѣрите, тетя Соня? Вѣрите? Говорите же ради Бога, тетя Соня—вѣрите или нѣтъ?

— На ваши вопросы я могу вамъ отвѣтить только словами Митрофанушки, которые онъ говоритъ своимъ экзаменаторамъ: «да что такое? Господи Боже мой! пристали съ ножомъ къ горлу?» сказала наконецъ крайне раздосадованная, но скрывая свою досаду и притворно смѣясь, графиня.

— Ха, ха, ха! Попались, попались, тетя Соня! закричала вдругъ, захлопавъ въ ладоши и закинувшись на спинку стула, Катенька. Попались, ученая тетя Соня!

— Что ты съ ума сошла? можно ли такъ неприлично хохотать и такъ сидѣть на стулѣ, сказала ей почти сердито уже не могшая дальше скрывать свою досаду Софья Васильевна.

Но Катенька, съ которой наконецъ на нѣсколько минутъ свалилась личина Зинаиды, не переставала хохотать, бить въ ладоши и кричать: «попались, тетя Соня, попались!» Она продолжала это дѣлать до тѣхъ поръ, пока наконецъ сама Софья Васильевна не залилась самымъ непритворнымъ, самымъ добродушнымъ и самымъ веселымъ смѣхомъ, сознавая въ своемъ промахѣ.

Григорію Дмитріевичу, какъ очень доброму и мягкому человеку, всегда дѣлалось совѣстно передъ тѣмъ, кого онъ доводилъ въ спорѣ до абсурда, особенно когда это возбуждало смѣхъ въ присутствующихъ: ему сію минуту дѣлалось жаль побѣжденнаго и онъ всячески старался пролить какой-нибудь бальзамъ на свѣжую рану его самолюбія. И теперь ему было совѣстно передъ Софьей Васильевной, онъ страшно каялся въ душѣ за свою школьническую выходку, такъ распотѣшившую Катерину Петровну.

— Да, сказалъ онъ, обращаясь къ Софѣѣ Васильевнѣ, каждому времени, каждой эпохѣ свое. Въ прежнее время, когда вы учились, черезчуръ довѣрчиво смотрѣли на историческіе источники, за то никогда не доходили до такихъ абсурдовъ въ философіи, какъ въ наше время.

— До какихъ же абсурдовъ доходятъ въ ваше время?

— Да, напримѣръ, въ логикѣ Гегеля мы читаемъ слѣдующее положеніе: «бытіе и небытіе тождественны».

— Что это такое значить? спросила Катенька.

— А то, что все равно, существуетъ предметъ, или не существуетъ..

— Чѣмъ же это доказываютъ? спросила Софья Васильевна.

— Да вотъ-съ, если угодно, я вамъ объясню. Гегель на томъ основаніи хотеть доказать, что бытіе и небытіе тождественны, что...

— Ахъ, ради Бога не развращай Гегелемъ юныхъ и дѣвственныхъ умовъ! восклицалъ, подходя къ террасѣ, Алексѣй Ивановичъ, опять пролѣзпій въ садъ черезъ заднюю калитку и на этотъ разъ въ сопровожденіи поступившаго къ нему, какъ онъ выражался, въ безсмѣнные ординарцы, Володи. Возможно ли здѣсь говорить о Гегелѣ! продолжалъ восклицать Гладкій, здороваясь съ присутствующими. Можно ли при Катеринѣ Пстровнѣ говорить про эту копченую нѣмецкую философію. Можно ли при такомъ чистомъ небесномъ существѣ говорить о такихъ гадостяхъ. По мнѣ лучше прочесть при ней самый вольный романъ Поль-де-Кока: тамъ, по крайней мѣрѣ, хоть есть правда; а тутъ.... тутъ.... однимъ словомъ, если русскій человѣкъ займется нѣмецкой философіей, у него будетъ непременно разжиженіе мозга.

— Гдѣ вы пропадали, Алексѣй Ивановичъ? сказала Софья Васильевна. Мы ужъ думали...

— Вы ужъ думали, что я сижу въ ямѣ или острогѣ. Нѣтъ, я ѣздилъ въ Тверь по дѣламъ чувствительной вдовицы, сестры моей, которая, какъ вамъ извѣстно, живетъ въ Дрезденѣ и живетъ очень весело, вслѣдствіе чего и велѣла мнѣ продать весь свой лѣсъ: ей надо заплатить долги за какого-то французскаго живописца, молодого человѣка очень недурной наружности и притомъ брюнета. Вотъ она я...

— Ну да полноте, полноте! оставьте хоть родную и единственную сестру вашу въ покоѣ, сказала, глядя на часы, Софья

Васильевна. Пойдемте лучше пить чай — самоваръ ужъ долженъ быть теперь поданъ.

Всѣ прямо съ террасы вошли въ столовую. Самоваръ дѣйствительно уже стоялъ на столѣ (такъ все у Софьи Васильевны дѣлалось по часамъ, минутамъ и секундамъ). Софья Васильевна сѣла по срединѣ овальнаго стола и стала разливать чай; прочіе изъ присутствующихъ размѣстились такъ: Катерина Петровна сѣла подлѣ тетки; съ правой руки на лѣвомъ концѣ стола сѣли Задольскій съ Гладкимъ; Володя сѣлъ совершенно противъ Софьи Васильевны, т. е. vis-à-vis съ самоваромъ. Только что успѣла Софья Васильевна разлить всѣмъ по чашкѣ чаю, какъ ей доложили, что къ ней пріѣхалъ пермскій управляющій ея мужа.

— Извините, сказала она, обращаясь къ Задольскому и Гладкому, мнѣ нужно переговорить съ этимъ господиномъ объ одномъ очень важномъ дѣлѣ. Катенька! я тебя оставляю любезничать съ моими гостями... Смотри, угощай ихъ хорошенъко, не скупись ни на чай, ни на сахаръ... Главное, пои и корми какъ можно больше этого юношу (Софья Васильевна указала на Володю): у этихъ питомцевъ военно-учебныхъ заведеній всегда непомѣрно сильный аппетитъ.

Софья Васильевна вышла изъ комнаты; Катенька стала хозяйничать — сѣла за самоваръ и начала разливать чай.

— Гдѣ ты познакомился съ Людмилой Юрьевой? спросилъ въ полголоса Алексѣй Ивановичъ Григорій Дмитріевича.

— Съ какой Людмилой Юрьевой? спросилъ разсѣянно Григорій Дмитріевичъ.

— Да съ Людмилой Юрьевой Трощинской... Развѣ ты ея не знаешь?

— Не знаю, отвѣчалъ разсѣянно Григорій Дмитріевичъ.

Много еще вопросовъ задавалъ Гладкій Задольскому, но герой нашъ отвѣчалъ на нихъ все разсѣяннѣе и разсѣяннѣе. И не мудрено: онъ въ первый разъ въ жизни *наблюдалъ* — наблюдалъ за Володей и Катенькой. Столъ, за которымъ пили чай, былъ огромный; Задольскій сидѣлъ больше чѣмъ на четыре ар-

шина отъ Катеньки и Володи, сидѣвшихъ vis-à-vis другъ къ другу. Герою нашему вскорѣ представилось зрѣлище, дѣйстви-тельно достойное наблюденія, зрѣлище, которое все дѣлалось страннѣе и страннѣе.

Когда Софья Васильевна вышла изъ комнаты, племянникъ ея Володя, вдругъ былъ охваченъ тѣмъ чувствомъ свободы, которое испытываетъ кадетъ, очутившись внезапно въ отсутствіи начальства. Онъ вдругъ предался всецѣло неудержимой веселости своего темперамента.

— Хозяйка, хозяйка — чай гостямъ разливаетъ! воскликнулъ Володя, взглянувъ на Катеньку. только что она сѣла за самоваръ, по уходѣ Софьи Васильевны. Хозяйка, хозяйка! говорилъ онъ, передразнивая Катеньку. Хозяйка!... а давно ли тебя въ уголь ставили, помнишь? А теперь — фу какая важность!

Катенька ничего не отвѣчала на слова Володи. Володя, думая, что Гладкій и Задольскій, очень занятые какимъ-то секретнымъ разговоромъ, рѣшительно не обращаютъ никакого вниманія на то, что онъ дѣлаетъ, принялся строить всевозможные фарсы, чтобъ разсмѣшить подругу своего дѣтства Катеньку. Онъ началъ съ того, что ударилъ себя ладонью въ затылокъ, вслѣдствіе чего широкій ротъ его мгновенно раскрылся во всю свою ширину и длинный языкъ выскочилъ во всю свою длину; потомъ онъ ущипнулъ себя за правую щеку и языкъ послушно повернулся направо; затѣмъ онъ щипнулъ лѣвую щеку и языкъ, безпрекословно повинувшись своему владѣльцу, перескочилъ на лѣво. Катенька долго крѣпилась, сохраняя важность Зинаиды, но наконецъ не выдержала и покатилась со смѣху. Ободренный смѣхомъ Катеньки, кадетъ выкинулъ другой фарсъ: онъ перегородилъ лицо рукою и одну его половину представилъ горько плачущей, другую отчаянно смѣющейся. Катенька такъ и залилась своимъ звонкимъ, откровеннымъ дѣтскимъ хохотомъ. Задольскому, который отъ роду никогда никому не завидовалъ, стало вдругъ теперь завидно — онъ позавидовалъ положенію Володи; какое-то страшно ядовитое чувство, какъ змѣя, скользнуло по его сердцу. «Ей однако весело съ этимъ уродцемъ, мальчишкой!» подумалъ

онъ, блѣднѣя и рѣшительно ничего не слыша, что говорить ему Алексѣй Ивановичъ на счетъ интригъ Людмилы Юрьевны.

Много еще различныхъ школьническихъ фарсовъ сдѣлалъ кадетъ передъ товаркой своего дѣтства. Катенька до того хотала, что наконецъ почувствовала боль въ бокахъ.

— Полно, Володя, полно!... Ради Бога перестань, говорила она умоляющимъ голосомъ; но Володя не унимался и выкинулъ какую-то еще новую штуку, отъ которой наша смѣшная героиня расхохоталась уже буквально до слезъ.

— Послушай, Володя, сказала она, чувствуя, что смѣхъ ея уже переходитъ въ какой-то болѣзненный припадокъ, послушай, если ты не перестанешь смѣшать меня, я тебѣ не дамъ больше чаю...

— Не посмѣешь—чай не твой!

— Нѣтъ посмѣю — увидишь, что посмѣю!...

— Ну, такъ вотъ же тебѣ за это! сказалъ Володя и пустилъ въ кузину шарикомъ изъ хлѣба въ величину крупной горошины.

У Катеньки вдругъ спало нѣсколько лѣтъ долой съ костей: она, забывъ и свой возрастъ, и присутствіе Задольского, и наставленія графа Ризенвальда, быстро скатала шарикъ величиной много болѣе крупнаго грецкаго орѣха и съ хохотомъ пустила его прямо въ лобъ Володѣ. Володя счелъ священнымъ долгомъ рипостовать своей кузинѣ: онъ схватилъ изъ корзины цѣлый французскій хлѣбъ и, тоже съ хохотомъ, пустилъ имъ черезъ голову Катеньки. Катенька вскочила съ мѣста, схватила полоскательную чашку, подскочила въ одинъ прыжокъ къ Володѣ, придержала его за воротникъ и вылила ему на голову чайныя помой. Незвѣстно, сколько бы времени продолжилась эта игра, еслибъ тутъ не былъ Задольскій. При послѣдней выходкѣ Катерины Петровны, онъ вдругъ вскочилъ съ мѣста, страшно загремѣвъ стуломъ; всѣ невольно взглянули на него и всѣ испугались: Григорій Дмитріевичъ былъ страшно блѣденъ — блѣдень, какъ мертвецъ; глаза его сверкали не то что гнѣвомъ, а просто бѣшенствомъ... Онъ быстро схватилъ свою шляпу, и никому не поклонившись, почти выбѣжалъ изъ комнаты. Катенька долго

стояла, какъ остолбенѣлая, на одномъ мѣстѣ... Она потомъ всю жизнь не могла вспомнить, безъ ужаса, того выраженія лица, которое было у Задольскаго въ ту минуту, когда онъ вскочилъ съ мѣста, подошелъ къ своей шляпѣ и вышелъ изъ комнаты... Разъ взглянувъ на его лицо въ эту минуту, она мгновенно поняла, какое ужасное дѣйствіе имѣли на него ея глупыя, дѣтскія шутки съ Володей. Она простояла нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ съ опущенными глазами и, когда подняла ихъ, Володи уже не было въ комнатѣ; она взглянула на Алексѣя Ивановича, и убитое выраженіе лица его сказало ей ясно: «вотъ вы что надѣлали! Теперь все кончено: вы погубили и себя, и его.» Катенька не могла дольше оставаться tête-à-tête съ Алексѣемъ Ивановичемъ и ушла поспѣшно къ себѣ на верхъ. Тамъ бросилась она на постель лицомъ къ подушкѣ и горько, горько зарыдала.

— Ахъ дура я, дура, что я надѣлала! размышляла она въ отчаяніи. Я только теперь поняла, какъ онъ меня любитъ... какъ онъ меня любилъ!... Боже мой какой онъ блѣдный, какой онъ страшный ушелъ отъ насъ! Онъ теперь, должно быть, ужасно мучится и страдаетъ: несчастный, несчастный!... Но вѣдь правду говорятъ, что онъ больной — «душевно больной», какъ сказала маменька: развѣ здоровый человѣкъ могъ бы когонибудь ревновать къ такому дураку, къ такому пустому мальчишкѣ, къ такому уроду, какъ этотъ гадкій Володька! Но за то какъ значить онъ любить меня, какъ сильно любить!... Ахъ еслибъ онъ только выздоровѣлъ!... Господи, Господи исцѣли его!...

И съ этими словами Катенька вскочила съ постели и упала на колѣни передъ образомъ.

— Господи, исцѣли его! говорила она, плача и рыдая. Господи, исцѣли раба твоего Григорія!... Господи, сдѣлай чудо: открой ему хоть во снѣ, что я совсѣмъ не люблю Володю, а люблю его, его одного, люблю больше всѣхъ родныхъ, больше всего на свѣтѣ, что я готова умереть за него... Господи, открой ему это!...

Въ это мгновеніе на террасѣ, подъ окномъ Катеньки, вдругъ

раздался раздирающій душу вопль; Катенька въ испугѣ бросилась къ окну и... Но прежде нужно знать, что произошло передъ этимъ воплемъ внизу въ столовой.

Алексѣй Ивановичъ, оставшись одинъ, долго ходилъ взадъ и впередъ по столовой, дожидаясь съ нетерпѣніемъ Софьи Васильевны. Наконецъ она пришла.

— Я къ вамъ съ жалобой, сказалъ онъ ей, только что она вошла въ комнату.

— Съ жалобой? на кого?

— На Катерину Петровну.

— Что такое?

Гладкій рассказалъ подробно исторію про гримасы Володи, про перестрѣлку шариками и про полоскательную чашку.

— А гдѣ же Григорій Дмитріевичъ? спросила вдругъ Софья Васильевна.

— Онъ, послѣ этой сцены, вскочилъ со стула, какъ сумасшедшій, и выбѣжалъ отсюда...

— Что-жъ это значитъ?

— Что это значитъ? Вы сами, графиня, очень хорошо знаете, что это значитъ... значитъ это, что Задольскій есть не что иное, какъ Отелло, или венеціанскій мавръ, Катерина Петровна — Дездемона, Володя — Кассіо, а кто Яго — расскажу вамъ потомъ, когда буду поспокойнѣе.

— А гдѣ же Володя?

— Онъ, кажется, тутъ — на террасѣ.

— Позовите его, пожалуйста, сюда.

Володя былъ позванъ и предсталъ предъ Софьей Васильевной.

— Какъ ты смѣешь у меня въ домѣ кидаться хлѣбомъ?

— Это она первая начала — она задрала меня, а я потомъ...

— *Задрала* меня! какое милое выраженіе!... Ну слушай, чтобъ ты впередъ ни у меня и нигдѣ не смѣлъ кидаться хлѣбомъ, я тебя оставляю на двѣ недѣли у себя, и все это время ты будешь пить чай утромъ и вечеромъ безъ хлѣба (а вѣдь ты покушать любишь), и, когда за обѣдомъ будетъ подаваться

хлѣбное (а оно эти двѣ недѣли будетъ у меня подаваться нарочно каждый день), тебѣ давать его не будутъ... Всѣ кушанья ты будешь есть безъ хлѣба...

— Я, тетя, въ другой разъ никогда не буду хлѣбомъ бросаться, ей Богу...

— Я въ этомъ вполне увѣрена: ты будешь уважать хлѣбъ, постѣ этихъ двухъ недѣль!...

— Ну, съ этимъ кончено; теперь надо расправиться съ той, другой, — продолжала Софья Васильевна, какъ бы говоря сама съ собой, и при послѣднихъ словахъ... сверкнула глазами не хуже Анны Васильевны. Нѣтъ, надо погодить: я теперь на нее слишкомъ сердита... До свиданья, Алексѣй Ивановичъ! Я пойду пройдуся по саду; теперь тамъ такъ хорошо, такъ темно! я люблю что-нибудь обдумывать въ темнотѣ.

— Это вы все надѣлали! сказалъ Володи, всхлипывая и обращаясь къ Алексѣю Ивановичу, когда они съ нимъ остались наединѣ.

— Что я надѣлалъ?

— Да вѣдь это вѣрно вы сфискалили на насъ тетенькѣ.

— Не сфискалилъ, а счелъ долгомъ сказать...

— Это-то и значить сфискалить... Вотъ у насъ въ корпусѣ одинъ этакъ долгомъ счелъ сказать ротному командиру на товарищѣ, такъ его такъ вздули!... Нѣтъ, Алексѣй Ивановичъ, это съ вашей стороны. подло, я этого отъ васъ никогда не ожидалъ; теперь всегда буду звать васъ фискаломъ...

— А я тебя за это буду драть за уши.

— Не посмѣете!

— Нѣтъ, посмѣю.

— Нѣтъ, не посмѣете!

— Въ доказательство того, что посмѣю, — вотъ тебѣ задатокъ въ счетъ будущихъ благъ. Съ этими словами Алексѣй Ивановичъ закатилъ своему ординарцу весьма звонкій и полный подзатыльникъ.

— Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! заревѣлъ что было силъ Володя и выскочилъ на террасу. Ой, ой, ой! продолжалъ онъ реветъ

и тамъ, какъ бы вызывая къ себѣ состраданіе обитателей Обрѣзкова.

— Что съ тобой, Володя? спросила его изъ окна испуганнымъ голосомъ Катенька.

— Что со мной! Прибили!

— Кто тебя прибилъ?

— Алексѣй Ивановичъ.

— Алексѣй Ивановичъ? За что?

— Изъ за тебя, скверной дуры.

— Какъ ты смѣешь браниться душой!... Ты самъ дуракъ!...

— Нѣтъ, ты дура! Изъ-за тебя, этакой подлой дуры, меня избили, какъ собаку, до полусмерти... Меня же облили помоями, меня же за это и избили...

— Володя, голубчикъ, вѣдь ты самъ началъ...

— Нѣтъ, ты начала...

— Вѣдь ты началъ меня смѣшить; я тебя просила перестать...

— Ну, да все равно, кто тамъ ни началъ, а какъ пріѣдетъ тетенька Анна Васильевна, я ей на тебя пожалуюсь, и она проберетъ тебя вотъ этимъ...

— Что! Чѣмъ?

— Вотъ этимъ! повторялъ Володя, потрясая вѣткой какого-то дерева, росшаго подлѣ террасы...

— Что-о-о? Какъ ты смѣешь мнѣ говорить такія вещи, фрейторъ ты противный!...

— А ты — дылда тонкобокая!

— Довольно, милая, благовоспитанная дѣти, довольно! сказала Софья Васильевна, подходя къ террасѣ. Довольно: вы ужъ, кажется, истратили всѣ бранныя слова русскаго словаря.

Володя, услышавъ голосъ тетки, сію минуту исчезъ.

— Послушайте, Катерина Петровна! сказала Софья Васильевна, строго возвысивъ голосъ. Вы больны: здоровые и взрослые люди не могутъ дѣлать такихъ глупостей, какихъ вы сейчасъ надѣлали. Потому вотъ мое распоряженіе въ отношеніи васъ: вы до выздоровленія никуда не выйдете изъ вашей комнаты, и чай и обѣдъ вамъ будутъ носить на верхъ. Слышите?

— Слушаю, тетя! отвѣчала кроткимъ голосомъ Катенька.

Катерина Петровна очень хорошо поняла, что тѣтка ее наказала и наказала жестоко и унижительно: она, взрослая дѣвушка, уже успѣвшая побывать невѣстой, арестована теперь въ комнатѣ, какъ маленькая дѣвченка. Завтра объ этомъ догадаются всѣ въ домѣ; каково ей будетъ потомъ смотрѣть въ глаза прислугѣ!... Но Катенька была несказанно рада наказанію: она себя чувствовала до такой степени виноватой передъ Задольскимъ, чувствовала такія угрызенія совѣсти, что ей было неизъяснимо отраднo, сладко получить возмездіе за свое «преступленіе».

— Ахъ, милая тетя Соня! восклицала она мысленно, отходя отъ окна. Если-бъ ты знала, какъ я тебѣ благодарна за то, что ты меня наказала! Ахъ, если-бъ ты знала, какъ я тебя люблю за это!

XVII.

Не прошло и пяти минутъ послѣ того, какъ грозная тетка, подъ вліяніемъ гнѣва и негодованія, приговорила племянницу къ домашнему аресту, какъ дверь въ комнату Катеньки отворилась и вошла Софья Васильевна; она прижимала къ глазамъ платокъ, изъ подъ котораго текли по лицу ея слезы.

— Прости ради Бога меня, другъ мой Катя! сказала она, обнимая и цѣлуя племянницу. Не знаю, съ какого права я оскорбила тебя — наказала... Забудь это ради Бога... Разумѣется, ты свободна: — выходи хоть сію минуту и куда хочешь изъ своей комнаты... Прости меня, я очень виновата передъ тобой — кто наказываетъ взрослыхъ дѣвушекъ? но что дѣлать, я ужъ очень разсердилась на тебя... я пошла посидѣть на вѣскольکو минутъ въ садъ, чтобы расхолодить свою досаду и было успѣла въ этомъ; но подхожу къ террасѣ и что же слышу? ты, какъ маленькая дѣвочка, перебраниваешься съ Володей и дѣлаешь это въ самую трудную минуту своей жизни — когда навсегда рѣшается и твоя судьба, и судьба человѣка, который такъ тебѣ дорогъ!...

— Ахъ, тетя, милая тетя, не говорите мнѣ объ этомъ, никогда не говорите! воскликнула Катенька, заливаясь слезами и цѣлуя у тетки руки. Вы меня ни за что не исправите — я дурная, я глупая, я несчастная... Не говорите мнѣ ничего, не упрекайте меня! Я сама знаю, что виновата, что вела себя, какъ не стануť себя вести семилѣтнія дѣвочки, если онѣ не дуры... Ахъ, тетя, прибейте меня: мнѣ право будетъ легче!

Наступило молчаніе, во время котораго плакали и племянница, и тетка.

— Тетя Соня! сказала, вдругъ переставъ плакать и отирая слезы, Катенька.

— Что? спросила Софья Васильевна.

Катенька ничего не отвѣчала, очевидно не рѣшаясь что-то высказать. Послѣдовало опять молчаніе и довольно продолжительное.

— Тетя Соня! сказала опять Катенька.

— Ну, что же, наконецъ, племянница Катя?

— Тетя Соня... но вамъ вѣрно покажется страннымъ о чемъ я васъ хочу попросить.

— Ничего, проси...

— Только вы, тетя, не будете спрашивать, зачѣмъ я васъ объ этомъ прошу...

— Не буду.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вотъ видите ли, мнѣ хочется... Тетя Соня, голубушка. если меня любите, поѣдьте къ Троицѣ!...

— Ну, что-жъ — поѣдемъ.

— Поѣдьте поскорѣе — завтра!

— Зачѣмъ же такъ скоро?

— Вы обѣщались не спрашивать, — дали честное слово...

— Виновата, виновата! сказала, разсмѣявшись, Софья Васильевна. Ну, что же — поѣдемъ завтра — мнѣ все равно... Я сію же минуту пойду сдѣлаю распоряженія насчетъ этого импровизированнаго путешествія. Ну, прощай, Катя! сказала Софья Васильевна, цѣлуя и крестя племянницу. Дай Богъ тебѣ

успокоиться и уснуть хорошенько и встать завтра совершенно изрослой и умной дѣвушкой... Еще разъ прошу тебя — прости меня: я это, право, сдѣлала, не помня себя отъ досады, а рассердилась я такъ сильно на тебя, отъ того, что ужъ очень сильно тебя люблю...

— Ахъ, тетя, тетя, добрая тетя! воскликнула Катенька, цѣлуя Софью Васильевну. Что вы просите у меня прощенья! Мнѣ это совѣстно слышать... Я сама такъ виновата, такъ виновата, что и прибить меня мало за мою вину!

Между тѣмъ Григорій Дмитріевичъ, вышедъ или, лучше сказать, вылетѣвъ изъ дачи Софьи Васильевны, побѣжалъ, какъ сумашедшій, самъ не зная куда. Онъ пробѣжалъ все Обрѣзово, выбѣжалъ на первую попавшуюся ему подъ ноги дорогу и бѣжалъ по ней до тѣхъ поръ, пока не набѣжалъ почти въ упоръ на какую-то церковь. Тутъ онъ опомнился, оглядѣлся вокругъ себя и увидѣлъ, что онъ находится съ селѣ С — въ, отстоящемъ на четыре версты отъ Обрѣзова.

— Затѣмъ же я сюда зашелъ? спросилъ онъ самъ себя и въ какомъ-то испугѣ побѣжалъ обратно въ Обрѣзово. Добѣжавъ до Обрѣзова и сдѣлавъ такимъ образомъ восемь верстъ самой крупной рысью, онъ до такой степени расколыхалъ себѣ кровь, что пришелъ какъ бы въ опьяненіе. Сердце билось у него, какъ въ угарѣ, въ вискахъ стучало, въ ушахъ былъ страшный шумъ. Конечно, причиной такого возбужденія организма была не одна быстрая и долгая ходьба, но и вызвавшее эту ходьбу возбужденное душевное состояніе... Пришедъ къ себѣ на дачу, онъ прямо прошелъ въ свою спальню; Яковъ, замѣтивъ въ передней, что съ баринѣмъ что-то не ладно, послѣдовалъ за нимъ на цыпочкахъ до спальни и, оставшись у двери, которую не совѣмъ плотно заперъ за собой Задольскій, сталъ подсматривать, что дѣлаетъ его властелинъ. Григорій Дмитріевичъ, вошедъ въ спальню, швырнулъ куда-то шляпу, досталъ изъ кармана спички, зажегъ свѣчи и сталъ ходить по комнатѣ. Мысли его были совершенно неясны. Несмотря на свою привычку постоянно анализировать себя, въ настоящемъ своемъ

положеніи онъ никакъ не могъ бы дать себѣ яснаго отчета, изъ чего приходитъ онъ въ отчаяніе, за что бѣсится. Да и мы не беремся рѣшить, какое теперь чувство кипѣло и бунтовало въ немъ: ревность ли, зависть, или негодованіе противъ школьническихъ выходокъ и шалостей Катерины Петровны, выходокъ и шалостей недостойныхъ взрослой дѣвушки за которую уже сватается и въ которую такъ сильно влюбленъ серьезный человѣкъ. Походивъ нѣсколько минутъ по комнатѣ, онъ выпилъ нѣсколько стакановъ воды и сѣлъ у мраморнаго столика, покрашеннаго салфеткой, на которомъ помѣщалось зеркало, головныя щетки, гребенки, *vinaigre de toilette de la société hygiénique* и прочія туалетныя принадлежности. Мысли его стали чуть-чуть проясняться.

— Что это такое? сталъ думать онъ. Забавляется съ мальчишкой — восторгается пошлыми гримасами, которыя онъ корчитъ, когда тутъ есть люди, которые могли бы занять ее кой-чемъ посерьезнѣе!.. что это за непонятная дѣвчонка! Четыре дня съ ряду протоковали мы съ ней о самыхъ серьезныхъ предметахъ — объ исторіи, объ искусствѣ; я разрѣшалъ передъ ней самые важные, самые высокіе историческіе и эстетическіе вопросы, — она слушала съ жадностью, восторгаясь непритворно тѣми истинами, которыя узнавала отъ меня; еще сегодня я завелъ при ней рѣчь о Гегелѣ, и она было начала слушать, чуть не разиня ротъ... И вдругъ является этотъ дрянной кадетикъ, высовываетъ ей языкъ, пускаетъ въ нее шарикомъ, — и она дѣлается десятилѣтнимъ школьникомъ и дѣлаетъ Богъ знаетъ какія ребячества! Что-жъ она такое наконецъ? не просто ли дура?.. Ахъ, это ужасно — влюбиться въ дуру! А ужъ жениться на дурѣ — это Богъ знаетъ что такое!.. Но нѣтъ, нѣтъ, она не дура! Когда я ей вчера толковалъ, по поводу романа Вальтеръ Скотта, о борьбѣ Людовика XI съ феодализмомъ, она сдѣлала столько оригинальныхъ и тонкихъ замѣчаній, что я изумился, а вѣдь рѣчь шла о такомъ предметѣ, о которомъ до сихъ поръ она не имѣла никакого понятія, слѣдовательно никогда о немъ не думала: значить, здѣсь дѣйствовалъ одинъ

умъ, природный умъ — самородокъ... Да и мало ли умныхъ и остроумныхъ вещей сказала она на этихъ дняхъ; сколько психологическихъ замѣтокъ на счетъ характеровъ и дѣйствій дѣйствующихъ лицъ, сколько мѣткихъ указаній на красоты романа слышалъ я отъ нея! Нѣтъ, она умна. оригинально умна! Но что же значать эти дѣтскія шалости, дурачества! не понимаю...

Понять невозможно ся,
За то не любить невозможно!

Но что это за отношенія къ этому Володѣ? Неужели любовь? Но возможно ли влюбиться въ такого урода!... А отъ чего же невозможно? Вѣдь влюбилась же Дездемона въ урода и полувѣря Отелло, и всѣ лучшіе критики, какъ нѣмецкіе, такъ и англійскіе, находятъ, что это психически вѣрно... Ахъ, какая у нея отвратительная близость съ этимъ мальчишкой... Скажутъ: онъ ей троюродный братъ, товарищъ дѣтства... Да какъ она смѣла имѣть товарищей дѣтства! Зачѣмъ не ролилась она на необитаемомъ островѣ, — тогда у нея не было бы друзей дѣтства... Зачѣмъ она не сирота безродная? Зачѣмъ у нея родные — отецъ, мать, дяди, тетки, братъ, сестры? Вѣдь она каждого изъ членовъ своего семейства *должна* любить и такимъ образомъ каждый изъ этихъ членовъ высасываетъ изъ нея на свою долю частицу любви — крадетъ часть этой любви у того, кто любитъ ее больше. всего на свѣтѣ. на кого единственно должна быть устремлена всецѣло ея любовь... Боже мой! сколько людей крадутъ у меня ея любовь, сколько народа она любитъ обязана! Отецъ — разъ (Григорій Дмитріевичъ началъ считать по пальцамъ), мать — два, сестры... сколько бишь у ней сестеръ? семь, кажется... ну, два да семь девять, братъ — десять, тетка съ мужемъ, нѣмцемъ, — двѣнадцать... Двѣнадцать — число значительное!... Ахъ, забылъ... главное-то сокровище и забылъ — троюроднаго брата, товарища дѣтства, товарища невинныхъ игръ!... Ну, съ этимъ мерзавцемъ будетъ ровно тринадцать... Какое какъ хорошо пришлось: онъ, какъ нарочно, тринадцатый, а тринадцать вѣдь почитается несчастной, роковой циф-

рой!... Да еще забылъ: у каждой сестры ея по мужу!... Боже мой, Боже мой! сколько у ней родныхъ, — и каждого изъ нихъ она должна любить! И я увѣренъ, что она любить, по наивности и необразованію своему и троюродныхъ тетокъ, мужей своихъ сестеръ и любить искренно! Что-жъ у ней останется въ сердцѣ для меня? Ничего, минусъ единица, *minus quam nihil*! Ахъ, Боже мой! отчего ты не пошлешь какую-нибудь повальную болѣзнь, чтобъ весь родъ ея вдругъ, разомъ исчезъ съ лица земли (разумѣется, чтобъ они умерли всѣ скоростижно безо всякихъ мученій, и физическихъ и моральныхъ, и чтобъ при этомъ успѣли покаяться въ грѣхахъ своихъ). А главное, чтобъ поскорѣе погибъ этотъ щенокъ Володя... Боже мой, Боже мой! Этотъ Володя — эта дрянь осмѣливается обращать на себя ея вниманіе и когда же! Въ моемъ присутствіи! О чтобъ его!...

При этихъ словахъ, Григорій Дмитріевичъ, что было силъ, толкнулъ ногой столъ въ одну изъ его ножекъ; столъ опрокинулся съ страшнымъ громомъ и звономъ.

— Чего изволите? закричалъ Яковъ, вбѣжавъ въ комнату и выпучивъ глаза на своего барина.

Григорій Дмитріевичъ сконфузился и долго не зналъ, что сказать; наконецъ нашелся.

— Алексѣй Ивановичъ дома? спросилъ онъ.

— Дома-съ.

— Что онъ дѣлаетъ?

— Они свищутъ.

— Какъ свищутъ!

— Ходятъ по гостиной въ халатъ и свищутъ.

— Попроси его ко мнѣ... и потомъ подай сюда — понимаешь, въ эту комнату — ужинать... спроси у Алексѣя Ивановича, какого онъ вина прикажетъ.

Паденіе стола и внезапное появленіе Якова перервали на минуту вереницу безобразныхъ думъ, мутившихъ и мутившихъ моего героя; но лишь онъ остался одинъ, въ головѣ его опять заколыхались сумашедшія мысли, одна нелѣпѣе другой. Черезъ

нѣсколько минутъ явился Алексѣй Ивановичъ въ халатѣ изъ какой-то необыкновенно роскошной матеріи—что-то въ родѣ турецкой шали. Онъ сѣлъ на диванъ и закурилъ сигару. Григорій Дмитріевичъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Что это за мерзость, что это за подлость! сказалъ онъ, вдругъ остановясь передъ Алексѣемъ Ивановичемъ и смотря ему пристально и грозно въ лицо.

— Про какую мерзость и подлость говоришь ты?

— Ни про какую... я такъ...

И Задольскій опять запагалъ молча по комнатѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ Задольскій опять прервалъ молчаніе.

— Нѣтъ, это ужасно, это ужасно! говорилъ онъ, не переставая ходить по комнатѣ. Мучься, страдай—положи всю душу въ кого-нибудь, а тебя и знать не хотятъ!.. Ты терзаешься, чуть не умираешь отъ любви, а они смѣются у тебя подъ носомъ, дѣлаютъ всякія дурачества, чуть не пляшутъ отъ радости... О, есть же безчувственные, жестокія сердца: хотъ умри—имъ все равно!

О, какъ судьбы гоненіе постичь?
Людей съ душой гонительница, бичъ;
Молчалины блаженствуютъ на свѣтѣ!!!

Даже и не Молчалины блаженствуютъ!.. Молчалины, хотя и подлы, но подлы съ расчетомъ, слѣдовательно въ нихъ есть хоть какое-нибудь внутреннее содержаніе, хотъ и дрянное, а все-таки содержаніе... А то влюбляются просто въ обезьяну и ставятъ ее выше людей мыслящихъ...

— Послушай, напрасно ты принялъ это серьезно, замѣтилъ Алексѣй Ивановичъ, Катерина Петровна ребенокъ; она вѣтрена...

— Совсѣмъ она не вѣтрена: она самая серьезная дѣвушка, какую я только знаю... Я удивляюсь, какъ ты, съ твоимъ маленькимъ, узкимъ и мелкимъ умомъ, осмѣливаешься произносить сужденія о личностяхъ, которыя изъ раду вонъ, которыя составляютъ отрадное, блистательное исключеніе изъ человѣче-

ской природы, дѣлають ей честь, безъ которыхъ міръ превратился бы въ какую-нибудь сплошную канцелярію или въ гостинный дворъ...

— Ого, какъ онъ обижается за нее! Не смѣй даже сказать, что она вѣтрена. Видно, ея особа уже объявлена въ глубинѣ души его засго-санста. А я дуракъ, думалъ, что дѣло непоправимо! Теперь я вижу, что онъ послѣ этой дурацкой сцены съ шариками и полоскательной чашкой, врѣзался въ нее сильнѣе прежняго: ревность усилила любовь.

— Но что это за гадкая среда ее окружаетъ! продолжалъ говорить Задольскій, все больше и больше волнуясь и все больше и больше ускоряя свой шагъ. Впервыхъ, мать!... Что такое Анна Васильевна? Это полицейскій въ чепцѣ, корсетѣ и юбкѣ, сидящій съ достоинствомъ на диванѣ и вышивающій по канвѣ. Отецъ? Отецъ—это не отецъ, а устрица—моллюскъ... Зинаида? Это точь въ точь... это... это ужъ я и не знаю, что такое! Какъ то этакъ ходить... говорить... смотреть этакъ... руки держать какъ-то этакъ... Ёсть тоже какъ-то особенно... Должно быть отъявленная мерзавка!

— Какъ же не мерзавка! подумалъ Алексѣй Ивановичъ. И ходить, и смотреть, и даже ёсть! Кто-жъ это изъ хорошихъ людей дѣлаеть? Онъ, мнѣ кажется, совсѣмъ рехнулся отъ любви.

— Другихъ ея сестеръ, продолжалъ Задольскій, все болѣе и болѣе выходя изъ себя, я не знаю—никогда ихъ не видалъ и ничего про нихъ не слыхалъ, но, по всѣмъ вѣроятіямъ, всѣ онѣ должны быть отъявленные мерзавки, а мужья ихъ вѣрно идіоты... Братъ? Вѣдь у нея и братъ есть?

— Какже, служить въ гвардіи...

— Тѣмъ хуже для него: лучше еслибы онъ служилъ въ гарнизонѣ или въ инвалидной командѣ, это было бы для него полезнѣе... Проучить его не мѣшаетъ...

— Боже мой, что братъ-то ему сдѣлалъ? подумалъ Алексѣй Ивановичъ. Смирнѣйшее существо—добрѣ Катеньки.

— Ну-съ, теперь тетка съ своимъ нѣмецкимъ мужемъ? Это, по моему мнѣнію, должна быть тончайшая іезуитка.

— Кто это? Софья-то Васильевна...

— Да. Что-то она ужь очень мягко стелеть.

— Да! сказалъ, какъ будто что-то обдумывая, Гладкій Странно, что такое ангельское существо, какъ Катерина Петровна, произошла отъ семейства, которое...

— Ты, пожалуйста, не очень!... воскликнулъ, вдругъ весь вспыхнувъ и засверкавъ глазами, Григорій Дмитріевичъ. Ты, пожалуйста, не выражайся такъ рѣзко объ этомъ семействѣ. Семейство это почтенное, честное и — главное — въ высшей степени нравственное, даже до смѣшнаго нравственное. Никто даже и выдумать не можетъ про него ничего дурнаго... Я говорилъ о нихъ такъ — вообще... Да притомъ у меня отъ скорой ходьбы болить теперь голова: я не могу строго взвѣшивать своихъ словъ и выражений и потому говорю неточно — придаю людямъ совсѣмъ не тѣ эпитеты, какіе нужно... Я никому никогда не позволю говорить дурно объ этомъ семействѣ.

— Эге! Вотъ оно куда пошло. Онъ ужь обижается, когда говорятъ непочтительно объ ея семействѣ.. Я де самъ могу ругать ихъ: они де мнѣ свои, а вы посторонніе — не смѣйте; значить, ужь онъ ея родныхъ считаетъ своими родными, слѣдовательно дѣло рѣшено; значить — Исаія ликуй! При этой мысли Алексѣй Ивановичъ просвѣтлѣлъ и лицомъ и душой.

— Да я совсѣмъ и не хотѣлъ бранить семейство Катерины Петровны, сказалъ Алексѣй Ивановичъ.—Напротивъ, я даже хотѣлъ похвалить ея брата, да ты меня перебилъ...

— Какія же достоинства заключаются въ семъ братѣ?

— Онъ очень серьезный, степенный человѣкъ, очень усердно служить; недавно получилъ чинъ за отличіе; говорятъ даже, что его скоро сдѣлаютъ флигель-адъютантомъ.

— Ну, пусть онъ и подавится своимъ флигель-адъютантствомъ... Еслибъ, понимаешь ты. еслибъ у нея было сорокъ тысячъ братьевъ и всѣхъ бы ихъ сдѣлали фельдмаршалами, такъ все-таки я не знаю, чтобы я съ ними сдѣлалъ... я...

— Послушай! прервалъ Задольскаго Гладкій. Вѣдь ты... Ты, кажется, начинаешь заговариваться...

— Может быть!.. Но вѣдь ты не знаешь, что происходитъ у меня въ душѣ... Ахъ, Боже мой, Боже мой, меня мучить... Задольскій ударилъ себя въ грудь рукой и вдругъ заплакалъ.

— Послушай, сказалъ ему Гладкій,—открой мнѣ, что тебя мучить: когда ты выскажешься, тебѣ будетъ легче. Право, у меня ужъ не такая же низкая душа, чтобъ я совсѣмъ не могъ понять возвышенныхъ чувствъ и сталъ бы смѣяться надъ душевными страданьями...

— Ты хочешь знать, что меня мучить? воскликнулъ Задольскій.—Вотъ что. Всѣ эти ея родные — отецъ, мать, братъ, сестры съ мужьями, тетка съ нѣмецкимъ мужемъ — все это имѣтъ на нее права, права на ея любовь, права почти юридическія, а я на нее никакихъ правъ не имѣю. Они имѣютъ право ее цѣловать, ласкать, хвалить, бранить, пожалуй хоть бить, а я не имѣю права даже пожать съ особеннымъ чувствомъ ей руку. Я не имѣю на нее никакихъ правъ, между тѣмъ какъ я одинъ заслужилъ на нее право... Понимаешь, заслужилъ — вѣрой и правдой заслужилъ. Мать, братъ, сестры, отецъ, тетка съ тевтонскимъ мужемъ — чѣмъ заслуживали они право на ея любовь. Развѣ они страдали, мучились?.. А я... я моложе тебя тремя курсами, мнѣ всего двадцать четыре года, а посмотри (при этомъ Задольскій подвигалъ виски своихъ волосъ), посмотри, видишь, какъ у меня здѣсь снизу посѣдѣло: эта сѣдина произошла отъ знакомства моего съ почтенной Катериной Петровной! Извела она меня!.. А у этой какой-нибудь Зинаидки — посмотри, есть ли хоть одинъ сѣдой волосокъ: выдерни ей съ масомъ всю гриву — перебери по-одиночкѣ каждый волосъ — каждый волосъ окажется черенъ, какъ вороново крыло... И между тѣмъ эта Зинаидка имѣтъ право на ея любовь. И Катерина Петровна любить таки ее — скучаетъ теперь въ разлукѣ съ ней, имѣтъ право, не краснѣя, заявлять объ этомъ хоть публично... Намедни она получила отъ нея письмо, такъ и впиалась въ него глазами!.. Нѣтъ, пусть бы она на Красной площади всенародно сказала съ Лобнаго мѣста, что любить меня — этого она не сдѣлаетъ, а о любви своей къ Зинаидѣ она можетъ объа-

вить и съ Лобнаго мѣста, потому что та имѣть право на ея любовь... Ну, а Зинаида и прочія сестры развѣ любятъ ее? конечно, любятъ, но не такъ, какъ я, а любовью животной, грегариной; это не любовь, а отношенія между собой юныхъ тараканчиковъ, рожденныхъ отъ одного таракана и одной тараканихи: они только инстинктивно льнутъ другъ къ другу... Что-жъ это—истинная любовь что ли?.. Да отъ нея всѣ, кромѣ меня, могутъ требовать любви, всѣ — даже этотъ стервецъ Володя, на правахъ троюроднаго или семіюроднаго брата. Да что Володя! Даже неодушевленные предметы имѣютъ право на нее!.. Одѣяло и то имѣть на нее нѣкоторое право... Одѣяло, которое ткалъ какой-нибудь мерзкій, распутный ткачъ своими нечистыми руками, — это одѣяло имѣть право прикасаться каждую ночь къ ея дѣвственнымъ, святымъ плечамъ!.. Какія-нибудь ботинки, которыя шилъ пьяница башмачникъ (вѣдь башмачники всѣ пьяницы!), имѣютъ право сжимать и сжимать довольно плотно ея ноги... Всѣ и все имѣть право на нее, а я не имѣю права даже сказать ей, что люблю ее! А я одинъ заслужилъ на ея любовь право, заслужилъ моими страданьями!

Говоря все это, Задольскій имѣлъ необыкновенно странное выраженіе въ лицѣ; глаза у него были какъ у горячечнаго.

— Но ты можешь получить на нее законныя права, возразилъ Алексѣй Ивановичъ.—Если ты влюбленъ въ нее, то...

— Ахъ, не говори пожалуйста, этого! воскликнулъ, вдругъ сконфузясь, какъ дѣвушка, Задольскій... Я совсѣмъ не... Ради Бога не говори мнѣ никогда объ этомъ... Это профанація... Не говори ради Бога: слышишь, сюда идутъ люди — несутъ ужинъ — они могутъ услышать!..

Принесли ужинъ. Григорій Дмитріевичъ ни до чего не коснулся и все продолжалъ ходить по комнатѣ. Алексѣй Ивановичъ, выпивъ двѣ рюмки водки, сѣлъ все поданное и запилъ вду бутылкой Кло-де-Вужо. Послѣ ужина онъ выкурилъ сигару и ушелъ спать, оставивъ Григорія Дмитріевича все еще ходящаго взадъ-впередъ по комнатѣ.

На другой день только-что Алексѣй Ивановичъ успѣлъ встать

съ постели, какъ къ нему въ комнату вошелъ съ очень встревоженной фізіономіей Яковъ.

— Что ты, Яковъ? спросилъ его Алексѣй Ивановичъ.

— Да что, сударь,—дѣло наше совсѣмъ никуда не годится!

— Какое дѣло?

— Да Григорій Дмитріевичъ совсѣмъ почти-что разрѣшились.

— Какъ? Что такое?

— Да всю ночь не ложились спать и теперь сидятъ какъ не живой: я спрашиваю ихъ, а они молчатъ...

Гладкій бросился опрометью въ комнату Задольскаго. Григорій Дмитріевичъ дѣйствительно сидѣлъ неподвижно какъ статуя; онъ былъ страшно блѣденъ, но лицо его все сіяло восторженной улыбкой, а въ глазахъ отражалось какое-то безграничное блаженство. Алексѣй Ивановичъ схватилъ его за пульсъ, потомъ приложилъ руку къ головѣ. «Плохо»! сказалъ онъ и, схвативъ бережно своего пріятеля своими могучими руками, положилъ его бережно на постель. Потомъ прибѣжалъ онъ въ свою комнату, позвалъ своего камердинера Антона и сказалъ ему: «послушай, Антонъ, поѣзжай сію минуту въ Москву, на Спиридоновку... Вѣдь ты знаешь Спиридоновку?»

— Какже! знаю-съ.

— Домъ Иноземцева знаешь?

— Какже не знать-съ!

— Да вѣдь ты и самого Ѳедора Ивановича знаешь!

— Какже — они меня лѣчили!

— Ну, такъ поѣзжай ты къ нему... Скажи, чтобъ ему о тебѣ сію же минуту доложили, — онъ тебя приметъ, и ты скажешь Ѳедору Ивановичу, что я его прошу ради Бога какъ можно скорѣе пріѣхать сюда... Если же его нѣтъ дома, поѣзжай его розыскивать по всей Москвѣ и достань мнѣ его во что бы то ни стало!

Между тѣмъ Задольскій лежалъ въ постели хотя и въ совершенно болѣзненномъ, но въ самомъ сладкомъ забытьѣ: ему грезились самыя поѣтическія видѣнія — ему все являлась его Катенька и все являлась въ какой-нибудь апопееозѣ. Кажется,

не найдется ни одного сколько-нибудь привлекательнаго божества женскаго пола изъ эллинской, славянской, или даже германской мифологiи, во образѣ котораго не грезилась бы ему теперь Катенька. То представлялся ему лѣсъ, по которому Катенька во образѣ Артемиды съ колчаномъ за плечами бѣжала за горной серною.. Въ выраженiи ея лица была такая строгость, такое цѣломудріе, что у Задольскаго отъ благоговѣнiя къ ней всѣ волосы поднимались дыбомъ. То вдругъ являлась она ему русалкой въ толпѣ своихъ сестеръ, тоже русалокъ — стройныхъ красивыхъ, воздушныхъ, — и вотъ въ ушахъ его гремѣлъ фантастическій хоръ:

Веселой толпою
Съ глубокаго дна
Мы ночью всплываемъ,
Насъ грѣетъ луна!...
Любо намъ порой ночью
Дно рѣчное покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрѣзать,
Подавать другъ другу голосъ,
Воздухъ звонкій раздражать,
И зеленый влажный волосъ
Въ немъ сушить и отряхивать.

Хоръ вдругъ прерывался, и русалки съ визгомъ и хохотомъ исчезали въ волнахъ Днѣпра... То онъ видѣлъ и себя и Катеньку подъ сѣнью итальянскихъ виноградниковъ, и она шептала ему, съ нѣжностью наклонившись къ его плечу:

„Ахъ, люби меня безъ размышленiй,
Безъ тоски, безъ думы роковой,
Безъ упрековъ, безъ пустыхъ сомнѣнiй,
Что тутъ думать? Я твоя, ты мой!
Что тебѣ отчаяна, сестры, братья?
Что намъ въ томъ, что скажетъ умный свѣтъ?
Или холодны мои объятія?
Иль въ очахъ блаженства страсти нѣтъ?
Я любви не числю и не мѣрю,
Нѣтъ, любовь есть вся моя душа.
Я люблю — смѣюсь, безъ клятвы вѣрю...
Чувствую, какъ тутъ я хороша...

То Катенька являлась передъ нимъ Ундиной.

— Рыцарь, милый рыцарь! говорила она ему. — Какой бы ты ни былъ идеальный человѣкъ, но если ты не принадлежишь никакой средѣ, то все-таки принадлежишь къ какой-нибудь партіи, къ какой-нибудь доктринѣ; а я... у меня нѣтъ ни среды, ни званія, ни партіи, ни доктрины, ни отечества на землѣ, — я существо изъ подводнаго царства.. у меня есть дядя Струй, которому ты непременно будешь врагомъ: вы съ нимъ поспорите объ итальянской политикѣ — и разсоритесь навсегда.

То она являлась передъ нимъ дѣвой Орлеанской.

— Я призвана сюда, говорила она, не для того, чтобъ потѣшать тебя моею любовью, но для спасенія общества... Ты мущина — бери меня за руку и веди на борьбу.

Наконецъ Катенька явилась ему окруженная сіяніемъ, съ радужнымъ вѣнцомъ на головѣ...

— Брось все земное! вѣщала она ему съ кротостью и величіемъ во взорѣ. Иди за мной *туда*, — ты тамъ услышишь неизреченные *лаолы*, которыхъ нѣтъ ни въ вашихъ газетахъ, ни въ вашихъ толстыхъ журналахъ, ни въ вашихъ университетахъ.

Гладкій, отдавъ приказанія насчетъ доктора, возвратился въ комнату Задольскаго и опять пошупалъ у него пульсъ.

— Господи! сказалъ онъ, поднимая влажные глаза, неужели онъ... неужели его не станетъ?.. Это единственный человѣкъ, котораго я въ самомъ дѣлѣ уважаю.

Алексѣй Ивановичъ не уходилъ отъ постели больного и то и дѣло посматривалъ на часы, съ крайнимъ нетерпѣніемъ ожидая доктора; наконецъ раздался стукъ подъѣхавшаго экипажа, и вскорѣ затѣмъ въ комнату вошелъ господинъ въ синемъ форменномъ фракѣ съ золотыми пуговицами, въ желтыхъ перчаткахъ, съ очень красивой тросточкой въ рукѣ.

— Ахъ, Федоръ Ивановичъ, какъ я вамъ благодаренъ, что вы пріѣхали! сказалъ Гладкій, вставая передъ докторомъ и протягивая ему дружески обѣ руки.

— Ну, кто у васъ боленъ? спросилъ почти скороговоркой докторъ.

— Да вотъ-съ! отвѣчалъ Алексѣй Ивановичъ, указывая на Задольскаго. Докторъ сѣлъ къ больному на постель, ощупалъ и послушалъ его всего и наконецъ сказалъ: «Пафъ! Какой у него нервный организмъ!... Какое сильное возбужденіе нервной системы!... Это у него готовилось давно, можетъ быть, нѣсколько лѣтъ, а теперь какое - нибудь необыкновенное обстоятельство придало сильный импульсъ болѣзни.. чѣмъ онъ занимается?»

— Да все музыкой...

— Ну вотъ! А еще чѣмъ?

— Книги читаетъ.

— Ну, а тѣлесныхъ упражненій никакихъ — на билиардѣ не играетъ, верхомъ не ѣздитъ, не танцуетъ!

— Ничего этого онъ не дѣлаетъ: онъ все сидитъ дома съ затворенными окнами, — насилу его вытащишь пройтись немного по саду.

— Ну, вотъ и разстроилъ себя до послѣдней степени нервы! Однако скажите, что съ нимъ случилось, что привело его въ такое состояніе...

— Пойдемте въ ту комнату — я вамъ расскажу.

Когда они вышли въ другую комнату, Гладкій рассказалъ доктору всю исторію любви Задольскаго, разумѣется, не называя по имени предметъ его страсти...

— Да вѣдь я знаю, кто она такая! воскликнулъ докторъ. Я всю ихъ исторію знаю, чуть ли не лучше васъ. Вѣдь я ее лѣчилъ, когда съ ней было почти тоже, что съ нимъ теперь: я слышалъ, какъ она имъ бредила.

— Сколько семейныхъ тайнъ знаете вы, Федоръ Ивановичъ!

— Да, довольно!.. Но возвратимся къ дѣлу. Впервые, онъ совсѣмъ не опасенъ... это даже хорошо, что наконецъ болѣзнь получила такое рѣзкое выраженіе... онъ дня черезъ три, много черезъ четыре встанетъ съ постели молодцомъ, и тогда мы примемъ за него: заставимъ его совсѣмъ перемѣнить режимъ: онъ будетъ у насъ дѣлать постоянный моціонъ и пить молоко. Дайте-ка бумаги, я пропишу рецептъ, сказалъ докторъ... А главное — надо устроить его сердечныя дѣла: безъ этого онъ никогда не успокоится — никакія лѣкарства не помогутъ...

— Трудно ихъ устроить, Ѳеодоръ Ивановичъ: и она, и онъ такіе странные люди.

— Ну, да Богъ поможетъ— все устроится, сказалъ докторъ, прощаясь и подавая руку Гладкому. Да, Алексѣй Ивановичъ, все Богъ, главное Богъ, — безъ Бога мы ничего не можемъ сдѣлать! продолжалъ докторъ, глядя внушительно въ глаза Алексѣю Ивановичу.

— Гмъ! да! вытянулъ Алексѣй Ивановичъ, какъ бы не со всѣмъ охотно и нерѣшительно соглашаясь съ докторомъ. Докторъ быстро вышелъ изъ комнаты, поспѣшно прошелъ чрезъ всю дачу, набросилъ на себя плащъ, сѣлъ въ коляску и быстро покатился вонъ изъ Обрѣзкова; вдругъ онъ увидѣлъ у одной изъ дачъ какую-то худую, совсѣмъ желтую пожилую женщину, сидящую съ печальнымъ видомъ на заваленкѣ.

— Стой! закричалъ онъ. Коляска остановилась; докторъ выскочилъ изъ нея и быстро подошелъ къ больной женщинѣ.

— Чѣмъ вы больны? Гдѣ вы чувствуете боль? спросилъ онъ ее. Та ему рассказала о всѣхъ своихъ недугахъ.

— Хорошо. Я къ вамъ завтра привезу лѣкарство. Да есть ли у васъ чай и сахаръ?

— Давно нѣтъ, батюшка...

— Ну такъ я вамъ привезу и чаю и сахару... Вотъ вамъ покуда.

Сказавъ это, Ѳеодоръ Ивановичъ сунулъ въ руку больной какую-то ассигнацію, сѣлъ поспѣшно въ коляску и уѣхалъ...

XVIII.

Все, что предсказалъ докторъ, сбылось. Впервыхъ, Григорій Дмитріевичъ на другой же день послѣ своей болѣзни сталъ приходить въ память, а ужъ на четвертый былъ совсѣмъ на ногахъ. Вовторыхъ, болѣзнь подѣйствовала на него благотно: онъ сталъ спокойнѣе, ровнѣе характеромъ, мысли его прояснились, и то озлобленіе противъ всѣхъ, которое замѣчалось въ немъ въ послѣднее время, совершенно исчезло. Но онъ чув-

ствовавъ въ душѣ глубокую тоску — тоску по существѣ, которое считалъ утраченнымъ для себя навсегда. Но это была не его прежняя бунтующая тоска, а тихая, кроткая тоска, обуздываемая ежеминутно голосомъ разсудка.

— Нѣтъ, размышлялъ онъ, сидя гдѣ-нибудь въ уединенномъ мѣстѣ Обрѣзковской рощи, нѣтъ, мнѣ нечего и мечтать о Катенькѣ: я ей совсѣмъ не пара. Она дѣвушка живая, веселая, любитъ посмѣяться, а я человѣкъ мрачный, вѣчно мучимый разрѣшеніемъ разныхъ вопросовъ изъ философіи жизни: ей будетъ скучно со мной... Правда, мнѣ трудно, крайне трудно привыкнуть къ мысли, что я разстался съ ней навсегда: какъ подумаю объ этомъ, такъ и заносетъ сердце, точно больной зубъ, на обнаженный нервъ котораго упадетъ капля холодной воды... Но когда-нибудь я привыкну же къ этой мысли — тоска моя пройдетъ, а «что пройдетъ, то будетъ мило.»

Такъ старался утѣшать себя и разогнать свою тоску нашъ несчастный герой, но тоска его съ каждымъ днемъ усиливалась все болѣе и болѣе. Алексѣй Ивановичъ, желая устроить сердечныя дѣла Задольскаго, звалъ его нѣсколько разъ съ собой къ Софѣ Васильевнѣ, но всегда получалъ въ отвѣтъ: «нѣтъ, я больше туда никогда не пойду.»

Катерина Петровна была чуть ли не въ худшемъ положеніи, чѣмъ Григорій Дмитріевичъ. Возвратясь съ теткой отъ Троицы, гдѣ они пробыли около недѣли, она въ тотъ же день узнала отъ Маши, что Задольскій былъ боленъ. Она мгновенно поняла причину его болѣзни и стала мучиться совѣстью; къ мученіямъ совѣсти присоединялось другое мученіе — мысль, что отношенія съ Задольскимъ у нея разстроены навсегда, что онъ оставилъ ее безвозвратно.

Такъ прошло двѣ недѣли, двѣ страшно мучительныхъ недѣль и для нашего героя и для нашей героини... Но наступило 22 іюля. И

...вотъ багряною рукою
Заря отъ утреннихъ долинъ
Выводитъ съ солнцемъ за собою
Веселый праздникъ именинъ.

Чьи-жъ это за именины наступили, именины, о которыхъ мы сочли нужнымъ повѣстить стихами и притомъ такими стихами, которые сложены соединенными силами двухъ знаменитыхъ стихотворцевъ — Ломоносова и Пушкина? Не было ли это тезоименитство какого-нибудь высокопоставленнаго лица? Не были ли это именины нашей героини или нашего героя или, по крайней мѣрѣ, Софьи Васильевны? Нѣтъ, это были именины Катенькиной наперсницы Маши. Особа эта, а слѣдовательно и ея тезоименитство необыкновенно важны для насъ: не существой Маша, не существовало бы ни героини нашего романа, ни самого романа, ибо Катенька погибла бы преждевременно, задолго прежде чѣмъ достигнуть совершеннѣйшаго, прежде чѣмъ имѣть возможность играть какую-нибудь самостоятельную роль въ романѣ. Читатели поймутъ насъ, когда мы имъ напомнимъ, что, благодаря своему присутствію духа, мужеству, геніальной находчивости и самоотверженной преданности своей барышнѣ, Маша спасла ее отъ челюстей и когтей ужаснаго звѣря влѣзшаго въ одну ужасную ночь къ ней на постель (смотри начало XIII главы нашего разсказа). Для Катеньки день именинъ ея наперсницы былъ всегда днемъ высокаторжественнымъ. Въ этотъ день она съ утра надѣвала свое любимое платье и осыпала Машу самыми восторженными ласками и всевозможными подарками. Нынѣшній разъ еще наканунѣ великаго дня горничная имѣла совѣщаніе съ барышней на счетъ церемоніала праздника своего тезоименитства. Маша пожелала сдѣлать пиршество для своихъ знакомыхъ. И вотъ рѣшено было устроить торжественное чаепитіе съ роскошнымъ десертомъ въ Обрѣзковской рощѣ, въ области самоварницъ. Софья Васильевна, по просьбѣ племянницы, велѣла выдать именинницѣ значительное количество чаю, сахару при бутылкѣ хереса (для угощенія дамъ) и бутылкѣ рому (для продовольствія мужчинъ). Кромѣ того, она пожаловала Машѣ, отъ имени Катеньки, пять рублей на закупку орѣховъ, конфетъ, варенья, лимоновъ, апельсиновъ, бѣлаго хлѣба и пр. Начало пиршества было назначено въ семь часовъ вечера; на него была приглашена, во первыхъ, вся при-

слуга, жившая на дачѣ Софьи Васильевны, какъ женская, такъ и мужская, воторыхъ—нѣкоторые изъ горничныхъ и лакеевъ-сосѣднихъ дачниковъ, въ томъ числѣ и фамулусъ Григорія Дмитріевича Яковъ. Яковъ вскорѣ по пріѣздѣ на дачу, познакомился съ Машей и сталъ съ ней на короткую ногу: короткость эта выражалась въ томъ, что они, хотя и по секрету ото всѣхъ, но совершенно свободно и откровенно разсуждали о сердечныхъ отношеніяхъ, существующихъ между Катенькой и Задольскимъ. Они были вполне увѣрены въ томъ, въ чемъ были такъ неувѣрены нашъ герой и наша героиня: Яковъ и Маша твердо рѣшили, что дѣло въ самомъ скоромъ времени кончится бракомъ, что влюбленные еще нѣкоторое время покапризничаютъ, «ломаются, покобеляются» другъ передъ другомъ, да и пойдутъ подъ вѣнецъ. Ихъ обоихъ мучило только то, что ужъ они очень долго ломаются и кобеляются и этимъ попусту «натруждаютъ себя».

— Вы, Яковъ Ларивончъ, хотъ бы доложили барину, что пора опять посвататься за барышню, а то коли они будутъ все откладывать да откладывать, она къ свадьбѣ-то совсѣмъ изведется, сказала разъ какъ-то Якову Маша.

— Нешто я могу объ эфтомъ докладывать барину, возразилъ Яковъ.— Нешто я смѣю разсуждать съ моимъ собственнымъ помѣщикомъ объ его предметахъ. Мое дѣло вычистить платье, налить воды въ умывальникъ, придти, когда позовутъ, а не учить барина обращенію съ его предметомъ.

Мы должны здѣсь замѣтить мимоходомъ, что Яковъ, съ тѣхъ поръ, какъ переѣхалъ съ своимъ бариномъ на дачу, необыкновенно, какъ говорится, «развился». Развитіе это выразилось въ томъ, что онъ выучился говорить необыкновенно высокимъ слогомъ и узналъ нѣсколько глубокомысленныхъ фразъ, какъ напримѣръ: «но между прочимъ», «вообще», «натурально», «наконецъ» и проч. Особенно часто повторялъ онъ выраженіе «но между прочимъ», — онъ гордился имъ.

Онъ пріобрѣлъ также значительныя для своего званія познанія во французскомъ языкѣ: онъ узналъ и употреблялъ до-

волью кстати подобныя фразы какъ *бонжуръ мадамъ, же вы при, не вы горече на, се манификъ и жо мерсе* (сокращенное *je vous remercie*).

Французскому языку онъ научился въ обществѣ горничныхъ, съ которыми свелъ знакомство на дачѣ, а высокому слогу и отборнымъ фразамъ у какого-то отставнаго военнаго фельдшера, выгнаннаго изъ службы за пьянство, грубость и высокомеріе: этотъ фельдшеръ, жилъ по сосѣдству съ дачей Задольскаго; онъ обыкновенно, выпивъ каждый вечеръ болѣе полштофа сладкой водки, становился у воротъ дома, гдѣ жилъ; вокругъ него стекалась многочисленная аудиторія, состоявшая изъ лакеевъ, кучеровъ и дворниковъ; передъ этой аудиторіей отставной фельдшеръ говорилъ по цѣлымъ вечерамъ о самыхъ возвышенныхъ предметахъ; Яковъ былъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ его слушателей.

Чашепитіе началось, какъ предположено было, ровно въ семь часовъ. Яковъ явился рѣшительно главнымъ лицомъ на этомъ сюнпозіонѣ. Онъ занималъ рѣчами все общество, и надо сказать, что онъ немного отсталъ отъ своего учителя фельдшера какъ въ высотѣ слога, такъ и въ глубинѣ мыслей. Одна изъ бывшихъ тутъ горничныхъ была великая охотница слушать разговоры о возвышенныхъ предметахъ, т.-е. такія фразы, смысла которыхъ она рѣшительно не понимала, но которыя потому и плѣняли ея воображеніе, что дышали для нея какой-то таинственной, неизъяснимой для простаго ума прелестью. Дабы сильнѣе возбудить въ ораторѣ позывъ къ краснорѣчію, она то и дѣло подливала ему въ чай рому, такъ что Яковъ, очень мало и рѣдко употреблявшій крѣпкіе напитки, выпилъ теперь съ чаемъ, самъ того не замѣтивъ, болѣе полбутылки забирательной жидкости, привезенной якобы съ острова Ямайки. Яковъ по большей части говорилъ этотъ вечеръ о политикѣ и объ устройствѣ русскаго войска и, разумѣется, съ каждымъ стаканомъ чаю все больше и больше воодушевлялся патріотизмомъ; наконецъ, онъ дошелъ до такого экстаза, что началъ употреблять такія непонятныя и даже страшныя для него самого слова, какъ на-

примѣръ субординація, интенданство, юстиція, корреспонденція, маіоръ-отъ-воротъ и проч.

Послѣ девяти часовъ гости стали расходиться; Маша съ Яковомъ ушли послѣ всѣхъ; они пошли домой самыми уединенными, мало посѣщаемыми мѣстами и всю дорогу говорили очень живо о чемъ-то повидимому очень важномъ. Яковъ послѣ каждой фразы, которую говорила ему съ внушительнымъ видомъ Маша, восклицалъ съ горделивымъ и глубокомысленнымъ выраженіемъ лица: «ну, натурально, натурально!» или: «я это очень могу понять, Марья Сергѣевна». Наконецъ они остановились и, такъ какъ имъ нужно было идти въ разныя стороны, стали прощаться; послѣ самаго деликатнаго, бонтоннаго рукожатія, Маша сорвала первый попавшійся у ея ногъ цвѣтокъ и подала Якову.

— Жо мерсе, мадамъ, сказалъ Яковъ и, отвѣсивъ весьма низкій поклонъ Машѣ, пошелъ отъ нея въ сторону.

Чѣмъ дальше шель Яковъ, тѣмъ сильнѣе разбирали его винные пары и тѣмъ все больше сбивался онъ съ дороги; дѣло кончилось тѣмъ, что онъ совершенно заплутался въ рошѣ и кружился по ней около трехъ часовъ, тщетно ища выхода; наконецъ какъ-то совершенно нечаянно попалъ онъ домой и прямо прошелъ въ кабинетъ своего барина; онъ былъ уже совершенно пьянъ, но еще кой-какъ держался на ногахъ.

Было уже около двѣнадцати часовъ ночи. Григорій Дмитріевичъ сидѣлъ въ глубокой задумчивости у себя въ кабинетѣ, скрестивъ на груди руки и опустивъ глаза въ землю... Вдругъ вошелъ въ комнату Яковъ, затопавъ, какъ лошадь, ногами, и закричалъ во все горло какимъ-то отчаяннымъ голосомъ: «чего извольте?»

— Я тебя не звалъ, Яковъ, отвѣчалъ, вздрогнувъ и какъ бы пробуждаясь ото сна, Задольскій.

— А мнѣ послышалось, что вы меня изволите кликать, сказалъ Яковъ и остался у дверей. Прошло около трехъ минутъ, а онъ все стоялъ неподвижно на одномъ и томъ же мѣстѣ.

— Тебѣ что-нибудь отъ меня нужно? спросилъ его наконецъ Григорій Дмитріевичъ.

— Точно такъ-съ: очень нужно...

— Что-жь тебѣ нужно такое?

— Яковъ сталъ неимоверно глупо ухмыляться и, переминаясь съ ноги на ногу, сказалъ: «хе, хе, хе! Вы тогда мнѣ изволили въ Москвѣ приказывать на счетъ энтаго... а нынче приказаніе ваше исполнилъ»...

— Я право не помню, что я тебѣ такое приказывалъ въ Москвѣ...

— Вы тогда мнѣ изволили приказывать насчетъ любви.

— Что я могъ тебѣ приказывать насчетъ любви? я тебѣ ничего не приказывалъ.

— Какъ-съ не приказывали! Вы приказывали: Яковъ, говорите, влюбись напримѣръ въ горничную... Но между прочимъ вы тогда изволили кушать бургонское...

— Ахъ помню, сказалъ, нѣсколько конфузясь, Григорій Дмитріевичъ.

— Я вамъ и докладываю, что приказывали: я лгать передъ вами не смѣю. Я могу солгать противъ квартальнаго, но противъ собственнаго своего, крѣпостнаго помѣщика не могу!.. Такъ вы мнѣ и изволили тогда сказать: влюбись, Яковъ, безпремѣнно въ горничную. Я еще по глупости моей отказался; говорю: ослободите, сударь, отъ эфтого: не могу, потому что я не благородный—влюбиться не могу... А теперь вотъ и пришелъ я доложить вамъ, что препорученіе ваше нынче исполнилъ. Значить, какъ теперь я пилъ чай въ гостяхъ, и ромъ тутъ при насъ, можно сказать, постоянно находился, такъ послѣ чаю, а ей и говорю: извините, говорю, а я къ вамъ очень сильно чувствую любовь, а она мнѣ говоритъ: извините, я еще очень молода, очень невинна и неопытна!

— Кто это она? спросилъ Задольскій, котораго начали забавлять глупо-пьяныя рѣчи Якова.

— Да горничная-съ!

— Какая горничная?

-- Да Маша-съ!

— Какая Маша?

— Да барышнина Маша!

— Какъ барышнина?

— Да-съ энттой барышни дѣвушка!

— Какой «энттой» барышни?

— Да вашей-съ барышни.

— Какой моей барышни?.. что ты врешь!.. забормоталъ вдругъ, совершенно сконфузаясь и растерявшись, Задольскій.

— Да энттой-съ, которая была отъ васъ больны...

— Что за вздоръ ты говоришь! кто отъ меня былъ боленъ? пробормоталъ опять, самъ не зная что и зачѣмъ спрашиваетъ, еще болѣе сконфуженный Задольскій.

— Да та самая барышня, отъ которой вы ряхнулись, на которой вы жениться изволите.

— Какъ жениться?.. кто сказалъ тебѣ, что я хочу жениться?

— Хе, хе, хе. Да тамъ вся дворня у энттой барышни эфто говорятъ: и кучера, и поваръ, и всѣ какъ есть до одина человека говорятъ: «баринъ де твой безпремѣнно на нашей барышни женится.» И всѣ много довольны, потому, говорятъ, баринъ твой добрый, только ужъ очень тиранить нашу барышню...

— Какъ тиранить! закричалъ, въ ужасѣ вскочивъ съ мѣста, Задольскій.

— Тиранить, говорятъ, потому все по сѣхъ поръ не женится, а она, бѣдняжка, ждетъ не дождется...

— Что ты врешь!..

— Нѣтъ, ей-Богу, сударь, не вру — такъ и говорятъ: женился бы ужъ поскорѣе, потому она таетъ словно свѣчка: ему же, говорить, будетъ хуже, какъ ей къ сватѣбѣ совсѣмъ бока подведетъ: что-жъ это будетъ такая ему за жена, потому надо безпремѣнно, чтобъ жена была въ тѣлѣ...

— Что ты врешь, что ты врешь! что за чушь ты врешь! закричалъ Задольскій, закрывъ глаза руками.

— Не вру, сударь, ей-Богу, не вру, а докладываю вамъ, какъ есть истинное происшествіе! Потому и сама Маша тоже говорить: просто, говорить, изныла я, изстрадалась за мою барышню: вотъ, говорить, ужъ третья недѣля, какъ почитай ни-

чего не кушаютъ и по цѣлымъ ночамъ не спятъ — все вздыхаетъ да плачетъ по вашему баринѣ... А какъ, говорить, тогда узнала, что баринъ вашъ былъ боленъ, — такъ чуть не умерла на мѣстѣ: значить такъ и затряслась и поблѣднѣла, какъ смерть... Вы, говорить, Яковъ Ларивонычъ безпремѣнно доложите вашему барину, чтобъ онъ поскорѣе описалъ свою любовь нашей барышнѣ да и порѣшился бы съ ней сейчасъ послѣ успешнаго поста.

— Ну, Яковъ, будетъ! Довольно ты наболталъ вздору... Теперь иди сію же минуту вонъ.

— Слушаю-съ...

— Что-жъ ты стоишь, когда я тебѣ велѣлъ идти вонъ?

— Да какъ же, сударь, мнѣ прикажите на счетъ энтаго?

— На счетъ чего это?

— Да на счетъ того... хе, хе, хе!... Позвольте вы мнѣ, сударь, устроить себѣ коронацію?

— Какую это коронацію?

— Хе, хе, хе... То-есть, значить, какъ насъ съ ней вѣнчать станутъ, такъ вѣнцы на головы попь надѣнутъ...

— Послушай, Яковъ, говори мнѣ скорѣе, что тебѣ отъ меня нужно, и иди сію минуту вонъ, а то ты меня наконецъ рассердишь...

— Значить, разрѣшите вы мнѣ таперича, Григорій Дмитріевичъ, жениться на этой Машѣ?..

— Разрѣшу, разрѣшу, только иди сію же минуту вонъ!

— Жо мерсе! сказалъ Яковъ и вышелъ, шатаясь, изъ комнаты.

Какъ ни былъ сильно сконфуженъ Григорій Дмитріевичъ разговоромъ съ Яковымъ, однако никакъ нельзя сказать, чтобъ онъ остался въ дурномъ расположеніи духа послѣ этого разговора.

— Однако вся дворня говорить, что *она* меня любитъ, рассуждалъ мысленно Задольскій, когда Яковъ вышелъ изъ кабинета. Горничная ея говорить, что она плачетъ и вздыхаетъ обо мнѣ по ночамъ, что она поблѣднѣла, когда узнала о моей болѣзни...

Такъ думалъ нашъ герой, ходя по своему кабинету и вдругъ въ душѣ его опять зазвучалъ мотивъ послѣдней аріи изъ *Не-
тты-лунатикъ* — *apavgasio*.

XIX.

На другой день послѣ разговора съ Яковомъ, Григорій Дмитріевичъ проснулся въ очень веселомъ расположеніи духа; но едва онъ успѣлъ встать съ постели, какъ душой его завладѣлъ главный врагъ его — анализъ, и цѣлый легіонъ сомнѣній напалъ на него съ быстротой кавалерійской атаки...

— Яковъ говоритъ, что вся дворня толкуеть, что Катенька въ меня влюблена. Но, можетъ быть, вся эта дворня подкуплена Софьей Васильевой: этой Софьѣ Васильевнѣ по всѣмъ вѣроятіямъ, поручено ея сестрой какъ можно скорѣе сбить съ рукъ Катерину Петровну. И вотъ она велѣла напоить пьянымъ моего Якова и подослать его ко мнѣ. И вотъ онъ напивается, является и объявляетъ, между кучей всякаго вздора, что Катерина Петровна умираетъ отъ любви ко мнѣ... Нѣтъ! меня на эту удочку не поддѣнешь!.. Пусть хоть въ самомъ дѣлѣ она умираетъ отъ любви ко мнѣ, но все-таки я не пойду къ ней!.. Если она и любитъ меня, то это съ ея стороны ошибка, заблужденіе: я не доставлю ей счастья — я человѣкъ мертвый, какой-то неудавшійся философъ; а она веселая, живая — вся жизнь!.. ей нужно какого-нибудь Теверино...

Такъ думалъ Григорій Дмитріевичъ, волнуемый сомнѣніями; но сомнѣнія его были уже другаго свойства чѣмъ прежде: они были какъ-то не совсѣмъ искренни, --- въ груди его, несмотря на сомнѣнія, дрожало нѣчто необыкновенно сладостное --- это была надежда, та надежда, которую въ просторѣчій называютъ предчувствіемъ.

— Ахъ, эта Катенька! Ахъ, эта Катенька! говорилъ Григорій Дмитріевичъ, беря шляпу и выходя изъ комнаты. — Никогда ни за что не увижусь я съ этой Катенькой, съ этой... съ этой змѣей, которая сосетъ мое сердце! (Когда такъ думалъ

Григорій Дмитріевичъ, въ душѣ его происходило что-то такое, чего, кажется, не объяснилъ бы ни Розенкранцъ, ни Бенике и никто изъ другихъ нѣмецкихъ психологовъ: никогда не любилъ онъ такъ страстно Катеньку, какъ теперь и въ то же время никогда такъ не сердился на нее, — онъ просто клеветалъ на нее передъ самимъ собою.)

— Нѣтъ, ты погоди, нѣтъ, ты увидишь, какъ я тебѣ отомщу!.. о! если-бъ явился теперь благодѣтельный человѣкъ, который бы отодралъ ее за уши! думалъ нашъ герой въ передней, надѣвая пальто, которое подаль ему Яковъ.

— Григорій Дмитріевичъ! вдругъ сказать ему Яковъ.

— Что?

— Явите божеское милосердіе — позвольте вамъ доложить на счетъ моего предмета.

— Что еще?

— Да, помилуйте, она на попятный дворъ.

— Что такое?.. я ничего не понимаю.

— Значить, отказывается.

— Кто? отъ чего отказывается?

— Маша-съ — отъ моей руки... Я нынче чѣмъ свѣтъ пришелъ къ ней и говорю: баринъ де мнѣ разрѣшилъ на счетъ брака съ вами. А она начала хохотать: какой, говорить, это бракъ? Про какой, говорить, это бракъ вы выражаетесь? А я ей говорю: вчера, я говорю, вы мнѣ, можно сказать, дали ваше общаніе и, между прочимъ, сдѣлали даже комплиментъ... А она мнѣ что-жъ на это? Вы, говорить, вчера были мертвецки, — и эфто вамъ все померещилось... Григорій Дмитріевичъ!

— Что?

— Явите, между прочимъ, божеское милосердіе!

— Ну, ну!.. говори какъ можно скорѣе и короче.

— Вѣдь вы съ ихъ барыней между прочимъ знакомы?

— Съ какой барыней?

— Да съ графиней, значитъ, съ Софьей Васильевной.

— Ну, да, конечно, знакомъ.

— Такъ вы попросите ихъ, чтобъ онѣ приказали ее наказать...

— Кого, за что?

— Эту Машу-съ, за меня, чтобъ она впередъ не смѣла обманывать и чтобъ безпремѣнно вышла за меня замужъ.

— Ничего я не понимаю, что ты мнѣ говоришь.

— А между прочимъ, эфто очень понятно: значить, теперь эту Машу слѣдуетъ отправить въ часть, чтобъ ее тамъ наказали какъ слѣдуетъ.

— Какія у тебя злыя, скверныя мысли, Яковъ, — ты хочешь мстить своей невѣстѣ!

— Да какая-же, сударь, она невѣста! Она лгунья, а не невѣста: ее нужно прежде пострашать.

— Ну, подумаль Григорій Дмитріевичъ, Иноземцевъ говорить, что я боленъ анализомъ, прозвалъ даже меня Гамлетомъ, принцемъ датскимъ! Вотъ бы его познакомить покороче съ Яковомъ, — онъ бы имъ вполне остался доволенъ: этотъ, кажется, анализомъ не страдаетъ и относится къ своей Офеліи совсѣмъ не по-датски, а чисто по-русски. .

— Явите же божеское милосердіе, продолжалъ Яковъ, упростите графиню, чтобъ онъ безпремѣнно приказали таперича эту Машу отослать въ Сущевскую часть... потому это здѣсь по близости... графиня вамъ не откажутъ и даже слова на это не скажутъ.

— Послушай, Яковъ, графиня отъ роду никогда своихъ людей въ часть не посылала; я этимъ тоже не занимаюсь, а еслибъ занимался, то отправилъ бы въ въ часть сегодня тебя.

— Это за что же-съ? позвольте васъ нѣсколько спросить, спросилъ, гордо выпрямляясь, Яковъ.

— А за то, что ты вчера былъ пьянъ.

— Это точно-съ! воскликнулъ, выпучивъ глаза, Яковъ, крайне удивленный, что нашелъ въ своемъ баринѣ, совершенно неожиданно, способность къ гениальнымъ соображеніямъ. Это точно-съ: и фельдшеръ говорить, что это, между прочимъ, слѣдуетъ.

Григорій Дмитріевичъ, не дослушавъ цитаты изъ фельдшера или, лучше сказать, ссылки на его могучій авторитетъ, вышелъ изъ дому.

Вышедъ изъ дому, Григорій Дмитріевичъ пошелъ, какъ выражаются въ Обрѣзковѣ, задворками, т.-е. позади дачъ. Онъ

шелъ въ рощу и ужъ вошелъ въ нее, какъ вдругъ что-то кольнуло его въ сердце и какая-то непонятная сила заставила его обернуться назадъ. Обернувшись, онъ увидѣлъ передъ собой задній фасадъ какой-то крайне ему знакомой и какъ бы родной дачи. Онъ вздрогнулъ и сказалъ самому себѣ: «ахъ, это дача Софьи Васильевны. Вотъ и терраса... та, терраса, на которой... Ахъ, какая противная терраса! Ахъ, какая отвратительная дача! Никогда во всю жизнь мою нога моя не будетъ тамъ». Сказавъ это, Григорій Дмитріевичъ пошелъ быстрыми шагами по направленію къ дачѣ, которую только что выругалъ. Онъ подошелъ къ садику дачи, прямо къ знаменитой калиткѣ, черезъ которую изъ мнимаго остроумія проходилъ всегда сюрпризомъ Алексѣй Ивановичъ. Онъ вдругъ остановился передъ калиткой и въ душѣ его шевельнулся вопросъ à la Гамлетъ: «Входить или не входить?» Онъ могъ сколько ему угодно предаваться размышленіямъ и нерѣшимости, стоя передъ калиткой, ибо изъ дачи никто его не могъ видѣть изъ-за высокихъ и густыхъ деревьевъ, передъ которыми онъ стоялъ... Вдругъ на дачѣ кто-то заигралъ на фортепіано.

— Кто это играетъ? Кто это такъ играетъ? спросилъ себя Григорій Дмитріевичъ, впиваясь всей душой въ звуки, которые до него долетали. — Кто-жъ это такъ играетъ? Правда, сбивается, но за то сколько чувства, сколько смысла въ игрѣ! Кто-жъ это играетъ? спросилъ себя опять Григорій Дмитріевичъ и на этотъ разъ уже солгалъ самъ передъ собой самымъ безсовѣстнымъ образомъ, ибо догадался, кто играетъ.

Пѣснь моя летить съ мольбою...
Тихо въ часъ ночной,
Въ рощу тихою стопою
Ты приходи, другъ мой!
Слышишь, въ рощѣ зазвучали
Пѣсни соловья:
Звуки ихъ полны печали —
Молятъ за меня.

Такъ выговаривало фортепіано слова ноктурна Шуберта, столь извѣстныя Григорію Дмитріевичу.

— Идти сюда или не идти? задалъ онъ себѣ вопросъ, берясь рукой за калитку.

— Иди! сказала ему что-то въ душѣ его, и онъ толкнулъ ногою калитку, вошелъ въ садикъ и пошелъ на звуки Шубертова ноктурна. Онъ быстро взошелъ на террасу, вошелъ въ столовую и сталъ опять вслушиваться въ звуки музыки, которые, какъ теперь оказалось, неслись сверху — изъ мезонина. Постоявъ съ минуту на одномъ мѣстѣ, онъ вдругъ опять пошелъ на звуки, самъ не догадываясь, что идетъ въ комнату молодой дѣвушки. Самъ не помня какъ, попалъ онъ въ какой-то полутемный корридоръ; глазамъ его предстала маленькая витая лѣстница: съ этой-то лѣстницы и неслись звуки, которые его влекли къ себѣ... Онъ взбѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ, отворилъ или, лучше сказать, чуть не оторвалъ дверь, изъ-за которой слышались звуки Шуберта, и увидѣлъ Катеньку, сидящую за фортепiano...

— Григорій Дмитріевичъ!.. вскрикнула Катенька, вскочивъ со стула и бросившись на встрѣчу Задольскому съ сіяющимъ отъ радости лицомъ. (Разумѣется, этого она никогда-бы не сдѣлала, еслибъ Задольскій не явился передъ ней совершенно неожиданно).

— Вы рады мнѣ, Катерина Петровна? спросилъ Задольскій задыхающимся отъ любви голосомъ.

— Рада, рада! закричала Катенька и въ то же мгновеніе испугалась своему признанію.

— Любите вы меня? спросилъ Григорій Дмитріевичъ.

Катенька молча опустила глаза; все лицо ея горѣло блаженствомъ.

— Любите вы меня? повторилъ Григорій Дмитріевичъ.

Катенька молчала.

— Скажите-же мнѣ наконецъ, ради Бога, любите вы меня.

— Ахъ, зачѣмъ вы у меня это спрашиваете!

— Я долженъ же наконецъ узнать это!

— Ахъ, вѣдь вы сами все знаете! все понимаете!

— Катерина Петровна, любите вы меня или нѣтъ?..

— Ахъ, какъ вы меня мучите, Григорій Дмитріевичъ!

— Отвѣчайте на мой вопросъ! сказалъ грозно, вдругъ страшно поблѣднѣвшій, Григорій Дмитріевичъ.

— Ахъ, какъ вы меня мучите, Григорій Дмитріевичъ... Послушайте, вѣдь вы больной, вѣдь вы, говорятъ, душевно больной... Вѣдь я нарочно ѣздила къ Троицѣ, чтобъ молиться за васъ — просить Бога, чтобы онъ васъ исцѣлилъ... Я привезла вамъ...

Съ этими словами Катенька сняла съ своего указательнаго пальца чугунное колечко, оправленное въ серебро...

— Это съ мошей! сказала она, носите его всегда: оно будетъ васъ хранить отъ мрачныхъ мыслей.

Григорій Дмитріевичъ перекрестился, поцѣловалъ кольцо и надѣлъ его на свой мизинецъ.

Прошло нѣсколько минутъ молчанія, во время котораго лились изъ глазъ слезы и у Григорія Дмитріевича, и у Катеньки.

— Катерина Петровна! скажите-же наконецъ это слово.

— Не могу, не могу!.. Я уже прежде вамъ его сказала и не повторю... вы сами знаете лучше меня то, о чемъ спрашиваете.

— Но все-таки скажите, ради Бога, скажите, чтобъ успокоить меня.

— Не могу.

— Но вѣдь это упорство, Катерина Петровна!

— Ужъ я не знаю, упорство это или нѣтъ, но все-таки я не могу вамъ сказать.

— Послушайте, Катерина Петровна, если вы не скажете мнѣ этого слова, — я сейчасъ отсюда уйду и никогда сюда не возвращусь.

Катерина Петровна молчала.

— Ну, такъ прощайте, сказалъ, уже совсѣмъ выпедевъ изъ себя, Григорій Дмитріевичъ.

— Прощайте, прощайте, сказалъ, еще разъ Григорій Дмитріевичъ и еще разъ получилъ въ отвѣтъ молчаніе Катеньки.

— Ну, такъ значитъ вы меня не любите.

Катенька молчала.

— Вы меня не любите... Такъ я говорю вамъ еще разъ, что сейчасъ уйду, и вы меня никогда не увидите, воскликнулъ внѣ себя Григорій Дмитріевичъ, хватаясь за кольцо и уже мысленно готовясь возвратить ей его и такимъ образомъ разыграть сцену изъ *Лучи де Ламермуръ*.

— Ну-съ, такъ вы меня не любите, такъ прощайте-съ, сказалъ онъ въ совершенномъ бѣшенствѣ и вышелъ быстро изъ комнаты. Но, вышедъ быстро изъ комнаты, онъ очень медленно спускался по лѣстницѣ съ осторожностію девяти столѣтняго старика: онъ все ожидалъ и надѣялся, что его вернуть назадъ — позовутъ. Его и позвали, но только не словами... Только что заскрипѣла подъ нимъ пятая ступень лѣстницы, какъ Катенька бросилась къ фортепіано и что было силъ, чувства и искусства ударила по нимъ *adieu* Шуберта. Что это была за игра — фортепіано не звучало, а плакало! Григорій Дмитріевичъ взбѣжалъ обратно, вверхъ по лѣстницѣ и вбѣжалъ въ Катенькину комнату... Она продолжала играть, а между тѣмъ слезы неудержимо лились изъ глазъ ея. Григорій Дмитріевичъ заплакалъ.

— Такъ вы любите же меня! воскликнулъ онъ, топнуть, по неслѣткости своей, что есть силъ ногою объ полъ, — говорите же наконецъ, любите-ли вы меня или нѣтъ!

— Не скажу, сказала Катерина Петровна, вставъ изъ-за фортепіано и подхоя къ открытому окошку.

— Отчего-же вы не скажете?

— Оттого, что не скажу, сказала Катенька, сѣвъ на окошко.

— Но вы должны обязаны это мнѣ сказать!

— Нѣтъ, я вамъ этого не скажу, а если хотите докажу... ну, хотите?.. хотите, повторяла Катенька, раскачиваясь и загибаясь своимъ тонкимъ и гибкимъ, какъ стебель, станомъ въ открытое окно, съ явнымъ намѣреніемъ броситься со втораго этажа внизъ головой на каменную террасу.

— Катерина Петровна, что вы дѣлаете? закричалъ, бросаясь къ ней и хватая ее за руку, Григорій Дмитріевичъ, и закричалъ, да позволять намъ такъ выразиться, такимъ звѣриннымъ

голосомъ, что Софья Васильевна, сидѣвшая внизу у себя въ комнатѣ (подъ Катенькиной комнатою) выронила съ испугу изъ рукъ англійскій романъ и поспѣшила наверхъ.

— Говорите-же, любите вы меня? любите? кричалъ между тѣмъ на весь домъ Григорій Дмитріевичъ, тѣня къ себѣ за руку Катеньку, чѣмъ желалъ спасти ее отъ самоубійства, но причѣмъ, самъ того не замѣчая, ломалъ ей. какъ самый жестокий инквизиторъ, руку. Любите вы меня? любите?.. говорите — любите? приставалъ онъ къ ней...

— Да любить. любить! закричала съ лѣстницы Софья Васильевна, — Господи, Боже мой, да когда-же наконецъ кончится эта глупая комедія... *Qui est-ce qu'on trompe ici, quand tout le monde est dans le secret?* Довольно! Это не только мнѣ, но уже и всѣмъ надобно... надъ вами даже всѣ люди въ домѣ смѣются... Ну, подайте другъ другу руку!

Катерина Петровна и Григорій Дмитріевичъ, какъ послушны, похвальные дѣти, съ робостью и скромностью подали другъ другу руку.

— По какому праву, Григорій Дмитріевичъ, проникли вы къ ней въ комнату? спросила, дѣлая строгіе глаза, Софья Васильевна.

Сконфуженный Григорій Дмитріевичъ отвѣчалъ ей какой-то нелѣпостью.

— Я васъ прошу не приходить къ ней въ комнату до вашей свадьбы...

При словахъ—*ваша свадьба*, Катенька взглянула на Задольскаго какимъ-то религіознымъ, церковнымъ взоромъ (*venia sit verbo!*). Встрѣтивъ этотъ взоръ, Григорій Дмитріевичъ въ первый разъ въ жизни почувствовалъ себя гражданиномъ русской земли: еще нѣсколько минутъ до этого онъ былъ въ душѣ космополитъ — человѣкъ неизвѣстно какой страны, неизвѣстно какой христіанской религіи, но съ этого мгновенія онъ сталъ православнымъ и русскимъ: онъ чувствовалъ, что онъ уже потерялъ свободу, что онъ уже больше не принадлежитъ одному себѣ — что онъ принадлежитъ женѣ, семейству; но какъ ему было тогда сладко сознать, что онъ потерялъ свободу!

— Ну, пойдите внизъ, сказала, выходя изъ комнаты, Софья Васильевна.

Послушныя дѣти повиновались.

— Ну, хоть сядьте по крайней мѣрѣ рядомъ, сказала Софья Васильевна, когда они всѣ вошли въ залу.

Нашъ герой и героиня сѣли рядомъ. Софья Васильевна бросила на нихъ искоса пристальный взглядъ и сразу замѣтила чугунное кольцо на мизинцѣ Григорія Дмитріевича.

— Вотъ затѣмъ она ѣздила къ Троицѣ, подумала она.

Произошло долгое молчаніе, во время котораго Задольскій и Катенька, блаженствуя въ душѣ, сидѣли другъ подлѣ друга, какъ какіе-то истуканы, какъ сидятъ женихъ съ невѣстой на купеческой свадьбѣ.

— Господи! хотъ бы они догадались поцѣловаться... Они вѣдь ничего не догадаются—они вѣдь, пожалуй, и послѣ свадьбы всю жизнь просидятъ такими же дураками, какъ и теперь, другъ подлѣ друга.

Но они не были такъ глупы, какъ думала Софья Васильевна. Послѣ долгаго молчанія, они вдругъ, взглянувъ другъ на друга, встали, отошли въ сторону и нѣсколько минутъ говорили между собой шепотомъ. Потомъ вдругъ оба въ одинъ голосъ сказали Софьѣ Васильевнѣ:

— Намъ надо благословить.

— Я васъ и благословлю... мнѣ и образъ сестра для этого оставила.

— Нѣтъ, воскликнули въ одинъ голосъ женихъ и невѣста: надо телеграфировать маменькѣ — надо, чтобы она позволила.

— Она уже давнымъ давно позволила, сказала Софья Васильевна.

— Нѣтъ надобно, чтобы она опять позволила! воскликнули опять въ одинъ голосъ и женихъ и невѣста.

— Тетя! что вамъ стоитъ, пошлите телеграмму... вѣдь маменька ужъ теперь въ Петербургѣ, отвѣтъ придетъ сію минуту.

Софья Васильевна послала телеграмму къ Аннѣ Васильевнѣ. Женихъ и невѣста разошлись въ разныя стороны.. Задольскій

пришелъ въ страхъ и сомнѣніе: ему пришло въ голову, что тутъ-то все и кончено, что есть лицо, которое будетъ противъ его брака, лицо коварное, которое до сихъ поръ притворялось пассивнымъ, но втайнѣ интриговало противъ него: лицомъ этимъ въ эту минуту онъ почиталъ отца Катеньки, Петра Васильевича... Какъ громовой отводъ его ипохондрии, вошелъ тутъ въ комнату съ обыкновенной своей неистощимой чепухой въ устахъ Алексѣй Ивановичъ. Онъ чѣмъ-то сію же минуту разсмѣшилъ всю публику.

— Ну, вотъ вы все шутите, Алексѣй Ивановичъ, а у насъ сдѣлалось дѣло не шуточное.

— Что такое?

— Да вотъ сейчасъ буду благословлять жениха съ невѣстой, сказала Софья Васильевна, взглянувъ веселыми глазами на Катеньку и Задольскаго. Я только жду телеграммы отъ сестры.

— Прекрасно, прекрасно, прекрасно! воскликнулъ Алексѣй Ивановичъ. Я скажу тебѣ, Григорій Дмитріевичъ, какъ Кочкаревъ Подколесину: благословляю, разрѣшаю, поощряю... ну, и что онъ тамъ еще говоритъ?... и вознаграждаю вашъ бракъ. Съ этими словами Алексѣй Ивановичъ по-архіерейски обѣими руками благословилъ Григорія Дмитріевича и даже, Богъ знаетъ къ какой стати, вывелъ своимъ фальшивымъ голосомъ: «Исполать тебѣ, деспоту».

— Ну-съ! воскликнулъ Алексѣй Ивановичъ, обращаясь къ Катенькѣ и Задольскому. — Романъ вашъ конченъ, конченъ благополучно, — добродѣтель торжествуетъ (при этомъ Гладкій взглянулъ умиленнымъ взоромъ на Катеньку), но какъ слѣдуетъ, по моему мнѣнію, въ каждомъ романѣ, и порокъ тоже наказанъ и наказанъ жестоко.

— Какой это порокъ наказанъ? спросила съ нѣкоторымъ безпокойствомъ Софья Васильевна.

— Порокъ наказанъ во образѣ Людмилы Юрьевны Трощинской, обитательницы Прѣсенскихъ прудовъ..., Порокъ сей наказанъ жестоко и примѣрно.

— Ахъ, Боже мой! воскликнула жалостливая и наивная Ка-

тенька, которой при словѣ «наказанъ» вообразилось, что старуху Трощинскую просто высѣкли. Ахъ, Боже мой! какъ же это ее наказали?

— Наказалъ ее я, а какимъ способомъ, такъ я буду имѣть честь доложить это ихъ сіятельству, вашему превосходительству и его благородію.

— Я объ адакихъ гадостяхъ не стану слушать, сказала Катенька, зажимая уши и убѣгая въ садъ.

— Чтò же такое случилось? спросила Софья Васильевна не могши никакъ побороть въ себѣ женскаго любопытства.

— А вотъ чтò случилось, началъ Алексѣй Ивановичъ, разсаживаясь съ комфортомъ на креслѣ и блистая глазами, какъ римскій триумфаторъ, за колесницей котораго шла въ цѣпяхъ какая-нибудь азіатская или африканская плѣнная царица. Вотъ-съ, видите-ли, какъ мы это все устроили. Какъ я ужъ вамъ докладывалъ, по моимъ розысканіямъ оказалось, что этотъ болванъ (при этомъ Гладкій кивнулъ головою на Задольскаго) былъ опутанъ анонимнымъ письмомъ этой вѣдьмы, Людмилы Юрьевны. Какъ я это узналъ, такъ и порѣшилъ, что ее надо наказать. Но какъ наказать? Чѣмъ? Я, какъ умный человѣкъ, въ мозгахъ своихъ раскинулъ слѣдующее: хотъ ей уже шестьдесятъ лѣтъ, но все-таки она, по великому своему самолюбію и самомиѣнію, все еще чаеъ, что наконецъ явится человѣкъ, который оцѣнитъ ея красоту, дарованія, умъ и влопается въ нее. Ну, въ эти-то тенета я и рѣшилъ поймать ее. Сію же минуту я настроилъ на французскомъ діалектѣ письмо въ такомъ родѣ: «Je vous aime, je vous adore! qu'est-ce que vous voulez encore?» ну, и такъ далѣе, все въ такомъ же страстномъ стилѣ. Поймалъ я одну знакомую француженку (у меня вѣдь ихъ много), которая самымъ отличнымъ почеркомъ переписала это письмо... Ахъ! главное-то и забылъ вамъ сказать: письмо было сочинено отъ имени нѣкоего не существующаго молодого человѣка, сгорающаго и умирающаго отъ любви къ Людмилѣ Юрьевнѣ и назначающаго ей свиданіе близъ Сухаревой башни въ меблированныхъ комнатахъ жида Зильбернберга. Отправ-

лено было это письмо по городской почтѣ; Людмила Юрьевна получила его, повѣрила ему, съѣздила поспѣшно въ баню и отправилась на свиданіе. А у меня уже все было готово: я подкупилъ за тридцать восемь рублей одного семидесятипятилѣтняго старика, неизвѣстной націи, рабой наружности, ростомъ съ Володьку Тропинскаго, беззубаго, плѣшиваго... ну, да что долго толковать о его красотѣ!.. достаточно сказать, что носъ его находится въ такой короткой дружбѣ съ подбородкомъ, что онъ во время ѣды долженъ постоянно его отворачивать рукой въ сторону, дабы возможно было пропустить ложку въ ротъ. Ну, вотъ этого-то красиваго молодаго человѣка и привезъ я къ Сухаревой башнѣ въ номера жиды Зильбернберга. Привезъ я еще двухъ ассистентовъ,—понимаете, чтобы позоръ былъ полный,—привезъ Молодьку Тропинскаго и извѣстнаго отставнаго гусара Сальникова. Красавца оставили мы въ одной комнатѣ, а сами стали въ другой и стали подсматривать сквозь щели дверей. Какъ только пробилъ часъ rendez-vous, такъ наша Сафо и влетѣла въ назначенную комнату, духами отъ нея пахло такъ, что даже черезъ двери оказалось чувствительно, ибо я насилу на ногахъ устоялъ. Ну, посмотримъ мы черезъ дверь, мой рабой красавецъ начинаетъ съ ней объясняться въ любви, а въ сторонѣ, понимаете, стоитъ этакъ на очень видномъ мѣстѣ кушетка...

— Не говорите, Алексѣй Ивановичъ, съ такой точностью: Катенька можетъ услышать, она тутъ ходитъ въ садикъ подъ окошками.

— Ну, да пусть и слышитъ! Она теперь можетъ и должна все слышать и все знать, потому что

Свершились милыя надежды,
Любви готовятся дары:
Падутъ реввивыя одежды
На цареградскіе ковры...

— Ну, довольно, довольно, Алексѣй Ивановичъ...

— Ахъ, виноваты!... я увлекся. Ну, вотъ видите ли, стоитъ кушетка и этакая, знаете ли, элегантная кушетка.

— Далась вамъ эта кушетка...

— Ахъ, виновать, виновать... Ну, вотъ видите ли, кушетка-то эта и стоитъ, а рябой-то мой красавецъ однимъ глазомъ смотритъ на Людмилу Юрьевну, а другимъ на кушетку — ему это, понимаете, дѣлать-то и удобно, потому что онъ отъ природы разноглазый... Ну, вотъ смотритъ онъ на нихъ обѣихъ и объясняетъ ей любовь свою съ неимовѣрнымъ жаромъ — ровно на тридцать восемь рублей, за которые подкупленъ мной. Она сперва противится его любви, но дѣло кончается тѣмъ, что она съ самой страстной нѣжностью склоняетъ свою прелестную башку на плечо моего рябача красавца и съ большимъ чувствомъ обнимаетъ его за талию. Тутъ Сальниковъ съ Володей не вытерпѣли: Володька прыснулъ со смѣху, а Сальниковъ пихнулъ его, что есть силы, ногой въ спину; тотъ вылетѣлъ въ дверь, ну, разумеется, дверь при этомъ отворилась, — и Людмила Юрьевна увидѣла, что ея любовная авантюра происходила при ассистентахъ. Я подхожу къ моему рябому красавцу, вынимаю изъ портфеля тридцать восемь рублей, отдаю ему и говорю: «получите, — отъ дальнѣйшихъ послѣдствій любви съ этой прекрасной особой я васъ великодушно избавляю». Ну, можете себѣ представить, что тутъ произошло со стороны нашей даровитой писательницы. Слезы, обмороки и всевозможныя дряганья. Ну, ужъ я ее тутъ отчиталъ: вотъ вамъ, говорю, за анонимныя письма ваши.

— Однако какая это гадкая исторія! Не совѣстно ли вамъ признаваться, что вы сдѣлали такую гадость женщинѣ, сказала Софья Васильевна, выслушавшая довольно терпѣливо рассказъ Алексѣя Ивановича.

Наступило молчаніе. Задольскій съ тягостнымъ чувствомъ сомнѣнія дожидался отвѣтной телеграммы отъ Анны Васильевны. Вдругъ подъ окномъ раздался голосъ Катеньки.

— Милый мой! вѣрный мой! единственный другъ мой! Ты меня любишь больше всѣхъ на свѣтѣ, потому что ты мнѣ вѣришь, потому что ты не заставляешь меня клясться въ любви! Другъ мой, обними меня.

Все это говорила Катерина Петровна необыкновенно фамиллярнымъ тономъ, какъ-то сквозь зубы, умышленно картавя, какъ говорятъ только съ крошечными дѣтьми или людьми Богъ знаетъ какъ короткими. Задольскій поблѣднѣлъ: его сію же минуту охватилъ пароксизмъ его безумной ревности: онъ вообразилъ, что его невѣста говоритъ съ какимъ-то его соперникомъ. Софья Васильевна, догадавшись, что онъ терзается ревностью, сказала ему: «Григорій Дмитріевичъ, подойдите сюда къ окну и посмотрите, съ кѣмъ любезничаетъ ваша нарѣченная невѣста.» Задольскій, дрожа и почти шатаясь отъ негодованія, подошелъ къ окну,—и ему представилось по истинѣ необыкновенное зрѣлище. Катерина Петровна стояла на колѣнахъ передъ мерзвѣйшей и жалчайшей желтой собакой (своей протезе), которая стояла передъ ней на заднихъ лапахъ, и переднія лапы которой Катерина Петровна держала у себя на плечахъ.

— Вотъ твой Кассіо, нашъ московскій мавръ! сказалъ Алексѣй Ивановичъ.

Задольскій сгорѣлъ со стыда, а Катенька, увидѣвъ въ окнѣ своего жениха, пришла въ восторгъ, что такъ удачно подшутила надъ нимъ: она захохотала, захлопала въ ладоши и исчезла за деревьями.

— Incorrigible! сказала Софья Васильевна, смотря ей вслѣдъ и слегка пожимая плечами.

Послѣ нѣсколькихъ часовъ самыхъ тягостныхъ ожиданій со стороны жениха и невѣсты, была наконецъ получена разрѣшительная телеграмма отъ Анны Васильевны. Минута была торжественная, до такой степени торжественная, что и Алексѣй Ивановичъ пересталъ острить и сдѣлалъ какую-то важную, соотвѣтствующую минутѣ фizioномію. Софья Васильевна, немного поблѣднѣвъ, вышла изъ комнаты и черезъ нѣсколько минутъ явилась уже совершенно блѣдная, неся въ дрожащихъ рукахъ образъ Божіей Матери. И женихъ и невѣста простерлись ницъ; Софья Васильевна ихъ благословила. Послѣ нѣсколькихъ минутъ торжественнаго молчанія, Алексѣй Ивано-

вичъ сдѣлался опять Алексѣемъ Ивановичемъ, ставъ въ театральную позу и продекламировалъ слѣдующую рѣчь:

— Итакъ, Катерина Петровна и Григорій Дмитріевичъ, вы сочетаетесь бракомъ! Дай Богъ вамъ любовь да совѣтъ. Не нужно говорить: будьте счастливы; счастливы вы будете и безъ этого, потому что вы оба честные люди... А кто главная причина вашего счастья, кто, такъ-сказать, сауса саusalis вашего благополучія? Кто всему дѣлу былъ воротила? Кто? Вашъ покорный слуга. Не будь меня, — ты бы, Григорій Дмитріевичъ, никогда и не познакомился съ Катериной Петровной; не будь я, тебѣ бы, при твоей глупости, никогда бы и не пришла въ голову дерзновенная мысль за нее посвататься. Такъ это?

Всѣ присутствующіе молча, посредствомъ наклоненія головы, согласились съ Алексѣемъ Ивановичемъ.

— А если это такъ, то чего же я достоинъ за это? А? Я достоинъ за это пожизненной пенсіи! Ну сколько же, Григорій Дмитріевичъ, тысячъ въ годъ ты мнѣ за это положишь?

— Двѣсти тысячъ! крикнула Катенька и крикнула такъ, что можно было подумать, что у нея, послѣ этого крика, разорвется что-нибудь въ горлѣ.

— Видите, Григорій Дмитріевичъ, какъ она васъ дорого цѣнить, сказала Софья Васильевна, обращаясь къ Задольскому.

— Слишкомъ дорого, сказалъ Задольскій: у меня у самого нѣтъ такого дохода: — я могу только предложить четвертую часть суммы, предлагаемой Катериной Петровной, то-есть половину того, что получаю.

— По великодушію нашему, возгласилъ комически-торжественно Алексѣй Ивановичъ, ставъ въ трагическую позу, по великодушію или даже, можно сказать, по случаю торжественности настоящей минуты, по веледушію нашему, мы публично отказываемся отъ громадной цифры, намъ предлагаемой, хотя и признаемся, со свойственной намъ скромностью, что мы ее вполне заслужили.

— Послушай, Задольскій, продолжалъ Алексѣй Ивановичъ, подходя къ Григорію Дмитріевичу и мѣняя трагическій тонъ на

водевильный. Дай ты мнѣ шесть тысячъ... нѣтъ мало.. дай ты мнѣ семь тысячъ въ годъ да казенную квартиру у тебя въ домѣ, пожалуй хоть безъ отопленія,—и я тебѣ буду такъ благодаренъ, такъ благодаренъ, что ужъ и не знаю, что я сдѣлаю:— пожалуй даже изъ благодарности къ тебѣ остепенюсь.

— И водку перестанете пить передъ обѣдомъ? спросила Катенька.

— Сего обѣщаться не могу... А вы знаете ли, Катерина Петровна, что на одномъ изъ вселенскихъ соборовъ были прокляты и признаны еретиками тѣ, кто говорили противъ брака и вина.

— Да вѣдь они, вѣроятно, говорили собственно о виноградномъ винѣ, а не о водкѣ, замѣтила Софья Васильевна.

Алексѣй Ивановичъ молча и съ улыбкой поклонился Софѣ Васильевнѣ.

— Ну-съ, а на счетъ виноградныхъ винъ съ вашей стороны никакого препятствія не имѣется, спросилъ онъ, продолжая улыбаться.

— Къ чему вы это говорите, Алексѣй Ивановичъ?

— А къ тому-съ, что вы, ваше сіятельство, изволили устроить романъ, а эпилогъ-то къ нему придѣлать и позабыли.

— Про какой эпилогъ вы говорите?

— Оставляя въ сторону всякіе экивоки, я считаю священнымъ долгомъ вамъ напомнить, что нужно выпить за здоровье жениха и невѣсты, и потому присутствіе одной особы женскаго пола, т.-е. безутѣшной, но всѣхъ утѣшающей вдовы Клико дѣлается необходимымъ въ настоящую торжественную минуту.

— Да вѣдь мы пойдемъ сейчасъ обѣдать, и обожаемая вами особа посѣтитъ насъ за жаренымъ.

— То за жаренымъ само собой, а передъ обѣдомъ — само собой.

— Тетя Соня, ужъ вы будьте такъ добры, потѣшите Алексѣя Ивановича, велите...

Софья Васильевна велѣла и потѣшила Алексѣя Ивановича. Всѣ чокнулись и выпили по бакалу. Задольскій вдругъ взгля-

нуль на невѣсту какимъ - то особеннымъ взглядомъ — взглядомъ власть надъ ней имущаго, — и они вышли въ другую комнату.

— Ну, поцѣлуемся же наконецъ, сказалъ Григорій Дмитріевичъ, такимъ грознымъ тономъ, какъ будто поймалъ на улицѣ какого-нибудь стараго должника, который отъ него нѣсколько лѣтъ прятался и отъ котораго онъ теперь требовалъ уплаты по векселю. Онъ пригнулъ къ себѣ тонкій станъ своей невѣсты и поцѣловалъ ее... Катенька упала къ нему головой на грудь и зарыдала.

— Ахъ, милый мой, милый! шептала она прижимаясь къ его груди, какъ ты меня измучилъ! Какъ ты меня измучилъ.

— Такъ, слѣдовательно, ты меня любишь? Такъ ты любишь меня? Любишь? Что-жъ ты молчишь, отвѣчай: любишь или нѣтъ?

При послѣднихъ словахъ Катерина Петровна вдругъ сразу перестала плакать; она какъ бы внезапно уязвленная отскочила отъ жениха на нѣсколько шаговъ и обмѣривая его взоромъ, взоромъ власть имущей надъ нимъ, топнула ногой и сказала: «что-жъ это, Гришка, будетъ ли этому когда-нибудь конецъ? Вѣдь этакой ты упрямый, когда ты перестанешь приставать ко мнѣ съ этимъ словомъ?»

— А ты, упрямая, когда мнѣ отвѣтишь на мой вопросъ?

— Ахъ, несносный, ахъ, несносный! говорила, и смѣясь и сердясь, Катенька. Подними руки!.. Да не такъ, медвѣдь — ладонями ко мнѣ! Ну, бей теперь меня по рукамъ, и я тебя буду бить по рукамъ.

— Что-жъ изъ этого выйдетъ? спросилъ въ изумленіи и смущеніи Григорій Дмитріевичъ.

— Я тебѣ буду стучать по рукамъ, и ты мнѣ стучи по рукамъ... вотъ такъ... Ну говори за мной:

Je vous aime,
Faites de même—
Tour à tour!
Vive l'amour!

Р. С. Этимъ кончается романъ между моей героиней и моимъ героемъ, и авторъ, по примѣру испанскихъ писателей, *проситъ прощенья за ошибки...* Но какъ вдругъ, разомъ оторваться отъ дѣйствующихъ лицъ своего романа, съ которыми жилъ, почти совсѣмъ не ссорясь, нѣсколько мѣсяцевъ?! Нельзя не сказать о нихъ еще хоть нѣсколько словъ... Катенька и Задольскій были обвѣнчаны и жили, какъ нормальные люди не живутъ: они ухитрились какъ-то не принадлежать ни къ какой средѣ и ни къ какому сословію. Послѣ свадьбы Катенька съ Задольскимъ помѣнялись ролями: теперь уже она начала его ревновать ко всѣмъ. Вслѣдствіе этой ревности происходили между мужемъ и женой такъ называемыя сцены и громкіе разговоры на французскомъ языкѣ.

— Что же это баринъ съ барыней ссорятся что-ли? говорила въ такомъ случаѣ прислуга.

— Оставьте эфто, оставьте! отвѣчалъ обыкновенно успокоивающимъ тономъ Яковъ, который, какъ человекъ истинно сердечный, понималъ отлично, не смотря на свою глупость, всѣ сердечныя дѣла. Оставьте! Пушай ихъ промежъ себя толкуютъ: эфто-то и есть самая ясенція. (Подъ *ясенціей* Яковъ разумѣлъ истинную супружескую любовь).

Съ третьяго же дня послѣ свадьбы своей дочери повадился ѣздить къ своему зятю Петръ Васильевичъ и испивалъ у него каждый день по бутылкѣ лафиту, втайнѣ отъ Анны Васильевны. Анна Васильевна, обезпеченная и успокоенная полученіемъ наслѣдства и выдачей замужъ всѣхъ своихъ дочерей, предалась на всю жизнь собственноручному вязанью шерстяныхъ одѣялъ для своихъ маленькихъ внуковъ и внучекъ. Софья Васильевна такъ привязалась къ Катенькѣ и Задольскому, что, по старости лѣтъ, бездѣтству и разсѣянности, приняла ихъ за своихъ дѣтей и, оставивъ мужа, который оказывался ей не совсѣмъ нуженъ, поселилась у племянницы и всю жизнь спорила съ ея мужемъ о разныхъ возвышенныхъ предметахъ. Вскорѣ послѣ свадьбы Задольскаго послѣдовала свадьба Якова съ Машей. Они жили благополучно и счастливо; но Яковъ говорилъ Ма-

нѣ — вы, а Маша ему — ты. И нужно замѣтить, что она всю жизнь не могла видѣть безъ смѣха фізіономію своего мужа. Желтая собака, которой Катенька дала у себя пристанище въ Обрѣзковѣ, была съ великимъ почетомъ принята Григоріемъ Дмитріевичемъ къ себѣ въ домъ. Онъ было купилъ ей ошейникъ, шитый золотомъ, съ какой-то глубокомысленной надписью, но собака начинала такъ визжать, выть и лаять, когда надѣвали на нее этотъ ошейникъ, что ее освободили отъ такого почета. Алексѣй Ивановичъ... Алексѣй Ивановичъ... остался тѣмъ же, чѣмъ былъ до сихъ поръ. Не считаю нужнымъ много о немъ распространяться; читателямъ - москвичамъ, если они имъ интересуются, легко о немъ справиться: его можно видѣть всюду.

Такимъ образомъ, всѣ дѣйствующія лица нашего разсказа живутъ до сихъ поръ благополучно. Исключеніе за одной Зинаидой: жизнь ея прошла не безъ бурь... Надо замѣтить, что Зинаида съ дѣтства мечтала объ идеалахъ, но не о тѣхъ идеалахъ, о которыхъ мечтавъ Шиллеръ, но о свѣтскихъ идеалахъ; она съ одиннадцати лѣтъ молила Бога, чтобъ ей выдти замужъ за человѣка совершеннаго комъ-иль-фо, то-есть за человѣка, который бы необыкновенно хорошо одѣвался, былъ бы въ высшей степени фатъ и носилъ бы такіе сапоги... сапоги, которыхъ мы, по ихъ идеальной красотѣ, не можемъ и описать. И нашелся такой человѣкъ—это былъ первый франтъ и фатъ во всей имперіи, носившій именно такіе сапоги, какихъ мы не можемъ описать. Мы говоримъ о промотавшемся богатѣ князѣ Александрѣ Заблоцкомъ. Зинаида такъ влюбилась въ него за его фатство, костюмъ и неописанные нами сапоги, что вышла за него замужъ противъ желанія своей матери. Не прошло года послѣ ихъ свадьбы, какъ онъ прожилъ все женинно состояніе и пустился для пріобрѣтенія денегъ во всевозможныя мошенничества и между прочимъ въ шулерство. Его вскорѣ поймали въ поддѣлкѣ фальшивыхъ колодъ, — и графъ Закревскій (дай Богъ ему за это царство небесное) выслалъ его изъ Москвы въ какой-то очень сѣверный городъ, въ такой городъ,

гдѣ, по выраженію Якова, нѣтъ совершенно никакого климата. Зинаида, не смотря на мольбы всего ея семейства бросить негодяя-мужа, отправилась вмѣстѣ съ нимъ къ мѣсту его назначенія. Она не хотѣла взять ни копѣйки вспомоцествованія ни отъ матери, ни отъ сестры и кормила и себя и мужа своими трудами, то-есть продавая свое рукодѣлье и уча танцамъ уѣздныхъ мальчиковъ и дѣвочекъ. Мужъ ея вскорѣ умеръ отъ пьянства; она пошла въ монастырь и, говорятъ, скоро будетъ игуменьей.

ПАНСІОНЪ ДЛѢ БЛАГОРОДНЫХЪ ДѢВУЩЪ.

1860 г.

ПАНСІОНЪ ДЛЯ БЛАГОРОДНЫХЪ ДѢВИЦЪ.

I.

Почтенный родитель, увѣрившись въ бесплодности и неудобствѣ домашняго воспитанія, рѣшился отвезти свою дочь, героиню моего разсказа, въ Москву и помѣстить въ какое-нибудь заведеніе.

Слово «заведеніе», какъ извѣстно, а можетъ быть и неизвѣстно читателямъ, прилагается къ весьма многимъ предметамъ. Въ Москвѣ у насъ, куда ни взглянешь, вездѣ прочтешь надпись: *заведеніе*. Выѣски сапожныхъ, зонточныхъ, водолѣчебныхъ и прочихъ заведеній такъ и рябятъ въ глаза московскихъ прохожихъ и проѣзжихъ. Родовъ заведеній и всѣ смыслы, въ какихъ употребляется это слово, исчислять было бы слишкомъ долго и крайне неудобно; преимущественно же подъ словомъ *заведеніе* у насъ разумѣютъ трактиры и женскіе пансіоны.

Почтенный родитель подъ словомъ *заведеніе* очевидно разумѣлъ не трактиръ, а пансіонъ, ибо очень хорошо знаетъ, что въ трактирѣ трудно получить хорошее воспитаніе дѣвицъ дворянскаго происхожденія. Насчетъ же пансіоновъ онъ думалъ совершенно иначе.

Привезши дочь свою въ Москву, онъ сталъ наводить справки, который изъ частныхъ женскихъ пансіоновъ лучше; по однимъ справкамъ оказалось, что всѣ хороши, по другимъ, — что всѣ нехороши. Такія извѣстія ставили его совершенно въ тупикъ и онъ долго колебался... Онъ объѣздилъ всѣхъ своихъ родственниковъ, спрашивая у каждаго, какой самый лучший пансіонъ. Но вездѣ слышалъ только общее мнѣніе о пансіонахъ вообще,

безъ указаній на какой-нибудь изъ нихъ въ частности. Причина этому была та, что ни у кого изъ его знакомыхъ или родныхъ не было дочерей въ пансіонѣ, и потому они судили о пансіонскомъ образованіи отвлеченно, не принимая вопроса горячо къ сердцу. Одни говорили, что пансіонское образованіе хорошо тѣмъ, что дешево, что заплатишь въ годъ какую-нибудь тысячу—и покоенъ, потому что совершенно можешь забыть дочь: знаешь, что она будетъ обучена всему—и пофранцузски, и музыкѣ, и танцовать; а что платить по урокамъ несравненно дороже, что одна гувернантка стоитъ больше тысячи рублей, что гувернантки учить не могутъ, ибо по слабости своего пола, не могутъ имѣть большихъ познаній, да и притомъ никогда не уживаются въ домѣ. Другіе, напротивъ, осуждали пансіонское воспитаніе, говоря, что въ пансіонѣ дѣвочки, Богъ знаетъ, что можетъ придти въ голову, что директрисы ничего не дѣлаютъ, а берутъ только деньги.

Родитель уже хотѣлъ было отдать Анюту наудачу въ первый пансіонъ, выѣска котораго попадется ему на глаза. Но по счастью попалъ онъ какъ-то совершенно нечаянно къ одному своему дальнему родственнику, жившему гдѣ-то очень далеко на Садовой. Послѣ обмѣна обыкновенныхъ привѣтствій и воспоминаній, родитель спросилъ: не знаете ли вы, въ какой бы пансіонъ мнѣ помѣстить мою Анюту?

— О, воскликнула жена его родственника, отдайте ее къ madame Ламоть. Прекрасный пансіонъ... дочь однихъ нашихъ знакомыхъ Lise *** недавно выпущена оттуда: une très jolie personne.

— Ah oui! une très jolie personne! подхватили ея дочери...

— Une très jolie personne! грянули хоромъ всѣ присутствующія дамы.

— Une charmante personne! продолжала хозяйка и послѣ нѣкотораго молчанія заключила рѣшительно: нѣтъ, а я вамъ, право, совѣтую отдать Анюту къ madame Ламоть.

И родитель рѣшился отдать дочь свою къ madame Ламоть. *Jacta alea est.*

Онъ отправился сперва къ ней одинъ, узналъ условія, на которыхъ она принимаетъ къ себѣ благородныхъ дѣвицъ, вручилъ ей впередъ полугодовую плату и сказалъ, что чрезъ два дня привезетъ дочь. Содержательница пансіона не произвела на него никакого дурнаго впечатлѣнія; въ разговорѣ о воспитаніи она не сказала ничего особеннаго. замѣтила только мимоходомъ, что по большей части воспитанницамъ стираютъ бѣлье дома и что которымъ стираютъ въ пансіонѣ, за тѣхъ, сверхъ извѣстной платы, платятъ еще 6 рублей въ мѣсяцъ за стирку, что изъ этихъ денегъ она ничѣмъ не пользуется, а что они всѣ сполна идутъ прачкѣ. Она не получила на это никакого возраженія со стороны родителя, а напротивъ получила тутъ же за полгода впередъ за стирку бѣлья.

Наконецъ насталъ для моей героини роковой день, когда было назначено отвезти ее въ пансіонъ. Со страхомъ сѣлась она въ карету, со страхомъ всходила на крыльцо великолѣпнаго дома, надъ коимъ красовалась вывѣска: «Пансіонъ для благородныхъ дѣвицъ. Содержательница Г-жа Ламоть». Въ передней встрѣтилъ ихъ огромный швейцаръ, попросилъ въ гостиную и пошелъ доложить о нихъ своей повелительницѣ. На пути въ гостиную имъ пришлось проходить столовую, гдѣ въ это время воспитанницы пили чай. Онѣ сидѣли за безконечнымъ столомъ и принимали какую-то жидкость, походившую по наружности на липовый цвѣтъ или сотернъ. Не подалеку отъ стола, у печки стояли воспитанницы, числомъ три, наказанныя и оставленныя безъ чаю; у одной изъ нихъ въ рукахъ былъ кусокъ ржаного хлѣба, что обозначало мягкость ея характера и неумѣнье поддержать гордость и собственное достоинство въ несчастіи. Другія двѣ мужественно переносили голодъ.

При видѣ нашей героини, между воспитанницами произошло движеніе.

«Новенькая, новенькая!» раздался шепотъ по залѣ. «Кто такая, кто такая? Не знаете ли, какъ ея фамилія?» Тутъ же нашлась какая-то воспитанница, одаренная даромъ всевѣднія (необходимое лицо всѣхъ учебныхъ заведеній), взрослая, сидѣв-

шая на концѣ стола, которая объявила, что новенькая есть не кто иная, какъ дочь господина, съ которымъ пріѣхала, и что этотъ господинъ третьяго дня пріѣзжалъ къ мадамъ Ламоть и общалъ нынче привезти дочь свою. Всеѣдущая воспитанница присовокупила, что она это подслушала у дверей кабинета госпожи Ламоть. Когда она произносила это извѣстіе, — всѣ взоры обратились на нее, всѣ головки и таліи нагнулись въ ту сторону, гдѣ она сидѣла. «Что, что,—что она говорить?» раздалось со всѣхъ сторонъ: всѣ стали спрашивать, что она говорить? слова ея передавались отъ одной сосѣдки къ другой; тѣ, которыя сидѣли на противоположномъ концѣ, встали, желая поскорѣе узнать, что произнесла всеѣдущая воспитанница, и кричали, тицетно протягиваясь чрезъ столъ.

— «Что ты говоришь, Машенька?» кричала одна. — «Что она говорить?» кричала другая. — Да спроси же, Наденька, что она говорить», кричала третья, толкая сосѣдку въ бокъ.

Наконецъ извѣстіе обошло весь столъ, и всѣ успокоились, ибо всѣ узнали все, что можно было покуда узнать. Даже и наказанныя, стоявшія у печки, получили удовлетвореніе своему любопытству: онѣ имѣли надежныхъ друзей между пившими чай, и потому и имъ было послано извѣстіе о томъ, кто такая новопоступившая. Это осталось тайной развѣ только для самыхъ маленькихъ, которыя не смѣли много спрашивать. Классныя дамы не препятствовали воспитанницамъ дѣлать вопросы за чаемъ; ибо и сами занимались тѣмъ же, по любопытству, свойственному всему женскому полу. Онѣ только не довольны были тѣмъ, что извѣстія были переданы *наказаннымъ*, стоявшимъ у печки; онѣ замѣтили, по этому случаю, что съ наказанными не говорятъ, и что онѣ недостойны знать ни какихъ новостей, ибо новости могутъ знать только тѣ дѣвочки, которыя хорошо себя ведутъ.

Въ великолѣпно отдѣланной гостиной Анюту и ея отца встрѣтила сама содержательница пансіона. Здѣсь почтенный родитель новопоступившей воспитанницы, сказавъ нѣсколько общихъ мѣстъ содержательницѣ пансіона въ видѣ просьбы и

дочери, — въ видѣ наставленія, простился съ ними и уѣхалъ. Madame Ламотъ произвела новопоступившей краткій экзамень въ предметахъ, о коихъ сама не имѣла никакого понятія, и нашла, что она очень мало знаетъ и что ее нужно будетъ помѣстить въ одинъ изъ низшихъ классовъ; что ей много потребуется усилій, чтобъ догнать своихъ будущихъ совоспитанницъ, но что она увѣрена, что она будетъ стараться. Послѣ этой прокламаціи, madame Ламотъ взяла Анюту за руку и сказала: *Eh bien! mettez-vous avec ces jeunes personnes.* Съ этими словами, она отворила дверь кабинета и ввела Анюту въ рекреаціонную залу, уже наполнившуюся воспитанницами, отпившими чай. Воспитанницы представляли довольно разнообразное зрѣлище. Однѣ изъ нихъ ходили обнявшись по-двое или по-трое по комнатамъ, называя другъ друга самыми нѣжными именами; почти передъ каждой такой парой или тройкой взрослыхъ воспитанницъ, ходившихъ такимъ образомъ, видѣлась маленькая воспитанница, обращенная къ нимъ лицомъ, которая для того, чтобъ сохранить такое положеніе, должна была постоянно отступать передъ ними назадъ. Взрослые читали ей по обыкновенію мораль, или свысока всемилостивѣйше подсмѣивались надъ нею, или жалѣли ее. Она же по обыкновенію при этомъ подпрыгивала, почти-тельно улыбаясь имъ, или паясничала, въ угожденіе имъ и въ уваженіе къ ихъ старшинству. — Другія стояли у печки, и грѣясь, повѣряли другъ другу свои семейныя тайны. Не одаренныя бойкими способностями, съ блѣдными лицами, сидѣли у стѣнки и учили уроки, тщетно пользуясь рекреаціей. Четыре классныя дамы сидѣли всѣ вмѣстѣ и говорили другъ другу колкости: каждая изъ нихъ силилась доказать, что madame Ламотъ любитъ ее больше другихъ и что она надъ ними старшая.

При видѣ вновь поступившей пансіонерки, все пришло въ волненіе, сдержанное впрочемъ присутствіемъ madame Ламотъ. Она отрекомендовала ее всѣмъ присутствующимъ, объявила, въ который классъ она поступаетъ, велѣла первой ученицѣ того класса показать ей, какіе заданы уроки, и за симъ удалилась. Только что дверь за ней захлопнулась, какъ на Анюту нахлы-

нула со всѣхъ сторонъ непроходимая толпа. «Какъ фамилія? какъ фамилія?» раздалось со всѣхъ сторонъ.

Анюта сказала, — и фамилія ея повторилась по нѣскольку разъ сотнею разныхъ устъ. «А какъ зовутъ?» спросила толпа; новенькая объявила свое имя, — и слово «Анна», сейчасъ же переведенное на пансіонскій языкъ и преобразованное въ Ан-ночку, Анюту и Annete и въ другія, тому подобныя, допускаемыя и недопускаемыя грамматикою ласкательныя имена, было произнесено всѣми присутствующими устами. Но вскорѣ толпа должна была раздаться передъ четырьмя классными дамами, которыя, сказавъ, *чтобъ воспитанницы не смѣли* слишкомъ приставать къ новенькой, отвели Анюту въ сторону и *сами стали* ее разспрашивать. Разспросъ этотъ продолжался болѣе полчаса. Классныя дамы, удовлетворивъ свое любопытство, отходили отъ нея одна за другой; послѣднюю при разспросѣ осталась та, которая была хуже другихъ собою и слѣдовательно, на душѣ которой было больше праздности, и кромѣ удовлетворенія ненасытнаго любопытства никакихъ другихъ удовольствій въ жизни ей не оставалось.

Только что онѣ окончили свой разспросъ, какъ на Анюту бросилось тутъ же съ ласковыми улыбками нѣсколько воспитанницъ, которыя стояли не вдалекѣ отъ классной дамы, на караулѣ, ожидая конца разспроса, и желая прежде другихъ овладѣть дружбой и довѣренностью новопоступившей. Онѣ подхватили Анюту подъ руки, и, прорѣзываясь сквозь толпу, которая было опять хотѣла ее окружить, потащили ее къ печкѣ (главному мѣсту пансіонскаго форума), посадили тамъ и принялись разспрашивать. Анюта отвѣчала на всѣ вопросы неохотно, избѣгая короткости и боясь новыхъ знакомствъ. Но, несмотря на это, всѣ остались ею совершенно довольны и говорили другъ дружкѣ съ узаконеннымъ въ сихъ случаяхъ восторгомъ: «Ахъ, ma chère, какая она ange!»

Но раздался звонокъ. Анюта вздрогнула и съ удивленіемъ взглянула вокругъ себя. Окружавшія съ умиленіемъ и съ успокоительной улыбкой сказали, что это звонокъ, что у нихъ все дѣлается по звонку, и что теперь надо идти къ ужину.

Пошли въ столовую. При занятіи мѣстъ, всѣ тѣснились и рвались, какъ бы сѣсть поближе къ новопоступившей, причѣмъ бранились, толкались и даже, несмотря на нѣжность пола, подбивали другъ друга пинками въ спину. За столомъ всѣ взоры были обращены на Анюту, всѣ перегибались въ ту сторону, гдѣ она сидѣла, посылали ей, не смотря ни на какое разстояніе, вопросы, привѣтствія и совѣты. Аня была въ такомъ дурномъ состояніи духа, что даже не ѣла ничего отъ внутренняго волненія, чѣмъ и возбудила всеобщее сожалѣніе. «Ахъ, та chère! раздалось отсюда, она ничего не ѣстъ! Бѣдняжка!» Всѣ ей совѣтывали ѣсть. Одна полненькая блондинка, съ здоровымъ цвѣтомъ лица и съ веселой и добродушной фізіономіей, сидѣвшая противъ нея, сказала ей съ участіемъ: «Напрасно вы не ѣдите. Вы, можетъ быть, не привыкли къ такимъ сквернымъ кушаньямъ. Но у насъ сегодня ужинъ еще слишкомъ хорошъ, противъ обыкновеннаго, а то бываетъ такой гадкій, что и въ ротъ нельзя взять; да съ голоду все — таки ѣдимъ.» Сидѣвшая рядомъ съ ней, худая, блѣдная, серьезная и уже взрослая дѣвица замѣтила блондинкѣ, что подобныя вещи не слѣдуетъ говорить маленькой дѣвчонкѣ, что такая дѣвчонка должна быть довольна тѣмъ, что ей даютъ, что молоденькая дѣвчонка не должна знать, какое кушанье худо, какое хорошо; что для нея и пансіонскій столъ слишкомъ хорошъ, и что ее по настоящему нужно бы кормить чернымъ хлѣбомъ да водой. Живая, хорошенькая блондинка, пораженная благоразумной рѣчью своей худой и блѣднолицей подруги, сконфузилась, покраснѣла и потупила взоръ въ тарелку. Слова ея были переданы madame Ламоть, за что та заставила ее сорокъ разъ сряду написать глаголь *gesevoir* со всѣми его формами.

По окончаніи ужина madame Ламоть подошла къ Анютѣ и замѣтила ей довольно строгимъ тономъ, «*qu'elle a tort de ne rien manger, que la table est très bonne et qu'une petite fille de son âge—bien portante, doit toujours avoir un bon appetit.*» Послѣ ужина и по прошествіи краткой рекреаціи, зазвонили къ молитвѣ.

Всѣ выстроились вдоль стѣны; одна воспитанница выступила впередъ и начала читать вслухъ молитву. Другія молились про себя. Молитвы были разныя. Одна просила Бога, чтобъ ее взяли въ субботу домой, другая, — чтобъ Богъ помогъ ей къ уразумѣнію наукъ, третья—чтобъ ее завтра не спросили урока, четвертая, — чтобъ пансіонъ сгорѣлъ въ самомъ непродолжительномъ времени, и т. д. По окончаніи молитвы, всѣ пошли наверхъ въ дортуары. М-е Ламоть указала мѣсто, гдѣ должна спать новая воспитанница, замѣтивъ ей, что она должна спать смирно и что послѣ молитвы говорить не слѣдуетъ. Только что madame Ламоть вышла изъ дортуара, какъ воспитанницы окружили Анюту и стали опять ее разспрашивать.

— Далеко ли ваша деревня отъ Москвы? спросила ее одна.

— Умѣете ли вы пѣть? спросила другая.

— Будутъ ли васъ брать по субботамъ домой? спросила третья.

— Есть ли у васъ въ деревнѣ рѣка? спросила четвертая.

— Есть ли церковь? заботливо спросила пятая.

— Какое имя вы больше любите? закричала съ другаго конца дортуара шестая.

— Послушайте, есть у васъ брать? сказала тихо седьмая, подсаживаясь на кровать Анюты и обнимая ее.

— Есть, проговорила наконецъ та.

— Великъ?

— Да.

— Ахъ, послушайте, сколько ему лѣтъ?

— Восемнадцать.

— Гдѣ же онъ теперь?

— Въ университетѣ.

— Въ университетѣ!!! Ахъ, онъ вѣрно учится полатынѣ! Счастливые мужчины, они знаютъ полатынѣ.

— Ахъ, у васъ есть братецъ! вскрикнула восьмая, вскочивъ съ постели и подбѣжавъ къ Анютѣ.

— Хорошъ онъ лицомъ? продолжала она.

Анюта молчала.

— Похожъ онъ на васъ?

— Не знаю.

— Онъ похожъ на васъ, mon ange! продолжала вопросительница и заключила эту фразу самымъ продолжительнымъ подѣлуемъ.

Вопросамъ не было бы конца, еслибъ одна изъ воспитанницъ, постарше другихъ, не закричала довольно строго: «что вы, mesdames, пристали къ ней? вы видите, что ей спать хочется.»

Но Анютѣ совсѣмъ было не до сна.

II.

Оставимъ на время Анюту въ дортуарѣ, и посмотримъ хорошенько вокругъ нея, — взглянемъ, что за пансіонъ, куда она попала?

Madame Ламоть, содержательница описываемаго нами пансіона, была француженка, привезенная въ Россію еще въ малолѣтствѣ. Отецъ ея былъ выписанъ въ учителя въ одинъ очень богатый и знатный домъ, въ которомъ по этому случаю м-мъ Ламоть суждено было провести дѣтство, присмотрѣться къ нравамъ и обычаямъ русскихъ дворянъ и постичь ихъ потребности. Отцу ея удалось обворовать библіотеку господина, у котораго онъ жилъ. Поэтому, когда господинъ этотъ умеръ, наставникъ дѣтей его открылъ книжную лавку. Сперва дѣла его шли очень хорошо: у него были многочисленные кліенты, ибо всѣ, знавшіе того барина, у котораго онъ жилъ (а барину извѣстна была почти вся Москва), знали и его, и потому изъ любопытства брали у него книги, имъ казалось диковиннымъ, что гувернеръ сдѣлался книгопродавцемъ, и они хотѣли попробовать покупать у него книги, желая знать, что изъ этого выйдетъ. Но крайняя недобросовѣстность господина Ламоть скоро обнаружилась въ дороговизнѣ книгъ и неаккуратности исполненія требованій иногородныхъ покупателей. Отъ того дѣла его пошли плохо, такъ что послѣ его смерти оказалась куча долговъ. Книжную лавку купилъ его главный приказчикъ,

молодой человекъ 23-хъ лѣтъ, но по характеру своему, по солидности и опытности не уступавшій 58-лѣтнему старцу, никогда не носившій ничего кромѣ фрака, не употреблявшій крѣпкихъ напитковъ и всегда обстриженный подъ гребенку.

Однако дочери господина Ламоть остался небольшой капиталъ. Она рѣшилась на доставшіяся ей деньги открыть пансіонъ, что и сдѣлала, и съ тѣхъ поръ, хотя и не была замужемъ, стала именоваться *madame* Ламоть, впрочемъ, какъ говорятъ, не безъ нѣкотораго основанія.

Взглядъ на педагогію у *madame* Ламоть былъ самый простой. Существованіе науки только для науки — и «самодѣльность» науки для нея не существовали. Выраженіе Сенеки, что наука существуетъ «*non ad rapem lucrandum*», не для насущнаго хлѣба, ей не было извѣстно; но еслибъ она и знала его, то не выказала бы къ нему сочувствія. Напротивъ того она думала, что наука только для того и существуетъ, чтобъ кормить учителей да гувернантокъ вообще, а ее въ особенности. На основаніи таковыхъ началъ, она вела свою пансіонскую дѣятельность. Постигая въ совершенствѣ взглядъ на воспитаніе русскаго общества и педагогическія познанія и требованія російскихъ родителей, она почти совсѣмъ не заботилась о томъ, какъ преподаются науки въ ея пансіонѣ, а хлопотала только о внѣшнемъ блескѣ своего заведенія и о выправкѣ воспитанницъ. Съ этой цѣлью нанимала она огромный и великолѣпный домъ на одной изъ главныхъ московскихъ улицъ, выходила изъ себя, ежели замѣчала хоть одно пятнышко на платьѣ или фартукѣ воспитанницы, и собственноручно и очень больно толкала воспитанницу въ спину, когда замѣчала, что та горбится. Въ отношеніи же наукъ, главнѣйшее вниманіе было обращено на такіе предметы, успѣхъ въ которыхъ рѣзко обозначается и бросается въ глаза родителямъ и публикѣ. Такъ главнѣйшее вниманіе было обращено на танцы, потому что они больше всего способствуютъ къ выправкѣ молодыхъ дѣвушекъ и всего удобнѣе пускаютъ пыль въ глаза родителей на актѣ. Ибо когда какая-нибудь воспитанница на торжественномъ актѣ танцевала

качучу, и зрители восхищались ею, говоря: «qu'elle est jolie cette petite!» madame Ламоть знала, какъ радовалось сердце родителей танцовавшей дѣвочки, и какъ было завидно знакомымъ ея родителей. которыхъ дочь воспитывалась дома и даже не умѣла еще танцовать и кадрили, не говоря уже о полькѣ и вальсѣ. Madame Ламоть знала и то, что плоды такой зависти были благотворны, и что взбѣшенные родители отдавали свою дочь къ ней въ пансіонъ.

Вовторыхъ было обращено вниманіе на рисованіе: ибо сердце родителей радуется, а ихъ знакомыхъ грустно сжимается, когда въ именины папеньки дочь подноситъ ему картину «собственнаго» рисованія, изображающую лягавую собаку или швейцарскій видъ, нарисованные учителемъ.

Такія апокрифическія собственныя произведенія воспитанницъ г-жи Ламоть выставлялись цѣлыми сотнями на актѣ *paduvandi causa*. При видѣ сихъ высокихъ произведеній искусства, родители плакали, посторонніе ахали или терзались завистью, madame Ламоть торжествовала свою побѣду надъ сердцами и карманами, а воспитанницы краснѣли, — тѣ, которыя были постарше, отъ самодовольствія, а маленькія отъ стыда и угрызений совѣсти. Одна очень важная дама, имѣвшая вліяніе на пансіонскія дѣла, присутствуя однажды самолично на такомъ торжественномъ созерцаніи образцовъ пансіонскаго художества, пришла въ такой восторгъ отъ одной картины, что изъявила желаніе познакомиться съ юною художницею.

— У васъ очень миленькій талантъ, моя милая, сказала она воспитанницѣ, когда ту подвели къ ней. Я надѣюсь, что вы не откажетесь познакомиться съ моею дочерью, которая тоже очень недурно рисуетъ. Я за вами приплю на дняхъ карету.

И дѣйствительно она вскорѣ прислала за ней и познакомилась съ своею дочерью. Дочь, по приказанію матери, принесла свой альбомъ и просила молодую художницу нарисовать что-нибудь. Но художница покраснѣла и призналась, что она отроду ничего подобнаго не рисовала и что ея картина нарисована учителемъ.

Этотъ отвѣтъ чуть было не погубилъ г-жу Ламоть, потому что важная дама разсердилась... Но къ счастью какъ-то открылось, что и ея дочь такимъ же способомъ рисуетъ свои картины. Дама успокоилась и порѣшила, что видно такъ и должно вездѣ и всегда учить рисованью.

Кромѣ танцевъ и живописи, было у г-жи Ламоть еще средство пускать пыль въ глаза родителямъ и публикѣ. На каждомъ актѣ воспитанницы произносили наизусть стихи, и такъ какъ для этого выбирались самыя хорошенькія, то эффектъ былъ поразителенъ. Дѣвочки очень задолго готовились къ этому произношенію и мѣсяцевъ по шести долбили, подъ руководствомъ своихъ учителей, какихъ-нибудь 30 строкъ изъ Расина или Мольера.

Когда маленькая воспитанница произносила на актѣ стихотвореніе въ 20 стиховъ, то зрители удивлялись ея уму и памяти, и потомъ, расхваливая пансіонъ Г-жи Ламоть, говорили: *«figurez vous: une petite de cet âge (при этомъ они показывали рукою ростъ дѣвочки) qui vous récite des vers de Racine»*. Слушавшіе подобные рассказы удивлялись педагогическимъ способностямъ г-жи Ламоть — и репутація ея заведенія все росла и росла. Послѣ рисованія, произношенія стиховъ и танцевъ, главнѣйшее вниманіе было обращено на французскій языкъ, ибо нынче всѣ говорятъ по-французски, и «безъ французскаго языка нельзя;» потомъ главное мѣсто между предметами преподаванія занимало чистописаніе. Послѣ чистописанія слѣдовали музыка и русскій языкъ. Послѣ этого уже слѣдовали третьестепенные предметы.

Вообще госпожа Ламоть не очень любила и уважала науки. Она даже не очень-то хорошо смотрѣла на тѣхъ воспитанницъ, которыя *слишкомъ* хорошо учились. Особенно не любила она тѣхъ, которыя много читаютъ. Много читать по-французски она еще не считала такимъ важнымъ грѣхомъ, какъ много читать по-русски. Госпожа Ламоть ничего такъ не ненавидѣла, какъ русскую литературу и русскій языкъ. Она была очень дурнаго мнѣнія о тѣхъ воспитанницахъ, которыя много читаютъ по-русски, говорила, что онѣ *слишкомъ* умны для своего воз-

раста и что маленькая дѣвочка не должна быть умна, но должна быть только послушна. Она любила тѣхъ воспитанницъ, которыя больше рѣзвятся, но терпѣть не могла серьезныхъ.

При оцѣнкѣ воспитанницъ она принимала въ соображеніе не ученіе, но вещи, совершенно не касающіяся до науки. Она рассортировывала ученицъ на классы не по степени ихъ познаній, но по числу лѣтъ, поведенію, росту, тѣлосложенію и даже по силѣ; больше же всего брала она въ соображеніе происхожденіе и состояніе и въ особенности качество и количество добровольныхъ приношеній отъ родителей. Ибо справедливость требуетъ замѣтить, что г-жа Ламоть нисколько не гнушалась подарками. Къ ея именинамъ и рожденію воспитанницы обязаны были дѣлать складчину и подносить ей подарокъ, какъ выраженіе своей любви и признательности. Кромѣ этихъ подарковъ на «Антон», она брала и на «Онуфрія». Одна изъ классныхъ дамъ (ея любимица) завѣдывала семи добродотными приношеніями, и она-то часто внушала то той, то другой изъ воспитанницъ, что у м-те Ламоть не достаетъ того-то и того-то, и что весьма было бы деликатно съ ихъ стороны сообщить объ этомъ родителямъ. Разумѣется, что при этихъ внушеніяхъ классная дама не забывала и о собственныхъ нуждахъ, а потому и въ ея руки не мало перепадало разныхъ приношеній. Воспитанницы, дѣлавшія самыя большія приношенія г-жѣ Ламоть, были на самомъ хорошемъ счету и пользовались различными привилегіями: онѣ часто приглашались въ гостиную директрисы и получали въ награду за прилежаніе самыя роскошныя дѣтскія изданія. Не дѣлавшія же никакихъ подарковъ назывались грубіанками и лѣнивыми. Что касается до *гратисокъ*, (*) то съ ними м-те Ламоть обращалась, какъ съ паріями.

Дисциплина въ ея пансіонѣ не была слишкомъ стрѣнительна. Въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ запрещается покупать

(*) Гратисками на пансіонскомъ языкѣ называются бѣдныя дѣвочки, которыхъ пансіоны обязаны воспитывать даромъ (*gratis*).

съдобное, но madame Ламоть этого дѣлать своимъ воспитанницамъ не запрещала, однако позволяла имъ покупать только то, что сама любила ѣсть.

Оттого строго было запрещено покупать сахарные стручки, макъ съ медомъ, моченыя груши и проч., какъ предметы тривіальные и неприличные для употребленія благородныхъ дѣвицъ. Обыкновенно, когда madame Ламоть находила у воспитанницы что-нибудь изъ запрещенныхъ лакомствъ, то отнимала все *сполна* и приказывала отдать *дворнику*; а воспитанница подвергалась строгому наказанію.

Когда же воспитанница покупала что нибудь позволительное (конфеты, мармеладъ, шоколадъ, апельсины и тому подобное), то madame Ламоть являлась съ корзиночкой къ этой воспитанницѣ, и говоря: *voilà, qu'est-ce que vous avez là?* отсыпала себѣ половину того, что находила; приносила свою добычу въ кабинетъ и запирала въ нижній ящикъ комода, гдѣ это лежало до воскресенья. Въ воскресенье у нея бывали гости, и она ихъ радушно подчивала всѣмъ, что приобрѣла въ продолженіе недѣли.

Вслѣдствіе этого строго было воспрещено воспитанницамъ покупать съдобное тайно, и ослушницы такого постановленія строго наказывались. Такъ однажды, госпожа Ламоть узнала, что одна воспитанница съѣла потихоньку отъ нея 20 штукъ карамели; она ее строго наказала за *скрытность въ характеръ*, и потомъ говорила родителямъ ея, что дочь ихъ была бы всѣмъ хороша, «еслибъ у нея было болѣе искреннее сердце.» Госпожа Ламоть строго смотрѣла за нравственностью ввѣренныхъ ей воспитанницъ, и съ этой цѣлію имѣла прекрасное обыкновеніе распечатывать письма какъ тѣ, которыя писали воспитанницы, такъ и тѣ, которыя онѣ получали. Получаемыя письма она весьма искусно подпечатывала по прочтеніи. Ежели же ей не удавалось подпечатать, то она приносила къ воспитанницѣ письмо распечатаннымъ, говоря, что такъ оно и получено. Разъ она распечатала исходящее письмо одной воспитанницы. Та между прочимъ писала въ провинцію своимъ родителямъ слѣ-

дующее: «Любезные папенька и маменька! мнѣ здѣсь очень дурно. Насъ здѣсь прескверно кормятъ. Намъ даютъ тухлую рыбу.» Госпожа Ламотъ приставила къ нѣкоторымъ словамъ частицу *не* и переправила весь этотъ пассажъ слѣдующимъ образомъ: «Любезные папенька и маменька! мнѣ здѣсь очень *не* дурно. Насъ здѣсь *не* прескверно кормятъ. Намъ *не* даютъ тухлую рыбу, а я сама скверная, непослушная дѣвочка.»

Родители очень удивились странному слогу письма, и въ то же время пришли въ умиленіе отъ необыкновенной искренности своей дочери, вслѣдствіе чего прислали ей въ подарокъ 25 рублей.

Такова или почти такова въ главныхъ чертахъ характеристика учебнаго заведенія г-жи Ламотъ.

Анюта пробывъ въ этомъ заведеніи цѣлыхъ четыре года; но такъ какъ за нее очень хорошо платили и дарили директрису, и такъ какъ сія послѣдняя ей сильно протезировала, то она здѣсь почти ни чему не выучилась. Впрочемъ она узнала, къ крайнему своему удивленію, что Ромула и Рема вскормила волчица, что звѣзды — не звѣзды, а только кажутся звѣздами т.-е. съ зубчиками; что металлы раздѣляются на благородные и неблагородные, что земля вертится вокругъ солнца и что Галилей по этому случаю топнулъ ногой.

О ПОЭЗИИ ПУШКИНА.

1858 г.

О ПОЭЗИИ ПУШКИНА.

Едва ли есть писатель, который бы полнѣе и чище Пушкина представлялъ собою типъ поэта. Почти у всѣхъ великихъ поэтовъ, кромѣ дара поэзіи, есть еще другія права на славу; почти каждый изъ нихъ примѣшивалъ въ свою поэзію стихи изъ другихъ областей духовной дѣятельности и къ сану поэта присоединялъ какой-нибудь другой санъ, равно почетный или даже почетнѣйшій. Одинъ Пушкинъ являлся для своего народа не больше какъ простымъ пѣвцомъ. Эту особенность одни ставили ему въ недостатокъ, за что и порицали, — другіе извиняли ее обстоятельствами; замѣтили же ее всѣ. Бѣлинскій въ своихъ статьяхъ о Пушкинѣ, сопоставляя его съ другими великими поэтами и находя, что каждый изъ нихъ въ твореніяхъ своихъ служилъ не исключительно одной поэзіи, видитъ въ твореніяхъ Пушкина только одно чистое художество. Почти тоже самое высказалъ и Гоголь. Представивъ ярко и опредѣленно характеристики всѣхъ поэтовъ, онъ отказывается начертать образъ Пушкина, и говорить, что въ поэзіи его невозможно уловить личность поэта.

Желая по возможности объяснить эту особенность Пушкина не духомъ его эпохи, а условіями самой его природы, мы, по примѣру упомянутыхъ писателей, сравнимъ предварительно нашего поэта съ нѣкоторыми изъ западныхъ его собратій.

I.

Давно всѣмъ извѣстна истина, что у каждаго поэта есть своя особенность, которою онъ отличается отъ всѣхъ другихъ поэтовъ: эту особенность въ нашей литературѣ принято называть *пафосомъ* (страстью). И дѣйствительно, особенность каждаго поэта обуславливается той страстью или склонностью, которая преобладала въ немъ надъ прочими склонностями и была главнымъ источникомъ его поэзіи. Какъ бы ни были разнообразны произведенія поэта, какъ бы ни были противоположны ощущенія, въ нихъ выраженные, вы всегда можете открыть между ними внутреннюю связь, въ которой примиряются всѣ противорѣчія,—отыскать ихъ общій источникъ. Тогда вы увидите, что всѣ разнообразные чувства, всѣ противорѣчащія мысли, выраженные въ произведеніяхъ поэта, суть не что иное, какъ развитіе, объясненіе одной любимой, задушевной мысли поэта. Вспомните любаго изъ поэтовъ, и передъ вами въ ту же минуту въ яркихъ чертахъ мелькнетъ его особенность. При мысли о поэзіи Байрона, представляется неукротимая ненависть ко всему обыкновенному, будничному въ жизни. Такъ какъ эта ненависть выражалась въ постоянномъ ропотѣ на все окружающее, то многіе думаютъ, что недовольство жизнью, которымъ звучитъ его поэзія, происходило отъ недовольства эпохой, въ которую онъ жилъ. Это мнѣніе, кажется, раздѣлялъ онъ и самъ, или по крайней мѣрѣ показывалъ видъ, что раздѣляетъ. Но стоитъ только вспомнить частную жизнь поэта, чтобъ убѣдиться, что недовольство жизнью было въ его природѣ, что въ какомъ бы блаженномъ краю и въ какія бы блаженные времена онъ ни родился, его поэзія звучала бы ропотомъ на жизнь и людей и душа его тосковала бы по прошедшимъ временамъ и стремилась бы къ грядущимъ. Что, какъ не страсть ко всему необыкновенному, стремленіе все дѣлать наперекоръ толпѣ и обычаямъ, — вызывало его на разныя уродливыя эксцентричности; изъ чего, какъ не изъ желанія казаться необыкновеннымъ, не

похожимъ на другихъ, надѣвалъ онъ разныя личины и старался выдавать себя за злодѣя? Что, какъ не боязнь сдѣлаться похожимъ на обыкновеннаго человѣка, заставило его пить уксусъ, когда онъ замѣтилъ, что начинается толстѣть? Съ такими стремленіями, разумѣется, никогда не можетъ гармонировать дѣйствительность, — и вотъ гдѣ источникъ чувства недовольства, разлитаго въ его поэзіи. Вотъ отчего всѣ его дѣйствующія лица томятся вѣчной тоской по *чѣмъ-то*; вотъ отчего они всегда поставлены въ такія необыкновенныя, изысканныя, эксцентричныя положенія.

Печать совершенно иной особенности лежитъ на произведеніяхъ другаго великаго поэта — представителя Германіи — Гёте. Поэзія его проникнута безмятежнымъ спокойствіемъ и довольствомъ жизнію. Источникъ этихъ чувствъ — твердая увѣренность въ силѣ своего разума, непоколебимая вѣра въ могущество человѣческой мысли, глубокое знаніе и пониманіе всѣхъ явленій и законовъ нравственнаго и физическаго міра. Разумъ Гёте былъ такъ проникателенъ, до того просвѣтленъ наукой, что въ видимомъ мірѣ для него ничего не оставалось, или по крайней мѣрѣ, не казалось тайной. Наука разоблачила передъ нимъ законы творчества и ввела его въ сокровеннѣйшіе тайники души человѣческой; осмыслила для него всѣ міровыя событія, приблизила къ нему самыя отдаленныя времена и сблизила его съ чуждыми для всѣхъ народами; разоблачила передъ нимъ тайны природы, словомъ, не оставила ничего не объясненнымъ, не оставила въ душѣ поэта ничего, чтобы могло располагать его къ сомнѣнію. Вотъ почему онъ глядѣлъ на все съ такимъ невозмутимымъ спокойствіемъ. И что могло его безпокоить, чѣмъ онъ могъ возмущаться? Онъ все разгадалъ, все постигъ, всему отыскалъ значеніе. Никакое явленіе не могло смутить или озадачить его. Оно или уже заранѣе было имъ предвидѣно, или онъ надѣялся разгадать его, полагаясь на силы разума и науки. Онъ во всемъ видѣлъ вѣчныя, неизмѣнныя, цѣлесообразныя законы природы. Есть поэты, которые больше Гёте привязаны къ природѣ, но никто такъ не благоговѣлъ

передъ ея законами, какъ онъ. Онъ обожаетъ въ ней «всепримиряющую и всеисцѣляющую» силу, во всемъ видитъ ея неоодолимую власть и во всемъ покоряется ей безъ ропота. Оттого и въ частной жизни онъ ни чѣмъ не возмущался и могъ ужитья со всякимъ обстоятельствомъ, въ спокойной увѣренности, что все случившееся должно было случиться! Міръ со всѣмъ окружающимъ царствовалъ въ душѣ его и отражался на его наружности.

Какъ предметомъ благоговѣнія Гёте были неизмѣнные, непреложные законы природы, такъ для Шиллера духъ человѣческій былъ предметомъ безконечнаго, напряженнаго восторга. Духъ человѣческій, вѣчно борящійся съ случайностями и вѣчно одолюющій ихъ, вѣчная любовь, не затмѣваемая ни какими расчетами, не ослабѣвающая ни отъ какихъ неудачъ, чистая, безкорыстная дружба, всегда готовая на самопожертвованіе: вотъ мотивы, проходящіе черезъ всѣ его пѣсни. Какъ Гёте вѣрилъ въ разумность всего существующаго, такъ Шиллеръ вѣрилъ въ доблесть человѣческую, въ способность человѣка къ героизму и подвигамъ, въ возможность совершенной, идеальной чистоты душевной. Конечно онъ не могъ видѣть въ примѣрахъ всеневной, будничной жизни доказательства своей теоріи, подобно Гёте, но и не могъ, въ равной степени съ Байрономъ, возмущаться прозой жизни и впасть въ разочарованіе и скептицизмъ: отъ этого его спасала пламенная вѣра въ достоинство человѣка. Какъ бы ни было низко и возмутительно все окружающее его, онъ всегда вѣрилъ въ возможность праздничныхъ явленій жизни, вѣрилъ, что были, есть и всегда будутъ истинные представители человѣчества, представители его лицевой стороны, то-есть того, чѣмъ долженъ быть человѣкъ. Подтвержденіе своей вѣрѣ онъ видѣлъ и въ исторіи, и въ лучшихъ людяхъ своего вѣка, и въ своей собственной личности. Такимъ образомъ два чувства боролись въ душѣ поэта: недовольство всеневной жизнью и вѣра въ идеалъ, но послѣднее у него всегда одерживаетъ верхъ. Оттого въ его поэзіи только два главныхъ оттѣнка: грусть и восторгъ (спокойное воззрѣніе на

жизнь не было его удѣломъ). Но какимъ бы грустнымъ мотивомъ ни началась его пѣснь, грусть всегда разрѣшается торжественно-радостнымъ финаломъ. Нигдѣ такъ ясно не выразились душевное настроеніе Шиллера и его воззрѣніе на жизнь, какъ въ его первыхъ драмахъ. Въ нихъ изображается столкновение двухъ совершенно различныхъ сторонъ жизни — высокой и низкой, — поэзіи и прозы. Каждая сторона имѣетъ своихъ представителей между дѣйствующими лицами. Представителями высокой стороны жизни являются герои драмы, люди необыкновенные, съ безукоризненно-чистыми стремленіями. Выраженіемъ противоположнаго начала являются представители толпы, люди, дѣйствующіе по внушенію мелкихъ эгоистическихъ расчетовъ. Между ними открывается борьба, всегда кончающаяся внѣшнимъ торжествомъ злаго и внутреннимъ торжествомъ добраго начала. Фердинандъ и Луиза погибаютъ жертвой интригъ и низкихъ расчетовъ толпы. Но это только внѣшняя побѣда зла, ибо они погибли оттого, что остались чисты, благородны — идеальны.

Итакъ мы видимъ, что поэтическія фізіономіи трехъ главныхъ европейскихъ лириковъ носятъ рѣзкую опредѣленность въ выраженіи. Каждый изъ нихъ въ произведеніяхъ своихъ опредѣлительно выразилъ направленіе, которому слѣдовалъ, идею, которой служилъ; каждый не только доставлялъ читателю одно художественное наслажденіе, но и разрѣшалъ передъ нимъ нравственные и другіе жизненные вопросы, и потому имѣлъ вліяніе на понятія своего вѣка. Нужно замѣтить, что поэты, о которыхъ мы говоримъ, служили чистому искусству и не употребляли свою лиру для какихъ-либо постороннихъ цѣлей. Что касается до стихотворцевъ, писавшихъ съ прямымъ намѣреніемъ исправлять нравы, преобразовать общество, распространять благія идеи или просто полезныя свѣдѣнія и пр., то направленія ихъ еще опредѣленнѣе и могутъ назваться просто системами.

Переходя отъ великихъ западныхъ поэтовъ къ великому поэту нашего отечества и окидывая взглядомъ его творенія, въ недоумѣніи спрашиваемъ себя: въ чемъ же состояло его на-

правленіе?—Его муза не отличается рѣзко-опредѣленнымъ выраженіемъ лица; фizioномія ея не поражаетъ съ перваго разу никакой особенностію — ни слишкомъ сильнымъ впечаткомъ мысли, ни страстностію, ни восторженностію, ни меланхоліей; одежда ея не бросается въ глаза ни особеннымъ богатствомъ, ни яркостію, ни изысканной простотою, и вообще ни какимъ, да простятъ намъ выраженіе, *шикомъ*. Муза Пушкина посреди другихъ музъ является тѣмъ же, чѣмъ является простой свѣтскій человѣкъ въ обществѣ эксцентриковъ, чѣмъ явилась бы свѣтская Татьяна въ обществѣ *великихъ* женщинъ — обществѣ госпожъ Сталь, Роланъ, Дюдеванъ и пр. Между тѣмъ какъ беседа другихъ поражала бы великими идеями, сверкала юморомъ, потрясала восторгомъ или наводила ужасъ, ея рѣчь лилась бы тихо, не поражая ничѣмъ, лишь успокоивая душу собесѣдниковъ и наполняя ее неизъяснимо-сладкими впечатлѣніями.

„Все тихо, просто было въ ней:
Она казалась вѣрный снимокъ
Du comme il faut...“

Въ самомъ дѣлѣ въ поэзіи Пушкина почти невозможно уловить его направленіе. У всякаго лирическаго поэта есть *любимыя мысли* *), проглядывающія во всѣхъ его произведеніяхъ, есть своя *idée fixe*, свой конекъ. У Пушкина нѣтъ любимыхъ мыслей; въ произведеніяхъ его даже не выражается преобладающая страсть или наклонность поэта: вы не узнаете изъ нихъ его убѣжденій и не составите по нимъ опредѣленнаго понятія объ его характерѣ. Въ его поэзіи высказывается много мыслей, много взглядовъ на различные предметы, но изъ свода этихъ мыслей и взглядовъ не выведешь итога убѣжденіямъ поэта. Много также въ своихъ произведеніяхъ поэтъ говоритъ о самомъ себѣ, о страстяхъ, его волновавшихъ, о своихъ наклонностяхъ и привычкахъ; но всѣ эти свѣдѣнія такъ разнообразны, такъ отрывочны, что изъ нихъ узнаешь только, что поэту случалось часто и пламенно любить, что однѣ изъ его страст-

* Выраженіе Пушкина.

ныхъ привязанностей изгладились въ его душѣ, другія остались въ ней на-вѣки, что изъ «годовыхъ временъ» онъ любилъ осень, что любилъ устрицы, «слегка обрызнутыя лимономъ», что сперва пилъ шампанское, а потомъ бордо. Но напрасно бы вы стали искать, какая главная страсть, направляющая всѣ другія страсти, жила въ душѣ его, что было цѣлью его жизни.

Эту особенность поэзіи Пушкина нѣкоторымъ приходило въ голову объяснять такъ-называемою объективностью поэта, отсутствіемъ въ немъ лиризма. Ошибка, проистекающая отъ односторонняго понятія, которое у насъ составилось объ лиризмѣ. При словѣ «лиризмъ», не премѣнно представляютъ себѣ что-то необузданное — бурныя страсти, рѣзкія, громкія фразы и тому подобное, а при словѣ «лирикъ» воображаютъ человѣка, или восторженнаго до изступленія, или одержимаго такъ-называемымъ демоническимъ началомъ: буйнаго, дерзкаго и способнаго на все. Это понятіе составилось кажется потому, что лучшіе лирики по большей части дѣйствительно нисколько не отличались спокойствіемъ въ своихъ произведеніяхъ, а напротивъ выражали въ нихъ или напряженный восторгъ, или необузданно-буйныя страсти и безпокойныя мысли, или безпощадный скептицизмъ. Въ сравненіи съ этими рѣзко-выступающими въ поэзіи личностями, Пушкинъ можетъ показаться блѣдень, безличенъ. Поэзія ихъ кипитъ страстями, восторгомъ: все въ ней ярко, выпукло; все задѣваетъ прямо за живое. У Пушкина нѣтъ ничего рѣзкаго, угловатаго; нѣтъ ничего потрясающаго нервы, раздражающаго мысль или воспаляющаго воображеніе. Напротивъ: все въ его поэзіи ровно, гладко и спокойно; все въ ней въ мѣру, во всемъ видна какая-то сдержанность. Но это нисколько не отнимаетъ у Пушкина права на названіе лирика. Если подъ лирикой всѣ разумѣютъ такъ-называемую *субъективность*, то-есть выраженіе личности поэта, отчего же въ поэзіи Пушкина не искать его отраженія? Пускай въ его поэзіи неуловима страсть, вдохновлявшая ее — мысль и цѣль, для которыхъ она воплощалась. Но уловлено ли все это въ самой его жизни, начертанъ ли его образъ, какъ человѣка? Какая

страсть преобладала въ немъ, какая мысль приводила въ движеніе его умъ, для чего онъ жилъ, къ чему стремился? А между тѣмъ страсти и мысли кипѣли въ немъ, и онъ все стремился и шелъ впередъ и впередъ. Но къ чему же онъ стремился? Что влекло его? Что было цѣлью его поэзіи. Прислушаемся къ его звукамъ. Можетъ быть мы узнаемъ, куда рвалась душа поэта и чѣмъ увлекаетъ она насъ за собой:

„Послѣдняя туча разсѣянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тѣнь,
Одна ты печалишь ликующій день.

„Ты небо недавно кругомъ облежала,
И молнія грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный громъ
И алчную землю поила дождемъ.

„Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля оживилась, и буря прочалась,
И вѣтеръ, лаская листочки деревьевъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонять небесъ.“

Что такое эти сладкіе звуки? Что хочетъ ими сказать поэтъ? Не знаемъ, что именно, но чувствуемъ, что онъ хочетъ что-то высказать. Но послушаемъ его еще: не яснѣе ли будетъ намъ его намѣреніе:

„Зачѣмъ ты, грозный аквилонъ,
Тростникъ болотный долу клонишь?
Зачѣмъ на дальній небосклонъ
Ты облако столь гнѣвно гонишь?

„Недавно черныхъ тучъ грядой
Сводъ неба глухо облегался;
Недавно дубъ надъ высотой
Въ краѣ надменной величался.

„Но ты поднялся, ты выгралъ,
Ты прошумѣлъ грозой и славой:
И бурно тучи разогналъ
И дубъ низвергнулъ величавый.“

Какая сила, какая гармонія! Какую радость, какую бодрость, готовность вдыхаютъ въ душу эти звуки. Но можно обратиться къ самому поэту вопросъ, обращенный имъ къ аквилону. Куда

стремится эта сила, зачѣмъ гремятъ эти звуки, куда направляють они душу? Неужели звуки звучать для того только, чтобъ звучать? Сколько жаркихъ поклонниковъ Пушкина задавали себѣ этотъ вопросъ и съ болью въ сердцѣ отвѣчали на него положительно. Въ самомъ дѣлѣ, если мы станемъ сравнивать произведенія нашего поэта съ произведеніями другихъ великихъ поэтовъ, они намъ покажутся такъ отрывочны, неоконченны, безцѣльны. Вотъ что говоритъ объ этомъ одинъ современный критикъ *).

«Онъ (Пушкинъ) могъ уловлять жизнь въ самыхъ различныхъ проявленіяхъ... но образъ, возникшій въ его фантазіи, удовлетворялъ его своимъ мгновеннымъ появленіемъ: онъ не развивалъ схваченнаго момента...

«Не одно природное свойство дарованія Пушкина было виною указаннаго недостатка въ его произведеніяхъ: виною тому, конечно, было также и недостаточное развитіе умственныхъ и нравственныхъ интересовъ въ общественномъ сознаніи, котораго органомъ былъ Пушкинъ. Чтобы постигать многообразие жизни, надобно обладать обширною и богатою системою воззрѣній. Каждая сторона жизни требуетъ особаго воззрѣнія и особаго интереса. Что бы ни происходило въ насъ и вокругъ насъ, все пропадетъ даромъ для нашего разумѣнія, если въ насъ не окажется замѣчающихъ, наблюдающихъ, постигающихъ понятій. Весьма естественно, что у Пушкина такъ часто, или лучше сказать почти всегда, обрывалась нить развитія въ изображеніяхъ: обрывался интересъ, изсякало вдохновеніе, неоставало понятій, чтобъ слѣдить за дальнѣйшимъ ходомъ дѣла.

«Есть у Пушкина одно стихотвореніе, въ которомъ случайно, но очень вѣрно и очень живо, характеризуется замѣченная нами особенность его дарованія. Мы разумѣемъ превосходное стихотвореніе «Осень,» написанное имъ въ 1830 году, въ самую зрѣлую эпоху его развитія. Обрисовавъ живыми чертами времена года и свою любимую осень, въ которую онъ чувство-

*) М. Н. Катковъ. Статьи о Пушкинѣ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1857 г. *Прим. изд.*

валъ всегда съ особенною силою призывъ къ творчеству, поэтъ, изображаетъ свое состояніе въ тѣ минуты, которымъ мы обязаны его произведеніями.

„Душа стѣсняется лирическимъ волненіемъ,
Трепещеть, и звучить, и ищетъ, какъ во снѣ,
Излиться наконецъ свободнымъ проявленіемъ —
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

„И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И рѣмы легкія на встрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ —
Минута, и стихи свободно потекутъ.
Такъ дремлетъ недвижимо корабль въ недвижной влагѣ.
Но чу... матросы вдругъ кидаются, ползутъ, —
Вверхъ, внизъ — и паруса надулись, вѣтра полны:
Громада двинулась и разсѣкаетъ волны.
Плыветъ... Куда-жъ намъ плыть?..“

«На этомъ стихѣ прерывается стихотвореніе, и этотъ видъ неоконченности еще усиливаетъ знаменательность образа. Все готово къ отплытію, — но куда плыть? Кажется, даны были всѣ условія для обширнаго и могущественнаго творчества, но что-то задерживало его развитіе. Насталъ мигъ вдохновенія, все живо заговорило въ душѣ поэта; но едва успѣла мысль его двинуться впередъ, какъ мигъ прошелъ, передъ нею безвѣстный путь; ничто не манитъ далѣе — плыть некуда, и мысль остается на прежнемъ мѣстѣ, въ ожиданіи новаго мгновенія, и то же повторится, когда оно наступитъ. Блестнетъ мгновеніе, и изольется вдохновеннымъ словомъ; но оно исчезнетъ, не оставивъ поэту путеводной идеи для его воображенія.»

Мы согласны и несогласны съ этимъ мнѣніемъ. Наблюденіе вѣрно, но выводъ намъ кажется невѣренъ. Намъ кажется, что критикъ, анализирующій Пушкина съ чисто-художественной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія искусства для искусства, здѣсь незамѣтно для самого себя своротилъ съ своего пути. Намъ кажется, что когда онъ произносилъ приведенныя нами слова, душу его неясно тревожила мысль, что нужна какая-нибудь польза для общества отъ поэзіи, что всякій поэтъ давалъ что-

нибудь своимъ согражданамъ, а отъ поэзіи Пушкина его со-отечественники ничего не получили, кромѣ звуковъ. Освобождая музу Пушкина отъ служенія гражданственности, онъ въ то же время требуетъ отъ нея служенія мысли. Во всякомъ случаѣ мы благодарны критику, что онъ такъ ясно, опредѣленно и искренно поставилъ вопросъ о значеніи поэзіи Пушкина. Видно, что онъ съ глубоко-серьезными вопросами приступилъ къ изученію Пушкина, видно, что сильная, безотчетная любовь къ поэту предшествовала въ немъ сознательному его изученію. Ибо въ словахъ критика слышно, что ему больно примириться съ мыслью, что Пушкинъ—поэтъ только звуковъ, образовъ и формъ, что у него не было великихъ цѣлей, какъ у другихъ поэтовъ. Да и кто изъ воспитавшихъ свое эстетическое чувство на поэзіи Пушкина (а кто на ней не воспитывался!) для кого эта поэзія составляетъ часть прожитой имъ жизни и какъ бы вошла въ составъ его души, не задавалъ себѣ скорбный вопросъ: изъ какихъ же цѣлей писалъ любимый поэтъ, для чего звучалъ его симпатичный голосъ, къ чему призывалъ онъ? И задававшему себѣ такой вопросъ больно было сознаться, что поэтъ, который больше всѣхъ другихъ доставляетъ ему наслажденіе, выше всѣхъ другихъ настраиваетъ душу, является какимъ-то празднословнымъ говоруномъ между своими великими собратьями, возвѣщающими намъ великія истины, направляющими наши страсти и дѣйствія. Признаемся, что, читая приведенное нами мнѣніе критика, мы опять почувствовали то отчаяніе за Пушкина, которое чувствовали въ былые года, когда насъ волновали различные жизненные вопросы, и мы находили на нихъ отвѣты у всѣхъ поэтовъ, исключая Пушкина. Что касается до насъ въ настоящую минуту, мы не думаемъ, чтобы въ поэзіи Пушкина не было стремленія къ цѣли, но что было ея цѣлью — не знаемъ. И потому-то, что цѣль эта была такъ неопредѣленна, что ея нельзя указать, что о ней нельзя выразиться словами, что она только постигается, а не означается, — она и была вполне поэтической.

Да, цѣль для Пушкина не была такъ ясна, такъ опредѣленна,

такъ удободостижима, какъ для другихъ поэтовъ: они знали, гдѣ бросить якорь, и доплывали до пристани. Но его пристань была слишкомъ далеко. Неужели, еслибъ Пушкинъ, послѣ громкой строфы, гдѣ представлено, въ какомъ грозномъ величїи душа его ополчалась вдохновеніемъ, могъ сказать, куда онъ поплыветъ, — какую бы онъ пристань ни назначилъ, все было бы недостойно того стремленія, которое онъ чувствовалъ? Нѣтъ! задавъ вопросъ: куда, онъ заставляетъ читателя думать о безконечности, и уносить его туда,

„Гдѣ затихла стихійная брань,
Гдѣ Богомъ творенью поставлена грань“.

У каждого народа есть характеристическія черты его духа, которыя, замѣчаемыя порознь въ обыкновенныхъ людяхъ, могутъ представиться дурными или смѣшными, но, выражаясь въ поэтѣ, какъ представителѣ какой-нибудь стороны поэзіи, представляютъ собою нѣчто высоко-прекрасное и даже грандіозное. Такъ смѣшная эксцентричность Англичанина возведена въ гигантски-поэтическіе размѣры Байрономъ: филистерство Нѣмцевъ выразилось въ такъ-называемомъ олимпійскомъ спокойствіи Гёте; буршество нашло себѣ представителя въ вѣчно-юномъ Шиллерѣ; хаосъ италіянскаго католицизма, эта смѣсь христіанства съ язычествомъ, возведенъ въ перлъ созданія Дантомъ. — Какую же сторону русскаго народа выразилъ Пушкинъ?

Есть одна характеристическая черта русскаго народа, выразившаяся и въ его поэзіи, черта, на которую покуда можно смотрѣть или какъ на задатокъ его будущаго величїя, или какъ на доказательство его безсилія произвести что-нибудь великое на пользу человѣчества. Въ душѣ русскаго человѣка и его поэзіи есть какая-то необыкновенная сила, стремительность, высокій, широкій полетъ, но куда, къ какому идеалу, неизвѣстно. У человѣка всякой другой націи идеаль явственъ: онъ знаетъ, чего хочетъ, и достигаетъ чего хочетъ. Но не таковъ идеаль русскаго человѣка, не таково его стремленіе. «Русь, куда же несешься ты? дай отвѣтъ. — Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ

заливается колокольчикъ, гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ... и мчится вся вдохновенная Богомъ.»

Ошибаются тѣ, которые думаютъ, что стремленіе русскаго человѣка есть стремленіе дикихъ, необузданныхъ, грубыхъ силъ. Нѣтъ, это стремленіе есть избытокъ силъ духовныхъ. Другіе народы скоро достигаютъ своихъ цѣлей, потому что эти цѣли достижимы. Можетъ быть вначалѣ ихъ идеалы были также высоки, какъ и у насъ, можетъ быть было что-нибудь подобное стремленію русскаго человѣка, но они филистерски помирившись съ жизнью, сдѣлали ей уступку по полтинѣ за рубль, сдѣлали себѣ искусственный, рукотворный идеалъ, поклонились ему и стали служить ему. У насъ не то. Въ нашемъ народѣ еще живо, свѣжо и могуче стремленіе къ недостижимому. Онъ ничего не дѣлаетъ, ничего не хочетъ вполовинѣ. Ужъ если стремиться, такъ стремиться... Стремиться не къ какой-нибудь земной, ограниченной цѣли, не къ воплощенію какой-нибудь системы, но туда, куда зоветъ неумолкающій внутренній голосъ, къ безконечности. Вотъ отчего намъ такъ часто приходится на умъ скорбный вопросъ: есть ли цѣль у русскаго человѣка въ его стремленіяхъ. Вотъ отчего тщетно спрашиваемъ мы себя, куда и зачѣмъ уносить насъ русская пѣсня, куда и зачѣмъ уносить насъ звуки великаго нашего пѣвца. Тщетно спрашиваемъ мы и только слушаемъ, высоко настроенные духомъ, широко раскидываемся мыслію, изумляемся и, пораженные силой души русскаго человѣка, восклицаемъ словами пѣсни:

„Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота океанъ-море!
Широко раздолье по всей землѣ,
Глубоки омуты днѣпровскіе.“

Да, эти слова могутъ быть девизомъ поэзіи Пушкина; кто бы что ни говорилъ о скудости ея содержанія, но отличительные ея признаки: глубина, широта и сила. Что бы ни говорили о ея бесплодности, безцѣльности, но у нея есть цѣль. Цѣль эта—возвысить душу читателя до той высоты, которой достигаетъ душа поэта въ минуту вдохновенія. Конечно у ней, какъ и у

нашей народной поэзии, не было определенных, дидактических цѣлей; она не говоритъ человѣку: живи именно такъ, мысли то, чувствуй это; но говоритъ ему: живи высокою жизнью, возвышайся чувствомъ и мыслию горѣ, будь всегда и вездѣ человекомъ! И какъ такая неопредѣленность, неясность цѣли, безостановочность стремленія идетъ къ поэзии и поэту, этому загадочному для толпы существу, этому повсюду бездомному въ мірѣ страннику и для всѣхъ милому гостю.

Да, загадочна личность Пушкина; отчетливо изобразить ее также трудно, какъ съ точностью опредѣлить идею его поэзии. Г. Анненковъ говоритъ, что характеръ Пушкина состоятъ изъ смѣшенія противоположностей. Намъ кажется, что мы выразили почти то же, сказавъ, что Пушкинъ представилъ собой полнѣйшій и чистѣйшій типъ поэта. Было много истинныхъ поэтовъ, и притомъ великихъ, но ни одинъ не выразилъ всѣхъ сторонъ поэзии, а въ самомъ себѣ не заключалъ всѣхъ свойствъ поэтической природы, подобно Пушкину. Благоговѣя передъ великими западными поэтами и сознавая, что многіе изъ нихъ справедливо должны быть поставлены несравненно выше Пушкина по историческому своему значенію, по заслугамъ наукѣ, философіи, влиянію на общество и по множеству другихъ причинъ, осмѣливаемся сказать, что никто изъ нихъ въ равной степени съ Пушкинымъ не имѣетъ права на скромный титулъ поэта. Недаромъ, при мысли о поэтѣ, воображенію непремѣнно является Пушкинъ, какъ при мысли о полководцѣ представляется Наполеонъ, а при мысли о дипломатѣ — Талейранъ.

Что же такое поэтъ, что такое чистѣйшій и полнѣйшій типъ поэта? Не беремся съ точностью опредѣлить эти понятія: представимъ лишь нѣсколько мыслей о томъ, что, по нашему мнѣнію, составляетъ природу поэта и насколько Пушкинъ подходитъ подъ нашу мѣрку..

Жоржъ Сандъ говоритъ, что всякая сильная натура вмѣщаетъ въ себѣ нѣсколько характеровъ. Пушкинъ вмѣщалъ въ себѣ ихъ множество, ибо представлялъ собой смѣшеніе всякихъ противоположностей. Эта сложность, полнота души, и состав-

ляетъ сущность поэта. Чѣмъ больше въ душѣ человѣка противоположныхъ стихій, тѣмъ болѣе равновѣсія въ чувствахъ: ибо всякая наклонность, встрѣчая противодѣйствіе въ другой, ей противоположной, уже тѣмъ самымъ удерживается въ законныхъ границахъ, не развивается насчетъ другихъ наклонностей и не овладѣваетъ всей душою человѣка. Такимъ образомъ соединеніе различныхъ душевныхъ противорѣчій, вмѣсто того, чтобъ произвести дисгармонію, какъ можетъ быть это предполагають, производитъ гармонію всѣхъ чувствъ, правильность, нормальность души, ея полноту и богатство. Такъ въ Пушкинѣ уживались двѣ совершенно противоположныя наклонности: мечтательность и положительность. Положительность умѣряла его мечтательность, удерживая поэта на землѣ, въ средѣ дѣйствительности; мечтательность же не давала положительности перейти въ матеріализмъ и филистерство, столь охлаждающіе поэзію.

Природа Пушкина была такъ счастливо организована, что даже тѣ немногіе пороки, которые въ нее закрались, умѣрялись взаимною противоположностью: скупость расточительностью, расточительность скупостью, и такъ далѣе.

Такая сложность, или лучше сказать полнота, богатство природы Пушкина, и была, по нашему мнѣнію, причиной, отчего онъ поэтъ по преимуществу, и поэтъ больше всѣхъ другихъ поэтовъ. Такая необыкновенная душевная нормальность не только не нужна для другихъ сферъ дѣятельности, но даже вредна на нѣкоторыхъ поприщахъ, ибо въ слишкомъ сложномъ характерѣ, при множествѣ высокихъ достоинствъ, заключается и множество слабостей: люди, подобные Пушкину, не могутъ быть великими государственными дѣятелями, ни учеными, ни философами, ни даже представлять собой образцы тихихъ семейныхъ добродѣтелей, столь необходимые для назиданія человѣчества. Для всякаго поприща, за исключеніемъ художества вообще и поэзіи въ особенности, нужно совершенное подчиненіе однѣхъ наклонностей другимъ, сосредоточеніе способностей на чемъ-нибудь одномъ; безъ этого дѣятельность теряетъ харак-

теръ спеціальности, лишается энергіи и силы. Совсѣмъ противное нужно для поэта; сфера его совсѣмъ неспеціальная: эта сфера — вся жизнь; задача его — отраженіе жизни по возможности во всей ея полнотѣ.

„Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поеть ли дѣва за холмомъ —
На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухъ пустомъ
Родишь ты вдругъ.

„Ты внимешь грохоту громовъ
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ —
И плешь отвѣтъ;
Тебѣ-жъ пѣть отзыва... Тановъ.
И ты, поэтъ!“

Итакъ, сфера поэта самая обширная. Какія же средства даютъ ему возможность выполнить свою задачу? При какихъ условіяхъ, при какой обстановкѣ развивается и укрѣпляется его дарованіе?

Такъ какъ сфера поэта самая обширная и требуетъ всесторонности, то всякая спеціальность суживаетъ его кругозоръ, приковывая его взглядъ къ какой-нибудь одной подробности. Такъ, напримѣръ, дѣятельность государственная, при всей своей обширности, отнимаетъ много полноты у поэтического созерцанія. Дѣло не въ томъ, что она отвлекаетъ поэта отъ занятій поэзіей (поэта могутъ отвлекать и другіе предметы), но она кладетъ печать на его поэзію. Поэтъ, который постоянно занятъ государственными вопросами (это бываетъ съ людьми, не занимающими ни государственныхъ, ни другихъ какихъ должностей), невольно смотритъ на все съ точки зрѣнія государственной пользы, и потому многое, какъ въ людяхъ, такъ и въ природѣ, не плѣняетъ и не вдохновляетъ его. Красы природы его не занимаютъ; *мечтаньямъ, врезамъ* труденъ доступъ къ душѣ его. Какъ же такому серьезному человѣку быть вполнѣ поэтомъ! Ничто такъ не помѣшало развиваться поэтическому генію Ломоносова, какъ то, что онъ былъ въ душѣ государствен-

ный человек и ученый. Въ стихахъ своихъ онъ никогда не мечтаетъ — онъ только мыслить, какъ естествоиспытатель, и думаетъ, какъ государственный человекъ; онъ нигдѣ не высказываетъ нѣжныхъ чувствъ задумчивости, нигдѣ не является простымъ, партикулярнымъ человекомъ: онъ всегда или въ мантии профессора или въ тогѣ гражданина. Природа вдохновляетъ его только какъ естествоиспытателя, или какъ патріота. Описывая сѣверное сіяніе, онъ дѣлаетъ вопросы о причинахъ явленія; изображая восхожденіе солнца, переходитъ къ гипотезамъ, изъ чего состоитъ «прекрасное свѣтило». Представляется ли его воображенію цѣпь горъ, — мысль о государствѣ, о Россіи сейчасъ заслоняетъ въ его душѣ чувство красоты. Онъ не останавливается на красотѣ Уральскихъ горъ, что такъ естественно для поэта; его занимаетъ мысль о пользѣ, которую Россія, при посредствѣ науки, извлечетъ изъ нихъ. Онъ говоритъ, обращаясь къ Елисаветѣ:

„И се Мянѣра ударнетъ
Въ верхи Рифейски копѣемъ —
Сребро и золото истекаетъ
Во всемъ наслѣдіи твоёмъ“.

Въ другомъ мѣстѣ:

„Воззри на горы превысоки,
Воззри въ поля твои широки,
Гдѣ Волга, Днѣпръ, гдѣ Донъ течетъ:
Богатства, въ оныхъ потаенны,
Наукой будутъ откровенны,
Что благостью твоей цвѣтетъ“.

Мысль о государственной пользѣ заслоняетъ передъ Ломоносовымъ красоты природы.

Даже представленіе о женской красотѣ у Ломоносова неразрывно съ мыслью объ отечествѣ. Такъ въ «Разговорѣ съ Анакреонтомъ», приводя переводъ XXVIII оды Анакреона, гдѣ древній поэтъ проситъ живописца изобразить ему его любезную, Ломоносовъ, какъ бы желая показать противоположность своихъ симпатій съ симпатіями Анакреона, проситъ художника изобразить ему Россію.

«Анакреонтъ.

„Мастеръ, въ живописствѣ первый,
Первый въ Родской сторонѣ,
Мастеръ, наученъ Минервой,
Напиши любезну мнѣ.
.....

„Надѣвай же платье ало
И не тщи всю грудь закрыть,
Чтобъ, ее увидѣвъ мало,
И о прочемъ разсудить.“

«Ломоносова отвѣтъ:

„О, мастеръ, въ живописствѣ первый,
Ты первый въ нашей сторонѣ,
Достоявъ быть рожденъ Минервой —
Изобрази Россію мнѣ.
Изобрази ей возрастъ зрѣлый
И видъ въ довольствіи веселый,
Отрады яспость по челу
И вознесенную главу.
Потщись представить члены здравы,
Какъ должны у богини быть,
По плечамъ волосы кудрявы
Признакомъ бодрости завить.
.....

Возвысь сосцы, млекою обильны,
И чтобъ созрѣвши красота
Являла мышцы руки сильны,
И полны живости уста
Въ бесѣдѣ яспость общали...
.....

Одѣнь, одѣнь ее въ порфиру.
Дай скипетръ, возложи вѣнецъ,
Какъ должно ей законы міру
И распрямь подписать конецъ.“

Такимъ образомъ, пока Ломоносовъ говорятъ о женской красотѣ, слова его холодны, образъ, имъ представляемый, поражаетъ безвкусіемъ, стихъ почти лишенъ всякой гармоніи. Но поэтъ вдругъ оживаетъ, переходя къ тому, что занимаетъ его. Въ словахъ его слышно одушевленіе, въ стихѣ являются движеніе и гармонія; вмѣсто никогда не удававшегося Ломоносову, вѣчно у него хромающаго хорей, является его любимый, вели-

чавый четырехстопный ямбъ. Такъ былъ одностороненъ Ломо-
посовъ въ своей поэзіи. Конечно, ничего не можетъ быть выше
и благородіе любви къ отечеству, но для поэта недовольно ея
одной. Содержаніе поэзіи составляютъ не одни грандіозные
предметы, какъ отечество, наука, геройскіе подвиги и пр. Чтобъ
быть вполне поэтомъ, надо уметь сочувствовать всему: всѣмъ
тихимъ прелестямъ жизни и природы, всѣмъ ихъ мелочамъ.
Вотъ изображеніе всесторонняго поэта:

„..... Ты любишь съ высоты
Скрываться въ тѣнь долины малой;
Ты любишь громъ небесъ, и также внемлешь ты
Жужжанію пчелъ надъ розой алой.

„Таковъ прямой поэтъ. Онъ стлуетъ душой
На пышныхъ играхъ Мельпомены
И улыбается забавъ площадной
И вольности лубочной сцены.

„То Римъ его зоветъ, то гордый Іліонъ,
То скалы старца Оссіана,
И съ дѣтской легкостью межъ тѣмъ летаетъ онъ
Во слѣдъ Бовы и Ерусалапа.“

Этой-то способности увлекаться всѣмъ и не было у Ломоно-
сова. Онъ былъ великій человекъ, но, можетъ быть, потому и не
могъ быть великимъ поэтомъ. Справедливо говорить, что въ
Державинѣ было больше поэзіи, ибо его лира звучала не только
одними торжественными, величественными гимнами, но издавала
и томные и нѣжные звуки.

Подобно наклонности къ государственной дѣятельности, на-
клонность къ ученымъ изслѣдованіямъ и философіи также вре-
дитъ поэтическому созерцанію. Взглядъ на предметъ ученаго
или философа слишкомъ пыливъ, сознательнъ и системати-
ченъ, лишень непосредственности, много препятствуетъ свѣже-
сти и свободѣ впечатлѣнія. Какъ передъ государственнымъ му-
жемъ изящество и красота предмета заслоняются мыслию о его
пользѣ или вредѣ отечеству, такъ вопросы: отчего, почему, по-
какимъ законамъ? отвлекаютъ ученаго отъ непосредственнаго
созерцанія поэтическаго образа. Полное, отчетливое знаніе
предмета, знаніе всѣхъ его сторонъ, его сущности, всѣхъ за-

коновъ, по которымъ онъ существуетъ, еще болѣе отвлекаетъ человѣка отъ созерцанія образа. Если человѣкъ, такъ смотрящій на предметъ, философъ-идеалистъ, то плоть и кровь предмета въ глазахъ его улетучиваются въ идею его; всѣ его подробности, не подходящія подъ эту идею, откидываются, какъ нарушающія симметрію правильной, стройной философской системы, а поэзія, требуя образа, подробностей, не любитъ симметріи и прямыхъ линій. Если же на мѣстѣ философа, возводящаго все къ общимъ началамъ, будетъ аналитикъ, поэтический образъ исчезнетъ для него за скелетомъ предмета; поэтический образъ для него не существуетъ, какъ для театральнаго зрителя, посвященнаго во всѣ закулисныя тайны декоратора и машиниста, не существуетъ очарованія въ волшебномъ балетѣ. Какъ же быть поэтомъ-лирикомъ человѣку съ наклонностями философа или ученаго? Были люди, которые на это умудрялись. Они воспѣвали предметы и явленія, до мельчайшихъ подробностей изученные ими (какъ учеными и философами), съ наивностію дикарей, въ первый разъ ихъ увидѣвшихъ; они въ своихъ стихахъ поддѣлывались даже подъ необработанную, неправильную и нескладную рѣчь человѣка, ничего не знающаго и ничему не учившагося. Многіе повѣрили въ субъективность ихъ произведеній и смотрѣли на нихъ съ умиленіемъ, какъ на дѣтей природы, между тѣмъ какъ на нихъ слѣдуетъ смотрѣть только какъ на великихъ мастеровъ объективнаго искусства, или просто какъ на притворщиковъ въ поэзіи. Они напоминаютъ актера, съ наивнымъ удивленіемъ смотрящаго на другаго актера, играющаго въ піесѣ такъ-называемаго неизвѣстнаго или таинственнаго незнакомца, между тѣмъ какъ онъ очень хорошо знаетъ персонажъ, который его удивляетъ своимъ неожиданнымъ появленіемъ, и актера, который его изображаетъ.

Философское созерцаніе не ограничивается вліяніемъ на сохраненіе поэтическихъ произведеній, на такъ-называемое изобрѣтеніе: оно условливаетъ и ихъ форму. У человѣка, занятаго разрѣшеніемъ философскихъ вопросовъ, построеніемъ формулъ, мышленіе принимаетъ систематическое, искусственное те-

ченіе, и даже прямо зарождается въ стройной формѣ силлогизма; а такая форма нейдетъ къ поэтическимъ произведеніямъ, отнимая у нихъ одно изъ главныхъ свойствъ поэзіи, прелесть безыскусственной рѣчи. Какими частными достоинствами ни блистало бы поэтическое произведеніе, но если въ немъ развивается какая-нибудь философская идея, если поэтъ хочетъ имъ что-нибудь доказать, оно уже лишено свѣжести, и представляетъ натяжки въ построеніи. Давно всѣми признано за истину, что рѣшеніе политическихъ и соціальныхъ вопросовъ не дѣло поэзіи, что они вредятъ поэтическимъ произведеніямъ. Это мнѣніе слѣдовало бы распространить на всякаго рода вопросы, даже на вопросы объ искусствѣ для искусства.

Философія можетъ еще вредить поэту, если она слишкомъ тонко анализируетъ и слишкомъ подробно разоблачаетъ передъ нимъ его самого—законы, по которымъ онъ создаетъ; это отнимаетъ у поэта свободу и смѣлость творчества. Когда онъ знаетъ всѣ тайные источники своего творчества, наблюдаетъ надъ своимъ вдохновеніемъ, подсматриваетъ въ своей душѣ процессъ поэтическаго зарожденія, то необходимо становится къ самому себѣ въ положеніе работника къ машинѣ, который знаетъ, гдѣ нужно прибавить или убавить ходу, усилить огонь и проч. Мы знаемъ, самъ великій Шиллеръ сожалѣлъ о томъ, что слишкомъ глубоко узналъ теорію своего искусства, ибо это обстоятельство, по его собственному сознанію, лишило отваги и стѣснило его творчество.

Вообще слишкомъ большая ученость плохо уживается съ поэзіей. Трудно себѣ представить зоолога, который бы, смотря на бабочку, совершенно наивно, безъ научныхъ соображеній, восхищался ея красотой; чтобы ботаникъ, смотря на цвѣтокъ, думалъ о красѣ растенія, а не объ его анатоміи, чтобы филологъ-грамматикъ, читая Горация, весь отдавался его поэтическимъ красотамъ, забывая слѣдить за особенностями грамматическихъ формъ, а историкъ, подробно разрабатывающій историческіе матеріалы, вполне художественно наслаждался характерами лицъ, о которыхъ говорится въ разбираемыхъ имъ актахъ.

Насъ, можетъ быть, упрекнуть въ неуваженіи къ наукѣ и философіи, на томъ основаніи, что мы утверждаемъ, будто служеніе имъ мѣшаетъ служенію поэзіи. Но мы нисколько не думаемъ умалить значеніе и пользу этихъ сферъ человѣческой дѣятельности и поставить ихъ ниже поэзіи. Напротивъ, мы думаемъ, что наука и философія важнѣе для общества, чѣмъ искусства, и что потребность ихъ для развитія человѣчества насущнѣе потребности изящнаго. Мы только хотимъ отдѣлить поэзію ото всего, что съ ней смѣшиваютъ, что въ нее вмѣшивается и во что вмѣшивалась она сама; хотимъ отвести ее въ ея скромныя, но законныя, наслѣдственные и независимыя владѣнія, строго и точно отмежевать ихъ отъ владѣній сосѣдей, съ которыми у ней постоянныя столкновенія, обоюдныя похищенія и череполосяца. При всей нашей любви къ поэзіи, мы такъ, смѣемъ сказать, безпристрастны, что, скрѣпя сердце, говоримъ: великій человѣкъ не можетъ быть великимъ поэтомъ. Дѣятельность великаго человѣка поглощаетъ дѣятельность поэта. Наполеонъ, по выраженію Альфреда дѣ-Виньи, каждый день въ самой жизни создавалъ живую Иліаду, и потому, для воплощенія возникавшихъ въ его воображеніи образовъ, не нуждался въ гармоническомъ стихѣ или изящныхъ періодахъ. Дѣло въ томъ, что въ практическихъ геніяхъ, то-есть великихъ людяхъ, есть сосредоточеніе наклонностей, односторонность, дающая силу воли, которая доставляетъ имъ возможность обращать въ дѣйствія всѣ ихъ мечты и чувства. Такимъ образомъ они изживаютъ всю поэзію души своей или большую часть ея въ самой жизни. Истинъ же поэтъ, про котораго сказалъ Пушкинъ, что

„Не разумѣлъ онъ ничего
И слабъ и робокъ былъ какъ дѣти:
Чужіе люди за него
Звѣрей и рыбъ ловили въ сѣти“,

вслѣдствіе страшнаго множества самыхъ разнообразныхъ, противоположныхъ, уничтожающихъ другъ друга стремленій, не можетъ ничего осуществить въ жизни, а только лелѣетъ въ

душѣ и выражаетъ въ словѣ мечты свои. Итакъ дѣятельность государственная, научная, философская и вообще всякая наклонность къ спеціальности, мѣшаютъ всестороннему, свободному развитію поэтической природы. Изъ этого можно вывести прямое заключеніе, что поэтъ долженъ предаться исключительно поэтической дѣятельности, посвятить всего себя поэзіи. Но хотя это положеніе, повидимому, необходимо вытекаетъ изъ всего нами сказаннаго,—его принять можно только съ оговоркой.

Прежде всего мы должны сказать, что если поэтъ, зная, что политика, научная дѣятельность и философія вредятъ чистой поэзіи, будетъ умышленно отвращаться отъ нихъ, будетъ стараться имъ не сочувствовать, онъ будетъ только корчить такого свободного, непосредственнаго поэта, о которомъ мы говоримъ, а на самомъ дѣлѣ, разумѣется, имъ никогда не сдѣлается, ибо непосредственность его будетъ искусственная.

Потомъ мы должны замѣтить, что какъ бы поэтъ ни любилъ свое искусство, какъ бы ни трудился для него, оно не должно составлять его *исключительную привязанность*. Представьте себѣ поэта, который цѣлый день думаетъ о своихъ произведеніяхъ, который такъ отдался поэзіи, что отказался для нея отъ всѣхъ радостей и заботъ міра. Такой человѣкъ почти теряетъ всякую живую связь съ непосредственной жизнью, а изъ какого другаго источника можетъ онъ достать живой матеріалъ для своей поэзіи? Онъ творить какъ бы по воспоминаніямъ, и долженъ постоянно напрягать свое творчество, насиловать свой талантъ. Занятый постоянно одной мыслью, что бы создать и какъ бы создать, онъ становится въ напряженное, неестественное положеніе, какъ къ природѣ, жизни и людямъ, такъ и къ самому себѣ. Онъ ни на что не смотритъ безъ намѣренія, ни чѣмъ не любитъ безкорыстно; онъ никогда не забываетъ, что онъ художникъ, а все окружающее—матеріалъ для его созданій. Чѣмъ бы онъ ни любовался: природой, женщиной, ребенкомъ, — онъ не вполне предается этому чувству, но въ то же время наблюдаетъ его, и думаетъ, какъ бы ловчѣе выразить свое впечатлѣніе. Онъ постоянно и напряженно подсматрива-

еть, слѣдить и наблюдаетъ въ себѣ каждое душевное движеніе, стараясь подмѣтить въ немъ эффе́кты для своихъ произведеній. Въ этомъ отношеніи онъ уподобляется кокетѣ, которая разсматриваетъ передъ зеркаломъ, какое положеніе руки и головы, какая улыбка больше къ ней идутъ, съ тѣмъ, чтобы при случаѣ этимъ воспользоваться.

Вслѣдствіе такого отношенія поэта къ жизни и къ самому себѣ, произведенія его, при всей ихъ красотѣ, стройности и глубинѣ, лишены свѣжести, силы, аромата, такъ-сказать сочности, и являются тепличными растеніями. Въ произведеніяхъ Вордсворта было бы гораздо больше жизненности, еслибъ онъ самъ больше зналъ жизнь, въ поэзіи Шиллера — больше свѣжести, еслибъ онъ не творилъ насильно и не употреблялъ возбуждательныхъ средствъ для воспаленія воображенія и поддержанія лирическаго восторга; поэзія Гёте много бы выиграла въ силѣ, еслибъ онъ почаще забывалъ въ себѣ художника, не наблюдалъ и не анализировалъ собственныя чувства въ минуту наслажденія любовью и природой, и еслибъ въ тѣ минуты, когда, по выраженію Пушкина, «не думаетъ никто», онъ не погружался въ размышленіе о томъ, какъ ихъ выразить въ поэзіи и не выбивалъ мѣру гексаметра на плечѣ своей любезной.

Такимъ образомъ мы видимъ, что всякая исключительная привязанность, специальность, много мѣшаютъ поэту быть совершеннымъ, *истымъ* поэтомъ, а произведеніямъ его носить характеръ чисто-поэтическій, свободный ото всякихъ постороннихъ примѣсей; что этому мѣшаетъ даже и слишкомъ исключительная привязанность къ самой поэзіи, если она заслоняетъ передъ поэтомъ непосредственную жизнь — главный источникъ поэтическаго вдохновенія.

Да, главнымъ источникомъ поэзіи, главнымъ питаніемъ для поэта должна быть непосредственная жизнь въ самомъ обширномъ ея значеніи: вдохновеніе только тогда *совершенно* свѣже, когда черпается прямо изъ этого источника. Это достижимо только тогда, когда поэтъ любитъ непосредственную жизнь для жизни, любитъ не какъ натурщицу для своихъ произведеній,

а какъ любовницу, безъ которой онъ не можетъ жить, относится къ жизни, не какъ наблюдатель а какъ живая часть ея.

Въ такихъ именно отношеніяхъ къ дѣйствительности и былъ Пушкинъ. Онъ любилъ жизнь для жизни, любилъ ее безкорыстно, относился къ ней просто, не мудрствуя. Онъ любилъ въ ней все, что вызываетъ любовь, сочувствовалъ всему, что вызываетъ сочувствіе; никакая исключительная привязанность, никакая специальность не владѣла имъ, отвлекая его отъ сочувствія ко всему остальному. Никакое особенное воззрѣніе не заставляло его смотрѣть на Божій міръ подъ какимъ - нибудь особеннымъ угломъ зрѣнія, черезъ призму какой-нибудь системы. Оттого онъ свободно, полной грудью вдыхалъ въ себя жизнь и созерцалъ ее во всей ея полнотѣ.

Всѣмъ извѣстно, какъ много читалъ Пушкинъ, какъ уважалъ науку. Но его чтеніе, его отношеніе къ наукѣ были совсѣмъ иныя, чѣмъ у людей, принадлежащихъ къ цеху писателей. Онъ читалъ съ простодушіемъ самаго обыкновеннаго человѣка, ищущаго въ чтеніи наслажденія и обогащенія ума фактическими свѣдѣніями. Въ наше время не только писатели, но даже дилетанты такъ не относятся къ книгамъ. Въ наше время желаютъ посредствомъ чтенія выработать себѣ систему воззрѣнія на жизнь, думаютъ узнать изъ книгъ *всю истину*, всю подноготную. Пушкинъ читалъ не съ наивной цѣлью узнать изъ мірскихъ книгъ великія тайны творенія, извлечь себѣ правило для жизни и построить философскую систему: онъ не вѣрилъ въ прочность философскихъ системъ, видя, какъ быстро онѣ вытѣсняются одна другою, и потому не находилъ пользы хвататься за такія ненадежныя опоры. Можетъ быть онъ отъ этого много потерялъ какъ мыслитель, зато много выигралъ какъ поэтъ. Умъ его не былъ настроенъ никакой философской системой, взглядъ не былъ снабженъ никакимъ искусственнымъ вспомогательнымъ снарядомъ, и онъ смотрѣлъ на все окружающее простыми глазами, безъ заднихъ мыслей, безъ заранее составленныхъ теорій, т. е. безо всякаго предубѣжденія. Потому онъ былъ такъ похожъ на античныхъ писателей: онъ смотрѣлъ

на исторію съ простодушіемъ Плутарха, и созерцаль жизнь съ терпимостью Горація. Всякая философская система, приводя въ глазахъ человѣка все окружающее его въ искусственный порядокъ, распредѣляя все по мѣстамъ и подъ цифрами, располагая все по одной идеѣ, ставитъ его въ положеніе какого-то всезнанія. Ничто не можетъ поразить его, ничто не можетъ быть ново для его приготовленнаго взгляда. Что бы онъ ни увидѣлъ, онъ уже знаетъ, въ какой ящикъ положить это. И если иному явленію онъ вдругъ и не можетъ найти мѣста, то, разумѣется, это недоумѣніе разрѣшается не поэтическимъ созерцаніемъ новости предмета,—удивленіемъ, восторгомъ,—но переходитъ сперва въ приискиванье ему уголка въ философской системѣ, а потомъ и увѣнчивается успѣхомъ приисканія. Непроникнутый никакой философской системой, Пушкинъ смотрѣлъ на жизнь просто, не ища въ явленіяхъ ея оправданія какихъ-нибудь идей: не видѣлъ въ ней выраженія своей системы. Тайны міра не были разоблачены передъ нимъ анализомъ, разъяснены математически строгими выкладами. Но оставались для него глубокими поэтическими тайнами. Его познанія не уничтожили въ немъ способности свободно, безъ справокъ съ философіей, очаровываться всякимъ прекраснымъ явленіемъ и возмущаться дурнымъ. Съ такою же простотой, какъ къ жизни, относился Пушкинъ и къ другому богатому источнику своей поэзіи — исторіи. Онъ не придерживался никакой исторической школы, никакой исторической теоріи, располагающей факты по идеѣ: этимъ онъ тоже много выигралъ какъ художникъ. Если художникъ заимствуетъ свой взглядъ на историческія событія изъ историческихъ книгъ, писанныхъ съ цѣлью доказать какую-нибудь философскую истину, произведенія его, заимствованныя изъ исторіи, будутъ явленіями эфемерными. Историческое сектерство суживаетъ взглядъ художника на всемірныя событія, заставляя его смотрѣть на нихъ съ одной какой-нибудь точки зрѣнія, дѣлаетъ его произведенія интересными съ одного какого-нибудь времени: падаетъ школа, подъ вліяніемъ которой онѣ родились, — онѣ стануть скучны и непонятны. Такая участь никогда не можетъ пости-

гнуть «Бориса Годунова» и сцены изъ средневѣковой жизни Пушкина. Взглядъ его не былъ суженъ никакой исторической доктриной: оттого онъ вѣченъ, сколько бы ни перепáдало историческихъ школъ. Произведенія Тацита, Шекспира, Плутарха и Пушкина никогда не покажутся отсталыми въ идеяхъ, а напротивъ будутъ неисчерпаемымъ источникомъ для взглядовъ, системъ, и проч.

Такъ-же просты были отношенія Пушкина и къ самой близкой его сердцу наукѣ—наукѣ поэзіи. Онъ не былъ эстетикомъ, не изучалъ нѣмецкихъ теорій искусства, но это не только не помѣшало, даже способствовало ему быть великимъ знатокомъ поэзіи. Изученіе эстетикъ и исторій литературъ съ философскимъ методомъ много мѣшаетъ живости и свободѣ впечатлѣній.

Начитавшись систематическихъ теорій объ искусствѣ, мы весьма часто впадаемъ въ неискренность сужденій о произведеніяхъ искусства; восхищаемся многимъ, потому что намъ доказано, что этимъ должно восхищаться, и на тѣхъ же основаніяхъ многое порицаемъ. Въ этомъ невинномъ притворствѣ нельзя упрекнуть Пушкина. На каждаго писателя смотрѣлъ онъ безъ предубѣжденія, не справляясь, какой у него парнасскій чинъ, т. е. *геній* ли онъ, *талантъ*, или *частный геній*? и читая книгу, мало заботился о томъ, въ какой изъ этихъ чиновъ слѣдуетъ произвести автора. Оттого такъ прямо и такъ вѣрно указывалъ онъ на достоинства и недостатки всякаго литературнаго произведенія. Каждый удачный стихъ, какому бы плохому поэту онъ ни принадлежалъ и въ какомъ бы множествѣ дурныхъ стиховъ ни погрязъ, приводилъ Пушкина въ восторгъ, и онъ повторялъ его съ сіяющими отъ вдохновенія глазами. Онъ чувствовалъ отвращеніе къ отвлеченнымъ эстетическимъ раздѣленіямъ писателей на художниковъ и нехудожниковъ, и хотя никто лучше его не могъ распознать, что художественно и что нехудожественно, онъ въ своихъ вкусахъ былъ эклектикъ, ибо ему нравилось все хорошее, къ какой бы школѣ и какому бы литературному роду оно ни принадлежало. Однажды, когда Гоголь рѣзко отозвался о Мольерѣ, разбирая его съ слиш-

комъ строгой, односторонней художественной точки зрѣнія, Пушкинъ разсердился и сказалъ, что въ великихъ писателяхъ нечего смотрѣть на форму и что куда бы они ни положили добро свое,—*бери, а не ломайся*. Хотя вѣрностью взгляда и безпристрастіемъ, при оцѣнкѣ поэтическихъ произведеній, онъ больше всего былъ обязанъ своему природному инстинкту, но развитіе этого инстинкта совершилось подъ вліяніемъ того литературнаго образованія, которое онъ получилъ. Не зная Пушкинъ почти съ дѣтства наизусть всѣхъ французскихъ классиковъ, онъ повѣрилъ бы модному мнѣнію, возникшему у насъ въ двадцатыхъ годахъ, что въ Расинѣ и Буало нечего искать кромѣ риторики, бездушныхъ и натянутыхъ фразъ, изъ которыхъ ничему не научишься. Впослѣдствіи къ французскому вліянію въ Пушкинѣ присоединилось вліяніе англійскихъ критиковъ, которые, какъ извѣстно, не вдаются въ отвлеченныя эстетическія теоріи и въ сужденіяхъ своихъ о писателѣ больше всего заботятся о томъ, чтобъ показать, что въ немъ дурно и что хорошо. Однимъ словомъ, Пушкинъ, не получивъ познаній въ эстетикѣ, получилъ превосходное эстетическое воспитаніе и изучилъ искусство практически — изъ образцовъ и критикъ, а не изъ отвлеченныхъ разсужденій. Оттого, когда онъ творилъ, то соображался съ идеаломъ, сложившимся въ немъ изъ достоинствъ и красотъ всѣхъ перечитанныхъ имъ поэтическихъ произведеній, а не съ отвлеченной теоріей.

Психологическая часть эстетики тоже была не знакома Пушкину. Потому онъ не вдавался въ изслѣдованія тайны своего творчества, не анализировалъ его процесса и не доискивался въ душѣ своей до источниковъ вдохновенія. Такимъ образомъ, не зная пружинъ, которыми возбуждается творчество, онъ не могъ возбуждать ихъ искусственнымъ способомъ. Что Пушкинъ творилъ непосредственно, что источникъ собственнаго вдохновенія былъ для него священной тайной, между прочимъ, доказывается тѣмъ, что онъ хранилъ у себя перстень, съ которымъ, по его мнѣнію, было связано его дарованіе.

Итакъ, не будучи теоретикомъ, Пушкинъ не могъ, подобно

Шиллеру, жаловаться на утрату смѣлости и свободы въ своёмъ творествѣ.

Таковы были отношенія Пушкина къ наукѣ. Посмотримъ теперь, какъ онъ относился къ политикѣ — къ государственнымъ вопросамъ.

Политика, по мнѣнію многихъ, ахиллесовская пята нашего поэта. И дѣйствительно: Пушкинъ не былъ политикъ и не имѣлъ на то претензій. Это происходило не отъ недостатка ума и образованія; но вслѣдствіе своей, въ высшей степени поэтической природы, онъ былъ поставленъ на такую высоту взгляда, съ которой всѣ политическія системы кажутся мелкими, ничтожными и пустыми. Подобно Гёте, онъ могъ сказать про себя: *я выше политики*. Да онъ и сказалъ почти тоже въ слѣдующемъ стихотвореніи:

„Не дорого цѣню я громкія права,
Отъ коихъ не одна кружится голова.
Я не ропщу о томъ, что отказали боги
Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги,
Или мѣшать царямъ другъ съ другомъ воевать;
И мало горя мнѣ — свободно ли печать
Морочить олуховъ, иль чуткая цензура
Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова!
Иныя, лучшія мнѣ дороги права;
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода
..... Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать.....
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленія —
Вотъ счастье! вотъ права!...“

«Какой эгоизмъ, какое равнодушіе къ общественному дѣлу и къ положенію ближняго, какая отсталость въ понятіяхъ!» воскликнуть многіе, прочитавъ это признаніе. — Еслибъ не великій поэтъ, а какой-нибудь публицистъ, или ученый, или критикъ, или такъ просто кто-нибудь, въ родѣ пишущаго эти строки, вы-

сказалъ такія понятія, онъ справедливо долженъ бы былъ подвергнуться позорному общественному осмѣянію или презрѣнію. Но высказать такое признаніе, и такъ высказать, какъ оно высказано, могъ только одинъ Пушкинъ; онъ былъ одинъ изъ немногихъ избранныхъ, имѣющихъ на это право, или лучше сказать, привилегію и монополію. Высшія поэтическія организаціи чуютъ инстинктомъ, что всякій порядокъ вещей только временно хорошъ, всякое общественное устройство условно, всякая политическая система преходяща: идеаль гражданственности, который онѣ носятъ въ душѣ своей, слишкомъ высокъ и не можетъ совпасть ни съ какимъ состояніемъ общества и выразиться въ какой-нибудь политической теоріи. Для нихъ каждый порядокъ вещей неудовлетворителенъ, ибо онѣ видятъ его недостатки, и каждый порядокъ сносятъ, ибо онѣ видятъ его хорошія стороны. Эта высота положенія поэта и дѣлаетъ его какимъ-то исключительнымъ человѣкомъ въ обществѣ, человѣкомъ, не принадлежащимъ по понятіямъ своимъ ни къ какому времени, и въ то же время принадлежащимъ всѣмъ временамъ, не преклоняющимся умомъ своимъ ни передъ какими формами, и въ то же время снисходящимъ къ нимъ съ высоты своего величія, за невозможностью осуществленія формъ идеальныхъ. Вотъ причина, почему общество такъ часто упрекаетъ поэта въ отсталости и равнодушіи. И оно по-своему право. Передовые люди трудятся надъ созданіемъ теоріи общественнаго устройства, въ потѣ лица создаютъ, проповѣдуютъ ее съ полной, горячей вѣрой въ ея совершенство: общество съ такою же вѣрою хватается за нее, борется за ея осуществленіе, наконецъ осуществляетъ и торжествуетъ свою побѣду, а поэтъ смотритъ равнодушно на это торжество, да еще, пожалуй, и посмѣется ему, — какой стихъ найдетъ на него. Какъ быть! нельзя передѣлать странной, загадочной натуры поэта. Вокругъ него кипятъ матеріальныя совершенствованія; всѣ изумляются чудесамъ цивилизаціи; вѣкъ идетъ съ неимоверной быстротой впередъ; все ему рукоплещетъ, — а поэтъ тоскуетъ по первобытнымъ временамъ и восклицаетъ:

„Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder!“

Случилось событіе, поразившее всю Европу; всѣ о немъ говорятъ; лучшіе умы ждуть съ нетерпѣніемъ, что скажетъ о немъ великій поэтъ. Спрашиваютъ у него его мнѣнія. Онъ говоритъ, что это прекрасно и принесетъ пользу наукъ. «Какъ, пользу наукъ: вы о чемъ говорите, — о событіяхъ во Франціи?» — Какое мнѣ до нихъ дѣло: я говорю о новомъ ученомъ обществѣ, которое у насъ открывается. — Цѣлая нація преклоняется передъ гениемъ человѣка, выпедшаго изъ низкаго званія и поручающаго ему свою судьбу, а поэтъ выводитъ его въ самой злой каррикатурѣ на сцену, на позорище той же націи. Великій философъ создаетъ систему; всѣ въ восторгѣ передъ ней преклоняются, какъ передъ абсолютной истиной, а поэтъ выводитъ и его на всенародное осмѣяніе. Капризная, ничѣмъ недовольная натура! Не даромъ Платонъ въ свою утопическую республику велитъ не впускать поэта, а держать его на благой дистанціи. Платонъ отчасти правъ. Поэты плохіе политики, какъ въ теоріи, такъ и въ практикѣ. Хоть Маколей и говоритъ, что Байронъ могъ бы съ пользой употребить свои политическія способности для устройства возникавшей Греціи, но намъ кажется, что Геллада, бросившись въ объятія поэта, какъ леди Байронъ, какъ и она вскорѣ бы оттолкнула его отъ себя.

Кромѣ недостижимой высоты и неосуществимости идеала поэтовъ, есть еще причина ихъ разлада съ обществомъ. Она заключается, такъ-сказать, въ самородности ихъ понятій. *Poetae nascuntur*... Имъ дано отъ природы понимать много такого, до чего другіе доходятъ долгимъ путемъ размышленія. Потому имъ весьма странно видѣть, что истины, которыя имъ ясны съ малолѣтства, какъ дважды два четыре, выдаются за новостъ ихъ вѣкомъ, и принимаются публикой съ восторгомъ, какъ гениальныя открытія. Будьте увѣрены, господа политики и философы, что великаго поэта ничѣмъ не удивите, и ни на что не поддѣчете. Все, о чемъ вы кричите въ архимедовскомъ положеніи, все, о чемъ вы проповѣдуете съ такимъ жаромъ, ему не новостъ: все приходило ему въ голову, обо всемъ онъ надумался, но го-

ворить только о томъ, о чемъ призванъ говорить: о Богѣ, красотѣ, сердцѣ человѣческомъ, о томъ, что неизмѣнно, вѣчно, что нужно для всѣхъ вѣковъ и народовъ.

Итакъ, поэта нельзя подвести ни подъ какую категорію политическихъ людей: онъ въ одно и то же время въ высшей степени консерваторъ и въ высшей степени либераль; всѣмъ доволенъ и ничѣмъ не доволенъ. Тѣ, у которыхъ чувство довольства превышаетъ чувство недовольства, являются трагиками, эпиками и лириками, у кого обратно — комиками и сатириками. Пушкинъ принадлежитъ къ разряду первыхъ, въ противоположность Гоголю, Мольеру и Аристофану, которые могли только отрицательно выражать свои идеалы, и потому могли только создавать смѣшныя лица. Имъ прежде всего бросалась въ глаза дурная сторона предмета, Пушкину — хорошая. Способностью находить вездѣ хорошую сторону, сочувствовать всякому порядку вещей, можно отчасти объяснить его умѣнье быть какъ дома при изображеніи всякаго быта и всякой эпохи.

Никакая философская система, никакая политическая доктрина не стояли между Пушкинымъ и предметами, которые онъ созерцалъ, не ставили его на условную точку зрѣнія, и онъ созерцалъ міръ Божій какъ онъ есть.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ поэтъ нашъ относился къ своему искусству.

Что онъ горячо любилъ поэзію, тому есть несомнѣнные доказательства. Какъ ни скупъ, ни стыдливъ былъ онъ на печатныя признанія въ своихъ задушевныхъ привязанностяхъ, но иногда проговаривался о своей любви къ музѣ. Въ прологѣ къ «Египетскимъ ночамъ» онъ говоритъ про Чарскаго: «онъ былъ поэтъ и *страсть* его была *неодолима*.» Описывая характеръ Евгенія Онѣгина, онъ говоритъ, что герой его не имѣлъ высокой страсти *для звуковъ жизни не щадить*. Посланіе къ Жуковскому заключается стихами:

„Блаженъ, кто вѣдалъ сладострастѣе
Высокихъ мыслей и стиховъ.“

Едва ли кто высказалъ большую любовь къ поэзіи. Едва ли

кто усерднѣе Пушкина служилъ своему искусству, едва ли кто больше его трудился надъ выдѣлкой каждаго стиха. А между тѣмъ и эта страсть *какъ-то* дана была ему въ мѣру, не дѣлала изъ него затворника и отверженца общества, не клала на него печати цеха. Какъ онъ ни былъ привязанъ къ поэзіи, но еще болѣе любилъ людей и природу, — и безъ этого онъ не достигъ бы такой высоты въ поэзіи.

Есть что-то несовсѣмъ хорошее, несовсѣмъ христіанское, или по крайней мѣрѣ антипоэтическое, въ той исключительной привязанности къ своему искусству, которая отторгаетъ человѣка отъ живаго прикосновенія съ дѣйствительностью. Вѣсть какимъ-то эпикуреизмомъ отъ человѣка, ни о чемъ, какъ о рѣшоплетствѣ своемъ, не думающаго, хотя бъ онъ жилъ на чердакѣ и питался чернымъ хлѣбомъ. Такая привязанность всегда ведетъ къ эгоизму, и весьма часто къ забвенію самыхъ священныхъ обязанностей. Такія личности могутъ приносить огромную пользу наукѣ, искусству и обществу, но въ то же время онѣ способны хладнокровно прогнать отъ себя лучшаго друга послѣ десятилѣтней разлуки, если приходъ его мѣшаетъ имъ дописать стихъ или прибрать рѣзму; въ состояніи не пойти за докторомъ для умирающей матери, если это отвлечетъ ихъ отъ трактата, составляемаго для общественнаго блага. Мы не хотимъ осуждать эти гигантскія личности. Дѣло ихъ можетъ быть такъ свято, такъ полезно для всего человѣчества, что онѣ могутъ жертвовать и друзьями и родными, какъ ничтожными единицами. Руссо и поступалъ въ такомъ родѣ; по любви своей къ истинѣ, онъ не затруднился выставить на позорище потомства собственнаго своего родителя. Брутъ, изъ чувства справедливости на собственныхъ глазахъ мучилъ и казнилъ собственнаго сына. Другой Брутъ, изъ любви къ отечеству, убилъ своего благодѣтеля, а по новѣйшимъ изслѣдованіямъ — отца. Сохрани насъ Богъ осуждать эти великія личности. Говоримъ это искренно.

Все это мы высказали для объясненія основной мысли нашей статьи, что вполнѣ великимъ поэтомъ можетъ быть только про-

стой человекъ, сохранившій вполне, во всей первоначальной, младенческой свѣжести, всѣ чувства, присущія человеку, какими и былъ нашъ Пушкинъ. Къ нему совершенно подходило прекрасное, но опошленное безтолковымъ повтореніемъ латинское выраженіе: «я человекъ, и ничто человеческое не чуждо мнѣ». — Вспомните жизнь Пушкина, и попробуйте отыскать, что ему было чуждо. Про него-то должно именно сказать:

„На все отозвался онъ сердцемъ своимъ,
Что просить у сердца отвѣта.“

Въ какомъ обществѣ онъ не былъ, въ какой сферѣ не вращался? Онъ плылъ по житейскому морю, не выходя ни у какой пристани, нигдѣ не останавливаясь, вездѣ находилъ пищу для души и драгоценныя сокровища для своей поэзіи. А между тѣмъ многіе ставили ему въ преступленіе такую жизнь, говорили, что она недостойна величія поэта и сана литератора; говорили, что онъ предавался бурнымъ страстямъ, и много потратилъ и силъ, и времени на легкомысленныя забавы, на знакомство съ пустыми людьми. Бурныя страсти, легкомысленныя забавы! Вопервыхъ, эти страсти и забавы не унижали человеческого достоинства; вовторыхъ, не живи онъ,

„Въ законъ себѣ виѣняя
Страстей единый произволъ,
Съ толпою чувства раздѣляя.“

онъ никогда бы не былъ народнымъ поэтомъ, стихи его не вызвали бы сочувствія всякаго Русскаго. Еслибы онъ заперся въ тиши кабинета съ книгами, его поэзія нравилась бы только немногимъ выпреннымъ умамъ, а не всякому, кто одаренъ чувствомъ прекраснаго и высокаго. Дурное общество, пустые люди?—Пушкинъ долженъ былъ искать общества по себѣ,—хорошаго общества—Хорошее общество! Какое такое хорошее общество? Общество литераторовъ? Но, вѣдь, Пушкинъ бывалъ въ немъ, ибо бывалъ вездѣ, связанъ былъ съ нимъ, какъ со всѣми живыми слоями русскаго общества, и бывалъ въ немъ чаще, чѣмъ гдѣ-нибудь, и связанъ съ нимъ крѣпче нежели съ чѣмъ-нибудь. Но исключительно въ немъ вращаться онъ не

могъ, какъ и во всякомъ другомъ обществѣ. Еслибъ онъ исключительно вращался въ кругу «избранныхъ», въ замкнутомъ кружкѣ ученыхъ и литераторовъ,—его живая поэтическая натура не вынесла бы этого комнатнаго, академическаго воздуха; онъ задохся бы въ душной и слишкомъ благовоющей, искусственно-раздушенной атмосферѣ... ему нуженъ былъ и полевой воздухъ... Что такое избранный кружокъ литераторовъ? Тѣ же книги, только въ черновыхъ тетрадяхъ или въ корректурныхъ листахъ. Разговоръ и интересы такихъ замкнутыхъ кружковъ вертятся только около литературныхъ и ученыхъ предметовъ, а живой природѣ Пушкина, душа котораго была открыта для всего на свѣтѣ, нельзя было жить одними литературными и учеными интересами. Вотъ причина связей его съ обществомъ и дружбы съ людьми самыми простыми и обыкновенными. Удивляются, какъ Пушкинъ могъ любить и уважать такихъ незамѣчательныхъ людей какъ N., N. и N. Спрашиваютъ, что онъ въ нихъ нашелъ? Въ одномъ онъ нашелъ добрую чувствительную душу, елейную кротость характера; въ другомъ — неистощимое, живое остроуміе и рѣдкій здравый умъ; въ третьемъ — какое-то рыцарство въ буйствѣ, возведенное въ поэзію, которую онъ узнавалъ и любилъ во всѣхъ видахъ. Отъ живой натуры истиннаго поэта нельзя требовать слишкомъ строгой разборчивости въ симпатіяхъ. Онъ не можетъ *выбирать* друзей, *вымѣривать*, отпускать на вѣсь чувство дружбы, соображаясь съ учеными аттестатами людей, со степенью ихъ литературнаго таланта, начитанности и проч. У него было другое мѣрило для людей, — собственный поэтический инстинктъ: онъ благородно слѣдовалъ его влеченію и никогда не ошибался. Точно также, какъ онъ восхищался каждымъ удачнымъ стихомъ, кому бы онъ ни принадлежалъ, восхищался онъ и каждой благородной чертой человѣка, несмотря на его другія черты.

Эта живость чувствъ, способность принимать впечатлѣнія, замѣчать вездѣ и всегда все прекрасное, увлекаться имъ и съ жаромъ предаваться увлеченію, была источникомъ богатаго содержанія поэзіи Пушкина. Между тѣмъ многіе ставятъ ему эти

черты въ недостатокъ, приписывая ихъ дурному воспитанію, необразованію и неразвитости, которыя будто бы помѣшали нашему поэту стать наряду съ великими всемірными поэтами.— Кстати о необразованіи Пушкина, скажемъ здѣсь нѣсколько словъ объ одной чертѣ характера, которая приписывается его необразованію и отсталости отъ вѣка.

Всѣмъ извѣстенъ такъ-называемый аристократизмъ Пушкина, выраженный въ «Моей родословной», въ «Родословной моего героя» и во многихъ прозаическихъ статьяхъ. Въ прологѣ къ «Египетскимъ ночамъ» есть одна фраза, которую можно принять за признаніе, что аристократизмъ нашего поэта происходилъ отъ желанія подражать лорду Байрону. Есть ли тутъ частица правды, не знаемъ; но можно сказать съ увѣренностью, что между аристократизмомъ Байрона и аристократизмомъ Пушкина не было ничего общаго. Аристократизмъ Байрона достоинъ во всѣхъ отношеніяхъ прамата порицанія, и едва ли можетъ быть чѣмъ-нибудь извиненъ: онъ дѣйствуетъ неприятно на душу поклонниковъ великаго британскаго барда, какъ чувство совершенно противоположное. Онъ отзывается и средневѣковыми предрасудками, непростительными въ «пѣвцѣ свободы», и феодальной грубостью грабителей Британіи, пришедшихъ съ Вильгельмомъ Завоевателемъ и съ презрѣньемъ смотрѣвшихъ на прекрасное племя Англосаксовъ: это въ одно и то же время гордость дворянина передъ простолюдиномъ и чванство разбогатѣвшаго буржуа передъ бѣднякомъ.

Неприятно вспомнить: Байронъ съ гордостью говорить о томъ, что онъ никогда не жилъ на чердакѣ, намекая на другихъ поэтовъ, друзей своихъ. Напротивъ того, аристократизмъ Пушкина не только не достоинъ никакого порицанія, но даже не нуждается въ извиненіи. Онъ никого не оскорблялъ имъ.

„Могучихъ предковъ правнукъ бѣдный,
Люблю ихъ видѣть имена
Въ двухъ-трехъ строкахъ Карамзина:
Отъ этой слабости безвредной,
Какъ ни старался, видѣть Богъ,
Отвыкнуть я никакъ не могъ.“

Въ немъ это чувство было благородно, вполне достойно уваженія, умирительно. Оно происходило отъ той свѣжести и полноты чувствъ, о которой мы говорили. Пушкину были священны семейныя чувства, и онъ былъ крѣпокъ въ нихъ. Любовь къ своему роду и своему сословію имѣла одинъ источникъ съ его высокимъ патріотизмомъ. Онъ меньше чѣмъ кто-нибудь былъ способенъ сдѣлаться ренегатомъ, отступникомъ, перебѣжчикомъ. Въ какомъ бы сословіи онъ ни родился, онъ нашелъ бы за что его уважать, отразилъ бы на себѣ всѣ хорошія его стороны, и не измѣнилъ бы ему своимъ словомъ: ибо презирать свое сословіе, значить *eo ipso* презирать людей, произведшихъ насъ на свѣтъ, а это онъ считалъ почему-то грѣхомъ. Родись онъ въ духовномъ званіи, онъ гордился бы своими предками и возвелъ бы свое сословіе въ поэтическую апопеезу.

Воспѣвая свое сословіе, Пушкинъ никогда не оскорбляетъ другія; что касается до простаго народа, то едва ли кто изъ западныхъ демократовъ, льстецовъ черни, показалъ бѣльшее къ нему уваженіе, чѣмъ Пушкинъ. Онъ первый обратился къ его поэзіи. Онъ заключилъ свою трагедію словами: «народъ безмолствуетъ.» Кто давалъ такую величавую роль народу?

Въ доказательство отсталости понятій Пушкина приводятъ его сожалѣніе о паденіи древней русской аристократіи. Но это въ немъ происходило, между прочимъ, изъ любви ко всему старому, изъ сочувствія къ допетровской Руси,—и въ этомъ отношеніи онъ не отсталъ отъ своего времени, а скорѣе опередилъ его. Страсть Пушкина къ генеологіи скорѣе обнаруживаетъ въ немъ антикварія, чѣмъ аристократа.

„ . . . каюсь, *новый Ходаковский*,
Люблю отъ бабушки московской
Я толки слушать о роднѣ,
О толстобрюхой старинѣ.“

Если въ наше время съ такимъ рвеніемъ отыскиваютъ всѣ вещественныя остатки древности, и обращаются съ ними съ такой любовью и нѣжностью, отчего же не было позволительно Пушкину относиться съ любовью и нѣжностью къ живымъ

остаткамъ допетровской Руси, къ старымъ фамиліямъ, съ которыми онъ былъ связанъ священными узами крови? Отчего нельзя было ему воскликнуть:

„Мнѣ жаль, что тѣхъ родовъ боярскихъ
Влѣзаетъ блескъ и никнетъ духъ;
Мнѣ жаль, что нѣтъ князей Пожарскихъ,
Что о другихъ пропалъ и слухъ!“

Вообще должно замѣтить, что какъ по этимъ стихамъ, такъ и по всѣмъ другимъ, написаннымъ на ту же тему, едва ли слѣдуетъ судить о политическихъ убѣжденіяхъ Пушкина. Это не доводы консерватора, а просто жалобы поэта. Въ одной изъ строфъ «Родословной моего героя» Пушкинъ говоритъ:

„Мнѣ жаль, что дома наши новы,
Что прибываемъ мы на нихъ
Не льва съ мечомъ, не щитъ гербовый,
А рядъ лишь вывѣсокъ цвѣтныхъ.“

Жалоба, совершенно законная въ устахъ поэта! Кто не согласится что въ старинномъ быту нашихъ баръ, при всѣхъ его дурныхъ сторонахъ, было много поэзіи. Поэтъ не могъ не пожалѣть объ упадкѣ и уничтоженіи тѣхъ великолѣпныхъ палатъ, гдѣ «циркуль зодчаго, палитра и рѣзецъ повиновались ученой прихоти хозяина и, вдохновенные, состязались въ волшебствѣ»: неприятно ему было видѣть ихъ испещренными циркульными вывѣсками. Нельзя требовать отъ поэта, чтобъ такой контрастъ, при всѣхъ его благотѣльныхъ послѣдствіяхъ для промышленности и цивилизаціи, приводилъ его въ восторгъ. Поэтъ можетъ придти въ восторгъ отъ развалившейся хижины и отъ мирнаго шалаша, точно также какъ отъ великолѣпнаго *palazzo*, и воспѣть ихъ; но едва ли вызовутъ его вдохновеніе овощная лавочка и кондитерскій магазинъ. И. С. Аксаковъ, въ своей поэмѣ «Бродяга» обращаясь къ шоссе и проселку, говоритъ о послѣднемъ какъ бы съ большимъ сочувствіемъ. Неужели же кто-нибудь упрекнетъ поэта въ отсталости понятій, во враждѣ къ матеріальнымъ улучшеніямъ народнаго быта и въ непониманіи пользы и удобства путей сообщенія?

Еще примѣръ. Положимъ, вырубилъ дремучій лѣсъ, наполненный дикими звѣрами; на мѣстѣ его построили неисчислимое множество полезныхъ заведеній: кожевенныхъ заводовъ, скотныхъ дворовъ, боенъ и проч. Поэтъ, проѣзжая мимо, вздохнетъ по темномъ лѣсѣ, который такъ часто вдохновлялъ его. Слѣдуетъ ли изъ этого, что онъ не образованъ и что не знаетъ, что построенныя заведенія полезны, а волки, жившіе на ихъ мѣстѣ, кусаются... Нельзя требовать отъ поэта, чтобы онъ воспѣвалъ гуттаперчу, торфъ, каменный уголь и удобрение для пашни... Выходя изъ вагона на дебаркадеръ желѣзной дороги, онъ поблагодарить цивилизацію за полезное изобрѣтеніе, давшее ему средство застать еще въ живыхъ больнаго друга, о болѣзни котораго ему было извѣщено телеграфомъ, но воспѣвать машину и телеграфъ не станетъ, а воспоетъ все-таки нашу тройку, подчасъ несущую по ухабамъ и расталкивающую пассажиру бока, нашихъ ямщиковъ, подчасъ пьяныхъ и грубыхъ, но милыхъ русскому сердцу своей удалю, прибаутками, пѣснями — словомъ, своей поэзіей....

Итакъ аристократизмъ Пушкина больше всего происходитъ отъ того, что въ поэтѣ сохранились въ первоначальной свѣжести и чистотѣ всѣ простыя, естественныя чувства. Такъ какъ подобная младенческая ясность понятій, или наивность, какъ ее называетъ Шиллеръ, рѣдко соединяется съ высокимъ умственнымъ развитіемъ, то проявляясь въ Пушкинѣ, она для многихъ представляется противорѣчіемъ главнымъ убѣжденіямъ и стремленіямъ поэта, служа поводомъ къ невыгоднымъ для него заключеніямъ и предположеніямъ. Поражаясь высотой, на которой стоялъ поэтический геній Пушкина, многіе смущаются, видя, что въ немъ сохранились самыя простыя движенія души. Но нельзя ставить въ обязанность генію быть стоикомъ, чловѣкомъ суровымъ, непреклоннымъ. Можетъ быть, для иныхъ сферъ такъ и надобно, но для поэта надобно совсѣмъ другое.

Не вникнувшіе въ характеръ Пушкина подозреваютъ въ этомъ рыцарски-благородномъ характерѣ темныя стороны и только съ оговоркой признаютъ его честнымъ чловѣкомъ.

Поводомъ къ тому служить, вѣроятно, нѣкоторые случайныя стихотворенія. Но послушаемъ оправданіе самого поэта.

„Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смѣло чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю,
Его я просто полюбилъ.
.....
.....

„Тепла въ изгнаннѣ жизнь моя,
Влачилъ я съ милыми разлуку,
Но онъ мнѣ царственную руку
Подаль — и съ вами снова я.
„Во мнѣ почтилъ онъ вдохновеніе,
Освободилъ онъ мысль мою,
И я-ль, въ сердечномъ умиленіи,
Его хвалою не воспую?
„Я льстецъ? Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ:
Онъ горе на цари навличетъ,
Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничить.
Онъ скажетъ: презирай народъ,
Гнети природы голосъ вѣрный!
Онъ скажетъ: просвѣщенія плодъ —
Страстей и воли духъ мятежный!
.....“

Во первыхъ, мы видимъ, что Пушкинъ сохранилъ способность *просто полюбить* т. е. душевно привязаться къ человѣку, не собираясь ни съ какими теоріями: этого ему запретить никто не можетъ. Нельзя также запретить поэту свободно выражать свои чувства: это его священное право. Въ вторыхъ, мы здѣсь находимъ подтвержденіе нашихъ словъ, что Пушкину «ничто человѣческое не было чуждо», а въ томъ числѣ и чувство благодарности. Конечно, чувство благодарности, въ сравненіи съ гигантскими чувствами любви къ наукѣ, человѣчеству, и такъ далѣе, можетъ казаться чувствомъ мѣщанскимъ. Одинъ великій поэтъ, занявши у Гердера денегъ, разсердился на него по этому случаю, вслѣдствіе чего, разобравъ чувство благодарности психически, какъ философъ, напелъ, что оно не стоить большаго уваженія. Конечно, человѣкъ можетъ разсудить

такъ: я гений, я одаренъ самыми высшими чувствами, чувствами людей необыкновенныхъ, стало быть я освобожденъ отъ обыкновенныхъ мѣщанскихъ чувствъ; съ ними неудобно жить, да они и не эффектны въ стихахъ. Но Пушкинъ, вѣроятно, рассуждалъ иначе. Не имѣя силы философскаго анализа, онъ смотрѣлъ на чувство благодарности глазами простаго человѣка, почиталъ это чувство священнымъ, и никакая политическая теорія не могла бы въ немъ искоренить его. Обнародованіе своей любви къ государю было со стороны Пушкина поступкомъ въ высшей степени благороднымъ и смѣлымъ: ибо при этомъ онъ рисковалъ прослыть льстецомъ и лишиться популярности. Вообще Пушкинъ велъ себя съ публикой прямо, искренно и отважно. Онъ очень хорошо понималъ, что заискивать передъ читателями и поддѣлываться подъ мнѣніе большинства также низко, какъ льстить сильнымъ земли. Къ сожалѣнію, не всѣ такъ думаютъ. Весьма часто люди, стыдящіеся получить награду, не имѣющую никакой матеріальной цѣнности, отъ лица сильного, въ то же время всячески унижаются передъ публикой, и желая дешевой извѣстности и хорошей распродажи своихъ сочиненій, потакаютъ образу мыслей толпы, и вмѣсто того, чтобы давать ей направленіе, поучать ее, сами слѣдуютъ ея направленію, у нея учатся. Впрочемъ, говоря это, мы почти перефразируемъ слова самого Пушкина. Вотъ они:

„*Patronage* (покровительство) до сей поры сохраняется въ обычаяхъ англійской литературы. Почтенный Креббъ, умершій недавно, поднесъ всѣ свои прекрасныя поэмы *to his grace the Duke of...* Въ своихъ смиренныхъ посвященіяхъ онъ почтительно упоминаетъ о милостяхъ и высокомъ покровительствѣ, коихъ онъ удостоился, и проч. Въ Россіи вы не встрѣтите ничего подобнаго. У насъ, какъ замѣтила *M-me de Staël*, словесностью занимались, большею частію, дворяне (*en Russie quelques gentilshommes se sont occupés de littérature*). Это дало особенную фязіономію нашей литературѣ; у насъ писатели не могутъ изыскивать милостей и покровительства у людей, которыхъ почитаютъ себя равными, и подносить свои сочиненія вельможѣ или богачу, въ надеждѣ получить съ него 500 рублей или перстень, украшенный драгоценными камнями. Что-жъ изъ этого слѣдуетъ? Что нынѣшніе писатели благо-

родите мыслить и чувствуютъ, нежели мыслили и чувствовали Ломоносовъ и Костровъ? *Позвольте въ томъ усомниться.*

„Ниче писатель, краснѣющій при одной мысли посвятить книгу свою человѣку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично *жать руку журналисту, ошельмованному въ обществѣ мнѣніи, но который можетъ повредить продажѣ книги, или хвалебнымъ объявленіемъ заманить покупателей.*

„Къ тому-же съ нѣкоторыхъ поръ литература стала у насъ ремесло выгодное, и публика въ состояніи дать болѣе денегъ, нежели его сіятельство такой-то, или его превосходительство такой-то; какъ бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значать. Ломоносовъ и Креббъ достойны уваженія всѣхъ честныхъ людей, несмотря на ихъ смиренныя посвященія; а господа *N. N.* всё-таки презрительны, несмотря на то, что въ своихъ книжкахъ они проповѣдуютъ благородную гордость, и что они свои сочиненія посвящаютъ не доброду и умному вельможѣ, а какому-нибудь врагу и плуту, подобному имъ“.

Такая простота чувствъ, человѣчность проглядываетъ и въ литературныхъ мнѣніяхъ Пушкина и характеризуетъ его, какъ критика. При всей своей любви къ литературѣ, при всемъ своемъ уваженіи къ искусству, какъ искусству, онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ суровыхъ и непреклонныхъ служителей Аполлона, тѣхъ критиковъ, которые готовы оскорбить и уничтожить писателя за какое-нибудь плохое произведеніе, не взирая на прежнія литературныя заслуги, преклонность лѣтъ и благородство намѣреній автора, — готовы лишить куска хлѣба бѣднаго труженика за несогласіе въ убѣжденіяхъ. Въ Пушкинѣ литераторъ не уничтожалъ человѣка; его страсть къ поэзіи, тонкій эстетическій вкусъ и строгость литературныхъ требованій не убивали его природной доброты и чувства жалости и состраданія. Основаніемъ его литературныхъ сужденій было не *strictum jus*, дѣйствующее по мертвой буквѣ закона, но гуманное *aequum jus*. Такъ, напримѣръ, разбирая неудачный переводъ «Потеряннаго Рая», исполненный Шатобрианомъ, Пушкинъ говоритъ:

„Переводъ „Потеряннаго Рая“ есть торговая спекуляція. Первый изъ современныхъ французскихъ писателей, учитель всего пишущаго поколѣнія, бывшій нѣкогда первымъ министромъ, нѣсколько разъ по-

сланникомъ,—Шатобрианъ, на старости лѣтъ перевелъ Мильтона для *луска хлѣба*. Каково бы ни было исполненіе труда, имъ предпринятаго, но самый сей трудъ и цѣль онаго дѣлаютъ честь знаменитому старцу. Шатобрианъ, который, поторговавшись немного съ самимъ собою, могъ бы спокойно пользоваться щедротами новаго правительства, властію, почестями и богатствомъ, предпочелъ имъ честную бѣдность, и уклонившись отъ палаты пэровъ, гдѣ могущественно раздавался краснорѣчивый его голосъ, приходитъ въ книжную лавку съ продажной рукописью, но съ неподкупной совѣстью. Послѣ этого что скажете критика? Станетъ ли она строгостью оцѣнки смущать благороднаго труженика, и подобно скупому покупщику, хулить его товаръ?”

II.

Мы высказали нашъ взглядъ на Пушкина, какъ на человѣка; наше намѣреніе было выяснитъ себѣ, какъ относился онъ къ разнымъ сферамъ умственной дѣятельности и къ непосредственной жизни. Сводя наши мнѣнія ко общему итогу, повторяемъ: Пушкинъ не былъ прикованъ къ одной какой-нибудь сферѣ, которая ставила бы его въ исключительное, эксцентрическое положеніе передъ другими сферами, не былъ связанъ никакой страстью, которая бы обхватывала все его существо, вытѣсняла другія страсти; оттого жизнь его была широка и полна, а душа —открыта для всякихъ впечатлѣній. Чуждый всякихъ отвлеченныхъ теорій, онъ смотрѣлъ на жизнь просто — не подъ какимъ-нибудь условнымъ угломъ зрѣнія; оттого во взглядѣ его не было ничего условнаго, временнаго, принадлежащаго одной какой-нибудь теоріи или сектѣ, одной какой-нибудь эпохѣ и одному какому-нибудь... народу — сказали бы мы, еслибъ это безпристрастіе, эта широта, этотъ космополитизмъ взгляда не были коренной чертой русскаго народа... Словомъ, жизнь Пушкина была вполне свободная, а воззрѣніе его на жизнь—вѣчное, непреходящее.

Какъ же отразилась въ поэзіи Пушкина эта свобода жизни и мысли? Она отразилась въ ней полной свободой слова: Пушкинъ былъ именно то, что называется *свободнымъ поэтомъ*.

У насъ уже довольно сказано о томъ, что Пушкинъ не заимствовалъ воззрѣній на жизнь ни изъ какихъ философскихъ сочиненій; вліяніе этого обстоятельства тоже извѣстно. Но намъ могутъ справедливо замѣтить, что философскія теоріи можно созидать и не читая философскихъ книгъ, и при этомъ спросить, пародируя слова Простаковой: «да первый-то философъ у кого учился?» — Дѣйствительно, теоріи жизни, даже и въ наше время, могутъ слагаться безъ помощи философскихъ трактатовъ. Но въ поэзіи Пушкина не замѣтно даже и того самодѣльнаго теоретическаго воззрѣнія на жизнь, какое встрѣчается у поэтовъ, хотя не получившихъ никакого философскаго образованія, но тѣмъ не менѣе развивающихъ въ своихъ произведеніяхъ ими самими добытыя *quasi* - доктрины. Эта маленькая, доморощенная философія, или, какъ ее эти философы называютъ, «филозофія», не имѣющая ничего общаго съ настоящей философіей, то-есть германской, — налагая однако, подобно ей, печать однообразія на поэтическія произведенія, имѣетъ еще то свойство, что кладетъ нѣкоторый оттѣнокъ комизма на личность самого поэта. Не можетъ не казаться отчасти смѣшнымъ и самый даровитый поэтъ, если онъ, напримѣръ, поставилъ себѣ за правило смотрѣть на все въ розовомъ свѣтѣ. Пускай говорятъ, что очарованіе составляетъ пагосъ его поэзіи, — греческое слово не прикроетъ недостатокъ того, что выражаетъ латинское слово «реальность».

Произведенія поэта съ такимъ направленіемъ испещрены его любимыми мыслями, вѣчными повтореніями и модификаціями одного и того же: восторженными обращеніями къ человечеству и восклицаніями о великомъ значеніи жизни. Подобными повтореніями на одну и ту же тему, но только въ другомъ духѣ, отличаются и поэты совершенно-противоположнаго направленія, пагосъ которыхъ составляетъ такъ - называемое *разочарованіе* или *безочарованіе*. Одержимые безотраднымъ взглядомъ на жизнь, они однако знаютъ, какъ эффектенъ подобный взглядъ въ поэзіи, и потому постоянно драпируются въ свою меланхолію, такъ что она переходитъ у нихъ въ рутину, дѣлается

чѣмъ-то заученнымъ, какъ патетическія мѣста въ роли актѣра, которыя онъ уже въ сотый разъ провозноситъ передъ зрителями, и горячится не столько по вдохновенію, сколько на память. То-же однообразіе замѣчается и въ произведеніяхъ поэтовъ, выработавшихъ себѣ «спокойное, ничѣмъ не возмутимое» воззрѣніе на жизнь: они также аффектируютъ этимъ чувствомъ, повсюду выставляютъ его и въ свою очередь бываютъ немного смѣшны. Подобныя направленія усваиваются очень легко и даже пріятно, по крайней мѣрѣ гораздо легче, нежели настоящія философскія системы. Поэту стоить только замѣтить въ себѣ какую-нибудь сильную эффектную склонность, узаконить ее посредствомъ какого-нибудь силлогизма, — и направленіе готово. Здоровая душа Пушкина, не любившая ничего натянутого, ничего аффектированного, не способная ни къ экзальтаціи, ни къ скептицизму, и вообще ни къ чему ненормальному, не могла поддаться не только навсегда, но даже и надолго одному какому-нибудь чувству. Оттого всѣ чувства, имъ выражаемыя, даже тоска и отчаяніе, свѣтлы, какъ чувства нормальныя, чувства здороваго человѣка, ибо они порождены не цѣлымъ воззрѣніемъ на жизнь, а случаемъ, обстоятельствомъ. Они не даютъ читателя: онъ видитъ изъ-за нихъ не мрачную эксцентрическую фигуру поэта, томимаго вѣчной тоской, но человѣка такого же, какъ онъ самъ, огорченного неблагоприятными обстоятельствами, — и онъ увѣренъ, что когда перемѣнятся обстоятельства, пройдетъ горе, — лицо поэта снова просвѣтлѣетъ. Такъ дѣйствуютъ на читателя грусть и тоска Пушкина; такое же здоровое впечатлѣніе производятъ его радость и восторгъ, ибо и эти, сами по себѣ свѣтлыя чувства, выраженные поэтами *съ направленіемъ*, дѣйствуютъ болѣзненно на душу: чувствуешь, что поэтъ находится въ постоянно-напряженномъ, а потому и неестественномъ восторгѣ. Восторгъ Пушкина — такое же естественное, временное порожденіе обстоятельствъ, какъ и всѣ другія его чувства. И тутъ читатель видитъ передъ собой не какую-нибудь исключительную натуру, живущую по какимъ-то высшимъ законамъ, не

полубога, а своего брата, обыкновеннаго человѣка, восторгающагося тѣмъ же, чѣмъ и онъ можетъ восторгаться, и притомъ въ этой же мѣрѣ и въ продолженіи такого же пространства времени.

Поэзія Пушкина, не обнаруживая въ поэтѣ увлеченія однимъ какимъ-нибудь направленіемъ или раболѣпнаго служенія какой-нибудь идеѣ, не обнаруживала и никакой страсти, исключительно владѣвшая надъ его душой. Мы уже сказали выше, что въ сложной натурѣ Пушкина, полной всякими, самыми противоположными наклонностями, одна страсть умѣрялась другою, что и имѣло слѣдствіемъ душевную гармонію. Оттого, во первыхъ, въ поэзіи Пушкина всякая страсть выражена въ мѣру, чѣмъ-то сдержана, не переходитъ въ необузданность, не преступаетъ границъ нравственнаго *comme il faut*. Муза его укрощала, перевоспитывала самые бурные порывы души человѣческой,—и все то, что въ поэзіи другихъ поэтовъ бушуетъ, какъ дикія стихіи природы, не поработенныя искусствомъ и не направленные разумною мыслию,—выступаетъ у Пушкина съ граціозной стыдливостью и съ румянцемъ въ лицѣ. Порывы его души не рвутся безумно впередъ, но, какъ бы прислушиваясь къ метру стиха, идутъ размѣреннымъ шагомъ, — какъ бы быстро ни стремились, никогда не потеряютъ этого каданса.

Вовторыхъ, въ страстяхъ, выраженныхъ Пушкинымъ, нѣтъ ничего исключительнаго, рѣзко-особеннаго, прихотливаго: это—чувства простаго, нормальнаго, здороваго человѣка. Оттого онѣ всѣмъ понятны.

Было еще обстоятельство, имѣвшее вліяніе на нравственность и чистоту поэзіи Пушкина: это—бурная жизнь и страсти, которымъ онъ, говорятъ, предавался съ такой силой. Мы нисколько не намѣрены оправдывать его проступковъ и увлеченій, — но должно сказать, что, еслибъ Пушкинъ при сильной натурѣ не предавался своимъ страстямъ въ частной жизни, его поэзія не была бы такъ чиста, такъ спокойна, такъ нравственна. Всѣ дурныя страсти и наклонности, весь ненужный душевный избытокъ, все буйство духа извергалъ онъ изъ себя въ частной

будничной жизни въ тѣ минуты, покуда его не требовалъ Аполлонъ къ священной жертвѣ. Оттого въ тотъ мигъ, когда божественный глаголь касался его слуха, въ воображеніи его не оставалось ничего нечистаго, недостойнаго поэзіи, страсти его не беспокоили, и онъ, разодравъ нечистыя одежды, облакался въ праздничныя и приступалъ къ творчеству, какъ къ священнодѣйствию—съ покаяніемъ и съ трепетомъ. Вотъ отчего въ поэзіи его больше чистоты, нравственности и трезвости, чѣмъ у людей самаго безукоризненнаго поведенія, которые никогда не брали въ руки картъ, а въ ротъ хмѣльнаго. И весьма естественно: они не были людьми совершенно безъ страстей, а уничтожить свои страсти безъ удовлетворенія, живя въ мірѣ, очень трудно, — занимаясь же эротическими и бакхическими стихотвореніями, совершенно невозможно. Такіе поэты, какъ люди, были чище Пушкина, но Пушкикъ чище ихъ, какъ поэтъ. Ихъ произведенія разгорячаютъ воображеніе, раздуваютъ страсти въ читателей. Стихи Пушкина, какая бы сильная страсть въ нихъ ни изображалась, никогда не заражаютъ страстью читателя, не воспаляютъ воображенія, и въ этомъ отношеніи отчасти выражаютъ качества русской народной поэзіи. Отъ страстей, изжитыхъ Пушкинымъ въ жизни, оставалась въ его воображеніи и переходила въ поэзію самая лучшая сторона ихъ: самые высокіе, человѣческіе ихъ моменты... Вотъ на примѣръ, какъ онъ воспѣваетъ вино:

„Что смокнулъ веселія гласъ?
Раздайтесь, вакхальны припѣвы!
Да здравствуютъ нѣжныя дѣвы,
И юныя жены, любившія насъ!
Полнѣе стаканъ наливайте!
На звонкое дно
Въ густое вино
Завѣтныя кольца бросайте!
Подыめъ стаканы, содвинемъ ихъ разомъ!
Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блѣднѣетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!“

Сравните это стихотвореніе съ бакхическими пѣснями поэтовъ, проводившихъ жизнь несравненно-тише, нежели Пушкинъ.

Еще примѣръ въ другомъ родѣ:

„Въ Доридѣ правятся и локоны златыя,
И блѣдное лицо, и очи голубыя.
Вчера, друзей моихъ оставя пиръ ночной,
Въ ея объятіяхъ я нѣгу пилъ душой;
Восторги быстрые восторгами смѣнялись,
Желанья гасли вдругъ и снова разгорались;
Я таялъ: но среди невѣрной темноты
Другія милыя мнѣ видѣлись черты.
И весь я положъ былъ таинственной печали,
И мнѣ чуждое уста мои шептали.“

Сравните эту пѣсу съ римскими элегіями Гёте, проводшаго свою жизнь гораздо степеннѣе Пушкина. Вотъ нѣсколько стиховъ изъ этихъ элегій:

....„Befolg' ich den Rath, durchblättere die Werke der Alten,
Mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuss.
Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt;
Werd' ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt.
Und belehr' ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens
Formen späh'e, die Hand leite die Hüften hinab?
Dann versteh' ich den Marmor erst recht; ich denk' und vergleiche,
Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand.“

Согласитесь, что такія подробности, какъ бы онѣ поэтичны ни были, не совсѣмъ приличны. Да и вполне ли поэтичны онѣ? Античный стиль и гекзаметръ не прикроютъ ихъ грубости, а учено-художественная цѣль поэта не извинитъ ея. Ничего подобнаго нѣтъ у Пушкина, который беретъ всѣ страсти съ ихъ духовной стороны, умѣя найти середину между платонизмомъ и чувственностью.

Но вотъ стихотвореніе поэта чувственной любви, умѣвшаго всѣхъ чище и граціознѣе изображать ее.

„J'étais un faible enfant qu'elle était grande et belle,
Elle me souriait et m'appellait près d'elle.
Debout sur ses genoux, mon innocente main
Parcourait ses cheveux, son visage, son sein,
Et sa main quelquefois aimable et caressante,
Feignait de châtier mon enfance imprudente.
C'est devant ses amants, auprès d'elle confus,

Que la fière beauté me caressait le plus.
Que de fois (mais, hélas! que sent-on à cet âge?)
Les baisers de sa bouche ont pressé mon visage!
Et les bergers disaient, me voyant triomphant:
Où que de biens perdus! O trop heureux enfant!“ *)

Прекрасный, обольстительный образ! но нельзя не сознаться, что трудно предположить чистоту воображенія въ человѣкѣ, который не можетъ себѣ представить невиннаго ребенка на колѣняхъ у молодой дѣвушки, безъ того, чтобъ не найти въ этой картинѣ чего - нибудь сладострастнаго. Вотъ, для контраста, стихи Пушкина, въ которыхъ онъ дошелъ *по-своему* до самаго крайняго предѣла чувственной страсти:

„Клянусь, о мать наслаждений,
Тебѣ неслыханно служу:
На ложе страстныхъ искушеній
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
И боги грознаго Аяда, —
Клянусь, до утренней зари
Моихъ влaстителей желанья
Я сладострастно утолю,
И всѣми тайнами лобзанья
И дивной нѣгой утомя!
Но только утренней пореиroy
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣнкой
Глава счастливецъ упадетъ!“

„И вотъ уже сокрылся день,
И блещетъ мѣсяць златорогій;
Александрійскіе чертоги
Покрыла сладостная тѣнь.
Фонтаны бьютъ, горятъ лампы,
Курится легкій енимамъ,
И сладострастные прохлады
Земнымъ готовятся богамъ.
Въ роскошномъ золотомъ покое,
Средь обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сѣнью пурпурныхъ завѣсъ
Блится ложе золотое.“

*) Переводъ этого стихотворенія см. въ I томѣ соч. Б. Н. Алмазова, стр. 81. *Прим. издат.*

Въ словахъ Клеопатры сладострастіе доходить до неистовства, но и тутъ поэтъ не преступаетъ законовъ приличія; и тутъ у него является сдержанность, такъ что подумаешь, что, создавая это стихотвореніе, Пушкинъ постоянно имѣлъ въ виду наставленіе Гамлета актеру: «и въ самой страсти соблюдай мѣру!» — Но поэтъ какъ бы стыдится и такого изображенія страсти. Когда Клеопатра говоритъ о тѣхъ наслажденіяхъ, которыя готовитъ своимъ любовникамъ, онъ точно пугается ея рѣчей, и влагаетъ ей въ уста клятву подземнымъ богамъ и слово о казни:

„Но только свѣтлою пореиroy
Заря румяная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой
Глава счастливцевъ упадетъ!“

и читатель чувствуетъ вмѣстѣ съ поетомъ, что ужасное должно искупиться ужаснымъ, что только мысль о казни и объ ужасахъ мрачнаго подземнаго царства можетъ изгладить впечатлѣніе всей картины. И какъ художественно кончается шѣса! Занавѣсъ опускается въ ту именно минуту, когда должно совершиться то, чего уже не должны видѣть зрители.

Не одно чувство плотской любви, но и всѣ другія страсти имѣли такой отголосокъ въ поэзіи Пушкина. Извѣстно, какъ предавался онъ гнѣву, извѣстно, какъ однажды бѣжалъ съ бритвой за разсердившимъ его извозчикомъ; но и чувство гнѣва растрачивалъ онъ въ вспышкахъ; злоба никогда не залегала и не таилась въ глубинѣ души его; въ спокойномъ, нормальномъ расположеніи духа, онъ не могъ питать непріязненныхъ чувствъ, потому и не могъ ихъ анализировать, и почти не зналъ ихъ: ибо въ минуту страсти ихъ никто не наблюдаетъ. Это отразилось и въ его произведеніяхъ. Вся его поэзія дышетъ незлобностью. Если въ его голосѣ и слышатся иногда гнѣвные ноты, это чистый гнѣвъ, — карающій приговоръ суди. Даже и въ полемикѣ (въ прозаическихъ статьяхъ) Пушкина, при всей ея рѣзкости, нѣтъ злобы. Вспомните статьи Теофилакта Косичкина. Какой веселостью вѣетъ отъ нихъ! Читая ихъ, чувствуешь, что поэтъ увлекался своимъ комическимъ талантомъ, что онъ *con amore* обдѣлывалъ в холилъ свои шутки;

слышнись, какъ онъ самъ смѣется этимъ шуткамъ, смѣется своимъ *«живымъ, ребячески-веселымъ»* смѣхомъ. Нельзя того же сказать про его эпиграммы. Во многихъ изъ нихъ слышится злоба, но это оттого, что онѣ по большей части не предназначались для печати и относятся скорѣе къ частной жизни Пушкина, чѣмъ къ его литературной дѣятельности: это такія же мгновенныя вспышки гнѣва, какъ и похождение съ извозчикомъ. На эпиграммы Пушкина, не предназначенныя для печати, надо также смотрѣть, какъ на нѣкоторые его слова и остроты, сказанныя въ дружескомъ близкомъ кружкѣ. Въ тѣсномъ кругу близкихъ людей онъ бывалъ рѣзокъ въ сужденіяхъ, увлекался, словомъ, являлся нараспашку, но въ литературной и общественной дѣятельности онъ ничего подобнаго себѣ не позволялъ: былъ остороженъ и осмотрителенъ. Такъ въ одномъ письмѣ онъ не совсѣмъ прилично отзывается о Шишковѣ. А между тѣмъ, какъ величественъ образъ того же Шишкова въ стихахъ того же Пушкина:

„Шишковъ уже наукъ правленье воспріялъ.
Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ среди народа
Священной памятью двѣнадцатаго года;
Одинъ, среди вельможъ, онъ русскихъ музъ любилъ;
Ихъ, незамѣченныхъ, созвалъ, соединилъ;
Отъ хлада нашихъ лѣтъ сберечь онъ лавръ единый
Оскротълаго вѣнца Екатерины!..

Въ подтвержденіе нашего мнѣнія приведемъ слова г. Анненкова, какъ авторитетъ. Онъ говоритъ:

«Мысли свои о людяхъ Пушкинъ высказывалъ чрезвычайно осторожно, цѣня всего болѣе личную сторону ихъ жизни. Наединѣ однако-жъ съ особами, которымъ хотѣлъ показать признаки всей своей довѣренности, онъ любилъ представлять образцы своего мѣткого опредѣленія характеровъ и наблюдательной способности. Отсюда и причина нѣкоторыхъ недоразумѣній, какъ въ отношеніи самого Гоголя, такъ и въ отношеніи другихъ его знакомыхъ. Люди, слышавшіе довѣрчивыя его сужденія, принимали ихъ за нѣчто противоположное съ тѣми, какія высказывалъ онъ передъ свѣтомъ публично, когда соб-

ственно никакого противорѣчія между ними не существовало и одні не исключали другихъ.»

Итакъ, повторяемъ, эпиграммы Пушкина, въ которыхъ высказывалась злоба, должно отнести къ его частной жизни; въ поэзіи же своей онъ нигдѣ не выражаетъ этого чувства. Замѣчательно, что даже и въ драматическихъ и эпическихъ произведеніяхъ, гдѣ поэтъ говоритъ не отъ себя, а заставляетъ говорить другихъ, онъ соблюдаетъ ту же мѣру въ страсти, какъ и въ лирическихъ стихотвореніяхъ. Его лица въ самыя сильныя минуты страсти никогда не ужасаютъ читателя, не заставляютъ содрагаться. У Шекспира Корнваль вырываетъ на сценѣ глазъ у Кента и растаптываетъ его ногой, и говоритъ: «вонъ, скверная слизь!» У Пушкина нѣтъ ничего и близкаго къ этому. Вотъ самая относительно-ужасная сцена у Пушкина. Въ «Скупомъ рыцарѣ» сынъ справедливо называетъ отца лжецомъ. Отецъ бросаетъ ему перчатку въ знакъ вызова. Сынъ поспѣшно ее поднимаетъ. Кажется, еще здѣсь не отъ чего ужасаться. Сынъ въ минуту бѣшенства сказалъ отцу дерзость и поднялъ брошенную имъ перчатку. Онъ, разумѣется, это сдѣлалъ только изъ ироніи — не съ намѣреніемъ драться съ отцомъ, убить его. Это только чувство непочтенія. Но нашему поэту и это кажется ужаснымъ. Онъ заставляетъ герцога назвать Альберта извергомъ, и заключаетъ сцену словами: «Ужасный вѣкъ! Ужасныя сердца!»

Можетъ быть, выраженія наши будутъ поводомъ къ ложному толкованію нашихъ мыслей. Можетъ быть, подумаютъ, что мы хотимъ поставить Пушкина выше Шекспира. Слѣпшимъ оговориться. Мы очень хорошо знаемъ, что Пушкинъ не былъ и не могъ быть такимъ объективнымъ поэтомъ, такимъ великимъ сердцефѣдцемъ, какъ Шекспиръ, и никогда не достигъ бы глубины и силы величайшаго изъ драматурговъ, но въ замѣнь этихъ качествъ (если эти качества могутъ быть чѣмъ-нибудь замѣнимы), онъ обладалъ способностью, хотя и не могущей идти въ параллель съ тѣмъ, чѣмъ одаренъ былъ авторъ «Ричарда III», но тѣмъ не менѣе достойной глубокой симпатіи,—спо-

способностью всегда брать предметы съ ихъ лучшей, поэтической стороны. Онъ не могъ представить дурнаго человѣка во всей отвратительной истинѣ. Изображая порочную страсть, Пушкинъ умѣлъ поставить читателей на извѣстное отъ нея разстояніе, такъ, чтобъ они не совершенно видѣли ея безобразіе и какъ-то умѣлъ показать самый порокъ съ поэтической точки зрѣнія. Это не значить, чтобъ онъ старался представить образъ порочнаго человѣка обольстительнымъ, достойнымъ подражанія, тѣмъ-нибудь въ родѣ Карла Мора, Байронова Каина и Печорина, лицъ, къ которымъ читатель чувствуетъ невольное уваженіе, и признавая ихъ порочными, все-таки втайнѣ желаетъ быть похожимъ на нихъ. Къ скупому Пушкина не чувствуешь ни неуваженія, ни отвращенія; восхищаешься только грандіознымъ образомъ скупости, нисколько не думая, что въ этомъ пороку можетъ быть какая-нибудь хорошая сторона, но и не содрагаешься при видѣ его безобразія. Словомъ, это лицо на картинѣ, хотя и не отдѣляющееся совершенно отъ полотна и не заставляющее васъ забыть, что оно нарисовано, но тѣмъ не менѣе лицо полное жизни. Впрочемъ, такое лицо, какъ скупой, является какъ исключеніе между образами, которые выбиралъ Пушкинъ, ибо уже въ самомъ выборѣ характеровъ отразилось прихотливое изыщество его вкуса. Почти всѣ его лица или рѣшительно внушаютъ къ себѣ симпатію, или по крайней мѣрѣ не отталкиваютъ отъ себя своими пороками. Его разбойники, кромѣшники, предсѣдатель (въ «Пирѣ во время чумы») — лица, которыя и сами по себѣ, т. е. помимо художественности изображенія, болѣе или менѣе не лишены поэзіи. Выборъ предметовъ, уже самихъ по себѣ прекрасныхъ, или по крайней мѣрѣ не лишенныхъ прекрасныхъ сторонъ, показываетъ, что Пушкинъ былъ поэтъ по преимуществу. Ибо писатель-поэтъ тѣмъ отличается отъ писателя-художника вообще, что у него красота изображенія предмета совпадаетъ съ красотой самаго предмета; другими словами: художникъ возводитъ все въ мірѣ существующее «въ перлъ созданія», — поэтъ возводитъ въ перлъ созданія только то, что въ мірѣ существуетъ уже само по

себѣ, какъ перлъ. Предметами поэта мы всегда можемъ любоваться и въ дѣйствительности, хотя конечно не такъ полно, какъ при указаніяхъ этого ментора; отъ предметовъ же, избираемыхъ художникомъ, мы весьма часто отворачиваемся въ дѣйствительности, а въ художественномъ изображеніи ихъ любимъ только мастерствомъ художника — копіей, а не оригиналомъ. Мы нашли бы и въ дѣйствительности привлекательныя черты въ кромѣшникахъ и разбойникахъ, полюбовались бы, напримѣръ, ихъ удачью, храбростью и проч. Но чѣмъ бы могли мы любоваться въ городничемъ Гоголя? Конечно, въ дѣйствительности и городничій не лишенъ человѣческихъ чертъ, но ихъ не выставилъ художникъ, а въ чертахъ, которыя выставилъ, нѣтъ ничего привлекательнаго.

Въ этомъ отношеніи лица Шекспира можно раздѣлить на поэтическія и *только-художественныя*. Къ первымъ относятся, напримѣръ, Лиръ, Отелло, Ромео, Коріоланъ; ко вторымъ Фальстафъ, Ричардъ III. У Шиллера всѣ лица поэтическія, исключая его злодѣевъ, которые и не поэтичны, и не художественны, а просто неудачны. У Гёте почти всѣ лица поэтическія, какъ у Пушкина, и въ этомъ отношеніи они оба не выдерживаютъ сравненія со всесторонностью британскаго психолога. Но, повторяемъ, Пушкинъ былъ только чистый поэтъ: не больше и не меньше.

Передъ отступленіемъ, нами сейчасъ сдѣланнымъ, мы говорили о свободѣ Пушкина, какъ поэта. Въ этой свободѣ его не стѣсняло и самое служеніе искусству. Пушкинъ, какъ мы сказали выше, не смотря на непреодолимую страсть къ поэзіи, не смотря на неутоимые труды, не былъ поэтомъ-труженикомъ, постоянно напругающимъ воображеніе, постоянно желающимъ творить. Про него говорили, что онъ лѣнивъ, и это можетъ показаться правдой, если сравнить жизнь нашего поэта съ жизнью другихъ писателей, особенно ученыхъ. Онъ не размѣрлялъ свой день, подобно Гёте, посвящая утро работѣ и вдохновенію, а вечеръ отдыху и пуншу, не употреблялъ никакихъ средствъ для искусственнаго возбужденія вдохновенія,

подобно Шиллеру, который съ этой цѣлью держалъ у себя въ комнатѣ гнилыя яблоки, раздражавшія ему своимъ запахомъ нервы, а во время работы пилъ шампанское и кофе и ставилъ ноги въ холодную воду. Пушкинъ работалъ, когда ему хотѣлось и когда приходилось. У него не было наклонности къ праздности и лѣни, но онъ любилъ *otium*. Онъ никогда не призывалъ вдохновенія насильственно, не работалъ надъ добываніемъ мысли и чувства. Работа его состояла только въ выраженіи того, что уже давало ему вдохновенье: онъ работалъ надъ воплощеніемъ образовъ, чувствъ и мыслей, возникавшихъ въ душѣ его.

Поэзію Пушкина называютъ поэзіей мгновенія. Она дѣйствительно такова. Онъ выражалъ, что внушала ему минута. Мысль, чувство, образъ отражались въ стихахъ Пушкина совершенно такими, какими блестнули въ душѣ его въ минуту вдохновенія. Онъ ничего не присоединялъ, не присочинялъ къ тому, что оно давало ему; не пополнялъ мысль и не усиливалъ чувства, внушенные минутой, словомъ, онъ довольствовался *однимъ*, постигшимъ его вдохновеніемъ, и когда оно отлетало отъ него, не призывалъ другаго, новаго. Оттого такъ свѣжи, кратки и безыскусственны его произведенія. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ совершенно противоположенъ Шиллеру, который, по справедливому замѣчанію новѣйшихъ нѣмецкихъ критиковъ, искусственно развиваетъ мысли и чувства, внушенные ему вдохновеньемъ,—прибавляетъ и присочиняетъ къ нимъ. Поэзія Пушкина относится къ поэзіи Шиллера, какъ музыка Россини къ музыкѣ такъ-называемыхъ ученыхъ композиторовъ. Музыка Россини отличается богатствомъ мотивовъ; онъ только создаетъ мотивы, но никогда не развиваетъ; напротивъ того, ученые музыканты, бѣдные мотивами, то-есть вдохновеніемъ, пробиваются по большей части ихъ развитіемъ, затѣйливостью аккомпанемента и оркестровки. Ученые композиторы, создавъ мотивъ и выразивъ его въ первой музыкальной строфѣ, развиваютъ его во второй, въ третьей развиваютъ уже самое развитіе и такъ далѣе. Россини, создавъ мотивъ и выразивъ его въ музыкальной строфѣ, создаетъ совершенно новый мотивъ для другой

строфы, для третьей опять новый и такъ далѣе. Мотива первой каватины «Фигаро» стало бы на нѣсколько большихъ оперъ для ученыхъ композиторовъ... Поэзія Пушкина, подобно музыкѣ Россини, есть поэзія мотива, мелодіи.

Такой процессъ творчества выражается не только въ лирическихъ стихотвореніяхъ Пушкина, но и во всѣхъ другихъ его произведеніяхъ, къ какому бы роду они ни принадлежали. Особенно ярко онъ выдается въ произведеніяхъ драматической формы. Въ нихъ нѣтъ ничего чуждаго вдохновенію, ничего придуманнаго, словомъ, ничего такого, что называется сценическими условіями. Существуетъ мнѣніе, что Пушкинъ со временемъ сдѣлался бы драматическимъ писателемъ, въ родѣ Шекспира. Едва ли; можетъ быть, въ изображеніи страстей и въ психическомъ анализѣ онъ и приблизился бы къ нему (хотя мы и въ этомъ сомнѣваемся), но написать что-нибудь для сцены не было согласно съ родомъ его творчества. Должно признаться, что во всякомъ драматическомъ произведеніи, принаровленномъ къ сценѣ, есть двѣ стихіи: творчество, прямой плодъ вдохновенія (мотивъ), и искусственность, плодъ холодныхъ расчетовъ, постороннихъ искусствъ (развитіе мотива). Мы очень хорошо знаемъ, что для выраженія всякой поэтической мысли нуженъ трудъ, зрѣлое, холодное размышленіе, что и Пушкинъ менѣе чѣмъ кто-нибудь обходился безъ нихъ. Но въ произведеніяхъ, назначенныхъ единственно для чтенія, а не для сцены, эта ремесленная работа служить только для того, чтобъ выразить въ совершенной чистотѣ внутреннее вдохновеніемъ. Для сценическаго писателя, кромѣ этого труда, нуженъ другой трудъ. Еслибъ онъ выразилъ только то, что составляетъ мотивъ задуманнаго произведенія — характеры, страсти, столкновенія, — работа его не годилась бы для сцены. И вотъ онъ долженъ приниматься за другую работу — вставлять все это въ тѣсную рамку сценическихъ условій: надо раздѣлить свое вдохновеніе на дѣйствія и явленія, а вѣроятно въ душѣ поэта никогда не возникаетъ содержаніе пьесы уже въ такомъ искусственномъ видѣ. Безъ соблюденія этихъ внѣшнихъ условій, драма будетъ невыносимо

скучна на сценѣ, и потому никакой геній не можетъ ихъ избѣжать. — Все это мы говоримъ не въ укоръ и порипаніе сценическому искусству, правила котораго освящены вѣками и, утвержденныя великими образцами, будутъ существовать вѣчно, — а для того только, чтобъ выяснитъ характеръ творчества Пушкина. Кстати замѣтимъ здѣсь, что эта искусственная, чисто техническая сторона входитъ въ составъ не только драматическихъ произведеній, но и вообще во всѣ роды поэтическихъ произведеній, рассчитывающихъ на интересъ массы, — публики. Величайшій изъ романистовъ, Вальтеръ Скоттъ, почти во всѣхъ своихъ произведеніяхъ прибѣгаетъ, ради интриги, къ пружинамъ, не принадлежащимъ искусству. Къ характерамъ художнически-созданнымъ, въ столкновеніи которыхъ выражается идея романа и глубина которыхъ доступна только людямъ съ развитымъ эстетическимъ чувствомъ, онъ для интриги всегда присоединяетъ двухъ любовниковъ, очень блѣдно нарисованныхъ, но занимающихъ своими приключеніями большинство читателей.

Итакъ, муза Пушкина не была провозвѣстницей великихъ идей, не поражала ни силой страсти, ни особеннымъ сердцебѣдѣніемъ, ни особеннымъ блескомъ наряда. Чѣмъ же объяснить ея владычество надъ сердцами? — Симпатичностью ея голоса, граціей ея движеній, вкусомъ ея наряда... Приводя еще разъ сравненіе, употребленное нами въ началѣ статьи, повторяемъ: муза Пушкина — это его Татьяна, женщина, ничѣмъ не поражающая на первый взглядъ, но съ перваго же взгляда внушающая къ себѣ безконечное, безотчетное уваженіе и глубокую симпатію... Ни словомъ, ни движеніемъ, ни взоромъ она никогда не измѣнитъ тихой женской граціи, она съ ногъ до головы женщина хорошаго круга. Рѣчь ея умна, полна мысли, но никогда не касается отвлеченныхъ теорій, столь неловкихъ въ женскихъ устахъ, никогда не возглаголюетъ великихъ истинъ, столь неумѣстныхъ на раутѣ; она образована, но не пускается въ ученныя разсужденія, не щеголяетъ своими познаніями, а высказываетъ ихъ настолько, насколько можетъ высказать женщина, не дѣлаясь *синимъ чулкомъ*; по глазамъ ея вы видите,

что она одарена чувствомъ, способна къ глубокой страсти, но и о чувствахъ и страстяхъ она говоритъ съ достоинствомъ. Она не краснѣетъ отъ всякой легкой двусмысленности, и сама въ словахъ своихъ не прикидывается ребенкомъ; но никогда уста ея не произносятъ ничего, не только близкаго къ цинизму, даже ничего вольнаго. Она задумывается, во взглядъ ея видна грусть; но она никогда не аффектируетъ меланхоліей, не останавливаетъ всеобщіе взоры своимъ вѣчно-грустнымъ лицомъ. Образъ мыслей ея свободенъ, современенъ; но она не эманципированная женщина, не кричитъ противъ преданій и общественныхъ обычаевъ, и умѣетъ отличить цѣпи предразсудковъ отъ законовъ приличія. Вотъ при какихъ средствахъ муза Пушкина владычествовала надъ сердцами. Средства эти не блестящи и какъ будто только отрицательныя. Но ни одна изъ такъ-называемыхъ необыкновенныхъ женщинъ—ни г-жа Дюдеванъ, ни Роланъ, ни сама Христина, королева шведская, не могли имѣть такого положенія въ обществѣ. Женщина, подобная имъ, можетъ удивлять общество чѣмъ-нибудь необыкновеннымъ; но въ такомъ удивленіи есть нѣчто обидное для самой удивляющей (она какъ будто показываетъ себя!). Потому женщина съ сѣвернымъ тактомъ не любитъ играть никакой слишкомъ выдающейся роли въ обществѣ и ни за что не согласится прослыть необыкновенно любезной, остроумной, ученой, словомъ заслужить какое-нибудь прозвище.

Дѣло въ томъ, что въ поэзіи Пушкина есть и глубина мысли, и сила страсти, и знаніе сердца человѣческаго, но ничего не высказывается рѣзко, не напрашивается на вниманіе читателя. Оттого съ перваго взгляда можетъ показаться, что поэзія Пушкина холодна, бѣдна содержаніемъ и беретъ больше всего мастерствомъ стиха. Дѣйствительно, по стиху Пушкинъ, кажется, не имѣетъ соперниковъ; но самыя достоинства этого стиха, простота размѣра, отсутствіе изысканности и яркости выраженій—и доказываютъ, что стихъ былъ для Пушкина не цѣлью, а орудіемъ. Въ поэзіи Пушкина такое же соотношеніе между формой и содержаніемъ какъ въ пѣніи Рубини; по крайней

мѣръ, у насъ нѣтъ другаго средства, какъ черезъ это сравненіе, объяснить то дѣйствіе, которое производятъ на насъ стихи Пушкина. Какіе отзывы въ толпѣ слышимъ мы про Рубини? «Удивительное искусство! но нѣтъ чувства; онъ холоденъ, онъ рѣдко одушевляется.» — Но именно въ тѣ минуты, когда у Рубини не было того, что большинство называетъ «одушевленіемъ» (а это съ нимъ бывало почти всегда), онъ и былъ великъ, то есть былъ вѣренъ своему призванію. Онъ былъ совершенно спокоенъ: на лицѣ его не являлось ни малѣйшаго признака страсти и одушевленія, голосъ его лился спокойно, мѣрно; онъ не заставлялъ его страстно дрожать, не придавалъ никакого выраженія, короче — въ пѣніи его не было ничего драматическаго. Казалось, что съ голосомъ своимъ онъ обращался какъ съ бездушнымъ инструментомъ, показывая слушателямъ только его механизмъ. Весьма часто случалось, что, исполняя арію самаго печальнаго содержанія, онъ улыбался, какъ будто не понимая смысла ея словъ. Но несмотря на все это, сколько внутренняго чувства, внутренней страсти, сколько содержанія было въ его пѣніи! Голосъ его уже самъ по себѣ былъ весь чувство, весь страсть; самыя его рулады, казавшіяся толпѣ просто *кунштюками*, были полны содержанія.

Таково же дѣйствіе поэзіи Пушкина. Что въ этихъ стихахъ:

«Ночь свѣтла, въ небесномъ полѣ
Ходитъ Вesperъ золотой,
Старый дождь плыветъ въ гондолѣ
Съ догарессой молодой.»

или:

„Дукъ звенитъ, стрѣла трепещетъ,
И клубяся издохъ Пaeонъ, —
И твой ликъ побѣдой блещетъ,
Бельведерскій Аполлонъ!“

Какое здѣсь чувство, какая здѣсь мысль? Что въ этихъ звукахъ? Но отчего такъ сладко говорятъ они вашему сердцу, отчего они не выходятъ изъ вашей памяти, отчего вамъ хочется все повторять ихъ? Неужели васъ плѣняютъ только звуки? Есть стихи звучнѣе этихъ для уха, но не производящіе никакого

дѣйствія на душу. Нѣтъ, не звуки плѣняютъ васъ. Васъ плѣняетъ самъ поэтъ. Вы чувствуете, что онъ чувствовалъ, когда слагалъ эти строфы, думаете, что онъ думалъ, и ваша душа настраивается также высоко, какъ душа поэта въ минуту вдохновенія; мысль ваша получаетъ силу его мысли, вамъ также сладко и отрадно, какъ самому поэту. Вы перечитываете стихотвореніе нѣсколько разъ сряду, чтобъ продлить свое наслажденіе. А что вы чувствуете въ эти минуты, это вы точно такъ же не сумѣете выразить, какъ и не сумѣете сказать, какая мысль, какое чувство заключаются въ стихотвореніи.

Но не одними звуками, не одной гармоніей стиха передавалъ Пушкинъ свои впечатлѣнія; не однимъ безотчетнымъ и невыразимымъ восторгомъ наполнялъ онъ душу читателя; не *одной прелестью живаго стиха онъ былъ полезенъ*. Нѣтъ, у него было и другое значеніе. Голосъ его, уже прекрасный самъ по себѣ, и пѣлъ только прекрасное. Отыскивать вездѣ прекрасное и указывать его толпѣ, было главнымъ призваніемъ нашего поэта. И онъ служилъ этому призванію безотчетно, не преднамѣренно — съ простодушіемъ генія.

И какъ зорокъ былъ его геній на все прекрасное! Повторяемъ: онъ не возводилъ *все* существующее въ перлъ созданья, но находилъ перлы во всемъ существующемъ. Есть много поэтовъ, умѣющихъ изображать прекрасное, но они слишкомъ далеко за нимъ ходятъ, — кто въ древнюю Грецію, кто въ новую, кто въ древній Римъ, кто въ современный, кто въ Испанію и даже еще дальше; но въ повседневной жизни, у себя подъ бокомъ, его не видятъ. Такъ Шиллеръ и Гёте какъ будто и не жили въ современномъ имъ обществѣ: источникомъ ихъ поэзіи былъ древній міръ и Средніе Вѣка. Байронъ находилъ въ современности только пищу для своихъ сарказмовъ. Если они и изображали красоты обыденной жизни, то въ ихъ изображеніи замѣтно не столько увлеченіе красотой предмета, полное къ нему сочувствіе, сколько снисхожденіе къ нему. Такова у Гёте картина мѣщанской жизни въ «Германъ и Доротея». Поэтъ не свой въ этомъ кругу: онъ выше его, и смотритъ на

него съ высоты своего величія, какъ смотритъ взрослый чело-
вѣкъ на ребенка, или челоѳкъ развитый на дикаря; чувства
лицъ, имъ изображенныхъ, онъ постыдился бы назвать своими.
Вообще поэты, изображая какъ свои чувства, такъ и чувства
другихъ, по большей части рядятъ и себя, и своихъ лицъ въ
древнія тоги или среднеѳковыя латы; имъ какъ бы неловко
чувствовать во ѳракѣ или пальто. Источникъ этой односторон-
ности—то отдаленіе отъ дѣйствительности, отъ непосредствен-
ной жизни, отъ интересовъ простыхъ людей, о которомъ мы
говорили выше. Не безъ пользы для Пушкина было, что онъ
жилъ «съ толпою чувства раздѣляя», ибо, идя рука объ руку
съ нею, онъ переживалъ всѣ высокія челоѳческія чувства, ко-
торыя она переживаетъ, и которыя, при всей его проницатель-
ности, остались бы для него тайною въ типичномъ кабинетѣ. Но
идя объ руку съ толпою, онъ все-таки былъ выше и чище ея,
ибо жизнь его не ограничивалась этой сферой. За то въ ми-
нуты, когда онъ жилъ заодно съ толпою, онъ искренно дѣлилъ
съ ней ея впечатлѣнія. Оттого, когда убѣгалъ онъ по призыву
Аполлона къ священной жертвѣ и въ типичномъ кабинетѣ слагалъ
свои пѣсни, толпа ихъ слушала съ такимъ восторгомъ: онъ ей
пѣлъ о томъ, что она сама испытала. Онъ не училъ своихъ
читателей, не указывалъ обществу новыхъ путей, не призывалъ
къ исправленію, а воскрешалъ передъ ними тѣ высокіе, пре-
красные моменты, которые они проживаютъ. Онъ не звалъ ихъ
къ чему-нибудь прекрасному въ будущемъ, но указывалъ на
прекрасное уже существующее. Призывать людей къ высокимъ
неземнымъ стремленіямъ, къ геройскимъ подвигамъ,—было не
его дѣло. На такіе вызовы откликаются только немногіе из-
бранные, а онъ пѣлъ для всѣхъ, пѣлъ то, что для всякаго до-
ступно, что всякаго можетъ возвысить и облагородить.

Да, Пушкинъ былъ призванъ, чтобъ показать своему народу
все, что есть въ его жизни прекраснаго, возвышеннаго и поэ-
тическаго, съ тѣмъ, чтобъ онъ цѣнилъ и природу и людей сво-
ей страны. Показывать дурное онъ не могъ, по глубоко-врож-
денному чувству изящества и незлобію своего духа. Гоголь, вѣ-
роятно, имѣлъ въ виду Пушкина, изображая поэта:

«Счастливы писатель, который мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дѣйствительностію, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое достоинство человѣка, — который изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ избралъ одни немногія исключенія, — который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры. Онъ окурилъ упоительнымъ куревомъ людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человѣка!» — Высокъ жребій такого поэта! Мы знаемъ, что намъ нуженъ поэтъ, «вызывающій наружу все, что ежеминутно передъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, держающій выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи.»

Такой поэтъ намъ нуженъ, чтобы постоянно указывать на наши недостатки, не позволять намъ задремать въ лѣнности самодовольствія, заставлять насъ безъ усталости идти впередъ и впередъ путемъ совершенствованія; но намъ нуженъ и такой поэтъ, который бы въ минуту нашего утомленія отъ борьбы, въ минуту недовольства собой и другими, удержалъ насъ отъ отчаянія, чтобы его голосъ напомнилъ обо всемъ, что есть прекраснаго, въ насъ и вокругъ насъ, и чтобы успокоенные, ободренные и освѣженные его звуками, мы воскликнули, полные любви къ жизни: нѣтъ, еще можно жить въ Божьемъ мірѣ!

Таковъ нашъ взглядъ на общій характеръ поэзіи Пушкина. Мы будемъ строго его держаться при частной оцѣнкѣ произведеній поэта, которую надѣмся со временемъ также представить на судъ читателей *). Взглядъ этотъ чисто художественный, потому и требовать отъ поэта мы будемъ только художественности: художественности въ замыслѣ, художественности въ исполненіи. Ничего другаго требовать мы отъ него не въ правѣ, ибо ничему другому онъ не могъ и не хотѣлъ служить. Намъ

*) Это намѣреніе, къ сожалѣнію, не было осуществлено авторомъ. *Прим. изд.*

кажется, что нашъ взглядъ вѣренъ. Никто не требуетъ, чтобъ живописецъ своей кистью поражалъ враговъ отечества, чтобъ актеръ открылъ на сценѣ новую часть свѣта, чтобъ зодчій созидалъ изъ камня философскія формулы, и чтобъ музыка располагала къ коммерціи. Затѣмъ же требовать подобныхъ цѣлей отъ поэта? Мы знаемъ, что нашъ взглядъ не современенъ, что теперь обществу не до искусства, что оно думаетъ о предметахъ, которые гораздо насущнѣе поэзіи, что литература занята вопросами, которые полезнѣе и святѣе вопросовъ о художествѣ. И слава Богу! Мы никому не хотимъ мѣшать, и поставляя поэзію Пушкина въ образецъ чистаго творчества, не хотимъ этимъ укорить или уколотъ тѣхъ, кто обращаетъ русское слово на служеніе другимъ, полезнѣйшимъ цѣлямъ. Пусть они идутъ своей дорогой, но да позволено будетъ и намъ идти своею. Но какъ мы ни сочувствуемъ умственному движенію современнаго общества и литературы, не можемъ, однако, подавить въ себѣ горькаго чувства, не можемъ не оскорбляться, когда видимъ, что литература не ограничивается собственнымъ стремленіемъ къ благимъ цѣлямъ, а пятнаетъ тѣхъ дѣятелей нашей словесности, которые не шли по этому широкому пути, ограничиваясь скромной тропинкой чистаго искусства. И сколько горькихъ словъ было брошено въ послѣднее время въ честныхъ тружениковъ, въ этихъ могучихъ творцовъ русскаго слова. Говорили даже, что вся русская поэзія до Гоголя была праздною забавой. Возможно ли равнодушно, безъ душевной боли слышать подобныя рѣчи. И тѣмъ больнѣе слышать ихъ, что на все благородное, полезное, благое слышались отклики въ русской литературѣ, слышались голоса въ защиту всякаго добраго дѣла, и такъ мало голосовъ за нашу родную поэзію, какъ будто она что-то неблагородное и недоброе. Немногіе, оставшіеся у насъ, служители чистаго искусства являются какими-то непрошенными гостями. Критика или молчитъ о нихъ, или говоритъ общія фразы, или бросаетъ въ нихъ грязью и камнями. Положимъ, они непрошенные гости, но кому они мѣшаютъ? Они не задерживаютъ общаго движенія мысли. Вспомните, что всегда бываетъ

*„Мало избранныхъ счастливецъ, праздныхъ,
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единого прекраснаго жрецовъ.“*

А большинству нечего опасаться немногихъ.

Оставьте же въ покоѣ поэта. Онъ не отвлечетъ отъ серьезныхъ дѣлъ тѣхъ, кто призваны къ серьезному дѣлу. Пусть слушаютъ его тѣ, кому нужны его пѣсни, а тѣ, которымъ онѣ не нужны, пусть не мѣшаютъ ему пѣть, не смущаютъ, или по крайней мѣрѣ не оскорбляютъ его...

„.... если встрѣтишь ты его
Съ раздумьемъ на челѣ суровомъ,
Пройди безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ, тихихъ сновъ.
Взгляни съ слезой благоговѣнья
И молви: это сынъ боговъ
Пятомецъ музъ и вдохновенья!“

Имѣйте же уваженіе къ поэту; не качайте, въ дѣтской рѣзвости, его треножника, и не предлагайте ему промѣнять лиру на метлу. Слова его вамъ кажутся ненужными побасѣнками, а отъ этихъ побасѣнокъ «стонутъ театры», эти побасѣнки пройдутъ чрезъ цѣлыя тысячелѣтія свѣжи и невредимы, воспитывая всѣ поколѣнія, а ваши теоріи разобьются о другія теоріи, и хорошо еще, если дребезги отъ нихъ попадутъ, какъ рѣдкость, въ какой-нибудь музей. Стихъ поэта представляется вамъ металломъ звенящимъ; но знаете ли вы, въ какомъ горнилѣ онъ отлить? Слово поэта такъ легко, такъ гладко, такъ просто, что оно вамъ кажется порожденіемъ пустой, легкой души, никогда не думавшей ни о чемъ серьезномъ, не горѣвшей любовью къ родинѣ и человѣчеству. А между тѣмъ слово это есть плодъ долгихъ, глубокихъ думъ, плодъ страданій и слезъ за человѣчество, плодъ «незримыхъ, но упорныхъ битвъ», — ибо истинное вдохновеніе нисходитъ только на высокія, избранныя души, горящія любовью къ ближнему, правдѣ и добру. Оно бываетъ наградой человѣку за эти высокія чувства. И потому, истинный поэтъ хотя бы никогда и не говорилъ объ этихъ чувствахъ, а пѣлъ бы только вино, красоту и природу, все-таки по его го-

лосу вы узнаете, что звуки имъ созданные. могутъ только исходить изъ благородной груди, гдѣ жили и любовь къ человѣчеству Руссо, и Леонидовъ патріотизмъ, и Декартова жажда истины. Разумѣется, этихъ чувствъ не выразилъ ни Шекспиръ въ своемъ «Отелло», ни Моцартъ въ своемъ «Донъ-Жуанъ», но, читая Шекспира и слушая Моцарта, вы чувствуете, что небесные звуки, ими созданные, могли вылиться только изъ души, въ которой жили эти чувства. Вспомните изображеніе поэта, сдѣланное поэтомъ:

„Въ борьбѣ съ враждебною судьбою,
Познавъ онъ мѣру вышнихъ силъ,
Сердечныхъ судорогъ цѣною
Онъ выраженіе ихъ купилъ.
И вотъ нетлѣнными лучами
Дикъ пѣнопѣвца окруженъ,
И чтимъ людскими племенами,
Подобно мученику, онъ!“ *)

Но кто въ наше время повѣритъ этому! Признаемся, что, когда мы высказывали наше мнѣніе о Пушкинѣ и возражали на нѣкоторыя мнѣнія, высказанныя о немъ, намъ приходили на память кое-какія оскорбительныя слова, брошенныя въ его священную тѣнь въ послѣднее время, и въ душѣ нашей шевелились горькіе сарказмы противъ его хулителей,—но мы удержались и не высказали ихъ, ибо вспомнили, о комъ мы пишемъ. Намъ представлялся величественно-спокойный образъ поэта, намъ слышался его миролюбивый голосъ, говорившій намъ, что онъ раздавался не для житейскаго волненія, не для битвъ, но для молитвы и сладостныхъ, успокоительныхъ звуковъ. Мы проникались духомъ этихъ словъ, и намъ дѣлалось совѣстно поднимать шумъ на дорогой могилѣ поэта.

Мы знаемъ заранѣе, въ чемъ будутъ обвинять нашу статью. Впервыхъ, обвинять насъ въ неуваженіи къ наукѣ, въ кощунствѣ надъ философіей. Но мы сказали только, что истинный поэтъ не можетъ быть ни ученымъ, ни философомъ, что онъ не можетъ служить двумъ господамъ, а изъ этого отнюдь не должно

*) Изъ стихотворенія Баратынскаго „Подражателямъ“. Прим. изд.

заключать, будто мы ставимъ науку и философію ниже поэзіи, и думаемъ, что поэту не должно учиться. Есть сфера, отъ которой поэзія отстоитъ какъ земля отъ неба — это религія; но истинный поэтъ, служащій чистому искусству, не можетъ быть теологомъ, хотя можетъ быть глубоко и горячо вѣрующимъ человекомъ, и превосходно знать всѣ догматы своей вѣры. Поэтъ долженъ быть близокъ къ наукѣ, долженъ много черпать изъ этого источника, но онъ потеряетъ самостоятельность, если дастъ наукѣ овладѣть собой. И обратно: ученый не долженъ быть чуждъ поэзіи: она много поможетъ ему въ его изслѣдованіяхъ, — но если онъ въ свою науку примѣшаетъ слишкомъ большую дозу поэзіи, она потеряетъ строгій характеръ, чему мы и видимъ примѣръ въ англійскомъ историкѣ Карлейлѣ.

Вовторыхъ, насъ упрекнуть въ пристрастіи къ Пушкину и въ неуваженіи къ великимъ западнымъ поэтамъ. Можетъ быть, мы дѣйствительно неумѣренны въ похвалахъ нашихъ Пушкину, мало понимаемъ красоты другихъ писателей и недостойно оцѣняемъ ихъ. Чуждые самоувѣренности, мы никакъ не ручаемся за безошибочность нашихъ мнѣній, за-то смѣло можемъ сказать, что говоримъ ихъ совершенно искренно и прямо отъ сердца. Мы уважаемъ авторитеты, ибо знаемъ, что они провозглашены не съ вѣтра, но не станемъ хвалить въ великихъ художникахъ то, что намъ въ нихъ не нравится, хотя бы то, что намъ не нравится, и было прославлено великими критиками. Разумѣется, насъ будетъ беспокоить наше несогласіе съ общепринятымъ мнѣніемъ: мы будемъ всячески вглядываться въ предметъ этого несогласія, будемъ изучать, будемъ стараться понять его; но никогда не станемъ притворно восхищаться никакимъ произведеніемъ, хотя бы оно принадлежало самому Рафаэлю или Шекспиру; но будемъ лгать и повторять заученныя фразы, изъ боязни прослыть невѣждами. А сколько людей впадаетъ въ это невинное въ частной жизни, но преступное передъ судомъ Аполлона притворство! Сколь многіе будутъ горячо съ вами спорить какъ съ человекомъ, лишеннымъ эстетическаго чувства и всякаго образованія, если вы имъ укажете

скучное мѣсто въ Шекспирѣ. Кто въ наше время осмѣлится назвать Расина очень даровитымъ поэтомъ, или признаться, что уже въ зрѣломъ возрастѣ плакать надъ трагедіями Озерова и пѣснями Мерзлякова? Признайтесь въ этомъ,—и въ чемъ же, вы думаете, упрекнуть васъ? Въ слѣпомъ уваженіи къ старымъ авторитетамъ.

Въ третьихъ, насъ уловить въ нѣкоторыхъ противорѣчіяхъ, происшедшихъ отъ неточности нашей въ эстетической терминологіи. Въ этомъ мы заранѣе признаемся, но укажемъ здѣсь на причину этихъ недостатковъ. Пушкинъ слишкомъ близокъ намъ, слишкомъ сильно владѣетъ душой нашей, — такъ что признаемся, трудно намъ было взглянуть на него холоднымъ, безпристрастнымъ взглядомъ. Оттого чувство любви преобладаетъ въ статьѣ нашей надъ анализомъ. Статья эта есть не столько изложеніе мыслей о Пушкинѣ, сколько выраженіе впечатлѣній при мысли о немъ. Потому снисходительные читатели (а въ такихъ читателяхъ мы сильно нуждаемся) благоволятъ въ нашей статьѣ обращать вниманіе на то, что мы хотѣли высказать, а не на то, какъ высказали.

Но замѣтятъ: «какъ осмѣливаться печатать личныя впечатлѣнія? Сужденіе о Пушкинѣ дѣло науки». — Печатаютъ же мемуары, гдѣ излагаютъ личныя взгляды и мысли автора о политическихъ дѣятеляхъ; печатаются же путешествія, гдѣ высказываются личныя впечатлѣнія путешественника, полученные отъ предметовъ, подлежащихъ суду науки, и многое изъ этихъ личныхъ впечатлѣній дѣлается достояніемъ науки, исторіи и политики. Можетъ быть и въ нашей статьѣ найдется одна, или двѣ дѣльныхъ мысли, которыя приметъ въ соображеніе будущій серьезный критикъ Пушкина. Мы и этимъ будемъ довольны.

Feci quod potui, faciant meliora potentes.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ВЪ 1858 ГОДУ.

1858 г.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

ВЪ 1858 ГОДУ.

E pur si muove!

Обозрѣніе русской литературы за цѣлый годъ — совершенный анахронизмъ въ наше время, а въ старину этотъ родъ критическихъ статей былъ въ большомъ ходу и почетѣ. Особенно богата обозрѣніями эпоха альманаховъ, и справедливость требуетъ замѣтить, что самое серьезное обозрѣніе, послужившее для послѣдующихъ критиковъ неисчерпаемымъ источникомъ общихъ взглядовъ на исторію новой русской словесности, было напечатано въ альманахѣ. Мы говоримъ о статьѣ покойнаго И. Кирѣевского въ «Денницѣ».

Послѣ упадка альманаховъ и съ водвореніемъ владычества журналовъ, обозрѣнія хотя и стали не такъ многочисленны, какъ прежде, но лучшія періодическія изданія все еще держались обычая обозрѣвать въ каждомъ первомъ номерѣ литературу за предшествовавшій годъ. Обозрѣнія уменьшились въ числѣ, за то увеличились въ размѣрахъ, такъ что иногда дробились на нѣсколько книжекъ. Съ увеличеніемъ объема, статьи эти стали богаче общими взглядами, «философскими» и нравственными разсужденіями; въ нихъ шли толки уже не объ однихъ литературныхъ явленіяхъ, но и о жизненныхъ и научныхъ вопросахъ; въ нихъ разсуждалось обо всемъ, что «вызываетъ на размышленіе». И за то съ какой жадностью читались эти статьи тогдашнимъ молодымъ поколѣніемъ! Съ какимъ нетерпѣніемъ дожидались любознательные юноши январьской книжки журнала! Въ наше время первый номеръ журнала не мо-

жетъ возбудить такого интереса въ людяхъ неравнодушныхъ къ литературѣ; онъ по роду статей своихъ ничѣмъ не отличается отъ остальныхъ нумеровъ. Но въ тѣ времена читатель зналъ навѣрное, что такой-то журналъ въ январьской своей книжкѣ непременно напечатаетъ статью подъ названіемъ «Русская литература въ 18.. году», что въ ней будетъ трактоваться обо всей русской литературѣ настоящей, прошлой... и даже будущей; что въ ней въ сотый разъ пересмотрятъ всѣхъ русскихъ писателей отъ Кантемира до Гоголя, поставятъ на очную ставку съ современными писателями и размѣстятъ всѣхъ дѣятелей нашей словесности въ новомъ порядкѣ, сообразно съ *новой* философской или нравственной идеей, которая ляжетъ въ основаніе ожидаемой статьи. Подобныя обзорѣнія обыкновенно начинали рѣчь очень издалека, — если не съ самаго сотворенія міра, то по крайней мѣрѣ не позже, какъ съ разселенія народовъ послѣ вавилонскаго столпотворенія и перваго образованія гражданскихъ обществъ. Сперва говорилось о томъ, каково было человѣчество въ дикомъ состояніи, какъ грубость нравовъ, занятія звѣроловствомъ и отсутствіе комфорта задерживали въ человѣкѣ дѣятельность мысли и мѣшали успѣхамъ словесности. Далѣе авторъ, упомянувъ вкратцѣ о зачаткахъ образованности на Востокѣ вообще и въ Индіи особенно, переходилъ къ Грекамъ и Римлянамъ. Здѣсь критикъ трактовалъ о классической литературѣ, о пластикѣ и тождествѣ идеи съ формой въ античномъ искусствѣ, о Гомерѣ и т. д. Обзорѣвъ древній міръ, онъ переходилъ къ обновленію человѣчества чрезъ водвореніе христіанства; говорилъ объ отличіи средней исторіи отъ древней, новаго міросозерцанія отъ античнаго, и классицизма отъ романтизма. Потомъ толковалось о французской псевдоклассической поэзіи, о ея недостаткахъ и вліяніи на нашу словесность. Обращаясь къ нашему отечеству, критикъ прежде всего разсматривалъ зачатки русской поэзіи, то-есть народныя сказки и пѣсни, стараясь открыть въ нихъ міросозерцаніе народа, и такъ какъ это ему не совсѣмъ удавалось, то онъ объявлялъ, что русская народная поэзія мелка и груба по своей

идей, и весьма справедливо замѣчалъ, что Ерусланъ Лазаревичъ и Бова Королевичъ не могутъ выдержать сравненія съ Илиадою и Одиссеей. Затѣмъ онъ почти прямо переходилъ къ новой послѣ-петровской литературѣ: о русской письменности до Петра онъ говорилъ очень коротко, утверждая, что у нея не было внутренней исторіи, и что она не имѣла никакого вліянія на послѣдующую литературу. Обзорѣвая исторію новой русской словесности, онъ обыкновенно располагалъ факты такъ, чтобы доказать имъ какое-нибудь новое положеніе. Положенія эти были въ родѣ слѣдующихъ: у насъ нѣтъ литературы; — у насъ есть словесность, но нѣтъ литературы; — у насъ есть великія поэтическія произведенія, но нѣтъ беллетристики и т. д. Такая же мысль проводилась и черезъ перечень литературныхъ явленій за истекшій годъ. Статья обыкновенно заключалась размышленіемъ, какая великая будущность ожидаетъ наше отечество и нашу литературу, причемъ Россія нерѣдко сравнивалась съ богатствомъ, который сидѣлъ сиднемъ тридцать лѣтъ.

Существованіе такихъ обширныхъ трактатовъ, написанныхъ по поводу десяти или девяти книжекъ, напечатанныхъ въ Россіи въ продолженіе извѣстнаго года, — въ настоящее время покажется невѣроятнымъ. Но они дѣйствительно существовали и въ доказательство этой истины мы можемъ указать, какъ на фактъ, на очень умную и дѣльную статью о «Горѣ отъ ума» (напечатанную въ 1839 году), которая начинается довольно длиннымъ разсужденіемъ объ исторіи древняго міра, потомъ переходитъ къ вліянію христіанства на нравы человѣчества и, уже послѣ размышленія о французской литературѣ, приступаетъ къ своему естественному вступленію, то-есть къ объясненію значенія комедіи вообще. Это вступленіе тоже очень длинно, такъ что самой комедіи «Горе отъ ума» посвящено не болѣе десятой части всей статьи. Въ то время такія отступленія не только не казались неумѣстными, но даже почитались необходимыми. Да они и были необходимы, потому что совершенно соотвѣтствовали потребностямъ тогдашняго времени. Молодое поколѣніе жаждало новыхъ взглядовъ на науку, новыхъ идей,

а ничего подобного не давали ему сухіе учебники и мертвое школьное преподаваніе. И что могло быть интереснаго, живаго и увлекательнаго для молодыхъ пробуждающихся умовъ въ урокахъ тогдашнихъ учителей и въ тогдашнихъ руководствахъ? Вы уже начинали задумываться надъ судьбами человѣчества, васъ безпомогли вопросы о томъ, какія внутреннія причины двигали цивилизацію, какую идею выражалъ такой-то народъ, что ожидаетъ человѣчество въ будущемъ, къ какому новому совершенствованію оно должно стремиться, и въ замѣнъ отвѣта на такіе вопросы вы слышали фразу: «Но вскорѣ отъ чрезмѣрной роскоши и развращенія нравовъ сія монархія разрушилась, и царя ея Сардапалъ сжегъ себя со всѣми своими сокровищами»... Вы восхищались Пушкинымъ и Лермонтовымъ и уже знали наизусть отъ доски до доски всѣ ихъ стихотворенія, а васъ заставляли учить какую-нибудь скучную оду, написанную тяжелымъ стихомъ и устарѣлымъ языкомъ, и восхищаться ея красотою, въ которыхъ вы не видѣли ничего хорошаго. Вотъ отчего критики сороковыхъ годовъ читались съ такимъ восторгомъ тогдашней молодежью. Она находила въ нихъ разрѣшеніе вопросовъ, ее тревожившихъ, находила сочувствіе къ поѣтамъ, которыми сама восхищалась, и истолкованіе тѣхъ поэтическихъ красотъ, которыми любовалась безотчетно. Вотъ отчего съ такой благодарностью и любовью вспоминаютъ о прежней критикѣ нашихъ журналовъ, — о статьяхъ съ длинными вступленіями и годичныхъ обзорѣняхъ литературы...

Обзорѣнія, процвѣтавшія въ продолженіе почти цѣлаго десятилѣтія, стали приходить въ упадокъ въ концѣ сороковыхъ годовъ, и въ началѣ пятидесятихъ вышли совершенно изъ употребленія: прошла мода на критическія статьи съ обширными вступленіями, высшими и общими взглядами. Да и вообще въ критикѣ стала замѣчаться апатія. Причина этой апатіи очень понятна. Русская критика, предававшаяся болѣе двадцати лѣтъ самой напряженной и тревожной дѣятельности, воевавшая съ такимъ жаромъ со старыми литературными теоріями, громившая безъ устали старые авторитеты и повторявшая безъ отдыха

почти однѣ и тѣ же теоріи, одержала наконецъ побѣду надъ всѣмъ, что ей противустояло. Старые кумиры русской словесности были торжественно развѣчаны и низвержены съ пьедесталовъ, при рукоплесканіяхъ большинства публики; противники новой критики освищены, голоса ихъ совершенно заглушены, — и новыя литературныя теоріи распространились съ такимъ успѣхомъ, что ихъ уже зналъ наизусть всякій школьникъ. Что еще оставалось дѣлать критикѣ? Она достигла того, къ чему стремилась, высказала все, что у нея было на умѣ и на сердцѣ: всѣ свои свѣдѣнія, теоріи и чувства; словомъ, выполнила свое призваніе; новаго уже ничего не могли придумать дѣтели *новой критики*, которая въ свою очередь наконецъ уже сдѣлалась старою; повтореніе стараго надобно и публикѣ и самой критикѣ. Слѣдовательно и критикѣ оставалось только умолкнуть. Къ этимъ внутреннимъ причинамъ, обусловившимъ паденіе критической школы сороковыхъ годовъ, присоединилась и случайная, ускорившая это паденіе: — смерть ея главнаго дѣтеля и представителя, Бѣлинскаго *).

Со смертію Бѣлинскаго, характеръ русской критики совершенно измѣнился. Въ литературныхъ убѣжденіяхъ она оставалась вѣрна началамъ своего учителя и смотрѣла на все его глазами, но въ отношеніи способа высказывать свои убѣжденія она представляла съ нимъ совершенную противоположность. вмѣсто жара и горячности, которыми отличались статьи Бѣлинскаго, въ статьяхъ его преемниковъ явились холодность и апатія, вмѣсто рѣзкости въ приговорахъ — уклончивость, вмѣсто смѣлости — робость, вмѣсто парадоксовъ — общія мѣста, вмѣсто тонкаго природнаго эстетическаго чувства — мертвыя книжныя теоріи; словомъ: ученики не имѣли ни достоинствъ, ни недостатковъ своего учителя. Читатели журналовъ скоро замѣтили перемѣну, происшедшую въ критикѣ, и охладѣли къ ней. Прежде

*) Не задолго до смерти Бѣлинскаго, въ петербургскихъ журналахъ стали появляться прекрасныя критическія статьи покойнаго В. Майкова. Этотъ даровитый критикъ высказалъ много самостоятельныхъ мыслей о русской литературѣ, но, къ сожалѣнію, дѣятельность его была очень непродолжительна.

едва ли не наиболѣе читаемымъ отдѣломъ въ журналѣ была критика; теперь публика перенесла свою симпатію на отдѣлъ вязанной словесности, гдѣ помѣщались повѣсти и романы, — и была совершенно права. Бѣлинскій, по дарованіямъ своимъ, былъ несравнено выше всѣхъ такъ-называемыхъ писателей-беллетристовъ, печатавшихъ статьи свои въ журналахъ его времени. Исключенію подлежать только два-три писателя, успѣвшіе уже при немъ вполне обнаружить свой высокій художественный талантъ, и писатели, еще не успѣвшіе его хорошенько обнаружить, но занимающіе въ настоящее время почетныя мѣста въ нашей литературѣ. Напротивъ того, преемники Бѣлинскаго стояли несравненно ниже беллетристовъ своего времени. Положеніе критики было затруднительно. Отзыватьсѣ рѣзко о посредственныхъ писателяхъ она не дерзала, потому что симпатія читателей была на ихъ сторонѣ, и отдѣломъ словесности, а не «критикой», держались журналы. Надо было дѣйствовать осторожно. Критика такъ и поступила, — и журнальныя рецензіи наполнились уклончивыми отзывами, общими фразами, оговорками и тому подобнымъ лавированіемъ. Еще затруднительнѣе было отношеніе критики къ писателямъ, о которыхъ она хорошенько не знала мнѣнія своего учителя Бѣлинскаго, — о которыхъ онъ не успѣлъ сказать ничего яснаго, опредѣленнаго. Своего мнѣнія она не имѣла и не могла составить, а въ то же время была обязана высказать какое-нибудь мнѣніе. И вотъ она усугубила свою уклончивость въ приговорахъ и расточительность на общія фразы. Но самое неловкое, даже отчаянное положеніе критиковъ было въ отношеніи писателей, появившихся послѣ смерти Бѣлинскаго: они рѣшительно не знали, что о нихъ сказать. Вслѣдствіе всего этого, плохіе писатели писали и печатали совершенно безнаказанно, а даровитые оставались совершенно неопѣненными; и такимъ образомъ какіе-нибудь господа N. и X., представители однихъ недостатковъ натуральной школы, слышали о себѣ такіе же неопредѣленные отзывы критики, какіе приходились на долю Гончарова и Тургенева. Положеніе этихъ двухъ писателей, впрочемъ, еще не было

самое худшее: критика нѣсколько знала, какъ думать о нихъ Бѣлинскій, и потому не боялась сказать, что они люди не безъ дарованія. Но въ какія отношенія къ ней должны были стать Островскій и Писемскій, которые явились въ литературѣ по смерти Бѣлинскаго? Конечно, въ критическомъ отдѣлѣ журналовъ помѣщались иногда дѣльные и полезныя статьи, какъ, на примѣръ, статьи гг. Галахова, Дудышкина и Гаевского. Но то были разборы старыхъ русскихъ писателей, имѣвшіе цѣлью не столько ихъ эстетическую оцѣнку, сколько собраніе и обработку матерьяловъ для исторіи литературы. Критикой же современныхъ писателей занимались безыменные рецензенты.

Но, повторяемъ, нигдѣ такъ не обнаружилось типично направленіе тогдашней критики, какъ въ годичныхъ обзорѣніяхъ литературы. По смерти Бѣлинскаго, была сдѣлана попытка писать обзорѣнія по его методѣ, то-есть съ большими вступленіями и общими взглядами, но попытка эта рѣшительно не удалась. Тогда началась самая печальная эпоха обзорѣній, къ счастью, продолжавшаяся недолго. Въмѣсто прежнихъ шумныхъ и блестящихъ статей о русской литературѣ стали печатать одни сухіе перечни или просто систематическіе реэстры литературныхъ явленій за цѣлый годъ. Публика, разумѣется, перестала ихъ читать, вслѣдствіе чего критика, разумѣется, перестала ихъ писать, — и обзорѣнія совершенно исчезли.

Тѣмъ не менѣе мы пишемъ нѣчто въ родѣ обзорѣнія литературы за прошлый годъ.

Какая же цѣль нашей статьи, которую, однакоже, просимъ замѣтить, мы не позволили себѣ назвать «обзорѣніемъ»?

Цѣль нашей статьи высказать нашъ взглядъ на современную русскую литературу и ея замѣчательнѣйшихъ дѣятелей, чтобы дать понятіе, въ какомъ духѣ и съ какой точки зрѣнія будутъ обсуживаться литературные вопросы и разсматриваться литературныя произведенія въ изданіи начинающемся. Самымъ удобнымъ способомъ, для достиженія этой цѣли, мы полагаемъ: произнести сужденіе о каждомъ по чему-нибудь замѣчательномъ явленіи въ литературѣ истекшаго года. Сообразно съ этимъ,

читатель въ правѣ предположить, что мы теперь же прямо перейдемъ къ оцѣнкѣ стихотвореній, повѣстей, романовъ и журнальныхъ статей, появившихся въ прошедшемъ году. Но не таковъ этотъ годъ, не таковы были въ этомъ году умственные движенія общества, не такое мѣсто займетъ онъ въ исторіи, чтобы можно было въ статьѣ о русской литературѣ въ 1858 году ограничиться частными сужденіями о литературныхъ явленіяхъ и не сказать ни слова объ общемъ направленіи литературы послѣдняго времени, — направленіи, въ которомъ такъ живо и ярко выразились настроеніе умовъ и стремленіе цѣлаго общества. Потому мы считаемъ необходимымъ предпослать нѣсколько замѣтокъ объ общемъ характерѣ современной русской литературы.

Направленіе современной нашей литературы заключается въ самомъ живомъ и горячемъ сочувствіи къ общественнымъ вопросамъ и равнодушіи къ вопросамъ чисто-литературнымъ и ученымъ.

Это направленіе, начавшее такъ замѣтно овладѣвать нашей литературой три года тому назадъ и совершенно господствующее въ ней теперь, разумѣется, уже давно готовилось. Еще въ началѣ пятидесятихъ годовъ показались въ литературѣ яркіе признаки теперешняго ея направленія; но то были признаки отрицательные. Ибо что иное, какъ не признаки скорого литературнаго переворота, представляла дѣятельность первой половины текущаго десятилѣтія? Молчаніе большей части писателей; скудная производительность и какая-то неохота къ дѣятельности остальныхъ; рѣдкое появленіе новыхъ дѣятелей; безцвѣтность критики; словомъ, почти всеобщая апатія—вотъ характеристическія черты тогдашней литературы.

Еслибъ въ такомъ состояніи находилась литература народа, имѣвшаго въ продолженіе тысячелѣтія рѣшительное вліяніе на ходъ всемірныхъ событій, литература, процвѣтавшая нѣсколько вѣковъ, — такое состояніе могло бы почтеться признакомъ ея совершеннаго упадка. Но въ литературѣ, недавно возникшей, въ литературѣ народа, такъ еще мало сдѣлавшаго для себя и

для другихъ, и потому не успѣваго истощить свои силы, — это было не что иное, какъ доброе предвѣщаніе, болѣзнь къ росту. Ибо и самый закоренѣлый противникъ теперешняго направленія русскаго общества согласится, что еще никогда у насъ не было такого движенія въ литературѣ и такого сочувствія къ ней въ публикѣ, какъ въ настоящее время.

«Но можно ли, замѣтятъ намъ, современное книжное и журнальное движеніе называть движеніемъ въ строгомъ смыслѣ литературнымъ? Не все то, что печатается, относится къ литературѣ. Блестящимъ ея положеніемъ обыкновенно называютъ богатство произведеній несомнѣннаго художественнаго достоинства, изобиліе ученыхъ трудовъ, остающихся навѣки въ исторіи науки, и процвѣтаніе критики съ чисто-художественнымъ направленіемъ. А что дѣлается въ нынѣшней нашей литературѣ? — Произведеній высоко-художественныхъ очень мало, да и тѣ почти всѣ болѣе или менѣе отзываются духомъ современнаго направленія; произведенія по части наукъ суть наполовину произведенія эфемерныя, а критика судить о художественныхъ произведеніяхъ съ юридической и политико-экономической точки зрѣнія. Это ли литература?»

Затѣмъ намъ еще скажутъ: «если вы не только не огорчаетесь современнымъ направленіемъ литературныхъ произведеній, но даже и отзываетесь о немъ съ сочувствіемъ, значитъ вы принадлежите къ числу тѣхъ критиковъ, которые, отвергая принципъ искусства для искусства, требуютъ отъ поэтовъ и художниковъ, чтобъ они служили утилитарнымъ цѣлямъ, и судятъ о ихъ произведеніяхъ по началамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ эстетикой.»

На это мы объявляемъ, что не принадлежимъ къ такового рода критикамъ, и что свято чтимъ принципъ искусства для искусства, но въ то же время не обвиняемъ современнаго направленія русской литературы и не имѣемъ ни малѣйшаго желанія ему противодѣйствовать... Послѣдующія страницы объяснить это противорѣчіе и, можетъ быть, отразить отъ насъ упрекъ въ дуализмѣ.

Людямъ, которые хотятъ, во что бы ни стало, навязывать литературу то или другое направленіе, не худо почаще задавать себѣ вопросъ: что такое литература? И всегда помнить, что литература служить такимъ же орудіемъ для цѣлей общества, какимъ слово — для цѣлей каждаго отдѣльнаго человѣка. Какимъ же цѣлямъ должно служить наше слово? — Кто бы какъ ни смотрѣлъ на жизнь и на обязанности человѣка, всякій навѣрное согласится, что нельзя обречь слово на исключительное служеніе одной какой-нибудь цѣли. Слово свободно, и каждый человѣкъ воленъ употреблять его на что ему заблагоразсудится. Слово выражаетъ самыя высокія чувства человѣка — стремленіе къ высшему міру, изливаемое въ молитвѣ; слово служитъ выраженіемъ лирическаго настроенія души — въ пѣснѣ; слово же, наконецъ, служить намъ орудіемъ въ самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ распоряженіяхъ. Такимъ образомъ слово, какъ всякому извѣстно, выражаетъ человѣка во всѣхъ сферахъ его дѣятельности. Оттого, если какой-нибудь индивидуумъ употребляетъ слово на служеніе одной какой-нибудь сферѣ, слѣдуетъ прямое заключеніе, что онъ въ дѣятельности своей преданъ одному чему-нибудь исключительно. Такъ, напримѣръ, если человѣкъ развѣваетъ ротъ только для того, чтобы говорить о своемъ хозяйствѣ, тогда можно навѣрное предположить, что онъ чуждъ высшихъ духовныхъ интересовъ. И наоборотъ: человѣкъ, который только и дѣлаетъ, что поетъ пѣсни да сказываетъ сказки, справедливо почитается въ народѣ за пустаго балагура и лѣнтяя. Но бываютъ періоды въ жизни каждаго лица, когда одностороннее направленіе дѣятельности не только извинительно, — даже законно; когда слово можетъ служить исключительно одной какой-нибудь сферѣ. Бываютъ, напримѣръ, времена, когда человѣкъ поставленъ въ крайнюю необходимость устроить или преобразовать свое матеріальное житье-бытье, когда для этого ему нужны безостановочныя труды, страшныя усилія, непрестанныя заботы. У крестьянина сгнила и валится изба; ему нужна новая, а построить новую не изъ чего и не на что. Онъ копить деньги, копить долго, а между тѣмъ изба дѣлается

все хуже и хуже, и наконецъ какъ разъ къ тому времени, когда скоплены деньги, становится совсѣмъ неудобной для жилья. Надо проворнѣе строиться, чтобы осень не застала семью въ холодной полуразвалившейся лачужкѣ, а въ то же время и полевые работы не кончены. И вотъ начинается работа—ломка, стройка и всякая возня. Въ головѣ и на языкѣ у домохозяина только работа да работа и больше ничего. Тутъ ему не до пѣсень, сказокъ и прибаутокъ: онъ и Богу молится на скорую руку! Если и запѣваетъ онъ пѣсню, то не въ услажденіе себѣ и другимъ, а съ цѣлью чисто-практической, чтобы подъ кадансъ пѣсни дружнѣе, «разомъ» поднимали тяжелыя бревна, да вбивали въ землю столбы: кончится работа, переберется семья строителя въ теплую избу, устроится ховяйство, уймется заботы, — тогда, если у мужика есть довольство, онъ можетъ цѣлую зиму забавляться пѣснями и сказками и даже не дѣлать ничего другаго. Ибо такое одностороннее направленіе дѣятельности законно, какъ отдыхъ послѣ тяжкаго труда, какъ выраженіе чувства благосостоянія, самодовольствія и радости давно-желанному, добытому по́томъ успокоенію.

Такіе переходы изъ одной крайности въ другую бываютъ и съ цѣлымъ обществомъ, и выражаются въ литературѣ. Бываютъ въ ней періоды, когда господствуетъ одно поэтическое и художественное направленіе, вытѣсня всякое другое. Бываетъ и наоборотъ,—что духъ утилитаризма завладѣваетъ литературой, проникаетъ всѣ сферы ея дѣятельности, и подчиняетъ себѣ даже и поэтическія произведенія. То и другое направленіе — крайности и, разумѣется, всякій бы желалъ, чтобы въ литературѣ въ одно время и процвѣтала поэзія, и разрѣшались общественные вопросы. Но такія *pia desideria* не очень часто исполняются...

Конечно, счастливыми эпохами литературы справедливо считаются тѣ, когда въ ней господствуетъ артистическое направленіе,—когда она богата поэтическими и художественными произведеніями. Но такое богатство литературы не всегда бываетъ признакомъ плодотворнаго направленія общества, не

всегда совпадаетъ съ добрымъ и здоровымъ состояніемъ націи. Въѣзъ Августа процвѣталъ поэтическими произведеніями. Почти всѣ римскія литературныя знаменитости жили въ то время; а общество уже вступало въ періодъ разложенія, ибо у націи были порваны всѣ живые нервы реформами покровителя искусства — Августа,—и она двигалась не собственной силой, а какъ автоматъ, по прихоти своего обладателя. Причина такого контраста между состояніемъ общества и состояніемъ литературы очень понятна. Политическое броженіе, столь долго одушевлявшее Римъ, было подавлено тяжелой рукой Августа; общественные вопросы должны были смолкнуть передъ его голосомъ; словомъ, невозможно было дѣлать ничего такого, чѣмъ жилъ римскій народъ столько вѣковъ, чему онъ служилъ исключительно, для чего былъ единственно призванъ. А между тѣмъ прежнее даровитое и благородное поколѣніе въ то время еще не совсѣмъ вымерло въ Римѣ,—и для лучшихъ умовъ нужна была какая-нибудь интеллектуальная дѣятельность. Убѣжищемъ такого рода дѣятельности были въ то время единственно художественныя и литературныя занятія, ибо они одни могли не беспокоить божественнаго цесаря. И вотъ, лучшіе люди времени, за невозможностью дѣйствовать на форумѣ, предались дѣятельности въ тиши своихъ кабинетовъ, — и можетъ быть поэтъ Горацийъ въ трудѣ надъ тщательной отдѣлкой каждаго стиха находилъ забвеніе своей скорби по разбитымъ надеждамъ. Обществу тоже не оставалось никакой умственной пищи, кромѣ литературы, и оно обратилось къ чтенію, какъ къ нравственно-наркотическому средству, усыпляющему общественныя тревоги. Потому справедливо говорить одинъ писатель, что искусства и поэзія не были въ Римѣ здоровыми плодами, а явились такими же причиной и слѣдствіемъ праздности, развращенія и разслабленія нравовъ, какъ всѣ гастрономическія затѣи Римлянъ. — Выдаются въ исторіи народа и другіе періоды: когда, напротивъ, богатство изящной словесности является прямымъ слѣдствіемъ самаго желаемого, самаго нормальнаго положенія общества, то-есть возможно-совершеннаго благоденствія цѣлой

націи. Такое вождѣльное время настаетъ для народовъ послѣ благодатныхъ реформъ, послѣ возрожденія и обновленія общества, когда устройство общественное такъ хорошо, такъ удобно, что народу нечего желать, не о чемъ тревожиться: тогда утилитарныя движенія совершенно исчезаютъ въ литературѣ. Въ такія-то вождѣльныя времена народнаго отдыха, произведенія искусства и поэзіи представляютъ самые сочные, самые здоровые плоды.

Какъ процвѣтаніе изящной словесности не есть непремѣнный признакъ благодатнаго состоянія общества, такъ и ея упадокъ не есть и слѣдствіе его упадка. И въ литературѣ молодого, бодрого, полнаго энергіи народа можетъ иногда придти невзгода на поэзію, и это бываетъ не дѣломъ случайности, а слѣдствіемъ особаго настроенія умовъ. Если въ обществѣ сильно возбуждены утилитарные вопросы, если общество съ полною вѣрой въ будущее стремится къ разрѣшенію ихъ, при такомъ напряженномъ, хлопотливомъ его состояніи, въ литературѣ, этомъ форумѣ общественныхъ движеній, голоса поэтовъ заглушаются голосами публицистовъ, юристовъ, политико-экономовъ. Тутъ идетъ дѣло не объ эстетическихъ наслажденіяхъ, а о насущныхъ, настоятельныхъ потребностяхъ народа, и поневоля «печной горшокъ цѣнится несравненно дороже кумира Аполлона Бельведерскаго.»

Въ такомъ состояніи находится наше общество и наша литература въ послѣднее время, неблагопріятное для искусства, но благотворное для нашей гражданственности. Общество стремится къ самоулучшенію, къ осуществленію высоко нравственныхъ началъ въ своемъ устройствѣ — къ «наряду», для котораго тысяча лѣтъ тому назадъ оно призвало изъ-за моря Варяговъ.

Вотъ отчего литература приняла утилитарное направленіе и закипѣла общественными вопросами. Особенно ярко выступило это направленіе, особенно сильно закипѣли эти вопросы съ минуты, когда правительство подняло вопросъ о новомъ устройствѣ земледѣльческаго класса. Дѣло, о которомъ давно мечтали лучшіе и благороднѣйшіе умы, изъ мечты перешло вдругъ въ

возможность. Сколько надеждъ пробудилось при мысли о новой жизни, которая готовится для нашей меньшей братіи, какая дѣятельность закипѣла въ нѣсколькихъ тысячахъ умовъ, дремавшихъ доселѣ въ совершенномъ бездѣйствіи! Всѣ журналы наполнились статьями о крестьянскомъ дѣлѣ. Явилось даже нѣсколько специальныхъ періодическихъ изданій по этому предмету. — Земледѣльческій вопросъ придалъ еще больше жизни другимъ, уже прежде поднятымъ, утилитарнымъ вопросамъ; и вотъ почти годъ какъ въ литературѣ нашей только и слышатся толки о взяткахъ, гласности, откупахъ, акціонерныхъ компаніяхъ, усадебной осѣдлости, желѣзныхъ дорогахъ, и проч. До стиховъ ли и романовъ въ такое время? Общество погрузилось въ домашнія хлопоты: занято стройкой, ломкой, устройствомъ своего хозяйства. Повсюду только и слышатся голоса домохозяевъ да споръ работниковъ.

Но какъ бы ни были полезны эти хлопоты, какія бы прекрасныя надежды ни звучали въ этомъ шумѣ и спорахъ, — отъ нихъ бѣжитъ поэзія, не терпящая никакихъ хлопотъ и тревоженій. Если и теперь раздается ея пѣсня, это — пѣсня рабочихъ при вбиваніи свай и поднятіи бревенъ, пѣсня съ практической цѣлью: чтобы подъ музыкальный кадансъ друженіе шла работа. Вотъ отчего почти всѣ, даже художественныя произведенія нашей литературы, за немногими исключеніями, болѣе или менѣе проникнуты утилитарнымъ и общественнымъ направленіемъ; вотъ отчего почти всѣ наши поэты уже не поютъ для того только, чтобы пѣть, какъ въ старину, а приняли на себя роль мирныхъ Тиртеевъ. Правда, страдаетъ искусство отъ наплыва враждебныхъ ему стихій дидактики и резонерства; въ поэзіи слышатся несродные ей звуки и терзаютъ слухъ диссонансами. Но поклонники чистаго искусства должны въ настоящую минуту переносить все это безъ ропота, и при мысли о современномъ состояніи нашей изящной литературы, утѣшать себя слѣдующею перифразой словъ Крылова изъ басни «Пѣвцы»:

„Они немножко и деруть,
Но всѣ съ прекраснымъ направленіемъ“.

Въ самомъ дѣлѣ, должно не только мириться съ современнымъ направленіемъ литературы, но и сочувствовать ему. Кто изъ истинно любящихъ отечество осмѣлится возвысить голосъ противъ направленія, въ которомъ проявляется желаніе добра нашей Россіи, направленія, которое должно ей принести столько пользы? Не сочувствовать стремленіямъ современной русской литературы, значило бы не радоваться успѣхамъ родной земли въ дѣлѣ гражданственности. И разумѣется, всякій благородно мыслящій человѣкъ сочувствуетъ этимъ стремленіямъ: потому трудно современному русскому писателю удержать себя отъ того, чтобъ не выразить этого сочувствія. Самъ Гоголь, не принадлежавшій къ поколѣнію нынѣшнихъ писателей, заплатилъ дань нашему времени. Онъ былъ призванъ исключительно для художественной дѣятельности; въ ней, какъ у Самсона въ волосахъ, была его вся сила. И что же? силу эту онъ обратилъ на служеніе хотя и прекраснымъ, но совершенно постороннимъ для искусства цѣлямъ: пустился въ правоучительный родъ, и вмѣсто прежнихъ своихъ высокохудожественныхъ образовъ, вывелъ цѣлую фалангу лицъ, подобныхъ *очень скромно одѣтому челоѣчку* (въ «Театральномъ разъѣздѣ»), лицъ напоминающихъ дѣтскія повѣсти Беркэна и госпожи Котэнь.

Всѣ вышеприведенныя обстоятельства налагаютъ на насъ обязанность быть снисходительными къ недостаткамъ произведеній нашей изящной словесности за 1858-й годъ. Конечно, и въ прошломъ году появились произведенія съ чисто-художественнымъ направленіемъ, безъ малѣйшей примѣси элементовъ, враждебныхъ истинному искусству. Но такихъ исключеній было немного. Большая же часть даже и замѣчательныхъ литературныхъ явленій оказалась вѣрна духу нашего времени, и для нихъ-то требуется снисхожденіе. Что касается до произведеній по части изящной словесности съ утилитарнымъ направленіемъ, совершенно лишенныхъ какъ художественнаго, такъ и всякаго другаго достоинства,— мы говорить о нихъ не будемъ. По поводу такого рода печатныхъ упражненій можно сказать только, что въ прошломъ году ихъ явилось неисчислимое множество.

Какъ въ старину, когда была мода на стихи, все, что есть бездарнаго, пускалось въ стихотворство; какъ, во время владычества натуральной школы, люди, лишённые таланта, дѣятельно упражнялись въ литературныхъ дагерротипахъ; какъ, наконецъ, во времена моды на историческія изслѣдованія, лица, совершенно ни на что не способныя, кромѣ физическаго труда, предавались занятіямъ русскою исторіей и наводняли журналы статьями о значеніи мышей и таракановъ въ славянской міеологіи, статьями, которыхъ никто не могъ читать: такъ въ настоящее время люди, одаренные вышеозначенными качествами, работаютъ, что есть силы, на поприщѣ изобличенія общественныхъ недостатковъ. Впрочемъ, если и флейта, хуже которой, по выраженію Керубини, могутъ быть только двѣ флейты, — если и флейта необходима для полнаго оркестра, то и голоса нашихъ бездарныхъ писателей-изобличителей въ общемъ хорѣ русскихъ литераторовъ необходимы для пользы общаго дѣла. Но ихъ голоса даже и не флейта, потому что и флейту пріятно слышать въ *solo*. Это скорѣе контрбасы, литавры, тарелки, ложки и турецкіе барабаны.

Прошлый годъ былъ довольно щедръ на стихи. Кромѣ значительнаго количества стиховъ, напечатанныхъ въ журналахъ, вышли собранія стихотвореній гг. Майкова, Плещеева, Панютина, Прокоповича и Гербеля; переводы въ стихахъ: пѣсенъ Беранже—г. Курочкина и Гейне—г. Михайлова. Въ замѣтки наши позволяемъ себѣ включить и собраніе стихотвореній г. Мея, какъ потому, что оно появилось въ Москвѣ только въ прошедшемъ году, такъ и потому, что намъ доставить удовольствіе сказать о немъ нѣсколько словъ.

Изданіе стихотвореній г. Майкова, какъ по внѣшнему виду, такъ и по внутреннимъ достоинствамъ, весьма замѣчательно: оно великолѣпно и отличается строгостію выбора пѣсень. Г. Майковъ пишетъ болѣе двадцати лѣтъ, всегда остается вѣренъ своему направленію и постоянно въ любви къ своему искусству.

Двадцать лѣтъ! Чего не перебывало въ это время съ русской литературой. Въ нашей поэзіи господствовало мрачное направленіе: поэты пѣли недовольство жизнію, разочарованіе и скептицизмъ, а г. Майковъ въ это время, какъ всегда, выражалъ въ своихъ произведеніяхъ свѣтлый и спокойный взглядъ на жизнь, полную вѣру во все прекрасное. Потомъ, когда свирѣпствовала натуральная школа, онъ печаталъ свои идеальные очерки Рима. Было гоненіе на стихи; но г. Майковъ продолжалъ писать стихи. Словомъ, онъ устоялъ во всѣхъ тревоженіяхъ нашей литературы. Такое постоянство въ направленіи, такая любовь къ своему дѣлу имѣли то слѣдствіе, что поэтъ съ каждымъ годомъ совершенствовался, и содержаніе произведеній его дѣлалось все полнѣе и полнѣе. Г. Майковъ началъ такъ-называемыми антологическими стихотвореніями. Гармонія и правильность стиха, живость картинъ, совершенная вѣрность античному духу, пластичность и роскошь выраженій были отличительными чертами этихъ произведеній и съ разу обнаружили въ поэтѣ весьма замѣчательный талантъ. Г. Майковъ могъ бы на этомъ и остановиться и не идти впередъ, потому что такіа стихотворенія какъ *Барельефъ*, *Сонъ*, *Вхожу съ смущеніемъ въ забытыя палаты*, не позволяли требовать ничего лучшаго отъ антологическаго рода, и критикъ могъ только выразить желаніе, чтобъ было побольше такихъ произведеній. Но чѣмъ больше писалъ г. Майковъ, тѣмъ все больше и больше выступали въ его поэзіи новыя стихи, — новыя достоинства. Содержаніе первыхъ его произведеній состояло только въ картинности, и они отличались достоинствомъ хорошей картины — живостью красокъ и правильностью рисунка. Впослѣдствіи изящныя поэтическія формы, выработанныя г. Майковымъ съ такой любовью и тщательностію, стали наполняться мыслию и начали отражать уже не однѣ красоты внѣшней природы, но и наблюденія надъ жизнію и сердцемъ человѣка.

Отличительное свойство таланта г. Майкова заключается въ необыкновенной живости изображенія античнаго міра. Поэтъ такъ сжился съ Греціей и Римомъ, такъ свыкся съ ихъ мифами

и героями, что, описывая какое-нибудь лицо или событие из классической древности, онъ приводитъ до того живыя подробности, какія обыкновенно представляются въ нашемъ воображеніи только при мысли о предметахъ самыхъ намъ близкихъ по времени, хорошо знакомыхъ, часто видѣнныхъ. Таково у г. Майкова изображеніе дѣтства Бахуса, которое мы теперь и приводимъ.

„Въ томъ гротѣ сумрачномъ, покрытомъ виноградомъ,
Сынъ Зевса былъ врученъ элисинимъ орадамъ.
Сокрытый отъ людей, сокрытый отъ боговъ,
Онъ росъ подъ говоръ водъ и шелестъ тростниковъ.
Лишь мирный богъ лѣсовъ, надъ тихой колыбелью,
Младенца услаждалъ волшебною свирелью.
Какой отрадомъ, среди сладостныхъ заботъ,
Онъ нѣмая былъ! Глухой внезапно ожилъ гротъ.
Тамъ кожей барсовой одѣтый, какъ въ порѣиру,
Съ тимпаномъ, съ тирсомъ онъ явился божествомъ.

То въ играхъ хмѣлемъ и плющемъ
Опутывалъ рога, при смѣхѣ нѣмѣ, сатиру;
То гроздіи срывалъ съ изгибленной лозы,
Ихъ связывалъ въ вѣнокъ, вѣнчалъ свои власы,
Иль нектаръ выжималъ, смѣясь, своей рученкой
Изъ золотыхъ кистей надъ чашей среброзвонкой,
И тѣшился, когда струей ему въ глаза
Изъ ягодъ брызнетъ сокъ, прозрачный какъ слеза.“

Послѣдніе восемь стиховъ ясно показываютъ, какъ свыклась мысль поэта съ древнимъ міромъ. Чтобы представить такъ живо въ своемъ воображеніи дѣтскія черты слагающагося мифологическаго типа — его первообразъ, нужно было сильно проникнуться духомъ древнихъ, много вдумываться въ ихъ мифологию. Это стихотвореніе принадлежитъ къ самымъ раннимъ произведеніямъ г. Майкова, потому посвящено больше описанію внѣшней пластической стороны предмета, чѣмъ раскрытію его внутреннихъ свойствъ. Въ произведеніяхъ его зрѣлой эпохи, гдѣ изображеніе природы отходитъ на второй планъ, давая мѣсто изображенію страстей, душевныхъ движеній и характеровъ, — живость и богатство фантазіи поэта и его короткость съ лицами древности выступаютъ еще съ большею яркостью.

Недостатки произведений г. Майкова заключаются, во первыхъ, въ нѣкоторой небрежности стиха и вообще въ недоконченности внѣшней отдѣлки. Можетъ быть покажется страннымъ, если мы скажемъ, что этотъ недостатокъ относится не къ раннимъ стихотвореніямъ г. Майкова, а напротивъ къ позднѣйшимъ. Мы этимъ не хотимъ сказать, будто вообще стихъ г. Майкова утратилъ прежнія свои достоинства. Такой приговоръ былъ бы несправедливъ, ибо въ мастерствѣ стиха нашъ поэтъ постоянно совершенствуется. Но нельзя не замѣтить, что съ тѣхъ поръ какъ въ его поэзіи прибыло внутренняго содержанія, онъ какъ будто меньше сталъ заботиться о внѣшней формѣ. Онъ весьма часто довольствуется тѣмъ, что высказалъ въ превосходныхъ стихахъ одну половину своей мысли, и договариваетъ остальную вило, небрежно — вообще, какъ-то неохотно. Оттого у г. Майкова встрѣчаются даже отдѣльныя строфы, которыя начинаются самыми блестящими стихами и оканчиваются весьма слабыми, сложенными какъ будто другимъ стихотворцемъ. Въ слѣдующемъ стихотвореніи чрезвычайно ярко выразились и достоинства произведений г. Майкова, и недостатокъ, о которомъ мы сказали.

А Л К И В І А Д Ѣ.

„Внучекъ, вѣрь наукѣ дѣда:
Вѣрь, надъ женщиной побѣда
Намъ труднѣй, чѣмъ надъ врагомъ:
Здѣсь все случай, все удача!
Сердце женское — задача,
Не рѣшенная умомъ!

„Ты слыхалъ ли имя Фрины?
Покорялися Аены
Взгляду гордой красоты, —
Но на насъ она взирала,
Какъ богиня съ пьедестала
Недоступной высоты.

„На пирахъ ея быть званнымъ —
Это честь была избраннымъ, —
Принимала какъ сатрапъ!

Вѣзмъ серебряныя блюда

И хрустальныя сосуды,

И за каждымъ — черныи рабъ!

„Разъ былъ пиръ... то пиръ былъ граціи!

Острыхъ словъ, импровизаціи

И рѣчей лился каскадъ...

Мнѣ везло: привѣтнымъ взглядомъ

Позвала ужъ съѣсть съ ней рядомъ —

Вдругъ вошелъ Алкивиадъ.

„Видимъ: свѣтлый и румяный!

Весь въ цвѣтахъ — ну, Бахусъ пьяный!

Прямо къ ней — и въ губы чмокъ!

Пиръ весь ахнулъ и смутился,

А безстыдникъ воцарился

У ея у самыхъ ногъ!

„Я какъ разъ въ тѣни остался!

Для приличья улыбался;

Краснорѣчьемъ думалъ ввать, —

Но едва уста открою —

Онъ насмѣшкой, какъ стрѣлою,

Поразить меня опять.

„Были тутъ послы, софясты,

И архонты, и артисты...

Онъ бесѣдой овладѣлъ,

Хохоталъ надъ мудрецами,

И безумными глазами

На прекрасную глядѣлъ.

„Что тутъ дѣлать?.. Полны злости,

Расходиться стали гости...

Смотримъ — спитъ онъ! Та — молчить

И не будить... Что-жъ, добился!

Ей повѣса полюбился,

Да и насъ потомъ стыдитъ!“

Вопервыхъ, какое роскошное описаніе пировъ у греческой красавицы. Какъ дышетъ древнимъ міромъ сравненіе «принимала какъ сатрапъ». Вовторыхъ, вы здѣсь замѣчаете вѣрное и живое воспроизведеніе историческаго лица. Вспомните объ Алкивиадовой способности первенствовать и внушать къ себѣ уваженіе даже своими недостатками, вспомните шумное появленіе аѳинскаго дѣнди на пиръ мудрецовъ въ Платоновомъ «Симпосіонѣ»: Далѣе васъ поражаетъ необыкновенно-вѣрное,

въ психологическомъ отношеніи, описаніе лица, побѣжденнаго Алкивіадомъ, и самого Алкивіада посреди побѣды. Но это прекрасное стихотвореніе начинается общимъ мѣстомъ и кончается очень блѣдной, неловкой и совершенно лишней строфой.

У г. Мея талантъ чисто объективный. Собственные чувства, мысли и впечатлѣнія не даютъ содержанія его поэзіи, и потому въ собраніи его стихотвореній такъ мало лирическихъ произведеній, да и тѣ, которыя есть, не представляютъ ничего замѣчательнаго. Но это отсутствіе лиризма и составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ его произведеній съ историческимъ и описательнымъ содержаніемъ: спокойствіе разсказа, выдержанность тона даютъ имъ совершенно эпическій характеръ. Особенно заслуживаютъ вниманія стихотворенія, писанныя въ русскомъ народномъ духѣ. Его подражанія народнымъ пѣснямъ превосходны. Никто изъ нашихъ современныхъ поэтовъ-стихотворцевъ такъ не проникнуть духомъ народной поэзіи, такъ не владѣетъ народной рѣчью, какъ г. Мей. У него и мотивы, и складъ, и обороты, и сравненія, и эпитеты, и все до мелочей истинно-русское. Чтобы слова наши не показались преувеличеніемъ, приводимъ двѣ пѣсни:

„Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская,
Благовѣстная, побѣдная, раздольная,
Погородная, поселная, попольная,
Непогодою-невлагодою почитая,
Во крови, въ слезахъ крещенная—омытая!
Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская!
Не сама-собой ты сплелася-сложилася:
Съ пустырей тебя намыло снѣгомъ-дождемъ,
Нанесло тебя съ пожарищъ дымомъ-копотью,
Намело тебя съ сырыхъ могилъ метелицей...“

* *

„Снаряжай скорѣй, матушка родимая,
Подъ вѣнецъ свое дитятко любимое.
Я гнѣвить тебя нонче зарекалася—
Отъ сердечнаго друга отказалася..
Расплетай же мнѣ косыньку шелковую,
Уложи меня на кровать тесовую,
Пелену набрось мнѣ на груди бѣлая,
И скрести подъ неѣ руки помертвѣлая,

Въ головахъ зажги свѣчи воску ярова,
И зови ко мнѣ жениха-то старова.
Пусть войдетъ старикъ—смотреть, да дивуется,
На красу-ль мою дѣвичью любитесь...”

Но нигдѣ такъ блистательно не выказывается талантъ г. Мея и способность его схватывать черты народной поэзіи, какъ въ произведеніяхъ легенднаго и міеологическаго содержанія: они проникнуты, такъ сказать, истинно-русскимъ романтизмомъ: здѣсь-то особенно дорого отсутствіе лиризма, ибо авторъ не внесъ въ свои рассказы и описанія никакихъ личныхъ воззрѣній, а все бралъ у народа. Оттого все, что относится къ области чудеснаго, является у г. Мея въ первобытной чистотѣ народнаго вымысла, безъ малѣйшей примѣси германскаго, шотландскаго и вообще западнаго романтизма. Вспомните превосходное стихотвореніе «Хозяинъ». Какъ легко было бы поставить на ходули мнѣзъ домового, и какъ было бы эффектно приложить къ нему какое-нибудь модное воззрѣніе на русскія повѣрья. Поэтъ устоялъ противъ всѣхъ соблазновъ, и характеръ «хозяина» является у него во всей своей умильной простотѣ... Впрочемъ, талантъ г. Мея не ограничивается способностію изображать картины изъ одной русской народной жизни: г. Мей превосходно изображаетъ черты и другихъ національностей. Особенно замѣчательны его подражанія восточному... Стихотвореніе «Сплю, но сердце мое чуткое не спитъ» извѣстно рѣшительно всѣмъ и всѣми признано превосходнымъ.

Главный недостатокъ произведеній г. Мея въ излишнемъ богатствѣ красивыхъ образовъ, въ излишней яркости красокъ, въ излишней роскоши и блескѣ выраженій, словомъ—въ *embarras de richesses*. Каждый отдѣльный стихъ, каждая отдѣльная строфа безукоризненно прекрасны; но слишкомъ много лишнихъ строфъ, выражающихъ почти то же самое, что уже выражено другими строфами, много слишкомъ сходныхъ между собою картинъ и образовъ, стоящихъ рядомъ, и потому повтореніемъ одного и того же ослабляется впечатлѣніе цѣлаго. Такое излішество мы встрѣчаемъ, напримѣръ, въ слѣдующемъ описаніи:

„Мечется и плачетъ, какъ дитя больное
Въ неспокойной люлькѣ, озеро лѣсное.
„Тучей потемнѣло, брызжетъ мелкой зернью —
Такъ и отливаешь серебромъ да чернью.
„Взтеръ по дубровъ сѣрымъ волкомъ рыщеть;
Молнія на землю жгучимъ ливнемъ прыщеть;
„И на голось бури, побросавши прыжки,
Вынырнули со дна рѣзвыя русалки...
„Любо некрещенымъ въ бурю-непогоду
Кипятить и пѣвнть жаркой грудью воду;
„Любо имъ за вихремъ перелетнымъ гнаться,
Любо звонкимъ смѣхомъ съ громомъ осливаться.
„Волны имъ щекочуть плечи наливныя,
Чешуть бѣлымъ гребнемъ косы разсыпныя;
„Ласточки быстрѣе, легче пѣвы зыбкой,
Руки ихъ мелькають былобокой рыбкой;
„Огонькомъ подъ пепломъ щеки половѣють;
Ярямъ изумрудомъ очи зеленѣють“ и т. д.

Нѣтъ спора, здѣсь каждая строфа отдѣльно такъ хороша, что жаль что-нибудь исключить. Но нельзя не замѣтить, что описаніе русалокъ слишкомъ длинно, слишкомъ подробно. Довольно двухъ-трехъ строфъ изъ приведеннаго нами описанія для полной характеристики русалки; остальные, при всей ихъ красотѣ, не прибавляютъ никакой новой типической черты къ миѳу. Припомните русалокъ другаго поэта:

„Любо намъ порой ночью
Дно рѣчное покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрывать,
Подавать другъ дружкѣ голось,
Воздухъ звонкій раздражать,
И зеленый влажный волосъ
Въ немъ сушить и отряхать.“

И только. Больше ничего и не нужно. Конечно, описаніе г. Мея красивѣе и наряднѣе Пушкинова, но Пушкиново сжатѣе, кратче, внутренне-сильнѣе, типичнѣе и относится къ описанію г. Мея, какъ щитъ Гомеровъ къ щиту Виргиліеву.

Къ означенному недостатку произведеній г. Мея имѣетъ весьма близкое соотношеніе и другой недостатокъ, общій имъ

съ произведеніями г. Майкова. Оба поэта, по любви своей къ картинности, слишкомъ щедры на черты мѣстнаго колорита (*coloris local*). Конечно, они мастера въ дѣлѣ рельефности изображенія, но излишекъ, въ чемъ бы то ни было, все-таки называется излишкомъ. Такъ наприимѣръ, въ одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній («Клермонтскомъ соборѣ») среди величественнаго описанія слушателей Петра Пустынника, поэтъ говоритъ:

„Вокругъ ихъ—сырыхъ обороны—
Толпою рыцари стоятъ:
Въ узорныхъ латахъ Итальянцы,
Тяжелый Швабъ и рыжій Бриттъ.“

Рыжій Бриттъ! это уже въ буквальномъ смыслѣ слишкомъ яркій мѣстный колоритъ. Такія прозаическія подробности рѣшительно неумѣста передъ поэтической рѣчью Пустынника, призывающаго на высокий подвигъ. Въ другомъ стихотвореніи поэтъ обращается къ Пріану:

„..... пролей свою благодать
Щедрой рукою на эти орудья простыя—
Заступь садовый и серпъ *полукруглый* и соху.“

«Полукруглый» — эпитетъ совершенно въ духѣ Гомера, но совершенно лишній, ибо, во первыхъ, форма серпа всѣмъ извѣстна, во вторыхъ, эта подробность описанія не заключаетъ въ себѣ никакой красоты.

У г. Мея, въ стихотвореніи «Подражаніе восточнымъ», женщина, призывающая любовника, говоритъ:

Тебя я ждала и искала—
Ждала отъ вечерней поры,
Завѣсила одръ и постлала
Египта двойные ковры,
Посыпала ложе шафраномъ,
Корицей *посыпала* полъ—
Войди и въ веселья желанномъ
Возляжемъ за трапезный столъ.“

«Корица», можетъ быть, совершенно вѣрная подробность, но ужъ слишкомъ мѣстная, и потому нѣсколько комическая.

Еще примѣръ. Стихотвореніе г. Мея «Слѣпорожденный» начинается слѣдующей строфой:

„То были времена чудесъ,
Сбывались слова пророка,
Сходили ангелы съ небесъ,
Звѣзда катилась отъ востока,
Міръ искупленія ожидалъ—
И въ бѣдныхъ ясляхъ Вмалеема,
Подъ пѣснь хвалебную здема,
Младенецъ дивный возсіялъ,—
И загремѣлъ по Палестинѣ
Гласъ вопіющаго въ пустынь...“

Послѣ этихъ возвышеннаго тона стиховъ, пропитанныхъ истинно библейскимъ духомъ, слѣдуетъ прекрасное описаніе природы Палестины, гдѣ между прочимъ говорится:

„Порой далеко точкой черной,
Газель, или страусъ, или верблюды
Мелькнутъ на мигъ—и пропадутъ.“

Все это у мѣста въ антологическомъ стихотвореніи, въ описаніи, имѣющемъ цѣлью мірскіе чувства и образы, но въ произведеніи, предметъ котораго исцѣленіе слѣпаго, въ которомъ главное лицо Спаситель, такая мелочная заботливость въ изображеніи предметовъ чувственныхъ, не соотвѣтствуетъ высотѣ общаго содержанія, непріятно измѣняетъ и нарушаетъ тонъ разсказа.

Впрочемъ не одни гг. Мей и Майковъ, но вообще всѣ наши поэты слишкомъ любятъ мѣстный колоритъ.

Читатели вѣроятно замѣтятъ, что мы слишкомъ строги къ гг. Майкову и Мею. Сознаемся. Но причина нашей строгости и мелочныхъ придирокъ заключается въ особенной любви и симпатіи къ нимъ. Гг. Майковъ и Мей принадлежать къ тѣмъ немногимъ въ наше время писателямъ, которые не считаютъ стихотворство шуткой, глубоко уважаютъ красоты роднаго языка и служатъ ему честно и ревностно. Потому намъ бы хотѣлось, чтобъ они не останавливались на томъ, чего достигли, но шли бы все впередъ и совершенствовались. Отъ нихъ этого можно и требовать, и ожидать. Притомъ же наши мелочныя придирки

къ нимъ могутъ служить доказательствомъ, какъ много и съ какимъ вниманіемъ ихъ читаютъ. А много читаютъ и часто перечитываютъ ихъ потому, что они доставляютъ много наслажденія.

Планъ нашей статьи не позволяетъ намъ войти въ подробныя указанія достоинствъ и недостатковъ остальныхъ оригинальныхъ стихотвореній, вышедшихъ въ прошломъ году отдѣльными книжками, потому мы должны ограничиться краткими отзывами. Самыя замѣчательныя изъ нихъ — стихотворенія г-жи Жадовской. Извѣстность г-жи Жадовской началась стихотвореніемъ «Ты скоро меня позабудешь», которое было положено на музыку и распространилось повсюду въ видѣ романса. Главная характеристическая черта стихотвореній г-жи Жадовской — женственность, которою они проникнуты, черта, особенно дорогая въ лирическихъ произведеніяхъ дамы. Нѣжность и кротость чувствъ, мягкость стиха несравненно больше идутъ къ женщинѣ, нежели громовый стихъ и бурныя страсти.

Вышли въ 1858 г. еще собранія стихотвореній гг. Плещеева, Паниютина, Прокоповича и покойнаго Языкова.

Въ стихотвореніяхъ г. Плещеева много истиннаго чувства; но они однообразны и не представляютъ пока ничего оригинальнаго въ отношеніи формы стиха. — Стихотворенія г. Паниютина не безъ достоинствъ. Если ихъ недостатки происходятъ, какъ намъ показалось, отъ молодости и незрѣлости, то есть надежда, что авторъ со временемъ усовершенствуется. — Стихотворенія г. Прокоповича хороши только въ отношеніи языка и стиха. — Что касается до стихотвореній Языкова, то для разбора ихъ требовалась бы особая большая статья: разбирать ихъ наскоро мы считаемъ себя не въ правѣ.

Переходимъ къ переводамъ.

Переводы г. Курочкина пѣсенъ Беранже были встрѣчены всеобщей радостью и доставили переводчику въ самое короткое время большую извѣстность. Всѣ думали, что произведенія самаго народнаго французскаго поэта непереводамы, и потому крайне удивились, когда прочли ихъ въ прекрасныхъ русскихъ

стихахъ. Что касается до насъ, мы почитаемъ переводъ г. Курочкина, несмотря на всѣ его достоинства, новымъ доказательствомъ непереводимости Беранже. Беранже въ своихъ произведеніяхъ выразилъ по большей части тѣ черты французскаго народа, которыя въ насъ не существуютъ, и выказалъ тѣ именно свойства французскаго языка, которыхъ нѣтъ въ русскомъ. Сходство русскаго характера съ характеромъ Француза, на которое такъ любятъ указывать обѣ націи, совершенно внѣшнее. Оно не коренится въ народѣ, а происходитъ вслѣдствіе любви и искусства нашихъ соотечественниковъ корчить Парижанъ. Конечно, встрѣчаются у насъ и въ низшихъ классахъ народа (но никакъ не между крестьянами) черты аналогическія съ чертами парижскихъ блузниковъ, гризетокъ, лоретокъ и т. д. Но что у Французовъ не только извинительно, по легкости ихъ характера, а даже очень мило, граціозно и трогательно,—то у насъ выходитъ аляповатымъ, грубымъ и подчасъ просто грязнымъ — отвратительнымъ. Roger Bontemps Беранже очень добрый и милый малый во Франціи; но подыщите аналогическій съ нимъ типъ въ Россіи,—и вы получите негодяя. Описывая счастье двухъ любовниковъ, происходящее отъ незатѣйливости и простоты ихъ взаимныхъ отношеній, Беранже начинаетъ такъ:

„Commissaire!
Commissaire!
Colin bat sa menagère.
Commissaire,
Laissez faire;
Pour l'amour
C'est un beau jour“.

Дальше идетъ описаніе въ этомъ же родѣ, и читатель видитъ, что несмотря на то, что Colin бьетъ свою Колету, а она ему измѣняетъ, они очень счастливы. Но если вы найдете у насъ на Руси подобную простоту отношеній между мужчиной и женщиной, то вѣрно не позавидуете счастью такой четы.

Несмотря на несходство нашей народности съ французской, русскому поэту можно бы было воспроизвести на родномъ

языкъ и черты народныхъ нравовъ и черты народной поэзіи Франціи, еслибъ русскій языкъ былъ на то способенъ. Но языкъ нашъ, обладающій, подобно нѣмецкому, удивительнымъ свойствомъ передавать всѣ оттѣнки чуждыхъ народностей, подобно нѣмецкому же, неспособенъ выразить весьма многіе оттѣнки народности французской. Къ нему можно примѣнить слова Шиллера, обращенныя къ «Германскому гению»:

„Ringe... nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit:
Beides gelang dir, doch nie glückte der gallische Sprung.“

Какъ выразить нашъ «*юрды*й языкъ» всѣ милыя ужимки, всѣ дѣтски-наивные обороты французской рѣчи? Гораздо легче взрослому мужика заставить грасеировать и произносить въ носъ французскій *n*, чѣмъ передать по-русски подобныя фразы:

„Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!
Quel bon petit roi c'était là!
La, la.“

Или:

„Zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon!
Le fouet, petit polisson!“

Какъ по-русски все это выйдетъ грубо, и какъ неприятно будетъ отзываться тономъ дурнаго общества! Слова, въ родѣ вышеприведеннаго «zon, zon», иногда являются у Беранже превосходнымъ звукоподражаніемъ. Попробуйте замѣнить французскія звукоподражанія соотвѣтствующими русскими, — и выйдетъ «бумъ, бумъ, пифъ, пафъ», и тому подобное.

Такія-то и еще другія затрудненія не дали г. Курочкину возможности *перевести* Беранже. Потому онъ переложилъ его на русскіе нравы, и переложилъ также превосходно, какъ Котляревскій — Энеиду. Стихъ г. Курочкина, хотя не вышелъ изъ школы Пушкина и не имѣетъ ничего общаго со стихомъ гг. Мей, Полонскаго, Майкова и Щербинны, но по-своему очень хорошъ. Это стихъ рукописныхъ комическихъ стихотвореній, стихъ г. Некрасова, стихъ лучшихъ пародій Новаго Поэта — безцеремонный, но сильный, бойкій и отличающійся затѣйливыми и звучными приемами. На Руси существуетъ цѣлая школа

такого рода поэзіи; отличительная черта поэтовъ этой школы — умѣнье укладывать въ стихъ обыкновенную разговорную рѣчь. Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ, г. Курочкинъ далеко оставилъ за собою своихъ предшественниковъ.

Кстати упомянуть, что въ «Современникѣ» было помѣщено нѣсколько стихотвореній Беранже въ переводѣ г. Ленскаго. Выборъ піесъ, сдѣланный г. Ленскимъ, очень хорошъ: онъ по большей части взялъ тѣ піесни, которыя можно перевести. Нѣтъ правила безъ исключенія: и у Беранже есть произведенія безъ особенно рѣзкихъ, непереводаемыхъ чертъ національности. Нѣкоторые переводы г. Ленскаго превосходны. «Старый фракъ» и «Сенаторъ» переведены такъ, какъ рѣшительно у насъ никто не переводилъ Беранже.

Переводы г. Михайлова стихотвореній Гейне прекрасны, какъ вообще всѣ его переводы.

Кромѣ отдѣльныхъ собраній, появлялись въ журналахъ стихотворенія гг. Хомякова, Фета, Аксакова, гр. Толстаго.

Хомяковъ ветеранъ между поэтами нашего времени. Онъ принадлежитъ къ поэтамъ пушкинской эпохи, и произведенія его носятъ яркій отпечатокъ ея поэзіи: въ нихъ слышится что-то особенное, чего нѣтъ въ теперешней поэзіи. Не знаемъ, вполне ли опредѣлимъ мы эту особенность поэзіи Хомякова, если скажемъ, что она заключается въ возвышенности содержанія, осязательной опредѣленности поэтической мысли, въ высотѣ и торжественности тона и строгой красотѣ выраженій. Прочитайте эти стихи, — и увидите, правы ли мы:

„Въ часъ полночный, близъ потока
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеки
Въ горнемъ мірѣ чудеса.
Ночи вѣчныя лампы
Невидимы въ блескѣ дня,
Стройно ходятъ тамъ громады
Негасимаго огня.
Но впивайся въ нихъ очами,
И увидишь, что вдали,

За ближайшими звездами,
Тьмами звезды въ ночь ушли.
Вновь взгляды — и тьмы за тьмами
Утомить твой робкій взглядъ:
Всѣ звездами, всѣ огнями
Бездны синія горятъ.
„Въ часъ полночнаго молчанья,
Отогнавъ обманы сновъ,
Ты взгляды душой въ писанья
Галилейскихъ рыбаковъ.
И въ объемъ книги тѣсной
Развернется предъ тобой
Безконечный сводъ небесный.
Съ лучезарною красой.
Узришь: звезды мысли водятъ
Тайный хоръ свой вокругъ земли.
Вновь взгляды — другія всходятъ;
Вновь взгляды — и тамъ вдали
Звезды мысли, тьмы за тьмами,
Всходятъ, всходятъ безъ числа, —
И зажжется ихъ огнями
Сердца дремлющая мгла.“

Г. Фетъ любимецъ нашей публики. Мы очень уважаемъ г. Фета, какъ автора многихъ прекрасныхъ стихотвореній, изъ числа которыхъ превосходное «Къ смерти» могло бы занять почетное мѣсто во всякой литературѣ; — уважаемъ его, какъ переводчика Гёте, Горація и Гейне, и потому намъ очень жаль, что поэтъ нашъ слишкомъ предался туманному и неясному роду поэзіи.

Всѣ произведенія его, носящія такой характеръ, состоятъ изъ недомолвокъ, темныхъ намековъ, недоговоренныхъ фразъ, недорисованныхъ образовъ. Никому не можетъ служить оправданіемъ то обстоятельство, что туманное направленіе въ поэзіи ведетъ свое начало отъ Гёте, написавшаго нѣсколько превосходныхъ стихотвореній въ этомъ родѣ. Туманъ въ произведеніяхъ Гёте не мѣшаетъ различать предметы, которые покрываетъ, и только придаетъ имъ особый таинственный колоритъ. Гейне довелъ туманность до крайности, а подражатели его стали просто непонятны; туманъ ихъ или искажаетъ предметы, или совершенно скрываетъ ихъ отъ глазъ читателей. Вотъ типическій образчикъ такого рода произведеній:

„Уноси мое сердце въ звенящую даль,
Гдѣ, какъ мѣсяцъ за рощей, печаль;
Въ этихъ звукахъ на жаркія слезы твои
Кротко свѣтитъ улыбка любви.

„О дитя! какъ легко средь незримыхъ зыбей
Довѣряться мнѣ пѣснѣ твоей:
Выше, выше плыву серебристымъ путемъ,
Будто шаткая тѣнь за крыломъ.

„Вдалекѣ замираетъ твой голосъ, горя
Словно за моремъ ночью заря,
И откуда-то вдругъ, я понять не могу,
Грянетъ звонкій приливъ жемчугу.

„Уноси-жъ мое сердце въ звенящую даль,
Гдѣ кротка, какъ улыбка, печаль;
И все выше помчусь серебристымъ путемъ
Я, какъ шаткая тѣнь за крыломъ.“

Это стихотвореніе напоминаетъ знаменитую фразу Байрона изъ «Часовъ досуга»: «Что за *мрачный* призракъ *блеститъ* на кровавыхъ волнахъ бури?» Но Байрону жестоко доставалось за подобныя фразы отъ «Эдинбургскаго обозрѣнія». Конечно, онъ жестоко и отмстилъ своимъ критикамъ, однако въ послѣдствіи сдѣлался точнѣе и осмотрительнѣе, и враги его, шотландскіе критики, стали привѣтствовать исправившагося поэта самыми лестными одобреніями.

Г. Аксаковъ (И. С.) обладаетъ истиннымъ поэтическимъ талантомъ; но жаль, что въ послѣднее время онъ сталъ давать своей поэтической дѣятельности одностороннее направленіе. Направленіе это, какъ выразилось объявленіе о «Парусѣ», гражданское. Г. Аксаковъ относится даже съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ къ своему стиху. Онъ говоритъ:

„Мой черствый стихъ души не грѣетъ“.

Но стихъ долженъ непремѣнно грѣть душу, иначе онъ не поэтический. А этого эпитета нельзя отнести къ стиху поэмы «Бродяга», особенно въ описаніи всенощной. Еслибъ у г. Аксакова въ самомъ дѣлѣ былъ талантъ односторонній, еслибъ онъ для своихъ произведеній не могъ найти никакого содержанія помимо гражданского, несправедливо бы было отъ него и требовать другаго направленія. Между тѣмъ авторъ «Бродяги»

показалъ многосторонній талантъ: потому читатели въ правѣ требовать отъ его произведеній разнообразія...

Гр. Толстой владѣеть прекрасно русскимъ народнымъ стихомъ и народной рѣчью. Онъ съ замѣчательнымъ искусствомъ умѣетъ облекать мысли и чувства образованнаго человѣка въ простонародныя формы и оттѣняетъ ихъ то ироніей русскаго человѣка, то его грустью, то удалью.—Къ сожалѣнію, въ прошломъ году не печатали своихъ произведеній гг. Полонскій и Щербина. По крайней мѣрѣ намъ не случилось нигдѣ видѣть ихъ имена.

Въ журналахъ вышло также множество стихотвореній (чего и слѣдовало ожидать) съ *чисто современнымъ* направленіемъ. Содержаніе ихъ съ одной стороны составляетъ взяточничество, невѣжество общества и вообще всякіе общественные пороки, съ другой — улучшеніе быта крестьянъ и надѣленіе ихъ землею, гласность и вообще все то, о чемъ гораздо лучше, полезнѣе и приличнѣе писать въ прозѣ. Что бы сказалъ Пушкинъ, еслибъ видѣлъ господство такого направленія въ русской поэзіи, Пушкинъ, не хотѣвшій признать поэтомъ самого Беранже, за то, что тотъ въ своихъ пѣсняхъ служилъ общественнымъ вопросамъ?

Переходя отъ стихотворцевъ къ писателямъ по части изящной словесности въ прозѣ, мы прежде всего назовемъ автора, который, хотя и не сочиняетъ повѣстей и романовъ, занимаетъ одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ между писателями-художниками. Мы говоримъ объ авторѣ «Семейной Хроники».

Положеніе С. Т. Аксакова въ нашей литературѣ и отношенія его къ публикѣ совершенно особенныя: его всѣ читаютъ и всѣ хвалятъ. Несмотря на то, что въ произведеніяхъ своихъ онъ никогда не касается современныхъ общественныхъ вопросовъ, на которые такъ падки теперешніе читатели, «Семейная Хроника и Воспоминанія» едва ли не наиболѣе читаемая и наиболѣе любимая книга въ настоящее время. Чѣмъ объяснить такое противорѣчіе? Слишкомъ много потребовалось бы и мѣста, и времени на такое объясненіе, потому что оно вовлекло

бы насъ въ подробный разборъ произведеній г. Аксакова. Скажемъ только, что главные причины успѣха «Семейной Хроники» заключаются въ необыкновенной нормальности, такъ-сказать, общности чувствъ, которыми она проникнута, и въ необыкновенной типичности и отчетливости образовъ, въ ней представленныхъ.

Г. Островскій напечаталъ комическія сцены въ трехъ картинахъ подъ названіемъ «Не сошлись характерами». Г. Островскій, безъ сомнѣнія, первый нашъ сценическій писатель настоящаго времени. Еще не прошло десяти лѣтъ съ появленія первой его комедіи, а уже мѣсто его въ исторіи нашей словесности опредѣлилось. Онъ показалъ совершенно самостоятельное дарованіе: своеобразные приемы въ изображеніи характеровъ и оригинальность языка дѣйствующихъ лицъ. Комедія «Свои люди—сочтемся» въ самое короткое время разошлась по всей Россіи, породила не одного подражателя, и авторъ ея сдѣлался народнымъ писателемъ. Можетъ быть, этотъ эпитетъ многимъ покажется слишкомъ сильнымъ, но мы не знаемъ, какъ иначе назвать писателя, имя котораго вдругъ стало извѣстно всѣмъ грамотнымъ классамъ общества—отъ кабинета профессора до лавки въ Ножевой Линіи. На сценѣ произведенія г. Островскаго имѣютъ огромный успѣхъ и составляютъ любимый репертуаръ посѣтителей Московскаго Малаго Театра. Причина этого успѣха заключается, во первыхъ, въ необыкновенной живости и быстротѣ дѣйствія; во вторыхъ, въ вѣрности и рельефности характеровъ и языка дѣйствующихъ лицъ; въ третьихъ, въ разнообразіи впечатлѣній, производимыхъ на зрителей: смѣшное и трогательное, какъ это бываетъ въ самой жизни, перемѣшаны въ произведеніяхъ г. Островскаго. Много также помогаетъ успѣху его произведеній на театрѣ игра гг. Садовскаго и Васильева, которые являются ихъ истолкователями передъ массою.

Послѣднее произведеніе г. Островскаго не велико по объему, но по содержанію могло бы быть матерьяломъ для большой комедіи, еслибъ авторъ развилъ подробнѣе отношенія нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Большая часть характеровъ очерчена пре-

красно. Особенно хороши купецъ и его жена. Разговоръ этой четы самый типическій, и въ то же время самый вѣрный и естественный изъ всѣхъ купеческихъ разговоровъ въ произведеніяхъ г. Островскаго, — а это много. Мы несомнѣнъ довольны двумя лицами пьесы—сентиментальной дамой и ея сыномъ. Они оба изображены слишкомъ угловато, а сынъ даже и не совсѣмъ вѣрно. При изображеніи этого характера, авторъ, кажется, заплатилъ дань времени и немножко увлекся нынѣшнимъ сатирическимъ направленіемъ. Конечно, въ наше время есть очень много недорослей съ такими безнравственными понятіями, какъ у г. Островскаго молодой Брежневъ, но нѣкоторыя понятія и слова этого лица являются совершеннымъ анахронизмомъ. Такъ, напримѣръ, молодой человѣкъ, не лишенный внѣшняго лоска воспитанія, называетъ «старой каргой» женщину, которая няньчила его въ дѣтствѣ. Этого не бываетъ... И Митрофанушка фонъ-Визина—типъ прошедшаго столѣтія—не относится такъ къ своей Еремѣевнѣ.

Однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ литературныхъ произведеній прошлаго года былъ романъ г. Писемскаго «Тысяча душъ». Произведеніе г. Писемскаго исполнено такихъ серьезныхъ красотъ, что для достойной оцѣнки его потребовалась бы большая критическая статья, а мы поневолѣ должны ограничиться краткимъ отзывомъ.

Направленіе современнаго общества обыкновенно называютъ положительнымъ, практическимъ, и современный человѣкъ гордится этимъ названіемъ передъ прошлыми поколѣніями. Въ наше время нѣтъ прозвища унизительнѣе названій романтика, идеалиста, названій, которыя почитаются равнозначущими выраженіямъ: ни на что неспособный человѣкъ, дуракъ; а слово дуракъ, по замѣчанію Гоголя, ужаснѣе для современнаго человѣка, чѣмъ титулъ подлѣца.

Такое всеобщее уваженіе и стремленіе къ практичности и положительности, по мнѣнію многихъ, есть слѣдствіе того равновѣсія между духовными и матеріальными стремленіями человѣка, которое установилось въ немъ въ наше время. Если эта

гармонія матеріи съ духомъ дѣйствительно существуетъ, то, по всѣмъ вѣроятіямъ, она-то и есть источникъ того непомѣрнаго корыстолюбія, которымъ одержимъ нашъ вѣкъ, вѣкъ, когда всѣ помыслы устремлены на пріобрѣтеніе денегъ, какъ средства для комфорта. Но знаютъ ли герои нашего времени, величающіе себя положительными людьми, что большая часть изъ нихъ такіе же безумные мечтатели, какъ алхимики и искатели *perpetuum mobile*? Мечтатель Среднихъ Вѣковъ тратилъ состояніе и здоровье, терпѣлъ всевозможныя лишенія въ надеждѣ найти средство дѣлать золото; мечтатель нашего времени жертвуетъ тѣмъ же самымъ въ надеждѣ сдѣлаться миллионеромъ. Конечно, многимъ въ наше время удаются такіе расчеты, но и многіе изъ средневѣковыхъ ученыхъ открывали то, чего желали, потому что не всѣ же они стремились къ такимъ открытіямъ, какъ дѣланіе золота и вѣчное движеніе.

Симптомы этой эпидемической болѣзни нашего вѣка прекрасно изображены г. Писемскимъ въ героѣ его романа—Калиновичѣ.

Калиновичъ, кандидатъ университета, человѣкъ умный, образованный и благородный настолько, насколько можетъ быть благороденъ человѣкъ совершенно неспособный жертвовать своими интересами для блага другихъ, получаетъ мѣсто смотрителя училища въ уѣздномъ городѣ. Тамъ онъ сходится съ молодой дѣвушкой, дочерью прежняго смотрителя, и влюбляется въ нее. Настенька (такъ зовутъ героиню романа) дѣвушка умная, образованная, развитая, одаренная пылкимъ и благороднымъ сердцемъ, но совсѣмъ непрактическая. «Она жила, говоритъ авторъ, въ какомъ-то особенномъ мірочкѣ, наполненномъ Гомерами, Орасами, Онѣгинами, героями французской революціи. Любовь женщины она представляла себѣ не иначе, какъ чувствомъ, въ основаніи котораго должно было лежать самоотверженіе, жизнь въ обществѣ — мученіемъ, общественный судъ—вздоромъ, на который не стоитъ обращать вниманія. Окружавшая ее среда сдѣлалась для нея невыносимою». Познакомившись съ Калиновичемъ, она встрѣтила въ немъ перваго чело-

вѣка, который понималъ то, что она читала, и съ которымъ она могла говорить о томъ, что ее интересуетъ. Можно себя представить, какъ она ему обрадовалась и какое почувствовала къ нему уваженіе. Уваженіе это еще болѣе усилилось, когда оказалось, что Калиновичъ литераторъ, и что произведеніе его имѣло успѣхъ. Настенька влюбляется въ Калиновича. Человѣкъ другого покроя былъ бы счастливъ такою взаимностью и благополучно бы женился на предметѣ своей любви. Но герой нашъ—человѣкъ «положительный» и потому мечтающій о блестящей карьерѣ... Когда дѣло дошло до объясненія, онъ, не желая влечь узъ брака съ бѣдной дѣвушкой, потребовалъ, чтобъ она пожертвовала своей честью для ихъ взаимной страсти, и когда на это послѣдовалъ рѣшительный отказъ, пересталъ съ ней видѣться. Очень естественно, что Настенька мучилась и страдала, не видя человѣка, котораго любить, который одинъ ее понимаетъ,—и положительный человѣкъ настоялъ на своемъ... Много еще доставилъ онъ мученій и своей жертвѣ и самому себѣ, служа своимъ практическимъ цѣлямъ. Наконецъ, цѣлей своихъ онъ достигъ: женился на богатой, купилъ мѣсто, и сдѣлался значительнымъ человѣкомъ. Но, несмотря на эти удачи на поприщѣ практической жизни, счастья онъ не приобрѣлъ, потому что женился на женщинѣ отвратительной наружности, сомнительной нравственности и старой, — живя съ которой, разумѣется, мучился, а служебная его карьера кончилась тѣмъ, что его отставили отъ службы съ преданіемъ суду. Не практичнѣе ли было ему жениться на Настенькѣ и жить скромно въ уѣздномъ городкѣ?

Вотъ мораль, которую мы выводимъ изъ романа г. Писемскаго. Говоримъ «мы», потому что авторъ, какъ истинный художникъ, спокойно нарисовалъ картину современныхъ нравовъ, не выводя изъ нея никакихъ заключеній и предоставляя каждому читателю дѣлать ихъ *ad libitum*. Главное достоинство «Тысячи душъ» — необыкновенная вѣрность дѣйствительности, естественность, правда. Кромѣ того, произведеніе г. Писемскаго представляетъ рѣдкое сочетаніе живости интереса раз-

сказа съ глубоко-серьезнымъ содержаніемъ. Дѣйствующія лица романа всѣ до одного типы. Разговоры ихъ, несмотря на то, что въ нихъ очень часто идетъ рѣчь объ отвлеченныхъ предметахъ, всегда исполнены драматическаго смысла. Такъ вести разговоры—особенность таланта г. Писемскаго, ему одному принадлежащая. У него, напримѣръ, разговоръ о литературѣ, о критикѣ Бѣлинскаго завязываетъ отношенія между любовниками... Въ романѣ есть множество сценъ истинно драматическихъ, которыя такъ и просятся на сцену.

Но есть одинъ недостатокъ въ произведеніи г. Писемскаго: это—кое-гдѣ встрѣчающіяся излишнія подробности въ описаніяхъ. Такъ, напримѣръ, описаніе визита Калиновича къ какой-то Амальхенъ могло быть и опущено. Конечно, описаніе это само по себѣ хорошо и имъ могъ бы гордиться любой литераторъ натуральной школы, но для таланта г. Писемскаго гоняться за такого рода картинами, значить ходить на муху съ обухомъ. Пушкину въ «Капитанской дочкѣ» представлялся весьма удобный случай ввести эпизодъ такого рода. Но онъ благоразумно ограничилъ свое описаніе словами героя романа: «Что прикажете? День я кончилъ также безпутно, какъ и началъ. Мы отужинали у Аринушки.»

О повѣсти г. Тургенева «Ася» мы распространяться не будемъ, а скажемъ только одно слово о томъ, что, по нашему мнѣнію, составляетъ особенность таланта ея автора.

Намъ кажется, что можно довольно вѣрно охарактеризовать произведенія г. Тургенева вообще и «Записки охотника» въ особенности, назвавъ ихъ поэтическими впечатлѣніями. Г. Тургеневъ въ своихъ романахъ, повѣстяхъ и разсказахъ, какъ справедливо было замѣчено нѣкоторыми критиками, по преимуществу поэтъ. Выводя передъ читателемъ лица, имъ созданныя, онъ по большой части изображаетъ не характеры ихъ, но собственныя впечатлѣнія, полученные при взглядѣ на эти лица.

Въ 1858 году была также напечатана повѣсть гр. Л. Толстаго «Альбертъ». Гр. Толстой по справедливости почитается

однимъ изъ очень даровитыхъ писателей нашихъ. Опъ принадлежитъ къ немногому числу тѣхъ, которые творятъ изъ чисто художественныхъ цѣлей. Характеристическая черта произведеній автора «Четырехъ эпохъ развитія» и «Военныхъ разсказовъ» заключается въ тонкости, вѣрности и глубинѣ психическихъ наблюдений,—въ благородствѣ и чистотѣ чувствъ, которыми они согрѣты.

Что касается собственно до повѣсти «Альбертъ», то ее, вмѣстѣ съ «Записками маркёра», слѣдуетъ отнести къ неудавшимся произведеніямъ автора. Герой повѣсти «Альбертъ» человѣкъ полусумашедшій, а психическія наблюденія надъ такими субъектами не должны и не могутъ составлять матерьяла для художественнаго произведенія.

Г. Потѣхинъ напечаталъ повѣсть «Бурмистръ» и драму «Мишура». «Бурмистръ» рѣшительно лучшее изъ всѣхъ произведений г. Потѣхина. Содержаніе этой повѣсти, какъ уже видно изъ ея названія, взято изъ народной жизни, которую съ такой искренней любовью всегда изображаетъ авторъ. Дѣлая удареніе на словѣ «искренній», мы хотимъ этимъ сказать, что г. Потѣхинъ любитъ народъ не по теоріи или модѣ, но потому что сжилъ душой съ его интересами. Смотря съ этой точки зрѣнія на произведенія г. Потѣхина, мы думаемъ, что неправы тѣ, кто ставятъ автору въ вину излишнія подробности въ описаніяхъ жизни и обстановки нашего мужика. Такого рода подробности показываютъ въ г. Потѣхинѣ не писателя-натуралиста, рисующаго сплошь да рядомъ все, что ни попадетъ на глаза, но человѣка, который такъ высоко уважаетъ народный бытъ, что дорожить, какъ сокровищемъ, каждой мельчайшей его чертою. — Піеса «Мишура» проникнута серьезною мыслію, заключаетъ въ себѣ много удачно очерченныхъ характеровъ и прекрасныхъ отдѣльныхъ сценъ, но не удовлетворяетъ требованіямъ критики въ отношеніи драматической постройки.

Г. Панаевъ напечаталъ повѣсть «Внукъ русскаго миллионера», гдѣ между прочимъ высказалъ слѣдующую остроумную шутку противъ критическаго направленія, которому слѣдуемъ и мы грѣшныя:

„Я пишу, как пишется, не имѣя ни малѣйшей претензіи на художественность, на чистое искусство на творчество, и тому подобное. Говоря откровенно, я даже не совсѣмъ понимаю, изъ чего такъ хлопочутъ защитники чистаго искусства и художественности? Сколько бы они ни заботились о насъ, по добротѣ души своей, они изъ насъ, простыхъ писателей, не сдѣлаютъ художниковъ, и какъ бы мы сами ни желали угодить имъ, какъ бы мы ни усиливались превратиться въ творцовъ, всѣ наши усилія останутся не только тщетными, но и смѣшными...“

Защитники чистаго искусства, какъ у насъ, такъ и вездѣ, никогда не имѣли и не имѣютъ претензіи требовать отъ писателей, чтобъ они были творцами. Творчество, какъ извѣстно, бываетъ и у людей, никогда не занимавшихся никакой отраслю художественной дѣятельности, и наоборотъ оно не всегда бываетъ у людей, служащихъ чистому искусству и одаренныхъ талантами. Коперникъ и Вико не были художниками, но они творцы новыхъ системъ; Альфредъ дѣ-Мюссэ обладалъ большимъ художественнымъ талантомъ, но смѣшно называть его произведенія твореніями. Что касается до повѣсти г. Панаева, то, вѣроятно, защитники чистаго искусства не найдутъ въ ней ничего противорѣчащаго «принципу искусства для искусства», хотя и не назовутъ ея автора творцомъ. Г. Панаевъ не проводитъ въ своей повѣсти никакихъ общественныхъ идей, а просто передаетъ, съ свойственными ему наблюдательностью и остроуміемъ, черты петербургской жизни. Слогъ течетъ очень живо, рассказъ мѣстами проникнутъ чувствомъ, читается легко и съ удовольствіемъ.

Въ 1858 году въ нашей литературѣ появился новый чрезвычайно замѣчательный талантъ, обратившій на себя вниманіе какъ знатоковъ изящнаго, такъ и друзей нашей народности. Мы говоримъ о г-жѣ Кохановской, и ея повѣсти «Послѣ обѣда въ гостяхъ». Судя по тонкому анализу женскаго сердца, замѣчаемому въ этомъ произведеніи, видишь, что авторъ его дѣйствительно дама; но необыкновенная наблюдательность надъ жизнью людей простаго класса, необыкновенная вѣрность, типичность языка дѣйствующихъ лицъ, художественное спокой-

ствіе разсказа заставляють въ этомъ сомнѣваться. Первая повѣсть г-жи Кохановской «Любила» гораздо болѣе похожа на произведеніе современной русской женщины: тамъ есть много фантастическаго, эксцентрическаго и невѣрнаго. Ничего подобнаго не найдетъ и самый строгій критикъ-реалистъ въ «Послѣ обѣда въ гостяхъ».

Сюжетъ этой повѣсти самый простой. Молодую дѣвушку хотятъ выдать насильно замужъ за почти совсѣмъ незнакомаго и ненавистнаго ей человѣка. Она противится этому; мать прибѣгаетъ къ побоямъ, и дѣвушку почти безчувственную ведутъ подъ вѣнецъ. Послѣ вѣнца молодая не хочетъ и смотрѣть на своего мужа, не говоритъ съ нимъ, и отвѣчаетъ грубостями на его любовь. Такъ проходитъ около года. Наконецъ, побѣжденная кротостью, безотвѣтностью и любовью мужа, она дѣлается примѣрной, страстно-любящей женой. Исторія этого душевнаго переворота, составляющая содержаніе, художественную идею повѣсти, разсказана г-жою Кохановской такъ, что рѣшительно не знаешь, какія слова и выраженія приискать для похвалъ: «мастерство», «искусство» — выраженія, какъ - то не идущія къ описанію, которое по простотѣ, безыскусственности и правдѣ заставляеть рѣшительно забыть, что передъ вами литературное произведеніе. Сколько высокаго драматизма, сколько глубоко-трогающихъ душу словъ въ слѣдующемъ разсказѣ главнаго дѣйствующаго лица повѣсти:

„То-есть не терплю я еѹ, какъ стала я на томъ, что не терплю — и кончено, сударыня моя! Да, вѣдь, какъ не терплю? И не подходи онъ ко мнѣ, и не говоря; и гладѣть на него не гляжу! Вотъ тебѣ святое слово: ей Богу! годъ и два мѣсяца коли онъ слыхалъ отъ меня другое что, одно *да и нѣтъ*, и больше ничего. Я съ нимъ по недѣлямъ глазами не встрѣчалась. Коли онъ *здѣсь*, то я смотрю *туда*, или *поверхъ* его звѣзды по потолку считаю; а коли ужъ опустила глаза, хоть онъ часъ битый стой передо мною, не взгляну я. Его три дня дома нѣтъ; прїѣдетъ онъ, а у окна сижу, головы не поворочу, когда онъ въ комнату войдетъ. Вотъ какое я золото была! Что тутъ говорить? Чай мы пьемъ, онъ отъ меня на два аршина сидитъ; такъ я сама не спрошу у него, хочетъ ли онъ еще чаю. „Малашка, говорю (дѣвка его Малашка была), спроси у барина, хочетъ еще чаю“.. Какъ тебѣ и

разсказать все?.. Противный онъ мнѣ показывался такой, что я бы завязала глаза и бѣжала въ лѣсъ отъ него, и все мнѣ отъ него противно, вотъ я не глядѣла бы ни на что! Онъ, матушка, гдѣ тамъ копѣйку какую несчастную разторить, какъ муравей, гляди, тащить мнѣ не то, такъ другое, коли не подарочекъ какой, такъ лакомство. И что ты изволишь думать? Такъ оно изваляется все по комнатѣ у меня, пылью припадетъ, а я его пальцемъ не трону, пока сама Машка не догадается прибрать въ сундукъ. Приѣхала къ намъ матушка, поглядѣть-то, знаешь, на наше житье-бытье. Ну, и увидала... „Да что жъ ты это, Любовь, чудеса творишь?“ стала она говорить мнѣ, осматриваясь, чтобъ его не было. „У кого ты это научилась? мужъ къ тебѣ какъ мужъ, а ты ему, что называется, и черезъ губу не плюешь?“ Я поворотилась и будто про себя говорю: „Напрасно еще: навязали шатуна на шею, да и возись съ нимъ, какъ съ путнымъ чѣмъ.“—„Такъ ты еще вотъ что говоришь!“—Туда-сюда, поискала руками матушка и увидѣла на окнѣ аршинъ.—„Коли у тебя закону божьего, ни страху мужнина нѣтъ, такъ вотъ я тебя материнскою рукою поучу.“—И ко мнѣ матушка съ аршиномъ; а тутъ онъ, откуда ни возьмись, въ дверяхъ, увидѣлъ. „А нѣтъ! матушка! заслонилъ меня. Какъ вамъ угодно, говорить. Было ваше время, когда вы учили ее, а теперь ужъ Любаша моя.“ А я, что думаю? изъ рукъ у него рвусь. Лучше бы меня матушка аршиномъ прибила, чѣмъ онъ защищаетъ меня. Да, моя родная! хоть бы онъ побилъ меня, желала я. Не шутя говорю... То-есть хоть бы я дала себѣ волю и набранила его, сколько душа хотѣла, такъ нѣтъ! и въ томъ не доля моя. Молчить, на всѣ мои мудрости молчить, и еще какъ скажетъ мнѣ: „мое сокровище!“ Лучше бы онъ пожесть подъ сердце мнѣ далъ. Зарюсь я головой въ подушки и лежу по цѣлымъ часамъ, словно я не живая. Гашка безъ него придетъ усовѣщевать меня. Станетъ надо мною. „Матушка! барынька! Любушка! что ты это съ собою дѣлаешь? оглянись ты на Бога и на него, сердечнаго. Вѣдь краше въ гробъ кладутъ. Ты его совсѣмъ извела.“ И начнетъ меня упрашивать. Стыдно мнѣ ее, старуху, прогнать. Долго терплю я, да ужъ какъ станетъ она расписывать, что онъ и добрый, и хорошій, за такимъ бы мужемъ только жить, да Бога небеснаго благодарить, я, матушка, въ подушкахъ не улежу... „Возьми его, старая, себѣ, скажу, и повѣсь на шею: равно длиненъ.“ Съ тѣмъ Гашка вздыхаючи и поидетъ отъ меня... Наступила весна, и, Мати Божія! какъ-то она тяжела мнѣ была! По улицамъ знакомыя пѣсни поютъ, люди всѣ будто повесѣли, посмотришь, всякій словно радъ чему, народъ, какъ пчелы, высыпалъ, чудить по надворью, и вздумалъ, что у матушки садикъ цвѣтетъ, сестрицы, голубочки, воркуютъ подъ яблоней, вспоминаютъ меня... Наступаетъ Божій великій праздничекъ, радость небесная на

землѣ; думаю я, думаю себѣ, хотя не для своего веселія, такъ ради Свѣтлаго дня Христова, пусть и я буду на людей похожа. Занялась я всѣмъ, матушка, какъ слѣдуетъ, къ празднику. И пасочки хорошія испекла, куличъ попу посадила, лица покрасила, и такі милостыню не забыла нищимъ дать, и въ тюрьму послала; все какъ приучилась у матушки въ домѣ, что она бывало изъ послѣдняго бьетса, а чтобы ей достойно хлѣбомъ святымъ и милостынею Христовъ праздникъ принять. И онъ еще, дажь ему Богъ, говѣлъ на послѣдней недѣлѣ, почти безвыходно все въ церкви да въ церкви; такъ мнѣ ужъ весело было да хорошо такъ распорядятся всѣмъ. Наступилъ самый канунъ Свѣтлаго праздника; я и думки никакой не гадаю. Все какъ водится: зазвонили къ *Дняніямъ*; одѣлся онъ, пошелъ на *Днянія*, а я осталась въ домѣ къ празднику все прибрать. Салфетки чистыя на столики достала, пока столъ накрыла, усталила его, чѣмъ Богъ послалъ, пока постель нарядила, лампадки всюду засвѣтила, ладаномъ по дому покурила, пока то-другое, едва успѣла сама одѣться, гляжу, и онъ пришелъ за мною проводить меня въ церковь, что ужъ заутреня скоро начнется. Пошли мы, и еще на дорогѣ какъ это звучно да чудно огласилъ насъ великій благовѣстъ! Боже Ты мой Господи! Кажется, вѣдь, все равно ночь и благовѣстъ святой, развѣ его въ первый разъ отъ роду слышишь? А между тѣмъ будто именно въ первый и въ послѣдній разъ въ своей жизни слышишь его, какъ онъ, матушка, дрогнетъ у тебя въ ухахъ среди неусыпальной ночи Свѣтлаго дня Христова!... Вотъ-то и заутреня отошла. Всѣ люди радостно идутъ по домамъ, и мы пришли, то-есть я первая вошла въ комнату и стою, наклонилась надъ столомъ, красныя лица къ посвященію отбираю; смотрю, онъ вошелъ и прямо ко мнѣ: „Нынче, говорить, враги заклятые дѣлуются и обнимаются; а мы, мы все же, передъ Богомъ и передъ людьми, мужъ и жена“, говорить; а голосъ у него, какъ струна, дрожить... „Христось воскресе“! И онъ, матушка, обнялъ меня и поцѣловалъ три раза. Я того не помню, отвѣтила я ему „Воистину воскресе“, или не отвѣтила; только какъ я опомнилась, его уже не было въ комнатѣ, я одна стою, и всѣ мои красныя лица раскатились по столу. Вотъ тогда, матушка, со мною что-то стало такое, что и Господь Святой вѣдаетъ! Никакого я сужденія къ себѣ не приложу. Стою въ церкви, у такой великой обѣдни, и вдругъ позабуду, гдѣ я стою. Мурашки по мнѣ по всей пойдутъ и разомъ сердце замреть—замреть... Вотъ, думаю, Господи, на ногахъ не устою. Сказать бы: болѣзнъ какая? не болѣтъ ничего; а всю меня треть да жнеть, словно меня сглазилъ кто... Но въ такой великій праздникъ святаго Христова Воскресенія, никакой злой глазъ не беретъ: это извѣстно. Разговѣялся мы, не легчаетъ мнѣ; а тутъ еще я знаю, что, отдохнувши, надо собираться ѣхать къ матушкѣ. Она черезъ

людей приказывала, чтобы мы на праздник непременно къ ней были. Не хочется мнѣ подъ колокола ѣхать, да дѣлать нечего. Онъ еще со вчерашняго дня самъ все въ бричкѣ осматрѣлъ и уладилъ; сегодня только садись да поѣзжай. Вотъ, думаю себѣ, бѣда не приходитъ одна. Пусть я отдохнуть лягу; можетъ-статься, оно перейдетъ сномъ. И легла я, матушка: взяла подушку, положила на диванчики и голову платкомъ укрыла—нѣтъ, не спится мнѣ. Томитъ меня какая-то истома, словно я боюсь чего и не боюсь, словно меня за дверьми кто ждетъ, и кровь по мнѣ волною ходитъ. Встала я, щеки у меня горять; а я этого дива, матушка, какъ замужъ вышла, не видала, чтобы у меня пѣтъ на лицѣ былъ. Нечего дѣлать, стала я собираться къ поѣздѣ. Выдвинула сундучекъ, чтобы уложить кое-что, укладываю я—и уложеннаго ничего нѣту: такъ у меня, сами собою, колѣни подгибаются и руки опускаются. „Господи, говорю, хоть бы на вѣтеръ скорѣе. Авось бы меня вѣтромъ провѣяло“. И вѣтромъ не провѣваетъ, матушка. Поѣхали мы—все одно. Душно мнѣ въ бричкѣ сидѣть, и будто я сержусь, и сама не знаю, на кого сержусь. Стали мы подъѣзжать къ Купанкѣ, прилучился намъ на дорогѣ мосточекъ. „Дай, говорю, хоть выйду, пройду, перейду этотъ мосточекъ.“ Онъ велѣлъ остановить лошадей, и мы вышли. Только онъ, матушка, хотѣлъ меня взять подъ руку, чтобы перевести, значить, черезъ мостокъ (дурно было идти), а какъ отшатнулся отъ него, и прямо съ размаху упала подъ мостокъ, не удержалась на краю. Я перепугалась, а онъ бросился ко мнѣ, лица на немъ нѣтъ. „Боже мой! всплеснулъ руками, долго ли еще это будетъ?“ Я стала подниматься, матушка, и какъ-то мнѣ пришлось, что я прямо глянула глазами на него; а онъ бѣлый какъ полотно, стоитъ надо мною, и *мнѣ его, матушка, жалко стало...* Съли мы, опять поѣхали, а мнѣ все его жалко. Ушибиться я вовсе не ушиблась: упала мягко на прошлогоднюю траву и даже не замарала ничего... а какъ подумаю, а мнѣ жалко его. Дай, говорю себѣ, погляжу на него, Поглядѣла я, матушка, а онъ сидитъ какъ словно окаменѣлый: въ лицѣ ни кровиночки нѣтъ; протянулъ руки, сложилъ ихъ себѣ на колѣно и сидитъ, хоть бы онъ двинулся или помевельнулся; даже у него глаза будто остановились. Я хочу позвать и не знаю, какъ. Позабыла я, не знаю, какъ моего мужа зовутъ. Тронула его за рукавъ, онъ не слышитъ. Я и не знаю что дальше со мною стало. Только я, матушка, упала къ нему на руки, ухватилась за него, говорю: „Прости меня! я больше не буду“. Онъ даже задрожалъ весь. „Не будешь?“ Наклонился ко мнѣ и глядитъ на меня быстро глазами, что мнѣ даже страшно стало. „Посмотрю я, какъ ты не будешь? Поцѣлуемся“. И вотъ тебѣ, какъ Богъ святъ, родная моя, откажись я въ ту минуту поцѣловать его, онъ бы, кажется, тутъ же убилъ меня... Я закинула ему руки вкругомъ шеи,

крѣпко обняла его, и какъ своимъ поцѣлуемъ поцѣловала его, да и не оторвусь отъ него... Какъ зарыдаю я, какъ польются у меня слезы— и вотъ, матушка, когда пришелъ потокъ пмѣ! Я тебѣ и сказать не умѣю, какъ это я плакала. Ни прежде, ни послѣ я не видала и не слыхала, чтобы человѣкъ лился такъ слезами, какъ я лилась тогда. Никаноръ Семенычъ меня обнялъ, держитъ возлѣ себя. „Любаша! говоритъ, Богъ съ тобою! Христосъ съ тобою!“ креститъ меня, цѣлуетъ меня; а я одно, что льюся слезами, припала на грудь у него. Приѣхали мы; я встать не могла. Вынулъ онъ меня изъ брнчки, несетъ на рукахъ... Сестрицы выбѣжали на встрѣчу, матушка за ними идетъ; а я еще пуще плачу, льюсь слезами. Внесъ онъ меня въ комнаты; положилъ на постель, и самъ сталъ около меня; а я, какъ дитя, что ни больше ухвачусь за него, то больше зарыдаю. „Никаноръ Семеничъ! да что ты это сдѣлалъ съ моею дочерью?“ говоритъ матушка; а сестрицы кругомъ меня какъ ласточки вьются. Положилъ онъ меня на матушкину кровать, такъ нѣтъ моихъ силъ, не оторвусь я отъ него! Что будто утишусь немного, подниму голову, да только гляну на него, такъ меня опять слезы залиютъ! Опять я, какъ сумасшедшая, прильну до него... И не скажу я тебѣ, и ты меня не спрашивай, заключила Любовь Архиповна, обѣими руками махая на меня,—какъ это я насплу унялась отъ великаго плача моего.. За то, матушка, проснувшись на другой день, я съ тѣхъ моихъ слезъ словно вновь на свѣтъ родилась. Такъ мнѣ на сердцѣ легко да хорошо, и будто солнце на меня радостно свѣтитъ, а Никаноръ Семенычъ мой краше мнѣ яснаго солнышка. И мы, родная моя, послѣ того девять лѣтъ прожили вмѣстѣ, мы другъ другу косаго взгляда не показали. Онъ поѣдетъ куда, я его жду не дождусь, всѣ глаза просмоторю; а какъ меня нѣтъ, Никаноръ Семенычъ, бывало, къ землѣ припадаетъ, прислушивается, скоро ли я буду.“

Сколько представлялось автору удобныхъ случаевъ къ внѣшнимъ эффектамъ, къ разсужденіямъ о разныхъ общественныхъ вопросахъ. Мать отдаетъ насильно дочь за ненавистнаго ей человѣка изъ того только, что у него есть состояніе! Какими громовыми протестами противъ нарушенія человѣческихъ правъ разразился бы тутъ иной писатель!.. Мать бьетъ свою дочь! Опять какой великолѣпный поводъ для протеста. Какъ бы встали была тутъ выходка противъ грубости семейныхъ началъ въ людяхъ, не укрощенныхъ цивилизаціей! На какой бы пьедесталъ можно было поставить Любушку, какъ благородную жертву низкихъ расчетовъ. Какъ бы удобно можно было казнить и мать,

продавшую дочь, и человека, женившегося на женщине, его не любящей! Но ничѣмъ этимъ ни воспользовался авторъ. Нигдѣ онъ не высказываетъ ни своихъ собственныхъ, ни общепринятыхъ взглядовъ на событія, которыя описываетъ, и оттого столько силы въ его описаніяхъ.

Если есть что -нибудь субъективное въ этой повѣсти, такъ это развѣ просвѣчивающее во всемъ разсказѣ, безъ воли автора, его мудрое, кроткое и любовное воззрѣніе на жизнь.

Огромное достоинство произведенія г-жи Кохановской заключается тоже въ рѣдкомъ знаніи характера русскаго человека и русской жизни. Всѣ драматическіе мотивы ея повѣсти взяты прямо изъ русской жизни: нѣтъ ничего навѣяннаго чтеніемъ иностранныхъ романовъ. Недостатокъ произведенія состоитъ въ неудачномъ выборѣ рамки для повѣствованія. Такой разсказъ, какъ разсказъ Любви Архиповны, не совсѣмъ у мѣста въ домѣ предводителя, и причины, вызвавшія его, совершенно не натуральны. Но это показываетъ только, что авторъ не привыкъ къ нѣкоторымъ рутиннымъ приемамъ въ дѣлѣ сочинительства. Видно, что у автора сильный природный талантъ, когда и литературная неопытность не помѣшала ему такъ блистательно высказаться.

Сколь ни покажется странно нашимъ читателямъ, но къ произведеніямъ изящной словесности 1858 года мы должны отнести книгу отца Пареевнѣ о расколѣ. Хотя книга эта на половину написана довольно неловко, исполнена неровностей въ слогѣ и частыхъ повтореній однихъ и тѣхъ же фразъ, но есть въ ней нѣсколько главъ (какъ, на примѣръ, разсказъ о Некрасовцахъ), составляющихъ нѣчто цѣльное и написанныхъ такъ увлекательно, простоудушно и одушевленно, что авторъ ихъ можетъ стать въ ряду замѣчательныхъ разсказчиковъ нашего времени.

Отъ произведеній по части изящной словесности перейдемъ къ критикѣ.

Критика наша въ настоящее время, какъ мы уже упомянули, совсѣмъ не занимается чисто литературными вопросами и судить объ изящныхъ произведеніяхъ съ точки зрѣнія совершенно

нелитературной. Она цѣнить писателей не по степени ихъ таланта, а по степени утилитарности ихъ направленій. Потому какъ бы ни былъ даровитъ писатель, какъ бы художественно ни создавалъ онъ характеры, но если онъ не кричитъ на каждой страницѣ о прогрессѣ, о пользѣ добродѣтели, о вредѣ порока и о другихъ подобныхъ новооткрытыхъ истинахъ, — его произведенія не удостоиваются одобренія современной критики. Съ другой стороны, самому бездарному писателю стоитъ только объявить посредствомъ какой-нибудь драмы или повѣсти, что просвѣщеніе и безкорыстіе полезны, а безграмотность и воровство вредны, и онъ сейчасъ же провозглашается великимъ литературнымъ дѣятелемъ, просвѣтителемъ общества. На основаніи этого критеріума, современная критика объявила, что Пушкинъ имѣлъ только внѣшнія дарованія и не принесъ обществу никакой пользы; что Гоголь былъ такой невѣжда, что не понималъ даже значенія слова «принципъ» и не зналъ отличія судебной власти отъ полицейской; что Горацій былъ не великій поэтъ, а великій негодяй и бездушный риторъ, писавшій стихи только для того, чтобъ поддѣлаться къ Меценату. Съ своей точки зрѣнія критика права. Пушкинъ дѣйствительно не принесъ обществу никакой пользы, потому что не основывалъ на свой счетъ ни больницы, ни богадѣленъ, и не уличилъ никого во взяткахъ; Гоголь, дѣйствительно, не показалъ никакихъ познаній въ наукѣ права, потому что не заставилъ лицъ «Ревизора» разсуждать объ энциклопедіи законовѣдѣнія и не употреблялъ слово «принципъ», потому что не любилъ испещрять свои сочиненія иностранными словами. Горацій... но довольно! Простимъ нашей критикѣ ея заносчивость, ея странныя выходки и поверхностные взгляды. Ея ошибки происходятъ не изъ дурнаго источника: онѣ — слѣдствіе слишкомъ сильнаго, юношескаго увлеченія современными вопросами.

„Простимъ горячкѣ юныхъ лѣтъ
И юный жаръ, и юный бредъ!“

Какъ ни досадно слушать выходки современной критики противъ Пушкина и Гоголя, однако утѣшаешь себя мыслию, что эти

выходки не имѣютъ ничего общаго съ нападками прежней русской критики на «Евгенія Овѣгина» и «Мертвыя Души», нападками, имѣвшими источникомъ промышленные и имѣ подобные расчеты.

Нельзя не похвалить тѣхъ журналовъ съ утилитарнымъ направлениемъ, которые совсѣмъ не помѣщаютъ критическихъ статей о произведеніяхъ изящной словесности: лучше совсѣмъ не судить о литературѣ, чѣмъ судить о ней вкривь и вкось.

Но—повторяемъ и повторяемся—нѣтъ правила безъ исключенія. Все, что мы сказали выше о направленіи современной критики, никакъ не можетъ быть отнесено къ критическимъ статьямъ «Библіотеки для Чтенія». Это единственный русскій журналъ, въ настоящее время интересующійся эстетическими вопросами. Произведенія изящной словесности оцѣниваются въ немъ съ чисто-художественной точки зрѣнія, притомъ спокойно и разсудительно. Особенно похвальная черта «Библіотеки для Чтенія»—ея уваженіе къ литературнымъ заслугамъ и трудамъ. Не говоря уже о томъ, что она постоянно противодействуетъ нападкамъ на Пушкина и Гоголя, она старается воздать должное всякому литературному труду и указать на его достоинства. Она сказала нѣсколько утѣшительныхъ словъ г. Бенедиктову, котораго, въ продолженіе почти четверти столѣтія, неутомимо преслѣдовала русская критика, и показала хорошую сторону въ дѣятельности покойнаго Сенковского, у котораго иные отнимали всякое значеніе въ литературѣ.

Къ критическимъ статьямъ, не проникнутымъ моднымъ направлениемъ, должно также отнести превосходную статью «О порабощеніи искусства», напечатанную въ «Отечественныхъ Запискахъ» и принадлежащую г. Ахшарумову, автору нѣсколькихъ прекрасныхъ стихотвореній.

Нельзя также не упомянуть о полезныхъ статьяхъ г. Лонгинова о русскихъ литераторахъ. Онѣ хотя и относятся больше къ статьямъ библіографическимъ, чѣмъ критическимъ, но должны способствовать къ развитію нашей критики на прочныхъ историческихъ данныхъ.

Современное направлѣніе науки русской исторіи есть направлѣніе обличительное, то-есть то же самое, которое господствуетъ въ «Губернскихъ Очеркахъ» Щедрина и въ произведеніяхъ его подражателей. Но между современными нашими историками-сатириками и сатириками-беллетристами есть большая разница. Вопервыхъ, представитель обличительнаго направлѣнія въ изящной словесности Щеринъ — имѣетъ неоспоримый талантъ, а таланты представителей исторической школы остаются только въ сильномъ подозрѣніи. Вовторыхъ, разница состоитъ въ предметѣ обличенія. Наши домашніе Тациты устремляютъ свои сарказмы на древнюю Русь и казнятъ ея обычаи, нравы и понятія; Щеринъ обличаетъ совсѣмъ другое и относится съ благороднымъ сочувствіемъ къ остаткамъ древней Руси—простому народу. Втретьихъ, Щеринъ и вся его школа приносятъ пользу, потому что указываютъ на недостатки современнаго живаго общества, и такимъ образомъ способствуютъ его исправленію; помянутые Тациты пользы никакой не приносятъ и дѣйствуютъ только для собственнаго удовольствія, потому что древняя Русь отжила и исправить ее трудно.

Изъ этой маленькой интродукціи читатель вѣроятно увидитъ, что мы не только не сочувствуемъ современной исторической школѣ, но даже относимся къ ней враждебно. Мы относимся съ терпимостью ко всѣмъ недостаткамъ современнаго направлѣнія русской литературы, потому что уважаемъ ихъ источники. Но никакъ не намѣрены мы мирволить писателямъ, презирающимъ обычаи своихъ предковъ, искажающимъ смыслъ древней русской исторіи, издѣвающимся надъ нашей народной поэзіей и смотрящимъ съ презрѣніемъ на остатки древней Руси, то-есть на нашего простолюдина и его одежду. Мы говоримъ прямо всѣмъ этимъ джентльменамъ: «иду на вы».

Главное положеніе нашихъ историковъ натуральной школы состоитъ въ томъ, что въ древней, до - петровской Россіи не было ни добродѣтели, ни благородныхъ помысловъ, ни логики, и что все это у насъ завелъ только Петръ Первый. По ихъ мнѣнію, у насъ на Руси, безъ регулярнаго, хорошо-устроеннаго

войска и флота, безъ побѣдъ надъ Шведами, учрежденія правительствующаго сената и открытія ассамблей, женщина не могла быть добродѣтельна, а мужчины не могли писать хорошія книги.

Петръ Великій такъ высоко стоитъ въ мнѣніи, какъ своего народа, такъ и всѣхъ остальныхъ европейскихъ націй, что, кажется, не нуждается въ панегирикахъ современныхъ историковъ. Но странно почитать его за бога и приписывать ему то, что одинъ человѣкъ не въ силахъ сдѣлать.

Вторая причина неспособности древней Руси ни къ чему хорошему, по мнѣнію этихъ господъ, заключалась въ неразвитости централизаціи.

Допуская необходимость централизаціи, которая дала такую силу нашему отечеству, мы все-таки не видимъ въ ней единственнаго двигателя въ исторіи развитія русскаго народа.

Конечно, она сплотила народъ въ одинъ несокрушимый колюсъ, но въ этомъ дѣлѣ и самъ народъ принималъ участіе, не оставался пассивнымъ. Притомъ же вліяніе централизаціи болѣе внѣшнее; она помогаетъ развитію народа, но никакъ не составляетъ цѣль этого развитія. Чтобъ централизовать, надо имѣть что централизовать, а это-то *что* и ставятъ ни во что наши историки. Могла ли централизація создать умъ русскаго человѣка, вложить ему въ душу благородныя чувства, а въ уста поэтическое слово; она ли дала ему высокій ростъ, широкія плечи, голубые глаза и русые волосы? Сомнительно! Что вызвало мясника, бородача Минина на его святое дѣло? Одно ли чувство потребности централизаціи? Конечно, онъ выразилъ собой тяготѣніе къ центру — Москвѣ, но высокій его патріотизмъ имѣлъ и другіе источники.

Приписывать все хорошее, у насъ существующее, только централизаціи и администраціи — значитъ считать русскій народъ за стадо барановъ. Это ужъ выходитъ *laesio majestatis populi*.

Въ наше время знаменитые люди, какъ, напримѣръ, Монтаньберъ и Токвиль, говорятъ о вредѣ излишней централизаціи. Самъ Людовикъ Наполеонъ, этотъ идолъ всѣхъ приверженцевъ

ультра-централизации, счелъ нужнымъ въ своей тронной рѣчи сказать для приличія кое-что противъ нея. А наши историки слушаютъ да... пишутъ.

Третья причина всѣхъ золъ, какъ въ самомъ дѣлѣ существовавшихъ въ древней Руси, такъ и сочиненныхъ въ воображеніи ея порицателей, заключается въ родовомъ бытѣ, который будто убивалъ въ ней всѣ хорошія наклонности и всякій здравый смыслъ.

Колумбамъ родового начала въ русской исторіи уже доказано, какъ дважды два четыре, что они подъ словомъ «родовой бытъ» разумѣютъ совсѣмъ не то, что разумѣть должно: — они съ несокрушимой твердостью продолжаютъ отстаивать существованіе своего призрака. Но положимъ, что родовый бытъ дѣйствительно существовалъ въ древней Россіи и притомъ существовалъ въ такомъ совершенно видѣ, въ какомъ обыкновенно описывается. Нельзя же приписывать его вліянію всѣ недостатки древней Россіи, точно также какъ нельзя приписывать всѣ хорошія стороны новой Россіи успѣхамъ централизации.

Отчего же такъ понравился этотъ родовый бытъ? Отъ непомирнаго желанія написать русскую исторію съ общимъ взглядомъ — съ идеей. Писать, какъ написалъ Карамзинъ «Исторію Государства Россійскаго,» какъ написалъ Пушкинъ «Исторію Пугачевского бунта,» т.-е. просто, не мудрствуя лукаво, для иныхъ слишкомъ мало, слишкомъ легко, недостойно геніальнаго историческаго таланта. Нашихъ историковъ соблазнили европейскіе историки, блистательно проводившіе свои идеи черезъ цѣлыя исторіи народовъ. Соблазнясь примѣрами авторовъ «Исторіи цивилизаціи» и «Исторіи покоренія Англіи Норманами,» они рѣшились найти какую-нибудь идею и для русской исторіи. Встрѣтивъ нѣсколько разъ въ лѣтописи слово «родъ», они обрадовались, какъ Колумбъ твердой землѣ,—и взглядъ на русскую исторію былъ созданъ. Но развѣ такъ составилъ Гизо свой взглядъ на исторію Франціи? Развѣ такого рода бесплодную идею положилъ онъ въ основаніе своего курса? Нѣтъ. Онъ открылъ ее не въ словахъ хроники, писанной тысячу лѣтъ на-

ской исторіи, которое бы они не старались объяснить родовымъ бытомъ.

Такъ, напримѣръ, одинъ современный писатель, проникнутый системой родоваго начала, въ письмѣ своемъ къ другу рассказываетъ такимъ образомъ одно происшествіе изъ царствованія Петра Великаго:

„Петръ велѣлъ записывать дворянскихъ дѣтей въ Москвѣ и опредѣлять на Сухареву башню для изученія мореплаванія. Родители, вопреки указу, отдали дѣтей въ Заиконоспасское училище: тогда разсерженный царь велѣлъ взять молодыкъ дворянъ изъ Заиконоспасскаго монастыря въ Петербургъ, и тамъ заставилъ ихъ бить сван на Мойкѣ, гдѣ строились пеньковые амбары. Адмиралъ графъ Апраксинъ, одинъ изъ сильныхъ приверженцевъ старины, узнавъ, что царь ѣдетъ осматривать амбары, поспѣшилъ туда, снялъ съ себя Андреевскую ленту, мундиръ, повѣсилъ ихъ на шею, и началъ самъ вбивать сван. Царь пріѣхалъ и съ удивленіемъ спросилъ его: „Отедоръ Матвѣичъ! ты адмиралъ и кавалеръ: какъ же ты вбиваешь сван?“—„Государь! отвѣчалъ Апраксинъ: здѣсь бьютъ сван мои племянники и внучата: а я что за человѣкъ? *Какое имѣю въ родѣ преимущество?*“

Смыслъ отвѣта Апраксина очень простъ, и, кажется, не требуетъ никакихъ объясненій. Вѣроятно всякій, у кого бы спросили, что значать эти слова, перевелъ бы ихъ такъ: Государь, здѣсь работаютъ такіе же дворяне, какъ и я; чѣмъ же я лучше ихъ?

Но такое простое, естественное объясненіе не удовлетворяетъ нашего историка, какъ песподручное его системѣ и онъ прибѣгаетъ къ слѣдующему:

„Не сказалъ онъ: „здѣсь бьютъ сван дворяне, люди одинаковаго со мною сословія и происхожденія, и это занятіе ихъ унижаетъ все наше сословіе“. Нѣтъ, онъ говоритъ: „здѣсь бьютъ сван мои племянники и внучата, а я какое имѣю въ родѣ преимущество?“ Каждому было дѣло только до своего рода: до понятія о высшемъ частномъ союзѣ, союзѣ сословномъ, еще не достигли.“

Quousque tandem?! Ужъ въ старину у насъ и дворянства не было!

О ужасъ, ужасъ, ужасъ!

Не вслѣдствіе одной приверженности своей къ системѣ родового быта, авторъ даетъ такое объясненіе словамъ Апраксина. Есть и другая причина.

Въ послѣднее время въ сочиненіяхъ европейскихъ историковъ и публицистовъ стало высказываться сильное уваженіе къ англійской аристократіи, стало указываться на пользу, которую могутъ иногда принести государству правильно развитыя аристократическія начала. У нашихъ порицателей древней Россіи сейчасъ родилась слѣдующая печальная мысль: въ Россіи существуетъ аристократія и существуетъ не со вчерашняго дня, но издревле, а это начало признается теперь хорошимъ. Ужели же нашъ народъ могъ самъ выработать что-нибудь хорошее?— И вотъ они, желая себя утѣшить, пускаются доказывать, что аристократія, существовавшая до Петра, была не аристократія, а родовой бытъ, и что дворянское сословіе и его корпораціонный духъ заведены у насъ только Петромъ.

Но самой роскошной пищей «сатирическому уму» нашихъ историковъ-обличителей служить то обстоятельство, что въ древнюю Русь не проникала западная образованность.

Никто и никогда у насъ ничего не говорилъ противъ западной образованности. Всякій знаетъ, что образованность въ истинномъ значеніи слова, какая бы она ни была: западная, восточная, южная, всегда дѣло хорошее. Но можно ли предполагать вмѣстѣ съ нѣкоторыми господами, что древняя Русь, вслѣдствіе отсутствія западной науки и цивилизаціи, была погружена въ совершенное невѣжество, лишена всякаго правильного умственного движенія и выражала въ своихъ нравахъ и понятіяхъ только грубость, дикость и безнравственность. Можно ли раздѣлять мнѣніе г. Буслаева, что грамотный человѣкъ временъ до-Петровской Руси считался нашими предками за человѣка пропадшаго и въ самомъ дѣлѣ былъ таковымъ?.. Какъ самый яркій образчикъ безнравственности и невѣжества до-Петровскаго общества историки указываютъ на древнюю русскую женщину. О порочности нашихъ почтенныхъ прабабушекъ они заключаютъ по нѣкоторымъ стариннымъ стихамъ, въ которыхъ

говорится о коварствѣ и другихъ недостаткахъ, свойственныхъ женщинѣ вообще.

Положеніе древней русской женщины въ семейномъ и общественномъ быту возбуждаетъ въ одно и то же время состраданіе и негодованіе въ сердцахъ нашихъ новѣйшихъ бытописателей старины. Русская женщина до-Петровскихъ временъ представляется имъ не иначе какъ невѣрной и раболовной одалиской своего мужа. Въ статьяхъ своихъ они приняли двойную роль—адвокатовъ и обвинителей древнихъ русскихъ дамъ: съ одной стороны они дамскіе угодники и соболизнуютъ о томъ, что у насъ въ старину прекрасный полъ не былъ эманципированъ, что въ немъ были задавлены *эстетическія стремленія къ мужчинамъ*; съ другой стороны они за это ихъ и обвиняютъ.

На поприщѣ обличенія древней русской женщины и соболизнованія о ея невольническомъ положеніи, эти господа особенно преуспѣваютъ, и въ этомъ отношеніи справедливо могутъ похвастаться россійскими Жоржъ-Сандами, подобно тому какъ Сумароковъ почитался россійскимъ господиномъ де-Вольтеромъ. Вотъ, наприимѣръ, что говорятъ:

„Какъ ни странна можетъ показаться нѣкоторымъ читателямъ даже самая мысль о возможности идеальнаго, художественнаго представленія женщины въ древне-русской литературѣ, которая вообще не отличалась художественнымъ творчествомъ, и того менѣе была способна, по грубости нашихъ старинныхъ нравовъ, видѣть въ женщинѣ что-нибудь идеальное...“

Какое ужасное положеніе женщины! Въ другомъ мѣстѣ той же статьи:

„Русская женщина имѣетъ полное право жаловаться на постыдное невниманіе къ ней старинныхъ граматниковъ, и особенно женщина изъ простаго крестьянскаго быта.“

Повторяемъ, главная черта современнаго направленія науки русской исторіи заключается во враждѣ къ древней Россіи и ко всему, что выработалъ русскій народъ. Откапывать все дурное до-Петровской Руси и чернить все хорошее, доставляетъ имъ великое наслажденіе и составляетъ всю ихъ дѣятельность. Съ какой враждой они относятся ко всему, гдѣ выражается

любовь къ жизни нашихъ предковъ! Стоить только указать на одну какую-нибудь хорошую черту древней Руси—сейчасъ поднимается гвалтъ, кричать: какое неуваженіе къ западной наукѣ, какой обскурантизмъ; какое пристрастіе къ своему, какое неуваженіе къ прогрессу и пр. и пр. Странное дѣло! Во всѣхъ образованныхъ странахъ дорожатъ и гордятся каждой хорошей чертой своего народа, а у насъ сочувствуютъ только тому, что сдѣлано для русскаго народа Петромъ и централизаціею, а коренныя наши, самородныя начала вызываютъ одно презрѣніе и насмѣшки. Какъ согласить неуваженіе и презрѣніе нѣкоторыхъ нашихъ писателей къ древней Руси и неразлучное съ нимъ презрѣніе и неуваженіе къ ея живымъ остаткамъ, то-есть народу, съ сочувствіемъ къ уничтоженію крѣпостнаго права? Они бы должны не радоваться, а соболѣзновать, что русскій чело-вѣкъ, лишенный западнаго образованія, и слѣдовательно (какъ они думаютъ) ни къ чему не способный, лишается опеки людей цивилизованныхъ, людей новой Петровской Руси, то-есть помѣщиковъ. Помилуйте! Русскій чело-вѣкъ, грубый, тупой, безнравственный, ни къ чему не способный, какъ вы его изображаете, долженъ погибнуть вслѣдствіе такого освобожденія!

Отчего же происходитъ эта нелюбовь къ собственной народности? Главнѣйшимъ образомъ, какъ всѣмъ извѣстно, отъ разединенія интересовъ нашихъ образованныхъ или, лучше сказать, полуобразованныхъ классовъ съ интересами народа. Другая причина—отсутствіе въ нашихъ историкахъ эстетическаго чувства. Они рѣшительно не чувствуютъ красоты характеровъ, подвиговъ и событій древней Руси; имъ, конечно, недоступны внутреннія красоты и западной исторіи, но они стоятъ за нее, во-первыхъ, потому, что за нее стоятъ великіе литературные авторитеты, во-вторыхъ, потому, что западный чело-вѣкъ всегда и вездѣ являлся покрытый наружнымъ блескомъ и лоскомъ, которые такъ привлекательны для вѣшнихъ чувствъ, что часто закрываютъ передъ нами внутренніе недостатки предмета, — блескомъ и лоскомъ, которыхъ лишена и древняя Русь, и простой нашъ народъ. Оттого, восхищаясь какимъ-нибудь собы-

тіемъ изъ средневѣковой жизни западной Европы, наши историки смотрятъ съ презрѣніемъ на точно такое же событіе въ древней исторіи Руси. Дурной поступокъ какого-нибудь рыцаря нравится имъ гораздо больше, чѣмъ великодушный подвигъ нашего богатыря, ибо рыцарь представляется воображенію при блестящей обстановкѣ — въ красивыхъ латахъ, съ перьями на шлемѣ, съ гербомъ на щитѣ, съ золотой цѣпью на шеѣ и шпорами на сапогахъ, а бѣдный нашъ богатырь — въ сермягѣ, да пожалуй, еще въ лаптяхъ.

Еслибъ у нашихъ историковъ было эстетическое чувство, они не могли бы предполагать, что въ русскомъ народѣ не было силы къ самосовершенствованію и что все хорошее, нынѣ у насъ существующее, пришло къ намъ извнѣ. Еслибъ было у нихъ эстетическое чувство и они понимали всю красоту и глубину нашей народной поэзіи, они бы разсудили, что народъ, создавшій такіе звуки и образы, какіе созданы русскою поэзіею, русскимъ искусствомъ, не могъ быть грубымъ, безнравственнымъ народомъ, и что древнюю Русь одушевляли великія идеи, высокія чувства. Но у нихъ нѣтъ этого чувства, и потому, какъ прилежно ни роются они въ памятникахъ нашей древней поэзіи, какъ пристально ни всматриваются въ нихъ, какъ внимательно ни прислушиваются къ звукамъ родной пѣсни, — все-таки ничего не видятъ и не слышатъ...

Вслѣдствіе всего этого наука русской исторіи и исторіи русской словесности находится въ самомъ печальномъ состояніи. Иначе и быть не можетъ. Безъ любви и сочувствія ничего хорошаго не сдѣлаешь. Можно ли писать съ увлеченіемъ древнюю русскую исторію, создавать художественно характеры древнихъ лицъ, питая постоянное отвращеніе къ предмету описанія. Разумѣется, нельзя, — и оттого наши историки, чувствуя скуку при созерцаніи фактовъ родной исторіи и не умѣя оживить ихъ художественнымъ воспроизведеніемъ, прибѣгаютъ, какъ для собственнаго развлеченія, такъ и для развлеченія читателей, къ разнымъ идеямъ — родовому быту, женственности Ивана Грознаго, или къ приложенію модныхъ общественныхъ понятій

къ событіямъ и характерамъ русской исторіи... Иногда имъ до того дѣлается скучно описывать самими событія, что они просто цѣлыми страницами переписываютъ источники безо всякихъ разсужденій.

Но, къ счастью, существуетъ противодѣйствіе анти-историческому направленію историковъ. Органъ этого противодѣйствія «Русская Бесѣда». Статья г. Г—ва «О механическихъ способахъ въ изслѣдованіи исторіи», статьи гг. Хомякова, Аксакова и Самарина служатъ прекраснымъ доказательствомъ, что есть у насъ умы, которые имѣютъ свѣтлый, отрадный взглядъ на нашу исторію и нашу народность. Интересно сравнить статьи историковъ-обличителей со статьями людей, сочувствующихъ нашей старинѣ: у первыхъ всѣ мысли заимствованныя, всѣ приемы рутинные; у вторыхъ все свое, все живо, все оригинально. Изъ этого сравненія ясно увидишь, что, хотя защитники русской старины представляютъ меньшинство въ родной литературѣ, но моральная сила на ихъ сторонѣ.

И въ другихъ журналахъ появились статьи противъ обличительнаго направленія въ наукѣ русской исторіи. Такъ, напримѣръ, «Русскій Вѣстникъ» сказалъ нѣсколько горячихъ словъ противъ неуважительныхъ отзывовъ о нашей старинѣ и народной повѣи. «Библіотека для Чтенія», разбирая книгу г. Милюкова, тоже вступилась за народную русскую повѣи.

Но довольно о наукѣ русской исторіи: неприятно и тяжело долго говорить о ея теперешнемъ направленіи. Скорѣе къ исторіи Запада, читатели! Къ трудамъ нашихъ молодыхъ ученыхъ, посвятившихъ себя изученію всеобщей исторіи. Труды эти освѣжаютъ и разсѣяютъ наши грустные мысли; въ нихъ нѣтъ претензіи на собственные глубокомысленные взгляды на судьбы цѣлыхъ народовъ и самодѣльные теоріи; эти дѣятели открыто слѣдуютъ взглядамъ и мнѣніямъ великихъ учителей Запада, за то не впадаютъ въ грубые ошибки.

По древней исторіи, помнится, вышло только одно замѣчательное сочиненіе — диссертация г. Зедергольма о Катонѣ Старшемъ. Сочиненіе г. Зедергольма, написанное прекраснымъ

языкомъ, отличающееся живостью и популярностію изложенія, несмотря на отсутствіе всякой претензіи на новые взгляды на исторію Рима, заключаетъ много новыхъ и дѣльныхъ мыслей. Событія изложены въ немъ чрезвычайно изобразительно; нѣкоторые характеры, какъ, напримѣръ, Сципіонъ Африканскій, очерчены полно, художественно. Но лицо самого Катона вышло не совсѣмъ цѣльно: многія черты его, какъ хорошія, такъ и дурныя, схвачены вѣрно, только не сгруппированы вокругъ одной идеи. Авторъ то хвалитъ Катона за хорошіе поступки, то порицаетъ за дурныя, а строго-опредѣленнаго мнѣнія о немъ не высказываетъ. Впрочемъ, сильно проглядываетъ нерасположеніе къ великому мужу древности, и замѣтно, что г. Зедегольму пріятнѣе уловлять Катона въ дурныхъ дѣлахъ, чѣмъ указывать на его подвиги...

Должно, однакожъ, замѣтить, что вообще, съ легкой руки Нибура, историки стали черезчуръ недовѣрчивы къ великимъ людямъ древности, любятъ низводить ихъ съ пьедесталовъ и представлять обыкновенными людьми. Встарину, до Нибура, въ Европѣ существовала историческая школа, которая была черезчуръ довѣрчива къ источникамъ: слишкомъ высоко ставила великихъ мужей древности и видѣла въ нихъ существа, одаренныя свыше-человѣческими силами. Нибуръ свелъ ихъ на землю. Въ наше время стало проглядывать иное направленіе; во многихъ историческихъ сочиненіяхъ видно желаніе свести великихъ людей даже съ ихъ земнаго, законнаго пьедестала. Крайность и вредъ стариннаго направленія очевидны. Поколѣнія, въ немъ воспитанныя, необходимо должны были возымѣть слишкомъ высокое мнѣніе о силахъ человѣка. Это мнѣніе и принесло плоды во Франціи, въ ту эпоху, когда она вздумала преобразовывать себя по примѣру Греціи и Рима. Тамъ явились патріоты, сильно понадѣявшіеся на свои силы, и хотѣвшіе, подобно Ромулу, создать въ своемъ отечествѣ все то, что въ самомъ дѣлѣ создалъ не Ромулъ, что создается не однимъ человекомъ, а цѣлымъ народомъ, въ продолженіе тысячелѣтій.

Не менѣе вреденъ въ нравственномъ отношеніи и скептиче-

скій взглядъ на исторію. Объясняя поступки великихъ людей мелкими побужденіями, умаляя ихъ доблести и геройскіе подвиги, онъ разрушаетъ всякую вѣру въ высокое на землѣ.

Обыкновенно для того, чтобъ развѣнчать великаго человѣка, стараются доказать, что онъ принесъ мало пользы отечеству и человѣчеству. Но если и въ самомъ дѣлѣ окажется, что человѣкъ, за которымъ титулъ великаго укрѣпленъ тысячелѣтіями, не сдѣлалъ никакихъ полезныхъ учрежденій, все-таки, будьте увѣрены, титулъ достался ему недаромъ, потому что народъ не ошибается въ своихъ приговорахъ и умѣетъ давать эпитеты. Есть люди, которые какъ-будто и ничего не сдѣлали для общей пользы, а между тѣмъ чувствуется какое-то бессознательное благоговѣніе къ ихъ личности, и не поворотится языкъ сказать, что они не великіе люди. Кто-то очень хорошо раздѣлялъ людей на хорошихъ, дурныхъ и великихъ. Къ хорошимъ людямъ мы чувствуемъ уваженіе, получаемъ при взглядѣ на ихъ дѣло нравственное наслажденіе, а при взглядѣ на личность великаго человѣка, часто получаемъ одно наслажденіе эстетическое. Составляя это наслажденіе, великіе люди тѣмъ самымъ приносятъ пользу человѣчеству, возвышая духъ нашъ своими великими образами.

Прошлый годъ былъ чрезвычайно богатъ статьями по части современной исторіи. Къ нимъ слѣдуетъ отнести и превосходныя политическія обзорѣнія «Русскаго Вѣстника». Онѣ составляютъ наиболѣе читаемый отдѣлъ этого журнала, и во многихъ отношеніяхъ не уступаютъ *premier - Paris* лучшимъ французскихъ газетъ. Вообще въ «Русскомъ Вѣстникѣ» было помѣщено много прекрасныхъ статей о современной исторіи, принадлежащихъ по большей части гг. Вышинскому, Оеоктистову, Ржевскому и Капустину. Духъ этихъ статей достоинъ всеобщаго уваженія и сочувствія, потому что начала, которыми помянутые авторы руководятся при обсужденіи политическихъ вопросовъ, принадлежатъ блистательнѣйшимъ умамъ нашего времени, благороднымъ поборникамъ истиннаго порядка, разумной свободы и законности. Замѣчательнѣйшими въ этомъ родѣ были статьи г.

Вязинскаго «Защитники парламентаризма во Франціи». Авторъ, по щеголеватости изложенія, осторожности въ приговорахъ и чистотѣ языка, напоминаетъ своего учителя — покойнаго Кудравцева.

Слѣдуетъ также упомянуть о двухъ интересныхъ статьяхъ о «Кавеньякѣ» и «Борьбѣ партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X» г. Чернышевскаго, напечатанныхъ въ «Современникѣ». Последняя представляетъ взглядъ на исторію Реставраціи. Факты, подобранные авторомъ, вѣрны и весьма искусно сгруппированы вокругъ основной мысли, но съ заключеніями, которыя изъ нихъ выходятъ, не всегда можно согласиться. Такъ, напримѣръ, г. Чернышевскій слишкомъ строгъ въ приговорахъ своихъ надъ партіей такъ-называемыхъ доктринёровъ, объясняетъ большую часть ихъ поступковъ дурными побужденіями, а нерѣшительность ихъ предводителей во время іюльскихъ дней относитъ прямо къ трусости. Конечно, такія объясненія встрѣчаются у нѣкоторыхъ весьма талантливыхъ историковъ прошедшаго десятилѣтія, и кто не вѣрилъ имъ, пока они были новы? Но съ тѣхъ поръ много воды утекло, и наступило время воздать должное и вождямъ буржуазіи. Къ тому же упомянутые историки хотя и были честные люди, писавшіе и дѣйствовавшіе по убѣжденію, однако, какъ заклятые враги началъ, которымъ служили доктринёры, дѣйствія сихъ послѣднихъ видѣли въ черномъ свѣтѣ.

Къ статьямъ по современной исторіи должно отнести и «Парижскія письма» г-жи Евгеніи Туръ, напечатанныя въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Съ нѣкотораго времени г-жа Туръ мало печатаетъ повѣстей и романовъ, а обратилась къ новому для нея роду литературной дѣятельности: къ журнальнымъ рецензіямъ и статьямъ легкаго историческаго содержанія. Намъ кажется, что дарованіе г-жи Туръ не только ничего не теряетъ отъ перемѣны поприща дѣйствія, но даже во многихъ отношеніяхъ положительно выигрываетъ. Мысли, развиваемыя ею, выражаются гораздо яснѣе и удобнѣе укладываются въ формѣ разсужденія, нежели въ повѣсти и романѣ. Такъ, сентенціи и ци-

таты, которыя столь щедро влагала г-жа Туръ въ уста своихъ героевъ и даже героинь, изобиліе морали—весьма много отнимали у ея повѣстей и романовъ, а все это совершенно умѣстно въ такихъ литературныхъ произведеніяхъ, какъ рецензія, историческая статья и письмо. Слогъ г-жи Туръ въ подобнаго рода статьяхъ гораздо плавнѣе, живѣе и изящнѣе, чѣмъ въ прежнихъ ея сочиненіяхъ. Рецензія на піесу Дюма, прекрасное изложеніе романа «Госпожа Бовари» и біографическій очеркъ «Вильямъ Чаннингъ» прочлись всѣми съ живымъ интересомъ. Но безспорно, «Парижскія письма» рѣшительно лучшая статья г-жи Туръ. Изображеніе современнаго парижскаго общества чрезвычайно живо и проникнуто мыслію. Кажется однакожь, авторъ чересчуръ строгъ къ Французамъ. Приговоры его, по духу своему, нѣсколько напоминаютъ письма фонъ-Визина о Франціи 1778 года. Фонъ-Визинъ не нашелъ въ тогдашней Франціи рѣшительно ничего достойнаго похвалы, и резюмировалъ слѣдующимъ образомъ свои наблюденія надъ націей: «изъ денегъ, нѣтъ труда, котораго бы Французъ не поднялъ, и подлости, которую бы не сдѣлалъ».

Должно также замѣтить, что г-жа Туръ приписываетъ исключительно французскому обществу нѣсколько такихъ чертъ, которыя замѣчаются рѣшительно во всѣхъ націяхъ. Она говоритъ о невѣдѣніи, въ которомъ воспитываютъ французскихъ дѣвушекъ, и о сказкахъ, которыя имъ рассказываютъ въ дѣтствѣ о томъ, какъ человѣкъ является на свѣтъ изъ капустнаго кочня. Но гдѣ же бываетъ иначе? По крайней мѣрѣ у насъ на Руси, и въ такихъ семействахъ, куда никакъ не могло проникнуть французское образованіе, дѣтямъ даются столько же невѣрныя фیزیологическія свѣдѣнія. Замѣтимъ еще, что г-жа Туръ слишкомъ строго обвиняетъ Французовъ за одну черту ихъ нравовъ, которая даже извинительна. Говоря объ излишней строгости, съ которой во Франціи держатъ дѣвушекъ, она указываетъ на Англію, гдѣ дѣвушки пользуются такой свободой, что ходятъ однѣ по улицамъ и переписываются съ молодыми людьми. Многое, что возможно въ Англіи, невозможно во Франціи. Кли-

мать Парижа не похожъ на климатъ Лондона, а темпераментъ Француза на темпераментъ Англичанина. Потому, что без-опасно флегматической Британкѣ, то губительно для сангвинической Француженки. Французская нація всегда отличалась и будетъ отличаться излишней способностью увлекаться, всегда была и будетъ падка на любовныя приключенія. Потому, если Француженки нашего времени слишкомъ легкомысленны и за ними нуженъ глазъ да глазъ, въ этомъ ужъ никакъ не виноваты ни Людовикъ Наполеонъ съ Эспинасомъ, ни Дюма съ сыномъ...

Въ «Атенеѣ» было помѣщено письмо изъ-за границы г. Тургенева. Вѣроятно, не мы одни пожалѣли, что оно осталось единственнымъ.

Кончаемъ оговоркой. Кто замѣтитъ, что въ статьѣ нашей пересмотрѣны не всѣ замѣчательныя литературныя явленія 1858 года, пусть не забудетъ, во первыхъ, что мы имѣли въ виду не обозрѣвать литературу года, а хотѣли болѣе всего показать точку отправленія нашихъ литературныхъ сужденій,—и воторыхъ, произведеній собственно ученыхъ, или принадлежащихъ къ такъ называемымъ литературнымъ спеціальностямъ, не были намѣрены разбирать.

АЛЕКСѢЙ ТЕОФИЛАКТОВИЧЪ ПИСЕМСКІЙ

И ЕГО ДВАДЦАТИПЯТИЛѢТНЯЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

1875 г.

АЛЕКСѢЙ ТЕОФИЛАКТОВИЧЪ ПИСЕМСКІЙ

И ЕГО ДВАДЦАТИПЯТИЛѢТНЯЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ. *)

М. г. — Мнѣ досталась честь говорить передъ такимъ просвѣщеннымъ собраніемъ, какъ наши посѣтители, отъ имени такого общества какъ наше, о художественно-литературной дѣятельности такого писателя, какъ Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій. Не могу скрыть отъ васъ, какъ мнѣ лестна эта честь, но въ то-же время не могу не сознаться вамъ, какое затрудненіе встрѣчаю я при этомъ: двадцать пять лѣтъ такой многоплодной дѣятельности, какъ дѣятельность нашего юбиляра, едва ли можно обозрѣть критически въ краткой рѣчи. Но надѣюсь на ваше снисхожденіе; вы примете, конечно, благосклонно чтò вамъ сказано будетъ отъ человѣка, который не смѣетъ называть себя эстетическимъ критикомъ, но который все-таки постарается сказать вамъ, по мѣрѣ силъ своихъ, что-нибудь интересное о жизни и сочиненіяхъ нашего юбиляра.

Я не стану входить въ мелкія подробности біографіи нашего автора, а укажу только на тѣ вліянія, которыя отразились на его литературной дѣятельности, потому что почитателю всякаго литературнаго таланта больше всего интересно узнать, подъ какими вліяніями образовался этотъ талантъ **).

*) Читано въ извлеченіи въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности 19 января 1875 года.

**) Составляя эту рѣчь, мы имѣли въ виду не столько читателей, сколько слушателей, и соображая ея размѣры съ тѣмъ временемъ, которое намъ могло быть удѣлено для публичнаго чтенія, не занялись біографіей юбиляра. Теперь, по желанію многихъ, приводимъ здѣсь нѣкоторые свѣдѣнія о жизни его.

Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій родился 20-го марта 1820 года, въ с. Раменѣ (Костромской губерніи, Чухломскаго уѣзда). По окончаніи курса

Какія же вліянія способствовали развитію такого въ высшей степени самороднаго таланта, какъ талантъ Писемскаго? Литературными образцами для нашего юбиляра были творенія двухъ нашихъ великихъ писателей-художниковъ Пушкина и Гоголя;

въ Костромской гимназіи, онъ поступилъ въ Московскій университетъ, откуда выпущенъ дѣйствительнымъ студентомъ въ 1844 году; затѣмъ онъ поступилъ на службу сперва въ Костромскую, а потомъ въ Московскую Палату Государственныхъ Имуществъ. Прослуживъ два года, онъ вышелъ въ отставку. Два года спустя, онъ снова поступилъ на службу чиновникомъ по особымъ порученіямъ къ Костромскому губернатору. Затѣмъ, въ 1849 году Писемскій назначенъ былъ ассессоромъ Костромскаго губернскаго правленія, и въ этой должности онъ прослужилъ пять лѣтъ. Женился онъ 11 октября 1848 года на Е. П. Свинойной, дочери основателя „Отечественныхъ Записокъ“ и двоюродной сестрѣ поэта Майкова. Живя потомъ въ Петербургѣ, онъ съ 1858 по 1863 г. редактировалъ, сперва въ сотовариществѣ съ А. В. Дружининимъ, а потомъ одинъ, журналъ „Библіотеку для Чтенія“. Оставивъ редакцію этого журнала, онъ, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, переехалъ на житье въ Москву, гдѣ около года былъ помощникомъ редактора „Русскаго Вѣстника“ по выбору статей для изящной словесности этого журнала. Въ 1866 г. онъ поступилъ опять на службу совѣтникомъ въ Московское Губернское Правленіе, гдѣ потомъ былъ повышенъ въ должность старшаго совѣтника. Съ 1872 года по сіе время онъ находится въ отставкѣ и живетъ постоянно въ Москвѣ, за исключеніемъ печастыхъ выѣздовъ за границу.— Отецъ Алексія Θεοφιловича былъ женатъ на Евдокіи Алексѣевнѣ Шиловой, двоюродной сестрѣ извѣстнаго Ю. Н. Бартенева, ех-масона и когда-то очень близкаго человека къ князю Голицыну. Писемскій-отецъ, родившійся въ Буевскомъ уѣздѣ той-же Костромской губерніи, близъ рѣки Писмы, съ ранней молодости участвовалъ въ славныхъ войнахъ Екатерининскаго времени, — служилъ въ Крыму и на Кавказѣ; и вышедъ въ отставку, возвратился съ Кавказа на родину, совершенно на легкѣ, верхомъ. — Въ годы отрочества Алексія Θεοφιловича двѣ личности имѣли главное вліяніе на ходъ его воспитанія: дѣда его по матери, бывшій флотскій офицеръ Всеволодъ Никитичъ Бартеневъ и приставленный къ нему чѣмъ-то въ родѣ тьютора, старшій его лѣтami и по классу гимназистъ Стайновскій. Бартеневъ, портретъ котораго, вѣрный въ главныхъ чертахъ съ подлинникомъ, можно найти въ IV-й, V-й и VI-й главахъ романа „Люди сороковыхъ годовъ“ въ лицѣ Эспера Ивановича (см. „Зарю“ 1869 года). пріохотилъ его къ чтенію; а благодаря вліянію Стайновскаго, въ Писемскомъ съ раннихъ лѣтъ пробудилась любовь къ сценѣ и, еще гимназистомъ, онъ сталъ упражняться въ сценическомъ искусствѣ, играя на домашнихъ театрахъ.—На литературное поприще въ первый разъ выступилъ Писемскій съ маленькимъ разсказомъ *Нина*, въ журналахъ „Сынъ Отечества“, который впрочемъ былъ напечатанъ въ такомъ сокращенномъ и измѣненномъ видѣ, что авторъ и не перепечатывалъ его потомъ. Затѣмъ появился его *Тюфакъ* въ „Москвитинѣ“.

на эстетическія его теоріи имѣли большое вліяніе критическія статьи Бѣлинскаго, а вообще умственное его развитіе совершилось подъ воздѣйствіемъ профессоровъ Московскаго Университета начала сороковыхъ годовъ. Что касается до вліянія, происходящаго отъ личнаго сношенія съ людьми, то мы знаемъ только одного литератора, который имѣлъ нѣкоторое вліяніе на Писемскаго, — и этотъ литераторъ, какъ ни покажется это странно на первый разъ, былъ не кто другой, какъ Павелъ Александровичъ Катенинъ. Какъ? подумаютъ многіе, тотъ Катенинъ, который, по словамъ Пушкина,

воскресилъ

Корнеля геній величавый,

Катенинъ, крайній сторонникъ и самый отчаянный поклонникъ французскаго псевдо-классицизма, переводчикъ Корнеля, имѣлъ вліяніе на такого писателя-реалиста, какъ Писемскій? Какъ это ни странно, а это правда. Познакомился Писемскій съ Катенинымъ случайно: Катенинъ жилъ въ трехъ верстахъ отъ родоваго имѣнія Писемскихъ (въ Костромской губерніи), гдѣ родился, получилъ первоначальное воспитаніе и проводилъ потомъ время гимназическихъ и университетскихъ вакансій будущій авторъ романа *Тысяча Душъ*, трагедіи *Горькая Судьбина* и комедій: *Ваалъ*, *Ипохондрикъ*, *Подкопы*. Ветеранъ литературы Катенинъ, фанатически вѣрный своимъ идоламъ, Корнелю и Расину, и корану псевдо-классической поэзіи *L'art Poétique* Буало, подружился съ молодымъ студентомъ, жаркимъ поклонникомъ Гоголя и статей Бѣлинскаго, — Бѣлинскаго, у котораго, по духу тогдашнихъ эстетическихъ теорій, имена Корнеля и Расина чуть-чуть не были бранными словами. Какъ же проводили время, сходясь между собою, эти два совершенно противоположные по литературнымъ убѣжденіямъ человѣка? Катенинъ декламировалъ передъ Писемскимъ произведенія французскихъ лже-классиковъ; Писемскій читалъ Катенину произведенія Гоголя. Разумѣется, послѣ чтенія у нихъ были горячіе споры. «Вашъ Гоголь дрянъ, гадость!» кричалъ въ какомъ-то ожесточеніи Катенинъ. Писемскій, возражая Катенину, обзывалъ,

вѣроятно, тоже не совсѣмъ лестными эпитетами Корнеля и Расина. Но когда умолкалъ споръ, Писемскій слушалъ какую-нибудь трагедію какого-нибудь французскаго классика, а немного погодя, Катенинъ слушалъ повѣсть или комедію Гоголя.

Въ чемъ же отразилось вліяніе Катенина на Писемскаго? Вопервыхъ, въ нѣкоторыхъ сценическихъ приѣмахъ нашего юбиляра, ибо я никакъ не могу пройти молчаніемъ сценическій талантъ Писемскаго. Вамъ, милостивые государи, которые чувствуете двадцатипятилѣтіе его художественно-литературной дѣятельности, которые не разъ наслаждались въ этой самой залѣ его необыкновенно искуснымъ чтеніемъ, вамъ, вѣроятно, будетъ пріятно вспомнить объ одномъ изъ сценическихъ успѣховъ Писемскаго, и потому вы мнѣ позволите сдѣлать отступленіе въ моей рѣчи. Поэзія и сцена не дальняя родня между собою, и говоря о литературныхъ достоинствахъ писателя, позволительно сказать и объ его достоинствахъ, какъ актера.

Въ 1844 году, наше, тогда еще младшее поколѣніе прослышало, что въ Долгоруковскомъ переулкѣ, въ меблированныхъ комнатахъ—въ тѣхъ самыхъ, которыя потомъ описаны съ такимъ юморомъ въ одномъ изъ романовъ нашего автора,—живетъ какой-то студентъ Московскаго Университета, 2-го отдѣленія философскаго факультета, который читаетъ своимъ пріятелямъ Гоголя и читаетъ такъ, какъ никто еще до того времени не читывалъ. Наше поколѣніе горячо и восторженно принимало къ сердцу всѣ интересы искусства, и потому мы сильно взволновались, услышавъ эту новость, и рвались послушать, какъ Писемскій читаетъ Гоголя. Но намъ, школьникамъ, было слишкомъ недоступно общество студентовъ, а студенты философскаго факультета однимъ своимъ наименованіемъ наводили на насъ священный страхъ... Вдругъ доходить до насъ слухъ, что на одномъ, такъ-называемомъ благородномъ театрѣ будетъ даваться *Женитьба* Гоголя, и что въ ней роль Подколесина будетъ играть Писемскій. Съ трудомъ мы пробрались на этотъ спектакль. Конечно, не мы были судьями надъ Писемскимъ, но мы были свидѣтелями того изумленія, съ какимъ избранное

Московское общество смотрѣло на игру Писемскаго. Въ то время Подколесина игралъ на Императорскомъ театрѣ великій нашъ комикъ Щепкинъ; но кто ни взглянулъ на Писемскаго, всякій сказалъ, что онъ лучше истолковалъ этотъ характеръ, чѣмъ самъ Щепкинъ. Не стану, милостивые государи, распространяться о сценическихъ дарованіяхъ Писемскаго: большая часть изъ нашихъ посѣтителей, слыхавшая его чтеніе, уже можетъ вообразить, каковъ онъ долженъ быть на сценѣ; тѣ же кто еще его не слышали, сейчасъ со всѣми нами услышать *). Скажу только, что Писемскій обязанъ Катенину тѣмъ удивительнымъ умѣньемъ владѣть собой, тою удивительно отчетливою и сдержанною интонаціей голоса, которою мы любимся въ тѣ минуты, когда онъ читаетъ намъ трагическія мѣста изъ своихъ произведеній.

Переходя теперь опять къ литературной характеристикѣ Писемскаго, скажемъ еще о вліяніи на него Катенина. Одержимый литературными предразсудками тогдашняго времени (предразсудками, которые только подъ конецъ жизни оставилъ самъ учитель тогдашняго поколѣнія Бѣлинскій), Писемскій ни за что бы самъ, *sua sponte*, не сталъ изучать французскихъ классиковъ и, можетъ-быть, потерялъ бы много въ отношеніи формы своихъ произведеній. Кажется, какую бы пользу могли принести ходульные произведенія Корнеля и Расина, произведенія, изображающія неестественно возвышенныя чувства, неестественно красивые образы и крайне изысканныя положенія, произве-

*) А. О. Писемскій прочелъ на своемъ юбилей второй актъ драмы своей „Просвѣщенное время“, напечатанной въ первой книжкѣ Р. Вѣстника сего года. Приводимъ выдержку изъ письма П. В. Анненкова къ автору по поводу этой драмы: „Меня не удивляетъ ея успѣхъ на сценѣ, ибо крупныя характеры и крупная интрига пьесы, намѣченные чрезвычайно твердо рукою, должны были произвести большой эффектъ. Такъ и должны писаться политическія комедіи, которые всегда сродни памфлету, и родства этого стыдиться не должно. Въ послѣднее время вы сдѣлались отцомъ драматическаго памфлета и оказываете въ этомъ новомъ родѣ мастерство, не подверженное сомнѣнію. Продолжайте разрабатывать этотъ новый родъ и не жальте своей манеры: родъ этотъ очень важенъ, очень полезенъ и бережете ваше имя и вашу память въ людяхъ современныхъ и будущихъ“.

денія, стѣсненныя, такъ-сказать, колодками лже-классическихъ законовъ, какъ могли эти произведенія принести какую-нибудь пользу такому писателю, который держался всю жизнь, съ неумолимою строгостью, математической вѣрности дѣйствительности? Они дали его произведеніямъ ту стройность постройки цѣлаго, ту строгость очертанія фабулы, то строго-соразмѣренное соотношеніе частей, словомъ ту классическую правильность и единство созданія, которую такъ высоко оцѣнили лучшіе германскіе критики, прочитавшіе нѣсколько романовъ нашего юбиляра въ нѣмецкихъ переводахъ.

Говоря о вліяніяхъ, которыя отразились на нашемъ юбилярѣ, я долженъ упомянуть объ одномъ обстоятельствѣ, которое сильно подѣйствовало на развитіе его таланта. Это обстоятельство—его служебная дѣятельность. Большая часть нашихъ писателей, изображающихъ чиновничій бытъ и служебную сферу, знаютъ то и другое только съ виду, или даже просто по слуху. Они или служили въ какихъ-нибудь канцеляріяхъ и знаютъ службу только по канцелярскимъ формамъ, или просто только числились на службѣ и даже мало знакомы съ фізіономіями своихъ начальниковъ и еще меньше съ фізіономіями своихъ товарищей и подчиненныхъ. Но Писемскій отнесся совсѣмъ иначе къ службѣ, чѣмъ эти господа: онъ, можно сказать, отдался всею душой служенію Русскому государству, и служа, только и думалъ, какъ бы побороть ту темную силу, съ которою борется и наше высшее правительство, и лучшая часть нашего общества. Чтобы показать вамъ наглядно, какими чувствами и мыслями руководился онъ въ своей служебной дѣятельности, приведу мѣсто изъ его романа *Тысяча душъ*. Вотъ чтò говоритъ Писемскій о своемъ героѣ Калиновичѣ, назначенномъ вице-губернаторомъ въ одну изъ тѣхъ губерній, гдѣ въ самомъ роскошномъ видѣ процвѣтали взяточничество, казнокрадство и всевозможныя превышенія власти.

«Калиновичъ могъ дѣйствительно быть названъ представителемъ той молодой администраціи, которая хотя болѣзненно, но замѣтно уже начинаетъ пробиваться то тутъ, то тамъ, сквозь

толстую кору подъяческих плутней. Как сознательный юристъ, молодой вице-губернаторъ, еще на университетскихъ скамейкахъ, по устройству собственнаго сердца своего, чувствовалъ всегда большую симпатію къ проведенію безстрастной идеи государства, съ возможнымъ отпоромъ всплхъ домогательствъ сословныхъ и частныхъ. Въ управленіи приняты имъ были тѣ же основанія».

Взглядъ на государство и на службу, приписанный здѣсь герою романа, есть взглядъ самого автора; имъ руководился онъ постоянно при исполненіи своихъ служебныхъ обязанностей, и мы смѣло можемъ сказать, что онъ много принесъ пользы на службѣ, хотя никогда не занималъ видныхъ должностей. Я укажу вамъ на одну замѣчательную сторону служебной дѣятельности Писемскаго, — на его дѣятельность, какъ слѣдователя по уголовнымъ преступленіямъ. Тутъ онъ изучалъ каждого преступника, какъ изучаетъ добрый и старательный врачъ каждого больного: оставаясь буквально и неумолимо вѣренъ закону, онъ относился къ допрашиваемому преступнику съ такимъ участіемъ, съ такою любовью, что и тотъ начиналъ любить его, и рассказывать ему про себя все, потому только, «что ужъ онъ больно хорошій и умный баринъ».

Я сказалъ здѣсь о службѣ Писемскаго не для того, чтобы хвалить его, какъ чиновника: оцѣнка его служебной дѣятельности не должна войти въ мою рѣчь, имѣющую цѣлью указать только на литературныя заслуги нашего юбиляра. Но эти заслуги близко связаны со служебною его дѣятельностью. Вы понимаете, какой огромный матерьялъ для своихъ литературныхъ произведеній пріобрѣлъ авторъ, служа такъ усердно интересамъ Русскаго государства, какъ глубоко узналъ онъ чиновническій людъ, какъ глубоко проникъ въ душу русскаго челоѣка.

Нѣсколько послѣ я укажу подробнѣе, какъ отразился служебный опытъ Писемскаго въ его произведеніяхъ; теперь же я долженъ сказать вообще о характерѣ его таланта и о направленіи, которому онъ слѣдовалъ.

Германскіе критики, разбирая романъ Писемскаго *Тысяча душъ*, говорятъ между прочимъ слѣдующее: «Начавъ говорить о Писемскомъ, мы невольно должны упомянуть о другомъ русскомъ писателѣ, Тургеневѣ, эскизы, повѣсти и романы котораго сдѣлались для насъ съ нѣкотораго времени зеркаломъ русской жизни и истиннымъ выраженіемъ русскаго характера. Весьма много значить, когда другой писатель того же народа не только можетъ стать на ряду съ нашимъ любимцемъ, но въ нѣкоторомъ отношеніи даже превосходить его. Романъ *Тысяча душъ* г. Писемскаго именно принадлежитъ къ этимъ рѣдкимъ явленіямъ. Если съ одной стороны, въ описаніи тонкихъ духовныхъ отношеній между мужчиной и женщиной, которое, какъ мы видимъ это въ романахъ и повѣстяхъ Тургенева, составляетъ торжество таланта этого писателя, г. Писемскій и уступаетъ своему сопернику, то съ другой стороны онъ превосходитъ его въ искусствѣ композиціи: у г. Писемскаго фабула и идея тѣсно связаны одна съ другою, тогда какъ у Тургенева въ *Отцахъ и дѣтяхъ*, а равно *Дымъ*, онѣ разъединяются. У г. Писемскаго каждый фактъ, каждый разговоръ ведетъ дальше нить дѣйствія; развитіе характера есть вмѣстѣ съ тѣмъ и развитіе дѣйствія.» Далѣе, послѣ разбора самаго романа, критикъ въ заключеніе говоритъ: «Тонкая наблюдательность и проникнутое юмористическимъ сарказмомъ міросозерцаніе составляютъ отличительную черту какъ первыхъ, такъ и послѣднихъ главъ романа *Тысяча душъ*, который *выступаетъ передъ нами, какъ сама жизнь*» *).

Продолжая параллель, преведенную Германскимъ критикомъ между Тургеневымъ и Писемскимъ, мы прибавимъ отъ себя, что Тургеневъ поэтъ картины, а Писемскій поэтъ страсти; оба, каждый по своему, сильны, и ни тотъ, ни другой никому не подражаетъ. У Писемскаго въ каждомъ словѣ дѣйствующихъ

*) Здѣсь можно привести слова покойнаго Ф. И. Тютчева, который, прослушавъ чтеніе самого Писемскаго его трагедіи *Горькая судьбина*, сказалъ, что про эту драму можно повторить слова одного Французскаго критика: „не знаешь, художникъ ли подражалъ здѣсь природѣ, или природа художнику“.

лицъ прорываются тѣ чувства страсти, которыя въ концѣ романа вспыхиваютъ пожаромъ и сожигаютъ все окружающее. У него, напримѣръ, разговоръ о литературѣ, о критикѣ Бѣлинскаго завязывается страстными отношеніями между молодою дѣвушкою и молодымъ человѣкомъ... Чего бы когда ни коснулся Писемскій, онъ изъ всего извлекаетъ страсть, какъ извлекаетъ огниво искру изъ кремня.

Теперь мы должны сказать о направленіи, которому слѣдовалъ Писемскій въ продолженіе всей своей литературной дѣятельности. Онъ былъ необыкновенно чутокъ ко всякому злу, возникающему въ русской жизни, и каралъ его съ неумолимою строгостью. Въ первыхъ своихъ произведеніяхъ, въ романахъ: *Тюфякъ* и *Бракъ по страсти*, онъ осмѣивалъ недостатки своего поколѣнія — крайнюю мечтательность и крайне непрактическое отношеніе къ дѣйствительной жизни. Но онъ вскорѣ почувалъ, что въ Русской жизни заражается новое зло, которое онъ внослѣдствіи назвалъ поклоненіемъ Ваалу, или златому тельцу. Онъ первый, слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, замѣтилъ зарожденіе въ нашемъ обществѣ этой болѣзни, болѣзни, которая въ настоящее время стала эпидемическою и которую онъ съ тѣхъ поръ неукосненно и безпощадно преслѣдуетъ своею сатирою.

Для того, чтобъ намъ ярче и выпуклѣе представился характеръ таланта Писемскаго, прослѣдимъ подробно содержаніе одного изъ его произведеній. Обратимся къ его роману *«Тысяча душъ»*. Когда представляешь характеристику какого-нибудь поэта, лучше всего очертить его имъ же самимъ созданными образами и его собственными идеями. Потому-то я и хочу обратить ваше вниманіе на такое произведеніе Писемскаго, гдѣ больше всего выразилось разнообразіе его таланта.

Герой романа *Тысяча душъ* Калиновичъ съ самаго дѣтства былъ гонимъ и судьбой, и людьми: это развило въ немъ энергію, но въ то же время и очерстило его сердце. Одаренный замѣчательнымъ умомъ, благороднымъ образомъ мыслей и стремленіемъ къ образованію, онъ долженъ былъ преодолѣть всевоз-

можныя препятствія, чтобъ поступить въ университетъ. Въ университетѣ онъ долженъ былъ бороться съ бѣдностью: онъ давалъ за грошевую цѣну уроки, которые у него отнимали время отъ занятій науками, но онъ посредствомъ самаго упорнаго труда поборолъ все, что становилось ему поперекъ дороги,—и выдержалъ блистательно экзаменъ на кандидата. Онъ кончилъ курсъ по юридическому факультету, да и въ душѣ своей, по призванію, онъ былъ юристъ. Но по окончаніи курса, не имѣя никакой протекціи, онъ никакъ не могъ найти мѣста, которое соотвѣтствовало бы его способностямъ, наклонностямъ и познаніямъ. Наконецъ, только чтобъ не погибнуть отъ нищеты, схватился онъ за мѣсто штатнаго смотрителя училища въ какомъ-то уѣздномъ городишкѣ. Можете представить себѣ, какое общество нашелъ онъ тамъ: оно состояло только изъ чиновниковъ, чиновниковъ начала сороковыхъ годовъ. Все это были взяточники и люди лишенные всякаго образованія. Онъ бы погибъ съ тоски и со скуки, еслибы не нашелъ въ своемъ предмѣстникѣ (тоже воспитанникѣ Московскаго университета) и его дочери людей и съ душой, и съ благороднымъ характеромъ, и съ образованіемъ. Настенька, дочь прежняго штатнаго смотрителя, почти съ отрочества порвала всякія сношенія съ обществомъ уѣзднаго города: она рано поняла, что это за среда; поняла, что лучше совсѣмъ не быть ни съ кѣмъ знакомой, чѣмъ поддерживать отношенія съ людьми безчестными и совершенно не мыслящими. Взамѣнъ общества нашла она себѣ друзей, и эти друзья были Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Бѣлинскій и другіе представители Русской мысли, и имъ-то она отдалась всей душой. Она стала читать съ утра до вечера и даже выучилась почти самоучкой по-французски, чтобы имѣть возможность слѣдить ближе за движеніями мысли и на Западѣ Европы. И вотъ передъ этой дѣвушкой, которая только и жила интересами литературы, которая никогда не встрѣчала литературно-образованнаго человѣка, человѣка съ современными взглядами на все окружающее, передъ этой дѣвушкой явился молодой человѣкъ образованный, умный, да еще въ добавокъ кра-

сивый собой и притомъ литераторъ. Нечего и говорить, что слѣдствіемъ этой встрѣчи была страстная взаимная любовь. Настенька такъ полюбила Калиновича, что, послѣ непродолжительной борьбы съ своими строго-нравственными правилами, предалась ему совершенно. Казалось, чего бы лучше для Калиновича жениться на этой дѣвушкѣ, и живя честнымъ трудомъ въ маленькомъ домикѣ, наслаждаться тихой семейной жизнью. Нѣтъ, этого ему было мало, слишкомъ мало: въ немъ жилъ демонъ честолюбія, тщеславія и жажды богатства. Онъ напечаталъ какую-то повѣсть въ одномъ изъ Петербургскихъ журналовъ, и прочитавъ похвальный о ней отзывъ въ газетномъ фельетонѣ, уже вообразилъ себя въ самомъ дѣлѣ литераторомъ, — вообразилъ, что въ самомъ дѣлѣ можетъ существовать литературой. Въ это самое время демонъ, его мучившій, явился передъ нимъ, облеченный въ кровь и плоть, въ лицѣ нѣкоего князя Ивана Раменскаго. Этому князю, человѣку съ необыкновенно-привлекательной внѣшностью и блестящимъ образованіемъ, но съ безчестной, низкой душой, нужно было, по его расчетамъ, во что бы то ни стало, выдать замужъ свою кузину, владѣтельницу большого богатства, но старую дѣву и притомъ дѣву самой несчастной наружности. Этотъ князь поддѣлался къ Калиновичу и разъ, въ откровенномъ разговорѣ, посоветовалъ ему просить руки своей кузины. Калиновичъ на первый разъ страшно возмущился такимъ совѣтомъ и отвергъ его. Но князь нарисовалъ передъ нимъ такъ искусно картину бѣдности, ожидающей его въ случаѣ, ежели онъ женится на Настенькѣ, что Калиновичъ началъ, хоть и безотчетно, стремиться къ разрыву съ дѣвушкой, которую любилъ. Послѣ многихъ мучительныхъ размышлений, онъ рѣшился ѣхать въ Петербургъ, чтобы сдѣлать тамъ себѣ карьеру какъ литературную, такъ и служебную; князь надавалъ ему кучу рекомендательныхъ писемъ, — и онъ отправился. Но въ Петербургѣ его ждало жестокое разочарованіе: онъ потерпѣлъ совершенное fiasco и на литературномъ, и на служебномъ поприщѣ. Каковъ былъ ударъ для его самолюбія, когда оказалось, что редакторъ того журнала, гдѣ была помѣщена его повѣсть,

позабылъ и названіе этой повѣсти и фамилію ея автора! Надъ авторскимъ его самолюбіемъ разразился еще ударъ, и ударъ сильнѣе перваго: одинъ изъ его университетскихъ товарищей, лучший Русскій литературный критикъ и душевно ему преданный человѣкъ, доказалъ ему, какъ дважды два четыре, что у него нѣтъ никакого таланта. Тогда, вооружась рекомендательными письмами князя, онъ отправился по разнымъ вліятельнымъ лицамъ просить мѣста, но вездѣ получилъ, хотя и очень учтивый, но рѣшительный отказъ. Съ разбитымъ самолюбіемъ, съ разбитыми надеждами, нуждаясь въ деньгахъ, въ холодномъ во всѣхъ отношеніяхъ Петербургѣ, онъ впалъ въ какое-то отчаяніе и даже занемогъ. Въ его уныломъ одиночествѣ упавшій духъ его расшевелили два чувства: любовь къ Настенькѣ и угрызенія совѣсти:—онъ со всѣмъ пыломъ первой любви сталъ тосковать по своей подругѣ, и какъ человѣкъ все еще съ честными правилами, сталъ упрекать себя въ томъ, что поступилъ съ ней такъ неблагородно. Но вслѣдъ за этими чувствами, въ душѣ его возникъ вопросъ: какъ же онъ долженъ поступить теперь въ отношеніи ея? Вопросъ этотъ онъ былъ не въ силахъ разрѣшить одинъ и чувствовалъ нужду въ чьемъ-нибудь совѣтѣ. Разумѣется, за совѣтомъ надо было обратиться къ человѣку умному и благородному, а такого человѣка Калиновичъ зналъ только одного во всемъ Петербургѣ: это былъ нѣкто Бѣлавинъ. Онъ съ нимъ познакомился случайно, и знакомство ихъ было только шапочное. Но зная доброту и благородство этого человѣка, онъ не усомнился пригласить его къ себѣ. Аристократъ по богатству, по рожденію, образованію и чувствамъ, Бѣлавинъ явился къ Калиновичу, въ его бѣдную и грязную квартирку, не устыдившись сдѣлать ему визитъ первый.

— Здравствуйте, проговорилъ онъ, входя къ Калиновичу и радушно протягивая ему руку.

— Какъ я вамъ благодаренъ! произнесъ Калиновичъ голосомъ, полнымъ искренней благодарности.

— Что это вы Петербургу, видно, дань платите? продолжалъ Бѣлавинъ, садясь и опираясь на свою, съ золотымъ набалдашникомъ трость.

— Да, Петербургъ меня не побаловалъ ни физически, ни нравственно, отвѣчалъ Калиновичъ.

— Кого же онъ балуетъ, помилуйте! Городъ безъ свѣжаго глотка воздуха, безъ религіи, безъ исторіи и безъ народности! произнесъ Бѣлавинъ, вздохнувъ.— Ну что вы, однако, скажите мнѣ, продолжалъ онъ: вы тогда говорили, что хотите побывать у одного господина... какъ вы его нашли?

(Здѣсь Бѣлавинъ намекнулъ на какого-то директора департамента, отказавшаго Калиновичу въ мѣстѣ).

Калиновичъ усмѣхнулся.

— Этотъ господинъ, кажется, эссенція, выжимка чиновнической бюрократіи, въ которомъ все ужъ убито.

— И убивать, я думаю, было нечего. Впрочемъ, онъ еще лучше другихъ; есть почище.

— Хорошъ и этотъ! Въ другомъ мѣстѣ, пожалуй, и не найдешь.

— Именно. Надобно воспитаться не только умственно, но органически на здѣшней почвѣ, и даже пройти нѣсколькимъ поколѣніямъ и слоямъ, чтобъ образовался такой цвѣтокъ и букетъ... удивительно!... Все, чтò, кажется, самаго простаго, а тѣмъ болѣе человѣка развитаго, при другомъ порядкѣ вещей, стало бы непременно шокировать, поселять смѣхъ, злобу, досаду — они всѣмъ этимъ безконечно улаждаются. Зная, на примѣръ, очень хорошо, что въ дѣятельности ихъ нѣтъ ничего плодотворнаго, живаго, потому что она или скользитъ поверхъ жизни, или гнетъ, ломаетъ ее, они въ то-же время великолѣпнѣйшимъ образомъ драпируются въ свою офиціальную тогу и кутаются подъ нее свою внутреннюю пустоту, думая, что никто этого даже и не подозрѣваетъ. Невообразимо, что такое... невообразимо!

— Меня, впрочемъ, этотъ господинъ отсылалъ къ болѣе активному труду, въ провинцію, говоря, что здѣсь нечего дѣлать, замѣтилъ Калиновичъ.

— Это мило, это всего милѣй — такое наивное сознаніе! воскликнулъ Бѣлавинъ и захохоталъ. — И правъ вѣдь, злодѣй!

Единственный, может быть, случай, гдѣ, не чувствуя самъ того, онъ говорилъ великую истину, потому что тамъ дѣйствительно, хоть криво, косо, болѣзненно, но что-нибудь да дѣлается, а тутъ ужъ ровно ничего, какъ только писанье и писанье... удивительно! Но, все-таки, значить, вы не служите? прибавилъ онъ, помолчавъ.

— Нѣтъ, не служу, отвѣчалъ Калиновичъ.

— И лучше, ей-Богу, лучше! подхватилъ Бѣлавинъ: какъ вы хотите, а я все-таки смотрю на всю эту ихнюю корпорацію, какъ на какую-то невѣдомую богиню, которой ежегодно приносятся въ жертву сотни молодыхъ умовъ, и рѣшительно портятся и губятся люди. И если васъ не завербовали — значить, довольно ужъ возлечь на алтарѣ закланныхъ жертвъ... Количество достаточное! Но пишете ли вы, однако, что нибудь?

— Нѣтъ, ничего, отвѣчалъ Калиновичъ.

— Это вотъ дурно-съ... очень дурно! проговорилъ Бѣлавинъ.

— Что дѣлать? возразилъ Калиновичъ:— всего хуже, конечно, это для меня самого, потому что на литературѣ я основывалъ всю мою будущность и, во имя этихъ эфемерныхъ надеждъ, душилъ въ себѣ всякое чувство, всякое сердечное движеніе. Говоря откровенно, ѣхавши сюда, я долженъ былъ покинуть женщину, для которой былъ все; а такія привязанности нарушаются нелегко даже и для совѣсти!

— Да, бываетъ... подтвердилъ Бѣлавинъ; — и вообще, продолжалъ онъ, когда нельзя думать, такъ ужъ лучше предаваться чувству, хоть бы самому узенькому, обыденному. Я, вообще теперь, самъ холостякъ и бобыль, съ позднимъ сожалѣніемъ смотрю на этихъ простодушныхъ отцовъ семействъ, которые живутъ себѣ точно въ заколдованномъ кружкѣ, и все, что внѣ ихъ происходитъ, для нихъ тогда только чувствительно, когда ужъ колетъ ихъ самихъ или какой-нибудь членъ, органически къ нимъ привязанный, и такъ какъ требованіе ихъ поэтому мельче, значить, удовлетвореніе возможно — право, завидно!..

— Но всякій ли способенъ себя ограничивать этимъ? воз-

разилъ Калиновичъ. Не говори уже о матеріальныхъ, денежныхъ условіяхъ, бываетъ иногда нравственная запутанность.

— Что нравственная запутанность... помилуйте! воскликнулъ Бѣлавинъ: все это такъ сглаживается, стирается, принаравливается временемъ...

— Ну, Богъ знаетъ, врядъ ли на время можно такъ разсчитывать! перебилъ Калиновичъ. Вотъ теперь мое положеніе, продолжалъ онъ съ улыбкой: благодаря нашему развитію, мы не можемъ, по крайней мѣрѣ, долгое время, обманываться собственными чувствами. Я очень хорошо понялъ, что хоть люблю дѣвушку, насколько способенъ только любить, но въ то-же время интересы литературные, общественные и наконецъ собственное честолюбіе и даже болѣе грубыя, эгоистическія потребности, все это живетъ во мнѣ, волнуетъ меня, и какимъ же образомъ я могъ бы рѣшиться всѣмъ этимъ пожертвовать и взять, для нравственнаго продовольствія, на всю жизнь одно только чувство любви, которое далеко не наполняетъ всей моей души... какимъ образомъ? Но въ то-же время, это меня мучить.

Прислушиваясь къ словамъ Калиновича, Бѣлавинъ глядѣлъ на него своимъ умнымъ, пристальнымъ взглядомъ. Онъ видѣлъ, что тотъ хочетъ что-то такое спросить и не договариваетъ.

— Что-жъ васъ именно тутъ мучить? спросилъ онъ.

— Мучить, конечно, вопросъ, что, отрицаясь отъ этой дѣвушки, дурно я поступилъ, или нѣтъ? объяснилъ Калиновичъ опредѣлительнѣе.

Бѣлавинъ усмѣхнулся, и наклонившись на свою трость, нѣсколько времени думалъ.

— Объ этомъ, въ послѣднее время, очень много пишется и говорится, началъ онъ. И конечно, если женщина начала васъ любить такъ, зря, безъ всякаго 'отъ васъ повода, тутъ и спрашивать нечего: вы свободны въ вашихъ поступкахъ, хоть, въ то же время, я зналъ такія деликатныя натуры, которыя и въ подобныхъ случаяхъ насиловали себя и дѣлались истинными мучениками тонкаго, нравственнаго долга.

— И долга совершенно воображаемаго и придуманнаго, замѣтилъ Калиновичъ.

— Да, почти, отвѣчалъ Бѣлавинъ. Но дѣло въ томъ, продолжалъ онъ, что эмансипація правъ женскихъ потому выдвинула этотъ вопросъ на такой видный планъ, что, по большой части мы, обыкновенно, какъ Пилаты, умываемъ руки, ужъ бывши много виноватыми. Почти всегда серьезныя привязанности являются въ женщинахъ результатомъ того, что ихъ завлекали, обманывали надеждами, обѣщаніями. Ну, и въ такомъ случаѣ, мы, благодаря Бога, не древніе: не можемъ безнаказанно допускать Амуру писать клятвы на водѣ. Шутить чужой страстью также непозволительно, какъ и тратить бесплатно чужія деньги.

— Вы говорите: «завлекали»? Кто-же въ наше время рѣшится быть Ловеласомъ, что-ли? возразилъ Калиновичъ. Но хоть бы теперь, я самъ былъ тоже увлеченъ и не скрывалъ этого, но потомъ уяснилъ самому себѣ степень собственнаго чувства и вижу, что нѣтъ...

— Чего-же собственно нѣтъ? спросилъ Бѣлавинъ, еще пристальнѣе взглянувъ на Калиновича.

Тотъ нѣсколько замаялся.

— Нѣтъ того, что не могу на ней жениться, отвѣчалъ онъ. Бѣлавинъ опять на нѣкоторое время задумался.

— Жениться! повторилъ онъ. Что-жь! Если вы не рѣшаетесь на бракъ по вашимъ обстоятельствамъ, или не рискуете на него изъ нравственнаго опасенія — любите просто!

— Какъ-же просто? воскликнулъ Калиновичъ: это ужъ какая-то черезчуръ рыцарская и донкихотская любовь, не имѣющая ни плоти, ни формы.

— Донкихотская! повторилъ, грустно покачавъ головой Бѣлавинъ. Не говорите этого. Вамъ особенно, какъ литератору, грѣхъ поддерживать это мертвящее направленіе которое, все, что не носитъ на себѣ какого-нибудь офіціального авторитета, что не представляетъ наощупь осязательной пользы, все это окрестило донкихотствомъ. И повѣрьте мнѣ, бесплодно проживетъ наше поколѣніе, потому что оно окончательно утратило романтизмъ — тотъ общій романтизмъ, который, съ одной стороны, выразился въ сентиментальности, а съ другой — слышался

въ лиръ Байрона и сказался открытіемъ паровъ. Да - съ, не коммерція ваша, этотъ плуть общечеловѣческій, который пожираетъ теперь плоды, создала и изобрѣла желѣзную дорогу и винтъ: ихъ создалъ романтизмъ въ наукѣ. Что вы улыбаетесь? Конечно, ужъ начало этому кроется даже не въ головѣ ловкаго механика, приложившаго силу къ дѣлу, а прямо въ полусумашедшихъ теоріяхъ алхимиковъ. Помилуйте, какъ это возможно! Я съ ужасомъ смотрю на современную молодѣжь, продолжалъ онъ еще съ бѣльшимъ одушевленіемъ. Что-жъ, наконецъ, составляетъ для нихъ смакъ въ жизни? Деньги и развратъ! По ихъ мнѣнію, женщина не имѣетъ другаго значенія, какъ въ формѣ богатой невѣсты, либо камели — это ужасно! Тогда-какъ я еще очень хорошо помню нашихъ дѣдъ и отцовъ, которые, еслибъ сравнить ихъ съ нами, показались бы атлетами, были и выпить, и покутить не дураки, а между тѣмъ, эти люди потому только, что нюхнули романтизма, умѣли и не стыдились любить женщинъ, по десятку лѣтъ не видавшихся съ ними и поддерживая чувство одной только перепиской.

На послѣднихъ словахъ Калиновичъ опять улыбнулся.

— На романтизмъ, собственно Стѣрновской, возразилъ онъ, я смотрю совершенно иначе. По моему, онъ предполагаетъ величайшее безстрастіе. Одна ужъ эта способность довольствоваться какой-нибудь перепиской показываетъ нравственное уродство, потому что, какъ вы хотите, но одни вѣчныя письма на челоуѣка нормальнаго, неизломаннаго, всегда будутъ имѣть скорѣе раздражающее, чѣмъ удовлетворяющее вліяніе.

— Отчего-жъ раздражающее? Вы смѣшиваете чувство съ чувственностью, замѣтилъ Бѣлавинъ.

— О Боже! Но какимъ-же образомъ можно отдѣлить, особенно въ дѣлѣ любви, душу отъ тѣла? Это какъ корни съ землей: они ее переплетаютъ, а она ихъ обтѣпляетъ, и я именно потому не позволяю себѣ переписки, чтобъ не сдѣлать дѣвушкѣ еще больше зла.

— Снявши голову, по волосамъ не тужать! И вы, кажется, этимъ оправдываете одно свое простое нежеланіе, произнесъ съ улыбкою Бѣлавинъ.

— Напротивъ, мнѣ это очень тяжело, подхватилъ Калиновичъ. Я теперь живу въ какой-то душевной пустынѣ! Алчущій сердцемъ, я знаю, гдѣ бѣжить свѣжій источникъ, способный утолить меня, но не иду къ нему по милости этого проклятаго анализа, который, какъ червь, подѣдаетъ всякое чувство, всякую радость въ самомъ еще зародышѣ и, ей Богу, составляетъ одно изъ величайшихъ несчастій человѣка.

Бѣлавинъ опять усмѣхнулся.

— Да, произнесъ онъ, много сдѣлалъ онъ добра, да много и зла; онъ погубилъ было философію, такъ что она едва вынырнула на плечахъ Гегеля изъ того омутъ, и то еще не со всѣмъ; а прочія знанія, Богъ знаетъ, куда и пошли. Все это бросилось въ детали, подробности; общее пропало совершенно изъ глазъ, и сольется ли когда-нибудь все это во что-нибудь цѣлое, и къ чему все это поведетъ... Удивительно!

— Поведетъ, конечно, къ открытіямъ.

— Да, вѣроятно; но все это будетъ мелко, бесплодно и, поверьте мнѣ, что все истинно великое и доброе, нужное для человѣка, подсказывалось синтетическимъ путемъ.

— Романтизмомъ науки! замѣтилъ съ усмѣшкой Калиновичъ.

— Да, именно, романтизмомъ, говорилъ Бѣлавинъ, вставая. Прощайте, однако, мнѣ пора.

— Куда же вы?

— Въ оперу итальянскую таскаюсь. До свиданія.

— Изъ нашихъ, однако, положеній, говорилъ Калиновичъ, провозжаая гостя, можно вывести довольно странное заключеніе, что господинъ, о которомъ мы съ вами давеча говорили, долженъ быть величайшій романтикъ.

— Это какъ? спросилъ тотъ.

— По рѣшительному отсутствію анализа, котораго, я думаю, въ немъ ни на грошъ нѣтъ.

Бѣлавинъ поклатился со смѣху.

— Напротивъ! возразилъ онъ: у нихъ, если хотите, есть анализъ, и даже эта бесплодная логическая способность дѣлать посылки и заключенія развита болѣе, чѣмъ у кого-либо; но дѣло въ томъ, что единица ужъ очень крупна: всякое нечистое дѣло, прикинутое къ ней, покажется совершеннѣйшими пустяками, меньше нуля. Прощайте, однако, au revoir! заключилъ Бѣлавинъ *).

Послѣ бесѣды этой, Калиновичъ остался, въ какомъ-то лирическомъ настроеніи духа. Первымъ его дѣломъ было сейчасъ-же приняться за письмо къ Настенькѣ.

Вотъ что, между прочимъ, писалъ онъ ей:

«Я не рожденъ для счастья семейной жизни въ бѣдной долѣ. Честолюбіе живетъ во мнѣ, кажется, на счетъ всѣхъ другихъ страстей и чувствъ, какъ будто-бы древній Римлянинъ возродился во мнѣ. Неудачи не задушили во мнѣ моего честолюбія, но только сдавили его и сдѣлали упруге и стремительнѣе. Подъ его вліяніемъ я покинулъ тебя, мое единственное сокровище, хоть, видитъ Богъ, что сотни людей, изъ которыхъ ты могла бы найти добраго и нѣжнаго мужа — сотни ихъ не въ состояніи тебя любить такъ, какъ я люблю; но, обрекая себя въ этотъ подвигъ, я не вынесъ его: разбитый теперь въ Петербургѣ во всѣхъ моихъ надеждахъ, полуумирающій отъ болѣзни, въ нравственномъ состояніи близкомъ къ отчаянію и, наконецъ, безъ денегъ, я пишу къ тебѣ эти строчки, чтобъ ты подарила и возвратила мнѣ снова любовь твою. Не надѣйся быть ни женой моей, ни видѣть даже меня, потому что я рѣшился доконать себя въ этомъ отвратительномъ Петербургѣ, но все-таки люби меня и пиши ко мнѣ. Это единственная, нравственная роскошь, которую мы можемъ позволить себѣ. Ты поймешь, конечно, все, что я тебѣ хотѣлъ сказать, и снова дружески протянешь руку невольному мученику самого себя».

*) Мы привели здѣсь этотъ длинный (разумеется, только съ виѣшной стороны) разговоръ потому, что въ рѣчахъ Бѣлавина сильно отражается міросозерцаніе автора, которое гораздо идеальнѣе, возвышеннѣе міросозерцанія многихъ его близорукихъ судей.

Настенька вмѣсто отвѣта на письмо сама пріѣхала въ Петербургъ, чтобы ходить за больнымъ Калиновичемъ и утѣшать его въ горѣ. Она поспѣшно и съ большимъ убыткомъ заложила все небольшое имѣніе, которое досталось ей послѣ матери и сдѣлала это съ цѣлью помочь Калиновичу въ его стѣсненныхъ денежныхъ обстоятельствахъ. Калиновичъ былъ внѣ себя отъ радости, когда увидѣлъ передъ собой Настеньку. Она на первое время внесла точно какую-то благодать въ жизнь своего друга. «Здоровье его поправилось совершенно; ему возвратились его прежняя опрятность и джентельменство въ одеждѣ. Вмѣсто грязнаго нумера, была нанята небольшая, но чистенькая и свѣтлая квартирка, которую они очень мило убрали». Но такая жизнь продолжалась недолго: демонъ честолюбія, тоска по роскоши и изящномъ comfortѣ начали снова терзать Калиновича. Калиновичъ сталъ все больше и больше расходиться въ убѣжденіяхъ съ Настенькой, сталъ удаляться отъ нея и все больше и больше сосредоточивался въ самомъ себѣ. «Душа его была не такого закала, чтобы наслаждаться тихой любовью и скромной дружбой. Маленькій comfortъ, который его окружалъ, сталъ казаться ему смѣшонъ до гадости. Съ чувствомъ какого-то ожесточенія отвертывался онъ отъ магазинныхъ оконъ, изъ которыхъ такъ красиво метались въ глаза разныя вещи, совершенно, кажется бы, необходимыя для каждаго порядочнаго чловѣка. Проходя мимо огромныхъ домовъ, въ бель-этажахъ которыхъ, при вечернемъ освѣщеніи, черезъ зеркальныя стекла, виднѣлись цвѣты, люстры, канделябры, огромныя картины въ золотыхъ рамахъ, онъ невольно пріостанавливался и съ озлобленной завистью думалъ: «какъ здѣсь хорошо, а живутъ здѣсь какіе-нибудь болваны-счастливыцы!» Тоже дѣйствіе производили на него экипажи, трехтысячныя шубы и, наконецъ, служащій, мундирный Петербургъ. Онъ не могъ видѣть безъ глубокаго, сердечнаго содроганія, когда выходилъ изъ какого-нибудь присутственнаго зданія господинъ еще не старыхъ лѣтъ, въ крестахъ, звѣздахъ и золотомъ камергерскомъ мундирѣ. Кромѣ ужъ этихъ прихотливыхъ и честолюбивыхъ желаній, впереди воз-

ставалъ еще болѣе существенный вопросъ: «деньги, привезенныя Настенькой, конечно, проживутся въ какой-нибудь годъ, и что потомъ будетъ?»

«Вы юноши и неюноши», взываетъ къ намъ авторъ, «ищущіе въ Петербургѣ мѣстъ, занятій, хлѣба, вы поймете положеніе моего героя, зная, можетъ быть, по опыту, что значить въ этомъ случаѣ потерять послѣднюю надежду, послѣднюю опору, между тѣмъ какъ раздражающаго свойства мысль не перестаетъ васъ преслѣдовать, что вотъ тутъ-же въ этомъ Петербургѣ, сотни дѣятельностей, тысячи службъ съ прекраснымъ жалованьемъ, съ баснословными квартирами, съ любовью начальниковъ могущихъ для васъ сдѣлать вся и все—и только вамъ ничего не даютъ и васъ никуда не пускаютъ!»

Однажды, чтобъ скрыть отъ Настеньки свое отчаяніе, Калиновичъ проворно ушелъ изъ дому. Голова его рѣшительно помутилась: то думалось ему, что не найдетъ ли онъ потеряннаго бумажника со ста тысячами; то нельзя ли, наконецъ, пойти въ разбойники, нагнать и возвратиться жить въ общество.

Вдругъ раздался сзади его знакомый голосъ: «Яковъ Васильичъ!» Калиновичъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ. Это былъ голосъ князя Ивана Раменскаго, того самаго, который когда-то соблазнялъ его жениться на богатой, старой и уродливой дѣвушкѣ ради ея милліоновъ.

Возобновивъ знакомство съ Калиновичемъ, князь пустился на всевозможныя козни, чтобъ склонить его (конечно для своихъ личныхъ видовъ) на бракъ съ милліонеркой. Онъ такъ искусно повелъ дѣло, что совершенно запуталъ Калиновича, и Калиновичъ, послѣ долгой, адски-музительной борьбы съ самимъ собою, борьбы, чуть не сведшей его въ могилу, бросилъ Настеньку и женился на дѣвушкѣ, къ которой чувствовалъ полное отвращеніе. Князь, по уговору съ Калиновичемъ, получилъ отъ него 50.000 р. за сватовство.

Лишь только Калиновичъ сдѣлался богатъ, какъ холодный и суровый къ нему доселѣ Петербургъ сталъ къ нему ласковъ до нѣжности, и всѣ его честолюбивыя мечты, какъ бы по взмаху волшебнаго жезла, стали быстро осуществляться. Ему

стоило только дать взятку въ 2000 рублей одной вліятельной дамѣ, въ видѣ пожертвованія въ пользу пріюта, да проплатить такую же сумму какому-то мощному бюрократу, и служебная карьера его пошла, какъ по маслу. «Недѣли черезъ двѣ, въ приказахъ было отдано, что титулярный совѣтникъ Калиновичъ опредѣленъ чиновникомъ особыхъ порученій при одномъ очень важномъ лицѣ. Черезъ годъ произведенъ онъ былъ въ коллежскіе ассессоры, награжденъ вслѣдъ за тѣмъ орденомъ Анны 3-й степени, а года черезъ два чиномъ — надворнаго совѣтника. Занявъ потомъ мѣсто чиновника особыхъ порученій пятаго класса, онъ, въ продолженіе четырехъ лѣтъ, получилъ коллежскаго совѣтника, Владимира на шею и назначенъ былъ, наконецъ, исправляющимъ должность вице-губернатора въ ту самую губернію, въ которой нѣкогда былъ ничтожнымъ училищнымъ смотрителемъ.»

Эта губернія управлялась совершенно въ духѣ добраго стараго времени. Во главѣ управленія стоялъ генералъ-лейтенантъ Базарьевъ, одинъ изъ тѣхъ людей, которые твердо убѣждены, что не чиновники существуютъ для государства, а государство для чиновниковъ, и потому все чиновническое сословіе губерніи блаженствовало подъ отеческой властью этого воеводы. Новый вице-губернаторъ, какъ уже вы знаете, смотрѣлъ совершенно иначе на государственную службу, чѣмъ генералъ Базарьевъ. Онъ могъ поступить неблагородно съ дѣвушкой, въ которую былъ влюбленъ, могъ обольстить ее, могъ продать себя за деньги женщинѣ, которую презиралъ; но государственная служба была для него дѣломъ священнымъ и, какъ чиновникъ, онъ былъ неподкупенъ и неумолимо справедливъ съ подчиненными. Понятно, что между новымъ вице-губернаторомъ и начальникомъ губерніи произошло столкновение. Калиновичъ, сколько это было въ предѣлахъ его власти, сталъ смѣло раскрывать злоупотребленія по всей губерніи и, несмотря на отпоръ со стороны губернатора и другихъ губернскихъ властей, сталъ энергически противодействовать всякимъ злоупотребленіямъ, и незаконнымъ дѣйствіямъ власти. Слухъ о злоупотребленіяхъ, раскрытыхъ Калиновичемъ, дошелъ до Петербурга, и оттуда

былъ присланъ чиновникъ, для разъясненія дѣла. Чиновникъ этотъ и не заглянулъ къ губернатору, а повидавшись съ однимъ только вице-губернаторомъ, отправился прямо на слѣдствіе. Этимъ оскорбился не только губернаторъ, но и всѣ чиновники губернскаго города припили въ негодованіе отъ такого *laesio majestatis* своего благодѣтеля и отца командира. И вотъ всѣ подчиненные рѣшились дать ему торжественный обѣдъ, дабы излить передъ нимъ чувства благодарности и уязвить его противника — Калиновича. Обѣдъ былъ обильный, собраніе многолюдно. Начались привѣтственные тосты виновнику торжества. Губернаторъ пришелъ въ умиленіе, всталъ передъ собраніемъ и произнесъ слѣдующій краткій, но восторженный до поэзіи спичъ: «Господа, на все это я могу отвѣтить только драгоценнымъ для насъ изреченіемъ: «разумѣйте, языцы, яко съ нами Богъ!» — «Съ нами Богъ!» повторило восторженно за нимъ все нечистое сонмище взяточниковъ и казнокрадовъ и принялось качать на рукахъ своего начальника.

Но результаты слѣдствія оказались въ пользу Калиновича, — и губернаторъ былъ отставленъ, а Калиновичъ назначенъ на его мѣсто. Сдѣлавшись полнымъ хозяиномъ губерніи, онъ могъ показать и показалъ на болѣе широкомъ масштабѣ и свой умъ, и свои познанія, и свою непоколебимую честность. Быстро подъ его управленіемъ все начало принимать новый видъ. Онъ цѣлыми толпами сталъ отставлять продажныхъ чиновниковъ, прижалъ откупъ и всюду истреблялъ казнокрадство. Словомъ, въ его правленіе, по выраженію Пушкина, какъ въ правленіе *Анджело*,

Законъ поднялись, хватая въ когти зло.

Но эти благія дѣйствія не прошли ему даромъ. Слишкомъ сильна была та темная сила, съ которой ему пришлось бороться. Противъ него были воздвигнуты всевозможныя козни, и онъ вскорѣ былъ отставленъ отъ службы. Съ этимъ обстоятельствомъ совпало другое: его оставила его жена, и онъ пересталъ быть распорядителемъ ея имѣнія и капиталовъ; у него осталась только та совсѣмъ негромадная сумма денегъ, за которую онъ себя продалъ.

Такъ жалко и пошло кончилъ свою карьеру человѣкъ съ такимъ сильнымъ характеромъ и съ такими громадными требованіями отъ жизни, какъ Калиновичъ, благодаря своему слишкомъ ревностному поклоненію извѣстному Ваалу и чрезмѣрному уваженію къ внѣшнему блеску жизни. Конечно, смѣшно говорить съ сожалѣніемъ объ участи вымышленнаго лица; но какъ не скорбѣть глубоко душою, когда вспомнишь, что это лицо является вѣрнымъ зеркаломъ огромнаго большинства нашихъ современниковъ, готовыхъ жертвовать всѣмъ изъ-за денегъ и комфорта!

«Для кого же, впрочемъ, восклицаетъ нашъ авторъ, для кого изъ солидныхъ и образованныхъ молодыхъ людей нашего времени не имѣетъ такого значенія комфортъ?» Авторъ дошелъ до твердаго убѣжденія, что для насъ, дѣтей нынѣшняго вѣка, слава, любовь, міровыя идеи, безсмертіе—ничто передъ комфортомъ. Все это въ душахъ нашихъ случайное: одинъ только онъ стоитъ впереди нашего пути, съ своей неизмѣримо притягательной силой. Къ нему-то мы направляемъ всѣ наши усилія. Онъ одинъ нашъ идолъ, и въ жертву ему приносится все дорогое, хотя бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную его артерію и кровью изойти, но только близенько, на подножіи нашего золотого тельца. «Для комфорта проводится трудовая, до чахотки, жизнь; для комфорта десятки лѣтъ изгибаются, кланяются, кривятъ совѣстью; для комфорта кидаютъ семейство, родину, ѣдутъ кругомъ свѣта, тонуть, умираютъ съ голода въ степяхъ; для комфорта чистымъ и нечистымъ путемъ ищутъ наслѣдства; для комфорта берутъ взятки и совершаютъ, наконецъ, преступленія!»..

Послѣ этихъ словъ, нашимъ слушателямъ не трудно разгадать идею романа.

У насъ, милостивые государи, не достало бы времени подвергать хотя и краткому анализу каждое произведеніе нашего юбиляра. Онъ написалъ десять большихъ романовъ, десять театральныхъ піесъ и многое множество повѣстей, рассказовъ и разныхъ очерковъ. Между его произведеніями есть такіа, какъ,

напримѣръ, *Горькая Судьбина*, трагедія изъ Русскаго просто-народнаго быта, представляющая такую глубину психическаго анализа, что потребовалось бы написать цѣлый томъ, чтобъ указать подробно на всѣ красоты ея. Лучше въ заключеніе нашей рѣчи бросимъ опять взглядъ на общій характеръ дѣятельности нашего юбиляра.

Въ произведеніяхъ Писемскаго на читателя дѣйствуютъ съ равною силой оба главные элемента поэзіи — и трагическій, и комическій. И пафосъ его, и его юморъ изумительны. Другая замѣчательная черта его произведеній: какой-бы быть ни изображалъ онъ, его изображенія всегда поражаютъ вѣрностью. Онъ какъ у себя дома и въ крестьянской избѣ, и въ великолѣпномъ домѣ помѣщика, и въ канцеляріи уѣзднаго суда, и въ засѣданіи акціонернаго общества. Наконецъ, должно замѣтить, что въ продолженіе всей его двадцатипятилѣтней литературной дѣятельности не было ни одного социальнаго вопроса, ни одного общественнаго явленія нашей жизни, ни одной идеи, возникшей въ средѣ нашей интеллигенціи, которые онъ прошелъ бы равнодушнымъ молчаніемъ въ своихъ произведеніяхъ.

Въ виду такого честнаго, широкаго и многосторонняго служенія Русскому слову и нашей общественной мысли, могло ли Общество Любителей Россійской Словесности не почтить присутствіемъ Алексѣя Теофилактовича Писемскаго, по случаю двадцатипятилѣтняго юбилея его дѣятельности? могло ли образованное общество Москвы не отнестись съ горячимъ сочувствіемъ къ этому юбилею, и могутъ ли наконецъ любители Россійской Словесности не принести глубокой благодарности за это сочувствіе представителямъ Московскаго общества — нашимъ почтеннымъ посѣтительницамъ и посѣтителямъ?

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ „ГОРЯ ОТЪ УМА“,

1862 г.

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ

„ГОРЯ ОТЪ УМА.“

Наконецъ-то, знаменитое поэтическое произведение, которое, около сорока лѣтъ тому назадъ, разошлось по всей Россіи въ неслыханномъ множествѣ рукописныхъ экземпляровъ, произведение, которое всякій мало-мальски образованный Русскій знаетъ отъ начала до конца,—наконецъ-то, это національнѣйшее изъ нашихъ литературныхъ произведений (разумѣется, послѣ басенъ Крылова) напечатано безъ пропусковъ и искаженій. Смотришь и не вѣришь глазамъ!.. Представьте себѣ, что всѣ тѣ ужасныя мѣста Грибоѣдовской комедіи, которыя всѣми повторяются на память и которыя до сихъ поръ были тщательно скрываемы отъ нашей публики, теперь напечатаны совершенно такъ, какъ означенная публика читала ихъ въ рукописи. Любопытно посмотреть, что это за ужасныя мѣста и «въ какой мѣрѣ», по выраженію Гоголевскаго городничаго, «ихъ должно опасаться.» Посмотримъ.

Начнемъ съ самаго ужаснѣйшаго пассажа, а именно:

До сихъ поръ во всѣхъ печатныхъ экземплярахъ, Репетиловъ, рассказывая о своей неудачной женитьбѣ на дочери барона фонъ-Клока, мѣтившаго въ министры, въ заключеніе выражался такъ:

Женился, наконецъ, на дочери его,
Въ приданое взялъ — шипъ, по службѣ — ничего,
Тесть знатный, а что проку.

Послѣдній стихъ теперь читается:

Тесть *Нямецъ*, а что проку!

Другія измѣненныя или пропущенныя мѣста не менѣе ужасны. Приводимъ ихъ безъ коментаріевъ и въ такомъ порядкѣ, въ какомъ они слѣдуютъ въ книгѣ.

Въ IV явленіи перваго дѣйствія, въ монологѣ Фамусова, послѣ стиховъ:

Да не въ мадамъ сила:
Не надобно другаго образа,
Когда въ глазахъ примѣръ отца.

въ печатныхъ экземплярахъ было пропущено:

Смотри ты на меня: не хвастаюсь сложеніемъ,
Однако-жъ бодръ и свѣжъ, и дожилъ до сѣдинъ,
Свободенъ, вдовъ, себя я господинъ...
Монашескимъ извѣстенъ поведеніемъ!

Въ знаменитомъ монологѣ Фамусова о томъ, какъ Максимъ Петровичъ попалъ въ силу, вслѣдствіе своего троекратнаго паденія на куртагъ, прежде читалось:

Былъ *одобрительной* пожалованъ улыбкой.

Въ наше время читается:

Былъ *высочайшею* пожалованъ улыбкой... *)

Въ отвѣтномъ монологѣ Чацкаго на монологъ Фамусова о Максимѣ Петровичѣ пропускались до сихъ поръ въ печати слѣдующіе заключительные стихи:

Хоть есть охотники поподличать вездѣ,
Да нынче смѣхъ страшить, и держать стыдъ въ уздѣ,
Недаромъ жалуютъ ихъ скупю государи!

Пропускалось также и восклицаніе Фамусова, вызванное этой сентенціей:

Ахъ, Боже мой, онъ карбонарій!

Въ слѣдующемъ за этимъ восклицаніемъ споръ между Фамусовымъ и Чацкимъ видимъ теперь пережѣну такого рода:

*) Монологъ о Максимѣ Петровичѣ весьма долгое время вовсе не появлялся въ печати, хотя и провозносился на сценѣ, и только въ очень недавнее время мы увидали его въ изданіяхъ, печатанныхъ „по рукописи, употребляемой при представленіи комедіи на Императорскихъ театрахъ.“

Послѣ словъ Чацкого:

У покровителей звать на потолокъ,
Явиться помолчать, пошаркать, пообздать,
Подставить стулъ, поднять платокъ.

Прежде читалось:

Нынѣ читается:

Фамусовъ..

Фамусовъ.

Вотъ что онъ ввдумалъ проповѣдать. Онъ волюность хочеть проповѣдать.

Чапкiй.

Чапкiй.

Кто путешествует, въ деревнѣ кто Кто путешествует, въ деревнѣ кто
живетъ... живетъ...

Фамусовъ.

Фамусовъ.

Онъ ничего не признаетъ.

Да онъ властей не признаетъ.

Послѣ словъ Чацкаго, обращенныхъ къ Фамусову, заткнувшему себѣ уши:

Да обернитесь, васъ зовутъ.

ВЪ ПРЕЖНИХЪ ИЗДАНІЯХЪ МЫ ЧИТАЛИ:

Фамусовъ.

А? Что? Ну, такъ и жду содома!

теперь слѣдуетъ читать:

А! бунтъ! Ну, такъ и жду содома. *)

Въ разговорѣ Фамусова съ Скалозубомъ пропущены слѣдующія слова Скалозуба:

Да, чтобъ чины добыть, есть многіе каналы:
Объ нихъ какъ истинный философъ я сужу;
Мнѣ только бы дѣсталось въ генералы.

Въ панегирикѣ Фамусова Москвѣ мы теперь въ первый разъ
видимъ въ печати стихи:

А дочекъ кто видалъ,—всѣхъ голову повѣсы!
Его величество король былъ прусскій адъясъ:
Дивился не путемъ московскимъ онъ двѣицамъ,
Ихъ благонавію, не лицамъ.

*) Мы сказали: слѣдуетъ читать, потомучто въ изданіи г. Тиблена, изобилующемъ опечатками, стихъ этотъ читается такъ: „А? бунтъ! я такъ и
жду садома!“

Въ монологѣ Чацкаго, начинающемся словами:

„А судьи кто?“

(дѣйствіе II, явленіе 5), теперь въ первый разъ напечатано:

Мундиры! одинъ мундиръ! Онъ, въ прежнемъ ихъ быту,
Когда-то укрывалъ — расшитый и красивый —
Ихъ слабодушіе, разсудка нищету.

И намъ за ними въ путь счастливый?

И въ женахъ, въ дочерахъ къ мундиру та-же страсть.
Я самъ къ нему давно-ль отъ нѣжности отрекся?
Теперь ужъ въ это мнѣ ребячество не впасть,

Но кто-бъ тогда за всѣми не увлекся?

Когда изъ гвардіи, иные отъ двора,
Сюда на время призвали:
Бричали женщины — ура!
И въ воздухъ чепчики бросали.

Въ слѣдующемъ явленіи, въ монологѣ Скалозуба, послѣ стиховъ:

Мнѣ нравится, при этой снѣгъ,
Искусно какъ коснулись вы
Предубѣжденія Москвы.

прежде обыкновенно пропускалось:

Къ любимцамъ, къ гвардіи, къ гвардейцамъ, къ гвардіонцамъ:
Ихъ золотцу, шитью — дивятся будто солнамъ!
А въ первой арміи когда отстали? въ чемъ?
Все такъ прилажено, и талы все такъ узки,
И офицеровъ вамъ начтемъ,
Что даже говорить иные по-французски!

Въ разговорѣ Чацкаго съ Молчалинымъ (дѣйствіе III, явленіе 3), въ прежнихъ изданіяхъ дѣлалось столько замѣчательныхъ перемѣнъ противъ подлинника, что мы считаемъ нужнымъ привести, для параллели, разговоръ этотъ вполнѣ:

Въ прежнихъ изданіяхъ мы читаемъ: Въ изданіи г. Тиблена:

Молчалинъ.

Молчалинъ.

Вамъ не дались чины?

Вамъ не дались чины? *по службѣ не успѣхъ?*

Чацкій.

Чацкій.

Не всякому успѣхъ.

*Чины людямъ даются,
А люди могутъ обмануться.*

Молчалинъ.

Какъ удивлялись мы!

Чацкій.

Какое-жъ диво тутъ?

Молчалинъ.

Жалки высь.

Чацкій.

Напрасный трудъ.

Молчалинъ.

Молчалинъ.

Татьяна Юрьевна разказывала что-то,
Изъ Петербурга воротясь,
Съ *ими важными людьми* про
вашу связь,
Потомъ разрывъ...

Татьяна Юрьевна разказывала что-то,
Изъ Петербурга воротясь,
Съ *министрами* про вашу связь,
Потомъ разрывъ...

Чацкій.

Ей почему забота?

Молчалинъ.

Татьянъ Юрьевнъ?

Чацкій.

Я съ нею незнакомъ.

Молчалинъ.

Съ Татьяной Юрьевной?

Чацкій.

Съ ней вѣкъ мы не встрѣчались.

Слыхалъ, что вадорная.

Молчалинъ.

Да это, полно, та ли-сь?

Татьяна Юрьевна! известная; притомъ

Чиновные и должностные

Всѣ ей друзья и всѣ родные.

Еъ Татьянъ Юрьевнъ хотъ разъ бы съзвѣдять вамъ...

Чацкій.

На что же?

Молчалинъ.

Такъ. Частенько тамъ

Мы покровительство находимъ, гдѣ не жѣтимъ.

Чацкій.

Я вижу къ женщинамъ, да только не за этимъ.

Молчалинъ.

Какъ обходительна, добра, мила, проста!

Балы 'даетъ, нельзя богаче,

Отъ Рождества и до поста,

И лѣтомъ праздники на дачѣ.

Ну, право, чтобы вамъ въ Москвѣ у насъ служить?

И награжденья брать и весело помить!

Чацкій.

Когда въ дѣлахъ — я отъ веселій прячусь;

Когда дурачиться — дурачусь,

А смѣшивать два эти ремесла

Есть тѣмъ искусниковъ: я не изъ ихъ числа.

Молчалинъ.

Простите. Впрочемъ, тутъ не вижу преступленья;

Вотъ самъ Ома Омичъ, — знакомъ онъ вамъ?

Чацкій.

Ну, что-жъ?

Молчалинъ.

Молчалинъ.

Отличнаго ума и поведенія.

*При трехъ министрахъ былъ начальникомъ
отдѣленья,*

Изъ Петербурга къ намъ переведенъ.

Переведенъ сюда...

Чацкій.

Хорошъ!

Пустѣйшій человекъ изъ самыхъ безтолковыхъ.

Молчалинъ.

Какъ можно! Слогъ его здѣсь ставятъ въ образецъ.

Читали вы?

Чацкій.

Я глупостей не чтецъ,

А пуще образцовыхъ.

Молчалинъ.

Нѣтъ, мнѣ такъ довелось съ пріятностью прочесть.

Не сочинитель я...

Чацкій.

И по всему замѣтно.

Молчалинъ.

Не смѣю моего сужденія произнести.

Чацкій.

Зачѣмъ же такъ секретно?

Молчалинъ.

Въ мои лѣта не должно смѣть
Свое сужденіе имѣть.

Чацкій.

Помилуйте, мы съ вами не ребята;
Зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы?

Молчалинъ.

Вѣдь надобно-жъ другимъ имѣть съ
виду.

Молчалинъ.

Вѣдь надобно-жъ зависѣть отъ дру-
гихъ.

Чацкій.

Зачѣмъ же надобно?

Чацкій.

Зачѣмъ же надобно?

Молчалинъ.

Чтобъ не попасть въ бѣду.

Молчалинъ.

Въ чинахъ мы не боимся.

На вопросъ Хлестовой:

Вы прежде были здѣсь... въ полку томъ гренадерскомъ?

Скалозубъ въ прежнихъ изданіяхъ обыкновенно отвѣчалъ:

То-есть, хотите вы сказать,
Въ Новоземлянскомъ мушкатерскомъ.

а теперь рѣшается прямо сказать:

Въ Ею Высочества, хотите вы сказать,
Новоземлянскомъ мушкатерскомъ.

Въ разговорѣ Загорѣцкаго съ глухою графиней-бабушкой
находимъ теперь тоже слѣдующую очень опасную фразу, печата-
емую здѣсь нами курсивомъ:

Гр. Вабушка.

Что? къ фармацевтамъ съ клябъ?
Пошелъ онъ въ бусурманы?

Въ преніи о причинахъ помѣшательства Чацкаго до сихъ поръ не печаталось слѣдующее мѣсто, которое одно могло бы дать Грибоѣдову право на славу замѣчательнаго сатирика.

Ученье — вотъ чума! учевость — вотъ причина,
Что нынче пуще, чѣмъ когда,
Безумныхъ развелось людей и дѣлъ, и мнѣній..

Хлестова.

И впрямь съ ума сойдешь отъ этихъ отъ однихъ
Отъ пансіоновъ, школъ, лицеевъ... какъ бишь ихъ?
Да отъ ланкартчныхъ взаимныхъ обученій.

Княгиня.

Нѣтъ, въ Петербургѣ институтъ
Пе...да...го...нический, — такъ, кажется, зовутъ...
Тамъ упражняются въ расколахъ и безвѣрїи
Профессора! У нихъ учился нашъ родня,
И вышелъ, хоть сейчасъ въ аптеку, въ подмастерья;
Отъ женщинъ бѣгаетъ, и даже отъ меня;
Чиновъ не хочетъ знать! онъ химикъ, опъ ботаникъ,
Князь Ѳедоръ, мой пламянникъ!

Скаловубъ.

Я васъ обрадую: всеобщая молва,
Что есть проектъ насчетъ лицеевъ, школъ, гимназій;
Тамъ будутъ лишь учить по нашему: разъ, два, —
А книги сохранять такъ, для большихъ оказій.

Фамусовъ.

Сергѣй Сергѣичъ! нѣтъ, ужъ коли зло пресѣчь, —
Забрать всѣ книги бы, да сжечь.

Загорѣцкій, съ кротостью.

Нѣтъ-съ, книги книгамъ рознь; а еслибъ между нами
Былъ цензоромъ назначенъ я,
На басни бы налегъ. Охъ, басни смерть моя!
Насмѣшки вѣчныя надъ львами, надъ орлами!
Ето что ни говори, —
Хоть и животныя, а все-таки цари.

Въ разговорѣ между Чацкимъ и Репетиловымъ тоже теперь встрѣчаемъ перемѣны.

Репетиловъ.

Изъ шумнаго я засѣданья.
Пожалуйста, молчи, я слово далъ молчать.
У насъ есть общество и тайныя собранья
По четвергамъ. Секретнѣйшій союзъ!

Чацкій.

Ахъ братецъ, я боюсь!
Какъ въ клубъ?

Репетиловъ.

Именно!..

Чацкій.

Вотъ мнѣ чрезвычайны,
Чтобъ въ зашеи прогнать и васъ, и ваши тайны.

Репетиловъ.

Напрасно страхъ тебя беретъ.
Вслухъ громко говоримъ, никто не разберетъ.

Все, что перепечатано нами здѣсь курсивомъ, только въ нынѣшнемъ году въ первый разъ довѣрено типографскимъ станкамъ.

Разсужденіе Репетилова о государственной службѣ тоже, наконецъ, обнародовано. Вотъ этотъ глубокомысленный и энергическій протестъ противъ существующаго порядка вещей:

Секретари его *) всѣ хамы, всѣ продажны,
Людишки, пишущая тварь,
Всѣ вышли въ знать, всѣ нынче важны:
Гляди-ка въ адресъ-календарь.
Тьфу! служба и чины, кресты—душѣ мытарства.
Лохмотьевъ Алексѣй чудесно говорить,
Что радикальныя потребны тутъ дѣла: права:
Желудокъ больше не варить.

Наконецъ, люди, незнающіе *Горя отъ ума* по рукописи, могутъ узнать изъ изданія г. Тиблена еще три ужасныя вещи. Во-первыхъ, что Репетиловъ толкуетъ въ клубѣ не о литературномъ дѣлѣ, а о *государственномъ*, во-вторыхъ, что Загорѣцкій искренно признается Репетилову, что онъ *ужасный либералъ*, и в-третьихъ, что Чацкій, наединѣ съ самимъ собой, называетъ Скалозуба *созвѣздіемъ маневровъ и мазурки*.

*) Варона фонъ-Клока, мѣтившаго въ министры.

И такъ вотъ всё, — сколько мы могли замѣтить, зловредныя мѣста, которыя утаивались въ продолженіе почти сорока лѣтъ отъ публики, впрочемъ, знавшей ихъ наизусть. Замѣчательно, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ появились дешевыя изданія *Горя отъ ума*, въ которыхъ подобныя утайки увеличились числомъ и усилились характеромъ. Такъ, напримѣръ, тогда было сочтено нужнымъ скрыть отъ публики, что Сергѣй Сергѣичъ Скалозубъ *полковникъ*, между тѣмъ какъ онъ лѣтъ тридцать состоялъ печатно въ этомъ чинѣ. Не понимаемъ, за что же былъ разжалованъ такой исправный служивый?

Нельзя не поблагодарить издателя, что онъ первый напечаталъ *Горе отъ ума* въ полномъ видѣ, и при этомъ нельзя не порадоваться, какою любовью и популярностью пользуется безсмертное произведеніе Грибоѣдова; ибо, несмотря на то, что въ каждомъ порядочномъ домѣ есть одинъ или нѣсколько рукописныхъ экземпляровъ этой комедіи, новое изданіе ея раскупается на расхватъ; конечно, этому способствуетъ и цѣна: эта опрятно и довольно красиво (хотя увы! со множествомъ опечатокъ) изданная книжечка стоитъ всего гривенникъ.

М. Е. КУБЛИЦКІЙ.

1875 г.

М. Е. КУБЛИЦКІЙ.

НЕКРОЛОГЪ *).

Еще потеря! Въ ночь со 2-го на 3-е іюня скончался въ Москвѣ Михаилъ Егоровичъ Кублицкій. Кто въ Москвѣ не зналъ его? но многіе ли его цѣнили по достоинству? Въ этой потерѣ двѣ потери—потеря для искусства, потеря для общества. Искусство потеряло въ немъ безпристрастнаго, тонкаго и въ высшей степени просвѣщеннаго цѣнителя, общество—серьезнаго собесѣдника, серьезности рѣчей котораго оно, благодаря простотѣ выраженій покойнаго и отсутствію педантизма, до сихъ поръ, можетъ быть, еще и не замѣчало. Этотъ человѣкъ былъ связующимъ звеномъ между свѣтскимъ обществомъ и ученымъ и художественнымъ міромъ. Онъ излагалъ передъ свѣтскими людьми въ общедоступной формѣ все, что выработала наука, преимущественно эстетика. У этого человѣка надъ всѣми чувствами преобладала одна страсть — любовь къ искусству; къ этой страсти примыкалъ самый живой интересъ къ успѣхамъ и движенію по всѣмъ отраслямъ человѣческихъ знаній. Онъ могъ сказать про себя: *homo sum et nihil humanum a me alienum esse puto*. Онъ горячо интересовался и волновался всѣмъ, что относится къ области интеллигенціи: онъ не оставлялъ не прочитанной ни одной сколько-нибудь замѣчательной книги, не пропускалъ ни одного замѣчательнаго спектакля или концерта,

*) Михаилъ Егоровичъ Кублицкій родился въ 1821 году въ Рязани. Служилъ въ некоторое время при московскомъ губернскомъ прокурорѣ. Въ 1848 г. посѣтилъ Парижъ и съ того времени почти ежегодно проводилъ лѣто за границей.

ни одного диспута на ученую степень, ни одной вступительной лекціи новаго профессора. Всякій сколько-нибудь замѣчательный дѣятель на поприщѣ искусства или науки ужь былъ близокъ его сердцу, какъ кровный родственникъ, хотя бы онъ вовсе не былъ ему знакомъ лично: онъ, Богъ знаетъ откуда, узнавалъ самыя тонкія подробности его біографіи, и только-что умиралъ одинъ изъ подобныхъ дѣятелей, какъ сію же минуту изъ устъ Кублицкаго можно было выслушать самую непристрастную оцѣнку всѣхъ достоинствъ умершаго и такіе многозначительные факты изъ его жизни, какихъ мы почти никогда не встрѣчаемъ въ газетныхъ некрологахъ. Это былъ человѣкъ, изучавшій всю свою жизнь глубоко и основательно искусство, преимущественно сценическое и музыкально-драматическое, изучавшій его какъ въ памятникахъ и преданіяхъ прошедшаго времени, такъ и въ современныхъ явленіяхъ... И какой глубокій знатокъ былъ онъ въ сценѣ, какъ онъ понималъ Шекспира, какъ тонко анализировалъ онъ игру актеровъ и пѣніе драматическихъ пѣвцовъ! А между тѣмъ многіе ли изъ знавшихъ его знаютъ, какой онъ былъ глубокій знатокъ и цѣнитель искусствъ?.. Но отчего же? Вѣдь онъ не таилъ своихъ знаній, вѣдь онъ говорилъ всегда объ искусствѣ во всеуслышаніе... Дѣло въ томъ, что онъ говорилъ черезчуръ просто, скромно, не принимая на себя вида ученаго знатока или генерала отъ эстетической критики: онъ говорилъ, какъ человѣкъ равный всѣмъ присутствующимъ... И какое наслажденіе было слушать его, спорить съ нимъ! Какъ бы ни былъ онъ затронутъ за живое въ спорѣ, онъ сохранялъ всегда не только наружное, но и внутреннее спокойствіе: при самомъ горячемъ спорѣ въ голосѣ его никогда не слышалось ни одного раздраженнаго звука. Намъ недавно случилось слышать за однимъ обѣдомъ, устроеннымъ литераторами, какъ одинъ археологъ (въ высшей степени серьезный знатокъ русскихъ древностей, но eo ipso не знатокъ пѣнія) спорилъ съ Кублицкимъ о какой-то пѣвицѣ. Человѣкъ съ другимъ характеромъ, чѣмъ покойный Михаилъ Егоровичъ, могъ бы разгромить и уничтожить своего оппонента, заваливъ его

одними учеными терминами, или же не сталъ бы вовсе говорить съ нимъ; но покойный спорилъ съ своимъ противникомъ, спорилъ съ какой-то отеческой нѣжностью, стараясь доказать ему въ самыхъ общедоступныхъ, въ самыхъ популярныхъ выраженіяхъ достоинство защищаемой имъ пѣвицы.—Искусство, изящное, прекрасное, въ самомъ высокомъ значеніи этого слова, было для Кублицкаго все: онъ могъ бы сказать вмѣстѣ съ Моцартомъ Пушкина, обращаясь къ кому-нибудь изъ себѣ подобныхъ (каковыхъ, впрочемъ, у насъ не слишкомъ много):

Когда бы всѣ такъ чувствовали силу
Гармоніи! Но нѣтъ! Тогда-бъ не могъ
И міръ существовать: никто-бъ не сталъ
Заботиться о нуждахъ низкой жизни,
Всѣ предались бы вольному искусству.
Насъ мало избранныхъ, счастливыхъ праздныхъ,
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единого прекраснаго жрецовъ!..

Изъ произведеній покойнаго Кублицкаго наиболѣе замѣчательны его книги: «Исторія театра» и «Исторія музыкальной драмы,» а также и статьи его и замѣтки о спектакляхъ и концертахъ, печатавшіяся въ разныхъ газетахъ за подписью М. К. Въ послѣднее время, вооружившись громадной эрудиціей по части всего, что касается сцены, онъ задумалъ цѣлый рядъ статей о замѣчательнѣйшихъ сценическихъ художникахъ, то есть объ актерахъ и драматическихъ пѣвцахъ. Но онъ успѣлъ написать только характеристику трагика Мочалова, которую прочиталъ въ публичномъ засѣданіи въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности, состоящемъ при Московскомъ университетѣ; чтеніе имѣло громадный успѣхъ. Какъ намъ памятно это чтеніе! какъ намъ памятны послѣднія заключительныя слова Кублицкаго! Говоря о томъ, что онъ счелъ долгомъ сказать все что знаетъ и все, что можетъ сказать о Мочаловѣ, онъ прибавилъ: «Мочаловъ былъ любимецъ московскаго общества; онъ умеръ почти тридцать лѣтъ тому назадъ, и до сихъ поръ нѣтъ

ни одной его біографіи, ни одной статьи о немъ .. Мы рѣшились говорить о Мочаловѣ съ той цѣлью, чтобъ никто не могъ примѣнить къ нашему трагику словъ Гамлета объ Офеліи:

Схоронили — позабыли.“

И мы пишемъ этотъ некрологъ съ той цѣлью, чтобъ никто не имѣлъ права сказать, что у насъ въ Москвѣ, похоронивъ Кублицкаго, позабыли его.

ЯНВАРСКАЯ КНИЖКА „РУССКАГО ВѢСТНИКА“ 1875 Г.

1875 г.

ЯНВАРСКАЯ КНИЖКА „РУССКАГО ВѢСТНИКА“ 1875 Г.

Никогда первая книжка *Русскаго Вѣстника* не была привлекательнѣе теперешней. Въ ней напечатана новая піеса А. Ѳ. Писемскаго («Просвѣщенное время») и начало новаго романа Л. Н. Толстаго («Анна Каренина»). Писемскій, Толстой — дорогія имена для нашей публики: такіа имена, вслѣдствіе экономическихъ соображеній издателей, рѣдко сходятся у насъ въ литературѣ въ одной журнальной книжкѣ. Писемскій, не говоря уже о его талантѣ, теперь особенно интересенъ для публики, какъ недавній юбиляръ, юбилей котораго былъ принять съ такимъ горячимъ сочувствіемъ всѣми, кому дорога родная словесность. О немъ такъ много говорятъ теперь и въ обществѣ, и въ печати, что можно вообразить, съ какимъ живымъ интересомъ будутъ читать его піесу даже и тѣ, кто видѣли ее на сценѣ въ прошлый четвергъ. Не станемъ рассказывать подробно содержаніе драмы Писемскаго; укажемъ только на ея идею. Авторъ не въ первый разъ (и надѣмся, не въ послѣдній) ставить къ позорному столбу, какъ онъ дѣлаетъ это въ новой своей піесѣ, главный порокъ нашего времени — всецѣлую преданность материализму. Но до сихъ поръ онъ раскрывалъ передъ нами въ своихъ энергическихъ сатирахъ только одну сторону этого постыднаго недуга — рабское поклоненіе деньгамъ и чрезмѣрное стремленіе къ внѣшнимъ удобствамъ жизни, въ ущербъ нравственнымъ интересамъ. Новая же его піеса указываетъ на другую сторону этой нравственной эпидеміи — на грубыя отношенія мужчины къ женщинѣ, — тѣ грубыя отношенія, которыя не замѣтишь въ гостинной и которыя состав-

ляютъ тайну внутреннихъ комнатъ. Удовлетвореніе чувственныхъ желаній безъ освященія ихъ высокимъ чувствомъ нравственной привязанности, основанномъ на уваженіи къ душевнымъ достоинствамъ женщины, представляетъ такое явленіе семейной жизни, которое давно - бы должно было вызвать негодованіе серьезнаго сатирика. Сколько людей, которые думаютъ, что цѣль брака составляетъ только чувственное наслажденіе, и что онъ не обязываетъ ни къ какому нравственному долгу мужа передъ женой. Конечно, эти люди ни въ чемъ не повинны передъ закономъ, который не можетъ входить въ регламентацію супружескихъ отношеній, какъ дѣлалъ это предполагаемый авторъ Домостроя, добрый попъ Сильвестръ, указывавшій грозному царю, какъ нужно жить съ Анастасіей, и умѣрившій своими наставленіями его влюбленный пылъ. Но неужели такъ трудно понять, что сношенія съ женой, состояція только изъ однихъ поцѣлуевъ, унижаютъ святость брака и дѣлаютъ изъ женщины только «рабу желаній легкихъ мужа», какъ выразился Пушкинъ, и... и просто развращаютъ ее — притупляютъ въ ней нравственную привязанность къ мужу. Эти-то грубые отношенія и разоблачилъ, съ свойственной ему силой и неумолимой строгостью, Писемскій въ новой своей піесѣ. Женщина, въ ней представленная, не нашла удовлетворенія чувству нравственной страсти ни въ мужѣ, ни въ любовникѣ, который измѣняетъ ей самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Она видитъ, что не она одна такъ несчастна въ любви, видитъ, что вокругъ нея повсюду сближенія между мужчиной и женщиной основываются только или на грубыхъ плотскихъ влеченіяхъ, или на алчности къ деньгамъ. Обманутая всѣми и лишенная всякихъ средствъ къ существованію, она приходитъ въ отчаяніе, близкое къ сумасшествію, и прибѣгаетъ къ самому распространенному въ наше время, самому модному способу покончить съ своими страданіями, т. е. застрѣливается изъ револьвера. Передъ тѣмъ какъ совершить самоубійство, она, сидя за ужиномъ, въ присутствіи мужа и любовника, требуетъ вина и провозглашаетъ слѣдующій тостъ: «за здоровье всѣхъ лоретокъ, кокотокъ и камелій! Что-жъ

вы не пьете? Вы только ихъ и любите нынче... Онѣ вамъ милѣй всякой честной женщины, и не почему другому, какъ потому, что менѣе затрогиваютъ вашъ эгоизмъ: ихъ можно бросить каждоминутно, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, хоть умри она отъ того, и сейчасъ-же найти другую — лучше, моложе... красивѣе!... Пейте!»

Дай-то Богъ, чтобы эти слова — этотъ вопль отчаянія не былъ гласомъ вопіющаго въ пустынь въ отношеніи читателей новой піесы, чтобы онъ вызвалъ краску на лицо многихъ и пробудилъ бы въ нихъ чувство стыда и раскаянія!

Новый романъ Толстаго полонъ всѣхъ тѣхъ достоинствъ и красотъ, которыми мы привыкли любоваться въ его произведеніяхъ, — глубиной психическаго анализа, мастерскимъ очерченіемъ характеровъ и разнообразіемъ и изобиліемъ новыхъ типовъ. Мы не станемъ разбирать этотъ романъ, такъ какъ теперь изъ него напечатаны только первыя семь главъ, а онъ, говорятъ, будетъ печататься въ продолженіе цѣлаго года. Мы ограничимся приведеніемъ изъ него двухъ цитатъ. Вотъ интересное мѣсто изъ описанія характера одного изъ дѣйствующихъ лицъ — лица особенно замѣчательнаго, какъ представляющаго самый, такъ сказать, современный типъ русскаго человѣка извѣстнаго круга:

«Степанъ Аркадьевичъ получалъ и читалъ либеральную газету, не крайнюю, но того направленія, котораго держалось большинство. И не смотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика собственно не интересовали его, онъ твердо держался тѣхъ взглядовъ на всѣ эти предметы, какихъ держалось большинство и его газета, и измѣнялъ ихъ только когда большинство измѣняло ихъ, или лучше, не измѣнялъ ихъ, а они сами въ немъ, незамѣтно, измѣнялись.

«Степанъ Аркадьевичъ не избиралъ ни направленія, ни взглядовъ, а эти направленія и взгляды сами приходили къ нему, точно такъ же, какъ онъ не выбиралъ формы шляпы или сюртука, а бралъ которыя носятъ. А имѣть взгляды, ему, жившему въ извѣстномъ обществѣ, при нѣкоторой дѣятельности мысли,

развивающейся обыкновенно въ извѣстные годы, было такъ-же необходимо, какъ имѣть шляпу. Если и была причина, почему онъ предпочиталъ либеральное направленіе консервативному, какого держались тоже многіе изъ его круга, то это произошло не отъ того, чтобъ онъ находилъ либеральное направленіе болѣе разумнымъ, но потому, что оно подходило ближе къ его образу жизни. Либеральная партія говорила, что въ Россіи все дурно, и дѣйствительно у Степана Аркадьевича долговъ было много, а денегъ рѣшительно не доставало. Либеральная партія говорила, что бракъ есть отжившее учрежденіе, и что необходимо перестроить его, и дѣйствительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствій Степану Аркадьевичу и принуждала его лгать и притворяться, что было такъ противно его натурѣ. Либеральная партія говорила, или, лучше, подразумевала, что религія есть только узда для варварской части населенія, и дѣйствительно Степанъ Аркадьевичъ не могъ вынести безъ боли въ ногахъ даже короткаго молебна и не могъ понять, къ чему всѣ эти страшныя и высокопарныя слова о томъ свѣтѣ, когда и на семь жить было бы очень весело. Вмѣстѣ съ этимъ, Степану Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было пріятно иногда озадачить смирнаго человѣка тѣмъ, что если уже гордиться породой, то не слѣдуетъ останавливаться на Рюрикѣ и отрекаться отъ перваго родоначальника — обезьяны. Итакъ, либеральное направленіе сдѣлалось привычкой Степана Аркадьевича, и онъ любилъ свою газету, какъ сигару послѣ обѣда, за легкій туманъ, который она производила въ его головѣ. Онъ прочелъ руководящую статью, въ которой объяснялось, что въ наше время совершенно напрасно поднимается вопль о томъ, будто бы радикализмъ угрожаетъ поглотить всѣ консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять мѣры для подавленія революціонной гидры, что, напротивъ, «по нашему мнѣнію, опасность лежитъ не въ мнимой революціонной гидрѣ, а въ упорствѣ традиціозности, тормозящей прогрессъ», и т. д. Онъ прочелъ и другую статью, финансовую, въ которой упоминалось о Бентамѣ и Миллѣ, и подпускались шпильки мини-

стерству. Со свойственною ему быстротою соображенія, онъ понималъ значеніе всякой шпильки: отъ кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, какъ всегда, доставляло ему нѣкоторое удовольствіе».

Изъ слѣдующей цитаты читатели увидятъ, какъ тонко подмѣтилъ авторъ тѣ признаки переходнаго состоянія нашихъ общественныхъ воззрѣній на семью, которыя кладутъ печать нерѣшительности и колебанія на семейные распорядки большинства нашего цивилизованнаго общества:

«Сама княгиня (мать одной изъ героинь романа) вышла замужъ тридцать лѣтъ тому назадъ, по сватовству тетюшки. Женихъ, о которомъ было все уже впередъ извѣстно, пріѣхалъ, увидалъ невѣсту, и его увидали; сваха-тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатлѣніе, впечатлѣніе было хорошее; потому, въ назначенный день, было сдѣлано родителямъ и принято ожидаемое предложеніе. Все очень легко и просто. По крайней мѣрѣ, такъ казалось княгинѣ. Но на своихъ дочеряхъ она испытала, какъ не легко и не просто это, кажущееся обыкновеннымъ, дѣло выдавать дочерей замужъ. Сколько страховъ было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денегъ потрачено, сколько столкновеній съ мужемъ при выдачѣ замужъ старшихъ двухъ, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозѣ меньшей, переживались тѣ же страхи, тѣ же сомнѣнія, и еще большія, чѣмъ изъ-за старшихъ, ссоры съ мужемъ. Старый князь, какъ и всѣ отцы, былъ особенно щепетилень насчетъ чести и чистоты своихъ дочерей; онъ былъ неблагоприятно ревнивъ къ дочерямъ, и особенно къ Кити, которая была его любимица, и на каждомъ шагу дѣлалъ сцены княгинѣ за то, что она компрометируетъ дочь. Княгиня привыкла къ этому еще съ первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имѣетъ больше основаній. Она видѣла, что въ послѣднее время много измѣнилось въ приемахъ общества, что обязанности матери стали еще труднѣе. Она видѣла, что сверстницы Кити составляли какія-то общества, отправлялись на какіе-то курсы, свободно обращались съ мужчинами, ѣздили однѣ по ули-

памъ, и главное, были всѣ твердо увѣрены, что выбрать себѣ мужа есть ихъ дѣло, а не родителей. «Нынче уже такъ не выдаютъ замужъ, какъ прежде», думали и говорили всѣ эти молодыя дѣвушки и всѣ даже старые люди. Но какъ же нынче выдаютъ замужъ, княгиня ни отъ кого не могла узнать. Французскій обычай родителямъ рѣшать судьбу дѣтей былъ не принять, осуждался; англійскій обычай, совершенной свободы дѣвушки, былъ тоже не принять и невозможенъ въ русскомъ обществѣ. Русскій обычай сватовства считался тѣмъ-то безобразнымъ, надъ нимъ смѣялись всѣ и сама княгиня. Но какъ надо выходить и выдавать замужъ, никто не зналъ. Всѣ, съ кѣмъ княгинѣ случилось толковать объ этомъ, говорили ей одно: «Помилуйте, въ наше время ужъ пора оставить эту старину. Вѣдь молодымъ людямъ въ бракъ вступать, а не родителямъ; стало-быть, и надо оставить молодыхъ людей устраиваться какъ они знаютъ». Но хорошо было говорить такъ тѣмъ, у кого не было дочерей, а княгиня понимала, что при сближеніи дочь могла влюбиться, и влюбиться въ того, кто не захочетъ жениться, или въ того, кто не годится въ мужа. И сколько бы ни внушали княгинѣ, что въ наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла вѣрить этому, какъ не могла бы вѣрить тому, что, въ какое бы то ни было время, для пятилѣтнихъ дѣтей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты».

Вообще первая книжка *Русскаго Вѣстника* очень занимательна и по разнообразію статей, въ ней помѣщенныхъ, и по серьезному ихъ содержанію.

ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНІЕ ДРАМЫ А. В. ПИСЕМСКАГО „ПРО-
СВѢЩЕННОЕ ВРЕМЯ“.

1875 г.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТРЪ.

Первое представлѣніе новой пьесы А. Ѳ. Писемскаго
„Просвѣщенное время“.

Въ четвергъ, 30-го января, въ бенефисъ г. Берга, на Маломъ театрѣ давалась новая четырехъ-актная драма А. Ѳ. Писемскаго «Просвѣщенное время». Вотъ краткій очеркъ содержанія этой пьесы. Нѣкто Дарьяловъ, человѣкъ самыхъ безчестныхъ правилъ и живущій только для однихъ матеріальныхъ интересовъ, женатъ на красивой, умной и нѣсколько съ идеальными стремленіями женщинѣ. Софья Михайловна Дарьялова, узнавъ всю черноту души своего супруга и оскорбляемая по минутно его грубымъ обращеніемъ, начинаетъ чувствовать къ нему ненависть и отвращеніе. Въ это время поддѣлывается къ ней нѣкто Аматуровъ, «красивый и живущій только для своего удовольствія человѣкъ», какъ характеризуетъ его авторъ; Софья Михайловна влюбляется въ него и измѣняетъ мужу. Вскорѣ мужа ея разобличаютъ въ мошенничествѣ, какъ директора одной московской акціонерной компаніи, и онъ позорно бѣжитъ изъ Москвы, бросивъ жену свою безо всякихъ средствъ къ существованію—на произволъ судьбы. Софья Михайловна, спустя немного времени послѣ катастрофы, постигнувшей ея мужа, узнаетъ, что Аматуровъ, котораго она любитъ такой страстной любовью, въ вѣрность и правдивость котораго она такъ безгранично вѣритъ, давно уже въ связи съ другой женщиной и соблазняетъ третью—горничную Софьи Михайловны. Несчастная женщина не можетъ перенести мучительнаго чувства —

разочарованія въ человѣкѣ, котораго считала совершенствомъ, и кончается свой романъ самоубійствомъ *).

Драма «Просвѣщенное время» имѣла блистательный успѣхъ; театръ былъ полонъ; публика пять разъ вызвала автора; наибольшій успѣхъ имѣли 2 и 4-е дѣйствіе. Исполненіе піесы вызывало часто рукоплесканія; больше всего аплодировали г-жѣ Никулиной; ее тоже нѣсколько разъ вызвали. Эта высоко талантливая и умная артистка вполне заслужила громкія одобренія публики. Она играла очень трудную роль Софьи Михайловны Дарьяловой и блистательно побѣдила всѣ трудности. Сколько чувствительности, огня, страсти и вмѣстѣ съ тѣмъ простоты и естественности выказала она при исполненіи новой своей роли. Какъ хороша была она въ сценѣ, когда Дарьялова, узнавъ объ измѣнѣ любовника, уличаетъ его въ обманѣ! Какъ прекрасно она умѣла выразить въ интонаціи голоса, мимикѣ и жестахъ три чувства, съ равной силой волнующія въ эти минуты обманутую женщину, — и униженную гордость, и негодованіе, и презрѣніе! Выше всего она была въ послѣдней сценѣ, гдѣ обманутая и униженная женщина, уже твердо рѣшившаяся на самоубійство, осыпаетъ горькими, исполненными желчи и отчаянья укоризнами и мужа, и любовника, и наконецъ, всю ихъ общественную среду за неуваженіе къ достоинству женщины. — Г-жа Акимова въ роли купчихи Трухиной, въ роли, которая пришлась какъ разъ по ней, была, какъ говорится, какъ у себя дома и каждымъ словомъ вызывала громкій хохотъ въ публикѣ. — Г-жа Лёвина, въ роли Нади (горничной), изобразила необыкновенно вѣрно, умно и граціозно типъ бѣдой и свободной въ манерахъ служанки, представительницы служанокъ новаго поколѣнія, уже выросшаго внѣ вліяній крѣпостнаго права. Замѣтимъ мимоходомъ, что г-жа Лёвина общается много въ близкомъ будущемъ: изъ нея выйдетъ замѣчательно талантливая артистка. — Г. Самаринъ исполнялъ роль мужа Дарьяловой «шуллера по прежнему своему занятію, а нынѣ

*) Разъясненіе идеи этой піесы см. въ предыдущей статьѣ. *Прим. изд.*

директора компаніи *по выщипать руна из овецъ*», какъ именуется онъ въ афишѣ. Онъ былъ прекрасенъ; особенно удались ему тѣ мѣста, гдѣ Дарьяловъ изобличается въ мошенничествахъ или терпитъ по нимъ неудачи; г. Самаринъ прекрасно выражалъ и комическую злобу пойманнаго плута, и исполненное тоже высокаго комизма глубокое сердечное прискорбіе и тоску алчнаго челоуѣка по столь чувствительнымъ для его сердца денежнымъ утратамъ.—Бенефициантъ весьма умно, отчетливо и съ большимъ комизмомъ исполнилъ роль нѣкоего г. Прихвоснева, содержателя увеселительнаго сада подъ названіемъ «Русская забава», роль изученную имъ необыкновенно добросовѣстно.—Г. Макшеевъ сыгралъ безукоризненно хорошо роль татарина Абдуль-Аги, а г. Петровъ былъ неподражаемъ и возбуждалъ непрерывный смѣхъ въ публикѣ въ роли подшившаго нѣмца-акціонера Гаера; г. Музиль тоже много смѣшилъ публику въ роли богатаго, неотесаннаго юнаго купчика Аники Блинкова. — Г. Садовскій, исполняя роль законвика Препиратова, живо изобразилъ, даже почти, можно сказать, создалъ еще новый у насъ типъ адвоката низшаго сорта, т.-е. *аблаката* или *дровоката*, какъ зовутъ у насъ такихъ доморощенныхъ юристовъ-ораторовъ въ простомъ народѣ. Особенно онъ былъ рельефенъ, когда произносилъ высокопарную рѣчь въ засѣданіи акціонерной компаніи. Намъ пріятно замѣтить, что г. Садовскій быстро совершенствуется съ каждой новой ролью. Какъ жаль, что онъ рѣдко играетъ!..

ОЛЬДРИДЖЪ НА МОСКОВСКОЙ СЦЕНѢ.

1862 г.

ОЛЬДРИДЖЪ НА МОСКОВСКОЙ СЦЕНѢ.

I.

Ольдриджъ не имѣеть ничего общаго съ тѣми сценическими знаменитостями Запада, которыя посѣщали насъ въ послѣднее время. Его достоинства состоятъ не въ картинности позъ и жестовъ, не въ мелодической пѣвучести дикціи, не въ заученно-величественной трагической поступи. Нѣтъ. Онъ не думаетъ о картинности позъ; не думаетъ о жестахъ, которые у него выходятъ сами собой, какъ невольное слѣдствіе того или другаго чувства, его одушевляющаго; онъ не кокетничаетъ своимъ голосомъ, который очень пріятенъ, но о которомъ и не думаешь, слѣдя за его игрой: ибо онъ сосредоточиваетъ все ваше вниманіе на одномъ внутреннемъ значеніи своихъ рѣчей. О величественной походкѣ онъ тоже не заботится и ходитъ совершенно естественно не по-трагически, а по-человѣчески. Не внѣшность, не балетная грація и ловкость движеній а высокое истинное пониманіе искусства, глубокое знаніе сердца человѣческаго, способность чувствовать тонкія душевныя движенія, подмѣченныя Шекспиромъ, и такъ сказать, воплощать ихъ передъ зрителемъ—вотъ что составляетъ сущность, достоинство его игры.

Мы помнимъ хорошо Мочалова, потрясавшаго и изумлявшаго насъ своей игрой въ Гамлетѣ, Отелло и Францѣ Морѣ, и не можемъ не упомянуть о немъ, говоря объ Ольдриджѣ. Пока мы не видали Ольдриджа, мы никакъ не думали, что найдемъ въ немъ хоть что-нибудь подобное нашему московскому трагику, такъ крѣпко заложилось въ насъ впечатлѣніе молодости и такое

сильное недоверіе внушили намъ заѣзжія трагическія знаменитости. Но мы увидали Ольдриджа, и прежде всего намъ бросилось въ глаза то, что у него общаго съ Мочаловымъ, то есть простота, отсутствіе внѣшнихъ эффектовъ, отсутствіе приемовъ псевдоклассической школы. Въ игрѣ Мочалова была одна неподражаемая черта (и только одной ей онъ былъ обязанъ своимъ успѣхомъ): это вспышки совершенно истиннаго, не артистическаго чувства, до котораго никогда не достигнуть Ольдриджу. Но какъ сознательный художникъ, Ольдридж выше Мочалова. Объяснимся.

Мочаловъ, по мѣткому выраженію Бѣлинскаго, былъ не актеръ, а изступленная пиія на своемъ треножникѣ. Таковъ онъ былъ въ счастливыя минуты своей игры. Въ эти минуты онъ буквально не помнилъ себя, забывалъ, что онъ актеръ, что онъ на сценѣ, и заставлялъ забывать это и зрителей. Онъ былъ великъ въ эти минуты: ежели онъ плакалъ, то плакалъ совершенно неподдѣльно, истинными, непритворными слезами; если имъ овладѣвалъ гнѣвъ, то зрителямъ дѣлалось страшно за жертву этого неудержимаго гнѣва. Но эти высокія минуты игры Мочалова нельзя отнести къ сферѣ искусства въ строгомъ значеніи этого слова. Это были невольныя вспышки въ высшей степени нервнаго человѣка, въ высшей степени впечатлительной, увлекающейся натуры. Конечно, эти минуты у Мочалова были минутами истиннаго вдохновенія, но вдохновенія ничѣмъ не управляемаго и ни на что не направленнаго. Онъ приходили не по волѣ артиста, а Богъ вѣсть, почему и откуда. Проходили онѣ — и Мочаловъ дѣлался холоденъ и вялъ, бормоталъ безъ толку свою роль, по временамъ совершенно нектати вскрикивалъ и бессмысленно и однообразно размахивалъ руками. Дальше. Одушевленіе Мочалова, хотя всегда истинное и неподдѣльное, весьма часто по характеру своему не шло лицу, имъ изображаемому. Такъ, въ иныхъ піесахъ Шекспира онъ приходилъ въ ярость или плакалъ совершенно непритворно и неподдѣльно, но дѣлалъ это тамъ, гдѣ ничего подобнаго не требовалось и черезъ это искажалъ общій характеръ роли. Но

не станемъ входить въ подробный разборъ игры Мочалова; тѣхъ, кто не видалъ его, отсылаемъ къ статьѣ Бѣлинскаго о театрѣ, когда-то напечатанной въ сборникѣ *Физиологія С.-Петербурга*. Тамъ онъ описанъ поразительно вѣрно.

Не таковъ Ольдриджъ. Тѣхъ невольныхъ, совершенно естественныхъ вспышекъ, тѣхъ вдохновенныхъ минутъ, нисходящихъ на артиста неожиданно, безъ вѣдома его самого, нельзя отъ него требовать, ибо онъ сознательный, разумно-творящій художникъ, у котораго все расчитано, все обдуманно, все подчинено главной идеѣ характера, имъ представляемаго. Тѣ минуты вдохновенія, о которыхъ мы говорили, и которыя Бѣлинскій называетъ изступленіемъ пѣи, могутъ являться у артиста только неожиданно, не могутъ быть подчинены его волѣ, а потому мѣшаютъ обдуманному веденію роли. Мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ Ольдриджъ былъ чуждъ вдохновенія. Напротивъ. Гдѣ творчество, тамъ не можетъ не быть вдохновенія. Да, Ольдриджъ, мы въ этомъ твердо увѣрены, создалъ свои роли подъ наитіемъ высокаго вдохновенія. Но это вдохновеніе впервые нисходило на него въ тиши кабинета, въ тѣ минуты, когда онъ всею душою своею погружался въ глубину твореній Шекспира. Въ тѣ минуты, можетъ быть, онъ, подобно Мочалову, поочередно то возвышался до не повторяемаго паэоса, то охлаждалъ и тщетно силился придти опять въ одушевленіе. Но таковъ онъ долженъ быть, такъ сказать, въ лабораторіи своего творчества, куда не проникъ взоръ публики. Безцеремонная игра Мочалова, это черновая, еще не пересмотрѣнная авторомъ рукопись только что набросаннаго великаго поэтического произведенія и притомъ произведенія, какъ бы преждевременно рожденнаго поэтомъ. Игра Ольдриджа, — тщательно поправленное, долго вылежавшееся художественное произведеніе.

Многіе находятъ, что Ольдриджъ холоденъ, что игра его не согрѣта истиннымъ чувствомъ. Можетъ быть, это имъ кажется оттого, что Ольдриджъ никогда не переступаетъ предѣловъ истиннаго искусства и въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ своей роли какъ бы помнитъ совѣтъ Гамлета актеру: «и въ самой

страсти соблюдай мѣру». Другіе, напротивъ, увѣряють, что Ольд-риджъ бѣснуется и кричитъ такъ громко, что его крикъ болѣе у мѣста въ африканскомъ лѣсу, чѣмъ на сценѣ Малаго театра. Люди, такъ объ немъ отзывающіеся, вѣроятно, въ первый разъ видятъ трагедію и никогда не слыхали какъ кричать и рычать обыкновенные трагическіе актеры. Послушали бы они Каратыгина!

Вообще отзывы нашихъ театралныхъ dilettanti объ Ольд-риджѣ немного поспѣшны и скороспѣлы. Это актеръ, котораго надо изучать и изучать также добросовѣстно и усердно, какъ самъ изучилъ онъ Шекспира. А изучилъ онъ его глубоко и является передъ зрителями какъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ, самыхъ проникательныхъ его комментаторовъ. Въ этомъ отношеніи Ольдриджа можно назвать актеромъ - психологомъ. Психическая правда—вотъ главная задача его игры. Онъ старается передать зрителю, какъ можно естественнѣе, какъ можно точнѣе и нагляднѣе всѣ тонкія душевныя движенія лица имъ изображаемаго. Поэтому игра Ольдриджа есть дѣло очень серьезное, и съ увлеченіемъ слѣдить за ней, понимать и цѣнить ее могутъ только люди, серьезно смотрящіе на искусство и притомъ хорошо знакомые съ піесами Шекспира.

Первою ролью Ольдриджа, въ которой онъ вышелъ на московскую сцену, былъ Отелло. Роль эта особенно по немъ. Все, даже случайныя обстоятельства, будто нарочно соединились для того, чтобы дать ему возможность понять и почувствовать характеръ и положеніе Отелло: онъ самъ чернокожій, заброшенный судьбой въ общество бѣлыхъ; его предки, какъ и предки Отелло, носили корону; подобно Отелло, онъ женатъ на женщинѣ знатнаго происхожденія, влюбившейся въ него, несмотря на то, что она бѣлая, а онъ черный.

Въ первомъ актѣ Ольдриджъ является передъ нами Мавромъ, но Мавромъ, котораго уже сильно коснулась цивилизація и который помнитъ свое царское происхожденіе и свои воинскія заслуги предъ Венеціанскою республикой. Онъ весь проникнутъ чувствомъ собственнаго достоинства. Съ достоинствомъ остава-

вливаетъ онъ слугъ Брабанціо, бросающихся на него съ обнаженными мечами, съ достоинствомъ оправдывается онъ передъ сенатомъ, и это обдуманное спокойствіе и важность, можетъ-быть, и принимаются нѣкоторыми изъ зрителей за холодность и отсутствіе одушевленія въ актерѣ. Негръ высказывается въ первый разъ въ немъ только въ концѣ второго дѣйствія и то на одно мгновеніе. Мы говоримъ о сценѣ, когда Отелло оставливаетъ поединокъ между Кассіо и Монтано. При видѣ нарушенія дисциплины у Ольдриджа-Отелло вырывается какой-то дикій звукъ; но сражающіеся мгновенно приходятъ въ себя и съ ними вмѣстѣ приходитъ въ себя и ихъ начальникъ, и дѣлая выговоръ своимъ подчиненнымъ, говоритъ, хотя и съ гнѣвомъ, но уже не безъ достоинства, подобающаго его сану.

Но въ третьемъ актѣ, когда Яго начинаетъ приводить въ дѣйствіе планъ своей интриги, африканская кровь Отелло просыпается совершенно. Сперва Ольдриджъ съ напряженнымъ вниманіемъ прислушивается къ еще темнымъ, но почему-то уже страшнымъ для него рѣчамъ своего наперсника, взвѣшиваетъ каждое его слово и какъ будто все что-то соображаетъ. Простодушіе честнаго негра, передъ которымъ впервые раскрывается темная для него область женскихъ козней, видно въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи Ольдриджа. Темные намеки Яго сперва тревожатъ его; сначала онъ какъ будто не понимаетъ ни его словъ, ни собственныхъ чувствъ, поднятыхъ этими словами, но при восклицаніи Яго: «опасайтесь ревности, синьйоръ!» — онъ вдругъ точно пробуждается, для него все дѣлается ясно; слово найдено,—ядъ ужасной страсти мгновенно разливается по всему организму, и счастье, спокойствіе и сонъ уже не существуютъ для Отелло. Кто-то очень справедливо замѣтилъ, что въ сценахъ ревности Ольдриджъ-Отелло появляется не губителемъ, внушающимъ страхъ, а жертвой, возбуждающей состраданіе и жалость. Быстрота, естественность и психическая вѣрность, съ какими онъ переходитъ отъ одного чувства къ другому, изумительны. Онъ то приходитъ въ бѣшенство, то плачетъ и всхлипываетъ какъ ребенокъ, то совершенно изъ-

немогаетъ душой и тѣломъ. Особенно потрясаетъ и трогаетъ онъ зрителей своею мимикой въ тѣ минуты, когда берется за голову; это не рутинный пріемъ обыкновенныхъ актеровъ, которые, желая выразить отчаяніе, хватаются по заведенному порядку обѣими руками за голову и, что есть силы, ерошатъ себѣ волосы. Нѣтъ, не отчаяніе выражаетъ онъ этимъ жестомъ. Онъ тихо, медленно прикладываетъ руку ко лбу и съ болѣзненными конвульсіями въ лицѣ проводитъ ей по головѣ. Въ это время вамъ чувствуется, что страсть давить и гнететъ его мозгъ, что умъ его, изнемогая подъ тяжестью обстоятельствъ, теряется и отказывается дѣйствовать: въ эти минуты онъ жалокъ, какъ безпомощный ребенокъ. Таковъ онъ въ 3-мъ дѣйствіи въ сценахъ ревности.

Многіе изъ не совсѣмъ довольныхъ игрой Ольдриджа находятъ, что онъ холоденъ въ 4-мъ дѣйствіи и холодность эту приписываютъ слѣдствію усталости отъ слишкомъ «свирѣпыхъ» сценъ ревности. Но намъ кажется, что тутъ дѣло не въ усталости, а въ глубокомъ пониманіи роли Отелло. Дѣйствительно, въ 4-мъ актѣ Ольдриджъ-Отелло дѣлается тише, какъ бы спокойнѣе. Но изъ чего приходитъ ему тутъ въ ярость? Подозрѣнія его уже получили исходъ: преступность его жены совершенно доказана; счастье его погибло безвозвратно. Сильныя, энергическія натуры приходятъ въ бѣшенство или изступленіе только въ минуты перваго сознанія своего несчастія, пока мысль о немъ еще новость, но потомъ это напряженное состояніе духа въ нихъ проходитъ, уступая мѣсто желанію найти поскорѣе исходъ изъ тяготящаго ихъ положенія.

Въ пятомъ дѣйствіи Ольдриджъ особенно поразилъ насъ глубоко-вѣрнымъ пониманіемъ роли. Спокойно входитъ онъ въ спальню спящей жены, тщательно запираетъ дверь, и старательно отдергиваетъ занавѣску кровати. Но спокойствіе это ужасно! Это спокойствіе человѣка съ сильною душой, твердо рѣшившагося совершить кровавое дѣло и считающаго себя въ правѣ совершить его; это спокойствіе (ежели это можно назвать спокойствіемъ) человѣка, убитаго своимъ горемъ, чело-

вѣка, который ясно созналъ, что онъ безвозвратно потерялъ свое сокровище. Но вотъ просыпается Дездемона. Извѣстный вопросъ «молилась ли ты нынче, Дездемона», Ольдриджъ произноситъ тихо, просто и спокойно. Но когда Дездемона, узнавъ совершенно неожиданно о смерти Кассіо, вскрикиваетъ и начинаетъ плакать, — безграничное бѣшенство овладѣваетъ Мавромъ: Онъ бросается на безстыдную женщину, которая даже въ свою предсмертную минуту имѣла наглость высказать преступную любовь свою. Тутъ онъ не даетъ ей уже и времени совершить послѣднюю молитву, бросаетъ ее на кровать и умерщвляетъ. Но вотъ стучать въ дверь. Ольдриджъ невольно поворачиваетъ лицо къ зрителямъ, и оно уже не то, какимъ было за минуту: Отелло уже преступникъ, и на лицѣ его видна какая-то печать преступленія, какой-то страхъ.

Но всѣхъ красотъ игры Ольдриджа въ пятомъ актѣ и не передать, и не перечислить. Какъ передать то чувство, то выраженіе съ какимъ восклицаетъ онъ: O fool! fool! fool! въ минуту когда узнаетъ, что Дездемона была совершенно невинна? Какъ передать то отчаяніе, съ какимъ онъ зоветъ Дездемону, повторяетъ ея имя и распевеливаетъ ея трупъ, какъ бы желая пробудить и воскресить ее?

Нашлись люди, которые ставятъ Ольдриджу въ недостатокъ его негритянское происхожденіе. Они находятъ, что онъ играть съ излишнею естественностью, преступающею и оскорбляющею законы изящнаго; что онъ похожъ на звѣря и что игра его есть дѣло плоти, а не духа. Но эти господа, кажется, не берутъ въ соображеніе, что Ольдриджъ не дикій негръ, вчера только пойманный, а негръ, получившій въ Европѣ эстетическое образованіе. Дѣйствительно онъ мѣстами, гдѣ нужно, очень живо представляетъ движенія человѣка, въ которомъ внешне пробуждаются чувства дикаря, но это онъ дѣлаетъ на мѣренно и это не собственные его чувства, но результатъ наблюденій надъ природой негровъ, быть которыхъ онъ имѣлъ возможность близко изучить.

Московская журналистика высказалась не въ пользу Ольдриджа.

Одна весьма почтенная и всѣми уважаемая газета сказала даже, что Ольдриджъ внушаетъ ей почти отвращеніе. Впечатлѣніе свое она оправдываетъ цитатой изъ Шиллера и ссылкой на философію Гегеля. Да будетъ позволено и намъ, оставивъ въ сторонѣ Гегеля, — привести стихи Шиллера, но не въ укоръ, а въ честь Ольдриджа:

Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen
Und das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n:
Doch fürchte nicht! Es gibt noch schöne Herzen,
Die für das Hohe, Herrliche erglüh'n.
Den lauten Markt mag Momus unterhalten:
Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten.

II.

Въ прошломъ № *Современной Литотиси* мы успѣли сказать только объ одной роли Ольдриджа, — Отелло. Не имѣя достаточно ни мѣста, ни времени входить въ подробный разборъ каждой роли, исполненной этимъ необыкновеннымъ художникомъ, и перечислять всѣ красоты его глубоко обдуманной и горячочувствованной игры, мы на этотъ разъ займемся почти исключительно ролью Макбета. Характеръ Макбета Ольдриджъ понималъ и передалъ намъ также вѣрно, какъ и характеръ Отелло. Но на всѣхъ не угодишь. Одна московская газета поспѣшила объявить, что Ольдриджъ изъ рукъ вонъ плохъ въ роли Макбета. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этой статейки:

„Во всей игрѣ Ольдриджа, отъ начала до конца, было видно окончательное непониманіе роли, совершенная неспособность возвыситься до героическаго характера и глубоко трагическаго положенія, такъ мастерски очерченнаго Шекспиромъ.

„Сцена убійства, эта поворотная точка пьесы, была сыграна особенно дурно. Вмѣсто Шекспировскаго Макбета, силою воли подавляющаго гоголь совѣсти и идущаго на убійство съ усиленіемъ, но безъ страха, Ольдриджъ представилъ жалкаго преступника, дрожащаго и бѣснущагося передъ преступленіемъ. Онъ не шелъ въ комнату короля, какъ человѣкъ, рискующій всѣмъ, забывающій все для достиженія *великой цѣли* (!), а медленно и робко крался въ нее, какъ воръ, который идетъ

убить, чтобъ обокрасть, и боится быть пойманъ. Когда онъ вышелъ опять съ взъерошенными волосами, испачканный кровью, съ двумя ножами въ рукахъ, на него смотрѣть было не страшно, а отвратительно.“

Да извинить намъ цитруемая нами газета наше откровенное мнѣніе: изъ приведенныхъ словъ мы видимъ, что не Ольдриджъ не понялъ характера Макбета, а ея критикъ недостаточно вникъ въ это лицо. Онъ считаетъ Макбета человѣкомъ съ героическимъ характеромъ, основываясь на томъ, что Макбетъ — храбрый воинъ, любимый народомъ. Да, онъ герой, но герой только на полѣ сраженія, а внѣ битвы онъ человѣкъ слабохарактерный, который боится своей жены и дѣлаетъ все по ея волѣ. Онъ очень хорошо знаетъ, что предательски убить короля, своего благодѣтеля, который только что осыпалъ его своими милостями, который находится у него въ гостяхъ, который довѣрился ему, какъ ребенокъ, есть дѣло гнусное и подлое. Но онъ совершаетъ это дѣло. Героизмъ ли это? Вотъ что самъ Макбетъ говоритъ про такой поступокъ:

„Здѣсь онъ (король) долженъ бы быть вдвойнѣ безопасенъ. Во-первыхъ, я его родственникъ и подданный, и то, и другое должно остановить меня; потомъ, какъ хозяину, мнѣ слѣдуетъ замкнуть убійцамъ двери, а не самому идти съ ножомъ въ рукѣ. Къ тому-же онъ царствовалъ такъ кротко, исполнялъ свои великія обязанности такъ праведно, что его добродѣтели возопіютъ противъ этого дьявольскаго убійства, какъ ангелы *)“.

Въ это время входитъ леди Макбетъ, и несчастный честолюбецъ какъ бы проситъ у нея позволенія не совершать злодѣйства: «Послушай, оставимъ это дѣло! Онъ такъ еще недавно почтилъ меня новымъ саномъ; я приобрѣлъ общее уваженіе. Почему-жъ не походить въ этомъ новомъ блестящемъ убранствѣ? Зачѣмъ бросать его тотчасъ же?» Но леди Макбетъ не изъ такихъ натуръ, которую могли бы поколебать подобные доводы. Она собираетъ всю свою энергію, напрягаетъ весь свой умъ, чтобы вдохнуть мужество и рѣшимость въ мужа. Она упрекаетъ его въ трусости — упрекъ невыносимый для храбраго воина, и онъ восклицаетъ: «Молчи, я на все рѣшусь!».

*) Цитаты изъ Шекспира приводятся здѣсь нами въ переводѣ г. Кетчера.

Отчего Макбетъ, сознавая такъ ясно всю гнусность дѣла, которое задумалъ совершить, все-таки совершаетъ его? По совершенной слабости характера. И скажите теперь, могъ ли человѣкъ съ такимъ характеромъ идти на убійство иначе, чѣмъ шель Ольдриджъ, изображая этотъ характеръ? Вы говорите, что артистъ крадется, какъ воръ, въ комнату короля. Но что иное самъ Макбетъ въ эту минуту? Неужели человѣкъ, идущій предательски умертвить своего родственника, своего короля, благодѣтеля и гостя, человѣка, котораго онъ глубоко уважаетъ, неужели онъ поступаетъ благороднѣе простаго вора? Нѣтъ, такой поступокъ хуже всякаго воровства, и никакія риторическія тонкости не могутъ доказать противное. Ольдриджъ превосходитъ въ этой сценѣ. Вы видите передъ собою человѣка, ясно сознающаго всю низость дѣла, на которое онъ рѣшился: ему страшно, ему гадко и противно совершить это дѣло, но что-то неодолимое влечетъ и толкаетъ его въ комнату спящаго короля. Что же это за непонятная, сверхъестественная сила, которая изъ человѣка, отъ природы добраго, мягкаго и благороднаго, дѣлаетъ низкаго и робкаго злодѣя? Неужели же это твердая рѣшимость, сила могучей воли?... Нѣтъ, она не достойна такъ называться. Это просто безумная, несчастная страсть, вдругъ охватившая слабую душу, которая не можетъ противиться ей, не можетъ съ ней справиться. Макбетъ очень хорошо знаетъ, что дѣло, на которое онъ идетъ, дѣло безразсудное по своимъ послѣдствіямъ, что ему не справиться съ тѣмъ положеніемъ, въ которое оно его поставитъ, что совѣсть загрызетъ его, и страхъ наказанія не дастъ ему ни на минуту покоя: но разсудокъ его уже омраченъ страстью, ему уже видятся кровавія видѣнія, и силы тьмы запутываютъ его и овладѣваютъ имъ окончательно.

Повторяемъ: это ли твердая воля? Нѣтъ, твердая воля подчиняетъ себѣ страсти, управляетъ ими, а не поддается имъ. Правда, мы видимъ въ исторіи, какъ люди съ великою душой и твердою волей, не колеблясь, совершаютъ злодѣянія. Вспомнимъ Оливера Кромвеля у трупа только что казненнаго имъ

короля. Онъ показаль тутъ такое хладнокровіе, что намъ даже страшно повторять подробности этой сцены. Но подобныя личности совершали злодѣянія не подъ вліяніемъ одной какой-нибудь случайно овладѣвшей ими страсти, а вслѣдствіе давно обдуманнаго плана, вслѣдствіе великихъ государственныхъ цѣлей; они были поставлены какъ бы въ необходимость избавиться отъ человѣка, стоявшаго на пути ихъ исполинскихъ замысловъ, оттолкнуть его, какъ помѣху тому, что было цѣлью всей ихъ жизни. А какая была необходимость Макбету убить Дункана и сдѣлаться королемъ? Думаль ли Макбетъ, что онъ будетъ лучше править Шотландіей нежели правилъ Дунканъ? Нисколько. Вступивъ на престолъ, онъ вовсе не думаетъ о нуждахъ и благѣ своего народа, а только труситъ и истребляетъ людей, которые ему кажутся опасными. Шальная мысль сдѣлаться королемъ забрела къ нему въ голову вдругъ, случайно, и слабая душа его не устояла передъ обаяніемъ этой мечты. А процессъ или, лучше сказать, случай, какимъ образомъ эта мысль забрела въ него, не дѣлаетъ чести его характеру и не показываетъ въ немъ человѣка безстрашнаго, энергическаго и способнаго рисковать. Ему вздумалось сдѣлаться королемъ только тогда, когда вѣдьмы предсказали ему, что онъ будетъ носить корону и доказали вѣрность своихъ предсказаній. Стало быть тутъ рисковать было нечѣмъ; здѣсь была нужна только рѣшимость человѣка, ищущаго обыграть навѣрное. Но такова слабость и боязливость Макбета вѣтъ поля сраженія, что и при такой благопріятной для него обстановкѣ онъ показываетъ нерѣшительность и говорить женѣ своей: «а ну, какъ намъ это не удастся!»

Итакъ характеръ Макбета, по нашему мнѣнію, понять и изображенъ Ольдриджемъ совершенно вѣрно. Онъ идетъ совершить убійство, не какъ герой, идущій на подвигъ, но какъ человѣкъ, готовящійся сдѣлаться злодѣемъ. Отвратительнаго въ немъ ничего тутъ не было: ибо злодѣйство отвратительно въ дѣйствительной жизни, а не въ искусствѣ, которое можетъ возвести все «въ перлъ созданія.»

Укажемъ теперь на другія частныя красоты его игры, которыя обозначались съ особенною рельефностью.

Еслибы мы никогда не видали Ольдриджа и только слышали, какъ онъ вскрикиваетъ за кулисами (въ то время когда Макбетъ совершаетъ убійство): «кто тутъ?» то уже по одному этому крику могли бы заключить, что онъ великій актеръ. Только одинъ разъ въ жизни намъ случилось слышать такой крикъ — это восклицаніе Мочалова въ роли Франца Мора. Когда Карлъ Моръ велитъ своимъ разбойникамъ умертвить его, Мочаловъ произноситъ только два слова: «братъ, братъ!» Но кто хоть разъ слышалъ, какъ произноситъ эти два слова Мочаловъ, тотъ не забудетъ ихъ во всю жизнь: такъ сильно потрясеніе, которое производили они на зрителей.

Въ сценѣ, когда у Макбета, уже умертвившаго короля, спрашиваютъ, проснулся ли король, зрителю дѣлается страшно за Ольдриджа-Макбета: въ тѣ мгновенія, которыя составляютъ промежутокъ между вопросомъ Макдуфа и отвѣтомъ Макбета, зрителю кажется, что Макбетъ не найдетъ, что отвѣтить, и сейчасъ же будетъ уличенъ. Затѣмъ сцена, когда Макбетъ притворяется, что возмущенъ предательскимъ умерщвленіемъ короля, верхъ художественнаго совершенства, верхъ тонкости сценическихъ приемовъ. Тутъ Ольдриджъ играетъ, такъ-сказать, вдвойнѣ, играетъ роль въ роли, а это самое трудное дѣло въ театральномъ искусствѣ. Смотря на Ольдриджа, вы знаете и видите, что онъ притворяется, но въ тоже время находите, что онъ совершенно естественъ, и что еслибы по піесѣ вы не знали, что онъ говоритъ ложь, то не замѣтили бы въ немъ и тѣни притворства.

Въ сценѣ, когда Макбетъ подговариваетъ убійцъ, Ольдриджъ особенно рельефно выразилъ характеръ Макбета: ему совѣстно и стыдно передъ убійцами; онъ передъ ними оправдывается, какъ бы заискиваетъ въ нихъ.

Сцена съ тѣнью Банко особенно трудна. Здѣсь актеръ долженъ напрячь всю силу своего воображенія, собрать весь свой запасъ психическихъ наблюденій, чтобъ догадаться, какъ бы

онъ сталъ говорить въ самомъ дѣлѣ съ тѣнью убитаго имъ человѣка. Въ роли Макбета, мы никого не видали, кромѣ Ольдриджа, но намъ кажется, что лучшаго исполненія этой сцены и быть не можетъ.

Въ послѣднемъ дѣйствіи Ольдриджъ вездѣ превосходенъ, но особенно у насъ осталась въ памяти его мимика, когда онъ въ нѣмомъ отчаяніи сбѣгаетъ съ горы, и потомъ, когда сражается съ Макдуфомъ.

Въ Шейлоуѣ Ольдриджъ превосходно изобразилъ типъ средне-вѣковаго Еврея, богатаго, гордаго въ душѣ, но постоянно унижаемаго и оскорбляемаго окружающимъ его христіанскимъ обществомъ. Какъ онъ былъ хорошъ въ той сценѣ, гдѣ колеблется отрѣзать, или нѣтъ ему кусокъ мяса у христіанина! Какъ радостно и злобно сверкнули его глаза въ то мгновеніе, когда онъ было рѣшился во что бы то ни стало отомстить хоть на одномъ христіанинѣ все, что онъ вытерпѣлъ отъ его собратьевъ. Послѣдняя сцена не менѣ замѣчательна. Шейлоку перечисляютъ всѣ тѣ наказанія, которымъ онъ долженъ подвергнуться за свои покушенія на жизнь венеціанскаго гражданина; какъ ни тяжки эти наказанія, но Ольдриджъ-Шейлокъ, слушая приговоръ судьи, еще не совершенно падаетъ духомъ, но когда говорятъ, что его заставляютъ принять христіанство, онъ начинаетъ дрожать, какъ въ лихорадкѣ, и изъ груди его вырывается какой-то продолжительный визгъ, неимѣющий ничего общаго съ членораздѣльными звуками голоса. Вслѣдъ затѣмъ, когда одинъ изъ предстоящихъ — человѣкъ ненавистной ему вѣры — хватаетъ его за платье, все затаенное презрѣніе и отвращеніе къ христіанину просыпается въ Евреѣ, и Ольдриджъ дѣлаетъ изъ этого великолѣпную нѣмую сцену. Еврей забываетъ, что онъ въ комнатѣ, забываетъ, что онъ принадлежитъ къ угнетенному, безсильному племени, которому ничего не прощается: онъ съ силой вырываетъ свою одежду изъ оскверняющихъ ее рукъ христіанина, потомъ достаетъ платокъ и тщательно обтираетъ имъ то мѣсто одежды, которое осквернено нечистымъ прикосновеніемъ; вслѣдъ затѣмъ смотритъ съ

отвращеніемъ и омерзѣніемъ на этотъ платокъ, уже въ свою очередь оскверненный, и наконецъ, бросивъ его съ негодованіемъ въ христіанина, заливается горькими слезами и уходитъ. Въ эту эффектную минуту занавѣсъ опускается.

Объ игрѣ Ольдриджа въ королѣ Лирѣ мы не станемъ распространяться. Здѣсь онъ, кажется, совершенно не нуждается въ защитѣ, ибо публика вполне оцѣнила его. Онъ произвелъ фуроръ, вызовомъ не было конца, и артисту былъ поднесенъ вполне имъ заслуженный лавровый вѣнокъ.

9 октября.

Р. S. Сейчасъ мы видѣли Ольдриджа въ комической роли, въ водевилѣ: *Мулатъ*, и въ игрѣ его нашли новое подтвержденіе не всѣми признанной истины. что истинный сценическій талантъ можетъ быть равно хорошъ какъ въ трагическихъ, такъ и въ комическихъ роляхъ. Передъ этимъ водевилемъ давали *Отелло*, и всѣ тѣ, кто плакалъ, глядя на Ольдриджа-Отелло, хохотали отъ души, глядя на Ольдриджа-Мунго. Какъ онъ симпатиченъ въ этой роли! Какая правда, какая непритворная веселость, какой комизмъ! Передъ *Мулатомъ*, какъ мы уже сказали, шелъ *Отелло*. На этотъ разъ Ольдриджъ совершенно овладѣлъ публикой. Ему были поднесены три вѣнка и вызововъ было еще больше, чѣмъ въ *Королѣ Лирѣ*. И какъ онъ былъ прекрасенъ нынѣшній разъ въ *Отелло*! Сегодня въ послѣднемъ дѣйствіи онъ былъ еще выше, нежели во всѣ предшествовавшія представленія; въ ту минуту, когда Отелло сознаетъ совершенно ясно, что погубилъ жену свою безвинно, Ольдриджъ, такъ непритворно зарыдалъ надъ трупомъ Дездемоны, что, можетъ-быть, даже сама г-жа Кохановская тронулась бы его слезами и созналась бы въ порывѣ поздняго раскаянія, что ея статья объ Ольдриджѣ опрометчивѣе поступка Отелло.

СТАТЬИ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ ЛОРДА БАЙРОНА.

1859 г.

ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ ЛОРДА БАЙРОНА.

Имя Байрона, какъ писателя, произносится съ глубокимъ уваженіемъ даже людьми незнакомыми съ его произведеніями и едва знающими ихъ по наслышкѣ. Но совсѣмъ иначе относится къ личности великаго поэта толпа, безотчетно благоговѣющая передъ его произведеніями. При мысли о Байронѣ люди поверхностно образованные (а такихъ людей, къ сожалѣнію, очень, очень много) представляютъ себѣ человѣка глубоко безнравственнаго, врага всякаго порядка, холоднаго и безчувственнаго эгоиста, ни во что не вѣрующаго скептика, словомъ — чудовище всѣхъ возможныхъ пороковъ. Въ дѣйствительности же авторъ «Чайльдъ Гарольда» былъ совсѣмъ не таковъ. Хотя онъ далеко не представлялъ собою образецъ нравственной чистоты, но рыцарская честность и благородство характера, чувствительное сердце, всегдашняя готовность помочь ближнему, щедрость, глубокая любовь ко всему человѣчеству, горячее сочувствіе ко всему истинно благородному и высокому и негодованіе или презрѣніе къ низости, лицемерству и лжи — вотъ свѣтлыя стороны личности Байрона, сильно перевѣшивающія его недостатки и слабости, и съ избыткомъ выкупающія его проступки, ошибки и заблужденія.

Но отчего же — спросятъ насъ, при такихъ прекрасныхъ душевныхъ качествахъ лордъ Байронъ прослылъ чуть не извергомъ? Тому много причинъ, и исчислять ихъ здѣсь было бы неудобно и притомъ слишкомъ долго; укажемъ только на нѣкоторыя изъ нихъ.

Первымъ источникомъ нерасположенія общественнаго мнѣнія къ Байрону была вражда къ нему почти всѣхъ тогдашнихъ

англійскихъ литераторовъ, которые и языкомъ, и перомъ, и всевозможными способами старались чернить его имя. Байронъ, почти съ самаго выступленія своего на литературное поприще, вооружилъ противъ себя весь британскій Парнасъ. Вотъ какъ это случилось. Вскорѣ по выходѣ изъ Кембриджскаго университета, молодой лордъ издалъ собраніе стихотвореній написанныхъ во время студенчества, подъ заглавіемъ: «Часы Досуга». Въ этихъ стихотвореніяхъ, какъ почти всегда бываетъ съ первыми опытами еще неразвившагося гения, было много незрѣлаго; но вмѣстѣ съ этимъ въ нихъ проглядывали яркіе проблески сильнаго дарованія. По какой-то роковой непредусмотрительности, тогдашняя критика, рѣшившаяся видѣть въ «Часахъ Досуга» только одни недостатки, встрѣтила болѣе, чѣмъ неблагоприятно первый дебютъ молодаго поэта. Въ Эдинбургскомъ Обозрѣніи, журналѣ, пользующемся огромнымъ авторитетомъ въ дѣлѣ литературнаго суда, была напечатана рецензія на стихотворенія Байрона, проникнутая самымъ презрительнымъ тономъ и наполненная самыми ѣдкими сарказмами, эта статья начиналась слѣдующими словами:

«Поэзія нашего молодаго лорда относится къ тому роду поэзіи, который, по выраженію Горация, не можетъ быть терпимъ ни богами, ни людьми. Въ ней все такъ плоско, что ее можно сравнить со стоячей водой болота. Вѣроятно, авторъ въ видѣ извиненія напоминаетъ намъ, что онъ несовершеннолѣтній...» *)

Можно себѣ представить съ какими чувствами принялъ подобныя выходки самолюбивый девятнадцатилѣтній юноша, исполненный надеждъ и мечтаній о славѣ, знавшій свои силы, понимавшій свое превосходство надъ критиками и уже предчувствовавшій свое будущее значеніе.

«Когда я прочелъ въ первый разъ критику на мои «Часы Досуга» — впоследствии говоритъ лордъ Байронъ — то пришелъ въ такое бѣшенство, такую ярость, какихъ ни послѣ, ни прежде этого не запомню, я обѣдалъ въ этотъ день съ однимъ

*) На заглавномъ листѣ первыхъ стихотвореній Байрона было означено, что авторъ несовершеннолѣтній.

моимъ пріятелемъ и выпилъ три бутылки Бордо, чтобъ утопить эти чувства; но это только ихъ усилило. Эта критика была образецъ дурнаго тона и представляла сплошную массу грубыхъ пошлостей. Я помню нѣкоторые изъ этихъ плоскостей, имѣющихъ претензію на юморъ; напримѣръ: *должно довольствоваться тѣмъ, что намъ даютъ — даровому коню въ зубы не заглядываютъ* и другія выраженія во вкусѣ конюховъ... Строгость нашей критики убила Кейта (Keat). Киркъ Уайтъ (White) умеръ преждевременно, доведенный до отчаянія пренебреженіемъ критики къ его таланту. Но я человѣкъ иного закала и не позволю себя убить журнальной статьей. Нисколько не испуганный критикой, и не имѣя малѣйшаго желанія перестать писать, я рѣшился доказать, что критики ошиблись въ своихъ предсказаніяхъ на счетъ моей судьбы и напомнить имъ о себѣ.

И дѣйствительно, не только критики; но и вся Англія скоро вспомнила о *несовершеннолѣтнемъ*, осмѣянномъ авторѣ «Часовъ Досуга». Не прошло года, по выходѣ въ свѣтъ этихъ стихотвореній и рецензій на нихъ Единбургскаго обозрѣнія, какъ появилась знаменитая сатира «Англійскіе поэты и Шотландскіе критики». Вотъ начало этой жестокой филиппики, обращенной Байрономъ противъ тогдашнихъ литературныхъ знаменитостей:

«Ужели я только буду слушать, что говорятъ другіе *)! Если Фипъ Джеральдъ **) выкрикиваетъ хриплымъ голосомъ свои кислые куплеты, то неужели я удержусь отъ риемъ изъ боязни, что шотландскіе журналы назовутъ меня писакой и сдѣлаютъ доносъ на мою музу! Нѣтъ, нѣтъ будемъ писать; какой бы я ни былъ писатель — хорошій или дурной, но я заставлю стонать типографскіе станки».

„Пою глупцовъ. Муза сатиры, призываю тебя!“

*) Подражаніе стиху Ювенала:

Semper ego auditor tantum.

**) Поэтъ того времени.

Далѣе, *воспѣвая мучицовъ*, Байронъ перебираетъ поименно почти всѣхъ тогдашнихъ англійскихъ поэтовъ, романистовъ, журналистовъ и критиковъ и осыпаетъ ихъ самыми жестокими сарказмами. Сарказмы раздраженного поэта такъ ѣдки, исполнены такой правды, что всѣ литературныя знаменитости того времени, весь пишущій людъ, пришли въ бѣшенство. Они бѣгали изъ дома въ домъ, понося автора; печатно и словесно осыпали его клеветами, откапывали всѣ сколько нибудь странныя черты его домашней жизни, разгласили ихъ съ поясненіями и прибавленіями. Одинъ очень извѣстный и даровитый писатель даже вызвалъ на дуэль Байрона *), но сатира была такъ хорошо написана, что имѣла огромный успѣхъ. Въ 18-тъ мѣсяцевъ ея разошлось четыре изданія. Уже готовилось и пятое, но Байронъ остановилъ его изъ жалости къ своимъ жертвамъ.

Также не мало способствовали къ составленію дурной репутаціи Байрона его странныя выходки, шалости и проказы. Многіе самые невинные его поступки, по странности своей, подавали поводъ къ самымъ рѣшительнымъ заключеніямъ о его личности. Такъ однажды Байронъ, нашедъ человѣческій черепъ, велѣлъ его выкрасить и обдѣлать, и послѣ пилъ изъ него вино. Можно себя представить, что толковало о такомъ поступкѣ чопорное лондонское общество.

Но главный клеветникъ Байрона, человѣкъ, болѣе всѣхъ другихъ повредившій его репутаціи, былъ самъ Байронъ: онъ имѣлъ странную страсть выдумывать про себя дурное и представлять себя въ худшемъ свѣтѣ, чѣмъ каковъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Можетъ быть, причиной тому было презрѣніе къ мнѣнію толпы и желаніе подурочить ее; можетъ быть, и то, что Байронъ, ненавидѣвшій лицемеріе и тщательно избѣгавшій его, впадалъ въ другую крайность. Можетъ быть также (и это всего вѣроятнѣе), что гордость, которая была главнымъ его порокомъ, заставляла его скрывать подъ маской холодности

*) Томасъ Муръ, впоследствии другъ Байрона. Оскорбленный лично въ сатирѣ, онъ послалъ къ автору письменный вызовъ на дуэль. Къ счастью, письмо не дошло.

и равнодушія чувствительность, поэтическую мечтательность и нѣжныя душевныя движенія... Какъ бы то ни было, Байронъ былъ далеко не тѣмъ, какимъ казался людямъ, не знавшимъ его коротко, и какимъ прослылъ между большинствомъ общества.

Въ доказательство этого приводимъ нѣсколько чертъ изъ его жизни.

Въ школѣ, гдѣ воспитывался Байронъ, произошло возмущеніе противъ начальства. Ученики положили сжечь классъ и чуть было не приступили къ исполненію своего намѣренія, какъ маленькій Байронъ остановилъ своихъ товарищей, указавъ имъ на имена ихъ отцовъ и дѣдовъ, написанныя на стѣнахъ классной комнаты.

Одно лондонское семейство, вслѣдствіе какого-то несчастія, лишилось всего состоянія и впало въ крайнюю бѣдность. Въ числѣ членовъ этого семейства была молодая дѣвушка — писательница. Желая спасти своихъ родителей отъ нищеты, она рѣшилась продать рукопись своихъ сочиненій книгопродавцу-издателю. Но книгопродавецъ, боясь убытка, не соглашался купить и издать на свой счетъ произведенія никому не извѣстной писательницы. Онъ требовалъ отъ нея рекомендаціи какого-нибудь извѣстнаго литератора и листа подписчиковъ на ея книгу, какъ надежнаго ручательства, что плата за рукопись и издержки по изданію окупятся. Въ это время Байронъ былъ на верху своей хорошей и дурной славы, славы хорошей, какъ писатель, и дурной, — какъ человѣкъ. Молодая дѣвушка, знавшая Байрона только по его сочиненіямъ, несмотря на дурныя толки, ходившіе о немъ въ обществѣ, составила себѣ понятіе о его личности, діаметрально противоположное этимъ толкамъ, т.-е. самое высокое, и не побоялась прямо къ нему явиться за помощью и покровительствомъ. Объяснивъ поэту положеніе своего семейства, она просила дать ей рекомендательное письмо къ издателю и помочь въ собираніи подписчиковъ. Въ отвѣтъ на эту просьбу, Байронъ написалъ что - то на лоскутѣ бумаги, сложилъ его и подаль хорошенькой просительницѣ.

«Вотъ моя подписка», сказалъ онъ, «пріятно позволить вамъ замѣтить, что несовсѣмъ ловко и прилично будетъ для васъ, если я буду слишкомъ дѣятельно вербовать подписчиковъ на вашу книгу. Мы съ вами молоды, а свѣтъ склоненъ къ злорѣчію.»

Когда просительница вышла отъ Байрона и развернула клочекъ бумаги, который онъ ей далъ, то увидала, что это была записка къ банкиру о выдачѣ пятидесяти фунтовъ стерлинговъ.

Во время пребыванія Байрона въ Венеціи, сгорѣлъ домъ у одного знакомаго ему гондольера. Байронъ купилъ клочекъ земли, велѣлъ выстроить на ней домъ, и когда это было исполнено, послалъ сказать гондольеру, что онъ можетъ возвратиться въ свой домъ.

Также въ бытность его въ Венеціи, ему случилось узнать, что одна молодая дѣвушка, не имѣя приданаго, не могла выдти замужъ за человѣка, котораго любила. Байронъ послалъ ей сумму денегъ, которой не доставало для устройства ея счастья.

Разъ, сидя за обѣдомъ, Байронъ узналъ, что неподалеку отъ него случился обвалъ *), и нѣсколько человѣкъ было засыпано землею. Онъ вскочилъ изъ за стола, и въ сопровожденіи доктора, которому велѣлъ взять нужные медикаменты, поспѣшилъ на помощь къ несчастнымъ. На мѣстѣ, гдѣ произошло несчастіе, онъ засталъ работниковъ, которые, откопавъ нѣкоторыхъ изъ своихъ товарищей, хотѣли бросить эту работу, изъ опасенія быть задавленными новымъ обваломъ, что и дѣйствительно очень легко могло случиться. Ни увѣщанія, ни угрозы Байрона не могли склонить ихъ къ возобновленію поисковъ; тогда онъ самъ схватилъ заступъ и принялся за работу; работники послѣдовали его примѣру, и еще два человѣка было открыто и возвращено къ жизни.

Незадолго до своей смерти, Байронъ принималъ живое участіе въ Гентѣ (Hunt), бѣдномъ поэтѣ, обремененномъ большимъ семействомъ. Вотъ собственный рассказъ поэта объ этомъ участіи, записанный однимъ изъ его друзей.

*) Это было въ Греціи.

«Я почти въ первый разъ посѣтилъ Гѣнта, говорилъ Байронъ, когда онъ содержался въ тюрьмѣ. Я помню, что леди Байронъ была со мной въ каретѣ, и я заставилъ ее дожидаться у воротъ тюрьмы гораздо долѣе, чѣмъ предполагалъ. Гѣнтъ былъ единственный редакторъ журнала, единственный литераторъ, который осмѣлился возвысить голосъ въ мою пользу, въ то время, когда противъ меня возстали всѣ литераторы. Отважиться одному наперекоръ всѣмъ, защищать меня—это съ его стороны было великодушіе.

«Теперь онъ здѣсь... мы съ Шелли омеблировали для него комнату въ моемъ дворцѣ *), которую онъ теперь и занимаетъ... Вотъ что мы для него придумали: онъ будетъ издавать журналъ, гдѣ я буду участвовать и помѣщу переводъ «Неистоваго Орланда»... Томасъ Муръ давно уговариваетъ меня прекратить сношенія съ Шелли, Гѣнтомъ и ихъ кружкомъ, но я не могу уже отъ нихъ отступить. Къ тому отказаться отъ участія въ будущемъ журналѣ, значило бы разрушить надежды Гѣнта, а у него большое семейство».

Но нигдѣ не высказались такъ ярко благородныя стороны характера Байрона, какъ въ участіи, которое онъ принялъ въ освобожденіи Греціи. Байронъ былъ рожденъ не для одной поэзіи, дѣятельность писателя не могла вполне удовлетворить его; для него было слишкомъ мало—создавать въ своемъ воображеніи высокіе подвиги вымышленныхъ лицъ; онъ чувствовалъ неодолимую потребность совершать ихъ самъ въ мірѣ дѣйствительности. Потому трудно составить вѣрное и ясное понятіе о личности поэта по жизни его до послѣдней поѣздки въ Грецію. Хотя все это время онъ постоянно работалъ, много читалъ и написалъ огромное количество поэмъ, трагедій и ли-

*) Въ это время Байронъ жилъ въ Пизѣ и нанималъ для себя огромный и великолѣпный дворецъ *Lafranchi*. Вообще, должно замѣтить, что лордъ Байронъ своими прихотями и причудами во время путешествія напоминалъ нѣсколько нашего Потемкина во время его походовъ. Онъ обыкновенно имѣлъ съ собой: семь слугъ, пять экипажей, девять лошадей, обезьяну, бульдога, дворную собаку, двухъ кошекъ, трехъ павлиновъ и нѣсколько куръ; кромѣ того возилъ съ собой библіотеку и множество мебели.

рическихъ стихотвореній, но повторяемъ — такая дѣятельность не удовлетворяла его — онъ все-таки томился своего рода бездѣйствіемъ. Безпокойная душа его искала сильныхъ ощущеній. И этимъ много объясняется и странный образъ жизни, который онъ велъ, и недостойныя забавы, которымъ часто предавался. Но въ войну за греческую независимость онъ явился совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Великость дѣла, которое онъ предпринялъ, дала ему возможность сосредоточить всѣ свои душевныя способности; онъ вдругъ какъ-бы возмужалъ, протиснулся легкомысленными стремленіями юности и весь предался политической дѣятельности. Этотъ переворотъ, совершившійся въ душѣ Байрона, изображенъ имъ самимъ въ слѣдующихъ стихахъ, гдѣ онъ, раскаяваясь въ проступкахъ своей прежней жизни, высказываетъ твердую рѣшимость идти по новой дорогѣ.

О сердце, замолчи! Пора забыть страданья...

Уже любви тебѣ ни въ комъ не возбудить,

Но если возбуждать ея не въ состоянн

Все-жъ я хочу еще любить.

Какъ листья, дни мои поблѣкли и завяли,

Цвѣты моей любви оборваны грозой —

И вотъ трывающій червь — упрёки и печали

Одни остались со мной.

Какъ гибельный волканъ, средь глади водъ безбрежной,

Мой внутренній огонь влоскочетъ съ даяннхъ поръ;

Но свѣточъ онъ зажметъ таинственный и вѣчный,

А погребальный мой костеръ.

Ни страха, ни надеждъ, ни гордаго страданья,

Ни пламени любви, растреченной въ борьбѣ,

Я раздѣлять теперь уже не въ состоянн,

Неся ихъ цѣпи на себя.

Но здѣсь ли и теперь, когда все жаждетъ боя,

Такая мысль могла возстать въ умѣ моемъ, —

Гдѣ слава воинна вѣнчаетъ гробъ героя

Или чело его вѣнкомъ?

И слава Греціи вокругъ меня сіяетъ

Съ ея полями битвъ, хоругвью и мечомъ;

Здѣсь каждый бравный щитъ отважному вѣщаетъ.

„Нѣ съ нимъ, или на немъ“.

Возстань не Греція — она уже возсталъ --

Но ты, душа моя, опомнись и возстань,

И вспоминая доблесть твою, въ комъ кровь моя играла,

Зажгись въ груди моей на брань!

Возстань и подави могучею пятою

Воспрянувшихъ страстей отжившія мечты;

Возстань, чтобъ отавчать холодною одною

На смѣхъ и слезы красоты.

Къ чему же жить, когда ты юности жалѣешь

Земля, гдѣ, можетъ быть, смерть славна предъ тобой?

Впередъ и покажи, что ты еще сумѣешь

Погибнуть въ битвѣ, какъ герой *).

Байронъ всегда горячо любилъ Грецію. Еще задолго до ея возстанія противъ турецкаго ига, онъ служилъ ей и былъ полезенъ словомъ, т.-е. своими сочиненіями, какъ въ послѣдствіи помогалъ ей деньгами и совѣтами. Сочувствіе къ поработенной Греціи, которымъ проникнуто столько поэтическихъ произведеній Байрона, обратило на нее вниманіе всей Европы. Байронъ въ сочиненіяхъ своихъ былъ адвокатомъ греческаго народа передъ всѣмъ образованнымъ міромъ. Онъ одинъ изъ первыхъ, такъ сказать, *открылъ*, что потомки Леонида и Фемистокла способны къ политическому возрожденію, постоянно твердилъ объ этомъ во всеуслышаніе, и такимъ образомъ подготовилъ въ нѣкоторой степени то участіе, которое въ послѣдствіи приняли образованные народы въ дѣлѣ освобожденія Греціи. Послѣ этого понятно, какой популярностью и любовью пользовалось имя Байрона въ странѣ, прославленію которой онъ посвятилъ столько вдохновенныхъ, великихъ произведеній, прогремѣвшихъ по всей Европѣ. Когда въ 1823 году онъ явился въ Грецію, чтобъ принять участіе въ войнѣ за ея независимость, вѣсть о его прибытіи была тамъ принята со всеобщимъ восторгомъ и энтузіазмомъ. Въ Мисолунги, напримѣръ, народъ и войско вышли къ нему на встрѣчу съ восторженными восклицаніями при громѣ пушекъ со всего флота и батарей.

Первымъ дѣломъ Байрона, по пріѣздѣ въ Грецію, было вооружить 40 солдатъ, выдать имъ впередъ жалованье и отпра-

*) Эти стихи приведены нами въ переводѣ г. Гербеля.

вить ихъ въ осажденный Мисолунги. Нѣсколько дней спустя онъ послалъ осажденнымъ значительную сумму денегъ, а также медикаменты, корпію и бинты для раненыхъ. Въ то же время онъ объявилъ греческому временному правительству, что будетъ выдавать каждый мѣсяцъ по тысячѣ піастровъ на защиту города. Впослѣдствіи онъ содержалъ на свой счетъ 500 солдатъ изъ числа защитниковъ Мисолунги и даже выдалъ жалованье цѣлой греческой эскадрѣ. Кромѣ этихъ пожертвованій на военныя издержки, Байронъ выдавалъ грекамъ деньги на разныя религіозныя церемоніи. «Лордъ Байронъ», говоритъ медикъ, бывшій при немъ въ Греціи, «дѣлался грустенъ и печаленъ, если въ продолженіе дня не находилъ случая сдѣлать какой-нибудь великодушный поступокъ».

Но не одними деньгами помогалъ Байронъ возрождавшейся Греціи—онъ ей былъ полезенъ и своимъ нравственнымъ вліяніемъ — совѣтами.

Прежде всего онъ протестовалъ противъ жестокости, съ которой греки обращались съ плѣнными турками, и дѣятельно занялся преобразованіемъ системы войны въ этомъ отношеніи. Лишь только успѣлъ онъ вступить въ Мисолунги, какъ освободилъ плѣннаго турка, прилично одѣлъ его и возвратилъ въ турецкій лагерь. Впослѣдствіи онъ возвращалъ непріятелямъ по нѣскольку десятковъ плѣнниковъ и плѣнницъ и разъ даже нанялъ на свой счетъ цѣлый корабль, чтобы возвратитъ турецкому правительству его подданныхъ обоюго пола и всѣхъ возрастовъ, захваченныхъ въ плѣнъ греческими корсарами. Подобные поступки имѣли то слѣдствіе, что даже турки стали произносить съ уваженіемъ имя Байрона, и нѣкоторые изъ ихъ начальниковъ общались и въ свою очередь перемѣняли обращеніе съ плѣнными греками.

Байронъ употребилъ также свое вліяніе на примиреніе партій и подавленіе гражданскихъ междоусобицъ, отъ которыхъ Греція страдала въ то время. Онъ успѣлъ сдѣлать кое-что и въ этомъ отношеніи и вѣроятно сдѣлалъ бы многое, еслибъ преждевременная смерть не застигла поэта въ самомъ разгарѣ его политической дѣятельности.

Въ заключеніе нашей статьи, приведемъ характеристику Байрона, сдѣланную однимъ изъ его друзей.

«Людамъ, коротко знавшимъ лорда Байрона, могъ придти въ голову вопросъ: когда онъ находилъ время писать? Мнѣ часто случалось просиживать съ нимъ съ утра до поздней ночи, но на другое же утро онъ мнѣ показывалъ работу, сдѣланную имъ наканунѣ. Часто случалось мнѣ заставить его пишущимъ. Онъ продолжалъ писать и въ моемъ присутствіи и въ то же время разговаривалъ. Иногда онъ бросалъ перо и шелъ играть на бильярдъ или прогуливаться; потомъ принимался опять за работу, какъ будто и не прерывалъ ея. Онъ имѣлъ даръ импровизаціи. Чистота его черновыхъ рукописей, я говорю не про каллиграфію, удивительна.

«Въ нихъ есть цѣлыя страницы, на которыхъ не найдете ни одной поправки. Онъ печаталъ новыя изданія своихъ произведеній безъ малѣйшихъ перемѣнъ; я даже думаю, что послѣ прочтенія послѣдней корректуры перваго изданія, онъ больше и не заглядывалъ въ свое сочиненіе. А между тѣмъ онъ не забывалъ ни одного слова изъ того, что имъ написано, да и вообще онъ не забывалъ ничего.

«Я не встрѣчалъ человѣка, разговоръ котораго былъ-бы столь блестящъ, можетъ быть отъ того, что онъ никогда не старался блеснуть въ разговорѣ. Онъ высказывалъ свои мысли свободно, безъ малѣйшихъ усилій, не обдумывая то, что хотѣлъ сказать (таковъ онъ былъ и въ своихъ письмахъ). Онъ не приискивалъ словъ и выраженій; ничего не утаивалъ, ничего не говорилъ по секрету. Онъ говорилъ обо всемъ, что думалъ, что дѣлалъ, какъ-бы желая, чтобы всѣ объ этомъ узнали; никогда не старался прикрывать своихъ ошибокъ. Такъ какъ самъ онъ былъ крайне лакониченъ въ своей рѣчи, то многословіе собесѣдника выводило его изъ терпѣнія, онъ боялся длинныхъ разсказовъ и почти никогда не повторялъ своихъ анекдотовъ. Если при немъ разсказывали анекдотъ, уже имъ слышанный, онъ останавливалъ разсказчика словами: «вы это ужъ мнѣ говорили», и досказывалъ за него конецъ съ неизвѣстимо граціозной шутливостью.

«Байронъ не любилъ споровъ и никогда не старался кого-нибудь переспорить. Онъ любилъ, чтобы всѣ присутствующіе принимали участіе въ разговорѣ, и умѣлъ бесѣду свою направлять такъ, что каждый могъ сказать хоть нѣсколько словъ касательно предмета, о которомъ шла рѣчь. Въ немъ никогда нельзя было замѣтить сочинителя: онъ гордился своей общительностью и умѣньемъ держать себя въ обществѣ. Онъ былъ неистощимъ на анекдоты о самомъ себѣ и о людяхъ нашего времени.

«Во всѣхъ своихъ поступкахъ онъ впадалъ въ крайности. Бережливый и расчетливый во всемъ, что касалось расходовъ его всѣдневной жизни, онъ готовъ былъ отдать все свое состояніе за независимость Греціи; сегодня хлопоталъ онъ объ уменьшеніи расходовъ на своей конюшнѣ, а завтра поселялъ у себя въ домѣ цѣлое семейство или покупалъ себѣ ахту въ тысячу фунтовъ стерлинговъ; когда онъ обѣдывалъ одинъ, столъ обходился ему въ нѣсколько копѣекъ (paules), а друзьямъ своимъ онъ задавалъ самый роскошнѣйшій обѣдъ.

«Я аристократъ по рожденію и потому, что очень естественно, аристократъ по характеру,» говаривалъ лордъ Байронъ. Многіе стихи изъ его «Часовъ Досуга» доказываютъ, что онъ гордился своими предками, но онъ хвалился только ихъ подвигами.

«Съ самаго дѣтства Байронъ выказалъ независимость характера, которая впослѣдствіи только усилилась. Онъ былъ горячъ, но не былъ злопамятенъ; терпѣть не могъ наставленій; былъ слишкомъ гордъ, чтобы оправдываться, когда чувствовалъ себя правымъ, — и чтобы сознаться въ своей винѣ, когда былъ виноватъ. Въ то же время не было человека менѣе упрямаго, болѣе способнаго принимать совѣты, когда ихъ давали изъ любви, изъ дружбы къ нему *).

*) Изъ всѣхъ друзей Байрона, больше всѣхъ имѣлъ на него вліяніе Вальтеръ-Скоттъ. Когда лишь поэтъ получалъ письмо отъ знаменитаго романиста, то дѣлался веселъ на цѣлый день. Шелли тоже былъ для него авторитетомъ. Однажды Шелли не похвалилъ новую, только что написанную поему Байрона, авторъ сейчасъ бросилъ въ огонь свое новорожденное произведеніе.

«Хотя онъ сильно не одобрялъ внѣшнюю политику Англіи, но далеко не былъ врагомъ существующаго государственнаго устройства своего отечества. Лучшимъ доказательствомъ уваженія его въ англійской конституціи, можетъ служить его желаніе, чтобъ она была введена во всѣ государства континента... Последнія его мысли и заботы относились къ Греціи — ея свободѣ и независимости.

«Есть люди, которые думаютъ, что лордъ Байронъ восхвалялъ пороки, осмѣивалъ добродѣтель, и потому называютъ его поэзію *сатанинской*. Но въ самомъ дѣлѣ Байронъ смѣялся не надъ добродѣтелью, а надъ пороками, прикрывавшимися внѣшними атрибутами добродѣтели — надъ мелкими своекорыстными стремленіями, выдающими себя за любовь къ отечеству и ко всему человѣческому роду, мелкими придворными и дипломатическими интригами и плутнями, выступающими подъ формою благоразумной политики и т. д. Его творенія имѣли цѣлью пробуждать въ людяхъ высокія чувства, облагораживать ихъ душу. Всякая черта челоѣколюбія и патріотизма, всякій благородный поступокъ, про которые ему случалось слышать, приводили въ восторгъ, вдохновляли его; насиліе, низкій поступокъ и несправедливость всегда возбуждали въ немъ страшное негодованіе, раздражавшееся громомъ сарказмовъ на голову виновнаго... Чѣмъ сильнѣе преслѣдовали его враги, тѣмъ болѣе росла его сила въ борьбѣ съ ними.

«Конечно, Байронъ не былъ совершененъ. Но много ли людей совершеннѣе его? Къ нему идетъ эпитафія, написанная на гробницѣ другаго знаменитаго мужа: «Вы, которые помните его ошибки, не забывайте его доблестей; если его слава не безъ пятенъ, то потому, что онъ все-таки былъ челоѣкъ.»»

СТАТЬИ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

КЛАВИГО.

1859 г.

К Л А В И Г О.

(ИЗЪ ЗАПИСОКЪ БОМАРШЕ).

У меня было пять сестеръ. Двѣ изъ нихъ еще во время моего дѣтства поселились въ Испаніи—и я зналъ ихъ только по слабому воспоминанію да по письмамъ.

Въ февралѣ 1764 года отецъ мой получилъ отъ старшей сестры письмо слѣдующаго содержанія:

«Сестра моя оскорблена человѣкомъ сильнымъ и опаснымъ. Два раза онъ ей предлагалъ руку и два раза въ назначенный для свадьбы день отказывался отъ своего слова, не стараясь даже намъ объяснить причинъ своего отказа. Сестра не перенесла этого оскорбленія, сдѣлалась больна и, кажется, не выздоровѣетъ: нервы ея совершенно разстроены, и вотъ уже шесть дней, какъ она безъ языка. Безчестіе, которое пало на нее, заставило насъ отъ всѣхъ отдалиться; я плачу день и ночь, стараюсь утѣшать несчастную, но сама также безутѣшна, какъ и она».

«Весь Мадридъ знаетъ, что сестра тутъ ничѣмъ не виновата. Еслибы братъ нашъ могъ исходатайствовать намъ заступничество французскаго посланника, то это заступничество защитило бы насъ отъ преслѣдованій и угрозъ обманщика».

Отецъ мой пріѣхалъ ко мнѣ въ Версаль и со слезами на глазахъ подаль мнѣ это письмо.

— Подумай, мой сынъ, сказалъ онъ, не можешь ли ты чего-нибудь сдѣлать для этихъ несчастныхъ? — онъ тебѣ такіа же сестры, какъ и другія...

Я прочиталъ письмо. Ужасное положеніе сестры крайне меня огорчило.

— Батюшка, сказали я, какую же рекомендацію могу я для нихъ выхлопотать? Кого я буду просить?.. Да и притомъ (кто знаетъ!) можетъ быть, онѣ сами виноваты, но только скрываютъ отъ насъ свою вину...

— Я забылъ тебѣ показать, возразилъ мой отецъ, письма нашего посланника къ старшей моей дочери, изъ которыхъ видно, что онъ питаетъ глубокое уваженіе какъ къ ней, такъ и къ меньшей ея сестрѣ.

Я прочелъ эти письма; они меня успокоили. Слова моего отца: *онъ тебѣ такія-же сестры* глубоко запали въ мое сердце.

— Не плачьте, сказалъ я отцу. Я придумалъ планъ дѣйствія, который васъ удивитъ, но который мнѣ кажется самымъ вѣрнымъ и благоразумнымъ. Сестра пишетъ, что у нея есть нѣсколько знакомыхъ въ Парижѣ, людей очень почтенныхъ, которые могутъ засвидѣтельствовать передо мной невинность нашей меньшей сестры. Я сейчасъ же отправлюсь къ нимъ; если ихъ отзывы о моихъ сестрахъ также благопріятны, какъ отзывы посланника, — я ѣду въ Мадридъ, и послушный только голосу благоразумія и влеченію сердца, отомщу за нихъ измѣннику или привезу ихъ въ Парижъ раздѣлять съ вами мои ограниченные средства.

На разспросы мои я получилъ весьма пріятные для меня отвѣты. Это придало мнѣ духу. Не теряя времени, я сейчасъ же возвратился въ Версаль, чтобъ извѣстить моихъ Августѣйшихъ покровительницъ *), что одно очень непріятное и не терпящее отлагательства дѣло требуетъ моего присутствія въ Мадридѣ. Онѣ очень удивились такой неожиданности и были такъ добры и внимательны, что пожелали узнать, въ чемъ именно состоитъ несчастье, меня постигшее. Я показалъ имъ письмо моей сестры.

*) Принцессъ Аделаиду и Викторію, дочерей Людовика XV.

— Поѣзжайте, но будьте благоразумны, сказали мнѣ онѣ. Предпріятіе ваше благородно и вы вѣрно найдете въ Испаніи себѣ защитниковъ, если только будете дѣйствовать разсудительно.

Сборы мои въ дорогу были очень непродолжительны. Я боялся, чтобъ не пріѣхать слишкомъ поздно — когда уже не будетъ возможности спасти жизнь моей сестры. Мнѣ были даны самыя лестныя рекомендаціи къ нашему посланнику.

Я отправился, и ѣхалъ безъ отдыха день и ночь. Одинъ французскій купецъ, увѣрившій меня, что ѣдетъ по своимъ дѣламъ въ Байонну, а въ самомъ дѣлѣ тайно вызванный моими сестрами сопровождать меня и смотрѣть за моею безопасностью, выпросилъ у меня мѣсто въ экипажѣ.

Я пріѣхалъ въ Мадридъ 18-го мая 1764 года въ 11 часовъ утра. Сестры уже нѣсколько дней ожидали моего пріѣзда. Я засталъ у нихъ нѣсколькихъ близкихъ знакомыхъ, которые, узнавъ о той ревности и рѣшительности, съ какой я принялъ участіе въ дѣлѣ моихъ сестеръ, желали со мной познакомиться.

На нашихъ глазахъ не успѣли еще высохнуть первыя слезы свиданья, какъ я, обратясь къ сестрамъ, сказалъ:

— Вамъ, можетъ быть, покажется очень страннымъ, что я сію же минуту хочу потребовать самаго точнаго и вѣрнаго разсказа о постигшемъ васъ несчастіи? Я прошу благородныхъ людей, которые насъ окружаютъ и которыхъ я считаю своими друзьями, потому что они друзья вамъ, прошу ихъ дѣлать замѣчанія на самыя малѣйшія неточности, которыя бы вкрались въ вашъ разсказъ.

Разсказъ былъ вѣренъ, точенъ и продолжителенъ. Всѣ присутствующіе были растроганы, и я вполне увѣрился, что дѣло моей сестры было совершенно правое. Я объялъ ее и сказалъ:

— Дитя мое, теперь я все знаю. Будь покойна. Я очень радъ, что ты не любишь этого человѣка: это мнѣ развязываетъ руки. Скажи только, гдѣ мнѣ его отыскать?

Тутъ всѣ мнѣ стали совѣтовать, чтобъ я прежде всего съѣздили въ Аранхуецъ къ нашему посланнику и взялъ бы у

него инструкции, какъ дѣйствовать безопасно, потому что врагъ нашъ былъ въ связяхъ съ очень сильными людьми.

— Прекрасно, отвѣчалъ я на эти совѣты. Приготовьте дорожную карету, и я завтра же отправлюсь къ посланнику. Но прежде позвольте мнѣ собрать кой-какія свѣдѣнія, необходимы для плана моихъ дѣйствій. Единственная услуга, которую я отъ васъ требую, — никому не говорить покуда о моемъ пріѣздѣ.

Затѣмъ я переодѣлся, и справившись, гдѣ живетъ *Донъ Жозефъ Клавиго*, директоръ королевскаго архива, отправился къ нему. Я его не засталъ дома; но мнѣ сказали, что онъ въ гостяхъ у одной дамы. Я сейчасъ отправился туда, видѣлъ его и сказалъ, не называя себя по имени, что я только что пріѣхалъ изъ Франціи, имѣю къ нему порученіе и прошу его дать мнѣ возможность поскорѣе переговорить съ нимъ. Онъ пригласилъ меня пріѣхать къ нему на другой день въ 9 часовъ утра пить шоколатъ. Я принялъ это приглашеніе для себя и для французскаго негоціанта, котораго общался ему представить.

На другой день въ половинѣ девятаго я уже былъ у него. Клавиго занималъ великолѣпный домъ, который, какъ онъ мнѣ сказывалъ, принадлежитъ одному изъ наиболѣе значительныхъ чиновниковъ въ министерствѣ, и въ которомъ, по дружбѣ своей къ хозяину и въ его отсутствіе, онъ распоряжается какъ въ своемъ собственномъ.

— Одно литературное общество во Франціи, сказалъ я, поручило мнѣ пріискивать во всѣхъ городахъ, черезъ которые я буду проѣзжать, корреспондентовъ изъ людей наиболѣе образованныхъ. Такъ какъ ни одинъ испанецъ не пишетъ такимъ прекраснымъ слогомъ, какъ редакторъ газеты «*Pensador*,» съ которымъ я имѣю честь говорить, и литературныя дарованія котораго замѣчены самимъ королемъ, сдѣлавшимъ его директоромъ одного изъ своихъ архивовъ, — то я думаю, что окажу большую услугу моимъ друзьямъ, если доставлю имъ такого корреспондента, какъ вы.

Клавиго былъ въ восторгѣ отъ моего предложенія. Чтобы лучше узнать, съ кѣмъ имѣю дѣло, я далъ ему полную свободу ораторствовать о выгодахъ, какія могутъ извлекать народы изъ литературныхъ сношеній. Онъ справедливо смотрѣлъ на нихъ и говорилъ, какъ ангель, весь въ лучахъ отъ славы и удовольствія.

Въ пылу своего восторга, онъ спросилъ меня, по какому случаю я пріѣхалъ въ Мадридъ, и не можетъ ли онъ въ свою очередь имѣть счастье быть мнѣ чѣмъ-нибудь полезень.

— Очень вамъ благодаренъ за ваше лестное предложеніе, отвѣчалъ я ему... я буду съ вами откровененъ...

Тогда, желая привести его въ замѣшательствъ, я рекомендовалъ ему снова моего друга.

— Этотъ господинъ, сказалъ я ему, не совсѣмъ чуждъ тому, о чемъ я хочу съ вами говорить, и потому онъ не будетъ здѣсь лишнимъ...

Клавиго пристально посмотрѣлъ на купца. Я началъ слѣдующій рассказъ:

— Одинъ французскій купецъ съ ограниченнымъ состояніемъ, обремененный большимъ семействомъ, имѣлъ много корреспондентовъ въ Италіи. Одинъ изъ нихъ человекъ очень богатый, бывши девять или десять лѣтъ тому назадъ по своимъ дѣламъ въ Парижѣ, сдѣлалъ ему слѣдующее предложеніе: «дайте мнѣ двухъ изъ вашихъ дочерей, я ихъ отвезу въ Мадридъ; онѣ будутъ жить у меня: я старый, безсемейный холостякъ, и потому ваши дочери будутъ утѣшать мою старость и впослѣдствіи сдѣлаются наслѣдницами одного изъ самыхъ богатыхъ торговыхъ домовъ въ Испаніи». Отецъ согласился на это предложеніе и поручилъ ему двухъ дочерей (одну изъ нихъ замужнюю).

Спустя два года потомъ, корреспондентъ умеръ, оставивъ на рукахъ французенокъ всю свою торговлю, но не оставивъ по себѣ никакого наличнаго капитала. Сестры были въ крайне затруднительномъ положеніи; но благодаря доброй нравственности, хорошей репутаціи и привлекательному уму, онѣ пріобрѣли много друзей, которые поддержали ихъ кредитъ и по-

могли имъ устроить свои дѣла. (При этихъ словахъ Клавиго удвоилъ вниманіе). Около этого времени познакомился съ нимъ одинъ молодой человѣкъ, уроженецъ Канарскихъ острововъ. (При этихъ словахъ исчезла вся веселость Клавиго). Несмотря на его бѣдность, мои дамы, видя въ немъ горячее желаніе учиться по-французски и другимъ наукамъ, дали ему средства сдѣлать большіе успѣхи. Горя желаніемъ приобрести извѣстность, онъ задумываетъ издавать литературную газету въ родѣ «Англійскаго зрителя.» Француженки оказываютъ ему всякаго рода помощь въ его предпріятіи. За успѣхъ можно было поручиться заранѣе, потому что такая газета была совершенная новостъ въ Мадридѣ. Тогда, оживленный надеждами на славу, будущій редакторъ осмѣливается предложить свою руку меньшей изъ француженокъ. «Сперва постарайтесь успѣть въ вашемъ предпріятіи (сказала ему старшая сестра), а тамъ, если вы получите какое-нибудь мѣсто или милость отъ короля, словомъ, будете имѣть возможность жить приличнымъ образомъ—просите руки моей сестры. Если она будетъ согласна, — и я не буду противъ этого брака».

При этихъ словахъ Клавиго началъ вертѣться на стулѣ, но я, какъ ни въ чемъ не бывало, спокойно продолжалъ:

— Меньшая француженка, находя въ молодомъ человѣкѣ несомнѣнныя достоинства, отказываетъ женихамъ, съ которыми могла бы составить блистательныя партіи. Наконецъ, молодой человѣкъ приступаетъ къ изданію газеты, которую, по совѣту дамы своего сердца, называетъ *Pensador*...

При этихъ словахъ Клавиго чуть не упалъ въ обморокъ; но я опять продолжалъ съ совершеннымъ спокойствіемъ:

— Газета имѣла огромный успѣхъ; король былъ такъ доволенъ, что обѣщалъ издателю мѣсто. Тогда послѣдній сдѣлалъ уже открытое предложеніе француженкѣ. Ихъ помолвили, и свадьба должна была совершиться сейчасъ послѣ того, какъ женихъ получитъ обѣщанное мѣсто. Но когда мѣсто было получено, женихъ... скрылся. (Тутъ Клавиго испустилъ глубокій вздохъ, но замѣтивъ это, смѣшался и покраснѣлъ).

— А между тѣмъ французенки уже все приготовили для свадьбы: наняли квартиру на двѣ отдѣльныя семьи, свадьба была оглашена въ приходской церкви и проч. Всѣ знакомые были возмущены низкимъ поступкомъ жениха, такъ что даже французскій посланникъ рѣшился вступить за своихъ соотечественницъ. Но когда слухъ о вмѣшательствѣ такого сильнаго лица дошелъ до молодаго человѣка, онъ испугался, прибѣжалъ къ своей невѣстѣ, и бросившись ей въ ноги, просилъ у нея прощенья. Она долго не хотѣла простить его. Тогда онъ бросился умолять о заступничествѣ всѣхъ ея знакомыхъ и друзей — и дѣло уладилось. Опять начались приготовленія къ свадьбѣ, и опять бракъ былъ оглашенъ въ церкви. Положили, что свадьба будетъ черезъ три дня: жениху нужно было стѣздить въ Аранхуецъ, чтобъ просить министра позволить ему жениться. «Друзья мои», говорилъ онъ, прощаясь, «постарайтесь сохранить расположеніе моей невѣсты, и постарайтесь все приготовить такъ, чтобъ я сію же минуту по пріѣздѣ, могъ идти съ ней къ алтарю».

Во время этого разсказа Клавиго былъ въ ужасномъ положеніи. Но онъ все еще не зналъ, кто я такой. По спокойствію, съ какимъ я говорилъ, нельзя было подозрѣвать во мнѣ брата обиженной женщины. По временамъ онъ посматривалъ на купца, пріѣхавшаго со мной, но и тотъ былъ совершенно спокоенъ. Тутъ я вдругъ сильно возвысилъ голосъ и продолжалъ уже совсѣмъ другимъ тономъ:

— Женихъ дѣйствительно возвратился въ назначенный день, но вмѣсто того, чтобъ вести жертву свою къ алтарю, онъ послалъ ей сказать, что раздумалъ на ней жениться. Друзья невѣсты бѣгутъ къ нему. Онъ имъ очень нагло объявляетъ, что если французенки не оставятъ его въ покоѣ, то имъ будетъ плохо, что ему ничего не стоитъ погубить ихъ въ странѣ, имъ совершенно чужой. Несчастная дѣвушка сдѣлалась отчаянно больна. Старшая сестра написала обо всемъ случившемся во Францію, гдѣ у нихъ есть братъ. Братъ, тронутый положеніемъ сестры, въ одну минуту собрался въ дорогу и однимъ прыжкомъ

перескочилъ изъ Парижа въ Мадридъ. Братъ этотъ — я... Я бросилъ все — отечество, службу, дѣла, семейство, удовольствія, чтобъ отомстить за мою несчастную и ни въ чемъ невинную сестру, сильный правотой моего дѣла; я изобличу обманщика и распишу его поступокъ кровавыми чертами на его собственномъ лицѣ... Этотъ обманщикъ — вы!

Эти слова поразили Клавиго, какъ громомъ. Онъ былъ совершенно уничтоженъ, хотѣлъ было что-то сказать, разинулъ ротъ, но ничего не могъ выговорить. Физиономія его, доведенная моими похвалами до состоянія лучезарности, постепенно измѣняла свое выраженіе, по мѣрѣ того, какъ росъ интересъ моего разсказа. При моихъ послѣднихъ словахъ лицо его вытянулось и почернѣло, а глаза почти совсѣмъ потухли.

Онъ было началъ бормотать какія-то извиненія.

— Не прерывайте меня, сказалъ я ему, вы ничего не найдете сказать въ свое оправданіе... Но будьте такъ добры, потрудитесь объявить при этомъ господинѣ, нарочно пріѣхавшемъ со мной изъ Франціи, какимъ проступкомъ сестра моя заслужила то двойное оскорбленіе, которое вы нанесли ей публично?

— Нѣтъ, я долженъ сказать, что сестра ваша донна Марія — дѣвушка самая добродѣтельная и умная.

— Съ тѣхъ поръ, какъ вы ее знаете, подала ли она вамъ хоть разъ поводъ къ какому-нибудь неудовольствію?

— Никогда, никогда!

— Такъ какъ-же, чудовище, (воскликнулъ я, вставая со стула) такъ поступили вы съ ней!.. развѣ за то только, что она предпочла васъ десятку другихъ жениховъ, которые были и честнѣе, и богаче васъ.

— Мнѣ совѣтовали, меня подстрекали...

— Довольно!..

Обратясь къ кунцу я сказалъ:—Вы слышали оправданія моей сестры: подите, объявите объ этомъ. Теперь я буду говорить съ г. Клавиго безъ свидѣтелей...

Когда онъ вышелъ, Клавиго было всталъ, но я усадилъ его на мѣсто.

— Такъ какъ мы теперь съ вами наединѣ, сказалъ я, то я вамъ выскажу мои намѣренія; надѣюсь, что вы ихъ одобрите. Вы не должны жениться на моей сестрѣ: этого требуютъ наши взаимные интересы. (Вы видите, что я не хочу брать на себя смѣшной роли брата, который непременно хочетъ выдать замужъ свою сестру). Но вы оскорбили честную женщину, которую считали беззащитной въ чужой землѣ. Это поступокъ безчестнаго человѣка и подлеца. Потому не угодно ли вамъ сдѣлать письменное признаніе въ этой комнатѣ, при растворенныхъ дверяхъ, и въ присутствіи вашихъ людей, (которые насъ не поймутъ, потому что мы будемъ говорить по французски) признаніе, что вы гнусный человѣкъ, обманувшій и оскорбившій мою сестру безо всякой причины. Это признаніе я сперва покажу нашему посланнику; потомъ велю его напечатать, и не позже, какъ послѣзавтра, оно будетъ ходить у всѣхъ по рукамъ — при дворѣ и по всему Мадриду. У меня здѣсь есть сильная поддержка и деньги. Я употреблю всевозможныя средства, чтобы васъ отставить отъ должности; буду васъ преслѣдовать безъ устали, всѣми способами, до тѣхъ поръ, пока сестра мнѣ не скажетъ: «довольно».

— Я не сдѣлаю такого признанія, возразилъ Клавиго.

— Я думаю, отвѣчалъ я; на вашемъ мѣстѣ, я бы самъ ни за что на это не согласился. Но вотъ другая сторона медали: дѣлайте, какъ хотите, но съ этой минуты я отъ васъ не отстану; буду безотлучно при васъ, буду повсюду слѣдовать за вами до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, вамъ это не надоѣстъ, и вы не вызовете меня на поединокъ... А тамъ, если счастье окажется на моей сторонѣ, я беру на руки мою умирающую сестру, сажаю ее въ карету и увожу во Францію. Если же вы меня убьете, этимъ дѣло мое и кончится; я уже успѣлъ сдѣлать завѣщаніе передъ моимъ отъѣздомъ... Я сказалъ, что хотѣлъ сказать... Теперь прикажите подавать завтракъ.

Сказавъ это, я поввонилъ; вошелъ лакей и подаль шоколатъ. Пока я пилъ шоколатъ, Клавиго, въ глубокой задумчивости, ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Послушайте, господинъ Бомарше, наконецъ, сказалъ онъ, ничто на свѣтѣ не можетъ оправдать мой поступокъ. Меня погубило честолюбіе!.. но еслибъ я зналъ, что у донны Маріи есть такой братъ, какъ вы, я смотрѣлъ бы на нее совершенно иначе—и считалъ бы этотъ бракъ выгоднымъ. Я чувствую къ вамъ самое глубокое уваженіе. Я готовъ упасть передъ вами на колѣни и просить васъ, чтобъ вы помирили меня съ донной Маріей... Прошу васъ возвратите мнѣ вашу сестру. Я буду счастливъ, получивъ отъ васъ жену и прощеніе.

— Теперь ужъ поздно, отвѣчалъ я. Сестра васъ уже не любить. Напишите признаніе; я больше отъ васъ ничего не требую.

Онъ долго не соглашался. То говорилъ, что не хочетъ писать въ присутствіи своихъ лакеевъ, какъ я того требовалъ; то спорилъ со мной насчетъ формы и слога, которымъ должно быть написано его признаніе. Наконецъ, онъ сѣлъ и взялъ въ руки перо, — а я, прогуливаясь взадъ и впередъ по комнатѣ, продиктовалъ ему слѣдующее:

«Я нижеподписавшійся Іосифъ Клавиго, директоръ королевскаго архива, сознаюсь, что послѣ радушныхъ пріемовъ, которые мнѣ были оказываемы въ домѣ госпожи Жильберъ, я обманулъ сестру ея дѣвицу Каронъ *), давъ и тысячу разъ повторивъ обѣщаніе на ней жениться, обѣщаніе, которому я измѣнилъ безъ всякой вины и тѣни неудовольствія съ ея стороны, которыя бы могли служить предлогомъ или извиненіемъ моего поступка, что напротивъ вышеозначенная дѣвица безупречна во всѣхъ отношеніяхъ. Я сознаюсь, что моимъ поведеніемъ, моими необдуманнми рѣчами и тѣми толками, которые возбудилъ мой поступокъ, я нанесъ оскорбленіе этой добродѣтельной дѣвицѣ, въ чемъ и прошу у нея прощенія, котораго не стою. Это признаніе написано моей собственной рукой, безъ всякаго принужденія съ чьей нибудь стороны, въ присутствіи брата дѣвицы Каронъ, въ Мадридѣ 19-го мая 1764 года. *Іосифъ Клавиго*.

*) Полная фамилія Бомарше была: Каронъ Бомарше.

Я взял эту бумагу.

— Видите ли, сказалъ я, выходя отъ него, я благородный врагъ: я васъ предупредилъ заранѣе о томъ, какое ужасное употребленіе сдѣлаю изъ вашего признанія!

— Но, послушайте, перебилъ Клавиго. Я знаю, что имѣю дѣло съ человѣкомъ въ сильной степени оскорбленнымъ, но въ тоже время въ высшей степени великодушнымъ. Отсрочьте на одну минуту публикацію этой бумаги, позвольте мнѣ попытаться выпросить прощеніе у донны Маріи. Только въ надеждѣ на ея прощеніе, я рѣшился написать это признаніе. Но прежде нежели я пойду къ ней самъ, мнѣ хотѣлось бы, чтобъ одинъ человѣкъ былъ моимъ адвокатомъ и замолвилъ ей слово обо мнѣ... Этотъ человѣкъ — вы.

— Я этого не сдѣлаю.

— Ну, по крайней мѣрѣ, вы ей скажете о томъ ужасномъ раскаяніи, которое вы замѣтили во мнѣ. Я больше ни о чемъ васъ не прошу. Если вы мнѣ и въ этомъ откажете, то я поручу кому-нибудь другому...

Я ему общалъ.

Между тѣмъ купецъ, сопровождавшій меня къ Клавиго, давно уже возвратился въ домъ сестеръ. Разсказъ его перепугалъ всѣхъ. Я засталъ женщинъ въ слезахъ, а мужчинъ—въ сильномъ безпокойствѣ, но когда я имъ разсказалъ, чѣмъ дѣло кончилось, и показалъ письменное признаніе Клавиго, то послѣдовали крики радости и поцѣлуи. Каждый изъ присутствующихъ сталъ высказывать свое мнѣніе о томъ, какъ слѣдуетъ поступить въ настоящемъ случаѣ. Одни говорили, что надо погубить Клавиго, другіе совѣтовали простить его, третьи утверждали, что лучше всего оставить меня дѣйствовать по моему собственному усмотрѣнію.

Сестра объявила, что она не хочетъ и слышать о примиреніи съ Клавиго, совѣтовала мнѣ ѣхать къ посланнику и дѣйствовать согласно съ его наставленіями.

Предъ отъѣздомъ я послалъ къ Клавиго записку, въ которой писалъ ему, что сестра моя не хочетъ о немъ и слышать и

что я приступаю къ исполненію своего намѣренія, т.-е. къ отомщенію. Въ отвѣтъ на это, онъ послалъ мнѣ сказать, что желаетъ видѣть меня до моего отъѣзда; я пошелъ къ нему. Онъ сталъ мнѣ бранить самого себя и проклиная свой поступокъ, наконецъ, сказалъ: «Прошу у васъ одного: позвольте мнѣ побывать во время вашего отсутствія у вашей старшей сестры, въ сопровожденіи кого-нибудь изъ общихъ знакомыхъ: можетъ быть, я выхлопочу себѣ прощеніе, а до этого времени погодите публиковать мое признаніе».

Я отправился въ Аранхуецъ, гдѣ въ это время вмѣстѣ съ испанскимъ дворомъ жилъ и нашъ посланникъ.

Маркизь Оссень (Ossun), французскій посланникъ, былъ очень почтенный и обязательный человѣкъ. Онъ объявилъ мнѣ, что принимаетъ во мнѣ живое участіе, какъ въ человѣкѣ, имѣющемъ рекомендацію отъ такихъ лицъ, какъ мои августѣйшія покровительницы.

— Чтобы доказать вамъ мою дружбу, сказалъ онъ, я долженъ объявить заранѣе, что вы совершенно понапрасну пріѣхали въ Испанію. Вамъ нѣтъ никакой возможности наказать человѣка, оскорбившаго вашу сестру. Будьте увѣрены, что онъ никогда бы не рѣшился на такой поступокъ, еслибъ не имѣлъ сильныхъ покровителей, на защиту которыхъ разсчитываетъ. Что же вы думаете дѣлать? Надѣетесь ли вы заставить его жениться на вашей сестрѣ?

— Нѣтъ. Я этого совсѣмъ не хочу. Но я намѣренъ опозорить его.

— Какимъ образомъ.

Я разсказалъ посланнику о моемъ свиданіи съ Клавиго. Сперва онъ было не повѣрилъ, что все, о чемъ я разсказалъ, происходило въ самомъ дѣлѣ. Но я показалъ ему письменное признаніе Клавиго.

— Ну, теперь я смотрю на ваше дѣло совершенно иначе, сказалъ посланникъ. Человѣкъ, который такъ ловко его началъ, счумѣетъ и кончить его благополучно. Надо вамъ сказать, что Клавиго отдался отъ вашей сестры, вслѣдствіе честолюбивыхъ

расчетовъ, но эти же честолюбивые расчеты, а также страхъ наказанія и любовь, должны его заставить и возвратиться къ ней. Впрочемъ, что бы его ни принудило къ этому, во всякомъ случаѣ, надо, чтобъ дѣло уладилось безъ шума. Я вамъ скажу откровенно: этотъ человѣкъ по своимъ способностямъ пойдётъ очень далеко, и потому это очень выгодная партія для вашей сестры. На вашемъ мѣстѣ, я бы воспользовался его раскаяніемъ и уговорилъ бы свою сестру выйти за него замужъ.

— За такого подлеца!

— Онъ будетъ подлецомъ, если раскаяніе его окажется неискреннимъ. Впрочемъ, я вамъ высказалъ только мое мнѣніе... Хорошо бы было, еслибъ вы ему послѣдовали. Я имѣю на то соображенія, о которыхъ не могу вамъ сказать.

Я возвратился въ Мадридъ немного разстроенный совѣтами господина маркиза.

Во время моего отсутствія Клавиго приходилъ къ моимъ сестрамъ съ намѣреніемъ упасть къ нимъ въ ноги и просить о прощеніи. Меньшая моя сестра, узнавъ о его приходѣ, ушла къ себѣ въ комнату, и не хотѣла его видѣть. Говорятъ, что Клавиго увидѣлъ въ этомъ поступкѣ надежду получить прощеніе, изъ чего я заключаю, что онъ хорошо знаетъ женщинъ.

Со дня моего возвращенія изъ Аранхуеца въ Мадридъ, Клавиго искалъ каждый день случая меня увидѣть, — и мы съ нимъ видались каждый день.

Онъ восхищалъ меня своимъ умомъ, удивлялъ познаніями, по больше всего располагалъ меня къ себѣ той благородной довѣрчивостью, которую мнѣ выказывалъ. Однако я былъ съ нимъ остороженъ и осмотрителенъ.

25-го мая Клавиго *вдругъ* съѣхалъ съ квартиры, которую занималъ, и остановился въ казармахъ Инвалидовъ у одного своего знакомаго офицера. Такой внезапный переѣздъ, хотя и не возбудилъ во мнѣ никакого подозрѣнія, однако показался мнѣ очень страннымъ. Я поспѣшилъ въ казармы Инвалидовъ, чтобъ узнать, не случилось ли чего-нибудь особеннаго? Клавиго сказалъ мнѣ, что причиной его переселенія было слѣдующее об-

стоятельство: хозяинъ дома, въ которомъ онъ жилъ безвозмездно, донъ Португеецъ, больше всѣхъ возставалъ противъ его женитьбы, и потому онъ (Клавиго), покидая домъ столь сильнаго врага моей сестры, хотѣлъ этимъ поступкомъ удостовѣрить меня въ искренности своего раскаянія. Я повѣрилъ его словамъ,— а поступокъ его показался мнѣ такимъ деликатнымъ, что я не зналъ, какъ и выразить ему свою благодарность.

На другой день я получилъ отъ него письмо, которое начиналось слѣдующими словами:

«Я имѣю твердое намѣреніе загладить мой проступокъ въ отношеніи вашей сестры. Если мои ошибки еще не совершенно отдалили ее отъ меня,—я опять рѣшаюсь просить ея руки. Слова мои совершенно искренни. Все мое теперешнее поведеніе и поступки имѣютъ единственную цѣль — возвратить мнѣ ея сердце...»

Далѣе Клавиго просилъ меня быть посредникомъ между имъ и моей сестрой. Письмо было наполнено самыми трогательными увѣреніями въ раскаяніи и любви.

Я прочелъ это письмо моимъ сестрамъ; меньшая залилась слезами. Я поцѣловалъ ее отъ всего сердца и сказалъ: «итакъ, дитя мое, ты его еще любишь и тебѣ стыдно въ этомъ сознаться. Ничего, ты все-таки честная, отличная дѣвушка... Твой гнѣвъ приходитъ къ концу, — пускай же онъ окончится въ слезахъ.»

— Этотъ Клавиго истинное чудовище, какъ большая часть умныхъ людей, прибавилъ я, смѣясь. Но я слѣдую наставленію нашего посланника, и совѣтую тебѣ простить его... Конечно, для него было бы лучше, еслибъ онъ вышелъ со мной на дуэль; но для тебя лучше, что онъ этого не сдѣлалъ.

Моя болтовня заставила ее улыбнуться сквозь слезы. Я это принялъ за безмолвное согласіе съ мнѣніемъ нашего посланника, отправился къ Клавиго и объявилъ ему, что онъ въ тысячу разъ счастливѣе, нежели заслуживаетъ. Дрожа всѣмъ тѣломъ, онъ явился къ моей сестрѣ.

Сестра вышла къ нему, совершенно сконфуженная; она, кра-

снѣя и дрожащимъ голосомъ, произнесла свое согласіе. Клавиго пришелъ въ восторгъ, побѣждалъ ко мнѣ въ комнату, сію же минуту написалъ формальное обѣщаніе жениться на моей сестрѣ, и ставъ передъ ней на колѣни, просилъ, чтобъ и она дала свое письменное согласіе на бракъ съ нимъ. Я и всѣ присутствовавшіе уговаривали ее согласиться. Она была въ крайнемъ волненіи и замѣшательствѣ, но, наконецъ, уступила нашимъ просьбамъ.

Того же дня вечеромъ я отправился въ Аранхуецъ и рассказалъ нашему посланнику обо всемъ случившемся послѣ нашего свиданья. Маркизь Оссень остался очень доволенъ моимъ образомъ дѣйствій и отъ души радовался счастливому исходу дѣла. Когда я ему сказалъ, что имѣю порученіе отъ Клавиго передать господину министру Гримальди просьбу о позволеніи ему жениться, то посланникъ совѣтовалъ мнѣ не говорить ничего господину Гримальди о проступкахъ Клавиго, дабы тѣмъ не повредить моему будущему зятю.

Гримальди принялъ меня очень благосклонно, прочелъ письмо Клавиго, и изъявивъ согласіе на его бракъ, сказалъ мнѣ, что желаетъ сестрѣ моей всевозможнаго счастія.

Я возвратился въ Мадридъ. Тамъ уже все было готово къ свадьбѣ и вѣсть о примиреніи моей сестры съ Клавиго разнеслась по всему городу.

До свадьбы оставалось съ небольшимъ недѣля. Мы съ Клавиго видались каждый день. Но наканунѣ дня, назначеннаго для подписанія контракта, пришелъ къ нему въ казармы Инвалидовъ, я не застаю его тамъ, и мнѣ говорятъ, что онъ съѣхалъ съ квартиры неизвѣстно куда. Это меня нѣсколько смутило. «Въ другой разъ такъ внезапно перемѣнить квартиру, не предупредивши ни меня, ни моихъ сестеръ—это что-то подозрительно», подумалъ я и велѣлъ искать Клавиго по всѣмъ мадридскимъ гостиницамъ. Наконецъ, отыскавъ его въ улицѣ св. Людовика, я высказалъ ему довольно рѣзко мое удивленіе и неудовольствіе.

— Я съѣхалъ съ квартиры въ казармахъ Инвалидовъ (оправ-

дывался онъ) вслѣдствіе дурныхъ толковъ пріателя моего. Всѣ упрекали, что онъ позволилъ мнѣ жить у себя въ казенной квартирѣ, что квартира дана королемъ ему одному, и что онъ не имѣетъ права пускать въ нее жильцовъ.

— Но отчего же, возразилъ я ему, вы не переѣхали къ моимъ сестрамъ? переѣзжайте теперь же къ нимъ.

— Этого я никакъ не могу сдѣлать, возразилъ онъ въ свою очередь; я сегодня принялъ лѣкарство, а у насъ въ Испаніи считается неприличнымъ выходить со двора въ тотъ день, какъ примешь лѣкарство.

— Что страна, то обычай! сказалъ я про себя и вышелъ отъ Клавиго.

На другой день я опять былъ у него, звалъ его къ сестрамъ, но онъ опять отказался, увѣряя, что и въ этотъ день принималъ лѣкарство.

Мои сестры и всѣ ихъ знакомые смотрѣли очень подозрительно на эти отговорки, да я и самъ началъ сомнѣваться въ искренности раскаянія господина Клавиго.

Опять пришелъ день, назначенный для подписанія контракта; я послалъ за нотариусомъ, и представьте мое удивленіе, когда нотариусъ объявилъ мнѣ, что есть препятствіе для заключенія контракта: что полученъ протестъ противъ брака Клавиго съ моей сестрой — протестъ одной женщины, которой онъ девять лѣтъ тому назадъ далъ письменное обѣщаніе жениться.

Не было никакого сомнѣнія, что этотъ протестъ былъ не что иное, какъ новая увертка со стороны Клавиго, что обѣщаніе жениться составлено заднимъ числомъ и что предъявительница его, какая-то горничная, была подкуплена.

Я сейчасъ же побѣжалъ къ Клавиго, наговорилъ ему тысячу дерзостей и возобновилъ прежнія угрозы съ прибавленіемъ новыхъ.

Онъ опять сталъ оправдываться и клясться въ любви къ моей сестрѣ. Но для меня не было достаточно его извиненій — я скоро вышелъ отъ него и не прошло часу, какъ снова явился къ нему на квартиру, но уже не одинъ, а съ двумя свидѣ-

телями, при которыхъ хотѣлъ заставить его повторить все то, что онъ говорилъ мнѣ наединѣ. Но я уже не засталъ его на этой квартирѣ, и мнѣ объяснили, что онъ только что съѣхалъ, а куда — неизвѣстно.

Когда я прибѣжалъ домой и сталъ дѣлать распоряженія, чтобы отыскать Клавиго, мнѣ подали слѣдующее письмо отъ нашего посланника:

Аранхусъ, 7-го іюня 1764 г.

«Отъ меня только-что вышелъ мадридскій комендантъ господинъ Робью. Онъ сказалъ мнѣ, что господинъ Клавиго, переѣхавъ въ казармы Инвалидовъ, донесъ своему начальству, что онъ сдѣлалъ это единственно для того, чтобы скрыться отъ васъ, то-есть во избѣжаніе какого-нибудь насилія съ вашей стороны. Онъ объявилъ также, что будто бы вы съ пистолетомъ въ рукѣ принудили его подписать бумагу, по которой онъ обязывается жениться на вашей сестрѣ. Считаю излишнимъ писать вамъ, что я думаю о такомъ гнусномъ съ его стороны поступкѣ. Но согласитесь, что какъ бы ни было благородно и безупречно ваше поведеніе въ этомъ дѣлѣ, все-таки ваши поступки могутъ быть истолкованы въ совершенно превратномъ смыслѣ, что повлечетъ за собой очень непріятныя для васъ послѣдствія. Поэтому я вамъ совѣтую вести себя какъ можно осторожнѣе и на словахъ, и на бумагѣ и ничего не предпринимать до тѣхъ поръ, покуда мы съ вами не увидимся. Я буду въ Мадридѣ 12-го іюня».

Это извѣстіе поразило меня, какъ громомъ. Только что я успѣлъ прочесть письмо господина посланника, какъ въ комнату вошелъ гвардейскій офицеръ.

— Господинъ Бомарше, сказалъ онъ мнѣ, не теряйте ни одной минуты времени: спасайтесь! Завтра поутру васъ арестуютъ въ вашей постели; на это уже дано повелѣніе. Я пришелъ предупредить васъ. Вашъ Клавиго просто извергъ: онъ вооружилъ противъ васъ всѣхъ... Онъ васъ успокоивалъ обѣщаніями и тянулъ дѣло, чтобы выиграть время, а между тѣмъ

тайно готовился къ процессу съ вами. Бѣгите же! Бѣгите сію минуту; не то васъ посадятъ въ тюрьму, и у васъ не будетъ ни покровительства, ни защиты.

— Мнѣ бѣжать! Мнѣ спастись! Нѣтъ, скорѣе погибну, чѣмъ соглашусь на это. Друзья мои, ничего не говорите мнѣ и не совѣтуйте: наймите мнѣ карету и шесть муловъ къ четыремъ часамъ утра. Я завтра ѣду въ Аранхуецъ. А теперь дайте мнѣ отдохнуть и собраться съ мыслями.

Я заперся у себя въ комнатѣ. Мысли мои были въ разстройствѣ, сердце сжималось; казалось, ничто не могло меня успокоить. Я бросился въ кресла и просидѣлъ два часа, не двигаясь съ мѣста.

Наконецъ, я нѣсколько пришелъ въ себя, и мысли мои стали приходить въ порядокъ. Тогда я сообразилъ, что Клавиго, какъ подалъ на меня жалобу, публично прогуливался со мной по Мадриду въ моей каретѣ, что, написавъ ко мнѣ множество самыхъ нѣжныхъ писемъ, подалъ на меня просьбу министру при двадцати свидѣтеляхъ. Вспомнивъ все это, я бросаюсь къ моему письменному столу и съ лихорадочной быстротой пишу самый точный журналъ моего пребыванія въ Мадридѣ. Имена, числа, слова,—все живо представляется моей памяти и свободно выливается изъ-подъ пера. Я еще писалъ, какъ въ пять часовъ утра постучались ко мнѣ сестры. Онѣ просили меня ѣхать, во избѣжаніе ареста. Я бросился въ карету, ни мало не заботясь о томъ, одинъ ли я ѣду, сопровождаетъ ли кто меня, въ порядкѣ ли мой туалетъ и проч..

Когда я пріѣхалъ въ Аранхуецъ въ Sitio Reale, нашего посланника не было дома; онъ былъ во дворцѣ. Я увидѣлъ его не прежде одиннадцати часовъ вечера.

— Вы очень хорошо сдѣлали, что поспѣшили сюда пріѣхать, сказалъ онъ мнѣ. Клавиго завладѣлъ всѣми входами во дворецъ. Безъ меня вы погибли бы—васъ бы схватили и отправили въ *Praesidio* *). Я бѣгалъ къ министру, господину Гримальди, —

*) Тюрьма, въ которую сажаютъ на всю жизнь.

увѣрялъ его, что ручаюсь за васъ, какъ за самого себя. «Господинъ Бомарше (сказалъ я ему) честный и благородный человѣкъ. Онъ сдѣлалъ то, что и мы сдѣлали бы съ вами на его мѣстѣ, я слѣдилъ за нимъ съ самаго его прїѣзда. Сдѣлайте милость, прикажите не арестовывать его. Клавиго дѣйствовалъ противъ него, какъ извергъ». Гримальди сказалъ, что онъ мнѣ вѣрить, но что приказъ о вашемъ арестѣ уже нельзя остановить, что всѣ здѣсь противъ васъ вооружены, и что вы лучше всего сдѣлаете, если уѣдете во Францію. — И такъ побѣждайте сейчасъ же, — не теряйте ни минуты времени; шесть муловъ готовы въ вашимъ услугамъ; весь вашъ багажъ перешлютъ вамъ послѣ во Францію. При такомъ положеніи дѣлъ, при такомъ всеобщемъ противъ васъ вооруженіи, я ничего не могу предпринять въ вашу защиту; но я буду въ отчаяніи, если васъ постигнетъ здѣсь какое-нибудь несчастіе... Уѣзжайте!

Я не плакалъ, слушая рѣчь посланника, но по временамъ изъ глазъ моихъ выпадали крупныя капли воды, накопившіяся въ нихъ отъ какого-то стѣсненія во всемъ организмѣ. Я былъ глупъ и нѣмъ. Посланникъ былъ растроганъ. Исполненный благодарностію, онъ отъ души соглашался со всѣми моими возраженіями, находилъ ихъ справедливость, но говорилъ, что я долженъ уступить необходимости, и уѣхать во Францію во избѣжаніе наказанія.

— Но за что же меня накажутъ? возразилъ я. Вы сами говорите, что я во всемъ правъ. Неужели король велитъ посадить въ тюрьму человѣка совершенно невиннаго и притомъ крупномъ обиженнаго? Я не могу себѣ представить, что тотъ, кто можетъ все сдѣлать, сдѣлаетъ непременно вмѣсто хорошаго дурное!..

— Э, мой другъ! Приказаніе уже дано, а королевскія приказанія исполняются быстро, потому что зло иногда совершается прежде, чѣмъ успѣютъ узнать всю истину. Короли не дѣлаютъ несправедливостей, но вокругъ ихъ интригуютъ, безъ ихъ вѣдома. Уѣзжайте!..

— Но куда я поѣду въ такомъ положеніи?.. Какъ будутъ

смотреть на меня во Франціи? Что скажетъ мое семейство? Что подумаютъ обо мнѣ принцессы, мои покровительницы? Онѣ подумаютъ, что моя честность была только маска...

— Поѣзжайте!.. Я напишу во Францію, и мнѣ повѣрять.

— Моя сестра, моя несчастная сестра, которая ни въ чемъ не виновата!

— Думайте въ настоящую минуту о вашемъ спасеніи, а объ вашей сестрѣ мы послѣ позаботимся.

— Боже мой, Боже моей! Вотъ результатъ моей поѣздки въ Испанію.

— Уѣзжайте, уѣзжайте, повторялъ мнѣ господинъ посланникъ. Если у васъ мало денегъ, возьмите у меня сколько вамъ нужно; заключилъ онъ.

— Благодарю, у меня есть деньги. Тысяча лундоровъ въ моемъ кошелькѣ и двѣсти тысячъ фрянковъ въ моемъ портфель дадутъ мнѣ возможность преслѣдовать моего врага судебнымъ порядкомъ.

— Нѣтъ, господинъ Бомарше, я на это не соглашаюсь. Не забудьте, что вы мнѣ поручены вашими покровительницами. Прошу васъ, уѣзжайте; я вамъ это совѣтую. Если вы не послушаетесь моего совѣта, я буду дѣйствовать иначе.

— Извините, я болѣе не слышу, что вы говорите, воскликнулъ я, и побѣжалъ въ темныя аллеи парка. Такъ провелъ я ночь въ самомъ ужасномъ волненіи.

На другой день рано утромъ, въ твердой рѣшимости или погибнуть, или отомстить, отправился я къ господину министру Гримальди. Дожидаясь въ пріемной, я услыхалъ нѣсколько разъ произнесенное имя господина Валя. Я узналъ, что этотъ почтенный человѣкъ, вышедшій изъ министровъ единственно потому, что хотѣлъ отдохнуть отъ дѣлъ передъ своей смертью, жилъ въ одномъ домѣ съ Гримальди. Я сейчасъ велѣлъ доложить ему объ себѣ, какъ объ иностранцѣ, имѣющему сообщить ему нѣчто очень важное. Онъ велѣлъ просить меня къ себѣ въ кабинетъ. Я вошелъ, — и одинъ видъ его благородной наружности придалъ мнѣ увѣренность.

— Милостивый государь, сказала я, я иностранецъ и обиженъ— вотъ всѣ мои права на ваше покровительство. Вы сами родились въ Франціи; вы тамъ служили. Въ Испаніи вы прошли всѣ степени военной и политической славы. Но больше чѣмъ вся ваша слава, внушаетъ мнѣ въ вамъ довѣріе то истинное величіе души, вслѣдствіе котораго вы добровольно оставили управление Индіей, и отошли отъ этой должности съ пустыми руками, тогда какъ другіе наживали здѣсь милліарды. Вы другъ короля, и вмѣстѣ съ тѣмъ васъ уважаетъ народъ... Итакъ вамъ предстоитъ сдѣлать еще доброе дѣло: оно достойно васъ...

— Вы французъ, а это для меня очень много значитъ, сказалъ господинъ Валь. Я всегда любилъ Францію и хочу отблагодарить ее въ вашемъ лицѣ за ея ласки... Но вы дрожите, вы ужасно взволнованы. Садитесь, пожалуйста, и расскажите мнѣ, въ чемъ состоитъ ваше несчастіе? Оно должно быть очень велико, судя по тому состоянію, въ которомъ вы находитесь.

Тогда я попросилъ позволенія прочесть ему мой дневникъ. Я читалъ въ сильномъ волненіи. Онъ старался меня успокоивать, просилъ не торопиться, и увѣрялъ, что слушаетъ съ величайшимъ интересомъ мой рассказъ. Я не ограничивался чтеніемъ дневника и голословнымъ обвиненіемъ моего противника. Со мной были всѣ его письма ко мнѣ, а также и *признаніе*, написанное его рукой: все это послужило мнѣ документами.

Когда въ моемъ рассказѣ дошло до повелѣнія меня арестовать и объ совѣтѣ уѣхать изъ Испаніи, который мнѣ далъ посланникъ, господинъ Валь вскрикнулъ, вскочилъ съ мѣста и сказалъ, обнимая меня: — О, король оправдаетъ васъ! Я употреблю для этого все вліяніе, которое на него имѣю. Я не хочу чтобъ кто-нибудь имѣлъ право сказать, что честный и благородный человѣкъ оставилъ отечество, семейство, покровителей, дѣла, проѣхалъ 400 лье, чтобъ защитить свою сестру, и долженъ былъ уѣхать изъ Испаніи съ мыслью, что въ этой благородной странѣ иностранцы остаются безъ защиты. Нѣтъ! Я буду вамъ отцомъ въ вашемъ дѣлѣ, какъ вы имъ были для вашей сестры. Я самъ нѣсколько виноватъ въ вашей исторіи, по-

тому что я рекомендовал Клавиго королю и выхлопоталъ ему мѣсто. Какъ тяжело положеніе государственныхъ людей! У нихъ не достаетъ времени достаточно изучить людей, которые ихъ окружаютъ, а между тѣмъ они отвѣчаютъ за поступки своихъ подчиненныхъ, какъ за свои собственные, передъ общественнымъ мнѣніемъ. Надо вамъ сказать, что этотъ Клавиго началъ издавать газету и получилъ должность, которая поставила его въ очень близкія отношенія съ министерствомъ, и пожалуй, и самъ онъ могъ бы скоро занять важную государственную должность. И вотъ какого мерзавца я подарилъ моему королю. Министръ можетъ ошибиться въ выборѣ; но замѣтивъ свою ошибку, долженъ тотчасъ поправить ее, т.-е. сейчасъ же прогнать отъ себя недостойнаго человѣка. Въ настоящую минуту надо подать такой примѣръ прочимъ министрамъ.

Съ этими словами онъ позвонилъ, велѣлъ подать карету и повезъ меня во дворецъ.

Когда мы пріѣхали во дворецъ, г. Валь оставилъ меня въ приемной, а самъ вошелъ въ кабинетъ къ королю. Объяснивъ ему мое дѣло, онъ извинялся, что рекомендовалъ на службу такого человѣка, какъ Клавиго, и просилъ, чтобъ этотъ негодяй былъ примѣрно наказанъ.

Наконецъ, и меня позвали въ кабинетъ; я вошелъ и палъ на колѣни предъ королемъ.

— Читайте вашу записку, сказалъ мнѣ г. Валь. Всякій честный и благородный человѣкъ долженъ до глубины души тронуться вашимъ положеніемъ.

Душа моя была высоко настроена въ эту торжественную минуту; сердце сильно билось: на меня нашелъ родъ вдохновенія,—и я съ необыкновенною силою, ясностью и краснорѣчіемъ передалъ королю все, что уже знаетъ читатель моего разсказа. Король внимательно выслушалъ меня и сейчасъ же далъ приказаніе: отставить Клавиго навсегда отъ должности.

ФЕЛЬЕТНЫ ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА.

СОНЪ ПО СЛУЧАЮ ОДНОЙ КОМЕДИИ.

(ПРЕДУВЪДОМЛЕНІЕ).

1851 г.

С О Н Ъ

по случаю одной комедіи.

Драматическая фантазія, съ отвлеченными разсужденіями, патетическими мѣстами, хорами, танцами, торжествомъ добродѣтели, наказаніемъ порока, бенгальскимъ огнемъ и великолѣпнымъ спектаклемъ.

Я видѣлъ сонъ, но не все въ томъ снѣ было сномъ.
(Байронъ).

И бысть ему сонъ въ ноци
(Москвитянинъ № 6, 1850).

Онъ заснулъ...
(Эмиграфъ одной современной повѣсти).

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

Считаю за нужное предупредить читателей, что я очень странный человѣкъ. Это знаетъ всякій, кто меня знаетъ. Къ счастью, меня почти никто не знаетъ. Къ числу людей, наслаждающихся счастьемъ не знать меня, принадлежите, безъ сомнѣнія, и вы, любезный мой читатель, вслѣдствіе чего я осмѣливаюсь предложить вамъ нѣкоторыя свѣдѣнія по части этого предмета. Безъ нихъ вамъ покажутся странными, и даже дикими и заглавіе, и слогъ, и даже самый предметъ моего сочиненія.

Итакъ я, какъ уже сказано выше, очень странный человѣкъ. Странность моя главнѣйшимъ образомъ состоитъ въ томъ, что я отсталъ отъ вѣка и современныхъ интересовъ, короче, что я не современенъ. Напѣ XIX вѣкъ нѣкоторые современные Русскіе ученые и литераторы весьма справедливо и остроумно

называютъ вѣкомъ новѣйшимъ, а иностранные писатели — вѣкомъ разумно-дѣятельнымъ, вѣкомъ практическимъ, дѣльнымъ, дѣловымъ. Въ вѣкѣ, снабженномъ такими эпитетами, живетъ человѣкъ (и надо сознаться, что этотъ человѣкъ я), человѣкъ, который подверженъ разнымъ несовременнымъ добродѣтелямъ. Я очень склоненъ, на примѣръ, къ чувствительности и мечтательности; а чувствительность и мечтательность въ настоящее время больше не употребляются въ нашемъ обществѣ: чувствительность и мечтательность въ немъ выведены изъ употребленія старанными новѣйшей журнальной литературы.

Человѣчество очень многимъ обязано этой литературѣ: оно ей обязано, между прочимъ, своимъ спасеніемъ; она исправила и отучила его отъ многого. До нея человѣкъ ничего не дѣлалъ, специально занимался любовью, предавался мечтательности, писалъ стихи, чуждался общества и глубоко страдалъ. Новая журнальная литература сказала ему, что это не хорошо, и наказала его посредствомъ *новой поэты*. Она отсвѣтовала ему писать стихи, запретила слишкомъ сильно любить и строжайше предписала не страдать, убѣдивъ его, что этого отнюдь не долженъ себѣ позволять человѣкъ хорошаго тона. Въ замѣнъ всего этого, она ему рекомендовала практическую жизнь, танцы, карты и въ особенности шахматы. Она присадила его за дѣло, выучила *«великой тайнѣ отвѣтаться изъ лица»* *) и сдѣлала человѣка — порядочнымъ человѣкомъ.

Новѣйшая литература имѣла и на меня сильное вліяніе. Внявъ ея увѣщаніямъ и угрозамъ, я пересталъ писать стихи, сшилъ себѣ, рекомендованный ею въ стихахъ, бархатный коричневый жилетъ **), нашилъ великолѣпнаго голландскаго бѣлья, купилъ французскихъ перчатокъ, и сшилъ исподнее платье съ лампасами, которые тогда были въ модѣ. Такимъ образомъ новѣйшая журнальная литература принудила меня экипироваться. Это мнѣ стоило довольно дорого ***), но я бы не пожалѣлъ

*) См. въ Современникѣ великосвѣтскій романъ: *Великая тайна отвѣтаться изъ лица*.

**) Ibidem.

***) Если новѣйшей журнальной литературѣ угодно, я ей подамъ счецецъ.

денегъ, еслибъ только эта экипировка послужила мнѣ къ достиженію моей высокой цѣли. Но эта экипировка оказалась тщетною: прежде нежели приступить къ ней, т.-е. прежде нежели начать *отвѣтаться къ лицу*, мнѣ бы слѣдовало приступить къ выполненію другихъ, болѣе трудныхъ для выполненія, предписаній новѣйшей журнальной литературы. Мнѣ слѣдовало бы отучиться слишкомъ сильно чувствовать вообще и слишкомъ сильно любить, и очень свободно страдать въ особенности. Но какъ я усердно ни старался отстать отъ этой дурной привычки и хорошенько заняться «практической жизнью», я все-таки не отсталъ отъ нея, и все-таки «практическая жизнь» мнѣ не далась. И какъ могла она мнѣваться!? Развѣ человѣку, одержимому сильною чувствительностью можно хорошо вести себя въ практической жизни? нельзя. Чувство вещь очень неудобная, человѣку снабженному чувствомъ бываетъ съ нимъ очень неудобно и неловко въ обществѣ.

Вслѣдствіе такого неудобства чувства человѣческаго, я не могъ исполнить предписанія новѣйшей журнальной литературы. Но я старался исполнить ихъ, и старанія эти очень дорого мнѣ стоили: они мнѣ стоили 1000 руб. сереб. не говоря уже о внутреннихъ страданіяхъ, о внутренней борьбѣ и разныхъ нравственныхъ лишеніяхъ, которыя я испыталъ въ большомъ количествѣ, стараясь сдѣлаться практическимъ, порядочнымъ человѣкомъ, и тѣмъ удовлетворить требованіямъ вѣка, прекрасно выраженнымъ новѣйшей журнальной литературой. Для ясности расскажу вамъ здѣсь въ краткихъ, но точныхъ словахъ исторію моего волокитства за практической жизнью.

Насъ было трое — я, да еще двое другихъ, изъ которыхъ одного мы назовемъ *х*, а другаго *у*. Мы были знакомы съ дѣтства, учились въ одномъ пансіонѣ, спали въ одномъ дортуарѣ, сидѣли въ классѣ на одной лавкѣ, и были до невѣроятности дружны между собою. Но несмотря на то, что мы были самыми отчаянными друзьями, въ характерахъ нашихъ было очень мало общаго. Я былъ очень чувствителенъ, очень мечтателенъ и очень впечатлителенъ, и часто и быстро переходилъ

отъ одного расположенія духа къ другому, совершенно противному; *x* былъ постоянно веселъ и беззаботенъ; *y* — всегда важенъ и серьезенъ. Я любилъ читать Шиллера, *x* — романы Дюма и Французскіе водевили, *y* — древнихъ классиковъ. Я любилъ тихую семейную жизнь, *x* свѣтское общество и комфортъ, *y* — древнихъ классиковъ. Я любилъ прогулки при свѣтѣ луны, любилъ прокатиться въ саняхъ по скрипучему снѣгу при звѣздномъ небѣ, послушать пѣніе соловья: *x* любилъ танцы и верховую ѣзду у Фрейтага, въ манежѣ, при многочисленной публикѣ; *y* любилъ древнихъ классиковъ. Я любилъ блондинокъ, *x* — брюнетокъ, *y* — древнихъ классиковъ. Я любилъ деревню, *x* — столицу; для *y* было все равно, гдѣ бы ни жить; ему вездѣ было хорошо, гдѣ только были древніе классики и лексиконъ Кронеберга. Я любилъ пищу простую, солидную и питательную; *x* — утонченную и изысканную; для *y* было все равно, что бы ни ѣсть, только бы наѣсться. Я любилъ говорить порусски, *x* — пофранцузски, *y* — полатыни. Я былъ очень влюбчивъ. Влюбившись, я всей душой предавался любимой женщинѣ и изъ всѣхъ женщинъ думалъ только о ней одной; *x* никогда не влюблялся, зато любилъ любезничать, волочиться и говорить съ дамами *о миломъ вздорѣ*; во всемъ этомъ онъ былъ очень искусенъ. Онъ особенно не любилъ ни одной женщины, но у него была страсть до всѣхъ женщинъ. У и не влюблялся въ женщинъ, и не волочился за ними: онъ занимался древними классиками. Между *x* и *y* было одно общее: оба они были крайне невпечатлительны и отличались ровностью въ характерѣ. Я имъ въ этомъ всегда завидовалъ. Ихъ могли развеселить или разстроить только такіа обстоятельства, которыя до нихъ лично касались. На расположеніе ихъ духа не дѣйствовали непосредственно ни печальныя зрѣлища, ни дурная погода, ни человѣческіе пороки. — Бывало мнѣ стоило только увидать ночью какой-нибудь замѣчательный сонъ, и я ужъ весь день находился подъ вліяніемъ грезъ: не могъ готовить урока и не слушать учителя; *x* и *y* даже никогда не видали сновъ, никогда не жилали во снѣ; *x* постоян-

но жилъ въ дѣйствительной жизни, а *у* — въ древнемъ Римѣ и въ древней Греціи. На меня производило необыкновенно сильное впечатлѣніе приближеніе и появленіе весны. Пахнѣть бывало на меня первымъ весеннимъ вѣтромъ, услышу голоса весеннихъ птичекъ, увижу на Москвѣ рѣкѣ первое движеніе льда — и я самъ не свой. На душѣ дѣлается такъ неизъяснимо сладко и въ то же время такъ неизъяснимо грустно: и хочется любить, и хочется бѣжать въ лѣсъ, и жаждешь дѣятельности, и чувствуешь лѣнь, словомъ, совершенно теряешься отъ полноты, силы и разнообразія ощущеній. Въ то же время я становился еще безпечнѣе и разсѣяннѣе обыкновеннаго; сны мнѣ снились чаще и живѣе, чѣмъ въ прочія времена года. Поэтому по утрамъ я бывалъ подъ вліяніемъ недавнихъ грѣзъ, думалъ о томъ, что мнѣ снилось, и чувствовалъ необыкновенную лѣнь и распущенность. Тогда мнѣ бывало какъ-то противно заняться своимъ туалетомъ. Я кое-какъ причесывался, кое-какъ завязывалъ на шеѣ платокъ и весь день ходилъ растрепанный и раздерганный. Въ классѣ я присутствовалъ только тѣломъ, но не душой. Я уносился воображеніемъ въ деревню: передо мною разстилались веселыя поля съ зеленѣющей озимью, шумѣлъ густой сосновый боръ, сверкалъ прозрачный ручей, катя свои струи по желтому песку, усѣянному блестящими раковинами; на душѣ у меня было такъ торжественно и такъ тоскливо! Мнѣ видѣлась подруга дѣтства, мнѣ казалось, что я сижу съ ней на берегу того ручья, подъ столѣтнимъ дубомъ, что мы съ какой-то тяжелой грустью любимся темнымъ лѣсомъ, грознымъ напѣвомъ вѣтра, весеннимъ небомъ и слушаемъ жаворонковъ, что я съ какимъ-то болѣзненно сильнымъ чувствомъ и тоскою прижимаюсь къ ея груди, что мнѣ грустно, что я плачу — и я плачу въ самомъ дѣлѣ, и учитель ставитъ меня на колѣни, за сдѣланный въ классѣ безпорядокъ. Ибо смѣхъ, слезы и вообще обнаруженіе всякаго душевнаго движенія во время класса у насъ строго воспрещалось: для этого была рекреація. Но на *х* и *у* приближеніе весны не производило никакого особеннаго впечатлѣнія. *Х*, какъ и всегда, необыкновенно тщательно, обдуманно и изы-

скано-изящно одѣвался, старательно причесывался и даже завивался; *у* по прежнему прилежно изучалъ древнихъ классиковъ, и тѣмъ справедливо заслуживалъ благосклонное вниманіе старшихъ. Красы природы на нихъ тоже не сильно дѣйствовали. Когда случалось намъ въ воскресные дни гулять за городомъ, и меня поражалъ какой-нибудь красивый видъ, я съ удивленіемъ замѣчалъ, что *х* и *у* смотрѣли на него совершенно равнодушно. Какъ теперь помню — мы разъ гуляли пѣшкомъ за городомъ. У въ продолженіе всей дороги, рассказывалъ намъ о *домашнемъ бытѣ древняго Рима*. Вдругъ передъ нами открылся такой великолѣпный пейзажъ, какого нельзя ни вообразить, ни описать. При видѣ его я вскрикнулъ отъ восторга и предложилъ моимъ спутникамъ остановиться и полюбоваться имъ. Они остановились. Около пяти минутъ мы стояли на одномъ мѣстѣ; я любовался видомъ, *х* бессмысленно смотрѣлъ на него, а *у* продолжалъ рассказывать намъ о *домашнемъ бытѣ древняго Рима*. Вдругъ сталъ накрапывать дождикъ. *Х* испугался и отчаяннымъ голосомъ закричалъ, что намъ надо спѣшить куда-нибудь подъ навѣсъ, если мы не хотимъ своихъ костюмовъ предать на жертву дождю. Сказавши это, онъ пустился почти бѣгомъ по направлению къ видѣвшейся вдали деревнѣ. Я и *у* пошли вслѣдъ за нимъ. Я шелъ неохотно и поминутно оглядывался на видъ, произведшій на меня такое сильное впечатлѣніе, *х* всю дорогу сердился и ворчалъ, что ничего не можетъ быть глупѣе, какъ ходить такъ далеко пѣшкомъ за городъ, затѣмъ только, чтобъ любоваться природой; что въ этихъ прогулкахъ ужасно пылятся платье; что эти прогулки можетъ дѣлать только человѣкъ дурнаго тона, который не имѣетъ обыкновенія хорошо одѣваться; что въ настоящую минуту онъ, т.-е. *х*, рискуетъ испортить на дождь свою новую Парижскую шляпу, свои легкіе, модные сапоги. Но на *у* ни пейзажъ, ни дождь не произвели никакого дѣйствія: онъ все время продолжалъ очень спокойно, подробно и обстоятельно описывать *домашній бытъ древняго Рима*.

Итакъ вы видите, что мы были очень не похожи другъ на друга. Была только одна общая черта; всѣ мы любили правду,

ненавидѣли подлость и криводушіе и сами не были способны ни къ подлости, ни къ криводушію.

Окончивши курсъ ученія, мы разстались. Я остался въ Москвѣ, *х* поѣхалъ въ Петербургъ, *у* ушелъ пѣшкомъ въ Германію.

Долго я не имѣлъ извѣстія ни объ *х*, ни объ *у*. Наконецъ, узналъ я отъ моихъ людей, что *х* пишетъ натуральныя повѣсти и приобрѣлъ громкую извѣстность. Повѣсти его отличались легкостью слога и легкостью содержанія. Въ нихъ не было ни идеи, ни глубоко-задуманныхъ характеровъ, ни драматическаго движенія; не было ничего цѣлаго и законченнаго. Въ нихъ описывались самыя извѣстныя и обыкновенныя происшествія, приводились самыя будничныя, нехарактеристическіе разговоры, выводились давно всѣмъ извѣстныя и истертые во всѣхъ романахъ лица. И потому Петербургская публика находила, что повѣсти *х* чрезвычайно натуральны, потому что въ нихъ нѣтъ ничего необыкновеннаго и рѣзкаго. Особенно читателямъ нравились въ его повѣстяхъ разговоры въ родѣ слѣдующаго:

— Bonjour, madame.

«Bonjour, monsieur»

— Comment va votre santé?

«Très-bien. Et la votre?»

— «Très-bien.

«Dieu merci... Je vous prie de vous asseoir».

— Je trouve, madame, qu'il fait mauvais temps aujourd'hui».

«Vous avez raison, monsieur».

— Et il pleut.

«C'est bien vrai».

— J'aime beaucoup quand il fait beau.

«Et moi de même».

«Какъ это натурально, какъ это вѣрно», восклицали читатели, прочитавши такой разговоръ. «Вотъ еслибъ намъ всегда такъ описывали высшее общество! Впервые, здѣсь разговоръ идетъ на французскомъ языкѣ, и дѣйствующія лица говорятъ такъ натурально, что подумаешь, что авторъ подслушалъ гдѣ-нибудь этотъ разговоръ и записалъ».

Направленіе повѣстей *x* было сатирическое. Онъ въ нихъ безпощадно казнилъ людскіе пороки, воздвигалъ гоненіе на чувствительность и мечтательность, на дурную кухню, Москву, провинцію, неумѣнье одѣваться къ лицу, и т. д. Сюжеты всѣхъ его повѣстей были одинаковы; они были не что иное, какъ вариациіи на двѣ темы. *Первая тема.* Выводится молодой человѣкъ. Онъ изображается такимъ идеалистомъ, романтикомъ и мечтателемъ, какихъ никогда не бывало и быть не можетъ. Онъ влюбляется самымъ неестественнымъ образомъ, мечтаетъ такъ сильно, что по цѣлымъ мѣсяцамъ ничего не ѣстъ; а когда принимается ѣсть, то вслѣдствіе своей склонности къ романтизму, онъ ѣстъ булженикъ и запиваетъ чернилами. Онъ большею частію ходитъ безъ палки по улицѣ, дерется съ вѣтреными мельницами и при всякомъ удобномъ случаѣ обнаруживаетъ такой романтическій и рыцарскій образъ мыслей, какого вѣрно не могли имѣть и современники перваго крестоваго похода. Въ продолженіе всей повѣсти онъ дѣлаетъ выходы одну глубже другой. Его хотятъ поставить на путь истины, посредствомъ мудрыхъ совѣтовъ, но ничего не помогаетъ. Оканчивается такая повѣсть обыкновенно тѣмъ, что молодой человѣкъ, вдругъ ни съ того, ни съ сего, по щучью велѣнью, дѣлается практическимъ порядочнымъ человѣкомъ, или спивается съ кругу и начинаетъ красть. Разумѣется, авторъ утрируетъ своего героя не отъ неумѣнья создать художественный характеръ, не отъ отсутствія въ немъ художественной способности, но отъ сильной ненависти къ пороку. И потому онъ обыкновенно беретъ для повѣсти эпиграфы такого рода:

Le cynisme de mœurs doit salir la parole,
Et la haine du mal enfante l'hyperbole,
или: Si natura negat, facit indignantis verbum и проч.

Да, авторъ сильно ненавидитъ пороки: у него такая же сильная ненависть къ порокамъ и такая же сильная натура, какъ у Ювенала и Тацита! *Вторая тема.* Изображается молодая дѣвушка, только-что выпущенная изъ пансіона на свѣтъ Божій. Она влюблена или въ учителя Русской словесности, или въ учи-

теля музыки. Предметъ ея любви очень мечтателенъ, очень худъ и блѣденъ и очень пишетъ стихи или сочиняетъ ноктюрны. Онъ бѣденъ. Родители молодой дѣвушки не соглашаются на ея бракъ съ бѣднымъ человѣкомъ, а предлагаютъ ей въ женихи богатаго помѣщика, вдовца, который ей противенъ. Она непременно хочетъ выдти замужъ за того, кого любитъ; ей не позволяютъ. Она лѣзетъ на стѣну, хочетъ съ отчаянія утопиться, сохнетъ и страдаетъ, и, наконецъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, по шучью велѣнью и по собственному желанію, съ большимъ удовольствіемъ, выходитъ замужъ за того жениха, котораго предлагали ей родители,—дѣлается провинціальной барыней, солить грибы, варить варенье, спать по 20 часовъ, ѣсть по 15 разъ въ сутки и толстѣетъ самымъ безобразнымъ mannerомъ. Въ заключеніе своей повѣсти авторъ восклицаетъ: «и могъ до этого унизиться человѣкъ!» Авторъ удивляется *превращенію* своей героини, между тѣмъ, какъ онъ самъ его нарочно сдѣлалъ.

Х составлялъ тоже и критическія статьи, которыя были также прекрасны, какъ и его повѣсти. Въ нихъ онъ дѣлалъ иногда маленькіе промахи, обнаруживавшіе въ авторѣ плохого знатока исторіи, географіи и вообще человѣка безъ солиднаго образованія. Такъ, онъ иногда въ статьяхъ своихъ смѣшивалъ Тибулла съ Катюломъ, аневризмъ съ гекзаметромъ, говорилъ, что книга *De viris illustribus* написана Тацитомъ, не зналъ, что существовало два Плинія, и думалъ, что битва при Акциумѣ произошла 30 лѣтъ спустя послѣ Рождества Христова. Такого рода ошибки съ избыткомъ выкупались направленіемъ и богатствомъ содержанія статьи и новостью взгляда автора на вселенную.

Русская литература обязана ему многими, такъ сказать, *реформами*. Я упомяну только объ одной. Библиографическую хронику своего журнала онъ раздѣлилъ на три отдѣла — на литературу Московскую, литературу Петербургскую и литературу провинціальную. Московскую литературу онъ подраздѣляетъ на Мясницкую, Арбатскую и Прѣсенскую.

Между тѣмъ какъ *x* со славой подвизался на поприщѣ легкой литературы, еще съ бѣльшимъ успѣхомъ и славой подвизался *y* на поприщѣ историко - филологическихъ изслѣдованій. Онъ ужъ былъ докторомъ. Двѣ его диссертациі—магистерская: «О Греческихъ монетахъ, существовавшихъ до похода Аргонатовъ», и докторская: «Взглядъ на юридическій бытъ Италійскихъ народовъ, до прибытія въ Италію Энея», прогремѣли по всей Европѣ и взволновали весь ученый міръ. Самый большой успѣхъ эти диссертациі имѣли въ Германіи: онѣ произвели тамъ такое сильное впечатлѣніе, что двое молодыхъ людей отъ нихъ застрѣлились.

Вотъ какъ отличались мои друзья!

Но что же стало съ мною? Въ то время, какъ *x* и *y* старательно занимались прославленіемъ своихъ именъ, незнаемый молвою, незаклейменный славою, неукрашенный ни прозвищемъ литератора, ни ученаго, я въ совершенной неизвѣстности, въ чистой совѣсти, проводилъ дни свои. По большой части я жилъ въ деревнѣ, занимался тамъ хозяйствомъ и садоводствомъ, читалъ, любилъ, холилъ въ посидѣлки, водилъ хороводы—и былъ счастливъ. Въ такой жизни я находилъ много поэзіи, много свѣжести; не было въ ней ничего принужденнаго, ничего напыщеннаго, ничего напряженнаго, ничего прянаго. Когда я проводилъ день полно и благополучно, т.-е., если находилъ сельскія работы въ исправности, прочитывалъ съ удовольствіемъ нѣсколько словъ изъ Тацита или другаго какого вѣчнаго писателя, испытывалъ какое-нибудь сильное лирическое ощущеніе, досыта наработывался въ саду—то, ложась спать, восклицалъ довольный собою:

Beatus ille, qui procul negotiis,
Ut prisca gens mortalium,
Paterna rura bubus exercet suis,
Solutus omni foenore;
Neque excitatur classico miles truci,
Neque horret iratum mare
Forumque vitat et superba civium
Potentiorum limina...

Конечно, и такая идиллическая жизнь бывала подчас омрачаема кое-какими неприятными событиями и несчастьями. Такъ наприимѣръ случалось, что сгорить овинъ, прочтешь какую-нибудь статью въ Русскомъ журналѣ, переломить кто-нибудь изъ моихъ домочадцевъ ногу, и т. п. Конечно, такія событія приключались, благодаря Бога, очень рѣдко, но все-таки приключались. Вѣдь человѣкъ не можетъ быть постоянно счастливъ!

Впрочемъ, я не безвыѣздно жилъ въ деревнѣ. Я почти всякую зиму, скопивши въ деревнѣ денегъ, уѣзжалъ въ Москву. Тамъ я ѣздилъ въ театръ, посѣщалъ ученые диспуты и лекціи замѣчательныхъ профессоровъ, но тщательно избѣгалъ балагановъ, литературныхъ и танцевальныхъ вечеровъ и травли за Рогожской заставой. Я видался только съ самыми короткими знакомыми, съ которыми могъ безъ грѣха провести время. Читалъ я много, и чтеніе мое было разнообразно. Я занимался многими науками, занимался серьезно и основательно, но не могъ ни одной заняться спеціально, т. е. посвятить себя одному какому-нибудь предмету исключительно. Сперва я занимался филологіей, въ обширномъ значеніи этого слова. Я было спеціально изучилъ исторію Англійской литературы; но посреди моихъ самыхъ жаркихъ занятій этимъ предметомъ, мнѣ случилось какъ-то услыхать лекцію о Римскомъ правѣ. Эта лекція была такъ блистательна и привела меня въ такой восторгъ, что я бредилъ ею цѣлую недѣлю и рѣшился прослушать цѣлый курсъ о Римскомъ правѣ. Прослушавши этотъ курсъ, я ударился изучать право вообще. Три года слишкомъ я занимался юриспруденціей, перечиталъ въ это время всѣ замѣчательныя сочиненія по части философіи права, прослѣдилъ его исторію у древнихъ и новыхъ народовъ, и уже принялся было за подробное изученіе восточныхъ законодательствъ, какъ пріѣхала въ Москву Итальянская опера. Сходилъ я на первое ея представленіе, услыхалъ Лукрецію Борджіа и погибъ невооруженно для юриспруденціи. Я сдѣлался отчаяннымъ меломаномъ, не пропускалъ ни одного представленія Итальянской труппы, цѣлый день пѣлъ или игралъ на фортепьянахъ лучшія мѣста изъ Итальянскихъ оперъ. Когда

первые порывы любви къ оперѣ прошли, страсть эта приняла болѣе солидный характеръ, слѣдствіемъ чего было то, что я занялся изученіемъ исторіи вокальной музыки. Но, разумѣется, я и на этомъ не остановился. Изъ всѣхъ моихъ недостатковъ и дурныхъ наклонностей, мѣшавшихъ мнѣ заняться чѣмъ-нибудь специально и приобрести литературную или ученую извѣстность, и чрезъ то выйти въ люди, главными были привычка заниматься только тѣмъ, что приноситъ удовольствіе, отсутствіе желанія прославиться и отсутствіе ремесленного духа.

Вы видите, что я человѣкъ, рожденный для тихой жизни, для неизвѣстности, а не для литературной общественной дѣятельности или свѣтской жизни. Я понималъ свое назначеніе и продолжалъ жить, какъ жилось. Но вотъ что вдругъ со мной случилось.

Сидѣлъ я разъ въ амфитеатрѣ Малаго театра; былъ антрактъ; я отъ нечего дѣлать дѣятельно лорнировалъ вокругъ себя. Вдругъ вижу, что въ шагахъ десяти отъ меня стоитъ человѣкъ съ очень знакомой мнѣ фізіономіей, — всматриваюсь и узнаю (кого бы вы думали?) моего пріятеля *х*. Какъ бы вы ни были жестокосерды, мой любезный читатель, но вы вѣрно можете себѣ представить, какъ сильно забилося мое сердце, когда я увидалъ такъ близко подлѣ себя друга моего дѣтства, друга дѣтскихъ невинныхъ забавъ и чистыхъ помышлений, друга, съ которымъ я больше десяти лѣтъ не видался. Въ сладостномъ волненіи я бросился къ нему, хотѣлъ броситься ему на шею, но онъ чрезвычайно ловко высвободился изъ моихъ объятій, увернулся отъ поцѣлуя, и чрезвычайно бонтонно и умѣренно подаль мнѣ руку. Такой поступокъ меня до крайности удивилъ и оскорбилъ. *Х* замѣтилъ это, и отозвавъ меня въ сторону, сказалъ: «послушай, тебя, кажется, смутила моя наружная холодность? Будь увѣренъ, что я тебя люблю по прежнему и даже больше прежняго; но человѣкъ обязанъ скрывать свои чувства. Я въ восторгѣ, что тебя встрѣтилъ, но обнять тебя, въ особенности публично, не могу: это противъ моей системы, противъ моихъ убѣжденій, противъ моей совѣсти. Порядочный

человѣкъ долженъ скрывать свои чувства; высказывать ихъ могутъ только люди дурнаго тона и люди отсталые отъ вѣка. Что - бы при тебѣ ни случилось, что - бы ты ни чувствовалъ, что-бы съ тобой ни дѣлалось, — ты всегда долженъ сохранять спокойный, холодный и благопристойный видъ. Зарѣжутъ ли при тебѣ 1000 человѣкъ, умрутъ ли при тебѣ всѣ твои родители, женятъ ли тебя, сдѣлаютъ ли въ твоихъ глазахъ неслыханное благодѣяніе, родитъ ли твоя жена семь человѣкъ разомъ, провалится ли передъ тобой колокольня, — не выказывай ни радости, ни печали, ни ужаса, ни удивленія. Будь всегда человѣкомъ; ибо истиннымъ человѣкомъ можетъ назваться только человѣкъ цивилизованный; а цивилизованнымъ человѣкомъ обыкновенно бываетъ только такой человѣкъ, который не высказываетъ своихъ чувствъ, не носитъ на себѣ никакой особенности, не имѣетъ никакой личности: онъ гладокъ и безпѣтень. Взгляни на Американскихъ дикарей и Готентотовъ: у нихъ сильно развита личность, они не скрываютъ своихъ чувствъ, оттого они всѣ такіе *mauvais genre*, и оттого ихъ не принимаютъ ни въ одинъ порядочный домъ, ни въ какое хорошее общество. Въ настоящее время, въ нашей литературѣ постоянно развивали мысли о томъ, что человѣкъ не долженъ заботиться только о своемъ внутреннемъ развитіи, но долженъ непрестанно пещися о своей наружности, т.-е. скрывать свои чувства, одѣваться по самой послѣдней модѣ и быть достойнымъ своего великаго назначенія — быть царемъ всѣхъ животныхъ. На эту тему въ одномъ моемъ журналѣ было написано пять романовъ, 13 повѣстей, 140 критическихъ статей на разные язычныя произведенія и 80,000 писемъ изъ провинціи. Не знаю, какъ до тебя до сихъ поръ не дошли положенія новѣйшей философіи.»

Я хотѣлъ кое-что возразить на монологъ моего друга, хотѣлъ спросить его, за что онъ такъ безпощадно лжетъ на новѣйшую философію и что онъ вообще подъ философіей разумѣетъ. Но въ это самое время поднялась занавѣсъ, и мы должны были разстаться. — При выходѣ изъ театра, я сообщилъ

мнѣ свой адресъ и звалъ меня къ себѣ. На другой день, въ 9 часовъ, я къ нему явился. Онъ еще спалъ. Лакей меня просиль подождать, пока баринъ проснется. Я прождалъ его до двухъ часовъ. Наконецъ *x* проснулся и вышелъ изъ спальной въ кабинетъ, идѣ я его дожидался. Костюмъ его былъ поразителенъ. На немъ былъ драгоцѣнный халатъ, рубашка изъ самаго дорогаго батиста, съ большими золотыми запонками, шаровары изъ алаго атласа; на ногахъ его были туфли, нарочно имъ выписанные изъ Китая; пальцы его были унижены безцѣнными перстнями; на головѣ его — зеленый колпакъ.

— А ты, говорятъ, сказалъ онъ, ожидаешься меня здѣсь съ 9 часовъ!... Да въ которомъ же часу ты самъ встаешь?

— Часовъ въ 6, отвѣчалъ я.

X. (*Съ удивленіемъ*) Какъ часовъ въ 6! Да развѣ можетъ образованный человѣкъ вставать такъ рано! Скажи, неужели ты такъ рано встаешь?

Я. Когда раньше встанешь, какъ-то голова свѣжѣе... Я поутру занимаюсь, читаю что-нибудь.

X. Боже мой, какъ ты отсталъ отъ вѣка! тебѣ, видно, совсѣмъ незнакома новѣйшая философія. Читалъ ты въ Современникѣ письма изъ Парижа?

Я. Читалъ.

X. Да вѣдь тамъ прямо и ясно сказано, что нормальный человѣкъ встаетъ не раньше 8 часовъ. А ты послѣ этого встаешь въ 6. Какъ тебѣ не совѣстно! (*Осматриваетъ меня*). Боже мой, что это какъ ты скверно одѣваешься! Какое толстое сукно на твоемъ фракѣ; оно не дороже 12 рублей; это, братъ, ни на что не похоже! Какъ ты мало читаешь! позаймись ты, братъ, своимъ образованіемъ. (*Молчаніе*). Скажи мнѣ пожалуйста, какую ты жизнь ведешь, все ли ты такой идиотъ, какъ прежде. Сталъ ли ты, наконецъ, ѣздить на балы?

Я. Нѣтъ.

X. Отчего?

Я. Оттого, что мнѣ на нихъ скучно. Мнѣ кажется, что балъ не въ духѣ нашей націи.

Х. Эхъ, да ты все такой же романтикъ, какъ и прежде! Полно, перестань, вѣдь ты не маленькій! Опомнись, оглядись! вѣдь человѣкъ рожденъ для общества и потому не долженъ чуждаться баловъ. Только одни геніи могутъ не ѣздить по баламъ, но вѣдь за то всѣ геніи mauvais genre. (*Молчаніе*). Вотъ тебѣ мой совѣтъ: займись своимъ образованіемъ и для этого обратись къ новѣйшей журнальной литературѣ: она тебя научить.

Разговоръ этотъ, почему-то, произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Мной овладѣло сомнѣніе: я сталъ спрашивать себя, точно ли я живу, какъ жить слѣдуетъ, не откроетъ ли мнѣ глаза новѣйшая журнальная литература. Я обратился къ ней. Вслѣдствіе моего знакомства съ ней, я возымѣлъ твердое намѣреніе сдѣлаться практическимъ человѣкомъ и съ этой цѣлью заказалъ себѣ особый костюмъ.

Заказавъ себѣ модное платье, сообразное съ требованіями нашего вѣка, прекрасно выраженными новѣйшей журнальной литературой, я съ нетерпѣніемъ дожидался того дня, въ который портной мнѣ обѣщался его принести. Этотъ день имѣлъ для меня огромную важность: я далъ себѣ слово, что именно съ этого дня сдѣлаюсь практическимъ и современнымъ человѣкомъ. Этотъ день (я очень хорошо помню) былъ среда, 25 апрѣля; портной мнѣ обѣщалъ принести платье въ 10 часовъ утра. Сообразивъ все это и еще то, что я употреблю полчаса для надѣванія новаго костюма, я записалъ у себя въ памятной книжкѣ, купленной мной по случаю намѣренія сдѣлаться практическимъ человѣкомъ, слѣдующее. «Сего 184... года, въ среду, 25-го апрѣля, я сдѣлаюсь практическимъ человѣкомъ; начало въ 10 часовъ съ половиною.» И дѣйствительно, въ вышеозначенный день и часъ я стоялъ въ костюмѣ, удовлетворявшемъ современнымъ потребностямъ новѣйшей журнальной литературы. Осмотрѣвъ всѣ части своего туалета, при безмолвно-краснорѣчивомъ участіи трюмо, и такимъ образомъ удостовѣрившись, что догналъ свой вѣкъ, я надѣлъ шляпу, взялъ тросточку и пошелъ со двора.— Для перваго дебюта на поприщѣ практической жизни, я нарочно

отправился въ такой домъ, который мнѣ казался самымъ практическимъ, и который дѣйствительно вмѣщалъ въ себѣ одно прекрасное семейство съ самымъ практическимъ образомъ жизни. Наружность этого дома была самая безукоризненная: отъ него вѣяло такимъ же холодомъ, и въ немъ царствовалъ такой же порядокъ, какъ у нашего общаго знакомаго мистера Домби. Свѣтлости и хорошаго тону тамъ было неисчислимо: говорили тамъ только о погодѣ, читали только Александра Дюма да Фенелона, по-русски говорить совсѣмъ не умѣли, о людяхъ судили только со стороны ихъ практическихъ проявленій и играли въ карты съ остервенѣніемъ.

Дѣло было ранней весной. Хотя погода и была теплая, но улицы были испещрены лужами. Я бережно и довольно искусно перепрыгивалъ съ камешка на камешекъ черезъ эти лужи, дабы не замарать въ грязи свои современные брюки съ лампасами. Такимъ образомъ, долго идя по улицѣ, я довольно удачно подвигался на поприщѣ практической жизни. Вдругъ не вдалекѣ отъ меня, на бѣду мою, заиграла шарманка: «Ah, per che, per che non posso odiar te,» арію, которую я не могу слышать безъ особеннаго восторга, безъ какого-то лихорадочнаго трепета, и которой я при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ подтягиваю моимъ недостойнымъ голосомъ. Услыхавъ эту арію, я вдругъ внутренне преобразился, почувствовалъ на душѣ какую-то свѣжесть, забылъ свои практическія намѣренія, забылъ, что я стремлюсь за современными интересами, забылъ, что на мнѣ современные и очень маркія брюки, забылъ весь міръ и съ сладостнымъ и унылымъ трепетомъ сердца затаивуль «Ah, per che, per che non posso odiar te,» и въ то же самое время, вмѣсто того, чтобъ перешагнуть черезъ лужу съ камня на тротуаръ, я погрузилъ въ нее правую ногу по самое колено. Очнувшись отъ восторженнаго состоянія и замѣтивъ несчастіе, постигнувшее мой правый сапогъ и правую часть современныхъ брюкъ, я пришелъ въ отчаянное бѣшенство. Случись со мной подобное несчастіе днемъ или часомъ прежде означеннаго времени, я бы привалъ его совершенно равнодушно, потому-

что я тогда былъ не тотъ. Я тогда былъ человѣкомъ свободно-чувствовавшимъ, человѣкомъ беззаботнымъ, непринужденнымъ; но теперь я ужъ былъ человѣкомъ практическимъ, серьезнымъ, осмотрительнымъ. Прежде, я нашивалъ простыя, черныя, три-ковыя, почти всегда поношенныя брюки, которыми я не слишкомъ дорожилъ, о которыхъ не имѣлъ слишкомъ высокаго мнѣнія; а теперь на мнѣ были брюки изъ самаго дорогаго французскаго трико, брюки цвѣтныя, брюки въ высшей степени марки, брюки, на которыя я смотрѣлъ съ безпредѣльнымъ уваженіемъ. Прежде я былъ знакомъ съ людьми, которые мнѣ были милы, по сходству нашихъ убѣжденій, съ людьми самыми простыми, самыми «непрактическими», людьми болѣе способными къ отвлеченной дѣятельности, чѣмъ къ практической жизни. Къ этимъ людямъ я не побоялся бы явиться съ загро-зенными брюками, потомучто эти люди судили обо мнѣ не по брюкамъ, а по внутреннимъ моимъ достоинствамъ. Они не отворотились бы отъ меня, несмотря на то, что у меня брюки были замараны, тогда какъ ихъ собственныя находились въ противоположномъ состояніи. Нѣтъ! они не отворотились бы съ презрѣніемъ отъ меня, но, напротивъ, распростерли бы ко мнѣ горячія объятія и приняли бы во мнѣ живѣйшее участіе. Но къ людямъ, къ которымъ теперь я шелъ, я шелъ не по сердечному влеченію, а *ex officio*, по обязанностямъ, налагаемымъ на меня современными потребностями, прекрасно выраженными новѣйшей журнальной литературой. Къ этимъ людямъ нельзя было представиться въ томъ плачевномъ положеніи, въ которое повергла меня упоительная мелодія покойнаго Белини, искусно переданная шарманкой. Я вынужденъ былъ воротиться домой. Весь остальной день провелъ я въ самыхъ ужасныхъ мученіяхъ.

Но этотъ несчастный дебютъ не повергъ меня въ отчаяніе и не совратилъ съ предпринятаго мной пути; напротивъ, послѣ этой катастрофы я еще съ болѣе рѣшимостью и энергіей взялся за свое предпріятіе. Я началъ учиться играть въ преферансъ, разговаривать о погодѣ, разгѣзжать съ визитами,

пересталъ разсуждать о высокихъ предметахъ, и т. д. Я сталъ чувствовать сильныя головныя боли, но все-таки былъ твердъ въ моихъ намѣреніяхъ.

Но чѣмъ больше я старался сдѣлаться практическимъ человекомъ, тѣмъ сильнѣе я убѣждался, что это для меня невозможно. И видѣлъ ясно, что мнѣ никакъ не выльчиться отъ чувства, которое меня выдавало повсюду. Помня, что чувство есть способность души, обнаруживающая въ человѣкѣ дурной тонъ и недостатокъ воспитанія, подобно Русскимъ перчаткамъ, не чищеннымъ зубамъ и неумѣнью говорить по-французски, — помня это, я тщательно пряталъ его; но мнѣ стоило только зазѣваться, и оно, къ крайнему стыду моему, выступало на позорище предъ окружающимъ меня порядочнымъ человѣчествомъ. Въ одинъ прекрасный зимній вечеръ, напримѣръ, я сидѣлъ за картами въ одномъ порядочномъ домѣ; я былъ всею душою погруженъ въ игру, я, который такъ ненавижу карты. Прошелъ цѣлый часъ благополучной игры; я былъ въ восхищеніи отъ моего поведенія... Но вдругъ (о коварная судьба!) я какъ-то совершенно нечаянно, безо всякаго дурнаго, т.-е. непрактическаго намѣренія, отвожу глаза отъ картъ, и вижу въ сосѣдней комнатѣ молодую незнакомую мнѣ дѣвушку, вѣроятно пріѣхавшую въ то время, когда мы сидѣли за картами. Наружность этой дѣвушки произвела на меня очень сильное и пріятное впечатлѣніе. Взглянулъ я на нее и засмотрѣлся, — приковался къ ней моимъ взоромъ, моей душою; я смотрѣлъ на нее съ какимъ-то сладкимъ, успокоительнымъ чувствомъ; чѣмъ-то разнѣживающимъ, убакивающимъ вѣяло отъ нея на меня. Взглянулъ я на нее, «вникнулъ въ нее долгимъ взоромъ,» и во мнѣ затихла боль отъ ранъ, нанесенныхъ мнѣ въ борьбѣ съ практической жизнью: я вдругъ помолодѣлъ, забылъ и свои «практическія» намѣренія и желанія сдѣлаться «порядочнымъ» человекомъ, и требованія XIX вѣка, прекрасно выраженные современной журнальной литературой, и самую журнальную литературу, и преферансъ, и весь міръ. Достоверно не знаю, въ чемъ именно заключалась причина такого сильного впе-

чатлѣнія — въ самомъ ли дѣлѣ дѣвушка была необыкновенно хороша, или это мнѣ такъ только показалось, вслѣдствіе того обстоятельства, что ужъ больше часа вниманіе мое совершенно было поглощено картами, и взоръ мой былъ устремленъ исключительно на фізіономіи пиковыхъ, бубновыхъ и прочихъ дамъ, фізіономіи, какъ извѣстно, не отличающіяся большой выразительностью и высокимъ изяществомъ; можетъ быть, только сравнительно съ ними, молодая дѣвушка показалась мнѣ красавицей. Какъ бы то ни было, но наружность ея произвела на меня такое сильное впечатлѣніе, что я забылъ, что сижу за преферансомъ, и игралъ совершенно машинально. Отъ этого случилось очень плачевное событіе. Я въ разсѣянности такъ дурно игралъ, что заставилъ обремениться хозяйку дома, съ которой я вистовалъ. Хозяйка была глубоко оскорблена моимъ поведеніемъ и такъ на меня разсердилась, что назвала неучемъ и приказала людямъ меня вывести, воскликнувъ при этомъ: «какіе нынче стали молодые люди!» Вслѣдъ за этимъ, отданъ былъ приказъ швейцару не впускать меня, какъ дерзкаго, неблаговоспитаннаго человѣка, готоваго всякаго обременить.

Несмотря на это печальное происшествіе, я все-таки не терялъ надежды отучиться отъ чувства и съ этой цѣлью рѣшился принять надъ собою строжайшія мѣры. Я рѣшился отдать себя въ ученіе. Многіе изъ моихъ знакомыхъ брались за весьма умѣренную плату отучить меня отъ чувства и выучить «практической» жизни. Одинъ даже мнѣ прямо сказалъ: «положите мнѣ въ годъ 200 рублей серебромъ жалованья, да пожалуйста что-нибудь, если милость ваша будетъ, изъ стараго платья, — я васъ отучу отъ чувства и отъ всѣхъ его послѣдствій. Я васъ берусь въ самое короткое время выучить практической жизни и отучить отъ чувства: черезъ три года съ небольшимъ вы совершенно ничего не будете чувствовать.» Но я не имѣлъ возможности принять предложеніе моего знакомаго, потому что у меня тогда не случилось денегъ, и потому что я имѣлъ привычку отдавать старое платье моему камердинеру. Сверхъ того у меня представился случай совершенно инымъ образомъ

отдать себя въ ученіе. Мнѣ было знакомо одно очень свѣтское и «практическое» семейство. Это семейство собиралось на цѣлые полгода въ деревню. Я возымѣлъ твердое намѣреніе ѣхать съ ними, полагая, что, проживши цѣлые полгода съ практическими людьми, я совершенно выучусь практической жизни, и что всѣ мои природные недостатки пройдутъ. Я отправился...

Въ продолженіе всей дороги со мной ничего не случилось, кромѣ самыхъ благополучныхъ происшествій, самыхъ «практическихъ» обстоятельствъ. Въ продолженіе всей дороги я велъ себя примѣрно: любезничалъ безъ остановки и говорилъ съ увлеченіемъ, жаромъ и страстью о погодѣ и о другихъ практическихъ предметахъ, меня нисколько не интересовавшихъ. Но лишь только мы пріѣхали на мѣсто, какъ открылся рядъ самыхъ несчастныхъ приключеній. Всѣхъ ихъ описывать не стану — разкажу только о послѣднемъ и главномъ.

Разъ на именинахъ у моего хозяина былъ большой обѣдъ — обѣдала почти вся губернія. За столомъ вдругъ завязался серьезный, ученый разговоръ. Говорили о новой исторіи. Одинъ очень образованный помѣщикъ, сосѣдъ моего хозяина, сталъ утверждать, что Наполеонъ живъ. Многіе съ нимъ согласились. Я закипѣлъ благороднымъ негодованіемъ, услыхавъ такое искаженіе исторіи, и сталъ громогласно доказывать, что Наполеонъ умеръ. Я привелъ имъ такія сильныя доказательства, что они принуждены были отказаться отъ своихъ положеній; хозяинъ дома обидѣлся и сказалъ мнѣ, что я отравилъ его праздникъ и надѣлалъ непріятностей его гостямъ. За этимъ онъ попросилъ меня оставить его деревню, предложилъ даже денегъ на прогоны, но я, какъ благородный человѣкъ, отказался отъ этого, и уѣхалъ на свой счетъ.

Но этимъ все-таки не окончились мои приключенія на поприщѣ практической жизни. Я сдѣлалъ еще нѣсколько опытовъ по этой части и совершенно удостовѣрился, что неизлѣчимо. За что бы я ни взялся, во всемъ мнѣ мѣшало проклятое чувство и втягивало меня въ бѣду. Два года я подвизался на поприщѣ

практической жизни, и все это время, какъ нарочно, со мной случались происшествія совершенно неудобныя для этого поприща: то я влюблялся, то окуналъ въ грязь новое, чрезмѣрно дорогое исподнее платье съ лампасами, то заговаривалъ о высокихъ предметахъ, и т. п. Наконецъ я махнулъ рукой на практическую жизнь и рѣшился остаться такимъ, какимъ былъ прежде. Съ души моей точно гора свалилась: я опять сталъ веселъ, помолодѣлъ, чувствовалъ себя здоровѣе, и сталъ опять счастливъ.

Только что я успѣлъ такимъ образомъ успокоиться и возвратиться къ моему первобытному состоянію, какъ разнесся по Москвѣ слухъ, что пріѣхалъ изъ Харькова знаменитый ученый у.

Онъ ужъ былъ почтенный человѣкъ, былъ женатъ, имѣлъ хорошее мѣсто, издавалъ журналъ, который ему стоилъ ежегодно 1500 рублей серебромъ, и такимъ образомъ, очень пріятно проводилъ время. Аккуратно два раза въ мѣсяцъ онъ дѣлалъ новое открытіе въ области филологіи, и слава его росла безпрерывно.

Я очень люблю у и до сихъ поръ не могу вспомнить о немъ равнодушно; такъ позвольте мнѣ сказать еще нѣсколько словъ о его характерѣ.

Въ жизни главное для него была наука; все остальное онъ почиталъ только вспомогательнымъ средствомъ для науки. Исторія его жизни была не что иное, какъ исторія его занятій латинскимъ языкомъ. Почти каждый человѣкъ прошедшую жизнь свою дѣлитъ на періоды, и смотря по своему характеру, беретъ рядъ событій для эпохъ. Такъ одинъ дѣлитъ свою прошедшую жизнь по своимъ отношеніямъ къ женщинамъ и говорить такого рода фразы; «это случилось, когда я былъ влюбленъ въ L., это — когда я еще ни разу не былъ влюбленъ, а это — во время размолвки съ D.» Другой дѣлитъ исторію своей жизни по отношеніямъ къ крѣпкимъ напиткамъ и говорить: «Это было, когда я еще ничего въ ротъ не бралъ, а это

было послѣ того, какъ я уже началъ испивать.» Третій раздѣляетъ жизнь свою по мѣсту своего жительства. «Я, говорить онъ, тогда еще жилъ у Сухаревой башни, въ Третьей Мѣщанской, въ домѣ Сухачева, занималъ пять комнатъ съ кухней, и платилъ 150 рублей серебромъ въ годъ. Очень дешево!» Пятый усматриваетъ въ своей жизни три эпохи — когда онъ не держалъ своихъ лошадей, когда сталъ держать и когда пересталъ держать. Для шестаго, его біографія есть исторія его убѣжденій и т. д. Такъ у каждого въ этомъ дѣлѣ свой методъ дѣленія. У исторію своей жизни раздѣлялъ на слѣдующіе періоды: *«первый періодъ:* когда я еще не начиналъ учиться полатыни (время до-историческое). *Второй періодъ:* когда началъ учить сокращенную Латинскую этимологию и читать Латинскую хрестоматию. *Третій періодъ:* чтеніе Корнелія Непота и краткій синтаксисъ. *Четвертый періодъ:* чтеніе Саллюстія и переводъ изъ темъ Дронке. *Пятый періодъ:* чтеніе Тита Ливія, *syntaxis* огната и упражненія на Латинскомъ языкѣ. *Шестой періодъ:* чтеніе Тацита и Ювенала. Я часто отъ него слышалъ такіа фразы: «я тогда еще былъ очень молодъ и неопытенъ,—я еще не зналъ большой грамматики Цумпта, — я зналъ только маленькую. О, я еще тогда глубоко и горько заблуждался: я думалъ, что отъ Jupiter родительный падежъ Jupiteris! О, какъ я жестоко ошибался, и зато какъ жестоко былъ наказанъ! Стыдно вспомнить время такихъ заблужденій. — Какъ я тогда былъ чистъ и невиненъ, я не зналъ темъ Дронке!»

Несмотря на то, что у былъ необыкновенно ученъ, онъ сочувствовалъ художественнымъ произведеніямъ. Отъ природы въ немъ было мало эстетическаго чувства, но онъ дошелъ до пониманія изящнаго посредствомъ отчаяннаго чтенія всѣхъ нѣмецкихъ эстетикъ. Художественными произведеніями онъ наслаждался совсѣмъ не такъ, какъ мы грѣшныя. Когда, напримѣръ, ему случалось видѣть въ театрѣ очень смѣшную комедію или очень трогательную драму, онъ не смѣялся, если комедія была смѣшна, и не плакалъ, если драма была трогательна.

Но возвратившись послѣ спектакля домой, справлялся во всевозможныхъ эстетикахъ, была ли смѣшна комедія, или была ли трогательна драма; также совѣтовался насчетъ этого съ своими учеными друзьями. Если по всѣмъ справкамъ оказывалось, что комедія была дѣйствительно смѣшна, или что драма дѣйствительно трогательна, то онъ вдругъ начиналъ отъ полноты убѣжденія неистово хохотать или горько плакать и рыдать (смотря по тому, что требовалось эстетиками, шло ли дѣло о комедіи или о драмѣ); тогда въ продолженіе цѣлаго мѣсяца нельзя было его унять. Такіе высокіе порывы унимала въ немъ жена нѣжными попеченіями и гофманскими каплями.

Великое его уваженіе къ наукѣ выражалось и въ обхожденіи его съ людьми. Людямъ, не имѣющимъ никакой ученой степени, онъ никогда не кланялся; онъ имъ никогда не подавалъ руки и не позволялъ при себѣ говорить. Кандидатамъ онъ давалъ руку, позволялъ при себѣ говорить (но стоя!) и не позволялъ произносить собственныхъ сужденій. Магистры имѣли право говорить передъ нимъ сидя и произносить собственные сужденія; онъ съ ними обращался гуманно. Докторамъ же онъ позволялъ все: позволялъ даже себя бить и ругаться надъ собой, сколько ихъ душѣ угодно. Такъ онъ уважалъ докторовъ! — Съ чело-вѣкомъ, не имѣющимъ никакой ученой степени, онъ обращался гуманно только въ такомъ случаѣ, если тотъ былъ литераторъ, или художникъ, или что - нибудь въ этомъ родѣ и заслужилъ одобреніе ученой критики.

Узнавъ о пріѣздѣ моего друга, я сейчасъ къ нему отправился. Я взшелъ въ его комнату и обмеръ: на стѣнѣ у него висѣла слѣдующая таблица:

РАСПОЛОЖЕНІЕ ЗАНЯТІЙ НА 184... ГОДЪ.

Дни.	Часы.	ПРЕДМЕТЫ.
<i>Понедѣльн.</i>	отъ 5 до 12	Чтеніе Ювенала и Горація.
	отъ 12 до 2	Гулять подъ руку съ женой, несмотря ни на какую погоду.
	отъ 2 до 9	Чтеніе Діонисія Галикарнасскаго.
	отъ 9 до 10	Ссориться съ женой.
<i>Вторникъ.</i>	отъ 5 до 12	Заниматься мышленіемъ.
	отъ 1 до 2	Для развлеченія, добродушно посмѣяться съ женой надъ кухаркой.
	отъ 2 до 9	Чтеніе Тацита.
	отъ 9 до 10	Тихая, свѣтлая и умиленная бесѣда съ женою, какъ подругой жизни.
	отъ 5 до 9	Приготовленіе къ уроку.
	отъ 9 до 12	Урокъ.
	отъ 1 до 2	Пощутить съ женой.
	отъ 2 до 9	Перелистовать Тита Ливія и Плутарха.
<i>Среда.</i>	отъ 9 до 10	Послѣ неумѣреннаго ужина (разъ въ недѣлю) сидѣть запрокинувшись въ креслахъ и глядѣть въ потолокъ.
	отъ 5 до 12	Создавать новый взглядъ на древнюю исторію.
<i>Четвергъ.</i>	отъ 1 до 2	Для моціона дойти до такой веселости, чтобы можно было беззаботно и наивно бѣгать и скакать по залѣ и переронять всѣ стулья.
	отъ 2 до 10	
<i>Пятница.</i>	отъ 3 до 9	Учить ванзустъ Нибура и Гиббона.
	отъ 9 до 12	Приготавливаться къ уроку.
	отъ 1 до 2	Прогуливаться съ женою по улицѣ, несмотря на ненастную погоду.
	отъ 2 до 9	Читать журналы.
	отъ 9 до 10	Думать о житейскихъ и домашнихъ дѣлахъ.
<i>Суббота.</i>	отъ 5 до 1	Заниматься мышленіемъ.
	отъ 1 до 2	Немножко пошутить съ женой.
	отъ 2 до 3	Писать ученые статьи.
<i>Воскресенье.</i>	отъ 9 до 10	Принимать отъ жены счеты и доклады по хозяйству.
	отъ 10 до 12	Читать Петронія.
	отъ 12 до 2	Быть у обѣдни и прислушиваться къ формамъ языка славяно-церковнаго.
	отъ 2 до 10	Принимать гостей.
		Сверхъ всего этого, одинъ разъ въ мѣсяцъ предаваться меланхоліи (для внутренняго очищенія себя), и въ три недѣли одинъ разъ сходиться въ баню.

Насмотрѣвшись съ пользой на эту таблицу, я взглянулъ на лицо моего друга, и мнѣ открылось зрѣлище не менѣе поучительное. Лицо великаго ученаго выражало безпредѣльную важность и спокойствіе. Глаза его были совершенно неподвижны: не только они никогда не перемѣняли выраженія, но онъ даже никогда не мигалъ. Голова его тоже никогда не повертывалась, и держался онъ совершенно прямо, не подаваясь корпусомъ впередъ и не закидываясь назадъ. Вслѣдствіе всего этого, онъ былъ похожъ на человѣка, только что проглотившаго аршинъ или что-нибудь подобное.

У принявъ меня съ восторгомъ. Только что онъ успѣлъ издать нѣсколько звуковъ, обозначающихъ восторгъ, и только что мы успѣли, какъ онъ обратился ко мнѣ быстро съ вопросомъ: «скажи, пожалуйста, какой твой псевдонимъ? я старался разузнать объ этомъ и не могъ. Я сперва думалъ, что ты пишешь подъ именемъ господъ *Сто-сорокъ, Дважды-два—четыре, Чинисъ-ханъ* и проч., но потомъ узналъ, кто эти остроумные писатели... Скажи же, какой твой псевдонимъ?»

— Да вѣдь я ничего не печатаю, отвѣчалъ я ему.

«Отчего жъ ты ничего не печатаешь?»

— Да что же мнѣ печатать, когда я ничего не пишу?

«Отчего же ты ничего не пишешь? Вѣдь ты человѣкъ умный и образованный, такъ какъ же тебѣ не писать?»

— Да неужели каждый умный и образованный человѣкъ непременно обязанъ быть писателемъ?

«Каждый человѣкъ долженъ быть писателемъ: это его истинное назначеніе».

— Ты слишкомъ много требуешь отъ человѣка. Пожалуй, я соглашусь съ тобой, что обязанность каждаго человѣка стараться быть образованнымъ; но быть или не быть писателемъ—въ этомъ каждый воленъ.

«Нѣтъ! каждый истинно благородный человѣкъ долженъ быть непременно писателемъ!.. Впрочемъ, нѣтъ: я не то хотѣлъ сказать... Я хочу сказать, что каждый благородный человѣкъ долженъ показать себя предъ публикой со стороны какой-нибудь

отвлеченной дѣятельности, т.-е. быть или поэтомъ, или ученымъ, или живописцемъ, или ваятелемъ, или чѣмъ-нибудь тому подобнымъ, и обязанъ приобрести извѣстность. Вѣдь Салюстій прямо говоритъ, что мы всѣми силами должны стараться о томъ, чтобы память по насъ какъ можно дольше жила въ потомствѣ. Ты не можешь представить, какъ мнѣ противны люди ничѣмъ себя не прославившіе!»

— Но если человѣкъ не имѣетъ счастья быть ни ученикомъ, ни литераторомъ и ни чѣмъ тому подобнымъ, то неужели ты не найдешь въ немъ ничего такого, за что бы могъ его любить и уважать!. Я знаю людей, которые не только не литераторы, не ученые и ничего тому подобное, но даже необразованы, а я ихъ уважаю и люблю.

«За что же ты ихъ любишь?»

— За ихъ доброту, умъ, душевность, любезность...

«И ты знакомъ съ ними?»

— Знакомъ.

«И ходишь къ нимъ?»

— Хожу.

«И говоришь съ ними?»

— Говорю.

«О чемъ вы говорите?»

— Обо всемъ, о чемъ можно говорить съ простымъ человекомъ.

«Нѣтъ, я съ простыми людьми говорить не могу!»

.....
«Но мы отклонились отъ главнаго пункта разговора... Отчего ты не пишешь? Что ты дѣлаешь въ деревнѣ?»

— Занимаюсь хозяйствомъ...

«А! хозяйствомъ!.. Отчего же ты не пишешь статей *о сельскомъ хозяйствѣ*?»

Много еще мы говорили съ у въ этомъ родѣ, наконецъ, я ему сказалъ: «Нѣтъ, ты меня не уговоришь быть писателемъ; у насъ и безъ меня ихъ много. Мнѣ кажется, что у насъ происходитъ много вреда отъ того, что всякій мало-мальски

образованный и способный человек лѣзетъ непремѣнно въ литературную или ученую дѣятельность. Онъ этимъ отнимаетъ у другихъ сферъ дѣятельности умныхъ и способныхъ людей. Такъ напримѣръ, я знаю много молодыхъ «ученыхъ» и «литераторовъ», у которыхъ есть помѣстья. Сами они присутствуютъ въ столицѣ въ качествѣ посредственныхъ литераторовъ и мнимыхъ ученыхъ, а помѣстья свои ввѣряютъ плохимъ, необразованнымъ управляющимъ. Они гораздо бы больше принесли пользы и отечеству, и себѣ, и своимъ крестьянамъ, если-бъ жили въ деревнѣ, а не занимались эфемерной дѣятельностью въ столицѣ. У насъ каждый молодой человекъ (какъ бы онъ бѣденъ ни былъ) рвется на житье въ столицу, какъ бы ни было мало его состояніе. Отъ этого троякій вредъ: онъ лишаетъ свои помѣстья образованнаго помѣщика; онъ проживается въ столицѣ, гдѣ житье дороже, чѣмъ въ деревнѣ; получаетъ съ имѣнья меньше дохода, чѣмъ получалъ бы, если-бъ самъ жилъ въ деревнѣ и самъ за всѣмъ смотрѣлъ. Нѣтъ! я думаю, что для человека гораздо полезнѣе, благороднѣе, возвышеннѣе, жить въ деревнѣ и возиться съ мужиками, чѣмъ, не имѣя большихъ литературныхъ способностей, заниматься прославленіемъ своего имени».

Но и этотъ монологъ не убѣдилъ моего ученаго друга. Онъ продолжалъ просить меня сдѣлаться писателемъ, или хотъ написать что-нибудь для пробы и напечатать у него въ журналѣ. Я не соглашался. Онъ, наконецъ, рѣшилъ на послѣднее отчаянное средство: онъ мнѣ показалъ отчетъ своего журнала о помѣщенныхъ въ немъ статьяхъ за истекшій годъ. Я взглянулъ — и у меня разгорѣлись глаза. Статьи были самыя великолѣпныя, имена сотрудниковъ самыя знаменитыя. Между прочимъ, я тамъ прочелъ заглавіе слѣдующихъ статей: *Сравненіе Илиады съ посланіемъ Даніила Заточника*, сочиненіе молодаго ученаго Θ; его же: *О Славянскомъ происхожденіи Римлянъ*; *О томъ, какъ Финикіяне открыли стекло при помощи собаки*, статья магистра V. Кромѣ статей господъ Θ и V, здѣсь были помѣщены два капитальныхъ сочиненія самого издателя: первое —

О ложкѣ Александра Македонскаго; второе О вилкѣ Дарія Истаспа. Въ смѣси между прочимъ красовались слѣдующія произведенія по части изящной словесности: *Пиръ Валтасаровъ*, водевиль, *Лже-Смердисъ*, драма, *Нимфа Эгерія*, романъ.

Бывали также приложенія къ журналу, изъ которыхъ мнѣ больше всего понравились *Кимбры и Тевтоны* (программа для балета) и переложеніе на музыку поэмы Клопштока.

Когда я прочиталъ помянутый отчетъ, мнѣ вдругъ захотѣлось самому что-нибудь написать. Меня начало разбирать честолюбіе: мнѣ хотѣлось видѣть свою статью и свое имя въ ряду знаменитыхъ именъ и статей. Но что мнѣ написать? къ ученымъ статьямъ я неспособенъ, описывать свои чувства не умѣю, и не считаю приличнымъ публиковать о нихъ... Я сталъ думать, что бы написать. Я долго думалъ, и наконецъ придумалъ: я рѣшился описать сонъ, который мнѣ на дняхъ привидѣлся. Я сейчасъ же побѣжалъ домой и принялся его описывать. Съ непривычки мнѣ было трудно писать. Я писалъ въ продолженіе 4 мѣсяцевъ, и когда кончилъ и хотѣлъ отдать въ журналъ моего друга, разнеслась вѣсть, что журналъ его прекратился. Неблагодарная публика не умѣла оцѣнить прекрасныхъ статей, помѣщенныхъ въ ученомъ журналѣ. Мнѣ не хотѣлось, чтобъ статья моя, надъ которой я столько трудился, пропала, и я рѣшился ее помѣстить въ *Москвитянинъ*. Въ этомъ номерѣ помѣщаю только предисловіе къ ней.

Боже мой, какая участь ожидаетъ меня! Есть у насъ въ литературѣ человѣкъ пять великихъ энергическихъ личностей, которыя посвятили всю жизнь свою на преслѣдованіе и осмѣяніе людскихъ пороковъ. Любовь къ человѣчеству и ненависть къ порокамъ въ нихъ такъ сильна, такъ сильно они алчутъ исправленія рода человѣческаго, что безъ жалости клеймятъ и позорятъ каждаго, кто пороченъ, или кажется имъ порочнымъ. Больше всего они преслѣдуютъ два рода порочныхъ людей: плохихъ писателей и своихъ литературныхъ противниковъ, и преслѣдуютъ безпощадно. Это они дѣлаютъ, впервыхъ, изъ любви къ истинѣ и ненависти ко всему, гдѣ она какимъ-нибудь

образомъ искажается; вовторыхъ, изъ безпредѣльной страсти къ русской литературѣ и желанія ее исправить. Перомъ ихъ никогда не водить личная ненависть и пристрастіе или лицепріятіе. Напротивъ: они да такой степени любятъ челоувѣчество и литературу, такъ сильно желаютъ общей пользы и исправленія людскихъ пороковъ, что самъ Лессингъ въ сравненіи съ ними можетъ показаться эгоистомъ, пристрастнымъ критикомъ и челоувѣкомъ съ мелкими видами и низкими стремленіями. Вотъ какія у насъ въ литературѣ есть энергическія и глубокія натуры, и ихъ можно насчитать до пяти. Какое богатство!

Какой энергическій и оригинальный характеръ носить ихъ полемика! какой прекрасный тонъ въ ней господствуетъ! Осмѣивая плохихъ писателей или своихъ литературныхъ противниковъ, они не ограничиваются тѣмъ, что безпощадно глумятся надъ ихъ произведеніями, но издѣваются также надъ ихъ личностями, — описываютъ ихъ домашній бытъ, рассказываютъ про нихъ анекдоты, вовсе не касающіеся литературы, рассказываютъ всѣ сокровенныя ихъ дѣла, и такимъ образомъ уничтожаютъ ихъ совершенно. Часто, не называя ихъ по имени, они распускали о нихъ самые оскорбительные слухи, говорили имъ такія дерзости, какихъ ни одинъ стоекъ перенести не можетъ: описывали всѣ ихъ семейныя отношенія, и исчисляли всѣ ихъ домашнія и семейныя провинности. И для того, чтобъ всѣ знали, кто тѣ, о которыхъ пишутъ и не называютъ по имени, — они описывали всѣ ихъ примѣты, костюмъ, голосъ, лицо, и даже намекали на мѣсто жительства. Распубликованный такимъ образомъ челоувѣкъ не смѣлъ никуда показать глазъ: всѣ на него указывали пальцами, всѣ надъ нимъ смѣялись. — Случалось, что выступалъ на литературное поприще молодой неопытный челоувѣкъ, предлагая на судъ публики свои первые и слабые литературные опыты. Они бросались на него безпощадно, смѣялись и ругались надъ его сочиненіями въ отдѣлѣ критики или библіографической хроники, да кромѣ того, помѣщали въ смѣси статейку, въ которой описывались и его любовныя отношенія, и его

наружность, и костюмъ, и прическа, рассказывалось, и куда онъ ходитъ, и какіе горячительные напитки употребляетъ, и проч., и проч. Чтобы публика знала, о комъ говорится, они выписывали отрывки изъ его сочиненія и говорили: «вотъ что *пишетъ* дѣлающій *то-то* и *то-то*». Намъ доводилось видѣть, что молодые люди, которыхъ для перваго литературнаго дебюта встрѣчала такъ ласково критика, приходили въ совершенное отчаяніе. Да и какъ было не прійти въ отчаяніе! Представьте себя на ихъ мѣстѣ. Вы молодой человѣкъ, мечтаете о выгодной дѣятельности, полны благородныхъ стремленій: въ васъ есть самолюбіе — и вдругъ васъ такъ озадачиваетъ отечественная критика. Что вамъ дѣлать? Дѣлать вамъ нечего: принятъ за какую-нибудь дѣятельность вы не можете, потому что вамъ доказано, что вы человѣкъ бездарный и неспособный; искать развлеченія въ обществѣ тоже нельзя — на васъ тамъ будутъ указывать пальцами, какъ на человѣка распубликованнаго? Что же вамъ дѣлать? Ничего.

О, человѣкъ пять энергическихъ личностей, существующихъ въ нашей литературѣ, я знаю, что вы дѣлаете все вышеупомянутое, не изъ одной охоты поглумиться и потрунить, не отъ нечего дѣлать, не отъ скуки, не для пріятнаго препровожденія времени! Нѣтъ! Еслибъ вы это дѣлали изъ такихъ побужденій, то это было бы крайне безчеловѣчно съ вашей стороны; ибо безчеловѣчно оскорблять человѣка и губить его карьеру изъ одного желанія поглумиться, для пріятнаго препровожденія времени — отъ нечего дѣлать. Нѣтъ, вы это дѣлали изъ глубокой, могучей ненависти къ порокамъ, изъ непомѣрнаго желанія истребить ихъ и изъ безпредѣльной любви къ ближнему.

И меня ожидаютъ вашъ гнѣвъ и ваши бичи!.. Будьте милостивы, господа! Пощадите меня — я еще такъ молодъ, я еще такъ мало наслаждался жизнію! Вы вѣрно сами хоть когда-нибудь были молоды, вы вѣрно знаете, что такое жалость! Сжальтесь, сжальтесь, сжальтесь надо мною! сжальтесь! Можетъ быть, у кого-нибудь изъ васъ, какъ и у меня, есть мать-старушка, для которой онъ дороже всего на свѣтѣ. О, сжался

надо мною, безжалостный, но справедливый каратель! сжался, сжался! grâce, grâce, grâce, grâce,—grâce pour moi et grâce pour toi! Но нѣтъ, вы не умиосердитесь надо мной, не тронетесь моей мольбою! — О, какая участь ожидаетъ меня! Вы разругаете мое сочиненіе, разругаете меня, опишете мою скверную фizioномію, расскажете всѣ мои домашнія обстоятельства, разругаете всѣхъ моихъ родныхъ, какъ-то: отца, мать, тетокъ, дядей, братьевъ и двоюродныхъ братьевъ, сестеръ и двоюродныхъ сестеръ. Вы расскажете обо всѣхъ моихъ долгахъ: кому, гдѣ, сколько, за что, и давно ли я долженъ, и такимъ образомъ совсѣмъ загубите мою карьеру, такъ, что мнѣ нельзя будетъ никуда показаться и жениться.

Но нѣтъ, дѣлайте со мной, что хотите... я не боюсь васъ... жертвую собой для общей пользы... Есть между вами одинъ господинъ, который большой мастеръ трунить надъ писателями и бойко пишетъ пародіи на ихъ произведенія! Чѣмъ ему губить *всѣхъ* плохихъ писателей, пусть лучше погубить *одного* меня. Пусть онъ идетъ на бой со мной!

Рѣшимъ войну единоборствомъ,
Пусть одинъ изъ насъ падетъ.

До свиданія, великія энергическія личности, до свиданія!
Поздравляю васъ съ наступающимъ праздникомъ
и остаюсь любящій васъ

Эрастъ Благовровъ.

ФЕЛЬЕТНЫ ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА.

СОНЪ ПО СЛУЧАЮ ОДНОЙ КОМЕДИИ.

1851 г.

С О Н Ъ

*по случаю одной комедіи. *)*

**Драматическая фантазія, съ хорами, танцами, отвлеченными
разсужденіями, патетическими мѣстами, торжествомъ добро-
дѣтели, наказаніемъ порока, бенгальскимъ огнемъ и велико-
лѣпнымъ спектаклемъ.**

Я видѣлъ сонъ, но не все въ томъ снѣ было своимъ.
(Байронъ).

И бысть ему сонъ въ ночи.
(Москвитянинъ № 6, 1850).

Онъ заснулъ. . .
(Эпиграфъ одной современной повѣсти).

Въ 7-мъ номерѣ *Москвитянина* читатели прочли предувѣдо-
мленіе къ этой фантазіи. Изъ этого предувѣдомленія они узнали
о причинѣ появленія этой статьи, узнали коротко ея автора и
горячо полюбили его. Теперь, когда уже читатели расположены
въ пользу автора, онъ предлагаетъ имъ свою *фантазію* и со-
вѣтуетъ ее внимательно прочесть.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Неизвѣстный.

Прохожій.

**Большой любитель и знатокъ исторіи и литературы западныхъ
народовъ **).**

*) По поводу комедіи А. Н. Островскаго: *Свои люди—сочтемся*. Прим. изд.

**) Въ сокращеніи: *Знатокъ западной литературы*.

**Другой большой любитель и знатокъ исторіи и литературы
западныхъ народовъ.**

Страстный любитель славянскихъ древностей.

Филологъ.

Нѣмецъ.

Французъ.

Испанецъ и Португалецъ.

Человѣкъ вообще.

Блѣдный и очень молодой человѣкъ.

Хоръ.

Иногородный подписчикъ съ своими письмами.

Всѣ сіи дѣйствующія лица, по слабости, свойственной всѣмъ
людямъ, могутъ судить несправедливо. Непогрѣшителенъ въ
этомъ отношеніи только хоръ.

Дѣйствіе происходитъ за тридевять земель, въ тридесатомъ
царствѣ, не въ нашемъ государствѣ.

СОНЪ

по случаю одной комедіи.

(Театръ представляет что-то очень странное—залу не залу, манежъ не манежъ, можетъ быть какой-нибудь „Олимпійскій циркъ“, но нѣкоторые изъ зрителей полагають, что это гладіаторскій циркъ; а иные, пожалуй, подумають, что это—мѣсто для рыцарскихъ турнировъ. Къ сожалѣнію, зрители только видятъ внутренность зданія: ибо не въ средствахъ декоратора показать въ одно и то же время и внутреннюю, и наружную часть зданія. Но еслибъ зрители увидали фасадъ предлагаемаго зданія, имъ бы было очень пріятно. Они бы увидали величественное и мрачное строеніе, съ надписью золотыми словами по голубому полю:... *сская литература, входъ со двора*. Но какъ бы то ни было, театръ все-таки представляетъ „Олимпійскій циркъ“. Полъ усыпанъ пескомъ; вечеръ; освѣщеніе слабое; видъ плачевный. Зала наполнена густою и разнохарактерною толпою людей, которые составляютъ, впрочемъ, слѣдующія группы. **Группа первая.** Она уже очень малочисленна. Главныя отличительныя ея черты,—очки, солидное выраженіе лицъ, солидная и благородная одежда, псевдоклассическая дикція, псевдоклассическіе жесты и псевдоклассическая поступь.—Подлѣ этой группы стоитъ другая, **вторая группа.** Здѣсь выраженіе лицъ энергично, костюмы оригинальны, но обдуманны, жесты рѣзки и угловаты; дикція романтическая, образъ мыслей оригинальный, но благородный.—Рядомъ съ этой группой стоитъ **третья группа.** Эта группа состоитъ изъ веселыхъ людей, которые безъ умолку хохочутъ. Они смѣются, безъ разбору, надъ всѣми проходящими, а сами очень искусно пляшутъ на слаботяннутомъ канатѣ и забавляютъ зрителей. Они отъ роду не сказали ни одного серьезнаго слова—все смѣются да указываютъ на всѣхъ проходящихъ пальцами. Впрочемъ, они этимъ никому не мѣшаютъ, да и имъ никто не мѣшаетъ; пусть ихъ тѣшатся на здоровье!—Рядомъ съ этой группой красуется **четвертая группа.** На лицахъ удалъ; манеры изыщны, небрежны — „бонтоны“ и

напоминают собой манеры русских актеровъ, исполняющихъ роли *jeunes premiers*; брюки пестры; жилеты яркие; сюртуки коротки; волосы завиты; духи разительны, фразы испещрены французскими, испанскими и португальскими словами; въ очи вставлены лорнетки; въ сердце вложено самодовольствіе и сознаніе собственного достоинства. Затѣмъ слѣдуетъ пятая группа. На лицахъ безмятежное спокойствіе и кротость; и фраки, и жилеты, и сюртуки — все черное, бѣлы только манишки. Говорятъ здѣсь мало, за то серьезно; разговоръ людей, принадлежащихъ къ этой группѣ, нельзя назвать разговоромъ — это какой-то ученый диспутъ: говорятъ книжнымъ слогомъ и съ разстановкой; за то періоды правильны и круглы, дикція однообразна; жестовъ совсѣмъ нѣтъ. — Усматриваются также люди не принадлежащіе ни къ какой группѣ, коихъ очень мало, и промышленники, торгующіе спичками, ваксою, щетками и проч. Есть также и древній хоръ, съ такимъ же значеніемъ, какъ у Софокла и другихъ древнихъ трагиковъ.)

ЯВЛЕНІЕ I.

(Каждая изъ описанныхъ группъ производитъ шумъ; только пятая группа молчитъ глубокомысленно... Вдругъ четвертая группа поднимаетъ такой неестественный гамъ, что зрители необходимо должны подумать, что случился пожаръ. Раздаются крики: „идеть, идеть!“)

Человѣкъ не принадлежащій ни къ какой группѣ. Кто идеть?

Голоса изъ четвертой группы. Идетъ большой любитель и знатокъ исторіи западныхъ народовъ и ихъ литературы.

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и большой любитель и знатокъ исторіи и литературы западныхъ народовъ. (*Четвертая группа, при видѣ его, встаетъ съ мѣста и падаетъ предъ нимъ ницъ; онъ дѣлаетъ ей знакъ, что не требуетъ этого, и что она можетъ встать, и потомъ сѣсть, но она отвѣчаетъ ему: «помилюйте, я все сидѣла». Онъ повторяетъ свой знакъ, и она встаетъ, и потомъ садится.*)

Большой любитель и знатокъ исторіи западныхъ народовъ и ихъ литературы (*вбѣжавши и затѣхавши, въ продолженіи полуминуты силится начать говорить, но усталость, одышка и (главное!) внутреннее волненіе мѣшаютъ ему. Благотворная тишина.*) Милостивые Государи, я пришелъ вамъ сообщить колоссальную новость....

Всѣ (съ безпокойствомъ). Что, что такое?..

Большой любитель и знатокъ литературы западныхъ народовъ. Родовой бытъ убить! (Смятеніе).

Голосъ изъ толпы. Не можетъ быть!

Большой любит. и знатокъ литературы запад. народовъ. Положитесь на меня! Родовой бытъ убить, говорю я вамъ.

Нѣсколько голосовъ. Кто-жъ это его уходилъ...

Большой любит. и знатокъ литературы запад. народовъ. Авторъ новой превосходной комедіи.

Нѣсколько голосовъ. Какъ же это онъ ухитрился убить его?

Большой знатокъ литературы запад. народовъ. Онъ его казнилъ своей комедіей. — Итакъ, господа, поздравляю васъ!

Хоръ. Позвольте спросить, съ чѣмъ вы ихъ поздравляете?

Большой любит. и знатокъ литерат. запад. народовъ. Какъ съ чѣмъ? Да развѣ вы не помните все, что мы говорили о родовомъ бытѣ въ нашемъ отечествѣ? Мы постоянно говорили, что все зло, которое было въ Россіи до Петра Великаго, происходило отъ родового быта. Да, всѣ несчастія, которыя постигали древнюю Россію, какъ - то: пожары, голода, неурожаи, повальные болѣзни, разливы рѣкъ, все это происходило отъ родового быта. — Многіе еще до сихъ поръ сомнѣвались во вредѣ и неблагонамѣренности родового быта; но теперь новая превосходная комедія разгласить на всю Россію вѣсть о вредѣ его. Прежде только мы объ этомъ разглашали посредствомъ ученыхъ статей, — теперь объ этомъ прогремить художественное произведеніе. Ученая статья не можетъ идеѣ, ея развиваемой, дать такой извѣстности, популярности, какую ей даетъ художественное произведеніе. Художественное произведеніе доступно для всякаго, ученая статья доступна только для немногихъ избранныхъ; художникъ гораздо нагляднѣе излагаетъ истину, чѣмъ мыслитель. Итакъ, господа, родовому быту нанесенъ послѣдній ударъ новой превосходной комедіей.

Страст. любитель Славян. древнос. Да съ чего-жъ это вы взяли, что новая комедія казнить родовой бытъ?

Больш. любит. и знат. литерат. запад. народовъ. Съ того, что

лица, выведенныя въ комедіи, живущія по началамъ родоваго быта, въ ней жестоко, безпощадно, скажу болѣе — ужасно осмѣяны...

Страсти. люб. Славян. древнее. Извините! Совершенно напротивъ, лица, выведенныя авторомъ новой комедіи, нарисованы имъ съ необыкновенной любовью. Онъ въ нихъ старался показать (и это ему удалось), какъ размашиста, широка и глубока душа русскаго человѣка.

Большой знат. запад. литерат. Вопервыхъ, позвольте вамъ замѣтить, что русская душа только широка, но не глубока... Это ужъ было доказано въ *Петербургскомъ сборникѣ*...

Любит. Слав. древностей. Нѣтъ и глубока...

Больш. знат. запад. литерат. Нѣтъ, не глубока...

Люб. Слав. древностей. Нѣтъ, глубока.

Больш. знат. запад. литерат. Ну, мы въ этомъ съ вами никогда не сойдемся, и потому оставимъ этотъ вопросъ... Но позвольте васъ спросить, въ какихъ, напримѣръ, лицахъ новой комедіи, авторъ имѣлъ дурное намѣреніе показать, «какъ размашиста, широка и глубока душа русскаго человѣка?»

Страстный люб. Слав. древностей Напримѣръ, въ лицѣ старика-купца, этого русскаго *pater familias*.

Большой знат. запад. литерат. Ну ужъ нечего сказать, славно онъ показалъ, какъ размашиста, широка и глубока душа Русскаго человѣка. Какъ хотите, этого тезиса мнѣ не доказываетъ личность старика-купца; это отъявленный мошенникъ, колоссальный мерзавецъ.

Любит. Слав. древностей. Что-жъ изъ того, что онъ плутъ и мерзавецъ? Онъ все-таки въ сто тысячъ разъ лучше самаго честнаго Нѣмца. Русскій человѣкъ великъ и прекрасенъ даже во всѣхъ своихъ порокахъ.

Большой знат. запад. литерат. Я этого что-то не понимаю.

Любит. Слав. древностей. Да какъ же вамъ и понять? Развѣ вы знаете, развѣ вы понимаете русскаго человѣка? Вы выросли, вы воспитаны только на одномъ западномъ. Когда вы только-что начали жить сознательно, т.-е. осмыслять, подводить подъ

теорію представлявшіеся вашему наблюденію факты, изъ какой сферы явились вамъ эти факты? Изъ сферы западной жизни, западной исторіи, западной литературы. Кто были вашими первыми истолкователями этихъ фактовъ, вашими первыми учителями? Западные писатели! И это было въ вашу первую молодость, а впечатлѣнія первой молодости *почти* неизгладимы. Слѣдствіемъ такого воспитанія было то, что вы такъ сжились съ западнымъ міромъ, такъ присмотрѣлись къ его исторіи, что для васъ стали непонятны ваша отечественная исторія и ваше отечество. Вы привыкли считать только то хорошимъ, что проявляется подъ такими же формами, подъ какими хорошее обыкновенно проявляется на Западѣ. Оттого многое, что у насъ хорошо, вамъ кажется дурнымъ только потому, что оно не носитъ на себѣ такой формы, подъ какой хорошее является у западныхъ народовъ. По духу вы совершенный Нѣмецъ. Вы не только не понимаете русской жизни и русской исторіи, вы даже не понимаете русскаго языка.

Знаюкъ запад. литературы. (*хохочетъ*). Я не только понимаю Русскій языкъ, но я даже говорю по-русски, и говорю очень правильно и чрезвычайно цвѣтисто.

Любит. Слав. древностей. Конечно, синтаксическій смыслъ вы найдете во всякой Русской фразѣ, но до внутренняго ея смысла вамъ ни за что не добратъся. Вы понимаете значеніе каждаго Русскаго слова, но вы не можете ему сочувствовать, какъ истинно Русскій.

Знаюкъ западной литературы. Положимъ, что такъ... Но мы отделились отъ того, о чемъ начали говорить... Вы сказали, что личность *старика-купца* вызываетъ симпатію...

Любит. Слав. древностей. А вы сказали, что не можете понять этого; я вамъ старался объяснить причину, отчего вы этого не понимаете, и сказалъ, что причина эта заключается въ незнаніи души русскаго человѣка, въ непониманіи его языка и исторіи, въ несочувствіи его языку и исторіи... Можете ли вы, напримѣръ, понять всю красоту, мѣткость и глубину русскихъ пословицъ?

Знатокъ запад. литературы. По мнѣ, нѣтъ ничего тривіальнѣе русскихъ пословицъ и поговорокъ. Какая узость взгляда, какая непристойность выраженія! Положимъ, что русскія пословицы *«мѣтки, зато онѣ мелки»*. (*Четвертая группа хохочетъ*).

Хоръ. Вы очень остроумны, милостивый государь!

Любит. Слав. древностей. Ежели вы не можете понять красоты русскихъ пословицъ и поговорокъ, то какъ же вамъ могутъ нравиться дѣйствующія лица новой комедіи, разговоръ которыхъ такъ и кипитъ пословицами и поговорками? Въ этихъ пословицахъ и поговоркахъ проявляется вся сила души русскаго человѣка; въ нихъ проглядываетъ все его міросозерцаніе, вся его самородная философія. Посмотрите-ка, сколько выражено этими простыми словами: *«улита ѣдетъ, да когда она будетъ»!* Что?! Какъ вы находите это выраженіе? (*Знатокъ западной литературы молчитъ въ недоумѣніи*). А каково это: *«владѣй Ѳадей нашей Маланьей?»* (*Молчаніе*). Какою милою простотою и граціозностью и вмѣстѣ съ тѣмъ силою дышатъ эти слова старухи купчихи: *«живу-хлѣбъ-жую!»* Какая краткость, какая сжатость! Какая оригинальная рѣзма: *живу и жую*.—А какова вамъ кажется эта сентенція свахи: *«чего-жъ лучше, какъ не красотой цвѣсти?»* Изъ этого мудраго изреченія простой женщины мы видимъ сходство нашего міросозерцанія съ древне-Греческимъ. Для Грековъ красота была выше всего, полезнѣе всего; изъ выраженія: *«чего-жъ лучше, какъ не красотой цвѣсти»*, видно, что для нашего народа красота имѣетъ ту же цѣну, какую она имѣла для Эллиновъ. Это изреченіе такъ и дышетъ древней Элладой! Какой грустной ироніей проникнуты слѣдующія слова ключницы: *«извѣстно, мы не хозяевы—лыкомъ шитая мелкота; а и въ насъ тоже душа, а не паръ»!* Какое сознаніе своего человѣческаго достоинства! — А каково это изреченіе: *«каково скончаніе? бываетъ и начало хуже конца!»* Какая простота, какая пластичность!—Ну-съ, а какова эта сентенція старика-отца: *«мое дѣтище: хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло пахтаю»*. Какое ясное пониманіе семейныхъ правъ! Вы не можете понять и оцѣнить всѣхъ этихъ выраженій, потому что не со-

чувствуете нашему гордому, но богатому и прекрасному языку. Есть у насъ въ языкѣ слова и выраженія, которые, отдѣльно взятыя, не произведутъ на васъ никакого впечатлѣнія; но каждый истинно русскій не можетъ ихъ слышать безъ сладкаго трепета и слезъ умиленія. Къ такимъ словамъ принадлежитъ слово «ужотка», встрѣчающееся въ новой комедіи.

Знатокъ литерат. запад. народовъ (съ *отчаяніемъ*). Да помните, что же вы нашли въ словѣ «ужотка»? Какое въ немъ особенное значеніе?!

Любит. Славян. древностей. «Есть рѣчи—значеніе темно или ничтожно; но имъ безъ волненія внимать невозможно!»

Любит. запад. литературы. (*послѣ продолжительнаго молчанія*). Изъ всѣхъ русскихъ народныхъ пословицъ мнѣ нравится только одна—«у всякаго барона своя фантазія»: она рѣзко отличается отъ всѣхъ другихъ русскихъ пословицъ приличіемъ тона, ясностью и отчетливостью выраженія и простотою мысли...

Любитель Славян. древностей. Помните, да это не русская пословица--это переводная!..

Знатокъ (?) запад. литерат. Нѣтъ-съ, извините, русская!

Хоръ. (*любителю запад. литературы*). Не спорьте! эта пословица дѣйствительно не русская...

Знатокъ (??) запад. литерат. Нѣтъ! русская, русская, русская... А, да вотъ кстати тутъ у насъ есть филологъ. (*Обращается къ филологу*). Рѣшите, пожалуйста, нашъ споръ—скажите, русская или переводная эта пословица?

Филологъ (*краснѣя, конфузясь, запинаясь и вообще находясь въ затруднительномъ положеніи*). Извините... извините... меня... конечно... ваша ученость и умъ признаны всѣми за образцы, и въ этомъ отношеніи выше васъ никого нѣтъ... Но... но безпристрастіе требуетъ... Совѣсть моя велитъ мнѣ сказать, не въ укоръ вамъ, что эта пословица не русская. (*Оттираетъ потъ, который сыплется съ него градомъ; ему дурно; ему подаютъ стаканъ воды*). Извините меня за мою откровенность!.. Будьте увѣрены, что мое безпредѣльное уваженіе къ особѣ вашей...

Любит. запад. литературы. Ничего, ничего, я прощаю, я не

сержусь. Что за бѣда не знать такой бездѣлицы! Я вѣдь не занимаюсь спеціально филологіей.

Четвертая группа (остается крайне недовольна филологамъ; въ ней слышатся слѣдующіе о немъ отзывы). «Это труженикъ, это ученый, это бездарный человѣкъ. Онъ знаетъ очень много фактовъ, а это есть признакъ бездарности... Истинно даровитый, талантливый человѣкъ не можетъ знать много фактовъ— онъ не долженъ ничего знать!.. Прилежное изученіе фактовъ и близкое знакомство съ источниками сушить умъ и убиваетъ всякую живость и талантъ въ человѣкѣ и цѣлѣстность въ слогѣ. Истинный геній создаетъ изъ немногаго многое: онъ орлинымъ взоромъ проникаетъ очень немногіе извѣстные ему факты, и въ пять минутъ дѣлаетъ изъ нихъ такой удивительный выводъ, какого не сумѣетъ сдѣлать иной ученый труженикъ изъ безчисленнаго количества извѣстныхъ ему фактовъ, въ продолженіе своей безчисленной жизни. Да, предлагаемый филологъ труженикъ! Онъ издаетъ сухія, непонятныя для насъ вещи! Онъ не знаетъ, какъ обращаться съ публикой! Онъ хочетъ образовать ея вкусъ! Нѣтъ! Писатель долженъ рабски подчиняться вкусу публики: долженъ забавлять ее, дѣлать ей сюрпризы (т.-е. смотришь, ученая статья съ виду, а между тѣмъ въ серединѣ конфеты...) Его сочиненія не нравятся дамамъ: онъ не умѣетъ забавлять дамъ... То ли дѣло мы! Мы—дамскіе угодники! Охъ, не люблю я ученыхъ, знающихъ много фактовъ, я ихъ боюсь, они у меня вотъ гдѣ сидятъ. (При сихъ словахъ четвертая группа показываетъ на мѣсто, находящееся немного ниже затылка. Вотъ какъ четвертая группа отзывается о филологѣ. Но онъ не слышитъ этихъ отзывовъ, ибо ужъ отошелъ отъ четвертой группы въ сторону, хотя и смотритъ на нее съ благоговѣніемъ).

Любитъ запад. литературы. Какъ бы то ни было, а русскія пословицы такъ же нехороши, какъ и русская народная поэзія. Русскія заунывныя пѣсни однообразны и блѣдны, поются все на одинъ голосъ, а плясовыя сальны... Самая сальная изъ нихъ— комаринскій.

Хоръ. Васъ шокируетъ комаринскій!? О, да вы bourgeois gentil'homme! Ну, будетъ!.. Довольно вы, господа, объ этомъ поспорили,—теперь не угодно ли перейти къ самой комедіи?..

Любит. Слав. древностей. Ну, такъ перейдемте къ самой комедіи. Авторъ комедіи, какъ всѣмъ извѣстно, есть не кто иной, какъ... (*здѣсь онъ произноситъ фамилію автора, причемъ подымается буря и гулъ съ четвертой группъ*).

Четвертая группа (*съ видомъ оскорбленнымъ и бѣшеннымъ*). Что, что? Какъ! Какъ!.. Вы смѣете называть автора *просто* по фамиліи!

Люб. Слав. древностей. Да какъ же еще его называть?

Знатокъ Запад. литературы. Да, такъ нельзя его называть, какъ вы его назвали: вы поступили очень необдуманно и опрометчиво, и дадите за то отвѣтъ потомству. Вы не поставили передъ его фамиліей слова *господинъ*. Про него нельзя сказать просто: *такой-то*, надо сказать—*господинъ такой-то*.

Любитель Славян. древностей. Развѣ вы находите, что такъ учтивѣ...

Знатокъ запад. литерат. Напротивъ, я нахожу, что такъ не учтивѣ. Еслибъ онъ былъ великій писатель, то его можно бы было звать просто по фамиліи, не прибавляя слова *господинъ*.

Любитель Слав. древностей. Отчего такъ?

Знатокъ запад. литерат. Да развѣ вы не знаете, милостивый государь, что у насъ въ журнальной литературѣ ужъ такъ заведено, что только однихъ великихъ писателей называютъ въ критическихъ статьяхъ *просто* по фамиліи, не прибавляя слова—*господинъ*. Такъ напримѣръ, неправильно называть Гоголя *господинъ Гоголь*. Только человѣкъ не знающій исторіи Русской литературы, не имѣющій никакого эстетическаго вкуса и образованія, можетъ назвать Гоголя *«господинъ Гоголь»*. Послѣ этого и Гомера можно назвать господиномъ Гомеромъ. — Такъ же безъ слова *господинъ* употребляются фамиліи умершихъ писателей, хотя бы эти писатели и вовсе не были велики; но въ такомъ случаѣ слово *господинъ* замѣняется словомъ *«покойный»*, или *«покойникъ»*. Такъ, напримѣръ, не пишутъ *просто* Бара-

тынскій, а — *покойный* Баратынскій... Такое ужъ у насъ въ литературѣ заведеніе...

Любитель Славян. древностей. Скажите же, пожалуйста, отчего учтивѣе и почетнѣе назвать писателя просто по фамиліи, чѣмъ употреблять передъ его фамиліей слово *господинъ*?

Знатокъ запад. литературы. Оттого, что, если вы назовете писателя просто по фамиліи и не предположите ей слово *господинъ*, то этимъ покажете, что ужъ до такой степени всѣмъ извѣстно, что онъ *господинъ*, что въ этомъ никто не сомнѣвается, и что по этому нѣтъ нужды ставить передъ его фамиліей слово *господинъ*: и безъ этого всѣ знаютъ и помнятъ, что онъ *господинъ*. Но если вы передъ его фамиліей поставите это слово, то этимъ покажете, что хотите отвлечь отъ него подозрѣніе въ томъ, что онъ не *господинъ*; покажете, что еще для многихъ подлежитъ сомнѣнію, *господинъ* онъ или нѣтъ, и что вы хотите отстранить это сомнѣніе. Такимъ образомъ вы сдѣлаете ему неучтивость, что и слѣдуетъ, по законамъ этикета, дѣлать съ простыми писателями.

Хоръ. Прекрасно!

Любитель Славян. древностей. Какъ же прикажете звать автора новой комедіи?

Знатокъ запад. литературы. Зовите его по фамиліи, предположая ей его имя и отечество, какъ это дѣлается въ нашей литературѣ, въ сомнительныхъ случаяхъ.

Неизвѣстный. Но какъ его зовутъ?

Хоръ. Это трудно рѣшить. Въ «Мосвитянинѣ» назвали его Николаемъ Николаевичемъ, но это названіе было отмѣнено по просьбѣ самого автора, замѣнено другимъ, болѣе правильнымъ, вслѣдствіе чего «Москвитянинъ» назвалъ автора Александромъ Николаевичемъ. Несмотря на послѣднее обстоятельство, *Современникъ*, наперекоръ *Москвитянину*, какъ журналу противныхъ ему убѣжденій, все-таки называетъ автора Николаемъ Николаевичемъ. Не знаю, чью сторону возьмутъ другіе журналы... Многіе ученые находятъ, что какъ «Современникъ», такъ равно и «Москвитянинъ» впадаютъ въ крайности, что слѣдуетъ из-

«брать середину, — взять нѣчто среднее между Николаемъ Николаевичемъ и Александромъ Николаевичемъ. Но не выдетъ ли это «дуализмъ»?»

Любитель Славян. древностей. Я буду придерживаться «Москвитянина» и звать автора Александромъ Николаевичемъ, тѣмъ болѣе что Москвитининъ съ собственнаго согласія автора зоветъ его такъ.

Неизвѣстный. Но зачѣмъ же звать его по имени и отчеству? Можно попробовать звать его и *просто* по фамиліи. Можетъ быть, онъ великій писатель...

Другой знат. ист. и лит. зан. нар. (*выбѣжавъ неистово изъ толпы*). Нѣтъ, нѣтъ! Нельзя, никакъ нельзя! Онъ никакъ не можетъ быть великимъ писателемъ, потому что у насъ больше не можетъ быть великихъ писателей. Великими писателями могутъ только быть Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь.. Больше имѣть великихъ писателей нельзя. Критика этого не допустить... Теперь больше никто не смѣетъ быть великимъ писателемъ. Да, въ нашъ вѣкъ, великихъ писателей и быть не можетъ, потому что въ нашъ вѣкъ не можетъ быть великихъ личностей!.. Нашъ вѣкъ практический, вѣкъ истинной цивилизаціи, истиннаго просвѣщенія, а гдѣ цивилизація и просвѣщеніе, тамъ не можетъ быть великихъ личностей. Скажу прямо: возможность появленія великой личности въ данной землѣ есть признакъ плохой цивилизаціи, необразованія, невѣжества, дурнаго тона — дикости. Въ геніи, т. е. въ великія личности, скопляется необыкновенное количество моральныхъ соковъ и силъ, въ ущербъ силамъ всего общества. Силы, скопляемыя въ великой личности, еслибъ не было этой великой личности, были бы поровну разлиты въ людяхъ той страны, которой принадлежитъ геній. Такія личности, какъ Наполеонъ, развѣ могутъ существовать въ благоустроенномъ обществѣ? Шекспиръ развѣ можетъ существовать въ наше время, когда литература такъ усовершенствована?.. Нѣтъ, онъ только могъ существовать въ глубокой древности, когда литература была въ такомъ плохомъ состояніи и безпорядкѣ.

Прежній большой знатокъ литературы западныхъ народовъ. Позвольте вамъ замѣтить, что вы нѣсколько ошибаетесь. Всякій со мной согласится, что вы съ большимъ талантомъ и замѣчательнымъ знаніемъ дѣла и краснорѣчіемъ сейчасъ развили гипотезу о великихъ людяхъ. Вы при этомъ обнаружили огромную начитанность и примѣрное трудолюбіе. Но вы впадаете въ крайность, а крайности, какъ доказано новѣйшими учеными, могутъ ввести въ заблужденіе. Вы сказали, что великіе люди не нужны, а мнѣ кажется, что они нужны для общества. Что бы сдѣлало общество безъ Тамерлана, Юлія Цезаря, Генриха IV и Лейбница. Особенно принесъ пользу обществу Тамерланъ. Заслуги его для цивилизаціи и просвѣщенія неисчислимы! Нѣтъ, великіе люди необходимы! Они двигатели всеобщей исторіи! Исторія никакъ не можетъ безъ нихъ двигаться. На этомъ основаніи я вамъ скажу одно философское положеніе, которое я самъ открылъ безъ посторонней помощи; оно очень ново и оригинально. Вотъ оно: *Исторія точно также не можетъ существовать безъ великихъ людей, какъ человѣчскій организмъ не можетъ существовать безъ головы или брюха. (При сихъ словахъ четвертая группа приходитъ въ неистовую радость и рукоплещетъ фразъ, возбудившей ея восторгъ).*

Четвер. группа. Браво! Браво! Эврика! эврика! Фора! Какое великое открытіе! О великій историкъ! о великій человѣкъ! *(Переводитъ эту фразу, напечатанную здѣсь курсивомъ, на нѣмецкій языкъ, ибо въ Россіи ея оцѣнить не могутъ; она расходуется въ Германіи во 100,000 экземпляровъ, и доставляетъ своему автору безсмертную славу. Потомъ знатоку запад. литературы четвертая группа даетъ объѣдъ, по случаю открытія имъ сдѣланнаго, носитъ его по залъ на рукахъ и наконецъ ставитъ на мѣсто.)*

Большой знатокъ запад. литер. (продолжая). Впрочемъ я съ вами согласенъ, что для русской литературы не нужны великіе писатели. Какая польза нашей литературѣ и нашему обществу отъ великихъ писателей? Къ чему намъ великіе писатели? У насъ ихъ довольно... Намъ нужна *беллетристика*.

Хоръ. Что-о-о-о?

Знатокъ запад. литер. Беллетристика. (*Хоръ дѣлаетъ гримасу, такую, какую дѣлаютъ люди съ разстроенными нервами, когда ихъ заставляютъ провести рукой по натянутому бархату, или когда при нихъ скрипятъ грифелемъ по аспидной доскѣ*). Что вы морщитесь? Вамъ непріятна моя самодѣльщина—слово *беллетристика*. Вы скажете, пожалуй, что оно оскорбительно для слуха, но я его буду говорить вездѣ, всѣмъ и каждому, и не постыжусь сказать его и при дамахъ... Я человѣкъ рѣшительный... Этакія ли слова я говорю! Я употребляю слова *инициатива, современный, суверенитетъ, шефъ, мотивъ*. Развѣ можно, говоря объ ученыхъ предметахъ, употреблять такіе слова, какъ *предводитель, причина* и т. п. Это тривиально! Надо говорить вмѣсто предводитель *шефъ*, вмѣсто причина — *мотивъ*. Этакъ гораздо важнѣе. Простой человѣкъ, не знающій иностранныхъ языковъ, встрѣтя такіе слова, подумаетъ, что подъ ними кроется Богъ знаетъ какая премудрость. «Богъ ихъ знаетъ, что такое они значутъ,» скажетъ онъ съ Тяпкинымъ-Ляпкинымъ... Я очень люблю иностранныя слова! Но не въ томъ дѣло... Дѣло въ томъ, что намъ нужна беллетристика. У насъ беллетристика не развита и мало производительна; а намъ она очень нужна. Какая намъ польза въ томъ, что у насъ есть Гоголь, котораго произведенія превосходны, въ высшей степени художественны? Но вѣдь у насъ онъ одинъ! Пусть лучше у насъ будутъ похуже его писатели только бы ихъ было побольше. Я полагаю, что для литературы гораздо выгоднѣе, когда она имѣетъ 10 человѣкъ писателей, которые пишутъ порядочно, чѣмъ *одного* писателя, который пишетъ превосходно. У насъ есть художественная литература, но нѣтъ беллетристики; у насъ слишкомъ много хорошихъ писателей, но мало дурныхъ...

Хоръ. Нѣтъ, кажется, у насъ и дурныхъ, слава Богу...

Другой знатокъ запад. литер. Но все не столько, сколько во Франціи. Это показываетъ, что во Франціи цивилизація стоитъ на высокой степени развитія. Знаете ли, что когда французская цивилизація будетъ стоять на самой высокой степени развитія —

когда всё будутъ тамъ равно образованы, равно добродѣтельны и счастливы, — тамъ больше не будетъ хорошихъ писателей, но всё до одного жителя той страны будутъ уметь сочинять и будутъ дурными писателями. Вотъ до чего тамъ со временемъ дойдетъ образованіе! — Появленіе новой комедіи меня очень радуешь: это богатый подарокъ нашей беллетристики.

Блѣдный и очень молодой человѣкъ. Неужели же вы новую комедію относите къ произведеніямъ беллетристики?..

Знаюкъ западной литер. Разумѣется. Неужели вы вѣрите крикамъ пріятелей автора, которые распускаютъ ужасные слухи, что будто бы его комедія займетъ такое же почетное мѣсто въ русской литературѣ, какое въ ней занимаетъ *Ревизоръ* и тому подобныя произведенія?

Блѣдный молодой человѣкъ. Вѣрю.

Знаюкъ западной литературы. Какъ, вы вѣрите крикамъ его пріятелей!

Молодой человѣкъ. Да я [самъ думаю, что именно *такое* мѣсто займетъ эта комедія.

Знаюкъ западной литературы. Помилуйте неужели вы думаете равнять *новую комедію* съ комедіями Гоголя?

Молодой человѣкъ. А вы находите, что она *хуже* комедій Гоголя?

Знаюкъ запад. литерат. Напротивъ, я нахожу, что она такъ же хороша, какъ комедіи Гоголя, но тѣмъ не менѣе вижу ясно, что она не можетъ занять въ русской литературѣ такого же почетнаго мѣста, какъ комедіи Гоголя.

Молодой человѣкъ. Отчего же?

Знаюкъ западной литер. А вотъ отчего, — она такъ же хороша, какъ комедіи Гоголя, — она точъ - въ точъ такъ же хороша, какъ комедіи Гоголя, но вѣдь она точъ-въ-точъ такая же, какъ комедіи Гоголя: она ничѣмъ *особеннымъ* отъ нихъ не отличается, не представляетъ ничего новаго. Гоголь могъ бы подписать подъ ней свое имя: это мастерская поддѣлка подъ его комедію, сдѣланная самымъ лучшимъ, самымъ понятливымъ и въ то же время самымъ *покорнымъ* его ученикомъ.

Молодой человекъ. Я съ вами совершенно согласенъ, что новая комедія написана самымъ лучшимъ, самымъ понятливымъ ученикомъ Гоголя; но я не скажу вмѣстѣ съ вами, что она мастерская поддѣлка подъ произведеніе Гоголя, что Гоголь могъ бы подписать подъ нею свое имя.

Знатокъ запад. литературы. Но вѣдь вы сами сейчасъ замной сказали, что авторъ ея ученикъ Гоголя... Вы противорѣчите себѣ!..

Молодой человекъ. Что-жъ изъ того, что онъ ученикъ Гоголя? Вѣдь Лермонтовъ, какъ стихотворецъ, ученикъ Пушкина, но, несмотря на это, странно бы было встрѣтить подъ стихотвореніемъ Лермонтова имя Пушкина: стихъ Лермонтова рѣзко отличается отъ стиха Пушкина. Этого различія не замѣтитъ только тотъ, кто, кромѣ различія размѣра, никакого другого различія между стихами не видитъ. Стихъ Пушкина по свидѣтельству самого автора *Руслана и Людмилы*, вышелъ изъ школы Жуковского; что-жъ общаго у Жуковского съ Пушкинымъ, у учителя съ ученикомъ?—Платонъ былъ ученикъ Сократа!..

Знатокъ запад. литературы. Что-жъ особеннаго въ *новой комедіи*, что новаго представляетъ она? Нашли ли вы въ ней хоть что-нибудь такое, чего нѣтъ у Гоголя?

Молодой человекъ. Впервыхъ, есть различіе въ юморѣ.

Знатокъ запад. литературы. Помилуйте, юморъ у нихъ одинъ и тотъ же. Юморъ того и другого носитъ характеръ безпощаднаго, неумолимаго, страшнаго обличенія людскихъ пороковъ, людскаго уродства.

Молодой человекъ. Это правда. Тотъ и другой неумолимо и безпощадно обличаютъ людскіе пороки, но у одного это является какъ цѣль, у другого—какъ средство.

Знатокъ запад. литературы. Какъ такъ?

Молодой человекъ. Пушкинъ отличительною чертою творчества Гоголя полагаетъ умѣнье такъ выпукло, рельефно выставить пошлость или порокъ, чтобъ онъ *каждому* бросился въ глаза. Что этотъ тезисъ Пушкина характеризуетъ поэзію Гоголя лучше, чѣмъ все, что было сказано о немъ нашею кри-

тикою, въ этомъ сознается и самъ авторъ «Носа» въ своей «Перепискѣ съ друзьями». Напрасно нѣкоторые критики возражали на тезисъ Пушкина, говоря, что отличительная черта Гоголя—умѣнье изображать дѣйствительность, какъ она есть—*«математическая вѣрность дѣйствительности»*, отсутствіе всякой утрировки. Все это не есть отличительныя черты поэзіи Гоголя; все это — отличительныя черты новой комедіи. — Вы указали на одну общую черту между авторомъ *новой комедіи* и Гоголемъ—на ихъ умѣнье неумолимо выставлять наружу пороки. Эта черта дѣйствительно у нихъ общая; но источникъ этого сходства, отчасти случайный, виѣшний и заключается въ матеріалѣ, который брали для своихъ произведеній Гоголь и авторъ новой комедіи. Какъ для комедіи Гоголя, такъ и для *новой комедіи* служить однородный матеріалъ; и комедіи Гоголя и *новая комедія* изображаютъ одного рода людей — людей нравственно испорченныхъ. Но каждый изъ этихъ двухъ писателей по своему употребляетъ этотъ матеріалъ: одинъ съ необыкновенной, ему только свойственной яркостью и рельефностью выставляетъ пошлость и недостатки своихъ дѣйствующихъ лицъ; другой съ свойственной ему одному математической вѣрностью изображаетъ своихъ дѣйствующихъ лицъ, не преувеличивая въ нихъ ихъ пошлости и недостатковъ.

Знатокъ запад. литературы. Такъ по вашему, милостивый государь, Гоголь *хуже* новаго комика.

Молодой человѣкъ. Нѣтъ, я этого не сказалъ.

Знатокъ запад. литературы. Вы этого не сказали прямо, но вы ясно намекнули на это: вы сказали, что *новый комикъ* вѣрнѣе изображаетъ дѣйствительность, чѣмъ Гоголь.

Молодой человѣкъ. Да, я сказалъ это. Но изъ этого не слѣдуетъ, что Гоголь хуже новаго комика. Новый комикъ, въ самомъ дѣлѣ, изображаетъ дѣйствительность вѣрнѣе, чѣмъ Гоголь, за то у его творчества не достаетъ одной въ высшей степени привлекательной черты, которая именно мѣшаетъ Гоголю быть математически вѣрнъ дѣйствительности—это *лиризмъ*. Въ творествѣ Гоголя очень много субъективнаго. Изображая своихъ

героевъ, онъ не прачется совершенно за нихъ; изображая ихъ, онъ изображаетъ отчасти и самого себя.

Знатокъ запад. литерат. (съ хохотомъ перебивая его). Прекрасное понятіе вы имѣете о личности Гоголя. Изъ вашихъ словъ слѣдуетъ, что онъ похожъ на своихъ героевъ. Хорошо же долженъ быть, по вашему, Гоголь, если онъ похожъ, на примѣръ, на Бобчинскаго.

Молодой человѣкъ. Сдѣлайте милость, не выводите меня изъ терпѣнія—не придирайтесь къ словамъ. Не берите моихъ словъ *à la lettre*, смотрите на нихъ, какъ на *façon de parler*. Я хочу сказать, что Гоголь, выводя своихъ героевъ, высказываетъ при этомъ свое воззрѣніе на нихъ, на ихъ дѣйствія, на ихъ разговоры. Неужели Гоголя можно назвать поэтомъ чисто субъективнымъ, неужели, изображая намъ своихъ героевъ, онъ не изображаетъ въ то же время своихъ чувствъ? Да, онъ изображаетъ намъ свои чувства, но не прямо, не непосредственно, какъ то дѣлаетъ поэтъ чисто лирической. Онъ не относится прямо къ читателю, не вступаетъ съ нимъ въ непосредственный разговоръ о своихъ чувствахъ, но говоритъ черезъ посредниковъ, черезъ парламентаровъ. Въ эти посредники, въ эти парламентары беретъ онъ своихъ героевъ. Неужели не видать того состоянія духа, въ которомъ Гоголь изображаетъ каждаго изъ своихъ героевъ? Вѣдь только онъ самъ можетъ находиться въ счастливомъ заблужденіи насчетъ этого и говорить, что онъ изображаетъ дѣйствительность «сквозь зримый для міра смѣхъ, сквозь незримыя слезы.» Ошибается Гоголь! Онъ смѣется не сквозь «незримыя» слезы: слезы эти видитъ всякій, кто только одаренъ эстетическимъ чувствомъ, кто умѣетъ смѣяться высокимъ смѣхомъ, кто горячо любить ближняго, кто негодуетъ при видѣ недостатковъ ближняго.

Знатокъ запад. литерат. Послушайте, дерзкій молодой человѣкъ, вы забываетесь! Вы хотите безъ доказательствъ отвертѣться отъ опрометчиво высказаннаго вами положенія, что Гоголь не математически вѣренъ дѣйствительности.

Молодой челов. Нѣтъ, я еще разъ повторяю вамъ это по-

ложение. Да разсудите сами... Неужели Гоголь математически вѣренъ дѣйствительности, когда заставляетъ одного героя замигать другому, что у того зубъ со свистомъ; когда заставляетъ Бобчинскаго просить Хлестакова объявить всѣмъ въ Петербургѣ, что живетъ, молъ, въ такомъ-то городѣ Петръ Ивановичъ Бобчинскій; когда въ *Шинели* онъ заставляетъ одного изъ дѣйствующихъ лицъ учиться передъ зеркаломъ дѣлать, при распеканіи подчиненныхъ, лицо, достойное такого дѣйствія. Чему же мы удивляемся во всѣхъ этихъ лирическихъ выходкахъ? вѣрности ли изображенія дѣйствительности, вѣрности ли изображенія лица? Нѣтъ. Мы удивляемся, съ какой смѣлостью авторъ воспроизвелъ то впечатлѣніе, которое родилось въ немъ при взглядѣ на дѣйствительность, на лицо, имъ изображаемое. Въ *душѣ* автора образы, характеры лицъ, имъ выводимыхъ, *создаются* совершенно вѣрно дѣйствительности, безо всякаго преувеличенія; но при *изображеніи* ихъ онъ прибѣгаетъ къ гиперболамъ. Но эти гиперболы нисколько не мѣшаютъ лицамъ, имъ изображаемымъ, оставаться живыми, художественно созданными характерами. Это не гиперболы Мольера, которыя дѣлаютъ изъ лицъ не живыхъ людей, а какихъ-то неестественныхъ уродовъ, изображаютъ олицетворенія страстей человѣческихъ поодиночкѣ взятыхъ. Гиперболы Гоголя только еще живѣе поясняютъ намъ характеры лицъ; ими Гоголь такъ вѣрно, такъ близко къ дѣйствительности изображаетъ своихъ героевъ, что изъ нихъ мы ясно видимъ, какъ живо, естественно, безо всякаго преувеличенія *созданы* характеры этихъ героевъ въ *душѣ* его; но въ то же время понимаемъ, что поэтъ, по особенному свойству своей художественной натуры, не могъ *изобразить* ихъ, не прибѣгая къ гиперболѣ. Можно посредствомъ гиперболы изобразить очень живо и цѣльно какой угодно характеръ; и наоборотъ, можно при описаніи характера не употребить ни одной гиперболы, очерчивая характеръ самыми правдоподобными чертами, и несмотря на это, все-таки не создать характера. При чтеніи такого *описанія* характера вамъ не представится живой, цѣльный образъ лица, и вы увидите, что и въ *душѣ*

писателя онъ не представлялся при *составленіи* характера. У насъ есть пропасть писателей, которые пишутъ очень натурально и рассказываютъ про героев своихъ самыя правдоподобныя, самыя натуральныя происшествія, въ полной увѣренности, что они создаютъ истинные характеры; но не смотря на эту увѣренность, характеровъ у ихъ дѣйствующихъ лицъ *не выходитъ*, и на этомъ достаточномъ основаніи эти дѣйствующія лица относятся къ «неправдоподобнымъ уродамъ» Гоголя, какъ автоматы къ живымъ людямъ. Я ужъ вамъ замѣтилъ, что у Гоголя много лиризма. Я этимъ хотѣлъ сказать, что Гоголь живописецъ не только *окружающей его* дѣйствительности, но и живописецъ собственныхъ впечатлѣній, рождающихся въ немъ при взглядѣ на дѣйствительность. Изображая въ своихъ гиперболахъ то впечатлѣніе, которое овладѣваетъ имъ, при взглядѣ на описываемый имъ предметъ, онъ сообщаетъ читателю это же самое впечатлѣніе, и такимъ образомъ ставитъ его на свое мѣсто, — заставляетъ его смотрѣть на предметъ съ одной съ нимъ точки зрѣнія. Поэтому, когда онъ посредствомъ своихъ лирическихъ мѣстъ и гиперболъ переноситъ насъ на свое мѣсто, заставляетъ насъ смотрѣть на лицо имъ изображаемое съ своей точки зрѣнія, — мы переносимся въ душу поэта, видимъ это лицо во всей живости, во всей вѣрности, дѣйствительности, — видимъ его такимъ, какъ оно создалось *въ душѣ* автора, получаемъ отъ него такое же впечатлѣніе, какое выражается въ гиперболѣ, его изображающей, и *отрима* этой гиперболѣ! — Если вы еще не убѣждены въ томъ, что Гоголь не остается математически вѣренъ дѣйствительности при *изображеніи* своихъ героевъ, хотя и пребываетъ таковымъ всегда при *созданіи* ихъ, то я вамъ приведу еще нѣсколько мѣстъ изъ его произведеній. Вспомните слова городничаго (въ *Ревизорѣ*), когда тотъ рассказываетъ о дурной привычкѣ учителя уѣзднаго училища — дѣлать въ классѣ рожу — и замѣчаетъ, что если онъ сдѣлаетъ ученику такую рожу, то это еще ничего, что можетъ быть, *оно тамъ такъ и надобно*, что онъ судить объ этомъ не можетъ: но если онъ сдѣлаетъ рожу посѣтителю, то это могутъ

отнести къ дурному смотрѣнію; вспомните, что смотритель училищъ рассказываетъ ему о томъ, какъ за этого учителя онъ ужъ разъ получилъ выговоръ: «онъ сдѣлалъ,» говоритъ смотритель, «рожу, отъ чистаго сердца, а мнѣ выговоръ: «зачѣмъ вольподумство внушаете юношеству!» Вспомните, какъ въ *Мертвыхъ душахъ* одна дама отправилась не помню куда - то для того, чтобъ увидать тамъ Чичикова, о которомъ разнесся по городу слухъ, что онъ миллионеръ, и по этому случаю надѣла платье съ такой обширной юбкой, что принуждены были велѣть народу посторониться, чтобъ дать мѣсто юбкѣ. Вспомните, что Земляника на вопросъ Хлестакова: «вы, кажется, вчера были ниже ростомъ»? отвѣчаетъ: «очень можетъ быть»; вспомните, что когда по Петербургу разнесся слухъ, что въ Лѣтнемъ саду гуляетъ носъ маіора Ковалева, всѣ спѣшили туда насладиться такимъ поучительнымъ зрѣлищемъ, и одна дама, весьма нѣжная мать, писала смотрителю сада, который ей былъ хорошо знакомъ, чтобъ онъ оказалъ дѣтямъ ея протекцію и доставилъ всѣ средства видѣть носъ г-на Ковалева (материнская нѣжность и заботливость!), вспомните, что въ городѣ NN дамы, изъ учтивости, не говорятъ, что стаканъ вохнетъ, но что стаканъ дурно ведетъ себя; вспомните все это и вы убѣдитесь, что Гоголь не математически вѣренъ дѣйствительности, что онъ поэтъ не чисто объективный. Всѣ сейчасъ мной приведенныя юмористическія выходки суть не что иное, какъ въ высшей степени поэтическія художественныя гиперболы. Такого рода гиперболы — исключительная принадлежность поэзіи Гоголя. Люди, глубоко любящіе высокій, истинный комизмъ, не знаютъ имъ и цѣны. Рѣшительно нѣтъ средствъ показать, что въ нихъ преувеличеніе, что истина: въ нихъ есть и преувеличеніе, и истина, и въ то же время въ нихъ нѣтъ ни преувеличенія, ни истины. Онѣ въ одно и то же время математически вѣрны дѣйствительности, и въ то же время преувеличиваютъ ее. Оттого то онѣ такъ смѣшны! Въ нихъ есть что - то неизъяснимое... Онѣ доставляютъ читателямъ безконечное наслажденіе — онѣ смѣшать ихъ до упаду... но порядочные люди отъ нихъ смѣ-

ются не простымъ смѣхомъ. Отъ нихъ у людей чувствительныхъ становится волосъ дыбомъ, отъ нихъ мучатся безсонницами, отъ нихъ смѣются «сквозь незримыя для міра слезы». Да, правду сказалъ Гоголь, что есть высокій, восторженный смѣхъ, который долженъ стать на ряду съ высокимъ лирическимъ движеніемъ! Конечно, не на всѣхъ производить такое сильное дѣйствіе юморъ Гоголя, не всѣ способны смѣяться высокимъ лирическимъ смѣхомъ, за то всѣ, безъ исключенія, согласятся со мной, что Гоголь самый «смѣшной» писатель. Для доказательства моихъ словъ, совѣтую вамъ сходить въ русскій театръ, когда тамъ даютъ *Ревизора*. Какой оглушительный хохотъ тамъ царствуетъ отъ начала до конца пьесы! При всякой юмористической выходкѣ, «все сверху до низу соединяется», сливается въ одного человѣка и разражается залпомъ самаго сильнаго, самаго безумнаго смѣха... Всѣ хохочутъ безъ памяти... Одинъ пришелъ въ театръ, озабоченный домашними дѣлами, мелочными нуждами, другой—подавленный семейными непріятностями, третій—истерзанный оскорбленнымъ самолюбіемъ, четвертый—утомленный и обезсиленный работой. Но здѣсь они все забываютъ, просвѣтляются духомъ и предаются себя во власть самому всевластному, самому благородному, самому живительному, самому чистому и свѣтлому душевному движенію—смѣху... всѣ смѣются!.. Но что же комикъ, виновникъ этого смѣха, всевластный двигатель сердець?.. Онъ одинъ не смѣется! Въ удѣлъ ему дано скорбѣть о людскихъ порокахъ, мучиться, страдать, глядя на нихъ, и «крѣпкой силой неумолимаго рѣзца ярко и выпукло выставять ихъ на всенародныя очи», чтобы другіе, глядя на нихъ, смѣялись. Загляните въ его переписку и вы узнаете изъ его собственнаго признанія, сколько страданій стоило ему созданіе героевъ, которые такъ смѣшны публикѣ. — Гоголь одаренъ сильной, непреодолимой, болезненной ненавистью къ людскимъ порокамъ и людской пошлости. Это причина его высокаго лирическаго юмора, и это же самое причина и тому, что онъ не можетъ спокойно изображать дѣйствительность, не можетъ оставаться математически ей вѣренъ. Повторяю: отличи-

тельная его черта состоитъ не въ вѣрномъ изображеніи дѣйствительности, но въ необыкновенной зоркости и, такъ сказать, неумолимости и неподкупности, съ какой онъ вездѣ умѣетъ от-крыть дурное, и въ выпуклости, рельефности и особенномъ комизмѣ, съ которыми онъ изображаетъ это дурное. — Не таковъ авторъ *новой комедіи*. Онъ *математически* вѣренъ дѣйствительности. Скажу смѣло: у насъ нѣтъ поэта, который бы такъ былъ вѣренъ дѣйствительности, такъ *конкретно* изображалъ ее, какъ авторъ *новой комедіи*. Его творчество — искусство, въ истинномъ, самомъ тѣсномъ значеніи этого слова. Цѣль его — не выказывать выпукло людскіе пороки, не расписывать людскія добродѣтели, но изображать дѣйствительность, какъ она есть, — художественно воспроизводить ее. Напрасно вы его называли *комикомъ*. Онъ не комикъ: онъ самый спокойный, самый безпристрастный, самый объективный художникъ. Его комедія смѣшна только потому, что вѣрно изображаетъ такую сферу, которая смѣшна и въ дѣйствительности. Ему все равно какую сферу ни изображать — онъ изобразитъ всякую равно художественно, равно близко къ дѣйствительности. Вы зовете его *комикомъ*, а я увѣренъ, что изъ чего бы онъ ни взялъ матеріалъ для своего произведенія — изъ исторіи ли Евреевъ, изъ жизни ли древнихъ Грековъ или Римлянъ, изъ жизни ли Вавилонянъ; выйдетъ ли изъ его произведенія комедія, или трагедія, или опера, — онъ во всякомъ случаѣ будетъ равно художественъ и вѣренъ дѣйствительности. Для того, чтобъ вы видѣли какъ различно воспроизводить дѣйствительность Гоголь и авторъ *новой комедіи*, приведу примѣръ. Сравните сюжетъ *Ревизора* съ сюжетомъ *новой комедіи*. Даже въ самомъ происшествіи, которое изображено въ *Ревизорѣ*, есть гипербола. Въ уѣздный городъ ждуть ревизора. Въ это время живетъ въ гостиницѣ города молодой человѣкъ, проѣзжій. Ему не на что продолжать пути и расчесться съ хозяиномъ, и онъ ужъ полторы недѣли живетъ въ долгъ. По этому-то именно, что онъ полторы недѣли живетъ въ долгъ, городскіе чиновники заключили, что онъ ревизоръ. «Какъ же не ревизоръ? И живетъ полторы недѣли, и

денегъ не платить, и наблюдательный такой — заглянулъ въ наши тарелки, когда мы ѣли 'семгу! Ревизоръ, непременно ревизоръ!... Вотъ на чемъ держится завязка комедіи Гоголя! Такъ же точно основана на гиперболѣ и въ высшей степени комическая развязка первой части *Мертвыхъ душъ*. Въ городѣ N узнають черезъ Ноздрева, что Чичиковъ скупаетъ мертвыя души, и заключаютъ изъ этого, что онъ намѣревается, съ помощью Ноздрева, увести губернаторскую дочь, на основаніи чего ему запрещается входить къ губернатору! Неужели вы не замѣчаете здѣсь лиризма, неужели это чисто объективное творчество!.. Не такъ въ *новой комедіи*. Сюжетъ ея очень обыкновенное происшествіе, нисколько не преувеличенное, дѣйствующія лица ея очерчены совершенно объективно. Я сказалъ, что изъ произведеній Гоголя видно, что онъ человѣкъ раздражительный, отличается болѣзненной ненавистью къ людской пошлости и противорѣчіямъ, которыми исполнена «наша земная, подъ часъ грустная» жизнь, и на которыя онъ такъ зорокъ. Совсѣмъ противоположное должно заключить о личности новаго комика, по его комедіи.

Знатокъ западн. литерат. Позвольте васъ поймать въ противорѣчіи. Вы говорите о томъ, что можно заключить по новой комедіи о личности ея автора; а минуту десять тому назадъ вы сказали, что существенная его черта та, что онъ прячется за своихъ героевъ, что его личность никогда не просвѣчиваетъ изъ-за ихъ личностей, что онъ поэтъ совершенно объективный, что въ немъ нѣтъ совсѣмъ лиризма.

Молодой человѣкъ. Но потому-то самому, что его личность никогда не просвѣчиваетъ изъ-за личностей его героевъ, что онъ поэтъ совершенно объективный, что въ его произведеніяхъ никогда не выступаетъ лиризмъ, — по этому самому и можно заключить о томъ, какова его личность. Для того, чтобъ умѣть скрыть свою личность за личностями своихъ героевъ, удержаться отъ лиризма, отъ выраженія своихъ впечатлѣній, при взглядѣ на своихъ героевъ, нужно быть человѣкомъ спокойнымъ, не раздражительнымъ. Человѣкъ съ болѣзненной раздра-

жительностью, съ болѣзненной ненавистью къ порокамъ, съ лиризмомъ въ характерѣ, человѣкъ, находящійся постоянно въ экзальтаціи, выходящій изъ себя при видѣ малѣйшей порчи въ людяхъ, не можетъ спокойно рисовать дѣйствительности, не можетъ быть художникомъ, въ настоящемъ значеніи этого слова. Всѣ лирики, великимъ представителемъ которыхъ можетъ считаться Байронъ, люди неспокойные, ведутъ жизнь бурную, полную приключеній, и по большей части не умираютъ своей смертію: тотъ погибаетъ въ бою, тотъ умираетъ на поединкѣ, тотъ падаетъ жертвою разъяренной черни. Они очень способны къ эксцентрическимъ выходкамъ: иному изъ нихъ вдругъ придетъ въ голову, что онъ великій грѣшникъ, что сочиненія его— смертный грѣхъ, и онъ публично кается въ грѣхахъ своихъ и отрекается отъ собственныхъ произведеній.— Не таковы объективные поэты: они отличаются спокойнымъ характеромъ. Въ этомъ отношеніи лучшимъ ихъ представителемъ можетъ быть Вальтеръ-Скоттъ. Поэтомъ объективнымъ, т.-е. истиннымъ художникомъ, можетъ быть только такой человѣкъ, котораго міросозерцаніе проникнуто спокойствіемъ и терпимостью, который кротко и любовно глядитъ на міръ, не вдаваясь въ чрезмѣрную экзальтацію, ни въ любви къ прекрасному, ни въ ненависти къ пороку. Поэтъ, не одаренный такого рода спокойствіемъ и терпимостью, не можетъ относиться безпристрастно къ своимъ героямъ, не можетъ быть поэтомъ объективнымъ. Конечно, въ поэзіи такого поэта вы не встрѣтите тѣхъ бурныхъ порывовъ чувства, тѣхъ энергическихъ, «облитыхъ горечью и злостью» протестовъ противъ людскаго уродства, на которые такъ щедры лирики. Но за то взглядъ его на жизнь спокойнѣе: а тотъ, кто глядитъ спокойно, разглядитъ и замѣтитъ гораздо больше того, кто глядитъ неспокойно. — Авторъ *новой комедіи* съ рѣдкимъ безпристрастіемъ глядитъ на своихъ героевъ и съ рѣдкимъ спокойствіемъ рисуетъ ихъ.

Х о р ъ.

Такъ точно дыякъ, въ приказахъ поспѣлый,
Спокойно зрѣть на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Знаюкъ запад. литературы. Позвольте, дерзкій молодой человекъ, мнѣ сдѣлать вамъ еще два послѣднія замѣчанія. Вы сказали, что лирики люди неспокойные, ведутъ бурную жизнь, и оттого не могутъ быть спокойными, объективными художниками. Но вѣдь Пушкинъ, написавшій такія художественныя, такія объективныя произведенія, какъ *Каменный юсть*, *Борисъ Годуновъ* и проч., велъ очень бурную жизнь.

Молод. человекъ. Да, въ молодости своей онъ дѣйствительно велъ такую жизнь, за то въ это время и въ произведеніяхъ своихъ онъ явился чисто лирикомъ. *Борисъ Годуновъ*, *Каменный юсть* и проч. относятся къ лѣтамъ его зрѣлости, когда онъ велъ спокойную жизнь.

Знаюкъ запад. литературы. Другое замѣчаніе; это замѣчаніе имѣетъ форму вопроса. Кто же, по вашему мнѣнію, лучше,—Гоголь, или авторъ *новой комедіи*?

Молодой человекъ. Я право не знаю, какъ отвѣчать на подобныя вопросы. Давно прошло то время, когда рѣшали вопросы о томъ, кто изъ двухъ писателей лучше, или даже кто самый лучший изъ *всѣхъ* писателей. Нѣтъ ничего труднѣе, какъ разставлять писателей по степенямъ ихъ достоинствъ. Но есть критики, которые дѣлаютъ это весьма искусно и напоминаютъ мнѣ этимъ одного моего знакомаго, впрочемъ очень ученаго человека, который на вопросъ, кого онъ больше *всѣхъ* любитъ, отвѣчаетъ безъ запинки и безо всякаго затрудненія: «маменьку». «А послѣ маменьки кого вы больше *всѣхъ* любите»? спрашиваете вы его. «Дѣдушку и бабушку», отвѣчаетъ онъ вамъ. Продолжая вопросы такимъ образомъ, вы узнаете, что онъ послѣ дѣдушки и бабушки больше *всѣхъ* любитъ дяденьку и тетеньку, послѣ дяденьки и тетеньки сестрицу, а послѣ сестрицы братца, а послѣ братца няню и т. д. (*Обращаясь къ знатоку западной литературы*). А вы кого больше *всѣхъ* любите?

Знаюкъ западной литературы. Это трудно рѣшить. Я люблю очень многихъ съ равною силою, но на разный манеръ. Я питаю равно горячую любовь и къ моему отцу, и къ моей ма-

тери, и къ моей женѣ; но каждая изъ этихъ моихъ привязанностей носитъ особый характеръ: жену я люблю любовью супружеской, отца — любовью сыновней, мать — любовью материнской. Я вамъ рѣшительно не могу сказать, кого я больше люблю...

Молодой челов. Ну, и я вамъ не могу рѣшить, кто лучше — авторъ *новой комедіи*, или Гоголь.

Знатокъ запад. лит. Вы сказали, что Гоголь лирикъ и отличается удивительною ненавистью къ порокамъ, а авторъ *новой комедіи* очень спокоенъ. Скажите же, ради Бога, которое изъ этихъ качествъ, по вашему мнѣнію, лучше?

Молодой человѣкъ. Было у меня два знакомыхъ. Одинъ отличался ненавистью къ порокамъ, другой — цѣлостью взгляда на мірозданіе. Вслѣдствіе таковыхъ качествъ, первый не могъ видѣть равнодушно волка: сейчасъ начиналъ метаться, стонать и плакать, кричалъ, что волкъ злое животное, что онъ истребитель какъ крупнаго, такъ и мелкаго скота, громко и энергически протестовалъ противъ его поступковъ; слова его дышали пафосомъ и въ то же время неумолимою, ѣдкою ироніей. Напротивъ того, другой мой знакомый, встрѣчая волка, вслѣдствіе мудрой терпимости своей, смотрѣлъ на него спокойно. Онъ зналъ, что вмѣстѣ со вредомъ, который приноситъ волкъ, онъ приноситъ и пользу, — что хотя онъ истребляетъ какъ крупный, такъ и мелкій скотъ, однако шкура его идетъ на составленіе шубы, которая насъ грѣетъ зимою, поздней осенью и даже ранней весною. Вы видите, что трудно рѣшить, кто изъ этихъ двухъ моихъ знакомыхъ выше. Въ одномъ мы должны уважать необыкновенную энергію, необыкновенную любовь къ человѣчеству и ненависть къ порокамъ, въ другомъ — трезвость взгляда на жизнь.

Знатокъ западной литературы. Ну, какъ вамъ угодно, а изъ вашихъ неумѣренныхъ похвалъ автору *новой комедіи*, я замѣчаю, что вы къ нему пристрастны и что вы недоброжелатель Гоголя.

Молодой челов. Странно, что вы замѣчаете изъ моихъ словъ совершенно противоположное тому, что слѣдуетъ изъ нихъ замѣтить. Я думаю, что изъ моихъ словъ скорѣе можно замѣтить, что я пристрастенъ къ Гоголю, а не врагъ ему. Да (повѣрьте моей искренности), я пристрастенъ къ Гоголю. Я люблю его произведенія больше произведеній автора *новой комедіи*, я имъ больше сочувствую, чѣмъ сочувствую *новой комедіи*; но это дѣло моего личнаго вкуса. Вслѣдствіе чего именно я такъ пристрастенъ къ Гоголю, и самъ хорошенько не знаю. Можетъ быть, это происходитъ отъ того, что я, какъ и всѣ русскіе юноши, одного со мной поколѣнія, воспитанъ на Гоголѣ. Когда я только что началъ жить сознательно, когда во мнѣ только что пробудилось эстетическое чувство, первый поэтъ, на голосъ котораго откликнулось мое сердце, былъ Гоголь. Можетъ быть, я ему сочувствую больше, чѣмъ автору *новой комедіи* и потому, что уже отъ природы я къ тому наклоненъ. Какъ бы то ни было, но дѣло въ томъ, что настроеніе моего духа, мое міросозерцаніе—Гоголевское, и потому-то чтеніе Гоголя мнѣ доставляетъ гораздо больше наслажденія, чѣмъ чтеніе *новой комедіи*. Но въ то же время авторъ ея представляетъ мнѣ осуществленіе того идеала художника, о которомъ я давно мечталъ. Гоголь въ моихъ глазахъ не подходилъ подъ этотъ идеалъ. Давно я мечталъ о такомъ художникѣ, давно я просилъ Бога послать намъ такого поэта, который бы изобразилъ намъ человѣка совершенно объективно, совершенно искренно, математически вѣрно дѣйствительности. И вотъ такой поэтъ явился. Признаюсь откровенно, что услышавъ въ первый разъ *новую комедію*, я очень больно себя ушибнулъ, дабы увѣриться, сплю я или нѣтъ, во снѣ или на яву слушаю комедію, до такой степени натуральную, во снѣ или на яву вижу предъ собой такого художника, котораго давно ожидала вселенная, по которому давно тосковала она.

(Хоръ пристально смотритъ на молодого человѣка).

Прохожій. Мнѣ кажется, молодой человѣкъ, что характеристика Гоголя, которую вы здѣсь представили, не полна, одно-

сторонне. Дѣйствительно, поэзія Гоголя изобилуетъ того рода художественными гиперболами и тѣмъ лирическимъ юморомъ, о которыхъ вы распространялись. Въ этомъ я съ вами совершенно согласенъ. Но развѣ въ этомъ юморѣ, въ этихъ гиперболахъ весь Гоголь? развѣ поэзія его постоянно преувеличиваетъ дѣйствительность? развѣ Гоголь не умѣетъ рисовать дѣйствительности вѣрно, такъ какъ она есть? Вспомните, сколько создано имъ лицъ, у которыхъ ни въ характерѣ, ни въ разговорѣ вы не найдете ни малѣйшей утрировки. Вспомните Осипа, Тараса Бульбу, Андрія, Акакія Акакіевича; вспомните, что у Гоголя есть даже цѣлыя повѣсти, въ которыхъ дѣйствующія лица, всѣ до одного, нарисованы съ необыкновеннымъ спокойствіемъ и необыкновенною вѣрностью, безъ малѣйшей тѣни преувеличенія: вспомните *Коляску*, вспомните *Старостетскихъ помѣщиковъ*. — Итакъ согласитесь со мной, что талантъ Гоголя состоитъ не только въ умѣньи утрировать и въ лирическомъ юморѣ, но и въ вѣрности изображенія дѣйствительности. Если вы согласитесь со мной въ этомъ пунктѣ, то должны будете согласиться со мной и въ томъ, что Гоголь выше автора *новой комедіи*. (*Молчаніе*). Вы сказали, что авторъ *новой комедіи* умѣетъ математически вѣрно изображать дѣйствительность, а Гоголь выпукло выставялъ людскую пошлость—художественно утрировать. Но какъ теперь открылось, изъ моихъ словъ, что Гоголь, кромѣ того, умѣетъ такъ же, какъ и авторъ *новой комедіи*, вѣрно изображать дѣйствительность и утрировать, а авторъ *новой комедіи* умѣетъ только вѣрно изображать дѣйствительность, а утрировать не умѣетъ, слѣдовательно знаетъ только одну штуку, слѣдовательно онъ ниже Гоголя, который знаетъ двѣ штуки.

Молод. человекъ. Вы отчасти правы. Дѣйствительно у Гоголя создано много такихъ лицъ, въ которыхъ нѣтъ ничего преувеличеннаго, которыя вѣрны дѣйствительности, но все-таки дѣйствующія лица *новой комедіи* вѣрнѣе ихъ дѣйствительности; они конкретнѣе, они еще болѣе похожи на людей, чѣмъ лица, созданныя Гоголемъ. Они, въ отношеніи своей живости и кон-

кретности, относятся къ героямъ Гоголя, какъ картина, нарисованная красками, относится къ картинѣ, нарисованной тушью.

Всѣ. Въ чемъ же состоитъ эта конкретность дѣйствующихъ лицъ *новой комедіи*?

Молод. челов. Въ ихъ языкѣ. Вспомните, какимъ языкомъ говорятъ даже тѣ лица Гоголя, которые не утрированы. Неужели у него лакеи говорятъ *точь-въ-точь* такимъ языкомъ, какимъ говорятъ лакеи; купцы—*точь-въ-точь* такимъ языкомъ, какимъ говорятъ купцы? и т. д. Содержаніе ихъ рѣчей, ихъ мысли совершенно приличны каждому изъ нихъ, но имъ дана не та самая оболочка, которую они должны имѣть. Въ ихъ языкѣ мало выражаются особенности сословій. Они также говорятъ не своимъ языкомъ, какъ не своимъ языкомъ говорятъ дѣйствующія лица *Каменного гостя* Пушкина. Языкъ ихъ переводный... Кстати замѣчу здѣсь, что и въ другихъ произведеніяхъ Пушкина дѣйствующія лица говорятъ не своимъ языкомъ. Примѣромъ тому служатъ *Борисъ Годуновъ* и *Каменный гость*.

Хоръ. Что жъ, по вашему мнѣнію, вѣрнѣе природѣ: *новая комедія* или *Каменный гость*?

Молод. челов. Разумѣется, *новая комедія*. *Каменный гость* впервыхъ уже потому хуже *новой комедіи*, что въ немъ есть несообразности, которыхъ въ ней нѣтъ. Такъ въ немъ является и говоритъ статуя командора, а статуя вѣдь ходить и говорить не можетъ; кромѣ того въ ней еще тотъ же недостатокъ, что дѣйствующія лица не конкретны въ отношеніи къ языку. Ихъ языкъ можно перевести по-каковски вамъ угодно, и они отъ этого ничего не теряютъ. *Новая же комедія* не переводима.

Хоръ. Ну, а Шекспира можно переводить?

Молодой человѣкъ. Можно; но оттого его произведенія и ниже *новой комедіи*.

Хоръ. Что-о-о-о?

Молодой челов. Ничего (*скрывается*).

Хоръ. Вотъ каковы нынче молодые люди!

Любитель Славянскихъ древностей. Вотъ до чего довела ихъ натуральная школа.

(*Занавѣсъ опускается*).

Эрастъ Благодоровъ.

Р. С. *Эрастъ Благодоровъ* считаетъ за нужное предупредить читателей, что онъ не раздѣляетъ всѣхъ убѣжденій, которыя высказываютъ дѣйствующія лица его фантазіи. Онъ скоро предложитъ публикѣ *эпизодъ* къ этой фантазіи, гдѣ выскажетъ прямо свое мнѣніе обо всемъ, что въ ней дѣлается и говорится.

Эрастъ Благодоровъ.

ФЕЛЬЕТОНЫ ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА.

ПИСЬМО ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА.

1851 г.

ПИСЬМО ЭРАСТА БЛАГОНПРАВОГА.

Argumentum.

*De vera nobilitate. — Ciceronis exemplo adductus, scientiam laudibus effert.
Incredibilem vanitatem inimicorum suorum facete describit.*

Поздравьте меня! я совершенно счастливъ. Карьера моя сдѣлана — слава осѣнила меня! Боже мой, наконецъ-то я прославился, наконецъ-то жалкій жребій мой увѣнчался успѣхомъ. Итакъ пришелъ конецъ моимъ страданіямъ и горестямъ. Мои страданія, горести, мои многотѣнныя труды, бессонныя ночи, великодушныя поступки, скрытая и подавленная добродѣтель и дѣланіе добра въ тайнѣ, наконецъ, принесли роскошный плодъ — наконецъ они оцѣнены по достоинству отечественной публикой.

Я уже было отчаявался — думалъ, что они не найдутъ себѣ достойныхъ цѣнителей въ моемъ отечествѣ, и хотѣлъ было ихъ представить на судъ Германіи, гдѣ всѣ отрасли человѣческихъ знаній и человѣческой дѣятельности находятъ себѣ тонкихъ цѣнителей въ лицѣ знатоковъ и специалистовъ. Я уже было сталъ искать себѣ въ переводчики человѣка, знающаго въ совершенствѣ оба языка, какъ вдругъ меня оцѣнила Россія.

Да, меня постигла громкая извѣстность! Слава обо мнѣ гремитъ

Отъ Финскихъ ледныхъ скалъ
До пламенной Колхиды.

Должно надѣяться, что обо мнѣ скоро узнаютъ и за границей! Итакъ самолюбіе мое удовлетворено, честолюбіе тоже. Я теперь спокоенъ, я теперь могу отдохнуть на лаврахъ. Возвращаюсь въ частную жизнь, къ плугу. Прощай forum! Буду

наслаждаться тишиной семейнаго счастья. Для моей жизни насталь тихій, прохладный вечеръ, послѣ жаркаго и бурнаго полудня!

Но что же прославило меня? Знаменитая статья: *Сонъ по случаю одной комедіи!*

Всѣмъ извѣстно, что моя статья раздражила безчисленное множество самолюбій въ здѣшней столицѣ. Самое неприятное впечатлѣніе произвела она на *Иксовъ* и *Ирековъ*. Въ особой манерѣ, съ которой получали впечатлѣнія отъ моей статьи каждый изъ этихъ двухъ родовъ людей, отражается все различіе ихъ характеровъ. *Иреки* перенесли мою статью съ *внутреннимъ* достоинствомъ. Подчеркивая слово внутреннее, я хочу показать, что *Иреки* не притворялись только, что они твердо переносятъ несчастіе, ихъ постигшее, но что они дѣйствительно перенесли его таковымъ образомъ въ душѣ своей. Да, они твердо, мужественно и—главное—благородно перенесли ударъ. Правда они были убиты моей статьей, но сознались въ душѣ, что сами въ томъ виноваты. Для того, чтобъ оправдать себя, они не прибѣгали къ низкимъ средствамъ — не бранили и не унижали моей статьи. Нѣтъ! они, скрѣпя сердце, не сказали о ней ни слова ни про, ни contra. Съ поникнутой головой и съ потупленными очами, они удалились отъ людей въ пустыню, замкнулись въ самихъ себя и въ уединеніи предались скорби и наукамъ... Нѣкоторые изъ нихъ даже исправились. Итакъ вы видите, что поведеніе ихъ въ отношеніи моей статьи благородно и великодушно. Они обнаружили мужество, достойное древнихъ Римлянъ—достойное правдиваго Брута. Это дѣлаетъ имъ честь, это показываетъ, что они проникнулись духомъ классической древности, что изъ короткаго знакомства съ древними Римлянами, они вынесли не одни буквы да сухіе, безжизненные факты, а набрались отъ Горацийевъ Коклесовъ и Муційевъ Сцеволъ античной *доблести* (virtus). Прекрасно, прекрасно! Продолжайте — занимайтесь изученіемъ древнихъ классиковъ! Мы другъ другу мѣшать не будемъ. Вы меня не услышите изъ тишины и отдаленія вашего.

Иреки очень добрые и великодушные люди.

Не таковы *Иксы*. Они, говорятъ, приняли мою статью, не только не сохранивъ внутренняго достоинства, но даже, не стѣмѣвъ поддержать и внѣшняго. Говорятъ, что одинъ изъ нихъ очень хорошій и женатый человѣкъ, сидѣлъ съ своимъ семействомъ за ужиномъ и наслаждался тихимъ счастьемъ, какъ вдругъ внезапно дверь съ трескомъ отворилась, — и ему принесли 7 нумеръ *Москвитянина*, въ которомъ напечатана моя статья. Онъ взглянулъ — и поблѣднѣлъ: слезы брызнули изъ его глазъ, *Москвитянинъ* выпалъ изъ рукъ, а кусокъ говядины изъ рту. «Что съ тобой, мой другъ?» спросила его жена. «Маменька, что сдѣлалось съ папенькой?» спросили испуганныя малютки, нѣжно любящія отца. «Вѣрно здѣсь что-нибудь про тебя напечатано», — сказала жена, протягивая руки къ *Москвитянину*.

Милыя, невинныя малютки, слѣдуя примѣру матери, безсознательно протянули свои рученки къ роковому журналу, которому суждено лишить ихъ отца. Но отецъ быстро вскочилъ съ своего мѣста, бросился къ *Москвитянину* и закрылъ ладонями то самое мѣсто, гдѣ о немъ говорится, дабы жена его не была свидѣтельницею его позора. Однако онъ былъ такъ слабъ въ эту минуту, что не могъ выдержать борьбы съ слабой женщиной: жена оторвала его руки отъ роковаго мѣста, — и прочла ужасныя строки... Мужъ упалъ въ обморокъ. Вскорѣ онъ очнулся; терзанія его и мученія переходили всякую мѣру: онъ рвалъ на себѣ волосы, плакалъ и катался по полу. Тщетно жена его, въ качествѣ помощницы и подруги жизни, приступала къ нему съ увѣщаніями, тщетно просила его прекратить страданія, тщетно совѣтовала ему побережь себя, хотя для дѣтей. Ничто не помогало: страданія шли crescendo, такъ что *Иксъ* дошелъ до изступленія. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ до утра и слегъ въ постель...

На другой день вся Москва знала о несчастіи, постигшемъ *Икса*. Всѣ приняли въ немъ теплое, живое участіе. Весь дворъ того дома, гдѣ онъ жилъ, былъ заставленъ экипажами; такая

же участь постигла и переулочъ, гдѣ стоялъ несчастный домъ— по немъ не было проѣзда; даже на большой улицѣ, куда выходилъ переулочъ, стояли экипажи: такъ было много посѣтителей у *Икса*, въ несчастіи котораго всѣ приняли такое большое участіе. *Иксъ* принималъ своихъ посѣтителей въ спальнѣ, лежа въ постели, жена его тоже сдѣлалась больна и лежала въ дѣтской. Посѣтители наперерывъ изъявляли имъ свое участіе, утѣшали ихъ, говоря, что статья достойна всякаго презрѣнія и не стоитъ рѣшительно никакого вниманія. Мужъ и жена всячески старались показать посѣтителямъ, что они смотрятъ съ совершеннымъ презрѣніемъ на статью, что она такъ глупа, что никого оскорбить не можетъ, что они простудились, и оттого больны: что теперь самое опасное время, что теперь (ранней весною) всѣ простужаются и что теперь гораздо удобнѣе и опаснѣе простудиться, чѣмъ зимою. И въ доказательство того, что они смотрятъ на мою статью съ презрѣніемъ, они велѣли принести тотъ номеръ *Москвитянина*, въ которомъ помѣщена она, велѣли его раскрыть на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ она напечатана, и посмотрѣли на нее съ большимъ презрѣніемъ. Послѣ этого уже никто не сомнѣвался, что они презираютъ статью мою и меня. Открылось великолѣпное зрѣлище. Представьте себѣ *Икса* больного, блѣднаго, худаго и чуть живаго; онъ сквозь слезы, лежа въ постели, изъясняетъ презрѣніе къ моей статьѣ и насильно улыбается; передъ окомъ его необозримая толпа народа, которая, одобряя и поощряя его, изъясняетъ презрѣніе къ моей статьѣ и кричитъ хоромъ во все горло: «мы не обратили никакого вниманія на статью, мы ея совсѣмъ не замѣтили, мы даже не знаемъ, что она существуетъ; на нее нельзя и сердиться; ничего нѣтъ остраго: видно, что писалъ мальчишка; такъ неясно написана, что не знаешь, на кого онъ намекаетъ, — рѣшительно не знаешь, гдѣ онъ намекаетъ на васъ,—такъ что мы не понимаемъ, отъ чего вы больны? Какъ у него все преувеличено! «Развѣ свинья бываетъ въ ермоликѣ?» И притомъ необузданное самолюбіе».

Больной отвѣчалъ, что онъ съ этимъ совершенно согласенъ,

и что онъ самъ рѣшительно не знаетъ, гдѣ въ статьѣ намекается на него.

Да, публика приняла живое участіе въ несчастіи *Икса*! Какъ онъ возвысился въ глазахъ ея посредствомъ своего несчастія, сколько новыхъ знакомствъ приобрѣлъ по этому случаю! Сколько знатныхъ дамъ изъ высшаго общества познакомились съ его женой, дабы утѣшать ее! Одна очень милая, образованная и сердобольная дама подарила, по этому случаю, ея дѣтямъ множество прекрасныхъ игрушекъ, между которыми особенно замѣчательны — маленькіе бѣговья дрожки и деревянная лошадка (о прочихъ, менѣе замѣчательныхъ игрушкахъ не упоминаю: я упомянулъ бы, но предѣлы журнальной статьи мнѣ не позволяютъ).

Между тѣмъ друзья помянутаго *Икса* и люди однихъ съ нимъ убѣждений и вообще *Иксы* воздвигли на меня гоненія и стали меня преслѣдовать по всей Москвѣ. Моимъ друзьямъ и родственникамъ не было отъ нихъ прохода: трудно описать, что они отъ нихъ вытерпѣли. Одного моего родственника заставили отречься отъ меня на дому у какого-то *Икса*. Другой мой родственникъ предалъ меня на собственной своей квартирѣ. Вообще послѣ появленія моей статьи, всѣ мои близкіе потеряли положеніе въ свѣтѣ; возстановить его они могли не иначе, какъ отрекшись отъ меня. Только что мое произведеніе вышло въ свѣтъ, всѣмъ моимъ друзьямъ и родственникамъ отказали отъ дома всѣхъ порядочныхъ, благовоспитанныхъ людей. Одинъ изъ моихъ друзей пріѣхалъ на Святой Недѣлѣ съ визитомъ къ одной знатной дамѣ. Въ швейцарской встрѣтилъ его швейцаръ ужасными словами: «не приказано принимать». — Какъ? спросилъ другъ мой. — «Да, такъ - съ, отвѣчалъ швейцаръ, если вамъ угодно ихъ видѣть, то извольте отречься отъ господина *Эраста Благодирова*».

— Какъ отречься?

«Извольте отречься отъ него на этой бумажкѣ. Вотъ извольте чернила и перо... Тогда мы впустимъ.»

— Какъ можно? отречься отъ него въ передней!

«А то на кухню пожалуйста».

Но другъ мой не измѣнилъ мнѣ и уѣхалъ домой.

Третій мой другъ съ честью вытерпѣлъ испытаніе еще ужаснѣе тѣхъ, которыя мы сейчасъ описали. Но его никакими истязаніями не могли заставить отречься отъ меня.

Совсѣмъ другое случилось съ однимъ моимъ родственникомъ. Когда по выходѣ моей статьи, *Иксъ* отказалъ ему отъ дому, онъ впалъ въ ужасное уныніе. Онъ ѣздилъ къ *Иксу* просить прощенія, но не былъ принятъ; нѣсколько разъ просилъ прощенія по городской почтѣ, но не получалъ никакого отвѣта. Наконецъ онъ послалъ къ нему свою жену и дѣтей, для исходатайствованія себѣ прощенія. Мать и дѣти, рыдая, упали предъ *Иксомъ* на колѣни, и рыдая, просили прощенія за отца и мужа. Тронутый ихъ слезами, *Иксъ* наконецъ сказалъ: «Ну, хорошо! довольно вижу, что вы невинны. Скажите вашему отцу и мужу, что я его прощаю, потому что самъ вижу, что у него такое большое семейство, а состояніе не велико... Но скажите ему, чтобы онъ впередъ не смѣлъ...»

Такимъ образомъ, тотъ *Иксъ*, страданія котораго мы описали такими яркими красками, былъ утѣшенъ участіемъ, которое приняло въ немъ большинство публики (толпа!), и тѣмъ, какъ жестоко были наказаны друзья мои и я. Утѣшеніе благотно подѣйствовало на его здоровье: онъ быстро оправился и сталъ выходить изъ дома. Онъ началъ бѣгать по всѣмъ знакомымъ и объявлять имъ, что не знаетъ о существованіи моей статьи. Онъ сдѣлалъ нѣсколько новыхъ знакомствъ, съ тою только цѣлью, чтобы разгласить о томъ, что онъ не знаетъ о существованіи моей статьи. Онъ даже извѣстилъ объ этомъ по почтѣ всѣхъ своихъ иногородныхъ родственниковъ... Теперь онъ ѣдетъ въ деревню, для исправленія здоровья: онъ еще не совершенно оправился послѣ моей статьи и очень слабъ. Доктора ему предписали молочную діету и Имзеновъ шоколатъ.

Не такъ легко раздѣлялись остальные *Иксы* съ моей статьей. Такъ, напримѣръ, одинъ изъ нихъ наслаждался супружескимъ счастіемъ въ продолженіе пяти лѣтъ непрерывно. Но появленіе

моей статьи нарушило это счастье, — жена его страстно любила и уважала, потому что считала за великаго писателя (заблужденіе ея объясняется тѣмъ, что во всѣхъ журналахъ она, кромѣ похвалъ о своемъ мужѣ, ничего не встрѣчала). Но когда она увидала своего мужа печатно осмѣяннаго, — она потеряла къ нему всякое уваженіе и навсегда его покинула. Мужъ несказанно огорчился поступкомъ свое жены, и сказалъ при этомъ:

„Ахъ, вижу я, кому судьбою
Волненья жизни суждены, —
Одинъ мужайся подъ грозою,
Не призывай къ себѣ жены.
Въ одну телегу впречь не можно
Кона и трепетную лань;
Ошибся я неосторожно —
Теперь плачу безумства дань“.

Да и вообще должно замѣтить, что опасно выходить замужъ за сочинителей, и что — съ другой стороны — сочинителямъ опасно жениться. Рѣдкая жена не охладѣетъ къ мужу, осмѣянному отечественными журналами. Одна моя знакомая дама замужемъ за литераторомъ, котораго аккуратно каждый мѣсяцъ осмѣиваютъ всѣ Русскіе журналы. Мужъ, для поддержанія семейнаго счастья, принужденъ всячески стараться, чтобы женѣ его не попались въ руки отечественные журналы. Жена постоянно и убѣдительно проситъ его выписать хоть одинъ Русскій журналъ и говорить, что подруги ея ей очень хвалили Петербургскіе журналы, и рассказывали, что тамъ помѣщаются очень интересныя статьи. Но мужъ ей обыкновенно отвѣчаетъ, что подруги ея ничего не смыслятъ, чтобъ она ихъ не слушала, что они, чортъ знаетъ, чему научить ее могутъ, а что журналы читать не слѣдуетъ, что они портятъ вкусъ, потому что пишутся наскоро, что въ нихъ все хорошо только сегодня, а что завтра будетъ старо, что въ нихъ нѣтъ ничего вѣчнаго, ничего *абсолютно* прекраснаго; что должно читать только классическихъ писателей, абсолютно прекрасныхъ, вѣчныхъ, каковы: Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Дмитріевъ, Жуковский и Пушкинъ.

Вотъ что значить опромѣтчиво жениться! Никогда не нужно вступать въ бракъ съ женщиной, которая ниже васъ въ нравственномъ отношеніи; не то вамъ придется впасть въ такой же порокъ, въ какой впадаетъ каждый мѣсяцъ мужъ моей знакомой: онъ по природѣ своей человѣкъ правдивый и терпѣть не можетъ говорить того, чего не думаетъ, но, понимая всю глубину и случайность привязанности своей жены, принужденъ лгать и бранить русскіе журналы, къ которымъ, въ душѣ, онъ чувствуетъ безпредѣльное благоговѣніе и лучше которыхъ онъ отъ роду ничего не читывалъ.

Что же касается до другой моей знакомой дамы, то я долженъ сказать, что она совершенно равна, по своей натурѣ и образованію, своему мужу, литератору, пользующемуся тоже довольно позорной извѣстностью. Она совершенно одинаковыхъ съ нимъ убѣжденій, и потому, встрѣчая въ журналахъ нападки на его тезисы, она видитъ въ этихъ нападкахъ нападки на ея собственные тезисы и такимъ образомъ дѣлитъ съ своимъ мужемъ горькое въ жизни... Она не только не охлаждаетъ къ мужу, когда читаетъ о немъ неблагопріятные отзывы, но напротивъ: чѣмъ больше бранятъ ея мужа, тѣмъ она больше его любитъ. Когда она прочла мою статью, то полюбила его до безумія... Вотъ глубокая, истинная, въ высшей степени нравственная привязанность, на которую никакія случайности не имѣютъ вліянія. на которую не дѣйствуетъ ни холодъ, ни сырость!...

Какъ бы то ни было, но все-таки всѣ всѣми силами старались выразить презрѣніе и пренебреженіе къ моей статьѣ. Однако скоро они увидѣли всю затруднительность своего положенія и недостаточность принятой ими тактики. «Какъ намъ быть съ этимъ господиномъ *Эрастомъ Благонаправовымъ*?» думали они; «написать ему отвѣтъ значить не выказать къ нему *помаго* презрѣнія; а если оставимъ его статью безнаказанной, то намъ придется плохо: это только придастъ ему смѣлости,— и онъ съ каждымъ выходомъ *Москвитянина* будетъ разить насъ, а вѣдь *Москвитянинъ* выходитъ два раза въ мѣсяцъ! Надо поугатъ этого наѣздника: авось, тогда онъ уймется. Но

кто же изъ насъ напишетъ ему отвѣтъ? Всѣ мы задѣты его статьей. Потому, если кто-нибудь изъ насъ будетъ писать противъ него, — скажутъ, что это онъ дѣлаетъ вслѣдствіе личной несправедливости къ господину Эрасту Благонравову, вслѣдствіе желанія ему отомстить. Ахъ, если бы нашелся человѣкъ, который бы отомстил за насъ этому господину *Эрасту Благонравову*.

Желаніе ихъ исполнилось: нашелся человѣкъ, который рѣшился написать противъ меня филиппику. Этотъ человѣкъ принадлежитъ къ ихъ партіи, но такъ какъ я забылъ его задѣть въ статьѣ моей, то ему очень удобно разыгрывать роль безпристрастнаго человѣка и говорить, что онъ хотя и не обиженъ нисколько мной, но считаетъ священной обязанностью, по любви къ истинѣ, написать опроверженіе на мою статью. Но въ самомъ дѣлѣ онъ это сдѣлалъ по слѣдующимъ двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что, осмѣивая убѣжденія его партіи, я осмѣялъ его собственное убѣжденіе, во-вторыхъ, потому, какъ говорить Гораций, что сатирика ненавидятъ и бранятъ не только тѣ, которыхъ онъ осмѣялъ, но даже и тѣ, которые впередъ надѣются, что будутъ осмѣяны, потому что знаютъ, что у нихъ нечиста совѣсть, и что сатира найдетъ и въ нихъ себѣ пищу.

Говорятъ, что этотъ безпристрастный человѣкъ, о которомъ мы сейчасъ говорили, есть авторъ *ответа* на мою статью, помѣщеннаго въ майской книжкѣ Современника, въ «*Замѣткахъ Новаго Поэта о Русской журналистикѣ*».

Отвѣтъ этотъ написанъ, по своему, очень ловко. Новый Поэтъ всячески старается скрыть то, что онъ пишетъ мнѣ отвѣтъ, — но никакъ не можетъ. — Въ заключеніе моей статьи, я вызвалъ его на единоборство со мной. Новый Поэтъ отвѣчаетъ мнѣ очень презрительно, *du haut de sa grandeur*, что онъ не имѣетъ «ни малѣйшаго желанія вступать въ бой съ господиномъ *Эрастомъ Благонравовымъ*», а между тѣмъ на цѣлой страницѣ довольно мелкой печати старается опровергать мои положенія и трунить надо мной. Что-нибудь одно: или *Новый Поэтъ* противорѣчитъ себѣ — не сдерживаетъ своего обѣщанія — го-

ворить, что не вступить со мной въ бой, а въ то же самое время вступаетъ; или онъ не понялъ, въ чемъ состоялъ мой вызовъ. Ежели Новый Поэтъ принялъ слово *бой* въ буквальный его значеніи, то-есть думаетъ, что я его въ самомъ дѣлѣ приглашаю *бороться* со мной или драться на шпагахъ,—въ такомъ случаѣ въ его словахъ нѣтъ противорѣчій. Но, вѣрно, Новый Поэтъ понялъ настоящій смыслъ моихъ словъ, понялъ, что я вызвалъ его на литературный турниръ, на который онъ, Новый Поэтъ, не замедлилъ явиться — явился по первой возможности. Новый Поэтъ сдѣлалъ именно то, на что я его приглашалъ — написалъ мнѣ *ответъ*. Еслибъ Новый Поэтъ дѣйствительно презиралъ мой вызовъ, дѣйствительно не обратилъ на него никакого вниманія, дѣйствительно не хотѣлъ принять его, — въ такомъ случаѣ, онъ бы ничего не упомянулъ о моей статьѣ. Но онъ упоминаетъ о ней и такимъ образомъ вступаетъ со мной въ полемику — въ бой. Я именно этого отъ него и требовалъ, а бороться или драться съ нимъ на шпагахъ я не имѣю также, какъ и онъ, «ни малѣйшаго желанія».

Укажу еще на одинъ пассажъ въ статьѣ Новаго Поэта, отличающійся ловкостью. Я говорю въ моей статьѣ: «О, какая участь ожидаетъ меня! вы разругаете мое сочиненіе, разругаете меня, опишете мою скверную фізіономію, расскажете всѣ мои домашнія обстоятельства, разругаете всѣхъ моихъ родныхъ, какъ-то: отца, мать, дядей, тетокъ, братьевъ и двоюродныхъ братьевъ, сестеръ и двоюродныхъ сестеръ. Вы расскажете обо всѣхъ моихъ долгахъ: кому, гдѣ, сколько, за что и давно ли я долженъ, и такимъ образомъ, совсѣмъ загубите мою карьеру, такъ что мнѣ нельзя будетъ никуда показаться и жениться!...»

На все это Новый Поэтъ очень наивно, какъ будто ни въ чемъ ни бывало, отвѣчаетъ мнѣ разными успокоительными извѣстіями: онъ говоритъ между прочимъ, что мою фізіономію описывать не станутъ (уфъ, гора съ плечъ свалилась! а я этого только и боялся — теперь я совершенно спокоенъ), и что родственниковъ моихъ не тронуть.

Какая уловка! Новый Поэтъ притворяется, будто не пони-

маеть, на что я намекаю. Онъ отдѣляется шутками въ очень серьезномъ дѣлѣ. Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ не понимаетъ, что я намекаю на милыя манеры критики Современника, на страницахъ котораго, при разборахъ книгъ, упоминалось о фizioномiяхъ ихъ авторовъ.

Такъ при разборѣ какой-то брошюры, рецензентъ выписываетъ нѣсколько строкъ изъ нея и говоритъ, что сейчасъ можно вообразить по этимъ строкамъ, каковъ долженъ быть голосъ и наружность автора. Чего нельзя ожидать отъ критики послѣ такой неприличной выходки, оскорбляющей всякаго человѣколюбиваго человѣка! Какъ же мнѣ не бояться, что критика, наведя надлежащія справки, опишетъ мою фizioномiю и представитъ на судъ публики!—Въ томъ же журналѣ смѣются надъ фамиліями сочинителей. Точно будто сочинитель виноватъ, когда его фамилія не нравится рецензенту, точно будто его можно исправить отъ его фамиліи! Такъ, говоря объ одной книгѣ, критика между прочимъ говоритъ: *«несмотря на скромность, на которую такъ умильно намекаетъ фамилія автора»*. Каково?! вотъ до чего дошла литература. И послѣ этого Новый Поэтъ шокируется словомъ *ругать*, которое я употребилъ. Но какъ не употребить его тамъ, гдѣ нельзя употребить другаго слова. Развѣ писать о писателяхъ такія вещи, на которыя мы сейчасъ указали, не значитъ ругаться?

Новый Поэтъ, у котораго нечиста совѣсть, и которому я со временемъ могу припомнить много нехорошихъ выходокъ съ его стороны, думая меня запугать, говоритъ, что я рискую сдѣлаться его фаворитомъ, если буду продолжать писать въ *такомъ* родѣ (то-есть, что онъ будетъ надо мной постоянно трунить). Пускай себѣ! я заранѣе зналъ, что удостоюсь его высокаго вниманія. Насмѣшекъ его я не боюсь: моей литературной карьеры и репутаціи онъ не погубитъ — та и другая начаты «такъ блистательно». Человѣкъ, который началъ свое литературное поприще тѣмъ, что объявилъ войну *всѣмъ* литературнымъ кружкамъ, въ пріятной надеждѣ вооружить противъ себя *всѣхъ*, вѣрно не разсчитывалъ на хорошую литературу-

ную репутацію и карьеру и вѣрно не испугается угрозъ *Новаго Поэта*.

Итакъ видите, что отвѣтъ *Новаго Поэта* г. *Эрасту Благоправову* написанъ весьма ловко. Но несмотря на это, отвѣтъ этотъ отличается большой нелитературностью. Новый Поэтъ объявляетъ, что у *Москвитянина* двѣ редакціи — старая и молодая, что молодая редакція имѣетъ своего фельетониста въ лицѣ господина *Эраста Благоправова*.

Съ чего это взяли корреспонденты *Современника*? Нигдѣ публично не было объявлено о томъ, что какая-то «молодая редакція имѣетъ своимъ фельетонистомъ господина *Эраста Благоправова*. Съ чего же это взяли корреспонденты *Современника*? Кто имъ сдѣлалъ такой доносъ? Господинъ *Эрастъ Благоправовъ* пишетъ только о томъ, что высказывается публично, то есть печатается въ журналахъ, газетахъ, книгахъ и брошюрахъ, произносится съ кафедръ, говорится на публичномъ диспутѣ. Гдѣ же узнали, что господинъ *Эрастъ Благоправовъ* фельетонистъ «молодой» редакціи. Удивительно, какъ они еще не сказали, что онъ находится въ дружескихъ отношеніяхъ съ ея членами, что онъ родственникъ кому-нибудь изъ нихъ!

Съ чего также взяли корреспонденты *Современника*, что «молодая» редакція хочетъ прослать основательницею новыхъ литературныхъ понятій? Достоверно не знаю, сами ли господа корреспонденты ослышались, или имъ донесли облыжно. — Любопытно, что Новый Поэтъ находитъ предосудительнымъ, что *Москвитянинъ* въ отдѣлѣ библіографіи повторяетъ эстетическія положенія одного нашего журнала начала сороковыхъ годовъ. Одинъ изъ сотрудниковъ *Москвитянина*, кажется, хочетъ объяснить Новому Поэту причину такихъ повтореній. Онъ хочетъ сказать, что хотя эстетическія положенія, которыя онъ высказывалъ при разборѣ нѣкоторыхъ художественныхъ произведеній, давно извѣстны, но изъ странныхъ мыслей, которыя обнаруживаютъ въ своихъ сужденіяхъ нѣкоторые русскіе критики, замѣтно противорѣчіе самымъ извѣстнымъ, самымъ такъ-сказать первоначальнымъ, элементарнымъ положеніямъ эстетики. По-

этому, упомянутый сотрудник *Москвитянина*, полагая, что русские критики позабыли упомянутыя положенія эстетики, и что не худо имъ протвердить зады, повторяетъ имъ иногда старыя истины.

До сихъ поръ я вамъ только старался показать искусство, съ какимъ написанъ отвѣтъ *Новаго Поэта*; теперь посмотримъ, въ чемъ состоятъ опроверженія, устремленные имъ на мою статью.

Новый Поэтъ говоритъ: «Господинъ Эрастъ Благоднравовъ, замѣчая, что новѣйшая журнальная литература, отучивъ человѣка отъ любви, мечтательности и стиховъ, *наказала* его посредствомъ *Новаго Поэта* и строжайше запретила ему страдать, потому что страдаютъ только люди дурнаго тона.—Совершенно справедливо. Новый Поэтъ, какъ и всѣ порядочные люди, убѣжденъ, что мечтать, вздыхать, страдать и писать плохіе стишки — не хорошо, и что онъ очень счастливъ, если посланъ въ наказаніе мечтателямъ, вздыхателямъ, страдалцамъ и плохимъ стихотворцамъ.»

Прекрасно! «Новый Поэтъ убѣжденъ, какъ и всѣ порядочные люди (будто ужъ и *есть* порядочные люди), что страдать нехорошо. То-есть, какъ же это нехорошо страдать? человѣкъ, напримеръ, переломилъ ногу, и ему очень больно — онъ страдаетъ! Что же онъ дѣлаетъ въ такомъ случаѣ дурнаго? Неужели прикажете ему наслаждаться? Новый Поэтъ говоритъ, что онъ счастливъ тѣмъ, что посланъ въ наказаніе страдалцамъ. *«Въ наказаніе страдалцамъ!»* Неужели вы наказываете страдалцевъ? человѣкъ переломилъ ногу и страдаетъ отъ боли, а вы его за это наказываете. Это нехорошо. Человѣкъ умираетъ съ голоду, и вы его за это наказываете. Это тоже нехорошо. Человѣкъ лишился любимой женщины или отца, и вы его за это наказываете. Это очень нехорошо. Нечего сказать, вы очень счастливы!

Новый Поэтъ говоритъ, что вздыхать нехорошо, что онъ очень счастливъ тѣмъ, что посланъ въ наказаніе вздыхателямъ. Итакъ «вздыхать нехорошо!» Да послѣ этого вы скажете, что и сморкаться нехорошо, что вы счастливы тѣмъ, что

посланы въ наказаніе тѣмъ, кто сморкается. Человѣку точно также дано отъ природы вздыхать, какъ дано ему сморкаться, плакать, сидѣть, ходить и проч. Мнѣ кажется, что нельзя наказывать человѣка за то, что онъ ходитъ, плачетъ, вздыхаетъ и сморкается, потому что человѣкъ во всемъ этомъ нисколько не виноватъ.

Новый Поэтъ говорить, что мечтать нехорошо. Мечтать тоже дано человѣку отъ природы. Мечтательность присуща всякой нормально устроенной душѣ, всякой неиспорченной живой натурѣ. Павелъ Ивановичъ Чичиковъ лишенъ всякой мечтательности: онъ человѣкъ совершенно положительный и живетъ постоянно въ одной дѣйствительности; да развѣ онъ хорошъ?.. Впрочемъ я хорошенько не знаю, что *Новый Поэтъ* разумѣть подъ *мечтательностью*. Да кажется, и онъ, въ свою очередь, не знаетъ что я подъ ней разумѣю. Поэтому я прошу его воздержаться отъ нападокъ на мечтательность до тѣхъ поръ, пока я ему не расскажу, что я подъ ней разумѣю.

Новый Поэтъ соглашается съ г. Эрастомъ Благодравовымъ, что новая журнальная литература отучила человѣка отъ *любви* и наказала его посредствомъ Новаго Поэта.

«*Отучила человека отъ любви!*» Опомнитесь, Новый Поэтъ! что вы говорите! вѣдь вы напоминаете объ ужасномъ проступкѣ новой журнальной литературы. *Отучить человека отъ любви* дѣло ужасное: ибо человѣкъ безъ любви — звѣрь.

Новый Поэтъ говорить, что писать дурные стихи нехорошо, и что онъ очень счастливъ тѣмъ, что посланъ въ наказаніе дурнымъ стихотворцамъ. Но я совершенно согласенъ съ Новымъ Поэтомъ, что писать дурные стихи нехорошо. Потому, упоминая о томъ, что новая журнальная литература отучила человѣка писать стихи, я хотѣлъ напомнить моему отечеству о заслугѣ, которую она ему оказала. Я не хотѣлъ ограничиться только исчисленіемъ преступленій новѣйшей журнальной литературы, — и потому упомянулъ о томъ, что она старалась перевести у насъ дурныхъ стихотворцевъ. Новый Поэтъ принималъ большое участіе въ истребленіи этихъ стихотворцевъ. Дѣло

очень полезное; но онъ дѣлалъ его съ дурнымъ намѣреніемъ: онъ преслѣдовалъ плохихъ стихотворцевъ не изъ любви къ литературѣ, не вслѣдствіе какихъ-нибудь высокихъ цѣлей, а изъ одного удовольствія потрунить для пріятнаго препровожденія времени, для увеселенія почтенной публики.

Я рѣшительно не понимаю, отчего Современникъ счелъ священной обязанностью *ответить* на мою статью и написалъ на нее *антикритику*? Если даже вашъ портретъ нарисуютъ въ каррикатурѣ, неужели вы станете писать на него антикритику, станете оправдывать себя? У васъ отъ природы длинень носъ и малы глаза, на каррикатурѣ нарисуютъ вашъ носъ вдесятеро длиннѣе, а глаза вдесятеро меньше, — какъ вы поступите въ такомъ случаѣ? Обидитесь, напишите опроверженіе, антикритику, въ которой будете обвинять каррикатуристовъ въ клеветѣ и, пожалуй даже, въ злонамѣренности и излишествѣ самолюбія?

Не знаю, всѣ ли не обижаются, когда видятъ себя въ каррикатурѣ: я за всѣхъ не отвѣчаю. Но я знаю только, что никогда никто не показываетъ вида, что обижается за карикатуру, и не потому что хочетъ насильно, во что бы то ни стало, показать презрѣніе и пренебреженіе къ ней, но потому, что *не принято* обижаться за такія вещи: кто сердится за карикатуры, тотъ погибшій человекъ въ глазахъ общества.

Итакъ для чего было писать отвѣтъ на мою статью? А что Современникъ упоминаетъ о ней только съ той цѣлью, чтобъ на нее *ответить*, — это ясно. Еслибъ Современникъ хотѣлъ просто извѣстить о ней, — онъ бы рассказалъ ея содержаніе. Но этого онъ не дѣлаетъ: онъ упоминаетъ только о тѣхъ мѣстахъ моей статьи, въ которыхъ явнымъ образомъ я его задѣваю. Слѣдовательно онъ написалъ о моей статьѣ только для того, чтобъ на нее отвѣтить.

Отвѣтивши на мою статью, Новый Поэтъ начинаетъ громить статью господина Погодина — «Московскія извѣстія», при чемъ довольно ясно выказываетъ свое остроуміе. Кажется, онъ потому нападаетъ на господина Погодина, что желаетъ отомстить ему

за напечатаніе моеѣ статьи, — для того, чтобъ господину Погдину было впредь неповадно такія статьи печатать. — Не знаю, съ какой цѣлю, повторяя за господиномъ Погдинымъ разныя городскія новости, онъ выбираетъ только самыя неинтересныя...

Далѣе, Новый Поэтъ говоритъ, что господинъ Погдинъ былъ на лекціяхъ господина Шевырева, и цитуетъ мнѣніе господина Погдина объ этихъ лекціяхъ. Но отчего же онъ ничего не упоминаетъ о лекціи господина Грановскаго, о которой такъ распространяется г. Погдинъ?

Что касается *вообще* до статьи Новаго Поэта, то я долженъ сознаться, что она льститъ моему самолюбію: въ ней я замѣтилъ нѣкоторыя противорѣчія прежнимъ тезисамъ Современника. Видно, я имѣлъ сильное вліяніе на этотъ журналъ. Онъ начинаетъ исправляться и становится осторожнѣе.

Но желательно знать, кто пишетъ подъ именемъ Новаго Поэта?

Спрашиваю: кто пишетъ подъ именемъ Новаго Поэта? Лучше признайтесь. Признаніе есть половина исправленія.

До свиданія, я ѣду до осени въ деревню, на мирное и покойное житъе. Поэтому прошу васъ, не извѣщайте меня, пожалуйста, о похожденіяхъ русской журналистики и не требуйте отъ меня статей. Объявите всѣмъ русскимъ журналамъ, что ежели они сдѣлаютъ на меня нападенія лѣтомъ, я имъ ранѣе осени не могу отвѣтить, потому что ранѣе осени не узнаю о ихъ движеніяхъ и маневрахъ: у меня въ деревнѣ нѣтъ русскихъ журналовъ.

Готовый къ услугамъ

Эрастъ Благовровъ.

ФЕЛЬЕТНЫ ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА.

СТИХОТВОРЕНІА ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА.

1851 г.

СТИХОТВОРЕНІЯ

ЭРАСТА БЛАГОНПРОВОА.

Въ гармовін соперникъ мой
Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйный,
Иль иволга напѣвъ жинной,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шепоть рѣчки тихоструйной.

А. Пушкинъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Перечень открытій и замѣчательнѣйшихъ событій въ литературномъ, ученомъ и промышленномъ мірѣ съ 1887 года до нашего времени. — О вліяніи петербургскихъ журналовъ на вкусъ публики. — Пушкинъ, Лермонтовъ, Зотовъ, Бутковъ, Некрасовъ и Станицкій, Зраховъ и Кузмичевъ. — Новый Поэтъ и Эрастъ Благодоровъ.

Покойный А. С. Пушкинъ мнѣ говаривалъ: «Эрастъ! тебя не поймутъ. Тебѣ не вкусить сладкихъ восторговъ, доставляемыхъ намъ славой; ты пройдеши не замѣченный современниками, а судъ потомства до тебя не дойдетъ: ты уже будешь въ глубокой могилѣ, когда наконецъ поймутъ тебя и оцѣнятъ по достоинству твои стихотворенія. Лучше не печатай ихъ при своей жизни — лучше завѣщай ихъ потомству: твои правнуки напечатаютъ ихъ въ большомъ количествѣ экземпляровъ и вѣрно никогда тебя не забудутъ. Да, Эрастъ, тебя не скоро поймутъ! Исчезнутъ поколѣнія, падутъ царства, народы сотрутся съ лица земли, и, несмотря на это, тебя все-таки еще не поймутъ». Такъ говаривалъ мнѣ Пушкинъ и говаривалъ всегда, когда я ему приносилъ какое-нибудь новое произведеніе моего даровитаго пера. Я обыкновенно съ покорностью выслушивалъ такіа

замѣчанія великаго поэта и благодарилъ его за сочувствіе и участіе. Однажды (это было уже осенью) прочиталъ я ему большую поэму въ описательномъ родѣ подъ заглавіемъ: «Путешественникъ по Испаніи, или бой быковъ.» Пушкинъ пришелъ въ восторгъ отъ этой поэмы; онъ заплакалъ, обнялъ меня и воскликнулъ: «нѣтъ, Эрастъ, тебя не поймутъ!»

— Послушай, Пушкинъ, — сказалъ я ему — ты ошибаешься и впадаешь въ крайность. Ты предубѣжденъ противъ нашей публики. Повѣрь мнѣ, публика понимаетъ, что хорошо и что дурно.

«Нѣтъ! тысячу разъ нѣтъ воскликнулъ великій поэтъ, — еслибъ публика знала, что хорошо и что дурно, она поняла бы и оцѣнила мои послѣднія произведенія; она бы не говорила, что мой *Кавказскій пленникъ*, *Бахчисарайскій фонтанъ*, *Русланъ и Людмила*, *Братья-Разбойники* и другія мои юношескія попытки выше *Бориса Годунова*, *Моцарта и Сальери*, *Скупаго Рыцаря* и другихъ вдохновенныхъ созданій моего уже созрѣвшаго генія. Еслибъ публика понимала, что дурно, что хорошо, то критика не осмѣлилась бы сказать, что я отсталъ отъ вѣка.»

Прошло много времени съ тѣхъ поръ, какъ я слышалъ это отъ Пушкина, много воды утекло съ тѣхъ поръ; много совершилось великихъ событій въ области литературы, науки и художества; много явилось новыхъ знаменитостей; много затмилось старыхъ; много поблекло и облетѣло лавровыхъ вѣнковъ, много терновыхъ обратилось въ лавровые и обратно. Имя Диккенса прогремѣло по всей Европѣ; вышелъ *Герой нашего времени* Лермонтова, вышли *Мертвые Души* Гоголя, вышла Хрестоматія г. Галахова; открыто дѣйствіе сѣрнаго эфира, усыпляющаго больнаго при операціяхъ; изобрѣтена огнестрѣльная вата; г. Боткинъ совершилъ наконецъ самъ путешествіе по Испаніи и описалъ его съ большимъ чувствомъ; вышла одна неслыханно замѣчательная статья, которая открываетъ совершенно новое и доказываетъ всѣмъ ученымъ, что они глубоко ошибались; была всемірная выставка въ Лондонѣ, о чемъ неоднократно извѣщали въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*; публика съ удовольствіемъ

прочла *Мертвое озеро* и *Старый Домъ* на страницахъ тѣхъ журналовъ, которые прежде очень невыгодно отзывались о такого рода произведеніяхъ и отличались литературной нетерпимостью. Вообще, въ литературномъ мірѣ произошло много переворотовъ. Между тѣмъ, какъ вокругъ меня то и дѣло появлялись новыя литературныя знаменитости, я оставался въ совершенной неизвѣстности. Мнѣ стало завидно. Мнѣ стало прискорбно видѣть, столько литературныхъ извѣстностей, пользующихся незаслуженной славой, между тѣмъ какъ свѣтъ и не подозрѣваетъ о существованіи моихъ стихотвореній, написанныхъ мной въ молодости. Зависть и желаніе выказать свой поэтический талантъ до того было овладѣли мной, что я, увлеченный примѣромъ одного русскаго поэта, чуть не напечаталъ собранія своихъ стихотвореній; но меня удержало нижеслѣдующее обстоятельство. У насъ въ Россіи нынѣ никакъ нельзя печатать стиховъ. Стихи всевозможными средствами и самыми разнообразными путями преслѣдуются нашими толстыми и прекрасными журналами. Такое нерасположеніе къ поэзіи есть исключительная принадлежность нашихъ журналовъ. Во всѣхъ образованныхъ странахъ Европы печатаются и читаются стихи, и журналы выказываютъ къ нимъ сочувствіе. Но у насъ это бываетъ совсѣмъ иначе. У насъ позволяется писать прозу: въ прозѣ вы можете писать какія вамъ угодно пошлости, и будьте увѣрены, что, какъ бы вы плохо ни написали, петербургскіе журналы примутъ съ благодарностію на свои страницы ваше произведеніе. Но избави васъ Богъ написать, или — что еще опаснѣе — напечатать ваше стихотвореніе: стихотвореніе ваше будетъ встрѣчено самыми строгими, мелочными придирками; васъ поднимутъ на смѣхъ, назовутъ даже пожалуй *поэтомъ*, а выраженіе поэтъ съ нѣкотораго времени употребляется нашими журналами какъ бранное слово. Что можетъ быть хуже романовъ: *Три страны свѣта*, *Мертвое озеро*, *Старый домъ* и другихъ литературныхъ спекуляцій? Ничего. А вѣдь эти несчастныя произведенія, имѣющія въ виду одни практическія цѣли, напечатаны въ двухъ нашихъ самыхъ лучшихъ петербургскихъ

журналахъ. Да это бы ничего, что они тамъ напечатаны: мало ли что теперь печатается въ этихъ журналахъ; извѣстно, что эти два журнала совершенствуются на пути жизни съ неудержимой быстротой, такъ что мы надѣемся, что въ скоромъ времени гг. Зряховъ и Кузмичевъ примутъ въ нихъ дѣятельное и живое участіе. Но странно то, что публика, вкусъ которой дошелъ было до такой утонченности и разборчивости, опять стала такъ не прихотлива, что позволяетъ печатать и съ удовольствіемъ читать пошлости, которыя теперь ей предлагаютъ. Впрочемъ я нарочно сказалъ, что это странно, а въ самомъ дѣлѣ тутъ нѣтъ ничего страннаго. Петербургскіе журналы *теперь* издаются не для той публики, для которой исключительно было стали писать русскіе писатели. Помянутые журналы смекнули, что писать только для избранной публики невыгодно, что, если они будутъ писать только для нея, то у нихъ мало будетъ подписчиковъ. И вотъ они принялись за созданія разныхъ романовъ на манеръ Александра Дюма. Да вѣдь оно и легче и дешевле: такого рода произведенія можетъ дѣлать, въ свободное время, сама редакція.

Каждый благомыслящій и благонамѣренный человѣкъ, поразмысливъ о русской журналистикѣ, можетъ предложить себѣ или кому-нибудь другому слѣдующій вопросъ: отчего у насъ посредствомъ пародій безпощадно глумятся надъ стихотвореніями часто очень даровитыхъ поэтовъ, между тѣмъ какъ несносныя повѣсти г. Буткова, романы гг. Зотова, Станицкаго и Некрасова проходятъ безнаказанно? Отвѣтъ простъ: наши критики ноступили въ услуженіе къ публикѣ, и всѣми средствами стараются угодить ей. Они не хотятъ направлять и очищать ея вкуса: они потакаютъ и льстятъ ему. Вкусъ большинства, толпы, они взяли за нормальный, и преслѣдуютъ все то, что не нравится толпѣ. Толпѣ гораздо больше нравятся *Три страны свѣта*, чѣмъ стихотворенія гг. Щербины и Мея; и не мудрено, такія произведенія, какъ *Три страны свѣта*, дѣйствуютъ только на самыя грубыя чувства человѣка и доставляютъ человѣку только чувственное наслажденіе: поэтому они доступны каж-

дому. Но для того чтобъ сочувствовать стихотвореніямъ господъ Щербины и Мея надо имѣть развитое эстетическое чувство, надо сохранить въ себѣ душевную чистоту и свѣжесть, вслѣдствіе которой человѣкъ быстро поддается впечатлѣніямъ отъ художественныхъ произведеній. Этой-то чистоты душевной, этой свѣжести и нѣтъ въ большинствѣ публики, этой-то свѣжести и чистоты душевной уже нѣтъ въ редакторахъ и критикахъ, обольщенныхъ похвалами и сочувствіемъ толпы и избалованныхъ мірскими благами и благопріобрѣтеніями. У нихъ сильно испорченъ вкусъ: имъ только могутъ нравиться литературныя пряности и ихъ нисколько не оскорбляютъ произведенія гг. Некрасова и Станицкаго, Буткова, Зотова и другихъ корнеевъ нашей наконецъ уже созрѣвшей литературы.

Какъ же мнѣ быть при такихъ обстоятельствахъ? Какъ мнѣ высказать свое поэтическое дарованіе? Напечатать нѣсколько стихотвореній? Конечно, это легко сдѣлать, но за то каковы будутъ послѣдствія?

Всѣмъ извѣстно, что на берегахъ Невы издается журналъ *Современникъ*. Трудолюбивая и образованная редакція наполняетъ свой журналъ очень серьезными и дѣльными статьями. Почти каждый мѣсяцъ онъ выказываетъ какую-нибудь новую сторону своихъ познаній и своей литературной добросовѣстности. Такъ недавно, напечатавъ статью г. Милютина, она выказала необыкновенное знаніе польскаго языка, а вскорѣ послѣ того въ спорѣ съ Отечественными Записками обнаружила познаніе и языка англійскаго...

Такія прекрасныя черты редакціи *Современника* постоянно ободряются и поощряются публикой, выписывающей его въ большомъ количествѣ экземпляровъ. Но самая достопочтенная и достойная поощренія черта редакціи *Современника* заключается въ той ненависти, которую она выражаетъ къ поэзіи. Выраженіе этой ненависти редакція *Современника* возложила на Новаго Поэта. Отъ его страннаго имени, она преслѣдуетъ посредствомъ пародій не только русскихъ второстепенныхъ поэтовъ, но даже Гейне, не только Гейне, но даже Лермонтова,

не только Лермонтова, но даже самого Пушкина. Вы удивляетесь? вы не вѣрите? вамъ кажется дикимъ, что какіе-нибудь производители пустыхъ стихковъ и петербургскихъ фельетоновъ осмѣливаются оскорблять тѣнь великаго поэта? О, не удивляйтесь! теперь на Пушкина смотрятъ совсѣмъ другими глазами, чѣмъ прежде. Авторитетъ Пушкина, если не уничтоженъ, то, по крайней мѣрѣ, сильно заподозрѣнъ. Въ нѣкоторыхъ журналахъ поговаривали, что многія даже лучшія стихотворенія Пушкина стали несовременны, что Пушкинъ ниже Гоголя, что онъ уступаетъ Лермонтову, потому что не рѣшаетъ подобно ему общественныхъ вопросовъ. Этого мало: нѣкто иногородный подписчикъ очень наивно и вѣрно назвалъ творца Евгенія Онѣгина *поэтомъ далеко не безукоризненнымъ*. Кромѣ того г. Милюковъ въ своемъ *очеркѣ Исторіи Русской Поэзіи* изъяснилъ радость, что Пушкинъ умеръ: по его мнѣнію Пушкинъ былъ бы очень несчастливъ, еслибъ дожилъ до нашего времени,—онъ былъ бы, какъ мертвецъ между живыми, потому что еще при жизни отсталъ отъ вѣка. Это мнѣдіе г. Милюкова, равно какъ и вся его книга было одобрено петербургскими журналами. Мы съ своей стороны также его одобряемъ. Въ самомъ дѣлѣ, что бы было съ бѣднымъ Пушкинымъ, еслибъ онъ остался въ живыхъ? Еще въ 1836 г. онъ отсталъ отъ вѣка и современныхъ вопросовъ, а вѣдь съ тѣхъ поръ общество ушло еще дальше въ дѣлѣ мысли. Сравните статьи Пушкина, писанныя въ послѣднее время его жизни, съ статьями г. Галахова, Сто-одного, съ брошюрой г. Милюкова и съ другими произведеніями новѣйшей критики, и вы увидите, какая между ними разница, и подумаете, что между вышесчисленными господами и Пушкинымъ протекло болѣе трехсотъ лѣтъ. Такіе быстрые успѣхи сдѣлали въ послѣднее время наука и искусство.

Итакъ, я вамъ уже сказалъ, что Новый Поэтъ *забавляется* писать пародіи на Пушкина и Лермонтова. Я, право, не знаю, чѣмъ объяснить такіе странные поступки со стороны редакціи *Современника*. Я было объяснилъ вамъ ихъ тѣмъ, что подобная редакція преслѣдуетъ стихи вообще; но только хотѣлъ я

это написать, какъ вдругъ вспомнилъ, что Новый Поэтъ написалъ однажды пародію и на одного прозаика, именно на Гоголя. Изъ этого, пожалуй, можно заключить, что Новый Поэтъ преслѣдуетъ своими пародіями не всѣхъ писателей-стихотворцевъ, а всѣхъ хорошихъ писателей. Помните-ли вы то величественное мѣсто въ Мертвыхъ Душахъ, гдѣ такъ патетически обращается Гоголь къ Россіи, и вполнѣ сознавая ту великую роль, которую онъ играетъ въ дѣлѣ народнаго сознанія, восклицаетъ: «Русь, Русь!.. чего ты хочешь отъ меня?.. Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?»

Помните ли вы, когда тотъ же Гоголь, истерзанный душевными муками, подавленный тяжестью возложенныхъ имъ на себя вопросовъ, въ своей Перепискѣ съ Друзьями, торжественно кается въ своихъ недостаткахъ и слабостяхъ, и говоритъ, что книга его есть личная потребность очищенія. Кажется, не со всѣмъ бы было добросовѣстно смѣяться надъ этими двумя фразами. Но Новый Поэтъ смѣется надо всѣмъ. Поэтому онъ слилъ во едино оба изреченія Гоголя, которыя мы здѣсь выписали, и составилъ изъ нихъ слѣдующую пародію:

Въ груди моей и буря, и смятеніе,
Святымъ восторгомъ вѣчно движимъ я,—
Внимаетъ мнѣ Россія съ умиленіемъ.
Чего же, Русь, ты хочешь отъ меня?
Зачѣмъ съ такимъ невиданнымъ волненьемъ
Не сводишь ты съ меня своихъ очей?
О Русь, о Русь, съ нѣмымъ благоговѣньемъ—
Чего же ждешь ты отъ моихъ рѣчей?...
Иль чувствуешь, что слово вдохновенья
Въ устахъ моихъ, пылающихъ огнемъ,
Есть личная потребность очищенія,
И потому такая сила въ немъ.

Новый Поэтъ.

Какъ вамъ нравится эта циническая выходка Новаго Поэта? Такъ не учтиво у насъ обращаются съ великими писателями.

И такъ вы видите, что жестоко достается корифеямъ нашей литературы. Чего-жъ послѣ этого ожидать мнѣ? Какъ послѣ

этого мнѣ рѣшиться напечатать свои стихотворенія! А мнѣ очень хочется ихъ напечатать. Какъ же мнѣ быть?—Вотъ какъ: попробую напечатать нѣсколько пародій. Это единственный родъ, который допускается современной журналистикой; ибо журналистика сама занимается составленіемъ пародій; послѣднее обстоятельство очень понятно: изъ всѣхъ родовъ поэзіи этотъ родъ самый легкій и безопасный. Вы, вѣрно, согласитесь съ моимъ тезисомъ, если прочтете тѣ немногія строки, въ которыхъ я выражу мое мнѣніе о пародіяхъ вообще. Главнѣйшее, истинно-дѣльное назначеніе пародій—высказать недостатки того стихотворенія, которое пародируется. Пародія должна смѣшать *только* указаніями на недостатки того произведенія, которое она изображаетъ въ каррикатурѣ, Такова добросовѣстная и дѣльная пародія, и такія пародіи писать довольно трудно. Но у насъ пародіи пишутся совсѣмъ иначе. Наши пародіи смѣшаютъ не указаніемъ на недостатки стихотвореній, но собственными неловкостями, не имѣющими въ характерѣ своемъ ничего общаго съ стихотвореніями, которыя осмѣиваютъ. Такія пародіи писать очень легко, по крайней мѣрѣ, легче, чѣмъ написать стихотвореніе отъ себя: если вы напишете отъ себя стихотвореніе, то должны будете отвѣчать за каждый стихъ: если какой-нибудь стихъ окажется неловкимъ и смѣшнымъ, вы не можете сказать, что это сдѣлали умышленно; а случись такое обстоятельство съ пародіей, вы можете отговориться:—скажете, что—это *нарочно*,—и всѣ будутъ смѣяться и восхищаться вашимъ произведеніемъ. Пародія должна быть непременно лучше того стихотворенія, на которое она написана. Вамъ, вѣрно, случалось видѣть, какъ иные, одаренные отъ природы способностью передразнивать, изображаютъ въ каррикатурѣ игру плохихъ актеровъ. Разумѣется, чтобы хорошо изобразить недостатки чьей-нибудь игры, надо имѣть болѣе сценическаго таланта, чѣмъ имѣетъ его тотъ, чью игру вы изображаете. — Есть еще родъ пародій, который владычествуетъ въ нашей литературѣ, но его я изображу ниже посредствомъ примѣровъ и выписокъ. Теперь, позвольте мнѣ вамъ представить мои слабые опыты въ

этомъ родѣ стихотворныхъ произведеній. Не будьте къ нимъ слишкомъ строги, и при чтеніи ихъ имѣйте постоянно въ виду, что это первый опытъ. Но чтобъ вы яснѣе видѣли, какое мѣсто могутъ занять мои пародіи между отечественными упражненіями по этой части, я буду ихъ постоянно ставить въ параллель съ произведеніями Новаго Поэта, который справедливо почитается *gran maestro* въ этомъ искусствѣ.

Помните ли вы прекрасное стихотвореніе Лермонтова: «они любили другъ друга такъ долго и нѣжно», которое я здѣсь на всякій случай выписываю?

Они любили другъ друга такъ долго и нѣжно,
Съ тоскою глубокой и страстью безумно мятеной;
Но, какъ враги, избѣгали признанья и встрѣчи,
И были пусты и хладны ихъ краткія рѣчи.
Они разстались въ безмоляномъ и гордомъ страданьи
И милый образъ во снѣ лишь порою видали;
И смерть пришла; наступило за гробомъ свиданье, —
Но въ мірѣ новомъ другъ друга они не узнали,

Это превосходное стихотвореніе Новый Поэтъ пародировалъ слѣдующимъ образомъ:

Въ одинъ трактиръ они оба ходили прилежно
И жили съ отвагой и страстью безумно-мятеной.
Враждебно кончались ихъ билліардные встрѣчи
И были и дики, и буйны ихъ пьяныя рѣчи.
Сражались они межъ собой, какъ враги и злодѣи,
И даже во снѣ другъ съ другомъ играли —
И вдругъ подрались, — хозяинъ прогналъ ихъ въ три шен,
Но въ новомъ трактирѣ другъ друга они не узнали.

Что хотѣлъ показать Новый Поэтъ этой пародіей? Неужели онъ хотѣлъ выказать недостатки стихотворенія Лермонтова? Если такъ, то надо сознаться, что это ему не удалось. Если вы хотите изобразить въ каррикатурѣ чью-нибудь фізіономію, то должны поставить на видъ все рѣзкое этой фізіономіи, все, чѣмъ она отличается отъ другихъ: тогда это будетъ карриатура. Но ежели вы, желая изобразить кого-нибудь въ каррикатурѣ, нарисуете какое-нибудь глупое и уродливое лицо, не имѣющее съ нимъ никакого сходства, и къ этому лицу придѣлаете какое-нибудь туловище, облеченное въ платье того человѣка,

котораго хотите осмѣять, то неужели это выйдетъ каррикатура? Ежели такъ, то, повторяю, пародіи писать очень легко,—и въ доказательство этого тезиса, предлагаю на судъ публики народю собственнаго сочиненія на одно тоже превосходное стихотвореніе Лермонтова:

Вотъ это стихотвореніе:

На свѣтскія цѣпи,
На блескъ упоительный бала
Цвѣтуція степи
Украины опа прожвняла,

Но юга роднаго
На ней сохранились примѣты
Среди ледянаго,
Среди безпощаднаго свѣта.

Какъ ночи Украйны
Въ мерцаніи звѣздъ незакатныхъ, —
Исполнены тайны
Слова ея усть ароматныхъ.

Прозрачны и сини,
Какъ небо тѣхъ странъ, ея глаза:
Какъ вѣтеръ пустыни,
И нѣмать, и жгутъ ея ласки;

И зрѣющей сливы
Румянецъ на щекахъ пушистыхъ,
И солнца отливъ
Играютъ въ кудряхъ золотистыхъ.

И слѣдуя строго
Печальной отчизны примѣру,
Въ надежду на Бога
Хранить она дѣтскую вѣру.

Какъ племя рсдное,
У чуждыхъ опоры не просить
И въ гордомъ покоѣ
Насмѣшку и зло переносить;

Отъ дерзкаго взора
Въ ней страсти не вспыхнуть пожаромъ;
Полюбить не скоро,
За то не разлюбить ужъ даромъ.

М. Лермонтова.

Что может быть граціознѣе, благоуханнѣе этого стихотворенія?
Но вотъ моя пародія на него:

* * *

На санъ полового
(Увы!) промѣнять онъ рѣшился
Видъ края роднаго
И избу, въ которой родился.

Но съ тайной тоскою
Глядитъ онъ на жизнь городскую —
Стремится душою
Въ губернію все Костромскую.

И края роднаго
На немъ сохранились знаки:
Безъ юмора влаго
Не можетъ глядѣть онъ на ераки;

Откупоривъ пробку,
На водку онъ гордый не проситъ,
И волосы въ скобку
И бороду длинную поситъ;

Недѣлю проводить,
Предавшись трактирнымъ заботамъ,
Но париться ходить
Онъ въ баню всегда по субботамъ;

Пьетъ водку онъ рѣдко,
За то ужъ когда онъ напьется, —
Ругается мѣтко
И сильно и больно дерется.

Въ немъ мало задора
Откроешь неопытнымъ глазомъ:
Ударить не скоро,
За то пришибетъ тебя разомъ

Э. Блажонкравовъ.

У Пушкина есть слѣдующее стихотвореніе:

Мигъ вожделѣнный насталъ, оконченъ мой трудъ многолѣтній.
Что-жъ непонятная грусть тайно тревожитъ меня?
Или, свой подвигъ свершивъ, я стою какъ поденщикъ ненужный,
Плату пріявшій свою, чуждый работъ другой?
Или жаль мнѣ труда, молчаливаго спутника ночи,
Друга авроры златой, друга пенатовъ святыхъ?

Въ концѣ I главы Евгенія Онегина, тотъ же Пушкинъ сказалъ:

Ступай же къ Невскимъ берегамъ,
Новорожденное творенье,
И заслужи мнѣ славы дань:
Кривые толки, шумъ и брань.

Эти четыре стиха Новый Поэтъ очень искусно слилъ съ выше-
выписаннымъ стихотвореніемъ и составилъ слѣдующую пародію:

Дивно! сердце невольно тоска обуяла, когда
Съ милымъ фантазіи чадомъ пришлось расставаться.
Долго тебя я голубилъ въ мечтѣ, какъ святыню;
Много съ тобою бессонныхъ ночей проводилъ я самъ-другъ
Читалъ, перечитывалъ снова — и купно съ друзьями
Звуками мной порожденными всласть упивался.
Бѣдное чадо мое! нынѣ идешь ты на судъ кривотолковъ.
Мужайся! искусство для нихъ не искусство — игрушка.
Взоромъ безстыднымъ своимъ люди тебя оскорбятъ,
Но прекраснаго участь (повѣрь мнѣ) всегда на землѣ такова.

Новый Поэтъ.

Какой тяжелый стихъ, какая неуклюжесть оборотовъ! Этакъ
и я могу распародировать любое стихотвореніе Пушкина. Для
примѣра напишу пародію на слѣдующую его пьесу:

РОМАНСЪ.

Предъ Испанкой благородной
Двое витязей стоятъ,
Оба смѣло и свободно
Въ очи прямо ей глядятъ.

Влещутъ оба красотою,
Оба сердцемъ горячи,
Оба мощною рукою
Оперлися на мечи.

Жизни имъ она дороже
И какъ слава имъ мила,
Но одинъ ей милъ — кого же
Дѣва сердцемъ избрала?

Кто, рѣши, любимъ тобою?
Оба дѣвъ говорятъ,
И съ надеждой молодою
Въ очи прямо ей глядятъ.

А. Пушкинъ.

Вотъ моя пародія на это стихотвореніе:

АРИЕТТА.

Передъ франтикомъ столичнымъ
Два извожника стоятъ,
Оба въ паросѣ обычномъ:
Оба везть его хотять,

Оба рядятся съ Неглинной
На Устрѣтенку, въ Грачи
Довести за пять-алтынный,
Оба съ виду лихачи.

Оба молоды и свѣжи,
Оба ростомъ высоки,
Оба съ полостью медвѣжьей,
У обоихъ рысаки.

Оба только на починѣ,
Оба мигомъ долетятъ.
По какой же злой причинѣ
Не садится гордый фатъ?

Э. Благоднравовъ.

Не правда ли, читатель, что моя пародія очень мила? Но вы кажется, ея оскорбляетесь, вамъ кажется неприличнымъ, что я противопоставилъ двумъ прекраснымъ юношамъ, горящимъ пылкой любовью къ благородной испанкѣ, двухъ извожниковъ, увлекающихъ патетической рѣчью московскаго дэнди. Вы оскорбляетесь, читатель, но что же вы не оскорблялись тогда, когда г. Некрасовъ написалъ пародію на «Баюшки-баю» Лермонтова и помѣстилъ ее въ изданномъ имъ *Петербургскомъ сборникѣ*. Но вы, можетъ быть, не помните этой пародіи? извольте, я вамъ напомню... Но чтобъ вы яснѣе видѣли, гдѣ больше неприличія, въ моей ли пародіи на романсъ Пушкина, или въ пародіи г. издателя Современника на пѣсню Лермонтова, — выпишу и эту пѣсню.

КАЗАЧЬЯ КОЛЫВЕЛЬНАЯ ПѢСНЯ.

Спи, младенецъ мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотреть мѣсяцъ ясный
Въ колыбель твою.

Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты-жъ дремля, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камнямъ струится Терекъ,
Плещетъ мутный валь;
Злой Чеченъ ползетъ на берегъ,
Точить свой кинжалъ;
Но отецъ твой — старый воинъ,
Закалёнъ въ бою:
Спи, малютка, будь спокоенъ,
Баюшки-баю.

Самъ узнаешь, — будетъ время! —
Бранное житье;
Смѣло вдвнешь ногу въ стремя
И возьмешь ружьё.

Я сѣдельце боевое
Шелкомъ разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь съ виду
И казакъ душой,
Провожать тебя я выду —
Ты махнешь рукой...

Сколько горькихъ слезъ утѣдкой
Я въ ту ночь пролью!...

Спи, мой ангелъ, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутѣшно ждать;
Стану цѣлый день молиться,
По ночамъ гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты въ чужомъ краю...

Спи-жъ, пока заботъ не знаешь,
Баюшки-баю.

Дамъ тебѣ я на дорогу
Образокъ святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь передъ собой;
Да, готовясь въ бой опасный,
Помни мать свою...

Спи, младенецъ мой прекрасный,
Баюшки-баю.

М. Лермонтова.

КОЛЫВЕЛЬНАЯ ПѢСНЯ

(Подражаніе Лермонтову).

Спи, пострѣль! пока безвредный,
Баюшки-баю.
Тускло смотреть мѣсяцъ мѣдный
Въ колыбель твою.
Стану сказывать не сказки —
Правду пропою.
Ты-жъ дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По губерніи раздался
Всѣмъ отрадный кликъ,
Твой отецъ подъ судъ попался,
Явныхъ тѣмъ уликъ!
Но отецъ твой, плутъ извѣстный,
Знаеть роль свою.
Спи, пострѣль, покуда честный!
Баюшки-баю.
Подростешь — и міръ крещеный
Скоро самъ поймешь,
Купишь ермекъ темнозеленый
И перо возьмешь.
Скажешь: „я благонамѣренъ,
За добро стою“.
Спи, твой путь грядущій взрешь!
Баюшки-баю.
Будешь ты подъячій съ виду
И подлецъ душой,
Провожать тебя я выду —
И махну рукой.
Въ день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою.
Спи-жъ, пострѣль, пока невинный!
Баюшки-баю.
Тихъ и кротокъ, какъ овечка,
И крѣпокъ лбомъ,
До хорошаго мѣстечка
Доползешь ужемъ
И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.

Купишь домъ многоэтажный,
Схватишь крупный чинъ,
И вдругъ станешь баринъ важный:
Русскій дворянинъ.
Заживешь — и мирно, асно
Кончишь жизнь свою,
Спи, чиновникъ мой прекрасный.
Баюшки-баю.

Н. Некрасовъ.

Ежели г. Некрасовъ позволилъ себѣ написать подражаніе Лермонтову въ такомъ приличномъ тонѣ, то да позволено же будетъ и мнѣ написать въ томъ же тонѣ подражаніе и самому г. Некрасову. Со страхомъ и трепетомъ приступаю къ этому подвигу, и выписываю слѣдующее стихотвореніе:

Если, мучимый страстью мятежной,
Позабылся ревнивый твой другъ,
И въ душѣ твоей кроткой и вѣжной
Злое чувство проснулося вдругъ,—
Все, что вызвано словомъ ревнивымъ,
Все, что подняло бурю въ груди,
Переполнена гнѣвомъ правдивымъ,
Безпощадно ему возврати;
Отвѣчай негодующимъ взоромъ,
Оправданья и слезы осмѣй,
Порази его жгучимъ упоромъ,—
Всю до капли досаду излей!

Но когда, отдохнувъ отъ волненья,
Ты поймешь его грустный недугъ,
И дождется минуты прощенья
Твой безумный, но любящій другъ,—
Позабудь неповинное слово
И упрекомъ своимъ не буди
Угрызеній мучительныхъ снова
У воскресшаго друга въ груди!
Вѣрь, обидный порывъ подозрѣнья
Безъ того ему много принесть
Полныхъ муки, тревогъ, сожалѣнья
И раскаянья поздняго слезъ.

Н. Некрасовъ.

Вотъ мое слабое подражаніе г. Некрасову:

Если кроткій, какъ волъ, въ трезвомъ видѣ,
Во хмѣлю не покоенъ твой другъ,

И придравшись къ пустячной обидѣ,
Онъ тебя по лицу хватить вдругъ, —

Всѣмъ, что въ руки тебѣ попадется,
Поскорѣ въ него запусти:
Онъ сробѣетъ, притихнетъ, уймется;
Тутъ ты водку вели увести.

Если водки просить еще будетъ,
Ни погрюмки ему не давай,
И скажи, что дѣтей перебудить:
„Спать, молъ, старый невѣжа, ступай!“

Но когда на другой день проспится,
И вчерашнее вспомнивши вдругъ,
Прибѣжить предъ тобой извиниться
Твой, хоть пьющій, по любящій другъ, —

Ни рассказомъ, ни темнымъ намекомъ
О вчерашнемъ его не тревожь,
Ни укоромъ, ни робкимъ упрекомъ
Нестерпимыхъ страданій не множъ.

Твой упрекъ для него хуже будки...
На твоихъ онъ наказанъ глазахъ
Тошнотой, страшной болью въ желудкѣ
И трясеньемъ въ рукахъ и ногахъ.

Э. Битонравовъ.

У Нового Поэта есть еще манера пародировать: иногда онъ пародируетъ такъ, что у его пародіи нѣтъ ничего общаго съ стихотвореніемъ, на которое оно написано, не исключая даже и размѣра стиха. Напримѣръ, какъ вамъ нравится это стихотвореніе?

Я здѣсь, Инезилъя,
Стою подъ окномъ;
Объята Севилья
И мракомъ, и сномъ.

Исполненъ отвагой,
Окутанъ плащемъ,
Съ гитарой и шпагой
Стою подъ окномъ.

Ты спишь-ли? Гитарой
Тебя разбуджу.
Проснется ли старый?
Мечемъ уложу.

Шелковыя петли
Къ окошку привѣсь;
Что медлишь? ужъ нѣтъ ли
Соперника здѣсь?

Я здѣсь, Инезилья,
Стою подъ окномъ.
Объята Севилья
И мракомъ, и сномъ.

А. Пушкинъ.

Вотъ еще другое прекрасное стихотвореніе Пушкина въ этомъ же родѣ:

Ночной зефиръ
Струить эфиръ.
Шумить, бѣжитъ Гвадалквивиръ.
Вотъ взошла луна золотая..
Тише! чу!.. гитары звонъ...
Вотъ Испанка молодая
Оперлася на балконъ.

Ночной зефиръ, и пр.
Скинь мантилью, ангелъ милый,
И явись, какъ ясный день;
Сквозь чугунныя перилы
Ножку дивную продѣнь!..

Ночной зефиръ, и пр.

Новый поэтъ слилъ эти два стихотворенія и написалъ слѣдующую пародію:

С Е Р Е Н А Д А.

Въ томной пѣгѣ утопая,
Сладострастія полна,
Луннымъ свѣтомъ обитая,
Вотъ Севилья, вотъ она!

Упоительно прекрасенъ,
И вкушая сладкій миръ,
Вотъ онъ блещетъ, гордъ и ясенъ,
Голубой Гвадалквивиръ. —

Вблизи пореиловыхъ ступеней,
Надъ заснувшею водой,
Тамъ, гдѣ двѣ сплелись сирени,
Аядалузецъ молодой. —

Шляпа съ длинными полями,
Плащъ закинуть на плечо,
Двѣ морщины надъ бровями,
Взоръ сверкаетъ горячо. —

Подъ плащемъ его гитара
И кишжалъ, надежный другъ,
Въ мысляхъ только донья Клара...
Чу!.. и вдругъ гитары звукъ...

Съ первымъ звукомъ у балкона
Промелькнула, будто тѣнь;
То она, въ тѣни лимона,
Хороша, какъ ясный день!

То она!.. и онъ трепещетъ,
Звуки льетъ, какъ соловей,
Заливается и мечетъ
Огнь и пламень изъ очей.

Донья внемлетъ въ упоеньи,
Ей отрадно и легко,
Въ этихъ звукахъ, въ этомъ пѣньи
Все такъ бурно — глубоко!

Подъ покровомъ темной ночи,
Пѣсни пламенной въ отвѣтъ,
Потуплая скромно очи,
Донья бросила букетъ. —

Въ томной нѣгѣ утопая,
Сладострастія полна,
Луннымъ свѣтомъ облитая,
Вотъ Севилья, вотъ она!

Новый Поэтъ.

Общее между стихотвореніями Пушкина и произведеніемъ Новаго Поэта только слѣдующее: всѣ опи серенады; у Пушкина описывается Испанецъ, поющій передъ окномъ Испанки, и у Новаго Поэта описывается Испанецъ, поющій передъ окномъ Испанки; у Пушкина упоминается о гитарѣ, и у Новаго Поэта упоминается о гитарѣ, у Пушкина упоминается о Гвадалквивирѣ, и у Новаго Поэта говорится объ этой рѣкѣ; у Пушкина Севилья, и у Новаго Поэта Севилья; у Пушкина сказано: *чу!* и у Новаго Поэта тоже сказано: *чу!*

Желательно бы знать, съ какой цѣлью написана эта пародія. Недостатковъ выписанныхъ мной стихотвореній Пушкина, она не раскрываетъ. Правда, она очень безцвѣтна, водяна и мѣстами шероховата по стиху, но вѣдь Пушкинъ въ этомъ насколько не виноватъ: оба его стихотворенія представляютъ образчики гладкости, блеска и рельефности образовъ.

Постараюсь сдѣлать подражаніе Новому Поэту. Возьму два изъ самыхъ лучшихъ стихотвореній Пушкина, *солью ихъ*, — и сдѣлаю пародію въ родѣ *Серенады* Новаго Поэта.

Я васъ любилъ: любовь еще, быть можетъ,
Въ душѣ моей угасла не совсѣмъ,
Но пусть она васъ больше не тревожитъ,
Я не хочу печалить васъ ничѣмъ.
Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью тонимъ;
Я васъ любилъ такъ пламенно, такъ нѣжно,
Какъ дай вамъ Богъ любимымъ быть другимъ.

А. Пушкинъ.

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться!
Спокойствіе свое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться.
Нѣтъ, полно мнѣ любить! Но почему-жъ порой
Не погружуся я въ минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдетъ передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдетъ и скроется? Ужель не можно мнѣ
Глазами слѣдовать за ней, и въ тишинѣ
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцемъ ей желать всѣ блага жизни сей,
Веселый міръ души, безвечные досуги,
Все, даже счастье того, кто избранъ ей,
Кто милой дѣвъ дастъ названіе супруги?

А. Пушкинъ.

Давно я васъ люблю, живу и движусь вами,
Бесплодной страстію давно томится грудь,
Но никогда ничѣмъ — ни взглядомъ, ни словами
Я вамъ не смѣлъ объ этомъ намекнуть:

Моя любовь, мои горячія признанья
Вамъ душу робкую разстроятъ и смутить;
Больной моей души безумныя страданья
Болѣзнью тяжкою вамъ душу заразить;

Въ себя, страданіямъ моимъ въ вознагражденье,
Любовь насильно вы рѣшитесь возбудить
Ко мнѣ. Но не хочу любви изъ сожалѣнья!
Я знаю: вы меня не можете любить.

Къ чему искать любви мнѣ вашей, къ вамъ стремиться?
Душѣ безгрѣшной и простой
Не полюбить меня, но вѣки не сродниться
Съ душой преступною, суровой и больной.

Напрасно къ вамъ любовь я, какъ змѣю, лелѣю,
Напрасно мнѣ она томить и сущить грудь:
Я знаю, что вы вѣки не будете моею,
Что я безъ васъ пройду печальный жизни путь.

Когда стоите вы, какъ ангелъ, предо мною,
Съ глазами полными и мира, и огня,
Я говорю въ душѣ съ ревнивою тоскою:
„Ахъ, этотъ цвѣтъ цвѣтеть не для меня!“

.....

Всѣхъ этихъ мукъ любви, всей этой блажи, дури
Дай Богъ, дай Богъ вблизи вамъ не видать
И по театру лишь да по литературѣ
Ихъ въ отвлеченномъ видѣ знать.

Когда же и для васъ придетъ пора желаній
И сладкихъ грѣзъ, волнующихъ намъ кровь, —
Пускай, какъ благодать святая, безъ страданій
Въ васъ тихимъ пламенемъ затеплится любовь...

Но... ахъ!.. признайтесь мнѣ (я тайны не нарушу)...
Быть можетъ, ужъ пора любви для васъ пришла?
Быть можетъ, милую и родственную душу
Едва разцвѣтшая душа уже нашла...

О, если вами онъ любимъ и васъ достоинъ
И можетъ васъ любить, цѣнить и понимать, —
Я радуюсь за васъ... я счастливъ... я спокоенъ...
Я буду вашъ союзъ всегда благословлять.

Э. Бламонрасовъ.

Я сказалъ, что выписанная мною пародія Новаго Поэта отличается безцвѣтностью, водяностью и шероховатостью стиха; этими же самыми достоинствами отличается и моя пародія.

Но довольно пародировать Пушкина. Пародировать очень легко. Оттого можно не только пародировать стихи Пушкина и Лермонтова, но даже творенія самого г. Некрасова. Г. Некрасовъ написалъ слѣдующее, въ высшей степени граціозное, какъ по идеѣ, такъ и по выполнению, стихотвореніе:

В У Р Я.

Не любилъ я ни грома, ни бури
И боялся, когда по лазури,
Разрушеніе и гибель тая,
Пробьжить золотая зѣя.
Да вчера молодая сосѣдка
Мнѣ сказала: „въ саду есть бесѣдка;
Какъ стемнѣть, туда приходи“.
Расходилося сердце въ груди!
Я не зналъ, какъ я ночи дождуся,
Вдругъ гляжу, и повторить боюсь:
Обложилось небо кругомъ,
Блещетъ молнія, — буря и громъ.
Проклиная докучную бурю,
Пуще прежняго брови я хмурю,
И въ бесѣдку, тоскуя, иду,
Что сосѣдки я тамъ не найду:
„Вѣдь она и робка, и лѣнива,
Въ бурю выдти ей изъ дому диво,
И не вѣрять, что счастье мое
Цѣлый міръ исходить для нея!
Ахъ, люби она столько же страстно,
Не казалась бы буря опасна,
Не казалась бы ночь ей темна,
Да настолько ли любить она?“
Безъ надежды вхожу я въ бесѣдку,
Озираюсь — и вижу сосѣдку!
— „Я боялся, что ты не придешь.“
Не хочу, да и словъ не найдешь
Передать эти жаркія рѣчи,
Эту радость условленной встрѣчи.
„Оба, другъ мой, боялися мы,
„Но не грома, не бури, не тьмы:

„Пусть тамъ буря реветъ нестерпимо,
„Наша туча промчалася мимо,
„Наше счастье тихо цвѣтеть,
„Наше сердце любовью живетъ.“
Я сушилъ ея мокрыя ножки,
И чѣмъ ярче блистали окошки,
Озаряясь мгновеннымъ лучемъ,
И чѣмъ больше пугалъ ее громъ,
Тѣмъ, любви ея вѣра сильнѣе,
Наслаждался и жилъ я полнѣе,
И блаженной какой тишиной
Взялъ бури пронзительной вой
Въ эту темную ночь надо мной...
Не боюсь теперь грома и бури,
И когда по румяной лазури
Проблещитъ золотая змѣя,
Не робкую, а радуюсь я.

Н. Некрасовъ.

Вотъ моя пародія:

К О Ф Е Й.

Я сначала терпѣть не могъ кофей,
И когда человѣкъ мой Прокофѣй
По утрамъ съ нимъ являлся къ женѣ,
То всегда тошно дѣлалось мнѣ.

Больше чувствовалъ склонность я къ чаю,
Но записочку разъ получаю:
„Завтра утромъ приди, милой мой —
„Визитъ кофей пить будемъ съ тобой.“

Въ мигъ всю ложность и всѣ затрудненія
Я постигъ моего положенія.
Но законъ для меня *billet doux* —
На свиданіе къ милой иду.

Я дорогой дрожу весь заранѣ,
Прихожу. Что-жь? Она на диванѣ
Передъ столикомъ чайнымъ сидитъ —
На спирту сама кофей варитъ.

Я не ждалъ такой дивной картины!
Опустили мы мигомъ гардины,
Чтобъ чей злой и насмѣшливый глазъ
Не замѣтилъ бы съ улицы насъ...

Соч. Б. Н. Амазова. Т. III.

Опишу ли весь пылъ упоенья!
Все, что можетъ себя въ услажденье,
Когда время свободное есть,
На просторъ любовь изобрѣсть —

Все тогда съ нею мы испытали. —
О, съ какимъ наслажденьемъ глотали
Жирный кофеи мы послѣ того:
Чашекъ десять я выпилъ его.

Она выпила тоже немало,
И прощаясь, мнѣ вѣжно сказала:
„Другъ мой милый, до этого дня
„Не любила вѣдь кофею я. —

„Я его съ отвращеньемъ варила,
„Но себя той надеждою льстила,
„Что охотникъ до кофею ты, —
„И сбилось предвѣщанье мечты,

„Но чего и въ мечтахъ мнѣ не снилось,
„То со мною внезапно случилось:
„Прежде кофеи я въ ротъ не брала,
„А теперь съ наслажденьемъ пила!“

— „Онъ мнѣ тоже всегда былъ противенъ.
(Я сказалъ ей въ отвѣтъ), о, какъ дивенъ
Вулканическій пламень страстей:
Онъ привычки мѣняетъ людей.“

Съ той поры полюбилъ я и кофеи.
Весьма часто, когда мой Прокопей
По утрамъ съ нимъ приходитъ къ женѣ,
Я кричу: „дай, братъ, чашку и мнѣ“.

Э. Благовровъ.

Но вы, можетъ быть, скажете, что ужъ это стихотвореніе г. Некрасова чрезчуръ плохо, и что потому его легко пародировать. Правда, что неуклюжѣ этого стихотворенія едва ли можно что-нибудь найти: оно несравненно хуже всѣхъ стихотвореній, которыя пародировались въ Современникѣ. Но возьмемъ два лучшія стихотворенія г. Некрасова, и несмотря на всю ихъ прелесть, постараемся сдѣлать на каждое по пародіи.

П Ъ Я Н И Ц А.

Жизнь въ трезвомъ положеніи
Куда не хороша!
Въ томительномъ бореніи
Сама съ собой душа,
А умъ въ тоску мучительной...
И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.
Все та же хата бѣдная
Становится бѣднѣй,
И мать — старуха бѣдная —
Еще бѣднѣй-бѣднѣй.
Запуганный, задавленный,
Съ поникшей головой
Идешь, какъ обезславленный,
Гнушаясь самъ собой.
Сгараешь злобой тайною
На скудный твой нарядъ,
Съ усмѣшкой несчастливою
Всѣ, кажется, глядятъ.
Все, что во силъ мерещется,
Какъ будто бы на зло,
Въ глаза вѣтъ такъ и мечется
Роскошно и свѣтло!
Все — поводъ къ искушенію,
Все дразнить и томить,
И руку къ преступленію
Нетвердую манить...
Ахъ, еслибъ часть ничтожную!...
Старушку-бъ полѣчать,
Сестрамъ бы перескошную
Обновку подарить!
Страхнуть ярмо тяжелаго
Гнетущаго труда, —
Быть можетъ, буйну голову
Сносишь бы я тогда!
Покинувъ путь губительный,
Нѣшелъ бы путь иной,
И въ трудъ иной — свѣдѣтельный —
Поникъ бы всей душой.
Но тѣмъ отвсюду черная
На встрѣчу бѣдиакъ...
Одна открыта торная
Дорога къ кабаку.

II. Нехрасовъ.

Что можетъ быть энергичнѣе этого стихотворенія и по содержанию, и по выполнению? А вѣдь у меня и на него есть пародія. Читайте:

ПРОПОНЦА

Когда въ кабакъ за водкою
Мнѣ не на что послать,
Когда сухою глоткою
Ротъ влюбный проклипать,
Молишь о сожалѣнн
Нѣтъ больше силъ во мнѣ,
Вся лучшія движенья
Какъ будто въ мертвомъ снѣ.
Пылаешь тайной злобою,
Сгараешь отъ стыда —
И собственной особою
Гнушаешься тогда.
На бороду небритую,
На прорванный халатъ
И на щеку разбитую
Всѣ, кажется, глядятъ;
Крещенскимъ грознымъ холодомъ
Мнѣ вѣтъ отъ людей;
Животъ подводитъ голодомъ,
Душа полна страстей,
Мигъ каждый представляется
Мнѣ случай впасть въ порокъ
То мнѣ въ глаза кидается
Фуляровый платокъ,
Прельщаюсь то монетою,
То цѣпью золотой,
Тогда я вамъ советую
Присматривать за мной.
Все, что легко уносится,
Какъ можно дальше класть:
Все въ руки такъ и просится.
Все хочется украсть;
Подобныя стремленія,
Я за просто скажу,
Нерядко въ исполненіе
Съ успѣхомъ правожу.
Что дѣлать? обстоятельство!..
Ахъ, если бы заняты
На слово, безъ ручательства,
Цѣлковыхъ тридцать пять!...

Сюртукъ себѣ хотъ старенькій
На площади-бъ купилъ,
И дѣтямъ: Надѣ съ Варенькой
По платьицу бы сшилъ,
Потѣшилъ бы для праздника,
Сводилъ бы въ балаганъ,
Купилъ бы для проказника
Сережки барабанъ,
И матери-бъ подарочки
Для виду хотъ купилъ;
Съ друзьями бы по чарочкѣ
Полынной пропустилъ...
Но деньгамъ, что случаются,
Дорога всеѣмъ одна —
Всеѣмъ мигомъ отправляются
Въ питейный домъ сполна.

Э. *Благонравовъ.*

Теперь мнѣ остается составить пародію на самое лучшее произведеніе г. Некрасова, которое здѣсь слѣдуетъ:

Т Р О Й К А.

Что ты жадно глядишь на дорогу
Въ сторонѣ отъ веселыхъ подругъ?
Знать забило сердечко тревогу —
Все лицо твое вспыхнуло вдругъ.

И зачѣмъ ты бѣжишь торопливо
За проѣзжею тройкой во слѣдъ?
На тебя, подбоченясь красиво,
Заглядѣлся проѣзжій корнетъ.

На тебя заглядѣться не диво,
Полюбить тебя всякій не прочь...
Вьется алая лента игриво
Въ волосахъ твоихъ — черныхъ, какъ ночь;

Сквозь румянецъ щекъ твоей смуглой
Пробивается легкій пушокъ,
Изъ подъ брови твоей полуокруглой
Смотритъ бойко лукавый глазокъ.

Взглядъ одинъ чернобровый дикарки,
Полный чаръ, зажигающихъ кровь,
Старика разорить на подарки,
Въ сердце юноши вмѣстѣ любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будетъ жизнь и полно, и легка...
Да не то тебѣ пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродливо грудь,
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ,
А свекровь въ три погибели гнуть.

Отъ работы и черной, и трудной
Отцвѣтешь, не успѣвши разцвѣсть...
Погрузишься ты въ сонъ непробудный:
Будешь нянчить, работать и ѣсть.

И въ лицѣ твоёмъ, полномъ движенія,
Полномъ жизни, — появится вдругъ
Выраженіе тупаго терпѣнія
И бессмысленный, вѣчный испугъ.

И схоронятъ въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Не гляди же съ тоской на дорогу
И за тройкой во слѣдъ не спѣши,
И тоскливую въ сердцѣ тревогу
Поскорѣй навсегда заглуши.

Не нагнать тебѣ бѣшеной тройки:
Кони крѣпки и сыты, и бойки, —
И ящикъ подъ хвѣлькомъ, и къ другой
Мчится вихремъ корпеть молодой.

Н. Некрасовъ

Вотъ моя пародія:

ЖУРНАЛИСТИКА.

Что съ тобой? ты дрожишь отъ волненія,
Предъ тобою раскрытый журналъ...
Знать, статью своего сочиненія
Ты въ печати впервые увидалъ!

Я съ горячей слезой умиленія
И сердечнымъ участіемъ гляжу
На твой трепетъ, восторгъ и волненіе;
Въ положеніе твое я вхожу:

Съ юныхъ лѣтъ полюбилъ ты словесность,
Упражнялся съ любовію въ ней,
Съ юныхъ лѣтъ тебѣ свѣдѣна невѣдомость
И открытія въ сѣрѣхъ идей.

И къ тому, что во снѣ только смѣли
Рисовать тебѣ робко мечты,
Наконецъ приступаешь на дѣлѣ,
Какъ къ великому таинству, ты.

Благороднаго сердца стремленье
Съ приговоромъ сошлося судьбы:
Ты идешь на святое служенье,
На арену журнальной борьбы.

Воспѣвая высокія чувства,
Станешь правдѣ учить ты людей,
Объяснишь имъ созданья искусства
И откроешь міръ новыхъ идей;

Вичевать станешь смѣло пороки,
Къ исправленью сердца призывать
И облитыя горечью строки,
Какъ перуны, въ неправду метать.

На ученье твое отзовется
Много пылкихъ и юныхъ сердецъ,
И фортуна тебѣ улыбнется,
И сплететъ тебѣ слава вѣнецъ.

Понемногу своими статьями
Ты составишь себѣ капиталъ, —
И тогда, вступивъ въ долю съ друзьями,
Ты начнешь издавать самъ журналъ.

Потрудишься, напишешь въ немъ въ волю!
Твой журналъ будетъ дивомъ для всѣхъ...
Да не то тебѣ пало на долю:
Будетъ смертью тебѣ твоей успѣхъ.

Эфемернымъ пресытись успѣхомъ,
Ведернешъ носъ, охладѣешь къ труду,
И мірскимъ весь отдашься утѣхамъ,
И толпы подчинишься суду;

И предъ свѣтскихъ приличій закономъ
Будешь ты трепетать и вѣмѣть,
Будешь бредить кокеортомъ и тономъ, —
Размышлять, въ какой часъ что надѣть.

Дорогую наймешь ты квартиру,
Съ моднымъ свѣтомъ знакомство сведешь;
(Залетишь ты въ опасную сѣеру, —
Закружишься, — морально падешь).

И забудешь святое призванье,
Отъ науки себя отдалишь
И запустишь журнала изданье,
И талантъ свой уронишь, заспишь.

И лица твоего выраженье
Жизнь такая какъ разъ измѣнитъ:
Потеряетъ оно жизнь, движенье, —
Приметъ пошлый, натянутый видъ.

Жизнь такая, такое веселье
Скоро, скоро приносить плоды!
Скука, свѣткость, дендизмъ, и бездѣлье
На лицѣ оставляють слѣды.

И схоронять въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты печальный свой путь,
На пирахъ истощенную силу,
Коньякомъ изсушенную грудь

Э. Благодоровъ.

Какъ вамъ нравится это стихотвореніе, Новый Поэтъ?
Прощайте, Новый Поэтъ! будьте счастливы! остаюсь истинно
къ вамъ расположенный фаворитъ вашъ

Эрастъ Благодоровъ.

С. Добромыслово, Благово тожъ.
1851 года 5 Іюля.

ФЕЛЬЕТНЫ ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА.

НАБЛЮДЕНІА ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА

НАДЪ РУССКОІ ЛІТЕРАТУРОІ И ЖУРНАЛИСТИКОІ.

1852 г.

НАБЛЮДЕНІЯ

ЭРАСТА БЛАГОНРАВОА

надъ русской литературой и журналистикою.

Эрастъ Благонравовъ, бросявъ перчатку всѣмъ русскимъ журналамъ и ожесточивъ ихъ противъ себя столько, сколько ему на первый разъ было надобно, удалается съ литературнаго поприща; но опять на него возвращается и для почина хвалить самого себя. — Перечень русскихъ журналовъ и приблизительное исчисленіе русскихъ писателей: гг. Гончаровъ, Дружининъ, Папаевъ, графъ Саллогубъ, Григоровичъ, Нестроевъ, Островскій, Писемскій, Бергъ, Щербина, Мей, Майковъ, Огаревъ, Фетъ, Полонскій, Некрасовъ, Хомяковъ; о дамахъ-писательницахъ не упоминается. Эрастъ Благонравовъ не отказываетъ въ нѣкоторомъ сочувствіи Новому Поэту и Иногородному Подписчику, но отзывается съ большимъ пренебреженіемъ о рецензентѣ Отечественныхъ Записокъ. Э. Благонравовъ вѣдѣтъ, что въ его отсутствіе надѣлала русская литература: Статьи г. Галахова; г. Краевскій и его взглядъ на искусство. — Романъ г. жи Туръ. — Пропилеи г. Леонтьева. — Заключеніе въ лирическомъ родѣ.

Осмѣянный *Современникомъ*, уязвленный *Библиотекой для Чтенія*, оплаканный прошлогодними *С-Петербургскими Вѣдомостями*, оклеветанный *Отечественными Записками*, нерезгданный публикой, оцѣненный однимъ потомствомъ, «фельетонистъ, состоящій при молодой редакціи» — Эрастъ Благонравовъ, по возобновленіи, въ первый разъ имѣетъ честь выступить на литературное поприще.

Итакъ храбрый, неустрашимый, непобѣдимый Эрастъ опять на полѣ битвы, опять поднимаетъ свое знамя!.. Се старый Бульба, отправляющійся въ Сѣчь, послѣ многолѣтней праздной жизни! Се Цинцинать, возвращающійся отъ плуга къ жизни государственной!.. Се Ахиллъ, выходящій изъ преступнаго без-

дѣйствія и устремляющій свои удары на старую Трою! Се Наполеонъ, возвратившійся съ острова Эльбы!

Эрасть, Эрасть! Ты еще очень недавно выступилъ на литературную арену (не болѣе, какъ годъ¹), ты очень мало написалъ (всего какихъ-нибудь четыре фельетончика), — а сколько шуму ты надѣлалъ! Сколько создалъ себѣ враговъ! Сколько самолюбій смертельно ранилъ! Сколько крови испортилъ у старыхъ русскихъ литераторовъ! Сколько пробудилъ отъ мирнаго летаргическаго сна и тѣмъ весьма обезпокоилъ! Четырмя фельетончиками ты потрясъ до основанія все величественное, одиннадцатилѣтнее зданіе русской журналистики. Твои фельетоны, напечатанные въ концѣ одного «не совсѣмъ извѣстнаго» русскаго журнала «на заднемъ планѣ его», какъ выразился одинъ великій критикъ, несмотря на это, обратили на себя вниманіе всѣхъ русскихъ журналовъ: ихъ открыли; о нихъ писали, писали, писали... и теперь кажется еще пишутъ. О Эрасть, Эрасть! О мощный, неустрашимый духъ! О послѣднее проявленіе варяжскаго (норманскаго?) элемента русской исторіи!

Да, судьба моя престранная. Родился я отъ благородныхъ родителей, воспитанъ прекрасно, и вдругъ—figurez-vous—дѣлаюсь русскимъ писателемъ. Я право этого не предполагалъ... Я какъ-то совершенно нечаянно написалъ четыре статейки,—и у меня явилось пропасть враговъ, которые обо мнѣ очень заботятся и преслѣдуютъ меня всѣми средствами. Меня бранятъ, на меня клеветаютъ, меня унижаютъ, со мной даже вступаютъ въ полемику рецензентъ *Отечественныхъ Записокъ*, на меня злобно намекаютъ какія-то, впрочемъ очень полезныя, вѣдомости. Обвиненія, которыя были на меня взводимы, самыя разнообразныя. Я думалъ отъ нихъ отмолчаться, потому что находилъ, что не изъ чего подымать шуму, и потому что не давалъ большаго значенія ни моимъ статьямъ, ни тому что противъ нихъ писано. Но такъ какъ меня увѣдомили, что выходки противъ моихъ статей еще продолжаются, то я рѣшаюсь однажды на всегда оправдаться и высказать мое profession de foi передъ моими малочисленными, но горячо любимыми мной

читателями. Итакъ, любезные читатели, прошу васъ меня выслушать и принять мое дѣло на апелляцію.

Главное и самое серьёзное обвиненіе, которое на меня взводили, состоитъ въ томъ, что будто бы я, обученный самымъ неукротимымъ самолюбіемъ, дерзнулъ смѣяться надъ такими литературными дѣателями, которые должны внушать къ себѣ одно только благоговѣніе. Но таковыми литературными дѣателями могутъ быть признаны только люди, подобные Ломоносову, Жуковскому, Пушкину, Гоголю и другимъ писателямъ, сдѣлавшимъ переворотъ въ нашей литературѣ. Отсохни языкъ мой, если я хоть однажды произнесъ хулу противъ такихъ личностей. Дѣатели, которыхъ я задѣвалъ, самые обыкновенные люди, и тотъ, кто осмѣлится ихъ поставить на одну доску съ вышепоименованными великими дѣателями нашей литературы, долженъ быть обвиненъ въ крайней безтактности, пристрастіи и слѣпотѣ.

Меня упрекали въ томъ, что я слишкомъ серьёзно смотрю на литературное дѣло и слишкомъ строгъ къ литературнымъ произведеніямъ; мнѣ совѣтовали смотрѣть на литературу полегче, быть терпимѣе къ ея безобразію и писать статьи беззаботнѣе и повеселѣе.

Съ дѣтства моего я горячо любилъ русскую литературу; долго она была для меня главнымъ источникомъ восторговъ и наслажденій, главною руководительницею въ моемъ развитіи. Оттого я привыкъ на нее смотрѣть какъ на что-то очень серьезное, привыкъ отъ нея требовать поученія и однихъ высоконравственныхъ наслажденій. Я никакъ не могу согласиться съ тѣми, кто смотритъ на литературу, какъ на вещь, которая должна насъ только развлекать и забавлять, подобно бильярдной игрѣ, верховой ѣздѣ, танцамъ и романамъ Александра Дюма. Въ наше время расплодилось много людей даже умныхъ, которые такъ легко смотрятъ на литературу и ищутъ въ художественныхъ произведеніяхъ только самаго легкаго удовольствія; они сердятся на автора, ежели произведеніе его слишкомъ ихъ потрясаетъ, и особенно, ежели пробуждаетъ ихъ совѣсть. Прекрасно

сказалъ про нихъ Гоголь въ первой части Мертвыхъ Душъ, что этимъ господамъ могутъ нравиться только такія произведенія, которыя ихъ не тревожатъ, по прочтеніи которыхъ они не волнуются, не чувствуютъ ни угрызений совѣсти, ни мучительной жалости къ ближнему и тревоги о его участи,—и могутъ очень спокойно усѣсться за карточный столъ, или вообще заняться чѣмъ-нибудь серьезнымъ, требующимъ спокойнаго расположенія духа. Вотъ отчего эти господа такъ не любятъ Гоголя, этого вѣчнаго врага нашей совѣсти, гонителя апатіи и самодовольства. Я, какъ вы видите, совершенно не согласенъ съ такимъ взглядомъ на литературу; потому прошу васъ представить мое положеніе, когда я всмотрѣлся и вникъ въ состояніе современной нашей литературы; прошу васъ вообразить тѣ чувства, съ какими я сталъ смотрѣть на нее съ той поры, какъ она сдѣлалась рынкомъ, гдѣ сбываются сырые, грубые литературные продукты, и гдѣ при этомъ на каждомъ шагѣ воздвигаются увеселительные балаганы, зазывающіе и продавцовъ и покупателей пріятно провести свободное отъ дѣлъ время, и гдѣ въ такомъ количествѣ предлагаются горячительные и прохладительные напитки.

Выросшій въ уединеніи, воспитанный на Карамзинѣ, Жуковскомъ, Крыловѣ, Грибоѣдовѣ, Пушкинѣ, я составилъ себѣ самое высокое понятіе о литературѣ. и *литераторъ* представлялся моему воображенію въ видѣ полубога. Но когда я взглянулъ поближе на литературу, когда увидалъ мелочность цѣлей и побужденій и узость взгляда большинства «литераторовъ», то я чуть было не впалъ въ отчаяніе. Сознаюсь, что не безъ отвращенія смотрѣлъ я на это жалкое положеніе когда-то дорогой мнѣ отечественной литературы. Это чувство съ примѣсью желчи и негодованія выразилось въ моихъ статьяхъ, которыя я наконецъ написалъ, совершенно вышедши изъ терпѣнія, и которыя бы мнѣ слѣдовало начать словами: «Quousque tandem, Catilina?..» Послѣ этого признанія съ моей стороны, вы не удивитесь, что мою статью упрекнули въ излишней строгости и отсутствіи веселости. Впрочемъ, я нисколько не старался при-

давать строгій тонъ моимъ статьямъ; напротивъ, я мои мысли облекалъ въ самую шутливую и веселую форму. Оттого я не-сказанно благодаренъ тому, кто, хотя и съ упрекомъ мнѣ, но указалъ публикѣ на строгость моего литературнаго взгляда и мою нетерпимость въ отношеніи художественныхъ произведе-ній. Онъ этимъ далъ ей замѣтить, что я пишу не для того только, чтобы ее тѣшить и смѣшить, не для одного паясничества, но что у меня есть свои твердыя убѣжденія и неизмѣн-ные взгляды; а вѣдь во всемъ этомъ мнѣ отказывали осталь-ные мои противники.

Много еще подобныхъ обвиненій было на меня изводимо. Между прочимъ нѣкоторые говорили, что будто бы я смотрю съ пренебреженіемъ на *всю* современную русскую литературу и *совершенно* недоволенъ *всѣми* русскими писателями. Для того чтобы отклонить это обвиненіе, постараюсь выказать свой взглядъ на русскую журналистику и литературу. Поэтому я дол-женъ буду прибѣгнуть къ перечню органовъ и дѣятелей, изъ которыхъ состоятъ та и другая. На этомъ основаніи предлагаю вамъ списокъ русскихъ журналовъ и таковой же писате-лей съ непрерывнымъ на нихъ комментариемъ.

При взглядѣ на русскую журналистику, намъ представля-ется слѣдующее:

1) «Отечественныя Записки, учено - литературный журналъ, издаваемый А. А. Краевскимъ» съ эпиграфомъ: *Beatae plane aures, quae non vocem foris sonanten, sed intus auscunt veritatem docentem*, — печатавшій когда-то на своихъ страни-цахъ стихи Лермонтова и Кольцова и повѣсти Луганскаго, а нынѣ печатающій на томъ же самомъ мѣстѣ, произведенія въ родѣ Старога Дома, а въ отдѣлѣ критики статьи г. Галахова, того самаго, который перепечатавши столько отрывковъ изъ русскихъ писателей, воздвигнулъ себѣ нерукотворный памятникъ съ надписью: «Полная Русская Хрестоматія, или образ-цы поэзіи и краснорѣчія, составилъ А. Галаховъ.» Прохожіи! благоговѣй!

2) «Современникъ, литературный журналъ, издаваемый съ

1847 года И. Панаевымъ и Н. Некрасовымъ безъ эпиграфовъ и безъ церемоній — журналъ, отличающійся великосвѣтскимъ тономъ и великосвѣтскимъ взглядомъ.

3) «Библіотека для Чтенія» съ греческимъ эпиграфомъ изъ Ксенофонта (который я не выписываю, по незнанію греческаго языка, но который непременно выпишу, когда выучусь по-гречески) — нѣкогда самый веселый журналъ, отличавшійся безпрерывнымъ и ничѣмъ не укротимымъ остроуміемъ. Съ нынѣшняго года этотъ журналъ сталъ распадаться на два отдѣла — литературный и нелитературный. Къ литературному отдѣлу принадлежать только *письма иностраннаго подписчика*, все остальное нисколько не относится къ литературѣ.

4) «Пантеонъ», изданіе, прежде отличавшееся большою слабостію, но нынѣ, какъ слышно, подвергнувшееся большимъ переменамъ. Мы покуда не можемъ сказать о немъ ни слова, потому что не читали его въ новомъ видѣ, а еслибъ и читали, то еще не рѣшились бы теперь произнести сужденіе объ изданіи, едва преобразовавшемся, и такъ сказать, едва оперившемся.

5) «Москвитянинъ»... Но что сказать о Москвитянинѣ? Какъ бы ни были мои отношенія къ этому журналу и его сотрудникамъ, но ни что не помѣшаетъ мнѣ говорить откровенно. Я долженъ сознаться въ двухъ вещахъ. Вопервыхъ — я долженъ сказать, что очень люблю Москвитянинъ (и это очень позволительно, потому что въ немъ участвуютъ люди одинаковыхъ со мною убѣжденій); вовторыхъ — я долженъ замѣтить, что Москвитянинъ далеко еще не представляетъ того, чего бы мнѣ хотѣлось. Въ немъ часто встрѣчаются недосмотры, промахи, и даже иногда невѣрные взгляды и противорѣчія.

— Какъ! — воскликнуть, можетъ быть, наши противники: — вы сами сознаетесь въ недостаткахъ журнала, въ которомъ участвуете, а между тѣмъ такъ строги къ недостаткамъ другихъ изданій.

— Но, милостивые государи мои, мы строги не къ недостаткамъ другихъ журналовъ (еслибъ мы вздумали на нихъ указывать,

то намъ бы не достало времени и спать). Нѣтъ! мы нападаемъ только на пороки другихъ журналовъ, на злоупотребленія, которыми они такъ изобилуютъ. Въ недостаткахъ своихъ намъ сознаться очень легко: мы пишемъ не для прославленія своихъ именъ, не для прославленія Москвитянина, но по свойственному и простительному всѣмъ людямъ желанію высказаться, и вслѣдствіе похвального стремленія — хоть сколько-нибудь противо-дѣйствовать злоупотребленіямъ, господствующимъ въ нашей литературѣ.

Вотъ главные наши журналы — средоточіе литературныхъ кружковъ и партій.

Обратимся теперь къ усиленному исчисленію нашихъ замѣчательнѣйшихъ литераторовъ.

Литераторы наши по части повѣстей и романовъ и драматическихъ произведеній суть.

Г. Гончаровъ *), авторъ двухъ очень замѣчательныхъ произведеній — романа: *Обыкновенная исторія* и отрывка: *Сонъ Обломова*. Жаль, что критика до сихъ поръ не сдѣлала подробнаго разбора этихъ произведеній. Это бы нужно сдѣлать особенно потому, что они принадлежатъ къ такого рода произведеніямъ, которыя непременно требуютъ разбора, ибо въ нихъ дурное такъ перемѣшано съ хорошимъ, что не знаешь, сочувствовать ли автору, или негодовать на него. Направленіе его произведеній ложное, но у г. Гончарова такой талантъ, такая сила творчества, что читая его романъ, незамѣтно увлекаешься его направленіемъ, смотришь на вещи его глазами и долго по прочтеніи не выходишь изъ-подъ его обаянія. Въ романѣ: *Обыкновенная исторія*, казнится самымъ жестокимъ образомъ такъ называемый романтизмъ въ жизни. И любовь, и мечтательность, и вообще все то, что мѣшаетъ нашей жизни сдѣлаться сухою и пошлою и не допускаетъ человѣка сдѣлаться машиною, осмѣяно очень искусно. Герой романа, Петръ

*) Я здѣсь перечисляю только однихъ такъ называемыхъ молодыхъ литераторовъ, не безпокая тѣхъ, которыхъ таланты и заслуги всѣми уже признаны.

Ивановичъ, человѣкъ не признающій и не понимающій ни внутреннихъ страданій, ни безразсчетнаго увлеченія любви, поставилъ себѣ идеаломъ жизни комфортъ и выгодное положеніе въ свѣтѣ. Лицо это создано совершенно конкретно и потому совершенно художественно. Но взглядъ автора на Петра Ивановича ложный: онъ слишкомъ сочувствуетъ ему и даже раздѣляетъ многія изъ его убѣжденій. Этому онъ не можетъ скрыть ни отъ читателя, ни отъ самого себя, несмотря на то, что въ концѣ романа бранить своего героя и старается увѣрить и себя, и другихъ, что не любить его... впрочемъ, трудно автору удержаться отъ любви къ такому герою, какъ Петръ Ивановичъ. Даже читатель, хотя бы онъ былъ совершенно противоположнаго направленія съ г. Гончаровымъ, не можетъ не увлечься Петромъ Ивановичемъ. Это герой въ истинномъ значеніи этого слова; это Ахиллъ дандизма; это блестящее олицетвореніе практическаго направленія. Онъ не дюжинный дэнди, не просто дѣловой человѣкъ: нѣтъ, въ немъ натура энергическая; про него можно сказать то-же самое, что сказать г. Соловьевъ про Владиміра Мономаха, т.-е., что онъ умѣетъ придать блескъ и прелесть самому плохому порядку вещей. Оттого все раздвигается передъ нимъ, все даетъ ему дорогу, все предъ нимъ преклоняется. Юноши съ романтическимъ направленіемъ, съ вѣрою въ любовь и дружбу, трепещутъ и блѣднѣютъ предъ всеоцѣняющимъ холодомъ его мощныхъ софизмовъ. Жаль, что бороться съ такимъ атлетомъ авторъ заставилъ Александра Ѳедоровича, молодаго человѣка, съ очень слабенькой и жиденькой натурою. Оттого Петру Ивановичу ничего не стоить побѣды надъ своимъ племянникомъ. Онъ иногда поражаетъ его софизмами, нелѣпость которыхъ можетъ понять человѣкъ съ самымъ незначительнымъ умомъ. Вообще, Александръ Ѳедоровичъ не удался: онъ слишкомъ неестественъ; авторъ хотѣлъ вывести романтика и мечтателя, но вмѣсто того вывелъ просто дурака. Это лицо написано по рецепту, составленному тогдашней критикой. Въ то время критика преслѣдовала мечтателей и ратовала со всевозможнымъ жаромъ противъ

таких мечтателей и идеалистовъ, которыхъ никогда не существовало, и которые жили только въ фантазіи критиковъ. Александръ Ѳедоровичъ одно изъ этихъ лицъ. Оттого въ немъ нѣтъ почти ни одной живой черты, и онъ почти вездѣ является отвлеченной идеей.

Что касается до *Сна Обломова*, то первая его половина превосходна. Въ ней авторъ съ такимъ теплымъ чувствомъ говорить о деревенскомъ бытѣ, такъ вѣрно и съ такою любовью его описываетъ, что, читая его произведение, проникаешься чувствомъ особеннаго къ нему уваженія за такія благородныя чувства. Взглядъ г. Гончарова на этотъ бытъ — совершенно оригинальный и новый; выраженія и языкъ, употребляемый имъ въ описаніяхъ, нельзя похвалить довольно. Вспомните его слова о лунѣ, которыя я запомнилъ наизусть и привожу здѣсь. Вотъ они:

«Богъ знаетъ, удовольствовался ли бы поэтъ или мечтатель природой мирнаго уголка. Эти господа, какъ извѣстно, любятъ засматриваться на луну да слушать щелканье соловьевъ. Любить они луну-кокетку, которая бы наряжалась въ палевыя облака, да сѣвозила таинственно черезъ вѣтви деревь, или сыпала бы снопы серебряныхъ лучей въ глаза своимъ поклонникамъ. А въ этомъ краю никто и не зналъ, что за луна такая, всѣ называли ее мѣсяцемъ. Она какъ-то добродушно, во всѣ глаза смотрѣла на деревни и поле и очень походила на мѣдный, вычищенный тазъ. Напрасно поэтъ сталъ бы глядѣть восторженными глазами на нее: она такъ-же бы простодушно глядѣла и на поэта, какъ круглолицая деревенская красавица глядитъ въ отвѣтъ на страстные взгляды городского волокиты.»

Всѣ похвалы, высказанныя мною *Сну Обломова*, прошу отнести къ первой его половинѣ.

Вторая половина этого отрывка, мѣстами, производитъ непріятное впечатлѣніе на читателя, потому что авторъ кое-гдѣ увлекается общественными взглядами прежней русской критики и пишетъ по рецепту, ею составленному. Тогдашняя критика все проповѣдывала практичность, строжайше предписывала мо-

людямъ жить въ мірѣ дѣйствительности и избѣгать фантазіи и мечты. Разумѣется, все это справедливо, но тѣмъ не менѣе все это общія мѣста, а съ общими мѣстами надо обращаться осторожно. Общія мѣста имѣютъ то странное свойство, что ежели вы ихъ будете проповѣдывать съ жаромъ, то непременно впадете въ крайность, и увлечете за собою вашихъ слушателей. Г. Гончаровъ тоже увлекся общими мѣстами и вздумалъ приложить ихъ къ русскому помѣщичьему быту. Онъ говоритъ, что нянюшка его героя, рассказывая мальчику сказки про Жарь-птицу и другія чудеса нашей народной поэзіи, слышномъ сильно развила въ немъ фантазію, породила желаніе жить въ сказочномъ мірѣ, и что это имѣло дурное вліяніе на послѣдующую жизнь героя, который, привыкнуши жить въ области сказочной фантазіи, выступивъ на поприще дѣйствительной жизни, претерпѣлъ много разочарованій и непріятныхъ столкновеній съ жизнью. Вотъ какъ говоритъ авторъ объ разочарованіи, которое ожидало его маленькаго героя за порогомъ помѣщичьихъ хоромъ.

«Илья Ильичъ и увидитъ послѣ, что просто устроенъ міръ, что не встанутъ мертвецы изъ могилъ, что великановъ, какъ только они заведутся, тотчасъ же сажаютъ въ балаганъ, а разбойниковъ въ тюрьму, но если пропадаетъ самая вѣра въ призраки, то остается какой-то осадокъ страха и безотчетной тоски. Узнавъ Илья Ильичъ, что нѣтъ бѣды отъ чудовищъ, а какія есть, едва знаетъ и на каждомъ шагѣ все ждетъ чего-то страшнаго и боится. И теперь еще, оставшись въ темной комнатѣ, или увидя покойника, онъ затрепещетъ отъ зловѣщей, въ дѣтствѣ зароненной въ душу тоски; смѣясь надъ страхами своими по утру, онъ опять блѣднѣетъ вечеромъ.»

Неужели все это говорится серьезно? неужели есть такіе люди, которые терпятъ непріятныя соприкосновенія съ дѣйствительной жизнью отъ того, что прежде не знали, что мертвецы не могутъ вставать изъ гробовъ? Ежели такіе люди существуютъ, то мнѣ очень жаль, что имъ приходится испытывать такіа горькія и ужасныя разочарованія.

Г. Дружининъ, написавшій двѣ прекрасныя повѣсти: *Полинька Саксъ* и *Разказы Алексѣя Дмитриевича*. Г. Дружининъ съ первыхъ дебютовъ своихъ выказалъ большой талантъ и началъ такъ, какъ начинаютъ очень немногіе. Произведенія Г. Дружинина *) не имѣютъ ничего общаго съ натуральной школой: въ нихъ нѣтъ ни дурныхъ, ни хорошихъ ея сторонъ; въ нихъ вы не встрѣтите ни дагерротипнаго изображенія русскаго быта, ни юмора, ни сатирическихъ выходовъ; отъ лицъ, въ нихъ дѣйствующихъ, вы не услышите фразъ, вырванныхъ изъ живой рѣчи какого-нибудь сословія. Дѣйствующія лица г. Дружинина рѣшительно лишены всякой внѣшней скульптурной отдѣлки и *оптшней* конкретности; ихъ рѣчь можетъ быть легко переведена на любой европейскій языкъ. Но все это нисколько не мѣшаетъ имъ быть лицами типическими, живыми и художественными. Матеріалъ повѣстей г. Дружинина душевный анализъ. Г. Дружининъ является въ своихъ романахъ большимъ знатокомъ сердца человѣческаго; видно, что онъ много перечувствовалъ и много думалъ о чувствахъ. Онъ умѣетъ подмѣтить самыя тонкія, самыя прихотливыя и едва замѣтныя движенія сердца человѣческаго, и на нихъ - то основываются завязки и развязки его романовъ; изъ нихъ состоятъ патетическія сцены, которыя такъ сильно дѣйствуютъ на читателей и въ особенности на читательницъ его произведеній. Особенно замѣчательнымъ свойствомъ души г. Дружинина мнѣ показалось тонкое пониманіе любви и дружбы, которое онъ высказалъ въ въ романахъ, упомянутыхъ нами выше; первому чувству посвящена *Полинька Саксъ*, второму *Разказы Алексѣя Дмитриевича*.

Въ *Полинькѣ Саксъ* авторъ изобразилъ нѣсколько самыхъ незамѣтныхъ для простаго глаза отгѣнковъ, которые можетъ

*) Я читалъ только *Полиньку Саксъ* и *Разказы Алексѣя Дмитриевича*. Остальныхъ произведеній г. Дружинина я не читалъ, но не по равнодушію къ его таланту, а потому, что вскорѣ послѣ появленія первыхъ его произведеній я пересталъ слѣдить за русской журналистикой, отвлеченный отъ нея чтеніемъ газетъ.

принимать прихотливое чувство любви. Онъ показалъ и показалъ очень наглядно, что любовь иногда можетъ являться подъ такими формами, подъ которыми трудно подозрѣвать это чувство. Такое изображеніе любви представляетъ яркій контрастъ съ тѣмъ грубымъ ея изображеніемъ, которое предлагаютъ писатели натуралисты!.. Къ недостаткамъ повѣсти *Полинька Саксъ* принадлежитъ мѣстами не совсѣмъ выдержанное изображеніе характера героини, т. е. самой Полиньки. Подъ-часъ она отпускаетъ такія фразы, что можно подумать, что она просто на просто пошлая дура, между тѣмъ какъ всѣ остальные ея слова и поступки противорѣчатъ этому. За то необыкновенно хорошъ герой романа — Константинъ — не помню по отчеству — Саксъ. Саксъ мнѣ особенно нравится по идеѣ имъ представляемой... Онъ совсѣмъ не похожъ на всѣхъ остальныхъ героевъ нашихъ современныхъ романовъ. Съ нѣкотораго времени у насъ завелась мода брать въ герои романовъ людей разочарованныхъ и духовно разслабленныхъ, которымъ опротивѣла жизнь, которые цѣлый день ничего не дѣлаютъ, всегда и вездѣ скучаютъ, и потому для развлечения дѣлаютъ разные безчестные поступки, состоящіе по большей части въ томъ, что они обманываютъ молодыхъ дѣвушекъ, всѣми способами ихъ увлекаютъ, не чувствуя сами къ нимъ никакой любви, изъ всѣхъ силъ стараются влюбить ихъ въ себя, и когда достигаютъ этой цѣли, — бросаютъ ихъ и на нихъ не женятся. Пора литературѣ перестать выводить людей праздныхъ и вызывать къ нимъ сочувствіе читателей. Надо помнить, что «праздность мать всѣхъ пороковъ»; эта истина, распространенная *прописями*, должна быть извѣстна всѣмъ, кто учился каллиграфіи; но у насъ забыто это мудрое изреченіе, и теперь праздность считается не только не порокомъ, но признакомъ особенно высокаго ума и хорошаго тона. Умный человѣкъ не хочетъ теперь ничего дѣлать потому, что трудъ существуетъ не для него, а для людей дюжинныхъ. Впрочемъ не только трудъ, но и вообще жизнь создана только для людей *обыкновенныхъ*: для очень

умныхъ людей она пустыня, въ которой они не найдутъ осуществленія своихъ идеаловъ; имъ нечего въ ней дѣлать.

Этихъ умныхъ и праздношатающихся людей, дѣлающихъ отъ нечего дѣлать Богъ знаетъ что, и берутъ въ герои романовъ. Къ чему брать *такихъ* героев? Неужели и дѣйствительная жизнь ими только наполняется? Нѣтъ. У насъ, благодаря Бога, много людей честныхъ, умныхъ и образованныхъ, которые занимаются дѣломъ, вѣрятъ любви и нисколько не скучаютъ въ сей жизни. Къ такимъ людямъ принадлежитъ и Саксъ г. Дружинина. Это человекъ умный, честный, энергическій, съ увлеченіемъ занимающийся службою, стремящійся принести пользу ближнему и страстно любящій свою жену. У насъ найдется много людей умныхъ и образованныхъ, которые хотя и вѣрятъ въ святость своихъ правилъ, но по недостатку энергіи и валости натуры никогда не осуществляютъ ихъ въ дѣйствительности, и даже прямо противорѣчатъ имъ, при малѣйшемъ соприкосновеніи съ нею.

Эти господа, или совсѣмъ не вступаютъ въ практическую жизнь (и тогда они хороши), а мыслятъ лежа на боку, или, вступивъ въ нее, пошло примираются со всѣмъ, что въ ней есть неразумнаго. Тогда они втягиваются въ самыя обветшалыя формы жизни, нисколько не измѣняютъ и не улучшаютъ ихъ и живутъ гораздо неразумнѣе, чѣмъ люди совсѣмъ необразованные; они не теряютъ вѣры въ свои правила и теоріи, но и не думаютъ приложить ихъ къ жизни: ихъ теоретическая и практическая жизнь совершенно противорѣчатъ одна другой, но нисколько не мѣшаютъ другъ другу. Не таковъ Саксъ; онъ старается осмыслить всю свою жизнь, всѣ свои отношенія, каждый свой шагъ. Онъ ревностно занятъ порученіями по службѣ, и занимается ею съ любовью и увлеченіемъ. Онъ цѣнитъ образованіе не на однихъ словахъ, но глубоко чувствуетъ и сознаетъ его важность и необходимость и твердо стоитъ за него. Вотъ почему постоянно и тревожною его заботою является стараніе образовывать и развить жену. Онъ глубоко любить искусство и сознаетъ всю важность эстетическаго обра-

зованія, но опять-таки онъ сознаетъ это не на однихъ словахъ, и потому всѣми силами старается внушить женѣ своей любовь и пониманіе изящнаго. Вы видите, что взглядъ его на женщину высоконравственный и вполне современный. Онъ не довольствуется тѣмъ, что она *миленькая*, и что онъ къ ней питаетъ непосредственную любовь: ему хочется сдѣлать ихъ взаимныя отношенія болѣе духовными и разумными. Многіе очень умные и образованные люди довольствуются тѣмъ, что жены ихъ милы; они очень радуются всѣмъ ихъ глупимъ фразамъ и выходкамъ и восхищаются ихъ наивною. Часто даже въ глазахъ такихъ чудаковъ развитіе и образованіе представляются вещами не только ненужными для женщины, но даже отнимающими у прекраснаго пола его непосредственную прелесть и *шикъ*; они довольствуются тѣмъ, что чувствуютъ къ женщинѣ непосредственное стремленіе, хотя совершенно неразумное. Сакса, напротивъ того, раздражаетъ всякая выходка жены, обличающая ея младенчествуи разумъ и запоздалое его развитіе: всякая подобная выходка повергаетъ его въ *мучительное сомнѣніе насчетъ ея способностей*.

Рядомъ съ Саксомъ поставленъ авторомъ Галицкій, который тоже влюбленъ и тоже страдаетъ. Но отчего же читатель не сочувствуетъ ему, отчего ему не жаль видѣть его страданія, отчего онъ принимаетъ сторону Сакса? Оттого, что любовь Галицкаго блѣдна въ сравненіи съ любовію Сакса. Она не есть *неотразимая* страсть сильной натуры, а прихоть чувствительнаго сердца празднаго человѣка. Галицкій человѣкъ праздный, ничѣмъ не занятый, и потому легко влюбляющійся. Саксъ человѣкъ занятый, трудящійся и серьезный; въ людяхъ такого рода не можетъ жить какая-нибудь глупая любовь, которой человѣкъ предается отъ нечего дѣлать; такая любовь разсѣивается, какъ дымъ, при помощи труда и серьезныхъ занятій. Соперникомъ Сакса является чувствительный пастушокъ, неспособный ни къ какой серьезной дѣятельности, Молчалинъ въ новомъ костюмѣ, который влюбился отъ нечего дѣлать, и отнимаетъ у Сакса его сокровище, сокровище, на которое Саксъ

имѣть полное право. Страданія Сакса потрясаютъ душу, страданія Галицкаго смѣшны и досадны. И дорого поплатится Галицкій за свое соперничество. Его побѣда и его успѣхъ погубили и любимую имъ женщину, и его самого. Любовь, которую она къ нему питала, оказалась не любовью, а чѣмъ-то въ родѣ ея странной привязанности къ собачкѣ. Какъ была для него оскорбительна такая *безотчетная, непосредственная* привязанность!

Нашимъ писателямъ рѣдко удавалось выводить героевъ, которые бы возбуждали такое сочувствіе, какъ Саксъ. Бывали у насъ герои добродѣтели, но они почти всѣ безцвѣтны и похожи больше на отвлеченныя идеи, чѣмъ на живыя лица. Исключеніе только за Чацкимъ — этимъ умнымъ, образованнымъ, энергическимъ и благороднымъ человѣкомъ... Но Чацкій — созданіе первокласснаго художника... Желательно бы было чтобъ наши романисты почаще брали въ герои хорошихъ людей. Правда, у насъ иногда выводятъ хорошихъ людей, но хорошихъ только въ отношеніи сердца. Хорошіе люди, выводимые нашими писателями, бываютъ или старики, едва движущіеся, или дураки, или невѣжды... А намъ надобно умныхъ и образованныхъ молодыхъ людей. Всѣмъ извѣстно, что литература имѣетъ сильное вліяніе на общество, и повѣсти и романы гораздо больше воспитываютъ людей, чѣмъ гувернеры и гувернантки. Это должны помнить такъ-называемые писатели-беллетристы, желающіе добра ближнему. Они должны также знать, что однихъ отрицательныхъ примѣровъ недостаточно для полного назиданія читателя. Въ старину изъ біографій Плутарха учились добродѣтели: теперь ей учатся изъ повѣстей и романовъ, и это налагаетъ на писателя священную обязанность быть осторожнымъ.

Въ *Разсказахъ Алексѣя Дмитріевича* самое замѣчательное — характеръ Кости и дружба его съ Алексѣемъ Дмитріевичемъ. Изобразить пламенную дружбу между двумя дѣтьми среди пансіонской обстановки ново и оригинально. Что касается до характера Кости, то мы должны сознаться, что это одно изъ самыхъ смѣлыхъ, поразительно вѣрныхъ созданій фантазіи по-

эта... Надо много богатства душевнаго, много нѣжности и мечтательности для того, чтобы ваша фантазія могла породить такіе высокіе типы, каковъ Костя, и такія тонкія отношенія, какова его дружба съ Алексѣемъ Дмитріевичемъ. Многіе находятъ, что это лицо неестественно; подобное мнѣніе, кажется, даже было высказано печатно. Не знаю... но мнѣ случалось встрѣчать и въ дѣйствительности такія лица.

Романъ «Разказы Алексѣя Дмитріевича», въ главныхъ пунктахъ лучше Полинки Саксъ; зато въ немъ есть мѣста до того слабыя, что когда читаешь ихъ, то бываетъ совѣстно за автора. Такова, напримѣръ, идеальная сцена у отца съ дочерью, когда, она подобно Антигонѣ, съ нѣжностью ведетъ подъ руку дряхлаго родителя, который въ это время съ одушевленіемъ рассказываетъ ей о походахъ и сраженіяхъ своей молодости. Это ужъ что-то напоминаетъ чувствительные романы временъ очень давнихъ.

Г. Панаевъ, писатель съ большимъ талантомъ, къ сожалѣнію, кажется совсѣмъ изсякшимъ. *Презжіе* его романы, повѣсти, рассказы и очерки весьма замѣчательны. Намъ очень пріятно упомянуть лучшіе изъ нихъ, каковы: *Тля*, *Актеонъ*, *Петербургскій фельетонистъ* и *Утро на Невскомъ Проспектѣ*. Особенно хорошъ его «Петербургскій фельетонистъ», по серьезному направленію и нравственной идеѣ, которой онъ проникнуть. Въ *Утрѣ на Невскомъ Проспектѣ* наблюдательность и анализъ физиологіи петербургской жизни доведены до замѣчательной тонкости. Помните ли вы, напримѣръ, человѣка, продающаго собаку близъ кондитерской Излера? Помните ли его обращеніе къ молодому фертяку-франту съ *испорченными зубами*, который въ отвѣтъ на его просьбу о подачѣ ему на водку, говоритъ своему спутнику: «Qu'est-ce qu'il veut de moi cet homme-là?», и сказавши это, исчезаетъ? Помните ли вы, какъ человѣкъ, продавшій собаку, бормочетъ въ слѣдъ молодому человѣку: «свистунъ», и потомъ, оставшись одинъ и нюхая табакъ, со смѣхомъ повторяетъ себѣ: «ей-Богу, свистунъ.»

Хороша также *Барышня* г. Панаева: мнѣ особенно въ ней

понравилась мать героини. Вывести простую русскую барыню, тоскующую въ Петербургѣ по сельской жизни, зеленымъ полямъ и желтымъ нивамъ, между тѣмъ какъ ея дочка, получившая квази-воспитаніе и говорящая по-французски, упивается безжизненнымъ блескомъ баловъ и разоряетъ мужа, — дѣло смѣлое и благородное, заставляющее насъ простить г. Панаеву много грѣховъ. Такихъ трогательныхъ мѣстъ нѣтъ въ теперешнихъ его произведеніяхъ: въ нихъ все толкуется о пріятности столичной жизни, ея увеселеньяхъ, нарядахъ и проч.; неужели г. Панаеву не возвратится прежній его талантъ? Неужели онъ не перестанетъ писать такихъ произведеній, которыя обличаютъ въ авторѣ одно странное и смѣшное поклоненіе «хорошему тону?...» Эта черта показывалась иногда и въ прежнихъ произведеніяхъ г. Панаева. Такъ въ статьѣ о *Парижскихъ увеселеніяхъ* онъ позволилъ себѣ выходку противъ русскихъ нянекъ, которую такъ остроумно (хотя и мимоходомъ) осмѣялъ г. Шевыревъ при разборѣ *Петербургскаго Сборника*. Не должно позволять себѣ выходокъ противъ этого достойнаго класса русскихъ женщинъ, къ числу которыхъ принадлежитъ нянюшка Татьяны Пушкина. Каждый благовоспитанный человѣкъ долженъ благоговѣть при имени *няни*, какъ при одномъ изъ лучшихъ воспоминаній своего дѣтства, какъ при одной изъ самыхъ живыхъ нашихъ связей съ чисто русской жизнью, съ народными вѣрованьями, преданьями и языкомъ. Въ этомъ отношеніи мы должны брать примѣръ съ Пушкина.

Графъ Соллогубъ, написавшій довольно большое количество прекрасныхъ повѣстей изъ большого свѣта. Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напримѣръ, *Большой свѣтъ*, отличаются серьезнымъ направленіемъ. Изъ всѣхъ нашихъ великосвѣтскихъ писателей, (за исключеніемъ князя Одоевскаго), Графъ Соллогубъ лучше всѣхъ знаетъ большой свѣтъ. Но къ сожалѣнію, онъ давно пересталъ писать.

Г. Григоровичъ, который пользуется большой любовью и справедливымъ уваженіемъ публики. Самыя лучшія его произведенія: *Театральная Карета*, *Шарманчики*, *Похожденія*

Накатова; въ нихъ онъ высказалъ большой талантъ и тонкую наблюдательность.

Г. Нестроевъ, написавшій прекрасную повѣсть «*Безъ разсѣта*», полную высокаго драматизма и сценъ истинно патетическихъ. Всѣ остальные его произведенія несравненно ниже этой повѣсти. Особенно мнѣ не нравится его пресловутый *Послѣдній визитъ*. Герой этого разсказа — какой-то отвлеченный безукоризненно добродѣтельный человѣкъ, добродѣтельный до такой степени, что можно подумать, что онъ не пьетъ и не ѣстъ (что онъ не нюхаетъ и не куритъ табаку — за это я отвѣчаю); героиня... но скажемъ вообще о героиняхъ г. Нестроева. Онѣ у него по большей части дѣвушки съ малолѣтства жившія безвыходно въ учебномъ заведеніи... и несчастливы. Несчастія ихъ состоятъ въ томъ, что, будучи воспитаны заперти, привыкши глядѣть съ подругами на луну, обучившись разнымъ гуманическимъ наукамъ, онѣ возвращаются подъ родительскій кровъ, гдѣ ихъ не понимаютъ... Тутъ начинается ужасная борьба, и проч. Напрасно г. Нестроевъ беретъ для такихъ положеній такія существа: они скорѣе лица комическія, чѣмъ трагическія. Когда они возвращаются подъ родительскій кровъ, имъ дѣйствительно случается видѣть вокругъ себя прозу, которая имъ не по нутру, но столкновенія ихъ съ этою прозою скорѣе смѣшны, чѣмъ ужасны. Живя безвыходно въ стѣнахъ заведенія, онѣ составляютъ себѣ ложный идеалъ жизни, который никогда и нигдѣ осуществиться не можетъ, и потому по выходѣ изъ заведенія идеала своего найти нигдѣ и никогда не могутъ. Слѣдствіемъ этого бываетъ пошлое примиреніе съ жизнію. Ихъ типъ очень справедливо и очень успѣшно осмѣявъ въ нашей литературѣ. Неестественная худоба и впалость щекъ и желтоватая блѣдность лица могли только нравиться во время оно... Впрочемъ мнѣ жаль, что г. Нестроевъ давно ничего не печатаетъ: талантъ у него есть безъ сомнѣнія.

Г. Островскій и *Писемскій*, о которыхъ я умалчиваю вслѣдствіе ихъ близости къ Москвитянину, гдѣ самъ пишу. Я бы сказалъ про нихъ очень много хорошаго, но боюсь, чтобы меня

не упрекнули въ *самагадеріе*, которой я гнушаюсь... не могу не сказать однако двухъ словъ о г. Островскомъ, не въ видѣ оцѣнки его произведеній, но въ видѣ литературнаго извѣстія. Г. Островскій пишетъ еще комедію. Комедія эта будетъ новымъ доказательствомъ, что г. Островскій вѣренъ тому художественному направленію, которое онъ высказалъ въ *Оценкахъ изъ купеческаго быта* *), въ *Свои люди сочтемся* и въ *Будной Невѣстѣ*. Хорошо ли это направленіе? Этотъ вопросъ разрѣшенъ различно.

Теперь попытаюсь исчислить нашихъ стихотворцевъ.

Г. Бергъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ нашихъ стихотворцевъ-переводчиковъ. Особенно замѣчательны его переводы славянской народной поэзіи: они отличаются близостью къ подлиннику, сохраненіемъ его колорита и духа и изяществомъ стиха — достоинствами, которыя такъ рѣдко сходятся вмѣстѣ. Особенно хорошо перевелъ г. Бергъ сербскую эпопею: *Банъ Страхиныя*, которая будетъ напечатана въ нашемъ журналѣ. Этотъ переводъ останется навсегда приобрѣтеніемъ русской литературы. Странно, что оригинальныя стихотворенія г. Берга по большей части слабы; исключеніе остается за немногими. Тотъ же самый г. Бергъ, стихъ котораго такъ легокъ, изященъ и поэтиченъ въ переводахъ, очень часто предлагалъ читателямъ собственныя стихотворенія, полныя неловкихъ оборотовъ и прозаическихъ выраженій. Совсѣмъ другое г. Бергъ, какъ прозаикъ. Намъ довелось недавно слышать его рассказъ *Городъ и деревня* (который тоже будетъ помѣщенъ въ *Москвитинѣ*). Рассказъ этотъ дышетъ такою свѣжестью, проникнутъ такимъ нравственнымъ чувствомъ, что непременно долженъ пристыдить многихъ нашихъ писателей натуралистовъ и сатириковъ. Живость лицъ, въ немъ выведенныхъ, поразительна.

Г. Щербина, художникъ изобразитель античнаго міра. Г. Щербина называетъ свои стихотворенія греческими, но это

*) Онъ были напечатаны въ Московскомъ Городскомъ Листкѣ и не замѣчены критикой, которая тогда смотрѣла по сторонамъ.

названіе не совершенно идетъ къ нимъ. Хотя эллинскій тонъ и манера всегда выдержаны въ стихотвореніяхъ г. Щербины, но довольны часто отъ нихъ вѣетъ «новымъ» духомъ. Въ нихъ проглядываетъ взглядъ на древній міръ такого человѣка, который знакомъ съ мнѣніями новѣйшихъ ученыхъ о классической древности, мнѣніями хотя и вѣрными, но тѣмъ не менѣе новыми, мнѣніями, до которыхъ античный человѣкъ никогда бы не могъ дойти. Стихотворенія г. Щербины по духу своему напоминаютъ поэзію Андре Шенье, которая представляетъ смѣсь античнаго съ новымъ.

Критика наша была несправедлива къ г. Щербинѣ и поставила его не довольно высоко. Что касается до меня, то я вижу въ г. Щербинѣ необыкновенно замѣчательный талантъ и очень серьезное направленіе. Стихъ г. Щербины необыкновенно блестящъ и изобразителенъ; въ отношеніи изобразительности и яркости красокъ у него теперь нѣтъ соперниковъ; произведенія его всегда цѣлы, закончены, закруглены и — что по моему мнѣнію самое главное — всегда представляютъ опредѣленное содержаніе и осязательно ясную мысль. Вслѣдствіе послѣдняго обстоятельства ихъ можно назвать умными, дѣльными и опредѣленными, въ отличіе отъ тѣхъ неопредѣленныхъ и неясныхъ стихотвореній нашихъ поэтовъ, которыя выражаютъ *что-то*. — Г. Щербина необыкновенно богатъ на выраженія. Онъ сыплетъ такую щедрою рукою поэтическіе обороты, что каждую минуту боишься за него, что онъ ихъ всѣ издержитъ. Эта роскошь поэтическихъ выраженій имѣетъ свою дурную сторону: г. Щербина часто слишкомъ рядитъ свои произведенія и употребляетъ иногда больше словъ, чѣмъ нужно для выраженія мысли *).

Г. Мей, къ сожалѣнію, пишущій очень мало; но такъ какъ я сузу о писателяхъ не по количеству ими написаннаго, а по качеству ихъ произведеній (*non multa, sed multum!*), — то полагаю, что четыре превосходныя стихотворенія г. Мей — *Хозяинъ, Подражаніе восточному, Русалка и Картины древняго*

*) О г. Щербинѣ у меня еще говорится въ характеристикѣ г. Майкова.

мира—даютъ полное право ихъ автору на почетное мѣсто между русскими современными стихотворцами. Стихотворенія *Подражаніе восточному, Картины древняго міра и Хозяинъ*, такъ хороши, что я противъ нихъ и сказать ничего не имѣю. Стихъ г. Мея представляетъ безукоризненную правильность и гладкость; онъ легокъ и свободенъ; тайну его механизма г. Мей постигъ совершенно. По всему видно, что г. Мей глубоко изучалъ русскихъ первоклассныхъ стихотворцевъ, и по стихамъ его замѣтно, что онъ умѣлъ воспользоваться всѣмъ, что въ каждомъ изъ нихъ есть замѣчательнаго въ отношеніи механизма стиха и строенія строфы.—Стихи г. Мея отличаются необыкновеннымъ благородствомъ тона: они поражаютъ рѣшительнымъ отсутствіемъ двухъ эпидемическихъ болѣзней, замѣчаемыхъ въ современныхъ стихотвореніяхъ—*шика* и *ухарства*. Подъ шикомъ я разумѣю непомерную страсть употреблять въ стихахъ иностранныя слова, преимущественно итальянскія. Когда напримѣръ идетъ дѣло объ Италіи, то наши стихотворцы, желая придать своимъ стихотвореніямъ мѣстный колоритъ, сыплютъ итальянскими названіями, которыя у нихъ между собою рѣмуютъ. Такъ напримѣръ, у нихъ поминутно встрѣчаются *lagaroni* и *macaroni*, *Ferara* и *Dulcamara* и т. д. Многіе воображаютъ, что стоить только усыпать свое стихотвореніе итальянскими словами,—и оно будетъ дышать Италіей. Пушкинъ не прибѣгалъ къ такимъ средствамъ для того, чтобъ дать мѣстный колоритъ своимъ произведеніямъ; его *Египетскія Ночи* дышатъ Египтомъ, несмотря на то, что въ нихъ не употреблено ни одного египетскаго слова. *Ухарство* въ стихахъ есть употребленіе извощичьихъ и другихъ тривіальныхъ выраженій, ошибочно принимаемыхъ за выраженіе русскаго народнаго духа. Такъ нѣкоторые стихотворцы, желая придать своимъ стихамъ колоритъ русской народности, беспощадно сыплютъ слова слѣдующаго рода: *чортъ возьми, чортъ поberi, молодецки, ухъ, свинья, подлецъ, дуракъ, кутежъ* и проч. Ничего подобнаго нѣтъ у г. Мея; языкъ его настоящій русскій, потому что нисколько не тривіальный.

Не могу удержаться, чтобъ не сдѣлать замѣчанія на стихотвореніе *Русалка*. Въ немъ слишкомъ много изысканныхъ выраженій, слишкомъ много лишнихъ нарядовъ. Въ этомъ стихотвореніи г. Мей далеко превзошелъ и г. Щербину въ изысканности поэтическихъ оборотовъ.

Г. Майковъ, который, несмотря на то, что самый блестящій періодъ его дѣятельности принадлежитъ тому времени, когда натуральная школа была въ апогеѣ своей свирѣпости, цѣлѣ и могущества,—не былъ зараженъ этой литературной эпидеміей и высказалъ въ своихъ произведеніяхъ ясный, цѣломудренный взглядъ на искусство. Между тѣмъ какъ повсюду вокругъ него воздвигались жертвенники литературному Ваалу, на которыхъ нечистыми руками приносились нечистыя жертвы, г. Майковъ былъ изъ числа тѣхъ немногихъ, которые идолу сему не жертвовали.—Главный родъ произведеній г. Майкова — стихотворенія въ античномъ духѣ. Въ этихъ стихотвореніяхъ г. Майковъ является вполне античнымъ поэтомъ. Въ стихотвореніяхъ Андре Шенье и г. Щербины мы видимъ людей, у которыхъ и міросозерцаніе, и чувство очень похожи на древнихъ, но все-таки въ то же время чувствуемъ, что древніе такъ писать не могли. Напротивъ того стихотворенія г. Майкова представляются подстрочнымъ переводомъ съ греческаго и латинскаго. Вышеупомянутую черту поэзіи г. Щербины мы привели не въ видѣ упрёка. Смѣсь новаго съ античнымъ въ поэзіи не есть недостатокъ, это только особенный родъ ея. Такую смѣсь представляетъ одно изъ величайшихъ (разумѣется, не по величинѣ) произведеній Шиллера: *Торжество побѣдителей*; да и самъ Гёте, несмотря на свое объективное спокойствіе, частенько измѣнялъ античному духу въ своихъ произведеніяхъ на манеръ древнихъ. Главная характеристическая черта поэзіи г. Майкова, дѣлающая его произведенія вполне античными—совершенное отсутствіе *наружнаго* блеска, совершенная простота формы—младенческая наивность. Произведенія г. Майкова до того просты и неизысканны по формѣ, что съ перваго раза они не бросаются въ глаза и даже не нравятся; только пристально

вчитавшись въ нихъ и проникнувшись ими, вы получите отъ нихъ наслажденіе (зато какое наслажденіе!). Причина, отчего произведенія г. Майкова правятся не скоро, не вдругъ, заключается въ отдаленности отъ насъ античнаго міра, который они воспроизводятъ. Изъ произведеній его, по простотѣ своей приближающихся больше всѣхъ другихъ къ античнымъ, я могу назвать *Кубокъ* и *Анакреонъ*.

Огаревъ, къ которому больше всѣхъ идетъ названіе поэта. Въ его стихахъ истинно поэтическое созерцаніе: онъ лирикъ. Онъ не поэтъ-живописецъ, не поэтъ-археологъ, не поэтъ - мыслитель, но поэтъ мечты и чувства—*твэецъ*, какъ говаривали встарину. Слово пѣвецъ очень хорошо идетъ къ Огареву, какъ къ поэту. Содержаніе его поэзіи по большей части пѣсенное, ибо мечта и чувство больше всего идутъ къ пѣснѣ; все остальное — описаніе, разсужденіе и прочее поется очень неудобно. Въ стихахъ Огарева много нѣжности, много ненапущенной, естественной задумчивости и мечтательности, много чувствительности.

Г. Фетъ, о которомъ я бы могъ сказать очень много хорошаго, еслибъ въ Отечественныхъ Запискахъ 1850 года не была напечатана очень хорошая статья объ его поэзіи, статья, вполне ее охарактеризовавшая, такъ что мнѣ ничего не остается сказать о г. Фетѣ.

Г. Полонскій, о которомъ мнѣ представится случай скоро говорить подробно.

Г. Некрасовъ, написавшій два-три энергическія стихотворенія. Стихотворенія г. Некрасова представляютъ совершенный контрастъ съ стихотвореніями г. Огарева; трудно найти стихотворца, который бы былъ меньше поэтъ, чѣмъ г. Некрасовъ. Но несмотря на это, въ г. Некрасовѣ никакъ нельзя отрицать стихотворческаго таланта. Оттого именно и удивляешься стихотворческому таланту г. Некрасова, что содержаніе его стихотвореній самое не поэтическое и часто даже антипоэтическое. Читая его стихотвореніе, изумляешься, какимъ образомъ авторъ ухитрился вколотить въ стихотворческую форму *ultra* - проза-

ическое содержаніе... Но есть у г. Некрасова два стихотворенія, истинно поэтическія: *Когда изъ мрака заблужденья* и *Если мучимый страстью мятежной*. Стихотвореніе: *Когда изъ мрака заблужденья* просто, превосходно...

Многимъ очень нравится *Огородникъ* г. Некрасова. Но *Огородникъ*, равно какъ и *Бду ли ночью по улицѣ темной*, производитъ слишкомъ непріятное впечатлѣніе. Ибо въ томъ и другомъ стихотвореніи выражаются ненормальныя, уродливыя явленія жизни, которыхъ должно избѣгать въ поэзіи. — Г. Некрасовъ — талантъ неглубокій и недолговѣчный. Справедливость требуетъ замѣтить, что стихотворенія г. Некрасова совершенно оригинальны; онъ рѣшительно никому не подражаетъ, особенно въ своихъ шуточныхъ произведеніяхъ. Правда его оригинальность слишкомъ часто переходитъ въ дикость, но вѣдь и дикость своего рода оригинальность.

Хомяковъ. Сей остальной изъ стаи спутниковъ славной звѣзды Пушкина. Содержаніе поэзіи Хомякова патріотическое — это торжественная ода. Таковы его стихотворенія: *Россія*, *Англія*, *Мы родъ избранный*, и многія другія. Стихотворенія его проникнуты благородствомъ чувствъ и національною гордостью; стихъ его величественъ, рельефенъ, такъ сказать, до массивности, языкъ часто принимаетъ складъ истинно библейскій (что мы, кромѣ Пушкина, находимъ еще только у Лыкова).

Хомякову и Лыкову не посчастливилось въ современной нашей литературѣ. Правда, они оба заняли почетныя мѣста между русскими поэтами, но это еще было при жизни Пушкина. Вскорѣ послѣ его смерти въ литературѣ послѣдовала проscriпція всѣхъ русскихъ писателей; это была новая эра въ литературѣ. Всѣ писатели, писавшіе до *разоренья*, признаны недоставающими эстетическаго наслажденія. Такой приговоръ былъ произнесенъ и надъ Лыковымъ и Хомяковымъ. Ихъ литературный процессъ такъ интересенъ, что я считаю нелишнимъ разсказать его здѣсь вкратцѣ моимъ читателямъ, чтобъ они могли составить себѣ хоть маленькое понятіе о томъ ужа-

сномъ времени, когда казнились литературные авторитеты. Слушайте!.. Я буду кратокъ...

1844 г. отъ Р. Х., и стало быть, въ 2596 отъ основанія Рима, напечатаны въ Москвѣ двѣ небольшія красивенькія книжечки: одна съ стихотвореніями Хомякова, другая съ стихотвореніями Языкова. Въ Отечественныхъ Запискахъ, въ самомъ модномъ тогдашнемъ журналѣ, отзывались о нихъ очень *умѣренно*. Ихъ судили съ *исторической точки зрѣнія*, и потому рѣшили, что хотя эти стихотворенія плохи, но для своего времени были недурны. Дѣло бы кончилось довольно мирно и тихо, но на бѣду Москвитиниъ, недовольный отзывомъ Отечественныхъ Записокъ о Хомяковѣ и Языковѣ, вступился за московскихъ поэтовъ. Тогда-то Отечественныя Записки озлобились на нихъ. Противъ нихъ было напечатано большое количество страницъ мелкой печати и неприличной брани. Досталось же тогда порядкомъ Хомякову и Языкову; ихъ *раскритиковали* совершенно, и даже мимоходомъ для благоустройства задѣли и Пушкина—разбрали его посланіе къ Языкову *), напечатанное въ первый разъ въ Московскомъ Вѣстникѣ. Въ статьѣ этой объяснена причина, почему Отечественныя Записки такъ вооружились противъ Хомякова и Языкова. Почему вы думаете? Догадайтесь... Вѣрно не догадаетесь! Вотъ почему: Отечественныя Записки сперва было обошлись довольно учтиво и ласково съ произведеніями Хомякова и Языкова, но такъ какъ Москвитиниъ былъ недоволенъ ихъ *умѣреннымъ* отзывомъ и находилъ его несправедливымъ, то за это Отечественныя Записки рѣшились разбранить стихотворенія Хомякова и Языкова, чѣмъ есть силы. Вотъ какія причины дѣйствовали тогда въ критикѣ, и ихъ не думали скрывать, полагая, что это ничего... Любопытно, какія придирки употребляли Отечественныя Записки,

*) Замѣчательно, какъ разбрали все это посланіе. Пушкинъ, восторгаясь посланіемъ къ нему Языкова, восклицаетъ: „какое буйство молодое!“ Критикъ смѣется надъ словомъ буйство и говорить, что „буйство такая добродѣтель, за которую сажаютъ въ тюрьму“ и что хвалить его нечего.

чтобъ *«дохнуть»* Хомякова. У него, напримѣръ, сказано въ одномъ стихотвореніи:

„Лови минуты вдохновенья,
Восторговъ чашу жадно пей!“

Критика спрашиваетъ: что хотѣлъ этимъ сказать поэтъ? Если онъ совѣтуетъ—говорить она—дорожить минутами вдохновенья, то это мысль слишкомъ старая; ежели слово *ловить* употреблено въ смыслѣ *ионяться* за вдохновеніемъ, то это бесполезный совѣтъ, ибо вдохновенія насильно не поймашь—оно приходитъ само.

Въ другой статьѣ Отечественныхъ Записокъ такимъ же способомъ разбирается и *Россія* Хомякова. Всѣмъ извѣстно, что въ этомъ превосходномъ стихотвореніи поэтъ говоритъ, что крѣпость и могущество нашего отечества заключается въ его духовной, а не матеріальной силѣ, что въ матеріальномъ отношеніи Римъ былъ сильнѣе его, но палъ, что могущество Татаръ сокрушилось, и что Англію не спасетъ ея золото. Рецензенту показалось смѣшно предсказаніе Хомякова Англіи. Онъ говоритъ, что стихотвореніе, гдѣ поэтъ предсказываетъ ей паденіе, написано ужъ десять лѣтъ тому назадъ, а владычица морей все еще здравствуетъ. Слышите ли, читатели?! Какова Англія! Простояла десять лѣтъ! Вотъ это крѣпость, такъ крѣпость! Любезный господинъ рецензентъ! десятки лѣтъ въ исторіи ничего не значать—въ ней нипочемъ и сотни. Вы вѣрно не удивите Хомякова извѣстіемъ, что Англія, десять лѣтъ спустя послѣ его стихотворенія, осталась жива. Римъ стоялъ болѣе тысячи лѣтъ, да все-таки не удивилъ его своей крѣпостью... Дѣло въ томъ, что рецензентъ рѣшительно неспособенъ къ такого рода соображеніямъ... Написать забавную статью на книгу въ родѣ романа г. Кузмичева, посмѣяться надъ неопытнымъ изданіемъ—онъ можетъ, но толковать о судьбахъ народовъ и царствъ онъ не въ состояніи. Чѣмъ толковать о томъ, что Хомяковъ не разрушилъ своимъ стихотвореніемъ Англію, пусть лучше рецензентъ мнѣ объяснитъ слѣдующее обстоятельство. Петербургскіе журналы во время оно громили безъ пощады

Хомякова и многих других заслуженных русских литераторов. Глушению надъ ними не было и конца. Толпа была на сторонѣ этихъ журналовъ, и была очень довольна дешевыми остротами своихъ услужливыхъ писателей, а журналы въ свою очередь радовались, что услужили большинству читающей публики, и что совершенно уничтожили въ глазахъ ея когда-то знаменитыхъ, но уже «устарѣвшихъ» писателей. Они торжествовали свою побѣду, громко трубили о ней и веселились... И что же?.. протекли годы, и сами эти журналы устарѣли и подверглись осмѣянію. Изъ идей, такъ смѣло ими пущенныхъ въ ходъ, однѣ оказались очевидно ложными даже и для нихъ самихъ, другія устарѣли и сдѣлались общими мѣстами. Новаго эти журналы уже выдумать ничего не могутъ, и потому бормочутъ себѣ подъ носъ старыя истины въ родѣ тѣхъ, что смѣтъ бываетъ зимой, и что человѣкъ смертенъ. А между тѣмъ писатели, ими осмѣянные и признанные устарѣлыми, все еще полны свѣжихъ силъ, все развиваются, все идутъ впередъ, все яснѣе и яснѣе сознаютъ свое направленіе. Около нихъ сформировались группы молодыхъ писателей, воспитанныхъ ими, къ нимъ присоединились молодые люди, прежде по отроческимъ увлеченіямъ, или просто изъ шалости, державшіе сторону ихъ противниковъ, но обращенные на путь истины наукой и размышленіемъ, — и теперь больше, чѣмъ когда-либо, мы въ правѣ ожидать отъ «устарѣлыхъ» писателей прекрасной, полезной и благородной дѣятельности.

Вы видите, что я съ особенною любовью отзываюсь о поэтахъ, что, говоря о нихъ, я даже разнѣжнялся: это потому, что я питаю страсть къ поэтамъ; поэты—это единственная моя слабость. Я ужасно ихъ люблю и уважаю; уважаю несравненно болѣе, чѣмъ прозаиковъ. Быть порядочнымъ прозаикомъ очень не трудно, особенно въ послѣднее время. Для того, чтобы быть хотя сноснымъ поэтомъ, нужно имѣть непремѣнно талантъ. Чтобы быть повѣствователемъ, иногда бываетъ довольно

или большаго образованія, или сильнаго самолюбія, или трудолюбія, или непомѣрнаго корыстолюбія. Достаточно одного изъ подобныхъ условій, въ настоящее время, чтобъ прослыть за хорошаго романиста; особенно способствуютъ къ этому свѣтское образованіе, хорошія манеры... Но стихотворцу ничего этого не довольно для того, чтобы быть хорошимъ стихотворцемъ. Владѣть стихомъ не бездѣлица. *Стихъ* точно такое же необходимое условіе для поэта, какъ *голосъ* для пѣвца. Какое бы огромное музыкальное образованіе не получилъ пѣвецъ, какъ бы онъ ни былъ уменъ, трудолюбивъ и корыстолюбивъ, но ежели у него нѣтъ голоса, то онъ, несмотря на всѣ эти прекрасныя качества, будетъ ревѣть козломъ, но не болѣе. — Счастливъ человѣкъ, одаренный стихомъ и согрѣтый пламенемъ поэзіи! Стократъ счастливъ! Ему не нуженъ ни запасъ книгъ, ни ученые комментаріи; онъ имѣетъ полное право воскликнуть: *omnia mea tecum porto!* Люблю поэтовъ, ибо я и самъ немножко поэтъ. Дѣти Аполлона! мужайтесь. Грянемъ дружно на враговъ нашихъ и воскликнемъ вмѣстѣ съ Языковымъ:

Прочь съ презрѣнною толпою!
Цыц! схоластика, молчать!
Вамъ ли съ черствою душою
Жаръ поэзіи понять?

Въ *разномъ родѣ* у насъ пишутъ:

Г. Боткинъ, которому мы желаемъ какъ можно скорѣе отправиться въ Испанію, или хоть какую-нибудь другую иностранную землю, и писать оттуда свои занимательныя письма. Говорятъ, что письма Боткина объ Испаніи не совсѣмъ оригинальны. Не знаемъ: пусть судятъ объ этомъ люди специально знакомые съ тѣмъ, что писано объ Испаніи. Мнѣ они очень нравятся, потому что написаны граціозно. Г. Боткинъ пописываетъ также о музыкѣ...

«Сто-одинъ», представившій публикѣ «Кукольную комедію» и «Превращеніе», писалъ также и разсужденія, которыя были бы недурны, еслибъ въ нихъ было побольше сердца... Лучшая

изъ его статей — разсужденіе о Викторѣ Гюго. Повѣсти его — жалкое подражаніе г. Нестроеву.

Новый Поэтъ — мой милый и великодушный противникъ. Пора мнѣ, наконецъ, сказать о немъ мое искреннее мнѣніе. Я не раздѣляю мнѣній Новаго Поэта, преслѣдовалъ, преслѣдую и буду преслѣдовать, сколько достанетъ у меня силъ и времени, его принципы. Его взглядъ на литературу слишкомъ легокъ, на жизнь слишкомъ веселъ; фельетоны его преисполнены пересыпанія изъ пустаго въ порожнее, ненужной болтовни; но, не взирая на все это, въ Новомъ Поэтѣ есть много прекрасныхъ чертъ, за которыя я очень его уважаю. Вопервыхъ, онъ человѣкъ благовоспитанный, а потому въ фельетонахъ своихъ никогда не позволить себѣ неприличной брани. Въ этомъ отношеніи онъ представляетъ прямую противоположность съ рецензентомъ Отеч. Запис., разбирающимъ нашъ журналъ. Вторыхъ, онъ добросовѣстенъ, и потому никогда не взводитъ небылицъ и напраслинь на своихъ противникомъ, не дѣлаетъ изъ ихъ статей выписокъ такихъ мѣстъ, которыхъ въ нихъ нѣтъ, на что такой мастеръ рецензентъ одного журнала. Третьихъ, въ немъ не замѣтно того озлобленія ко всему молодому, озлобленія, происходящаго отъ чувства собственнаго безсилія, слабости и отсталости. Четвертыхъ, онъ безпристрастенъ. Ему нѣтъ дѣла, кто сотрудникъ, кто несотрудникъ его журнала: онъ слегка пишетъ обо всѣхъ свое мнѣніе, по большей части ошибочное, но добросовѣстное. Впятыхъ, въ немъ, какъ вообще въ Современникѣ, замѣтно отсутствіе меркантильнаго духа и тривіальныхъ цѣлей: напротивъ, въ немъ видна крайняя безпечность и какое-то неряшество, которое мнѣ нравится, по странности моего характера. Еще больше люблю я другаго моего противника, Иногороднаго Подписчика.

Иногородный Подписчикъ — человѣкъ очень образованный и даровитый, но въ высшей степени эксцентриченъ и капризенъ, какъ пансіонерка. Впрочемъ по характеру своему онъ скорѣе похожъ на Нерона, чѣмъ на пансіонерку... или нѣтъ, просто на пансіонерку... Ему вдругъ вздумается отзываться съ пре-

зрѣніемъ и свысока о первокласныхъ писателяхъ, а то вдругъ начинаетъ превозносить до небесъ посредственность. Въ этомъ отношеніи онъ мнѣ очень напоминаетъ Полиньку Саксъ, которая до того привязана къ собагѣ, что зоветъ ее своимъ собственнымъ именемъ и готова забыть для нея мужа. Капризы Иногороднаго Подписчика подчасъ очень милы и граціозны, но онъ имъ чересчуръ даетъ волю, и что хуже всего, онъ подчасъ даже капризничаетъ по заказу, и это производитъ дурное впечатлѣніе на читателя. Нехорошо еще то, что капризы свои онъ вноситъ въ сужденіе о такомъ важномъ предметѣ, какъ литература...

Иногородный Подписчикъ хорошъ еще тѣмъ, что онъ, равно какъ и Новый Поэтъ, не придирается къ опечаткамъ. Это особливо пріятно мнѣ, ибо я очень плохо держу корректуру. Слогъ Иногороднаго Подписчика какъ - то тяжеловатъ и вычуренъ. Въ немъ нѣтъ легкости, летучести и неподдѣльной небрежности, которыя необходимы для фельетона. Небрежность и даже веселость Иногороднаго Подписчика искусственны. Въ этомъ отношеніи Новый Поэтъ — образецъ фельетониста: веселѣе и небрежнѣе его невозможно и быть.

Вотъ тѣ изъ нашихъ писателей, о которыхъ я могъ вспомнить. О дамахъ-писательницахъ я не упоминаю. Отчего? спросите вы; не смѣю сказать, право не смѣю сказать... Я вооруженъ противъ дамъ-писательницъ... Я знаю, что меня за это вооруженіе побьютъ камнями наши дамскіе угодники, которыхъ всегда и вездѣ такое множество... Я знаю, что у насъ есть дамы писательницы съ большимъ дарованіемъ; знаю, что нѣкоторыя изъ нашихъ дамъ пишутъ гораздо лучше многихъ нашихъ кавалеровъ... Но, право, мнѣ кажется, что это не ихъ дѣло... Женщина должна быть образована; чѣмъ больше она образована, тѣмъ лучше; она должна слѣдить за литературой и наукой, но не должна писать, точно такъ же, какъ не должна поступать въ военную службу и ѣздить на мужскомъ сѣдлѣ. Образованіе свое женщина должна употребить для своего семейства. Она должна быть первымъ и лучшимъ учителемъ сво-

ихъ дѣтей... Еслибъ матери были образованнѣе, педагогія пошла бы совсѣмъ другимъ путемъ... Итакъ, женщина должна себя образовать для пользы семейства, а не для увеселенія публики... Можетъ быть это только мое личное мнѣніе; въ такомъ случаѣ прошу меня простить, какъ эксцентрика... Женщина должна... но довольно!

Давно уже я ничего не печаталъ! Вотъ ужъ, кажется, больше девяти мѣсяцевъ, какъ вселенная ждетъ отъ меня хоть одной строчки, жаждетъ знать, какое слово произнесу я о послѣднихъ происшествіяхъ, случившихся въ нашей литературѣ, въ моемъ отсутствіи. Посмотримъ, что безъ меня надѣлала наша литература?

Г. Галяховъ для удивленія всей Европы напечаталъ статью о Костровѣ; Европа такъ поражена, что молчитъ въ недоумѣніи.

Г. Буларинъ объявилъ въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ въ аллегорической формѣ, что онъ чуть не скончался. Надо было видѣть, что дѣлалось съ читателями, когда они пробѣгали тѣ строки, гдѣ г. Буларинъ пишетъ о своей несостоявшейся кончинѣ. Всѣ единогласно воскликнули: «о, что бы тогда было съ русской литературой!»

Г. Краевскій объявленъ сотрудникомъ С.-Петербургскихъ Вѣдомостей, — и вотъ уже около девяти мѣсяцевъ мы ждемъ съ нетерпѣніемъ его статей. Неизвѣстно только, о чемъ будетъ писать этотъ заслуженный литераторъ — объ исторіи ли, о литературѣ ли, о театрѣ ли, вообще ли объ искусствѣ. Любопытно узнать его взглядъ на искусства... я думаю, въ немъ много оригинальнаго *).

Вышло сочиненіе г-жи Туръ — *Племянница*, романъ «отмѣнно длинный, длинный, длинный» — въ четырехъ частяхъ до-

*) Любопытно, что въ одной изъ прошлогоднихъ книжекъ *Revue des deux Mondes* г. Краевскій названъ „critique érudit“. Какъ иностранцы хорошо знаютъ Россію!

вольно компактнаго изданія. Я его не имѣлъ времени прочесть самъ, потому что постоянно занимаюсь китайскими древностями, а свободное время отъ занятій этимъ предметомъ посвящаю чтенію только *самыхъ* замѣчательныхъ явленій русской литературы. Вотъ отчего я не читалъ *Племянницы*, которая длиннотою своей надолго отвлекла бы меня отъ занятій древнимъ Китаемъ. Впрочемъ, я отчасти знаю этотъ романъ по отрывку, помѣщенному въ *Кометъ* и названному «*Антонина*». Отрывокъ этотъ прекрасенъ и произвелъ на меня очень сильное впечатлѣніе. Видно, что авторъ много перечувствовалъ, много страдалъ и много думалъ о томъ, что видѣлъ.

Вышла вторая книжка Проппилеевъ; она еще интереснѣе первой. Съ большимъ наслажденіемъ прочелъ я статьи самого издателя — *Миѳическая Греція* и *Миѳическая Италия*. Вотъ истинно живой взглядъ на науку! Какъ много значить почувствовать ту эпоху, о которой говоришь! Какъ легко тогда заставить сочувствовать другихъ своему предмету! Тогда не нужно прибѣгать ни къ напыщеннымъ фразамъ, ни къ притворному паѳосу — и простое, благородное изложеніе гораздо сильнѣе подѣйствуетъ на благомыслящаго читателя, чѣмъ всевозможныя риторическіе кунстъ-штюки. — Хороша также статья г. Кудравцева «О римскихъ женщинахъ», жаль только, что авторъ употребляетъ слишкомъ много цвѣтовъ краснорѣчія. Это заставляетъ думать, что г. Кудравцевъ мало надѣется на свой предметъ и боится, что большинство читателей не заинтересуется историческими фактами, ежели ихъ не нарядишь и не на навѣшаешь на нихъ троповъ и фигуръ. Поймите, господа, что популярность изложенія не въ слогѣ! Она обусловливается складомъ ума писателя, взглядомъ его на вещи; насильно не сдѣлаешься популярнымъ; популярность есть талантъ, не приобретаемый ни ученостію, ни свѣтскостію и ничѣмъ. Чтобы писать популярно, надо популярно мыслить, т. е. такъ, какъ мыслятъ люди *простые*, а для этого нужно жить одними интересами *со всѣми*, быть между людьми не отверженцемъ, а живымъ членомъ общества. Мнѣ, вѣрно, возразятъ,

что хорошій писатель всегда выше толпы, что онъ ее поучаетъ, слѣдовательно умъ его не можетъ стоять въ уровень съ ея умомъ. Въ томъ-то и штука, господа, что великіе писатели были и выше толпы и въ то же время шли объ руку съ нею... спрашивается: какъ же совмѣстить въ себѣ эти два условія? Отвѣтъ простъ: надо родиться гениемъ! Разумѣется я не требую, чтобъ всѣ писатели были гениями, но совѣтую имъ не *стараться* быть популярными, а писать просто, не мудрствуя лукаво...

Статья г. Тихоновича о Римлянкахъ составлена прекрасно. Дѣло изложено просто, ясно, живо, отчетливо, безъ претензій на высшіе взгляды, безъ мрачныхъ мыслей, безъ трагическихъ выходовъ и романическихъ затѣй.

Итакъ вы видите, что я совсѣмъ не такъ злобно смотрю на русскую литературу и русскихъ литераторовъ; вы видите, что я къ нимъ скорѣе слабъ, чѣмъ строгъ. Можетъ быть, меня даже упрекнуть, что я не упомянулъ о нѣкоторыхъ очень важныхъ недостаткахъ писателей натуральной школы. Но этого я не сдѣлалъ, потому что на этотъ разъ хотѣлъ только ограничиться указаніемъ на хорошія стороны нашихъ писателей; говорить же объ ихъ недостаткахъ мнѣ надоѣло. Ну что вы теперь скажете обо мнѣ, почтенные мои обвинители, противники, клеветники и недоброжелатели? Вы меня обвиняли въ злобѣ, въ презрѣніи къ русской литературѣ и пр., но вы видите, что я горячо люблю русскую литературу и ея дѣятелей, и ежели слишкомъ горячо возстаю противъ нихъ, то не отъ чего другаго, какъ отъ чрезмѣрной любви къ нимъ. Такъ нѣжный отецъ негодуетъ на своего сына за его проступки, но въ то же время страстно любить его. Еще разъ скажу: можетъ быть, я даже слишкомъ снисходительно отзывался о нѣкоторыхъ изъ нашихъ писателей, можетъ быть, нѣкоторыхъ изъ нихъ похвалилъ неумѣренно, и такимъ образомъ измѣнилъ своему катоновскому характеру, но это произошло оттого, что я какъ-то все это

время въ необыкновенно хорошемъ расположеніи духа... Весна въ полномъ цвѣтѣ, воздухъ пріятно раздражаетъ нервы. На душѣ у меня такъ полно... Я такъ счастливъ... Право, мнѣ теперь не хочется браниться и вести полемику... мнѣ хочется любить, а не ссориться и враждовать.

Эрастъ Благовозъ.

Москва.

29 мая 1852 года.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

